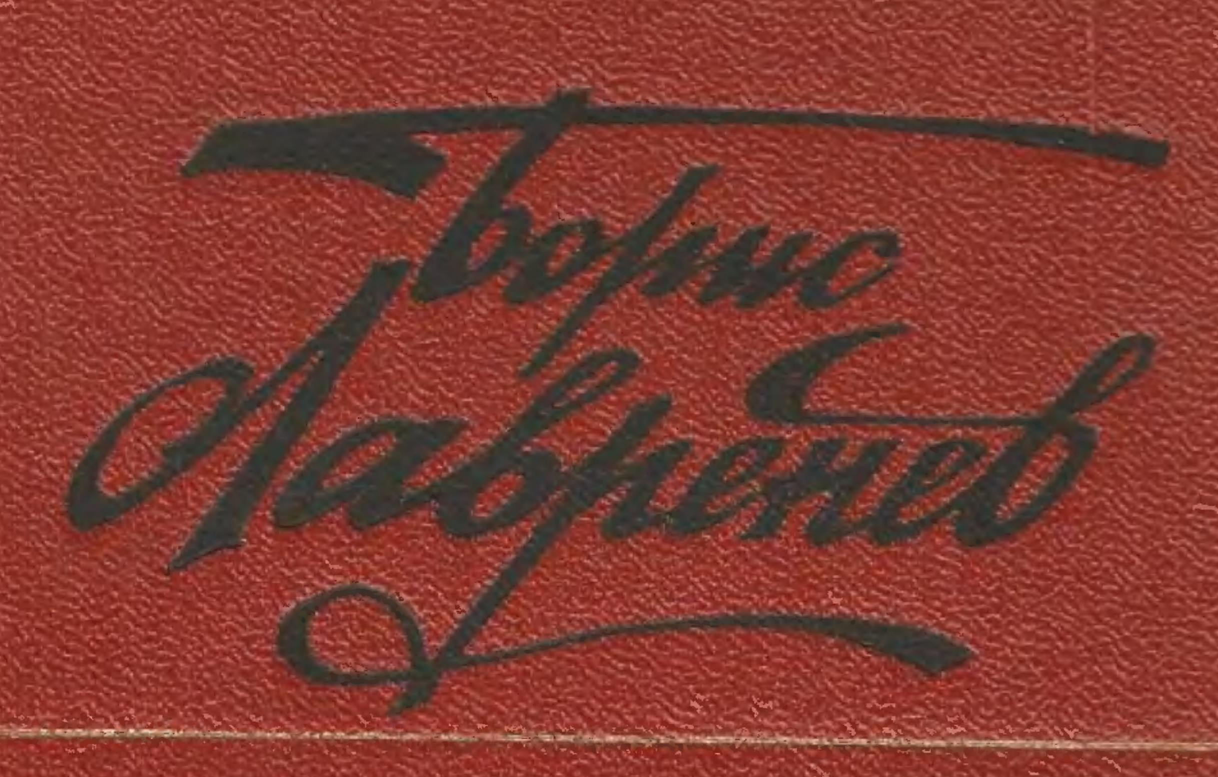


4



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1983

Борис Лавренев

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТИ
ТОМАХ





МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1983

Борис Лавренев

Собрание сочинений

Том четвертый

Романы



Москва
«Художественная литература»
1983

Р2
Л13

Составление и подготовка текста
А. Ю. Лавренева

Примечания
Е. В. Стариковой

Оформление художника
Ю. Алексеевой

Л $\frac{4702010200-235}{028(01)-83}$ подписное

Романы

КРУШЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ИТЛЬ

Елизавете Михайловне Гербаневской

Поочередно он защищал и сражался со всеми нациями Европы и три раза спас свое отечество... но последний бросок костей не был для героя удачным.

А. Франс

Глава первая
МИССИЯ ГЕНЕРАЛА ОРПИНГТОНА

Если вы спросите у кого-либо из благомыслящих граждан великой морской державы Наутилии, кого он считает наиболее выдающимся деятелем своего отечества в течение последних пяти лет, спрошенный, почти не раздумывая, ответит: «Конечно, генерала Чарльза Орпингтона».

Больше того... Спрошенный гражданин вынет из своего жилетного кармана часы, откроет крышку и со вздохом скорбной любви покажет вам портрет-миниатюру пожилого господина с энергичным сухим лицом и веселыми, почти юношескими глазами.

Такие часы пользовались одно время бешеной популярностью в Наутилии, и часовая фирма «Мак-Клюр и К^0» стяжала на них феноменальные барыши, так как всякий гражданин считал своим долгом иметь портрет великого полководца и политика.

Часы выпускались в продажу на самые различные цены для удовлетворения спроса не только высших слоев общества, но и бедноты, потому что Наутилия — страна с широкими демократическими принципами.

Обладатель часов прибавит еще со вздохом, что хотя клеветники из безответственных демагогов и элементы,

зараженные микробами коммунизма, и обвиняли Орпингтона в гибели — по его вине — республики Итль, вверившейся защите наутилийского правительства, и в потере вложенных в предприятия этой республики государственных средств, а равно и частного капитала Наутилии, но сам сэр Чарльз, при всех своих поистине огромных талантах, был бессилен против каприза и воли провидения.

Клеветники же, как известно, являются неотъемлемыми спутниками всех великих натур, и в Древнем Риме таковых даже нанимали нарочно для пущей славы героя.

Всматриваясь в портрет, вы увидите тонкую надпись латинскими буквами вокруг головы: «Salvator et liberator populorum minorum» [1].

Не трудитесь рыться в библиотеках и архивах в поисках печатных сведений о биографии и деятельности генерала Орпингтона, ибо мы сейчас прогуляемся по его славной жизни со всей доступной в столь важном вопросе научностью и добросовестностью.

Генерал-адъютант, кавалер большого креста святого Ремигия, генерал-квартирмейстер собственной его величества квартиры, полководец, прославивший себя в летописях родной страны походом колониальных войск в страну Данакиль, обращенную в прах и пепел, второй сын герцога Джемса Реджинальда Мекгама,— сэр Чарльз Альжернон, лорд Орпингтон, вступил в службу его величества сублейтенантом тяжелой гвардейской кавалерии в 1892 году, 11 июня.

О первых шагах его на служебном поприще до 1897 года известно мало, но в этом году он увез знаменитую красавицу сезона — леди Сильвию Брайтон и, будучи вызван на поединок мужем этой дамы, блистательным ударом палаша лишил ревнивца носа и верхней губы. Этот подвиг обратил наконец внимание высшего командования на блестящие дарования молодого лорда, и он был произведен вне очереди старшинства в лейтенанты собственного его величества кирасирского полка.

Неуклонно поднимаясь по служебной лестнице, прославляя себя все новыми и новыми заслугами перед короною, а также парламентом, потому что Наутилия, с тех незапамятных времен, когда ее граждане впервые смени-

---

[1] Спаситель и освободитель малых народов *(лат.)*.

ли кожаные передники на такие же штаны, была государством умеренно конституционным, что составляло предмет ее национальной гордости,— лорд Орпингтон был неизменным баловнем судьбы.

К описываемому времени сэр Чарльз Альжернон снискал репутацию опытного стратега и искусного дипломата, ибо не страдал той узостью взглядов, которая обычно отличает военных, а главное, считался очаровательным собеседником и одним из лучших знатоков игры в бридж.

Поэтому, когда кабинет подыскивал подходящего руководителя военно-дипломатической экспедиции, отправляемой для поддержки республики Итль, которая боролась за свою национальную и политическую независимость от бывшей величайшей восточной империи, распавшейся и охваченной пламенем гражданской войны,— все члены кабинета единодушно остановились на кандидатуре генерала Орпингтона.

— Этот человек, господа,— сказал премьер-министр,— будет на высоте положения, как достойный представитель нашей славной родины, и как боевой вождь, и как исключительно осторожный дипломат, который избежит опасности вовлечь нас в международные осложнения. Кроме того...— премьер многозначительно улыбнулся и принял неофициальный тон,— если посмотреть на эту историю по существу, нельзя не отметить ее, я бы сказал, опереточный характер, и я полагаю, что блестящее остроумие сэра Чарльза и склонность к блефу... вы понимаете?..

Молчаливым наклонением голов коллеги показали, что они вполне понимают премьера, и назначение сэра Чарльза пошло на утверждение парламента и короны.

Со стороны последней не встретилось никаких возражений, хотя его величество и выразил сожаление, что лишается на долгое время партнера за зеленым столом, но, будучи воспитан в строго конституционных началах, он понимал, что монарх должен жертвовать стране личным счастьем, и потому подписал приказ.

Но в парламенте разыгрался скандал. Известный своей противоправительственной деятельностью и отсутствием патриотизма депутат крайней левой Джиббинс бросил с трибуны в лицо правительству дерзкую фразу, что если уж оно настолько слепо, что не желает видеть, в какую бездну толкает страну, возлагая невыносимые тягости на пролетариат своей захватнической политикой,

то, по крайней мере, должно понять, что нельзя посылать в качестве полномочного представителя человека с куриной фамилией. При этом Джиббинс воспользовался случаем, чтобы сказать, что спасение страны — в коммунистической революции, но был немедленно лишен слова председателем и исключен на пятнадцать заседаний.

Поднявшийся на трибуну для ответа военный министр неоспоримо доказал, что не лорды Орпингтоны ведут свой род от премированной породы кур, а наоборот — куры получили свое прозвище от доблестной фамилии Орпингтонов, заслуги коей отмечены еще в восьмом веке составителем хроники, преподобным Тикасием Чезльвикским.

Жалкое мяуканье оппозиции было заглушено аплодисментами либерального блока.

Вот почему девятого апреля, при огромном стечении восторженной толпы, сэр Чарльз Альжернон отплыл из военной гавани Кэттоуна на «Беззастенчивом» — флагманском дредноуте контр-адмирала Кроузона.

В его распоряжении находилась вспомогательная эскадра внутреннего моря в составе двух линейных кораблей, четырех линейных крейсеров, легкого крейсера «Аметист», одиннадцати контрминоносцев и двух субмарин дальнего плавания.

Кроме того, в эскадре шли пять транспортов с бригадой пехоты экспедиционного корпуса, артиллерией, аэропланами и другими вспомогательными родами оружия.

По выходе в открытое море сэр Чарльз, расположившись в адмиральской каюте на диване за обильным ленчем с бодрящими аперитивами, вскрыл запечатанный большой коронной печатью холщовый пакет и с любопытством взглянул на шуршащую шелковую бумагу секретной инструкции.

Она гласила, что на командующего экспедиционным корпусом возлагается задача поддержать демократическое правительство республики Итль в борьбе за национальное и политическое самоопределение с преступившими все божеские и человеческие законы анархическими бандами бывшей империи Ассора, причем вверенные генералу войска Наутилии не должны употребляться для боевых действий, во избежание международного конфликта. На экспедиционный корпус правительством возлагалась только внутренняя служба и охрана побережья Итля, что давало возможность покровительствуемой республике бросить

все вооруженные силы на фронт, не опасаясь осложнений внутри страны.

Особо подчеркивалось, что, при наличии огромных природных богатств Итля и малоразвитой промышленности молодой республики, Наутилия готова оказать ей материальное содействие и кредит государственным и частным капиталом при условии соответствующего обеспечения вложенных средств долгосрочными промышленными концессиями.

Рекомендовались особая осторожность и такт, и к тексту инструкции была приложена, в плотном синем конверте, записка с личной печатью его величества.

Узнав собственноручный почерк монарха, генерал Орпингтон встал и прочел записку стоя.

«Генерал! Так как — я чувствую — вы готовы будете удавиться от тоски после чтения министерской канители,— я предложу вам нечто более интересное. В министерстве иностранных дел имеются данные, что среди населения Итля существует значительная группа, желающая отдаться под эгиду нашей короны на условиях той же автономии, которой пользуются наши верные колонии. Вы можете играть в дипломатическую чехарду по инструкции, хотя я думаю, что вы предпочли бы ей хороший бридж, но не упускайте из виду вышеозначенного дела. Веря вашей энергии и остроумию, пребываю

благосклонный к вам *Гонорий XIX*».

Лорд Орпингтон оглянулся и, взяв записку щипцами для сахара, поднес к ней зажженную спичку.

Пепел он сбросил на пол и растер ногой.

Покончив с благоговейным уничтожением опасного манускрипта, генерал задумался.

В сущности говоря, в инструкции ничего трудного для понимания не было.

Он расшифровывал ее с такой же непринужденной легкостью, с какой монмартрский апаш прочитывает несколько знаков на понятном ему одному жаргоне, начертанных мелом на стене лавчонки в парижском предместье, в которых указывается кратко и ясно, когда удобнее придушить хозяина и где лежит шкатулка с рентой.

Инструкция, занимавшая пять страниц убористого текста пишущей машинки, сводилась для него к примитивной фразе каменного века:

«В удобную минуту съесть вместе с потрохами».

Ибо нужно повторить, что сэр Чарльз был искушенным государственным человеком. Он затянулся маниллой и прислушался к мощным ударам корабельных винтов, внимательно глядя на прекрасно проглаженные белые брюки вахтенного мичмана, видневшиеся на палубе сквозь жалюзи каютного люка.

И сказал вслух, обращаясь к этим брюкам:

— Друзья мои! Я отлично понимаю, что́ именно вам нужно! Но разрешите мне, в виде нравственного вознаграждения за гнусную пачкотню, на которую вы обрекаете меня в этой стране черномазых лодырей, облечь ее в сверкающий наряд здорового смеха. Позвольте мне разыграть ее в благородном стиле бессмертной комедии dell arte [1]. Нужно же и мне извлечь хоть крохотное удовольствие из подарка, который я должен сделать отечеству.

Сэр Чарльз сел в глубокое кресло-качалку и просидел некоторое время, устремив ясные серые глаза на малахитовую, унизанную перлами, ленту, гулко бежавшую за кормой «Беззастенчивого».

И вдруг... о, что сказали бы депутаты крайней левой?.. представитель великой морской державы опрокинулся на спину и задрыгал ногами, хохоча, как резвый школьник во время бесшабашной проделки.

Но минуту спустя он снова сидел спокойный и полный того невозмутимого достоинства, которое снискало ему всеобщее уважение сограждан.

. . . .

На шестые сутки плавания в глубокой синеве горизонта протянулась легчайшая лиловая дымка.

— Имею честь доложить, сэр,— сказал старший лейтенант, поднеся руку к козырьку,— что открылся берег Итля.

Сэр Чарльз поднялся на спардек и взял у вестового бинокль.

Сиреневая дымка ширилась. Вынырнули из синевы розовые скалы, развернулись блаженные долины, усыпанные сахарными искрами вилл, дворцов и дач.

С берега лился пряный, сладковатый запах цветов и фруктов, ибо республика Итль была благословенным субтропическим уголком, беззаботным, как первая улыбка ребенка.

---

[1] масок *(ит.)*.

Близились осененные шатрами платанов здания Порто-Бланко, столицы Итля.

Из моря высунулся, как протянутая для привета рука, узкий мол с маяком на конце, промелькнули угрюмые стены фортов на скалах, прикрывающих вход в голубую лагуну.

И, одновременно с грохотанием рухнувших якорей, с кораблей эскадры генерала Орпингтона грянул салют в двадцать один выстрел, знак уважения национальному знамени Итля, шелковое полотнище которого взвевал благоуханный ветерок на парапете форта.

Флаг был двух цветов — ярко-зеленого и сиренево-розового.

«Цвет надежды и цвет мечтательной меланхолии,— подумал сэр Чарльз, отправляясь в каюту надеть парадный мундир,— это совсем неплохо для веселого начала».

Глава вторая
ПРЕЗИДЕНТ И НАЦИЯ

Самым ярким, самым ослепительным пятном на залитой полуденным зноем террасе была огненно-оранжевая лента, перерезавшая фрак президента от плеча к бедру. Концы ленты были собраны в розетку, и на розетке переливалась кровяными пламенами рубинов орденская звезда.

Это была звезда первой степени ордена Демократической Свободы.

Президент сам выбирал цвет ленты и три недели совещался с художниками о рисунке звезды. Наконец остановились на идее, которая была дана президентом же. В центре звезды, на круглом финифтяном лазурном поле, молодой Самсон раздирал пасть поверженного льва, изображавшего тиранию.

Звезда имела пять лучей, долженствовавших символизировать пять свобод: свободу печати, собраний, союзов, совести... и свободу вообще.

Когда один тайный недоброжелатель попытался указать главе республики, что самозванное правительство Ассора также избрало своей эмблемой пятиконечную звезду, президент пожал плечами и ответил со снисходительным презрением:

— Ну и что же? У них это просто бессмысленная звезда, а у нас каждый луч имеет демократическое значение. И потом вообще легче всего заниматься безответственной критикой.

Немедленно по утверждении статута парламентом последний преподнес президенту, в ознаменование его гражданских доблестей, первую степень нового ордена, в торжественной обстановке, с речами представителей всех парламентских группировок, музыкой и великолепным фейерверком.

С момента получения ордена президент не снимал фрака даже в домашней обстановке. И злые языки утверждали, что, следуя мудрому закону великого Тимура, господин Аткин решил носить верхнее платье до тех пор, пока оно, за ветхостью, не спадет само с его плотного торса.

Эти рассказы были уже явным преувеличением, но за достоверность одного факта ручалась камеристка президентши.

В ночь банкета по случаю награждения главы государства президент лег в постель, надев ленту поверх ночной пижамы, и сладко заснул, но на заре был разбужен невежливыми толчками супруги, которая заявила резкий протест против злополучной звезды, исцарапавшей ей все бедро.

Президент был крайне возмущен такой претензией, обозвал супругу принцессой Горошиной и с этого дня велел стлать себе постель на диване в кабинете, нарушив, таким образом, целость семейного ложа. Но звезда была только ловко придуманным предлогом, ибо президент Аткин давно испытывал желание убраться от ночного соседства жены по многим причинам, главнейшей из них была неприличная худоба президентши, острые кости которой доставляли склонному к полноте государственному человеку не менее неудобств, чем ей жесткие края звезды.

Второй причиной была тридцатилетняя блондинка Софи, исполнявшая обязанности бонны при подрастающем первенце президента, но, ввиду неофициальности последнего предлога, мы не станем о нем распространяться.

Терраса, на которой восседал президент за завтраком в кругу своего семейства, скатывалась в море широкими маршами серого известняка, уставленными пальмами. Бока ее были заплетены трельяжем из виноградных лоз, и

солнце, просачиваясь огненным пивом сквозь решето листьев, создавало на белом кафельном полу, на скатерти, серебре и хрустале теплые волны зеленоватых, желтых, розовых и голубых сияний.

Против президента у мирно булькающего пузатого кофейника сидела прямая, как свежеотстроганная гробовая доска, мадам Аткин. Тонкий и длинный нос ее был похож на клин, вогнанный в доску по перпендикуляру к ее плоскости.

Восемнадцатилетняя дочь президента Лола, разодетая в легкое платье лунной тафты, лениво перелистывала страницы французского романа, потряхивая стриженой гривкой, которую она выкрасила в цвет отцовской орденской ленты.

Тринадцатилетний наследник дрыгал тугими ногами и качался на стуле, размазывая пальцем по тарелке горчичные узоры, и насвистывал национальный гимн республики с вариациями явно опереточного темпа.

Семейную группу заканчивала бонна Софи, еле видная из-за горы пухлых кайзерок, лежавших на серебряном подносе, такая же свежая и пухлая, как кайзерки.

Она сидела, потупив глаза, скромная и тихая, и ничто не заставляло предполагать в ней возможности пьяного вакхического исступления, которое влекло к ней пылкое сердце президента Аткина и избавляло его от излишней полноты.

Единственно чужим человеком за этим мирным семейным завтраком был министр народного просвещения, человек с огромным, ненасытным аппетитом, завтракавший ежедневно рано утром у себя дома и затем в нормальные часы ленча, по очереди, у своих знакомых, так как его жена, особа экономная и расчетливая, не допускала возможности дважды завтракать в один день у себя дома.

Президент, заложив пальцы за вырезы жилета, толковал министру народного просвещения о выгодах покровительственной таможенной политики и о возможностях, открывающихся перед республикой путем разумной эксплуатации нефтяных промыслов.

Он говорил плавно, гладко и длинно (президент Аткин был адвокат), закругляя периоды и цитируя страницами Роберта Оуэна, Милля и Бём-Баверка, все более и более увлекаясь, пока не был остановлен в своем вдохновенном разбеге восклицанием дочери, отложившей с неудовольствием книгу.

— Господи помилуй! — сказала она, томно потянувшись и показав министру народного просвещения великолепную линию спины в вырезе платья,— с тех пор, папа, как ты стал президентом, совершенно невозможно завтракать с аппетитом. Неужели ты предполагаешь, что твои разговоры о таможенных пошлинах могут содействовать пищеварению?

Президент нахмурился.

— Я полагаю, Лола, что ваше неуместное вмешательство в наш разговор является недоразумением. Вам, как дочери лица, представляющего собой верховную власть, небесполезно быть в курсе политических вопросов, дабы не оказаться самой в неловком положении и не скомпрометировать вашего отца.

— Вот еще! — ответила Лола, вздернув плечиком.— Вы думаете, мои женихи требуют от меня политических разговоров? Но уверяю вас, отец, что им нужно только, чтобы у меня был хороший цвет лица, достаточно нескромные платья и приличный темперамент. А от ваших сентенций я становлюсь сонной рыбой. Неужели вы хотите для меня несчастного брака?

Президент вынул пальцы из-за жилета и сделал жест возмущения.

— Дочь моя! Ваши женихи — не вся нация! Меня мало интересует их мнение. Я обязан прислушиваться к голосу всего народа.

— Но, папа, каждому свое! В конце концов, народ интересует тебя по той же причине, что меня мои женихи. Народ ухаживает за тобой, содержит тебя, и ты еще находишься в более выгодном положении, потому что от тебя не требуют темперамента.

Гробовая доска президентши качнулась вперед, и из-под носа раздалось свистящее шипение:

— Лола! Вы с ума сошли?

— Ах, мама! Вы ужасно отстали с вашей первобытной моралью. Я вовсе не хочу идти по вашим стопам в семейной жизни. Я хочу быть настоящей женщиной. А настоящая женщина должна, обязательно должна иметь темперамент. Как вы думаете, господин профессор?

Министр просвещения, только что набивший рот куриной грудинкой, поперхнулся и нечленораздельно промямлил:

— М-гм... конечно... наука свидетельствует...

— И, конечно, я думаю, что одного мужа я смогу осчастливить. Но что, если бы от меня потребовал темперамента весь народ? Бр... это ужасно!

Госпожа Аткин торжественно встала, президент раскрыл рот, чтобы прочесть научно обоснованное нравоучение свободомыслящей дочери, и неизвестно, чем кончился бы президентский завтрак, если бы на террасу не вбежал из дома красный и взволнованный личный секретарь президента.

— В чем дело? Что такое? Я, кажется, просил не беспокоить меня во время завтрака? — недовольно спросил президент.

— Виноват... По телефону... комендант порта... Эскадра лорда Орпингтона!..

Все происшедшее в следующее мгновение на террасе можно было бы, без натяжки, сравнить с паникой, происходящей в любой квартире при начале пожара от взорвавшейся керосинки.

Президент Аткин вскочил, отбросив салфетку, и нервно одернул штаны.

Лола метнулась к лестнице террасы и оттуда простонала воркующим голосом секретарю:

— Гри!.. Тащите сюда немедленно морской бинокль, иначе я умру.

Софи увела упирающегося наследника, а мадам Аткин быстро мяла угол скатерти, но оставалась такой же прямой и неподвижной. Профессор спешно дожевывал осетрину, кидая взволнованные взгляды на море.

— Моя милая,— сказал президент супруге,— сейчас подадут машину. Мы отправимся в порт для встречи его превосходительства. Только я просил бы вас не надевать белого платья, а что-нибудь серое или темное.

— Это почему? С какого времени вы стали контролировать мои туалеты? — ответила президентша зловещим тоном.

Президент сжался, но имел твердость сказать:

— Я, как лицо ответственное за церемониал встречи, должен следить, чтобы все было в порядке, и самая встреча должна носить как можно более жизнерадостный и яркий характер. Вы же, дорогая, в белом платье производите впечатление... простите за библейский пример... Лазаря в саване... Я лично этим доволен, но в данном случае интересы государства...— добавил он поспешно, взглянув в лицо президентши.

Она встала, величественная и грозная.

— Я нахожу ваше поведение беспримерным, мой друг! И я никуда не поеду,— я больна и считаю лишним принимать участие в ваших политических махинациях. А если вам нужно для этой встречи что-нибудь жизнерадостное и круглое, вы можете взять Софи... О, я все знаю, все знаю! — бросила она пророческим тоном и удалилась с террасы, высоко подняв голову.

Господин Аткин беспомощно пожал плечами, втайне, однако, обрадованный таким поворотом событий.

Профессор, покончивший наконец с осетриной, откланялся, чтобы заехать домой и одеться надлежащим образом.

А в эту минуту Лола и секретарь президента вели на выступе лестницы следующий разговор, причем глаза Лолы не отрывались, сквозь стекла бинокля, от кубовой полосы, сквозившей между кипарисами.

— Ах, как я рада, как я рада!.. Эскадра Орпингтона. Сколько молодых офицеров, и каких! Мне ужасно надоели наши. И потом у них такие чудесные названия: лейтенанты, коммодоры, а у наших... какие бессмысленные чины! Подпоручик... поручик — что-то плебейское, похожее на «приказчик». А эти,— подумайте, Гри! Сколько свежих впечатлений!.. О, я чувствую, что я начинаю закипать!..

Секретарь грустно взглянул на тонкие обнаженные руки дочери патрона. Как всякий секретарь, он был неизлечимо влюблен и теперь безнадежно грустил при виде возбужденного радостью лица девушки.

— А вам не жаль тех, кто любит вас здесь? — осмелился он сделать осторожный намек и томительно вздохнул.

Лола оторвалась на минуту от бинокля и облила его недоумевающим сожалением.

— Милый Гри! Моя массажистка говорит, что женщине нельзя жалеть, потому что это чувство вызывает преждевременные морщины. Я совсем не хочу походить на маму.

И сейчас же вскрикнула в восторге:

— О!.. Я вижу, вижу! Шесть больших кораблей и много маленьких. Вот будет весело!

Сзади подошел президент.

— Дочь моя! Ты еще успеешь насмотреться вблизи. Беги одеваться. Машина подана, и нам нужно торопить-

ся. Запомните, мой друг, это зрелище! — сказал он секретарю по уходе дочери, указывая классическим жестом на дымы подходящей эскадры.— Это приближается слава и величие нашего отечества. Отныне история совершает грандиозный поворот. Вберите в свою память эту синеву нашего родного моря (хотя президент Аткин и родился в трех тысячах верст от территории Итля и в первый раз попал в пределы республики после революции, разрушившей Ассор, но считал море родным и остро ощущал свою итлийскую национальность),— запомните эти дымы флота наших могущественных союзников, несущих нам в жерлах своих пушек защиту права и порядка, выгравируйте в своем сердце, как можно глубже, ликование сегодняшнего дня,— вам будет о чем рассказывать внукам. Эти корабли несут нам счастье, свободу, независимость... развитие промышленности и торговли, широкий простор приложению энергии и капитала. Такие дни не часто бывают в мире. Вся республика в едином порыве будет приветствовать сегодня своих друзей.

Президент замолчал, но рука его еще оставалась вытянутой в сторону моря, как будто он ждал кинематографического оператора.

Из близоруких глаз секретаря выкатились две жемчужные слезинки. Президент заметил это и прочувствованно пожал руку подчиненному.

— Вы можете далеко пойти, молодой друг. Кто может так принимать к сердцу дело своей родины, тот достоин звания гражданина. Скажите начальнику канцелярии, что я приказал удвоить вам оклад с завтрашнего дня.

Секретарь смешался и малиново покраснел, ибо он ничего не слышал из сказанного президентом, слезы же его были результатом сердечной боли от жестоких слов недоступной Лолы. Но прибавке жалованья он был рад, она открывала ему кое-какие возможности.

Он бросил ободренный взгляд на виновницу своих терзаний, появившуюся на террасе в ослепительном наряде, и почтительно пошел сопровождать президента с дочерью к ожидающей у подъезда машине.

. . . .

Перенесемся теперь с мраморной террасы президента, от опустелого стола, сверкающего хрусталем и серебром, от теплых солнечных отсветов, играющих радужными зайчиками по полу,— в гущу нации.

Ибо хороший читатель должен всегда выслушать и другую часть.

На самом конце мола, опустив лохматые головы к переливающей изумрудами воде и подставив солнцу лохмотья, просвечивающие сквозь многочисленные прорехи телами, смуглыми, как хорошо подрумяненный пирог, лежали два черномазых оборванца и глядели на растущие в море дымы и очертания кораблей.

Старший сплюнул в воду и, подрыгав в воздухе голыми пятками, пробормотал:

— Какие это дьяволы плавают, Коста? А?

Младший лениво покосился.

— А это, наверное, заморские черти, о которых кричат все газетчики. Город взбесился. Сегодня утром я проходил по парадной набережной, так какие-то идиоты мыли ее песком и мылом. Умора! А все городские девки сошли с ума. Они целые дни моются в банях и раскупили последние запасы пудры и помад. И добро бы только кабацкие шлюхи, так нет! Даже эти самые девчонки, которые ездят в машинах и похожи на сливочное бламанже и от которых так воняет розой и еще какой-то дребеденью,— они тоже ополоумели. Можно подумать, что все женское население готово раскинуть копыта врозь перед этими иностранными олухами.

Первый оборванец кивнул лохмами и опять плюнул в море.

Наплывшую солнечную тишину безжалостно разбил младший.

— А впрочем,— сказал он, опершись на локти,— нам это все на руку. Сегодня ночью весь этот сумасшедший дом, эти жирные лавочники со своим домашним скотом будут толочься на набережной и визжать от восторга, а квартиры будут пустовать. Будь я проклят, если я не куплю себе нового костюма. Я тоже хочу быть барином, черти меня побери! Ты как думаешь, Атанас?

Атанас не отвечал. Он вглядывался в передний корабль эскадры острым и пристальным взглядом и наконец сказал, медленно раскачивая головой:

— Хотел бы я знать, для чего они, собственно, едут в нашу дыру?

Младший скривил лицо в усмешку.

— Ты дурак, Атанас, и ничего не понимаешь в господских делах. Для меня ясно, как дважды два четыре, что они явились сюда за тем же, за чем мы сегодня ночью

пойдем с тобой по пустым квартирам. Каждый живет, как может. Господа не могут работать по-нашему, потому что у них всегда слабые мускулы, одышка и всякие деликатные болезни. Если такой барич залезет в банк, то его поймает сразу самый хромой легавый. Поэтому они избирают другие пути: разные акционерные общества, партии, войну, дипломатию. Они не индивидуалисты и предпочитают массовую работу и круговую поруку. А вместо отмычек у них есть та самая штука, которая называется законом и всегда оборачивается к нам задней стороной. Они трусы, и плевать я хочу на них.

— Ты говоришь очень умные слова, Коста. Не хочешь ли ты перейти в их лагерь?

— Не беспокойся! Умные слова я говорю по привычке, потому что в детстве я предназначался в их общество. Но потом я поумнел. Я люблю грабеж начистую, без уловок и оговорок. Я романтик. Они бытовики.

Он помолчал и вдруг быстро сел.

— Во!.. Слушай, Атанас. Пока эти бродячие шарманщики готовятся пришвартоваться к нашему почтенному отечеству, мы, пожалуй, можем мгновенно сколотить на них капиталец.

— А как?

— Мы с тобой сейчас поплывем к кораблям. Они, видишь, готовятся бросать якоря. Я видел их не раз. Эти дикари очень любят, когда перед ними ныряешь за монетой. Стоит только подплыть к борту и закричать: «Господин, бросьте монетку»,— как какой-нибудь расшитый попугай уже лезет в кошелек. А там другой, третий, и только успевай нырять. Можно за час набрать столько, что хватит на месяц скромной жизни с девчонкой. Плывем!

Он решительно швырнул на плиты мола кепку, как раз в тот момент, когда с корабля грохнул первый выстрел салюта. С такой же быстротой он сбросил штаны и пиджак и остался темно-золотой статуей на краю мола.

— Ну, что же ты медлишь? — сказал он, видя, что приятель раздевается медленно.

— Видишь ли, я не очень умею ловить монетки. Я только два раза и занимался этим.

Темно-золотая статуя нагнулась к остаткам своих брюк и вытащила из них серебряную монету.

— Держи! Заложи ее за щеку! Каждый раз, когда нырнешь и не поймаешь монеты, вытаскивай эту изо рта и показывай. А то эти свиньи не любят промахов и

перестают бросать. А понемногу научишься. Главное: раскрывай глаза и смотри, где блестит. А я буду работать за двоих. Гляди — семнадцать кораблей. Мы оберем их как липку. Ну, плывем!

Два жемчужных всплеска вспенили зеленое масло, и черные мокрые головы поплыли от мола к эскадре...

Читателю может показаться странным, что в то время, когда президент Аткин, ожидая гостей, думал только о счастье и величии родины, нация поплыла встречать их с целью неприкрытой и жульнической наживы. Но это была не вся нация, вернее — это были отбросы нации, аморальный люмпен-пролетариат, так, черт знает что, и психология этих двух представителей итлийского общества, во всяком случае, не характерна для населения республики.

Глава третья
КОРОНА И НЕФТЬ

Белоснежный и легкий, как лебеденок, впервые попавший в родную стихию, моторный катер шаловливо покачивался у парадного трапа «Беззастенчивого», постукивая окованным медью форштевнем о стальной борт, по которому бегали беззаботные отражения ласково плескавшихся волн.

Фалгребные стояли на ступеньках молчаливыми истуканами, а на верхней площадке нервно вертелся подвахтенный мичман.

Катер ждал сэра Чарльза, чтобы отвезти на берег, где уже кишела толпа, готовившаяся встретить его овациями.

Бинокли молодых офицеров, направленные на берег, успели запеленговать несколько очаровательных республиканок. Лица с такого расстояния различить было почти невозможно, но наблюдатели наперебой уверяли, что сложены замеченные представительницы дамского пола совершенно «как надо».

Блестели на солнце золотыми искорками трубы оркестров, толпа волновалась и переливалась, растекаясь по набережной, в ожидании, когда отвалит катер.

Но склянки пробили уже два раза, а представитель его величества Гонория XIX еще не спускался по трапу.

Несколько удивленные взгляды офицеров, косо бросае-

мые в сторону шканцев, показывали, что генерал Орпингтон находится там и что его задерживает, видимо, дело чрезвычайной важности, иначе он не позволил бы себе заставлять ждать столько времени горячо жаждавших видеть его жителей дружественной столицы.

Но если бы население Порто-Бланко могло на минуту заглянуть на корму «Беззастенчивого», оно было бы, вероятно, несколько смущено поразительным зрелищем.

У кормового флагштока, под полотнищем алого, с восьмиконечным белым крестом, морского флага Наутилии, стоял, опершись на поручни, в полной парадной форме, окруженный всем штабом, сэр Чарльз Орпингтон и смотрел вниз.

Под мощной крутой кормой дредноута в сиявшей прозрачной глубине плескались, скаля белые зубы, две лаково-коричневые физиономии, выкрикивая на ломаном волапюке одну и ту же фразу: «Господин, бросьте монетку!»

Сэр Чарльз держал в руке кошелек и через небольшие промежутки размашисто кидал в волны серебряные кружки с гордым профилем своего короля.

Монета летела веселой птичкой, зарывалась в зеленую глубину, и мгновенно два тела, показав в воздухе пятки, устремлялись за ней. Секунду спустя отдувающиеся черномазые лица вновь появлялись на поверхности и, радостно осклабясь, показывали монету, закладывая ее, как шимпанзе, за щеку.

Окружавшие лорда штабные в промежутках забавы генерала скромно бросали монетки в свою очередь.

Сэр Чарльз уже дважды опустошил свой кошелек и послал вестового наполнить его мелочью в третий раз. Лицо его выражало совершенное и даже несколько ребяческое наслаждение, ибо, как нам уже известно, лорд Орпингтон был человеком, умеющим веселиться и ценившим оригинальные удовольствия.

В то время, как вестовой ходил за деньгами, старший советник по финансовой части миссии осмелился приблизиться к генералу и в изысканно осторожных выражениях напомнил, что население Итля собралось на набережной и горит нетерпением увидеть своего друга и покровителя.

Лорд Орпингтон взглянул на советника искоса, ничего не ответил и несколько насупился. Советник рискнул повторить свое напоминание.

Сэр Чарльз повернулся к нему с явным раздражением.

— Разрешите указать вам, господин советник, что ваша обязанность консультировать по делам, касающимся государственных средств, а не моих личных расходов. Вы говорите — ждут? Ну и пусть подождут. Во-первых, этого требует престиж великой державы, которую я здесь представляю, а во-вторых, не стану же я из-за нескольких сот питекантропусов лишать себя удовольствия сейчас же, сию минуту... Извольте не беспокоить меня, когда в этом нет необходимости.

Советник поклонился и со вздохом отошел в сторону.

Лорд Орпингтон взял у вестового кошелек и обратился к стоявшему рядом переводчику.

— Скажите этим людям, что сейчас я буду бросать им золотые. Пусть они отплывут саженей на пять и потом ныряют. Золото стôит, чтобы из-за него потрудиться.

Переводчик прокричал слова генерала вниз. Черномазые переглянулись, и тот, который помоложе, крикнул товарищу:

— Отплывай, Атанас, и не мешайся! Начнется самая умора! Я говорил тебе, что это папуасы.

— Что он сказал? — спросил сэр Чарльз.

— Он благодарит,— в легком замешательстве ответил переводчик.

Золотой сверкнул в воздухе и скрылся под водой, человек ринулся за ним. Выплыл он на этот раз не скоро, задыхаясь, но торжествующе поднял монету на ладони.

— Это замечательно, господа! — восхитился сэр Чарльз и бросил второй золотой.

Скоро кошелек опустел в третий раз, и неизвестно, сколько времени ожидал бы дружественный народ высокого гостя, если бы забава его не была прервана самими пловцами.

Вынырнув с последним золотым, молодой закричал сдавленным голосом:

— Атанас, гайда обратно! У меня рот так набит валютой, что если он бросит мне еще хоть пятак,— я, честное слово, перевернусь вверх ногами и утону, как сейф!

И оба поплыли к молу, оставив лорда Орпингтона недоуменным, в самом разгаре игры.

Проводив глазами уплывающих, он перешел на бакборт и направился к трапу, сопровождаемый штабом.

Мичман на трапе, завидев шествие, крикнул на катер: «Контакт!» — и вытянулся с такой деревянной неподвижностью, как будто его мгновенно прибили к палубе пущенным сверху копьем.

Усаживаясь на ковровые подушки катера, лорд Орпингтон с нетерпением взглянул на берег, но совсем не в ту сторону, где ждала его кипевшая восторгами толпа. Мысленная линия, проведенная от глаз наутилийского полководца и дипломата, упиралась в дымное, грузное облако, низко висевшее над горизонтом, значительно левее последних городских строений.

Сэр Чарльз втянул носом воздух и прищурился, как кот перед прыжком.

Дымное облако явно привлекало его внимание, и, чтобы понять это внимание, нам придется отклониться в сторону.

Кроме писаных инструкций парламента и короны, в сердце генерала была неписаная, или, вернее, выражавшаяся не в словах, а в цифрах, начертанных на радужных акциях Островной нефтяной компании, пачка которых лежала в столе лорда Орпингтона, аккуратно стянутая резинкой.

Эту пачку он получил перед отплытием в кабинете директора компании, с почтительной просьбой,— если досуг от военных и дипломатических трудов позволит ему уделить время на столь ничтожное занятие — выяснить вопрос о возможности приобретения нефтяных промыслов Итля Островной компанией.

Катер круто отвалил от борта и понесся к берегу, разрезая воду лагуны с шелковым шелестом. Близились белые ступени пристани, омываемые волнами, устланные и увешанные материями национальных цветов, и когда катер, подходя, замедлил ход, с берега зазвенели оркестры, исполнявшие королевский гимн Наутилии в честь ее представителя.

Лорд Орпингтон встал с подушек и приложил руку к козырьку. Баковый зацепил багром за ввернутое в мрамор кольцо, и катер плавно прилип к стенке набережной. Оркестры смолкли, раздался гремящий гул приветствий, и на катер посыпался сверху дождь, потоки, водопад благоуханных, обрызганных росой цветов.

Генерал Орпингтон с юношеской легкостью выпрыгнул на набережную, и первое, что бросилось ему в глаза, была оранжевая лента на круглом животе президента

Аткина. Президент сделал шаг вперед, держа в растопыренных руках резное серебряное блюдо, покрытое вышитым полотенцем. На полотенце лежал круглый хлебец, и в него была вставлена солонка.

Сэр Чарльз удивился и сказал вполголоса командиру экспедиционного корпуса, стоявшему рядом с ним:

— Странные люди! Мне кажется, они считают, что мы очень проголодались в дороге и можем польститься на такое угощение. Я думал поначалу, что эта страна могла бы предложить нам более изысканный стол. И почему у этого почтенного метрдотеля такая яркая лента?

Но мгновенное недоумение представителя Наутилии так же мгновенно рассеялось, когда он услыхал первые слова приветственной речи на своем родном языке, правда, не совсем уверенном.

— От имени республики, ваше превосходительство, разрешите мне в качестве главы правительства приветствовать ваше долгожданное прибытие и поднести вам, по древнему обычаю наших предков, этот символ хлебосольства и гостеприимства...

— Ага!.. Значит, они не собираются кормить нас этой скверной мякиной. Какая смешная символика! — обронил сэр Чарльз в сторону командира корпуса и, вежливо склонив голову, выслушал до конца длинную речь президента Аткина.

По окончании ее он трижды поцеловался с президентом, который обмочил ему щеки слезами радости и волнения, и, в свою очередь, ответил кратким и энергичным спичем.

Он высказал свою радость по поводу прибытия в страну, которая издавна привлекала симпатии как его самого, так и всех его соотечественников, подчеркнул полную уверенность в блестящем будущем, ожидающем молодую республику, и закончил бодрым призывом к доблестным войскам Итля — уничтожить, при поддержке могущественного друга, озверелые анархические орды врага и восстановить попранную свободу.

При этом лорд Орпингтон сделал энергичный жест в сторону севера, что дало повод газетам республики, на следующее утро, заговорить о военных перспективах в форс-мажорном тоне.

Нежно улыбающаяся Лола пришпилила генералу бутоньерку из листьев буксуса и махровых азалий, составлявшую своими тонами национальные цвета; лорд Орпинг-

тон предложил ей руку, и они тронулись к ожидавшим автомобилям под прибой приветствий, осыпаемые цветами и любезными пожеланиями.

За завтраком в отеле, отведенном правительством республики под резиденцию сэра Чарльза, ему были представлены все члены правительства с их супругами и семействами, члены парламента, высшие чины военного командования и еще множество неизвестных лиц, так что, когда генерал сел за стол, в глазах у него прыгали дрожащие точки, как после утомительного киносеанса.

Президент Аткин начал завтрак тостом за его величество Гонория XIX, причем рука его, державшая бокал, дрожала от волнения. Как истый социал-демократ, он чувствовал какую-то неодолимую робость и вместе с тем влечение к коронованным особам.

Лорд Орпингтон ответил тостом за президента и затем предложил тост за пленительных представительниц дамской половины республики. Этот тост был принят восторженно, и сэр Чарльз вызвал еще больший восторг, почтительно поцеловав маленькую ручку мадемуазель Лолы, сидевшей слева от него, и заявив, что в лице своей соседки он чтит всех женщин республики, которые не могут быть не прелестны в такой прелестной стране.

Молодой флаг-лейтенант, сидевший напротив и пожиравший глазами соблазнительную округлость за вырезом платья дочери президента, при этом уронил себе на колени тарелку с маринованной рыбой, залив красным соусом белоснежный костюм, но в общей радости даже этот прискорбный случай прошел незамеченным.

Тем более что сконфуженный офицер немедленно отправился на катер и там, раздираемый муками ревности, стал мечтательно выцарапывать перочинным ножом на лакированном борту имя прекрасной очаровательницы.

После завтрака гости начали разъезжаться, и президент Аткин предложил показать генералу отведенное ему помещение. Они прошли по убранным со скромной роскошью комнатам и вышли на висячий, оплетенный цветущими розами, балкон.

Лорд Орпингтон с удовольствием расположился в шезлонге; голова у него немного кружилась от несметного количества промелькнувших перед ним лиц и от пряного крепкого вина, славы плантаций республики.

Президент облокотился на ограду балкона и почтительно спросил сэра Чарльза:

— Угодно будет вашему превосходительству, чтобы я кратко информировал вас о положении республики в данный момент, о наших задачах и намерениях на ближайшее время?

Но лорд Орпингтон смотрел вниз, где на тротуаре толпилось население столицы, не переставая приветствовать гостя. Президент повторил свою фразу.

Представитель Наутилии повернулся и вместо ответа сам задал президенту неожиданный вопрос:

— Скажите, господин президент! Перед отъездом в вашу прекрасную родину я прочел все бывшие в моем распоряжении научные труды по ее экономике, географии и этнографии. Насколько мне помнится, там указывалось, что население обладает всеми типичными особенностями южных рас — черными курчавыми волосами, очень смуглыми лицами и живет в массе весьма бедно. Я вижу, что наши ученые, видимо, жестоко ошибались, во всяком случае, здесь есть какое-то недоразумение. Я видел сегодня тысячи народа, и мне бросилось в глаза, что все они ярко выраженные блондины или, в крайнем случае, шатены с очень белыми лицами и, кроме того, производят впечатление зажиточных людей. Положительно, я не видел ни одной женщины, на которой не было бы драгоценностей, и все они одеты по последней моде. Неужели культура вашей страны стоит на такой высоте?

Президент несколько замедлил ответом.

— О нет, милорд! — сказал он наконец с подчеркнутой любезностью.— Разве могло бы быть, что ученые вашей страны, прославившие свою науку по всему миру, ошибались? Они совершенно правы. Но дело в том, что население республики резко делится на две этнографические группы: городское и сельское. Сельское население действительно обладает указанными вами признаками южных рас, городское же восприняло высшую культуру и ассимилировалось с культурными северными нациями вплоть до внешних признаков. Что же касается общего благосостояния, которое вы так проницательно заметили, то с момента установления, взамен низвергнутой тирании, нынешнего глубоко демократического строя нация увеличила запас благ материальной культуры, и мы с гордостью можем сказать, что бедность в городах республики стала отжившим понятием.

— Это поразительно,— сказал задумчиво сэр Чарльз,—

я сочту долгом в первом же докладе довести до сведения моего монарха о таком изумительном прогрессе.

Генерал хотел спросить еще о чем-то, но президент, который, видимо, не очень хотел продолжать разговор на эту тему, снова осведомился, не желает ли лорд Орпингтон ознакомиться с политической обстановкой.

Сэр Чарльз взглянул в лоснящееся лицо президента веселыми глазами и подавил чуть заметный зевок.

— Не лучше ли будет, господин президент, отложить серьезные дела на завтра. Я, признаться, несколько ошеломлен новыми для меня впечатлениями, очарован вашим любезным приемом и цветником ваших дам.

Президент поклонился.

— Тогда я позволю себе оставить ваше превосходительство, чтобы не мешать вашему заслуженному отдыху.— И президент направился к выходу.

Но лорд Орпингтон остановил его жестом.

— Одну минутку, господин президент. Сегодня с корабля я видел за городом большое дымное облако. Это, вероятно, и есть ваши знаменитые нефтяные промыслы?

— Совершенно верно. Это главное богатство и опора будущего процветания нашей родины.

— А много у вас вышек? — быстро спросил сэр Чарльз.

— Сейчас в ходу около трехсот. К будущему году, при наличии свободных капиталов и ликвидации военных тягот, можно будет рассчитывать еще на двести.

— Гм...— сказал лорд Орпингтон,— благодарю вас, господин президент. Передайте мой сердечный привет вашей дочери.

Оставшись один, он раскинулся удобнее в шезлонге и долго смотрел вдаль.

В глазах его плавало дымное облако, корчило гримасы и улыбалось ему многообещающими улыбками. Улыбалось миллионами пудов нефти, жирной, масляной, сулящей вздутые пачки радужных акций, перевязанных резинками. Ибо хотя сэр Чарльз был рыцарски бескорыстен в служении родине, нефть, находившаяся на чашке душевных весов прославленного полководца, держала невидимую стрелку на середине в устойчивом равновесии.

«Это стоит труда»,— подумал он и после долгого размышления прибавил: — Каждый конквистадор, отправляясь за фортуной, избирал себе девиз. Я считаю нелишним восстановить этот прекрасный обычай. С одной стороны, я

должен сделать подарок моему отечеству, с другой — было бы излишне целомудренно забыть о себе. Следовательно, девиз у меня должен быть двойной, и я избираю его. Мой девиз — корона и нефть.

И сэр Чарльз сладко задремал в шезлонге, убаюканный ровным шелестом благоуханного моря и пышной листвы.

Глава четвертая
«ЗДЕСЬ НЕТ РЕБЯТ, ЗДЕСЬ ВСЕ КАПИТАНЫ»

По утрам умытое морскими глубинами розовое солнце вплывает в столицу Итля из-за острого массива лесистого мыса, и чашечки цветов в садах поворачиваются к его живительным ожогам.

Но в это достопамятное утро солнце было крайне удивлено, заглянув в город.

Цветы не обратили на него никакого внимания, и их лепестки были любопытно вытянуты к открытым окнам домов, откуда на всех улицах слышались вопли и рыдания.

Население Порто-Бланко провело эту ночь на открытом воздухе, любуясь феерическим великолепием иллюминации, цветных огней фейерверка в честь наутилийской эскадры и игрой голубых мечей корабельных прожекторов, пронизывавших стеклянную ширь залива.

Восхищенные граждане республики отправились вкушать сон только тогда, когда небо на востоке затянулось розоватой пленкой и с гор потянуло холодком.

Но столице не суждено было отдохнуть, ибо большинство вернувшихся в свои виллы обитателей обнаружило отсутствие драгоценностей и денег, заботливо припрятанных в домовые тайники на черный день.

Были очищены квартиры наиболее именитых и состоятельных граждан, и во всем городе не было дома, где в это утро не совершалась бы трагедия попранной собственности.

Жалобные стенания цвета итлийской нации не беспокоили, однако, крепкого сна генерала Орпингтона, и он согнал со своей груди дымную бабочку дремы только к полудню. Томно потянувшись в постели, он позвонил и спросил у вестового, который час.

— Двадцать две минуты двенадцатого, милорд. Разре-

шите доложить, милорд, что в приемной вас ожидает уже около часу главнокомандующий вооруженными силами республики. Каковы ваши распоряжения, милорд?

— Вы говорите, Джемс, главнокомандующий? — переспросил сэр Чарльз, почесывая в смущении левый глаз.— Но почему же вы не доложили мне раньше?

— Я не имел распоряжений вашей милости.

— Хм... Дайте мне утренний костюм и принесите кофейный прибор и черри-коблер. Попросите его превосходительство пройти на балкон и подайте кофе туда. Я сейчас выйду.

Сэр Чарльз аккуратно причесал перед зеркалом черные, тускло отливавшие платиновой проседью волосы, облачился в серый полувоенный костюм и бодрой походкой вышел на балкон.

Главнокомандующий вооруженными силами Итля поднялся ему навстречу и отчетливо отрапортовал с аффектацией почтительности:

— Честь имею представиться, ваше превосходительство, командующий вооруженными силами республики, генерал барон фон Брендель.

— Очень рад познакомиться, барон,— сказал сэр Чарльз с самой обаятельной улыбкой, на какую только был способен.— Надеюсь, вы простите, что я заставил вас ожидать, но в этом виноват исключительно любезный прием, оказанный мне вашими соотечественниками.

— О, ваше превосходительство, вы нисколько не затруднили меня. Сегодня на редкость прекрасное утро, и я имел возможность полюбоваться морем с вашего балкона. Главнокомандующий редко наслаждается природой, как совершенно правильно заметил один из наших величайших философов.

Обменявшись взаимными любезностями, оба государственных деятеля отдали честь отменному черри-коблеру и душистому кофе, и на предложение главнокомандующего предпринять небольшую прогулку по городу для ознакомления с обороной страны и ее войсками сэр Чарльз ответил немедля согласием.

Машина главнокомандующего плавно несла полководцев по улицам столицы, на которых затихли уже утренние стенания пострадавших, и толпа так же радостно приветствовала лорда Орпингтона, как и в предыдущий день.

Сэр Чарльз посетил здание военного министерства, имел краткую беседу по вопросам государственной обороны

с начальником генерального штаба, осмотрел казармы гвардии, артиллерийские склады, проехал в крепость и совершил обход всех фортов. Все находилось в блестящем порядке, везде была идеальная чистота, и сэр Чарльз был вполне удовлетворен, но вместе с выражением удовольствия в его лице залегло скрытое чувство недоумения, и всю дорогу обратно в отель он находился в состоянии глубокой задумчивости, как будто решал и не мог решить важный и тревоживший его вопрос.

Эта задумчивость была так велика, что он даже не слышал осторожно-почтительных вопросов генерала фон Бренделя, который расспрашивал о впечатлениях полномочного представителя дружественной державы.

Генерал заметил наконец странную рассеянность своего спутника и, так как он был пылким патриотом, приписал ее волнению и некоторому потрясению, испытанному лордом Орпингтоном при виде степени военного могущества республики.

За завтраком сэр Чарльз говорил о разных пустяках, интересовался географическими и этнографическими подробностями, по которым главнокомандующий не мог сообщить ничего существенного, ибо горделиво презирал все знания, не соприкасавшиеся непосредственно с наукой истребления и не обещавшие победных лавров и чинопроизводства.

Лорд Орпингтон гостеприимно подливал гостю портвейн и только в конце завтрака перешел наконец к вопросу, интересовавшему генерала фон Бренделя.

— Я должен отметить... не желаете ли сигару, барон? — сказал сэр Чарльз, придвигая коробку с манилламми,— что все виденное мною при любезном вашем содействии показало мне, что дело защиты Итля стоит на должной высоте. Конечно, заметен некоторый недостаток технического оборудования и последних усовершенствований в области оружия, но эти недостатки мы сможем восполнить, благодаря полной свободе, предоставленной мне его величеством в отношении снабжения ваших армий всем необходимым.

— Я не нахожу слов для благодарности вашему превосходительству от имени нации, борющейся за свою свободу против захватчиков и насильников,— вставил патетическую фразу генерал фон Брендель.

— Наутилия всегда поддерживала народы, бьющиеся под знаменем свободы,— нравоучительно заметил лорд

Орпингтон и продолжал: — Но разрешите мне, барон, выяснить одну деталь, повергающую меня в некоторое недоумение.

При этом великий человек сморщил лоб и глубоко затянулся.

— Мне бросилось в глаза одно странное обстоятельство. Я не видел нигде солдат! В военном министерстве, в казармах гвардии, в генеральном штабе, на фортах, на улицах, словом, всюду — я заметил только лиц командного состава, и притом в колоссальном количестве. Наличие такого многочисленного офицерского корпуса предполагает существование огромной армии. Но где она? Почему вы не показали ее мне? Я очень желал бы видеть ваш боевой материал.

Фон Брендель выпил залпом стакан портвейна и, когда ставил его на стол, уронил. Стакан покатился по скатерти и был пойман на самом краю стола.

— Чтобы ваше превосходительство могли уяснить себе замеченную вами, как вы изволили выразиться, странность, нам придется совершить небольшую экскурсию в прошлое страны,— сказал он, видимо волнуясь.

— Странно!.. Еще более странно! При чем тут история страны? В высшей степени загадочно. Будьте любезны изъясниться, генерал! Я вас слушаю!

Сэр Чарльз расположился поудобнее в кресле, закинув руки за голову.

Фон Брендель неуверенно уселся на кончик стула и попытался закурить папиросу.

— Позвольте заметить вам, барон, что попытки раскурить папиросу со стороны мундштука, как доказывает практика, совершенно безнадежны,— заметил сэр Чарльз с нескрываемой иронией.

Главнокомандующий республики нервно перебросил папиросу обратным концом, но затлевший мундштук обжег ему язык. Он яростно скомкал злополучный окурок и покраснел.

— Я слушаю,— сказал уже сухо лорд Орпингтон,— в моем распоряжении есть еще полчаса. После этого я вынужден буду вас покинуть для совещания с адмиралом Хроузоном.

— Простите, ваше превосходительство! Сию минуту!.. Некогда, когда республика входила как составная часть в великую империю Ассора,— начал барон срывающимся голосом,— покойный император Варсонофий Первый

Гвоздила был вовлечен интригами соседних великих держав в кровопролитную войну из-за восточного вопроса. Коалиция враждебных государств отправила морем огромные силы, и высадка их произошла на территории, занимаемой в настоящее время республикой...

— Разрешите поставить вас в известность, барон, что я проходил расширенный курс всеобщей истории в военной школе,— язвительно заметил сэр Чарльз.

— Виноват, ваше превосходительство! Это только необходимое вступление... Император был застигнут врасплох, мобилизация была проведена неудачно, отсутствие удобных путей сообщения не позволяло быстро перебросить нужное количество войск. Тогда население Итля, отличавшееся рыцарским благородством и ведшее свою родословную от героев, осаждавших Трою, повергло на высочайшее усмотрение свое пламенное желание создать национальный добровольческий корпус. Тронутый верноподданническими чувствами, особенно дорогими в такой тяжелый момент, император прислал благодарственный манифест и знамя формирующемуся корпусу, вышитое августейшими руками императрицы. Вслед за тем император выехал самолично, чтобы видеть своих героических подданных близ полей брани. В день его приезда корпус был выстроен на плацу для встречи императора. Варсонофий Первый подъехал к фронту и, восхищенный бравым видом доблестных воинов, громко произнес положенное по уставу приветствие: «Здорово, ребята!» Но в ответ не последовало: «Здравия желаем, ваше величество»,— на плацу царило гробовое молчание. Удивленный император повторил приветствие, но оно снова было встречено молчанием. Варсонофий Первый отличался грозным характером и чрезвычайной вспыльчивостью. Он крикнул приветствие в третий раз таким голосом, что в самых дальних углах плаца лошади встали на дыбы от его крика. Опять молчание. Взбешенный император потребовал командира корпуса и грозно спросил: «Что значит это неслыханное поведение войск?» Командир корпуса, поседевший в военных грозах, склонился перед императором и ответил: «Ваше величество, они молчат потому, что здесь нет ребят,— здесь все капитаны». И это была истинная правда. Все воины корпуса были потомки благородных фамилий и носили звание капитанов. И это звание является издавна наследственным и узаконенным в республике для всех граждан, вступающих в ряды войск.

Сэр Чарльз раздраженно пожал плечами.

— Я удивляюсь, барон! Если вы думаете, что мой монарх послал меня сюда для выслушивания исторических анекдотов,— вы ошибаетесь. Я здесь для защиты человеческих прав и свободы. Но я хочу знать, как вы надеетесь воевать, с какими силами? Какие части у вас на фронте? Я думаю, что там-то у вас не только капитаны, но и нижние чины, и в достаточном количестве?

Барон низко опустил голову и нерешительно ответил:

— Нет, ваше превосходительство... Там тоже капитаны, но только химические.

— Как? — спросил пораженный сэр Чарльз.— Что же, у вас исключительно химическая война?

— Никак нет. Вы не совсем поняли меня, ваше превосходительство. Вследствие отсутствия в республике фабрик, вырабатывающих погонные галуны, вновь произведенным капитанам их рисуют химическим карандашом, и отсюда происходит название «химический капитан».

— Это неподражаемо,— сказал разгневанный лорд Орпингтон,— и вы полагаете с этими химическими субъектами отстоять вашу родину?

— Мы рассчитываем на благородные чувства вашего коронованного повелителя и его рыцарскую душу. Мы полагаемся на ваш экспедиционный корпус, ваше превосходительство, для которого мы могли бы предоставить наш командный состав...

— Что? — вскрикнул лорд Орпингтон, вскочив с кресла,— мой корпус? Вы наивны, милостивый государь! Вы думаете, что солдаты его величества — пушечное мясо для добывания чужих каштанов? Ваш командный состав? Простите меня, но я не дам вашим капитанам, ни потомственным, ни химическим, командовать даже одним моим нижним чином. И потом, не говоря уже о международных осложнениях, грозящих возникнуть, если части наутилийской армии примут непосредственное участие в боях, разрешите указать вам, что мои солдаты привыкли сражаться в условиях полного комфорта, которого ваша республика не в состоянии им доставить. Ни один из моих храбрецов не пойдет в бой без уверенности, что в окопах есть парикмахер, который бреет его два раза в день, и что по возвращении из атаки его ждет теплая ванна с одеколоном. А я, следуя данным мне короной инструкциям, вовсе не запасался фронтовой нормой походных парикмахерских и купальных комнат.

— Но, может быть, мы могли бы оборудовать это своими средствами? — спросил ошеломленный главнокомандующий Итля.

— Я даже не желаю слышать об этом! И вообще должен вам сказать, что я не могу подыскать достаточно сильных выражений, чтобы выразить мое неудовольствие. И на основании полномочий, врученных мне его величеством, я вынужден вмешаться в систему вашего военного управления. Вмешаться ультимативно, ибо я не могу допустить, чтобы неумелое ведение военных операций привело к гибели права и справедливости и торжеству анархии и насилия. Завтра вы объявите приказом по армии, что всякие капитаны упраздняются и обращаются в нижних чинов.

— Но это грозит восстанием, милорд!

Сэр Чарльз выпрямился и полным достоинства движением указал на рейд, где неподвижно синели огромные силуэты кораблей.

— О, на этот случай инструкция позволяет мне применить к делу не только моих солдат, но и пушки моих дредноутов. Сообщите вашим капитанам, что эти пушки имеют калибр шестнадцать дюймов и вес бортового залпа «Беззастенчивого» больше, чем весят все капитаны Итля.

— Ваше приказание будет исполнено, ваше превосходительство! — щелкнул шпорами побледневший фон Брендель.

И, споткнувшись от волнения, направился к дверям.

— Погодите, барон,— остановил его сэр Чарльз,— сегодня я отдам приказ высадить к ночи первую бригаду на берег. Молодцам нужно помещение.

— Лучшие казармы города приготовлены для войск его величества две недели тому назад.

— Наконец я вижу одно толковое распоряжение! Но это не все, барон. Мои солдаты — цвет войск его величества, отборная и лучшая молодежь. Они оторваны от своих семей и возлюбленных и обречены на долгое пребывание в дружественной, но чужой стране. Им нужно создать подобие семейного счастья. Поэтому я прошу вас, барон, принять необходимые меры, чтобы войска не терпели недостатка в женском внимании и ласке. Желательно, чтобы было создано специальное учреждение, где это внимание централизовалось бы под медицинским надзо-

ром, во избежание распространения болезней. Все расходы будут оплачены правительством его величества.

Барон фон Брендель протестующе поднял руку.

— Могу уверить, ваше превосходительство, что в создании специального учреждения нет никакой надобности. Женщины республики обладают высоко развитым чувством патриотизма и готовностью принести себя на алтарь отечества. Они умеют быть благодарными тем, кто защищает их жизнь и свободу. И они охотно пойдут навстречу своим освободителям, за исключением подонков общества из низших классов, зараженных социалистическими бреднями. Опасности же распространения заразы нет, так как женщины республики обладают завидным здоровьем.

И генерал фон Брендель скрылся в дверях с затихающим звоном шпор.

Глава пятая
ГЕММА НА «АМЕТИСТЕ»

В этой главе пришло время напомнить, что в состав эскадры лорда Орпингтона входил легкий крейсер «Аметист», одно из новейших судов наутилийского флота, с турбинными двигателями и максимальной скоростью хода в тридцать восемь узлов.

«Аметистом» командовал двадцатичетырехлетний коммодор, баронет Осборн, известный личному составу морских офицеров его величества под именем «блажного Фрэди».

Высокое служебное положение баронета Осборна, при наличии строгого возрастного ценза для командиров военных судов, объяснялось исключительными причинами, не предусмотренными морским законодательством Наутилии.

Баронет был осязательным последствием юношеской шалости Гонория XIX, отдавшего дань высокого благоволения прославленной в те дни в столице Наутилии опереточной примадонне. В ребенке, появившемся на свет через год, сохранились основные качества родителей — повышенная эмоциональность и влюбчивость и острая любовь к легкой музыке.

Эти качества делали молодого коммодора несколько легкомысленным, но никому не пришло бы в голову

сказать, что он не может нести с честью звание командира одного из лучших кораблей монархии.

Кроме того, внешность коммодора Осборна была настолько обаятельна, что перед отправлением эскадры из Наутилии, на прощальной аудиенции, Гонорий XIX удостоил лорда Орпингтона милостивой шуткой:

— Я нашел полезным придать вам, уважаемый генерал, маленького Фрэди. Он будет поистине образцовым экспонатом нашей мужской красоты, а так как Итль находится в субтропической полосе и климат располагает к наслаждениям, я думаю, что Фрэди окажется не бесполезен по части дипломатии, которая везде зависит от женщин.

Эти остроумные слова повелителя и были причиной тому, что баронет Осборн лежал на турецком диване своей каюты, на рейде Порто-Бланко, насвистывая вальс из «Цыганского барона» и разглядывая альбом японских фривольных гравюр.

В открытые большие иллюминаторы лилась приятная свежесть и баюкающий плеск воды, лизавшей борт «Аметиста».

Наружная дверь каюты распахнулась и пропустила вестового, тонкого смуглого юношу с удивительной для матроса-простолюдина гибкостью и пластичностью движений.

Фрэди повернулся к вошедшему.

— А? — сказал он, слегка зевнув.

Дисциплина наутилийского флота славилась во всем мире своей суровостью, сохранившей воспитательные приемы железного средневековья, и поэтому было вдвойне поразительно, что вестовой стремительно бросился в кресло и раздраженно сказал певучим голосом:

— Вы знаете, Фрэди, что я терпеть не могу, когда вы валяетесь, как тюлень, и рассматриваете ваши неприличные картинки. Это оскорбительно для меня. Если бы меня не было,— вы имели бы право взвинчивать себя искусственным образом, но в моем присутствии...

Баронет Осборн немедленно встал.

— Простите! Но мое занятие не имеет никакого отношения к вам. Уверяю вас, что ваши возможности неисчерпаемы и их хватит на всю мою жизнь. Но я интересуюсь этими альбомами как художник. Эти неподражаемые линии...

— Я имею смелость думать, что мои линии не хуже?..

— О боже. Разве я могу сомневаться?..

— Ну и довольно об этом. Какая дикая жара в этой искусственной стране.

— Искусственной? Что вы хотите этим сказать?

Необычайный вестовой встал и подошел к иллюминатору.

— Да разве вы не видите? Посмотрите сюда! Какой-то игрушечный розовый берег, кукольные дома, деревья, похожие на фазаньи перья. Я задыхаюсь от этого вида. Разве здесь может быть что-нибудь похожее на наши вересковые поля?

— Вблизи все это имеет совершенно натуральный вид. Деревья даже грандиозны! — сказал коммодор.

Вестовой прищурился.

— Вблизи?..— он помолчал и добавил: — Впрочем, об этом после. Я хочу принять душ. Вас не затруднит подержать мне простыню. Я чувствую страшное неудобство от отсутствия прислуги и, право, не понимаю, как можно решиться на такие мучения ради вас?..

Баронет Осборн молча последовал за своим вестовым в ванную комнату.

Пожалуй, было бы скромнее оставить эту странную пару вдвоем в блестящей эмалированной ванной, но соблюдение скромности вообще не входит в задачи этого романа, поэтому мы уничтожим волшебной палочкой легкую переборку, разделяющую каюту баронета и ванную.

За этой переборкой нам видно, как спадают на пол лебединым пухом белые матросские штаны и голландка и под сверкающими струями душа остается во всей своей воздушной и в то же время могущественной прелести нагая царевна Лебедь.

Ибо настало время сказать, что вестовой баронета Осборна — танцовщица королевского балета Наутплии мисс Гемма Эльслей.

Может быть, после этого читателю захочется вглядеться пристальней в это тонкое, соблазнительное тело, блистающее влажными отсветами под поющим серебром душа, но, увы, поздно: ревнивая простыня, накинутая на него почтительными руками коммодора, уже скрывает его очертания...

Освеженная душем, мисс Эльслей блаженно раскинулась на диване.

Фрэди нежно взял ее руку для поцелуя, но она отдернула ее.

— Погодите, Фрэди... Мне нужно сказать вам несколько неприятных слов.

— Вам не идут неприятные слова, дорогая,— ответил коммодор, пытаясь увильнуть от нежелательного разговора.

— Я думаю, что я тоже не лишена вкуса, Фрэди, и могу соображать, что мне идет, а что не идет. Вы сказали, что вблизи эти деревья имеют грандиозный вид,— пеняйте же на себя за этот разговор. Я желаю видеть эти деревья, желаю видеть людей, говорить с ними... Я сижу вторую неделю, с минуты отплытия, безвылазно в этом вашем стальном инкубаторе, где от жары плавятся мозги. И я заявляю вам, что я хочу на берег. Хочу на берег, вы понимаете!..

Она несколько повысила голос и раздраженно отбросила туфельку с ноги.

Коммодор Осборн развел руками.

— Гемма! Вы хотите невозможного. На берег вам нельзя. Пустить вас матросом я не могу, потому что общество матросов для вас мало удовлетворительно и небезопасно. Появление же ваше в женском облике может вывести всю историю на свежую воду и грозит моей карьере самыми страшными последствиями. Здесь, на корабле, мои офицеры — свои ребята и относятся к вам со всем обожанием, какого вы заслуживаете, но если об этом узнает сэр Чарльз или адмирал Кроузон...

— Я думаю, Фрэди, что сэр Чарльз и адмирал — джентльмены и также не лишены, несмотря на почтенный возраст, способности к обожанию.

Командир «Аметиста» ответил уныло:

— По отношению к вам, конечно! Но ко мне вряд ли. Об этом будет немедленно сообщено рапортом его величеству, и я уеду командовать сторожевым судном на котиковые промыслы лет на пять. А там очень холодно и скучно.

Танцовщица откинулась на спинку дивана, и глаза ее стали похожи на натертые в темноте головки фосфорных спичек. Мальчишески дерзкая голова ее с коротко остриженными синеватыми волосами вырисовалась на лиловой бархатной портьере, как драгоценный профиль геммы, вырезанной на аметисте.

— А мне скучно здесь, в вашей клетке!

— Но, Гемма, разве вам наскучила моя любовь? — страстно сказал коммодор.

— Милый Фрэди! Для того чтобы любить вас постоянно,— от вас нужно иногда отходить. Вы чересчур красивы для мужчины. Когда я долго смотрю на ваше лицо, не видя рядом более простых, неправильных и живых, у меня бывает такое впечатление, как будто меня насильно накормили сахарином. Так что мое желание попасть на берег вызвано вашими же интересами.

Коммодор взволнованно зашагал по каюте.

— Нет!.. Это невозможно, невозможно! — сказал он отчаянным голосом, хрустнув пальцами.— Это совершенно сумасшедшее желание!

Балерина вскочила и подошла вплотную к коммодору.

— Хорошо же, Фрэди,— протянула она нараспев,— я заставлю вас пожалеть о вашем деспотизме и неуступчивости. Неужели вы думали, что меня можно заставить сидеть взаперти на этом скверном корыте, где воняет горелой масляной краской? Больше я к вам не обращаюсь с просьбами. Я сама найду способ добраться до этого запретного берега.

Фрэди неосторожно улыбнулся.

— Я не думаю, дорогая, чтобы это было возможно. Ни одна шлюпка не примет вас без моего приказания.

— Шлюпка? — Мисс Эльслей расхохоталась.— О вы, ягненок! Я плаваю, как рыба. А потом я могу в течение суток так свернуть голову любому из ваших лейтенантов, что он повезет меня на своей спине. Не забывайте, Фрэди, что моя мать креолка.

— Гемма! Я запрещаю вам делать глупости! — сказал коммодор как можно суровее.— Не забывайте, что на судах его величества существует дисциплина...

— Что? Это вы мне говорите? Мне?.. Очень хорошо! В таком случае, сэр, извольте запомнить, что с сегодняшнего дня я сплю в своем помещении с запертой дверью, и это будет продолжаться до тех пор, пока я не буду там.

И мисс Эльслей решительно указала в сторону берега.

— Но...

— Никаких «но»!.. Разговор кончен! Будьте добры, дайте мне со столика, вон там, Стивенсона. Я предпочитаю разговаривать с книгой.

Она взяла книгу и уселась рассерженной белкой в угол дивана.

Коммодор Осборн нерешительно подошел к столу и в раздумье зачертил разрезательным ножом по сукну. Потом, как будто решившись, он бросил нож и направился к мисс Эльслей, но остановился на полдороге, услышав стук в дверь.

Он приоткрыл дверь и увидел дежурного радиотелеграфиста.

— Радиограмма от флагмана, сэр,— сказал телеграфист.

Фрэди захлопнул дверь и вернулся к столу.

Развернув листок, он прочел приказ о высадке текущей ночью первой бригады и о своем назначении командовать десантной операцией.

Озабоченное лицо коммодора просветлело, и он весело сказал мисс Эльслей:

— Перестаньте дуться, Гемма! Сегодня ночью я доставлю вам удовольствие. Я возьму вас на берег.

— Неужели? Я всегда была уверена, Фрэди, что у вас есть здравый смысл и вы не захотите доводить дело до открытой войны.

— Вы смешная малютка! Когда это можно, я не стану отказывать. Повторяю вам, что отпускать вас в компании матросов неприлично и не улыбается вам самой, съезжать же мне с вами на берег неудобно, потому что столь фамильярное общение командира с матросом было бы дурным примером и подрывало бы дисциплину, строгое соблюдение которой крайне важно в чужой стране.

— Вы опять хотите читать квакерскую проповедь?

— Нет, нет... Одним словом, сегодня ночью я беру вас с собой на законном основании, потому что при десантной операции мне необходим вестовой. Но, конечно, я не собираюсь утруждать вас. Вы можете полюбоваться на эту страну, которую вы сами назвали искусственной. Я, по правде, не вижу в ней ничего интересного.

— Но мне говорили, что женщины здесь красивы до ненатуральности.

— Не знаю. Не обращал внимания,— дипломатично ответил коммодор.— В два часа ночи начнется высадка, будьте готовы к этому времени. А теперь я хотел бы, чтобы вы поцеловали меня, моя дорогая!..

Глава шестая
СПИНА, ЗАСЛОНЯЮЩАЯ ПОЛИТИКУ

Вечером сэр Чарльз принял на «Беззастенчивом» президента Аткина, министра внутренних дел и главнокомандующего итлийской армией.

Генерал фон Брендель приехал на самое короткое время, чтобы показать лорду Орпингтону текст приказа об упразднении капитанов.

Сэр Чарльз собственноручно сделал некоторые поправки, упиравшие на большую энергичность выражений.

Положив окончательно средактированный приказ в портфель, главнокомандующий обратился к сэру Чарльзу с видом глубокого волнения:

— Приказ, ваше превосходительство, будет расклеен по городу на рассвете. Осмелюсь просить, чтобы ваше превосходительство приняли все зависящие меры, дабы первая бригада вверенных вам войск была в это время уже на берегу, в полной боевой готовности, так как данный приказ, на который наше правительство согласилось лишь из чрезвычайного уважения к особе его величества, вашего повелителя, нарушает один из основных законов республики и, принимая во внимание большую численность упраздняемых капитанов...

— Не беспокойтесь, барон! Мои солдаты не опаздывают. Кроме того, по моим мимолетным наблюдениям, я не ожидаю от ваших капитанов спартанского героизма. Если же они до полудня не явятся в казармы для записи в ряды армии, я отдам приказ командиру бригады, чтобы их согнали туда принудительно. Сколько, по вашим подсчетам, у вас этих капитанов?

— Приблизительно около тридцати тысяч.

— Ну вот!.. Они получат в качестве инструкторов мой офицерский кадр, и могу ручаться, барон, что через две недели вы будете иметь вполне боеспособную армию в составе двух дивизий. Наши офицеры умеют дисциплинировать даже негров...

— Тогда разрешите откланяться, ваше превосходительство?

— Не смею задерживать.

Проводив генерала фон Бренделя до трапа, лорд Орпингтон возвратился в каюту, где президент Аткин делился с адмиралом Кроузоном воспоминаниями о своем давнишнем пребывании в Наутилии, а министр внутрен-

них дел просто скучал и просматривал десятки раз прочитанные листы докладной записки о внутреннем политическом положении республики.

При входе сэра Чарльза он поднялся и вручил толстую, прошитую шелковым шнуром папку со словами:

— Имею честь передать составленный мною, по поручению правительства, доклад. Ваше превосходительство получит из него полную информацию по всем вопросам текущего момента как политическим, так и экономическим.

— Хорошо,— ответил лорд Орпингтон,— благодарю вас, господин министр. Я сегодня же ночью прочту его самым внимательным образом. Пока же я воспользуюсь вашим любезным присутствием, чтобы получить живую информацию, которая будет яркой иллюстрацией к официальным материалам.

— Я весь к услугам вашего превосходительства.

— Тогда присядем здесь. Пусть уважаемый президент оживляется воспоминаниями юности, а мы поговорим о деле. Не желаете ли,— это наша национальная шалость,— улыбнулся лорд Орпингтон, придвигая министру бокал, в котором переливались цветами радуги тонкие слои ликеров,— очень остро... Первый вопрос, который меня интересует, это — количественная величина рабочего населения в столице и его политические настроения. Имеются ли элементы, поддающиеся коммунистическому безумию? Какова организация политического надзора?

Министр внутренних дел пригубил rainbow[1], вытер жидкие пегие усы и начал отвечать с точной и скучной обстоятельностью.

Он отметил, что рабочее население представляет собой крайне незначительную группу в столице, главное же большинство пролетариата прикреплено к нефтяным промыслам, где и живет в специальном рабочем городке, под усиленной охраной, за сетью проволочных заграждений, и указал, что правительство Итля изобрело особый, гуманный, но вместе с тем решительный способ борьбы с внедрением в низшие классы социальных бредней. Лица, замеченные в склонности к крайним веяниям, немедленно изолировались вместе с семьями и вывозились специальными поездами на фронт, где по ночам пропускались за оборонительную линию в расположение противника.

---

[1] радугу *(англ.)*.

— Таким образом, сэр, они непосредственно попадают туда, куда влекут их политические симпатии. Правда, при этом бывали случаи, что противник, встревоженный ночным движением, открывал по изгнанным ураганный огонь и никто из них не добирался живым до желанной цели. Но это относится к случайностям войны и дает правительству возможность пропагандировать среди остающихся в республике рабочих сведения о зверствах противника, не щадящего даже невинных женщин и детей, в то время как наше правительство, трактуемое коммунистическим сбродом как эксплуататорское и капиталистическое, не позволяет себе уничтожать своих политических противников. Да, сэр,— смертная казнь в республике не существует, и мы гордимся этим. А если эти несчастные и погибают от пуль и снарядов противника при переходе фронтовой линии, то, конечно, это не слишком удручает нас, тем более что мы неповинны в жестокостях врага,— закончил министр с чувствительным вздохом.

— Это, признаюсь, остроумный метод,— сказал сэр Чарльз,— я не премину запомнить его на всякий случай. Блестящие приемы всегда вырабатываются на практике.

— Я польщен, сэр. Ваша похвала является для меня высшим удовлетворением.

Окончивший разговор с адмиралом, президент Аткин приблизился к собеседникам.

— Да,— сказал он,— я могу с гордостью заявить, что принципы истинной социал-демократии, впервые примененные во всей широте и последовательности в нашем отечестве, являются показателем того, что умеренный и правильно понимаемый социализм есть лучшая форма правления.

— Простите, господин президент, но я должен заметить, что, с моей точки зрения, лучшей формой правления является осуществляемая моим монархом,— заметил несколько сурово лорд Орпингтон, которого шокировала бестактность президента.

Но президент Аткин недаром был адвокатом. Поняв совершенную неловкость, он не растерялся и добавил с учтивым поклоном:

— Вы не дали мне докончить мысль, милорд, и потому неправильно поняли мои слова. Я хотел сказать: умеренный и правильно понимаемый социализм, сохраняю-

щий связи с промышленным капиталом, под эгидой благодетельной и мощной власти монарха.

Лорд Орпингтон был удовлетворен и с чувством пожал руку президента.

Было поздно, и гости поднялись.

Перед прощанием президент вынул из своего портфеля изящный кожаный футляр и, выпрямив грудь, подал его лорду Орпингтону.

— Республика,— сказал он торжественно,— просит вас, милорд, не отказать ей в чести принять высшую степень ее ордена, орден Демократической Свободы. Пусть на вашей груди пламенный цвет орденской ленты напоминает вам всегда пламенную любовь населения к вам и к нашему могущественному союзнику Наутилии.

И, раскрыв футляр, президент Аткин с помощью министра внутренних дел возложил на генерала Орпингтона знаки ордена.

Сэр Чарльз принял дар республики с должным уважением и благодарностью и проводил ее сановников.

Вернувшись в каюту, он с облегчением вздохнул, снял ленту, уложил ее в футляр и сел писать письмо жене.

Письмо было кратко, как вся переписка сэра Чарльза, в которой он выработал особый лаконический и деловой стиль.

«Милая Генриетта! Я говорил вам, что еду в исключительно забавную страну. Она оказалась еще забавнее, чем я предполагал. Думаю, что мне удастся здесь избавиться навсегда от приступов хандры. Даже климат этого места располагает к беззаботному веселью. По возвращении у меня будет чем развлечь вас и его величество. Поцелуйте Роберта и расскажите ему, что сегодня я получил от здешних властей орден, который страшно пойдет шимпанзе Аяксу.

Ваш *Чарльз*».

Запечатав письмо, сэр Чарльз позвонил и приказал вестовому попросить командира экспедиционного корпуса.

— Простите за беспокойство, генерал, но я хочу сказать только, чтобы десант начался без опоздания. Кстати, кого вы назначаете командовать десантной бригадой?

— Полковника Маклина, сэр Чарльз.

— Прекрасно! Он, думаю, будет на месте. Опытный, а главное, уравновешенный человек. Я, конечно, нимало

не сомневаюсь, что эти знаменитые капитаны будут послушны, как овечки, но все же... И передайте Фрэди Осборну, чтобы он не выкидывал никаких фарсов. А затем позвольте пожелать вам доброй ночи и удачи. В случае чего-нибудь чрезвычайного пошлите разбудить меня.

И, отпустив командира корпуса, лорд Орпингтон погасил лампу, зажег настольный ночник и безмятежно заснул.

. . . .

Первая рота десантной бригады высадилась на пристань, когда небо на востоке расплылось лимонной желтизной, и рассыпалась цепью по территории порта, чтобы не допустить к месту высадки досужих обывателей.

Лощеные, крепкие солдаты стояли, опираясь на винтовки, в десяти шагах друг от друга, непроницаемой ледяной стеной.

Их суровое молчание и неподвижные позы так противоречили сиреневой дымке, окутывавшей набережную, ласково ароматному воздуху, что им самим становилось неловко, и когда из переулков осторожно появились первые фигуры любознательных республиканцев, солдаты не выдержали и радушно заулыбались подходящим.

Итлийцы подбирались к часовым, ласково кивали головами, жестикулировали, дарили цветы и фрукты. Офицеры смотрели сквозь пальцы на явное нарушение устава, потому что восторженные лица жителей совершенно ясно говорили, что возможность каких-либо эксцессов в корне исключена.

Под конец и они приняли участие в этом братании, перебрасываясь воздушными поцелуями с хорошенькими продавщицами фруктов.

Только когда в толпе обывателей появились загадочные личности, молниеносно носившиеся всюду и предлагавшие солдатам груды бумажных денег Итля за королевские монеты Наутилии и показывавшие из-под своих плащей бутылки с таинственным содержимым, офицеры дали короткие свистки и приказали толпе отойти на двадцать шагов.

Приказ был исполнен с почтительной покорностью, но и с этого расстояния солдаты и зрители продолжали обмениваться словечками и улыбками.

А за линией часовых подходившие один за другим к набережной катера выбрасывали на известковые плиты все новые и новые группы солдат.

С тяжелым грохотом выкатывая из понтонов орудия, ржали повеселевшие и почуявшие под ногами твердую землю лошади.

Баронет Осборн высадился с первой ротой и сидел, раскачивая ногами, на фундаменте подъемного крана. Ему смертельно хотелось спать, и, борясь с дремотой, он пересвистал все припомнившиеся ему мотивы.

Гемма, вооруженная коротким карабином,— она взяла его несмотря на все уговоры коммодора: ее пламенному воображению чудились битвы и романтические подвиги,— с момента высадки покинула своего возлюбленного и все время находилась в цепи, разглядывая население Итля и пытаясь объясниться на придуманном ею самой языке.

Когда толпу отогнали, она вернулась к баронету.

— Вы оказались правы, Фрэди.— Она стукнула прикладом карабина по камню набережной.— Ничего интересного! Я даже жалею, что поехала, и боюсь за свой цвет лица после сегодняшней бессонницы.

— А вам понравились деревья? Ведь они действительно огромны,— ответил, зевая, баронет.

Гемма бросила презрительный взгляд на громадные платаны, окаймлявшие набережную.

— Конечно, они достаточно велики, но я ведь живу не для деревьев. А среди этих смешных людей ни одного мало-мальски интересного мужчины. Вот теперь, Фрэди, я понимаю, до чего вы красивы.

— М-гм,— лениво промычал коммодор.

— Однако вы не очень любезны сегодня. Я не думала, что вы такой соня. Но поглядите, Фрэди, там, кажется, начинается что-то интересное.

Солнце уже взошло, бросив на белый известняк набережной густые индиговые тени. В его серебряном блеске на стене противоположного дома горел яркой зеленью приклеенный на штукатурку лист бумаги.

Из переулка, выходящего на набережную, появилась небольшая кучка итлийских капитанов. Они направились к цепи гордой и независимой походкой, очевидно, собираясь приветствовать товарищей по оружию, но по дороге зеленый листок привлек их внимание. Они остановились у стены, и по мере чтения лица их вытягивались, исказились гримасами гнева и злобы, послышались возгласы возмущения и крепкая ругань.

В этот именно момент Гемма и обратила внимание коммодора на их группу.

Он стряхнул остатки сна и расхохотался.

— Действует! Это, значит, тот самый приказ, о котором говорил мне адмирал Кроузон. Пожалуй, Гемма, сейчас начнется романтика. Но смотрите, смотрите, что с ними делается?

Офицеры сорвали со стены лист и яростно потрясали кулаками в сторону войск его величества. Потом, словно по команде, они разом повернулись и бросились в город, оглашая воздух бешеными криками.

— Ну, сейчас начнется история,— сказал баронет.

Перепуганные происшедшим, обыватели начали разбегаться, услышав слова команды и увидев, как пулеметчики, выкатив вперед аппараты, спешно закладывали ленты.

— Неужели будет стрельба? Боже, как это романтично! — вскрикнула Гемма.— Теперь я благодарна вам, Фрэди, что вы взяли меня с собой.

Коммодор встал с крана и подошел к залегшей цепи, и как раз в эту минуту из-за угла на набережную выехало открытое ландо. В нем сидела женщина, одетая в лунную тафту, и лицо ее показалось баронету таким небывалым, таким ошеломляюще прекрасным, что он даже зажмурился на мгновение, как от блеска залпа. Но женщина также заметила коммодора, и глаза ее расширились удовольствием и вспыхнули ярче.

Когда баронет решился вновь разлепить ресницы, он встретил такой же восторженный взгляд. Вечный поединок зрачков, такой волнующий и острый,— первая не выдержала незнакомка. На лице ее запылала полнокровная утренняя заря смущения, она крикнула что-то кучеру и повернулась к офицеру спиной.

Но, увы, дочь главы республики,— ибо это была она,— забыла, что такой маневр не спасает положения. Глубокий вырез платья показал баронету неподражаемую линию спины, напоминавшую ему несравненное искусство японских художников. Он шумно вздохнул и впился глазами в эту линию.

Он не слышал, как рядом что-то говорила ему яростным голосом взбешенная Гемма, он не чувствовал даже трех страшных щипков выше локтя, которыми забытая любовница наградила его. Взгляд его оставался прикован-

ным к совершенству очаровавшей его линии, пока она не скрылась в облаке пыли.

Подошедший к нему командир бригады, полковник Маклин, седоусый и суровый воин, спросил:

— Бригада высажена, баронет! Что ей дальше делать?

— Ей нужно запретить показывать спину! Запретить! Это производит прямо оглушительное впечатление! — восторженно сказал Фрэди, продолжая смотреть в сторону скрывшейся коляски.

— Сэр Осборн! Я считаю вашу шутку неуместной! Моя бригада никому не показывала и не покажет спины,— в страшном гневе ответил старый солдат.

Баронет посмотрел на него, как человек, внезапно разбуженный после чудесного сна.

— Ах, бригада! Простите, полковник! С бригадой делайте, что хотите. Раз она вся на земле,— я, как моряк, отплываю...

Он повернулся к Гемме, но ее не было рядом. Встревоженный баронет бросился разыскивать своего вестового в солдатских рядах, но его поиски и расспросы оказались безуспешными.

Гемма исчезла.

Глава седьмая
НЕФТЬ ГУСТЕЕТ

Восстания не произошло. Капитаны ограничились тем, что излили свое бешенство и злобу в яростных ругательствах, исписали все стены Порто-Бланко непристойными надписями, относившимися к лорду Орпингтону и паутилийскому правительству, и поголовно напились пьяными с отчаяния.

Бригаде экспедиционного корпуса пришлось потрудиться весь день в поте лица, обходя улицы, дома и притоны столицы, чтобы подобрать бесчувственные тела итлийских воинов и доставить их на грузовиках в казармы.

Но сомнамбулическое состояние захваченных чрезвычайно облегчало их подсчет, так как они были уложены рядами на обширном плацу казарм, и два счетчика к закату окончили без труда несложную работу по выяснению численности кадров будущей армии.

Всего оказалось 28 733 капитана в разных обер-офицерских чинах, девять полковников и один генерал-майор.

Генерал и полковники напились и попали в казармы по недоразумению, так как грозный приказ касался лишь капитанов, а это криминальное звание принадлежало только обер-офицерам.

Поэтому штаб-офицеры были приведены в чувство нашатырным спиртом и с извинениями отпущены по домам.

Остальные переночевали во дворе, под охраной наутилийских патрулей, рано утром были быстро рассчитаны инструкторами на взводы, роты, батальоны, полки и построены для встречи сэра Чарльза, который должен был приехать на смотр к полудню вместе с генералом фон Бренделем.

Едва автомобиль командующего показался в воротах, полковник Маклин сурово скомандовал: «Смирно!» — и доложил вышедшему из машины лорду Орпингтону:

— По произведенному подсчету, сэр, налицо двадцать восемь тысяч семьсот тридцать три капитана, что составляет полный состав двух дивизий. За время формирования армии, сэр, происшествий никаких не случилось.

— Видите, барон,— обратился лорд Орпингтон к фон Бренделю,— я же говорил вам, что вы получите прекрасную армию и без всяких осложнений.

— Я преклоняюсь перед вашим гениальным провидением, милорд,— сказал учтиво итлийский полководец.

— Сейчас я проверю их здравую логику,— ответил сэр Чарльз и прошел на середину фронта.

— Здравствуйте, капитаны! — произнес он мягким, повелительным голосом.

Фронт ответил молчанием.

Лорд Орпингтон сделал удивленный вид и спросил:

— Я поражен вашим молчанием! Почему вы не отвечаете мне, господа, воинским приветствием? Неужели я не достоин его? Какова причина вашего молчания?

И тогда в благоговейной тишине плаца взволнованный голос сказал любовно-почтительно:

— Здесь нет капитанов, сэр, здесь все ребята.

Сэр Чарльз просиял, бросил радостно: «Здорово, ребята!» — и услыхал в ответ оглушительное и бурное: «Здравия желаем, ваше превосходительство».

Он приложил руку к козырьку.

— Я очень рад, что вы оказались настоящими патриотами и здравомыслящими людьми. Мой монарх желает видеть ваше отечество сильным и могущественным. Через

две недели я рассчитываю услышать, как вы погоните врага. Молодцы, ребята!

И под вторичный взрыв «рады стараться» лорд Орпингтон попрощался с полками, чтобы отправиться на вокзал, для поездки на нефтяные промыслы, куда давно тянула его неписаная инструкция и настойчивые влечения сердца.

По дороге к вокзалу он сказал фон Бренделю:

— Теперь вы видите, что даже самые прочные исторические традиции можно поставить вверх ногами при достаточной решительности и в то же время такте. С этого дня ваши молодцы будут гордиться званием ребят, как прежде гордились званием капитанов.

— Республика впишет ваше имя золотыми буквами в свою историю, сэр,— вставил главнокомандующий давно приготовленную фразу, для которой до сих пор не находил случая.

. . . .

На промыслах были заблаговременно предупреждены о предстоящем прибытии великого человека Наутилии. Поэтому управление промыслов приняло все меры, чтобы показать товар лицом.

В предшествующие два дня беспрерывно подходившие из столицы товарные поезда выбрасывали из широких пастей вагонов целые сады оранжерейных растений и цветов, платформы опрокидывали горы золотого морского песка, выгружались ковры и яркие расшитые ткани.

Добыча нефти в эти дни была заброшена, и толпы согнанных рабочих украшали промыслы. Дороги между вышками усыпали песком и постлали по ним ковровые дорожки; вокруг вышек, в специально выкопанные канавы, засыпанные свежей землей (земля промыслов, отравленная нефтью, убивала все живое),— посадили рассаду, которая яркими узорами образовывала демократические лозунги республики: «Да здравствует разумно понимаемая свобода», «рабочие, не требуйте невозможного», «долой классы, да здравствует умеренное равенство богатых и бедных», «женщина в демократическом обществе должна быть красива», «дети, учитесь почитать бога и президента» и много других.

Даже отводные каналы, по которым стекала нефть от вышек, были обложены белым кирпичом, так как в республике избегали красного цвета, в особенности на произ-

водстве, опасаясь вредного влияния его на умы низших классов.

Основания вышек затянули пестрыми материями и коврами.

По окончании работ всех рабочих вместе с семьями отвели в близлежащую горную долину, славившуюся как красивейшее место республики, и объявили им, что управление промыслами, ввиду радостного события,— приезда союзной эскадры,— освобождает их на три дня от работ и устраивает на свой счет празднество на лоне природы, для чего в долину были доставлены достаточные запасы продовольствия и напитков, а также поставлены карусели и привезены бальные оркестры.

После ухода рабочих специальная пожарная команда брандспойтами вымыла снаружи и внутри бараки рабочего городка, которые были затем опрысканы ароматными жидкостями.

В последний момент из столицы приехали музыканты румынского оркестра, игравшие в самом фешенебельном ресторане Порто-Бланко, и женский хор из того же ресторана. Хор должен был спеть кантату гостю от жен рабочих, румынские же музыканты предназначались совсем не для игры.

Это была выдумка президента Аткина, которой он очень гордился. Удивление лорда Орпингтона, что, вопреки его представлению о жителях Итля как о южной расе, подавляющее большинство населения имеет все признаки северных рас, не было забыто президентом. Румынские музыканты за солидное вознаграждение должны были выступить с приветствием лорду Орпингтону от лица коренного населения страны — рабочих промыслов.

Встреча прошла блестяще. Сэр Чарльз прослушал торжественную кантату, текст которой был вручен ему, отпечатанный на пергаменте и перевязанный муаровыми лентами, красивейшей певицей хора.

Делегация рабочих, смуглых, курчавых, явных аборигенов страны, одетая во фраки, с хризантемами в петлицах, произвела на лорда Орпингтона весьма благоприятное впечатление, и он снизошел до того, что даже пожал руку оратору, прочитавшему по записке приветственный спич от рабочих, где сэр Чарльз назывался долгожданным освободителем угнетенной демократии и сравнивался с маркизом Лафайетом, Мирабо и Георгом Вашингтоном.

Лорд Орпингтон высказал главному директору промыслов свое величайшее удовольствие виденным и слышанным, прекрасным и здоровым видом рабочих, их вполне респектабельными костюмами, интеллигентными манерами и еще раз подчеркнул, что нация, имеющая таких красавиц даже в среде промышленного пролетариата, имеет все данные к пышному развитию и процветанию.

Обход рабочих бараков, пропитанных нежнейшими дыханиями благовоний и блестевших чистотой, поверг представителя Гонория XIX даже в какое-то размягченное состояние, и он разрешил себе сказать, что в самой Наутилии, где рабочие живут зажиточнее, чем в какой-либо другой стране, он не видел подобного благоустройства. Он только удивился отсутствию рабочих в жилищах.

— Они, милорд, находятся на пикнике. К сожалению, день вашего приезда совпал с еженедельным праздником в честь свободы. Мы, исходя из мнений медицинских авторитетов, даем нашим рабочим, кроме воскресного отдыха, каждую неделю еще день развлечений на воздухе и сочли ненужным отменять этот праздник, хотя рабочие и выражали пламенное желание видеть вас. Но я полагаю, что вы, сэр, не будете в претензии на то, что мы не пожелали нарушить установленный порядок в интересах работы,— доложил директор промыслов.

— О, конечно,— ответил сэр Чарльз,— но скажите, не думаете ли вы, что такие еженедельные праздники являются уже излишней роскошью и не действуют ли они вредно на психологию рабочих, приучая их к безделью?

— О нет, сэр! Наблюдения установили, что каждый раз после дня, проведенного на свежем воздухе, рабочий считает свою работу наслаждением.

Лорд Орпингтон записал это замечание в свою записную книжку и направился на осмотр вышек.

При обходе их прекрасно прошедший церемониал дня был нарушен незначительным, но неприятным случаем.

При приближении генерала к одной из вышек из-под материй и ковров, украшавших ее основание, послышались странные звуки, похожие на блеяние овцы.

Лорд Орпингтон остановился в недоумении. Нижний полог ковра приподнялся, и из-под него выползла на четвереньках чумазая, перепачканная в мазуте, лохматая фигура, посмотрела на сэра Чарльза воспаленными глазами и икнула.

— Что это? — спросил представитель Наутилии, отступив назад.

В сопровождавшей его свите произошло замешательство и волнение, но секунду спустя директор ликвидировал его.

— Не беспокойтесь, милорд! Этот человек однажды в пьяном угаре сказал своим товарищам, что он стоит за коммунистический строй. Хотя на следующее утро, отрезвившись, он немедленно раскаялся в своем безумии и, упав на колени, просил прощения за свой гнусный проступок,— его же товарищи, рабочие, извергли его из своей среды, несмотря на то что управление, снисходя к тяжелому семейному положению, и простило этого человека. Изгнанный из круга порядочных граждан, он окончательно опустился и дошел до зверского состояния. Снедаемый упреками совести, он живет, брошенный всеми, здесь, под вышкой, а управление дает пенсию его несчастной семье. Мы нарочно не убрали его, сэр, чтобы вы могли наглядно убедиться, как основная масса рабочих относится к коммунистическим агитаторам.

Лорд Орпингтон был потрясен, так как, несмотря на суровость характера, выработанную во время своих доблестных походов, он был человеком доброй души.

— Я просил бы вас, господин директор, помиловать этого бедняка. На него нельзя смотреть без слез!

— К сожалению, это зависит не от меня. Управление простило его, он несет кару по приговору общественного мнения. Но я полагаю, что рабочие, узнав о вашей доброте, сэр, исполнят ваше желание и снимут с него клеймо презрения.

Лорд Орпингтон вынул из бумажника крупную кредитку и подал лохматому отверженцу. Тот покачал головой, выругался и скрылся под вышку.

Главный директор предложил сэру Чарльзу в заключение осмотра поглядеть на центральный нефтесобирательный бассейн.

Сэр Чарльз двинулся в указанном направлении, главный директор задержался на минуту и, подозвав начальника охраны промыслов, сказал ему бешеным шепотом:

— Штраф, выговор в послужной список и немедленное увольнение! А этого мерзавца сегодня же ночью через фронт.

И главный директор с добродушной улыбкой присоединился к гостю на берегу бассейна.

Зрелище, представившееся там взору лорда Орпингтона, произвело на него большее впечатление, чем все виденное до сих пор.

В огромном хранилище неподвижно, отливая по поверхности масляной радугой, лежала нефть. Ее черная масса вскипала по временам пузырьками газов, бурлила и шипела.

Лорд Орпингтон в волнении сжал руки, и ему показалось, что на поверхности этого озера нефти плавают тысячи, сотни тысяч радужных акций нефтяной компании. Они переливались веселыми красками, слепили глаза, а под ними густела, прессовалась черная масса, неодолимо тянувшая к себе.

Сэр Чарльз вздрогнул, поспешил отойти от бассейна и, отказавшись от предложенного завтрака под предлогом необходимости выслушать срочные политические доклады, уехал в Порто-Бланко.

Но и в вагоне нефтяной мираж не покидал его. Пышный ковер растительности, простиравшейся по сторонам пути, казался ему нефтяным океаном, подернутым сверху блестящим зеленым налетом эфирных масел, а дым сигары плавал в купе тяжелым облаком черной земной крови.

Он не мог отделаться от этого бредового состояния даже в доме президента Аткина, куда проехал с вокзала на званый обед, и хотя терраса благоухала магнолиями и гиацинтами, а развлекавшая его Лола овевала лорда Орпингтона веяниями «Безумной девственницы», ему чудилось, что и цветы, и прелестная дочь президента пахнут мазутом.

Эта галлюцинация была сильнее его воли. Даже налитое в бокалы драгоценное вино отдавало резким маслянистым привкусом, оно вспыхивало в крови, как нефть в дизеле, оно густело и застывало комками черного золота.

Сэр Чарльз с трудом понимал обращенные к нему фразы приветствий и тосты, отвечал на них невпопад, и присутствовавшие на обеде государственные мужи Итля решили, что генерал подавлен впечатлениями, произведенными на него богатствами недр республики.

И они были совершенно правы в своем заключении, хотя и пришли к нему путем других силлогизмов, чем сэр Чарльз.

После обеда, усевшись в кресло в углу террасы и задумчиво глядя на море, лорд Орпингтон задал президенту

Аткину, со всей возможной дипломатичностью, интересовавший его вопрос,— какое общество или частное лицо является владельцем промыслов?

Но президент, несколько возбужденный от излишка тостов, произнесенных за столом, внезапно сказал с беспечной улыбкой:

— Не будем сегодня, милорд, удручать себя скучными материями. У нас есть народная мудрая поговорка: делу час — потехе остальное. Эта прекрасная инстинктивная мудрость нации является руководящим началом не только для отдельных граждан, но и основным принципом нашей демократии. Взгляните лучше, какой великолепный день, какими глубокими тонами играет наше родное море, как дышат роскошные цветы негой и томностью. Ах, милорд, наша природа зовет к любви, и как несчастны народы севера, не имеющие этой роскошной земли, этого животворящего солнца...

И прорвавшийся президент начал высоко поэтический гимн в честь своей родины и ее красот.

Лорд Орпингтон слушал довольно рассеянно, обескураженный неудачей своей попытки приблизиться вплотную к нефтяным делам.

Поведение президента казалось ему хитростью, дипломатической уловкой, и, только взглянув внимательно в возбужденно блестевшие и увлажненные глаза господина Аткина, он понял, что глава республики выпил лишнее и искренне охвачен поэтическим порывом.

В разгаре президентского вдохновения внимание сэра Чарльза было привлечено беззаботным смехом в саду под террасой и веселым собачьим лаем.

Он перегнулся через перила и не без удивления увидел забавную сцену.

На скамейке стояла Лола, похожая на сиреневого вечернего мотылька, и держала в руках коробку шоколадных конфет.

Она с хохотом выбирала конфеты и бросала их молодому человеку в белом фланелевом костюме, который стоял перед ней на четвереньках и с поразительной ловкостью ловил летевшие кусочки шоколада ртом.

Поймав конфету, он заливался радостным лаем, так похожим на настоящий лай фокстерьера, что сэр Орпингтон в первую минуту даже подумал, что в этой сцене участвует и настоящая собачонка.

Он перевел глаза на президента и спросил:

— Господин президент! Вы прекрасно рассказываете о красотах вашего отечества, но не будете ли вы любезны объяснить мне, кого это кормит ваша милая дочь таким оригинальным способом?

Президент Аткин, прерванный на самой вершине экстаза, подошел к перилам и заглянул вниз. Лицо его осветилось доброжелательной улыбкой.

— Ах, это бедняжка Макс! Лола всегда пробует над ним свои шалости.

— А кто этот Макс?

Президент сделал пренебрежительный жест.

— Это бедный молодой человек, жертва политической нетерпимости, принц Максимилиан Лейхтвейс. Он один из немногих оставшихся в живых потомков царствующего дома Ассора, все остальные с потрясающей жестокостью истреблены коммунистическими узурпаторами. Но в нашем демократическом отечестве он нашел убежище и живет спокойно, на небольшую пенсию, ассигнованную ему парламентом.

— По-видимому, очень милый и воспитанный юноша,— заметил вскользь сэр Чарльз.

— Да! Но, к сожалению, у него тут немножко пусто,— президент дотронулся до своего лба,— хотя это и исключает возможность каких бы то ни было реставрационных авантюр с его стороны. Он ухаживает за нашими девушками, очень любит танцы и проводит большую часть времени во второразрядных кабаре. Он в полном и беспрекословном подчинении у Лолы.

В это время принц, поймав конфету, поднял вверх голову, и сэр Чарльз увидел его лицо, одутловатое, с мелкими чертами, с бело-желтыми, как у маленьких детей, волосами. Глаза у него были мутно-синие, с покорным и глуповатым выражением.

— Очень милый юноша,— сказал вторично лорд Орпингтон и поднялся, прощаясь.

Выходя в вестибюль, он сказал своему флаг-лейтенанту:

— Я попрошу вас остаться здесь и переговорить с принцем Лейхтвейсом. Я желаю завтра видеть его на «Беззастенчивом» после наступления темноты. Кроме того, передайте ему вот эти кредитки. Бедный мальчик нуждается. Но... чтоб об этом ни одна душа не знала!

Глава восьмая
МИЗИНЕЦ ШЕХЕРАЗАДЫ

Загорелая рыбачка-ночь подкралась нежно и осторожно и мягко набросила на столицу республики, беспечно купавшуюся в закатной прозелени, синюю шелковую сеть.

Ветви деревьев, зашелестев, стряхнули с темной листвы тяжесть дневного жара и зашуршали приветом свежему бризу, идущему с моря.

Тесные, наклонные к набережной улицы заблестели радугами и пыланиями ночных огней, прошумели, как ливнем, человеческим говором, пролились струнным потоком и трепетом песен.

В эти часы, между вечером и ночью, часы, полнокровно налитые свежестью, медовыми вздохами магнолий и роз, песнями и любовью, население республики покидало стены домов и веселилось в тени аллей, на эспланаде набережной и в маленьких кабачках, открытые веранды которых дышали соблазнительными теплыми парами жарящейся баранины и кисловатого молодого вина.

В этот час многие граждане видели, как по улице Разумной Свободы шел, направляясь к парадной пристани, невысокий человек, плотно закутанный в шелестящий черный плащ. Каскетка с широким козырьком срезала верх его лица непроницаемой для взгляда тенью и, помимо тени, на скулах плотно лежала черная полумаска.

Но в таком костюме не было ничего необыкновенного,— каждый день юные и дерзкие, чья кровь билась в гармонии с хмельными артериями ночи, пробирались в темноте в таких точно нарядах в сады и парки, где ждали их прозрачные женские тени.

До этих приключений никому решительно не было дела. И ни одному из видевших незнакомца не пришло в голову проследить его путь, ибо одним из основных законов республики было прекрасное правило: не мешай другим в том, в чем ты сам не хотел бы помехи от них.

Официальные же стражи республики, стоявшие на перекрестках во всем блеске своей начищенной формы, также мало были заинтересованы путем маскированного соотечественника, так как общее довольство граждан, обеспеченное исключительным законом о бунтовщиках, предотвращало возможность политических заговоров.

Человек в шелестящем плаще спокойно спустился на набережную, прошел ее теневой стороной мимо парадной пристани, дошел до таможенных пакгаузов и, оглянувшись по сторонам, быстро нырнул в пролом забора.

По ту сторону пролома он почти пробежал между грудами старых ящиков, от которых пахло солью, смолой и апельсинами, и остановился на краю обрывающихся в море известняковых плит.

На воркующей черной воде, привязанная к кольцу, колыхалась белая шлюпка, и в ней нахохленными птицами сидели матросы.

Незнакомец свистнул. Головы на шлюпке поднялись, и соленый голос спросил:

— Кто?

— Друг Наутилии,— отозвался маскированный вполголоса, оглядываясь.

— Садитесь скорее. Время не ждет.

Плащ взметнул в воздухе черными крыльями, и руки матросов подхватили спрыгнувшего. Весла окатили ночь вспененными брызгами, и шлюпка растворилась в голубом котле залива.

Несомненно, что стражи республики сделали в эту ночь большой промах. До сих пор ни один влюбленный не отправлялся на свидание на шестивесельной военной шлюпке в открытое море. Простодушные и любящие жизнь жители столицы предпочитали для любовных похождений свою прочную и плодородную землю.

И даже самому несообразительному из них показалась бы явно подозрительной такая авантюра, ибо в открытом море ночью нельзя было встретить никаких предметов женского рода, кроме сырости и шипучей пены.

Но если в поспешном ночном отъезде маскированного незнакомца был отпечаток подозрительной тайны, то этого никак нельзя было сказать о коляске, проезжавшей в тот же час по главной улице Порто-Бланко в сиянии ночных витрин, среди гомонящей и веселящейся толпы,— потому что сидевшие в коляске не были маскированы, лица их заливались слепительным светом дуговых фонарей, и каждый уличный гамен видел эти лица, известные всем и уважаемые в республике, как принадлежащие носителям власти.

Четыре человека, сидевшие в коляске, были: командующий войсками республики генерал фон Брендель, госу-

дарственный казначей, верховный прокурор республики и министр внутренних дел.

Рыжие лошади в английских шорах, со стрижеными гривками и хвостами, медленно увлекали коляску по спуску улицы. Стражи вытягивались, отдавая честь, взрослые граждане вежливо приподнимали шляпы, девушки бросали в коляску цветы, улыбаясь расширенными ночной истомой глазами, мальчишки приплясывали вокруг.

Эта картина могла убедить всех шептунов и недоброжелателей, что подлинно демократическая власть способна вызывать у населения только эмоции, близкие к обожанию, и почти чувственную любовь.

Путь государственных деятелей республики был так же ясен и прям, как их деятельность,— они ехали на семейный ужин к главе республики, на котором должны были, попутно, обсудить вопросы текущей политики.

В республике твердо установилось правило,— устраивать правительственные заседания во время еды, сообразуясь с мудростью пословицы: «В сытом теле бодрый и честный дух».

Пересекши площадь, коляска остановилась у освещенного цветными лампионами подъезда президентской виллы, где два часовых немедленно вытянулись, отдавая салют.

Но, к удивлению прибывших, лакей президента Аткина попросил их следовать не в столовую на террасе виллы, а на личную половину президента.

Пока государственные мужи шествовали по комнатам, на лицах их появилось выражение суровой решимости и готовности к исполнению долга.

Необычайное приглашение позволяло предполагать наличность серьезных событий, и лучшие из лучших граждан республики приготовились встретить их с достоинством и спокойствием.

В широком квадратном кабинете президента был сервирован под кофе круглый стол, и господин Аткин поднялся навстречу входящим из-за стола.

— Прошу, господа! — сказал он с жестом радушия.— Вы, вероятно, удивлены, что я лишил вас удовольствия провести вечер беззаботно в интимном кругу моей семьи, но поверьте, что виною этому исключительно важные обстоятельства. Прошу садиться!

Гости расселись, чрезвычайно заинтересованные началом.

— Будьте все время начеку,— шепнул министр внутренних дел прокурору.— Я уверен, наш милый хозяин задумал какой-нибудь фортель. Нужно следить, чтобы он не обошел нас.

— Он? Вы смеетесь? Я думаю, что он достаточно глуп,— отозвался прокурор.

Воздав этими репликами дань уважения хозяину, гости отпили кофе и приготовились слушать, так как президент поднял руку, показывая, что желает говорить.

В тихой прохладе кабинета шумел шелковыми крыльями китайский веер-вентилятор под потолком и журчал размеренный адвокатский баритон президента.

— В прошедший вечер, когда наш высокопоставленный гость, этот надутый наутилийский индюк, чувствующий себя в нашей столице, как в завоеванном становище дикарей,— начал президент с нескрываемым презрением к лорду Орпингтону,— когда он вернулся с нефтяных промыслов с отвисшей от жадности губой и приехал ко мне на обед — я почувствовал сразу, что он сошел с рельс благоразумия. Да! Он потерял самообладание от нефти. Он готов на глупости, и упускать такой момент было бы совершенно преступным. Поэтому, когда он заговорил о нефтяных промыслах, я, господа, притворился злоупотребившим напитками более, чем следует высшему сановнику республики, и со всей возможной ловкостью перевел разговор на другую тему.

— А о чем именно он спрашивал вас по поводу нефти? — спросил, опершись подбородком на эфес своей сабли, генерал фон Брендель.

Президент помолчал мгновение и ответил торжественным и таинственным тоном:

— Он спрашивал, господа, кому принадлежат нефтяные промыслы, то есть кто является их юридическим и фактическим владельцем?

Тишина осела на кабинет гидравлическим прессом, и слушателям показалось, что нежное шипение вентилятора вдруг усилилось до воя аэропланного пропеллера. Они молчали, растерянно, как бы ища друг у друга поддержки, переглянулись, а государственный казначей тяжело вздохнул, как на панихиде.

— Ну... что же вы ответили? — спросил прокурор, весь вытянувшись в кресле.

Президент не торопился ответом, он наслаждался драматическим эффектом.

— Я? Я счел неудобным давать ему какой бы то ни было ответ до совещания с вами, господа,— медленно сказал он, похлопывая ладонью по столу.

Возбужденные лица собеседников сразу стали гладкими, как бушующее море, в воды которого вылили бочку масла. Все снова переглянулись.

— Хорошо! — продолжал президент, встав из-за стола.— Нахожу отрадным отметить, что между нами по затронутому мной вопросу нет никаких принципиальных разногласий. Я вижу, что вы убеждены так же, как я, что упустить такой случай было бы непростительным мальчишеством, тем более что он дает возможность нашего реванша недопустимому нахальству и самомнению этого заурядного фельдфебеля наутилийской солдатчины. Мы не племя Данакиль, и он не должен забывать, что наши предки владели миром в то время, как его прародители еще ползали на четвереньках.

— Совершенно верно,— подтвердил фон Брендель.— Я никогда не забуду его наглости в истории с нашими доблестными капитанами... Он... он позволил приказывать мне, как кадету младшего класса... И каким тоном!..

— Подождите, генерал... личные обиды потом. Сейчас мы перед делом государственного масштаба...— прервал фон Бренделя казначей, но вдруг остановился и побледнел, сжав колени худыми птичьими пальцами.— Но как мы можем совершить подобную сделку?

— А кто вам сказал, уважаемый друг, что мы ее будем делать? Надо быть по меньшей мере буйно помешанным, чтобы попытаться самому провести такую комбинацию. Мы... правительство республики, и вдруг мы же реализуем ее достояние. Этого достаточно, чтобы нас смело ветром стихийного бунта.

— А кто же может принять это на себя? То есть я не то хотел сказать. Я знаю, что желающие найдутся, но нам нужна гарантия, что, во-первых, эквивалент реализуемого будет доставлен в наши руки, а во-вторых, что тайна не выйдет за пределы вашего кабинета, господин президент.

Президент Аткин пожал плечами.

— Я презирал бы себя самого, если бы я не подумал раньше о таких пустяках. Конечно, ни вы, ни я, ни кто-либо из присутствующих здесь не могут ни с какой стороны быть хотя бы косвенно причастными к проведению самой операции. Мы только организуем и направляем

нашу общую волю и получаем материальные результаты организаторского замысла. Выполнять же будут другие.

— Разрешите узнать, кто эти другие? — спросил, не сдерживая уже любопытства, министр внутренних дел.

— К вашим услугам! Так как я предвидел, что наше совещание будет достаточно единодушным, я позаботился, чтобы все было готово.

Президент нажал кнопку звонка.

— Попросите сюда господ из маленькой гостиной,— приказал он лакею.

Сановники устремили на дверь взгляды, исполненные безграничного удивления. Оно росло с каждым мгновением и дошло до апогея, когда в кабинет с вежливым поклоном вошли двое неизвестных.

Оба были, несомненно, аборигенами республики, смуглые, сухощавые, с удлиненными яркими глазами, с завитыми смолевыми кольцами ассирийскими бородами. Оба были одеты в великолепные серые костюмы, может быть слишком даже великолепные для хорошего вкуса.

— Разрешите, господа, представить вам владельцев торгового дома «Кантариди и сын»,— обратился президент к коллегам.

Кантариди и сын с достоинством поклонились и, по знаку президента, опустились на указанные им кресла.

— Господа «Кантариди и сын» являются владельцами нефтяных промыслов Итля. Они узнали о желании лорда Орпингтона приобрести нефтяные промыслы для Островной компании и обратились ко мне. Я посоветовал им непосредственно направиться к нашему высокому гостю завтра же, и я не вижу препятствий для того, чтобы столь желанная лорду покупка не состоялась...

Генерал фон Брендель встал, побагровев.

— Черт возьми! — вскрикнул он, стукнув саблей в пол,— я солдат и не понимаю всяких дипломатических штук. Каким чертом эти господа могут быть владельцами нефтяных промыслов, когда каждому мальчишке известно, что промыслы составляют государственную собственность республики! Я требую вести дело начистоту.

Президент хотел ответить, но прокурор перебил его. Он понял сразу и почувствовал необходимость успокоить главнокомандующего.

— Сядьте, генерал, и не волнуйтесь! Вы, действительно, ребенок! Я восхищен вашей предусмотрительностью и заботливостью, господин президент. Я уверен, что гос-

пода «Кантариди и сын», с которыми я очень рад познакомиться, имеют все права на совершение сделки с лордом Орпингтоном, но я хотел бы задать вопрос не столько о правомочиях уважаемой фирмы, сколько о ее солидности и кредитоспособности.

— Ни дьявола не понимаю! — крикнул фон Брендель, опускаясь на место.

— Господин президент нас знает и знает о нашем плане, который обязался хранить в тайне,— ответил сурово Кантариди-старший,— нам не хотелось бы повторять подробности более широкому кругу лиц.

— Вы заграбастываете девяносто процентов наличными, остальные гроши — наш куртаж. Вы не слишком щедры, господа,— почти дерзко сказал Кантариди-младший.

— Я переговорил с господами Кантариди обо всем, и я ручаюсь за них своим словом. Полагаю, что этого вполне достаточно? — закончил господин Аткин не допускающим сомнения тоном.— Мне только нужно знать,—имею ли я ваше единогласное одобрение на мероприятия, не наносящие вреда республике, но доставляющие нам значительные выгоды без всяких затрат? Я позволю прибегнуть к голосованию, ибо даже в частном деле я сторонник широкого применения демократических принципов. Прошу возражающих поднять руки! Таковых нет!

Сановники республики сидели подавленные величием минуты. Оба Кантариди встали.

— В таком случае, господин президент, мы просили бы освободить нас, так как нам необходимо отдохнуть. Дело требует всегда ясной головы.

Президент спросил у коллег, не желают ли они задать какие-нибудь дополнительные вопросы, и, получив отрицательный ответ, милостиво кивнул головой представителям торгового дома «Кантариди и сын», покинувшим с поклоном кабинет.

Когда дверь бесшумно захлопнулась за ними, генерал фон Брендель опять не вытерпел.

— Господин президент! Я поражен, я потрясен, я не нахожу слов. Объясните, ради бога, откуда вы достали этих представителей отечественной промышленности? Несмотря на их вполне респектабельный вид, мне кажется, что они просто жулики.

Президент с тонкой улыбкой потянул через соломинку гренадин.

— Я не менее удивляюсь вашей проницательности, генерал. Они, конечно, жулики. Махровые, премированные жулики, но согласитесь сами, что было бы странно пригласить для осуществления нашей мысли святых или монахинь пригородного монастыря. Не забудьте, что им придется иметь дело с лордом, который сам каналья первой степени, если смотреть просто и называть вещи своими именами.

— И что они являются агентами людей, которых если и нельзя назвать жуликами, то, во всяком случае, можно признать людьми опытными и искушенными,— прибавил прокурор республики с благосклонным сарказмом.

— Завтра, господа, я прошу вас быть вечером у меня, как обычно. Думаю, что наши уполномоченные смогут представить уже реальные результаты своей сделки,— сказал президент, провожая гостей.

. . . .

«Кантариди и сын» пробирались по улицам к кабачку «Преподобной Крысы», где проводило ночи избранное общество республики.

Толпа еще бурлила на тротуарах, несмотря на позднее время. Между жителями столицы чинно и гордо прогуливались матросы и солдаты наутилийской эскадры. Они уже успели завязать знакомства, и у каждого из них, слева и справа, висело на руках по женщине. Генерал фон Брендель не солгал лорду Чарльзу. Представительницы слабого пола республики с радостью выполняли свой долг по отношению к гостям, и поцелуи, которыми они обменивались на ходу со своими рослыми кавалерами, были достаточно пылкими и свидетельствовали о несомненном и отчетливом понимании возложенной на них правительством миссии.

Проходя переулком, Кантариди-старший внезапно остановился у фонаря и внимательно поглядел на своего компаньона.

— Что же ты молчишь? — спросил он с недоумением,— можно подумать, что тебе забили в рот кляп. С той минуты, как мы спустились с крыльца президента, ты не сказал ни одного слова.

Спутник улыбнулся.

— Но ведь и ты молчал! Я думаю, что говорить не о чем.

Старший Кантариди пощелкал тросточкой о фонарный столб и нерешительно произнес, оглянувшись.

— Послушай, Коста!.. Не кажется ли тебе, что мы взялись за скверное дело?.. А?

Младший пожал плечами.

— Почему?

— Первый раз я пошел на сделку с барами. От этого у меня мутит под ложечкой, как будто я объелся свининой.

Младший засвистал.

— Ты впадаешь в детство, Атанас,— сказал он насмешливо,— ты забываешь об одном, что гусь, которого мы завтра будем подковывать, еще больший барин, чем те, с которыми мы договорились. Когда эти разжиревшие скоты воруют и грабят друг у друга — я считаю кровным грехом отказаться от получения своей доли. Если бы они нанимали нас против нашего брата, я плюнул бы им в рожи, но облапошить красномордого раззолоченного жирафа, который бросал нам с тобой монетки?.. Черт возьми, да это же наслаждение! За это простятся все грехи!

— Ты думаешь?

— Думаю ли я? Я не думаю, а знаю! Если я думаю, то только о том, как бы сорвать с почтенного президента еще некоторую толику сверх условленного, и полагаю, что к утру я это надумаю. А сейчас идем! Я успокою твою коварную совесть таким вином, какого ты еще не пивал. Оно нежно, как детская щечка, и пьяно, как огонь. Ты помолодеешь от него, старик, на двадцать лет и станешь смотреть на вещи проще.

Они прошли переулок, проплыли в зеленом потоке ртутных ламп, горевших над вывеской «Преподобной Крысы», и утонули в дверях.

. . . .

Ветер принимал уже предутреннее направление, отбрасывая брейд-вымпел от берега, когда дверь адмиральской рубки вылила на темную палубу сметанную электрическую белизну.

Две фигуры прошли по шканцам к трапу. Вахтенный офицер, стоявший у трапа, сразу узнал одну, принадлежавшую лорду Орпингтону. Вторая фигура, ниже ростом, кутавшаяся в шелестящий плащ, была неизвестна офицеру, и он, делая независимый и безразличный вид, тем не менее старался изо всех сил рассмотреть незнакомца.

Оба вышедших остановились у трапа, прощаясь.

Вахтенный офицер напряг слух и услыхал голос сэра Чарльза:

— До свиданья, ваше высочество! Позвольте поблагодарить еще раз за ваше любезное посещение. Я думаю, нам полезно будет продолжить так мило начавшееся знакомство. Не забывайте, что я всегда к вашим услугам. Его величество в ответ на мою радиограмму предписал оказывать вам полное содействие во всех ваших нуждах.

Собеседник лорда Орпингтона поднял голову, и при свете трапового фонаря мичман увидел одутловатое детское лицо с мелкими чертами.

— Благодарю вас, сэр,— сказал он, слегка шепелявя,— вы так добры. В моем тяжелом положении изгнанника мне вдвойне дорого ваше сочувствие. Я не знаю, как я смогу отблагодарить вас!

Генерал Орпингтон, отвечая, понизил голос, и мичман, забыв осторожность, вытянулся в сторону разговаривающих.

— Ваше высочество! Я не требую благодарности. Но в день, когда вы снова займете принадлежащее вам, по праву рождения, место, я буду счастлив вашей дружбой.

— Ах, сэр! Что может дать вам дружба несчастного кавалерийского поручика, не имеющего родины, гонимого и третируемого чернью?

— Мужайтесь, ваше высочество! Всему свое время! Вспомните, что Наполеон был сначала тоже безвестным поручиком.

— О, вы воскрешаете меня! — прочувствованно ответил незнакомец, пожимая руку лорда Орпингтона.— До свиданья!

Он завернулся в плащ и спустился вниз. Сэр Чарльз ушел в рубку, мичман долго смотрел вслед шестерке, пока не затихли звонкие всплески весел.

. . . .

Высадившись на набережную, собеседник сэра Чарльза бросил матросам золотой и поспешно удалился. Выйдя из таможенного двора, он остановился и облегченно вздохнул.

За мысом воткнулся в небо верхней половиной узкий серп позднего месяца.

Казалось, что из-за черного массива горы высунул-

ся чей-то палец с лукавой угрозой или предостережением.

Человек снял каскетку и плащ. Каскетку он сунул в карман плаща и перебросил его через руку. Открытая грудь фрачной рубашки засветлела голубоватым отражением предрассветного сумрака. Он еще раз поглядел на месяц и сказал вслух:

— Какая таинственная ночь! Кажется, в этом воздухе тайны зреют на ветках деревьев, как апельсины. И этот месяц, как он похож на мизинец Шехеразады, лукаво предупреждающей: «Тсс... сейчас я поведу вас в мир тайн и фантасмагорий». Я приветствую вас, милая сказочница! И еду в мир сказки!

Он легко раскланялся в сторону мыса, перебежал площадь и подозвал извозчика.

— В «Преподобную Крысу»,— сказал он, садясь и с ребяческим удовольствием ощупывая в кармане туго набитый, скрипевший кожей, бумажник.

Глава девятая

GENTILHOMME SANS MERCI [1]

Вход в «Преподобную Крысу» доступен только государственным деятелям республики первых пяти классов табели о рангах, шулерам и кокоткам.

И, благодаря тому, что принципы широкого демократизма главенствовали в Итле, эти три категории посетителей вполне мирно уживались под сводчатыми потолками «Крысы», расписанными в средневековом вкусе.

Тем более что ночь, вино и беспечное веселье уничтожали сословные различия, и к разгару ночных увеселений иностранцы могли видеть трогательную демонстрацию единения всех посетителей.

За буфетной стойкой, в центре зала, возвышалось нечто чудовищное, похожее на гору, сложенную из плавательных пузырей, завершенную колоссальной тыквой.

Нам необходимо отвесить этой тыкве почтительный поклон, ибо это сам хозяин «Преподобной Крысы», старый Антоний Баст, некоронованный диктатор республики.

---

[1] Беспардонный дворянин *(фр.)*.

Его необъятный карман широко открыт для кредита всем политическим деятелям Итля, и именно по этой причине политика Итля — политика Баста.

Вот почему все вопросы в парламенте разрешаются единогласно, несмотря на наличие десятка враждующих партий. За спиной голосующих, как древняя Ананке, стоит фигура Баста, встряхивая сардельками пальцев аккуратно сложенные векселя депутатов, и ни одна рука не осмелится подняться против законопроекта, когда он нужен Басту.

Если всмотреться внимательнее в тыкву, можно увидеть в ней две крохотные щели, в которые природа вставила по маслине. Это глаза Антония Баста. Сонные и апатичные — они видят все. Они проникают сквозь сукно жакетов, кожу бумажников, кости и мускулы, они знают самые сокровенные помыслы деятелей республики, развлекающихся за столиками «Преподобной Крысы».

Они видят раздувающиеся ноздри мужчин, твердые подбородки самцов, склоненные к тонким профилям женщин, бледных от страсти и пудры. Они знают все тайны этих ночных связей, знают продажную цену каждой женщины и каждого патриота и могут заранее сказать, какие пары, возбужденные танцами и вином, уйдут к утру в уютные кабинеты, не пропускающие звука. Они видят, как вздымается в вырезах шелков горячее розовое мясо, как скрипят жесткие пластроны и руки мужчин сжимают вилки и ножи с такой чувственной яростью, как будто в них не металл, а податливое и желанное тело.

Старый Баст знал, что сегодняшний, исключительный даже для «Крысы», наплыв посетителей вызван жаждой увидеть новую звезду его заведения, о которой афиши гласили заманчиво и глухо: «Непревзойденная дива мировых сцен ***».

Эти таинственные звездочки обещали нечто необыкновенное, и взгляды публики, переполнившей зал, все чаще и чаще обращались к занавесу, на котором беспечная кисть веселого бродяги-художника расписала солнечными красками чудесную старую сказку о крысолове из Гаммельна.

Но шалунья Шехеразада несла в эту ночь в своих благоуханных ладонях совершенно нежданные сюрпризы высшему свету республики, и внезапно прошедший по залу ветерок удивления заставил всех повернуться к парад-

ной ложе рядом со сценой, которая носила громкое имя «коронной».

В ней неожиданно для всех появился человек.

Собственно, в этом не было ничего удивительного. Всякий республиканец, обладавший свободной наличностью, чтобы заплатить за ложу, мог свободно располагать ею по своему усмотрению, и этим правом пользовались многие из чувства самолюбивого патриотизма, чтобы осчастливить себя хоть кратким прикосновением к креслам, на которых восседали некогда монархи Ассора.

Удивление же, охватившее посетителей старого Баста, было вызвано личностью человека, занявшего ложу,— так как у барьера ее, между двумя женщинами из хора «Преподобной Крысы», непринужденно расположился принц Максимилиан Лейхтвейс.

Каждому гражданину Итля, даже не державшему еще первого экзамена по закону божьему и не научившемуся заправлять как следует хвост рубашки в разрез штанишек, было твердо известно, что у принца Максимилиана никогда не бывает одновременно денег больше, нежели нужно для покупки одной коробки сигарет из сена.

В «Преподобной Крысе» он бывал, правда, ежедневно, но лишь потому, что Антоний Баст, имевший ранее отношение к дворцовым кухням летней резиденции монархов Ассора, питал к молодому человеку сентиментальную привязанность, свойственную отставным поварам высочайших особ.

Принцу Максимилиану был разрешен раз навсегда свободный вход в заведение старика и даже подавался обычно ужин из двух блюд, составленный из остатков вчерашнего меню. Принц имел и свой столик, в углу ресторана, рядом с входом в мужскую уборную, и на этом столике была привинчена серебряная пластинка с монограммой и короной, которую молодой человек самоотверженно сорвал со своего портсигара.

Но занятие коронной ложи было для бедного юноши такой же несбыточной мечтой, как и возвращение суверенных прав на трон Ассора.

Поэтому шепот изумления при виде обладателя ложи был вполне законен и своевременен. Несколько пар лорнетов уставились на принца с плохо скрываемой настойчивостью.

Антоний Баст с высоты своего сидения у буфета нахмурился. В его расчеты вовсе не входила такая открытая

роялистская демонстрация, так как среди посетителей могло оказаться немалое количество людей, приверженных республиканскому строю настолько, что присутствие на почетном месте потомка изгнанной династии, прикрепленного к ресторанной уборной, могло заставить их прекратить посещения «Преподобной Крысы».

Старик даже шевельнулся на стуле, чтобы немедленно попросить принца покинуть ложу, как произошло нечто, перевернувшее твердо установленные порядки и понятия.

Мимо ложи проходила продавщица цветов, тоненькая чахоточная девочка, обычно зарабатывавшая себе в «Преподобной Крысе» дневное пропитание корзиной роз.

На глазах всего зрительного зала принц поманил продавщицу пальцем, перегнувшись через барьер ложи, выбрал из корзины несколько роз, потрепал девочку по щеке и, вынув из бумажника развернутую десятитысячную бумажку, сунул ее девочке за корсаж, прибавив достаточно громко:

— Возьми, детка! Снеси своей маме, она больна. Вам хватит этого на несколько дней. Бедность — скверная вещь.

Девочка растерянно уронила корзинку и, прижав худые руки к корсажу, бросилась опрометью из зала, а принц опустился на место с небрежной улыбкой человека, сделавшего пустяк, о котором не стоит вспоминать.

Оркестр умолк, на столиках перестали звенеть стаканы и ножи, и можно было бы без преувеличения сказать, что в эти минуты последний потомок ассорской династии снискал у зрителей не меньший успех, чем ожидаемая танцовщица.

Среди тишины стукнул упавший стул, и из-за стола поднялся старый лидер демократической оппозиции, мужчина нечеловеческого роста, с курчавой шевелюрой и нечеловеческими же усами. Он тряхнул гривой и решительно направился к ложе. Принц, завидевший его приближение, попытался было скрыться в аванложу, но сидевшая рядом женщина что-то шепнула ему, и он остался, смотря на подходящего испуганными кроличьими глазами.

Лидер подошел к ложе, облокотился на барьер и, протянув ладонь, похожую на большой норвежский боевой топор, пророкотал гладким басом:

— Долг последовательного демократа предписывает мне ненавидеть ваше высочество, как потомка тиранов,

но голос человека, видевшего ваше бескорыстное благодеяние в таком огромном размере, заставляет меня отныне предложить вам мое сердце.

Принц Максимилиан, скроив на одутловатом личике робкую улыбку, пригласил демократа в ложу выпить за будущую дружбу.

За лидером оппозиции последовали другие, и вскоре ложа принца напоминала первое заседание коалиционного министерства, ибо в ней звенели стаканами представители всех парламентских группировок республики. После недолгого размышления к обществу в ложе присоединился и только что приехавший генерал фон Брендель.

И когда музыка по собственному почину заиграла старинную песенку о короле, подхваченную с энтузиазмом всеми присутствовавшими, за одним из столиков посетитель нагнулся к другому:

— Примечай, Атанас! В воздухе пахнет миро... тем самым миро, которым попы мажут плоские королевские лбы... Поверь моему опыту!

Второй собеседник повернулся к ложе принца и долго рассматривал его сощуренными глазами.

— Ты хочешь сказать, что эта двуногая простокваша, которая пропахла уборной и сидит там, в ложе, метит короноваться? Так, что ли?

— Совершенно так... именно так!

— Но...

— Ты хочешь сказать, что у него нет данных для этого, что он слишком мочала? Не беспокойся, за него все сделают другие. Ему останется только положить в рот верноподданное отечество со всеми угодьями и обитателями... Ты видел, какую бумажку он швырнул маленькой Лите?

— Десять тысяч,— ответил Атанас, поперхнувшись цифрой, как будто четыре нуля ее застряли у него в горле.

— Они самые! А ты видел когда-нибудь у этого недоноска больше медного гроша?

— Нет... Так значит?..

— Так значит, друг мой, что у него завелся банк... Банки же бывают разные, включительно до плавучих, и в данном случае это так и есть...

— Иностранцы?

— Да... и я соображаю. Если он будет королем, даю сейчас выпростать все мои потроха, если я — да и ты — не будем министрами. Мне надоели темные аферы.

Я хочу стать честным демократом. Хоть ненадолго... Для развлечения...

— Что же, мы пойдем представляться этой кукле?

Коста бросил в пепельницу огрызок сигары и отмахнулся от голубой змейки дыма, которая закарабкалась по его лицу.

— Сейчас нет... Рано... И потом честь не позволяет мне сидеть рядом с народными представителями. Подождем удобной минуты. Кроме того, не забудь, что завтра мы едем к куриному генералу. И так как третий час утра, я полагаю, что члены торгового дома «Кантариди и сын» нуждаются в кратком отдыхе.

Он поднялся, отряхнул крошки с костюма, направился к дверям, сопровождаемый компаньоном, и у самого входа разминулся с тремя наутилийскими моряками, только что прибывшими в «Преподобную Крысу».

Двое из них ничем не были замечательны, третий обратил на себя общее внимание почти неприятной красотой. Женские взоры в зале повернулись к нему с такой стремительностью, что некоторые потом уверяли, будто слышали скрип глазных яблок в орбитах при этом внезапном маневре.

Баронет Осборн (это был он) со спутниками угрюмо занял большой стол визави коронной ложи, веселье в которой приняло к этому времени уже совсем свободный характер. Он не обращал никакого внимания ни на обстрел восхищенных зрачков, ни на хохот и крик из ложи.

Поиски Геммы, продолжавшиеся третьи сутки, не дали никакого результата. Баронет не ощущал особой сердечной боли от отсутствия возлюбленной, тем более что воображение его было занято ослепительной спиной президентской дочери, но бегство Геммы грозило его служебной карьере и било по самолюбию.

Он мрачно сосал коньяк и сосредоточенно смотрел на скатерть, не поддаваясь никаким внешним впечатлениям, и потому не заметил, как на эстраде появилась новая танцовщица в гавайской тапе и заколыхалась под пронзительные свисты флейт в «уле-уле». Он очнулся только тогда, когда один из спутников крепко сдавил ему плечо и прорычал в ухо:

— Фрэди, да посмотрите же на сцену, говорю вам!

Коммодор нехотя повернулся к сцене, вздрогнул и несколько минут оставался неподвижным. Спутник продолжал шипеть ему в ухо:

— Восхитительно!.. Она успела уже получить ангажемент... Это женщина! Вы просто олух, Фрэди, что упустили ее.

Баронет воспрянул от оцепенения, вскочил на ноги и вытянул руку в направлении сцены. Между столиков, шелестя, проползло легкое замешательство, и флейты жалобно оборвались.

Антоний Баст, покраснев от гнева, спросил у невежливого гостя:

— Что вам угодно, сэр, и почему вы прерываете программу?

— Я желаю говорить с этой женщиной,— ответил баронет, указывая на эстраду, и двумя скачками очутился у рампы.

Танцовщица стояла, скрестив руки на груди, колебавшейся тяжелыми и яростными толчками.

— Гемма!.. Я рад, что вы нашлись! Я предлагаю вам сойти вниз и отправиться домой,— сказал Осборн, занося ногу на помост.

Гемма выпрямилась и обожгла его лицо сухим огнем зрачков.

— Не подходите!.. Не лезьте на эстраду!.. Я не желаю вас видеть, Фрэди! Вы негодяй, вы жалкий бабник! Вы променяли меня, у которой все на месте, на драпую кошку, у которой нет ничего, кроме спины. Не лезьте на эстраду, повторяю вам... иначе я закричу на всю залу, каких вестовых...

Она не успела договорить, ибо баронет, понявший, что еще два слова — и он погиб, очутился на эстраде под аплодисменты и сочувственный хохот женщин.

Но Гемма отшатнулась от него и, перебежав сцену, исполинским фуэтэ перелетела полуторасаженное пространство, отделявшее ее от ложи принца Максимилиана. Протянувшиеся руки подхватили ее, как залетевшую ласточку.

Старый Баст, почувствовав приближение небывалого, тщетно пытался вылезть из-за прилавка, но живот, застрявший между стулом и стойкой, не пускал его, и он вопил, багровый и взбешенный:

— Господа!.. господа!.. я пошлю за полицией!

Но никто уже не слушал.

Баронет Осборн сошел с эстрады и спокойно подошел к ложе.

— Кто является ответственным в этом помещении? — спросил он гневно.

Лицо принца, украшенное моноклем, склонилось к нему.

— Здесь я хозяин, милостивый государь,— сказал он презрительно,— что вам угодно?

— Вы стащили мою женщину! — крикнул баронет, сжимая кулаки.

Принц пожевал губами.

— Должен заметить, милостивый государь, что в нашей стране собственность на женщин отменена. И, кроме того, вы ведете себя, как скверный нахал.

Баронет взмахнул рукой и нанес молниеносный удар в нос принца, затем вскочил на барьер ложи. Но здесь его постигла неудача. Лидер оппозиции, вставши во весь свой гигантский рост, схватил смельчака поперек туловища, и тело баронета, описав дугу, шлепнулось на столик посреди зала в звоне и дребезге разбитой посуды.

Присутствовавшие в зале наутилийские офицеры бросились на выручку, и у барьера ложи вырос неистовый клубок сцепившихся людей.

В гаме и грохоте низкими волнами рокотал бас лидера оппозиции, который, сорвав палку от портьеры, орудовал ею с необычайной легкостью, как рапирой, и пел во весь голос национальный гимн.

Палка летала, как молния, оставляя кровавые следы на лицах наступавших, и долго еще потом очевидцы утверждали, что никогда национальное самосознание и героический патриотизм не достигали в Итле такой степени энтузиазма и готовности самопожертвования в борьбе за независимость, как в этот достопамятный момент.

Генерал фон Брендель, выброшенный кем-то из ложи, повис, запутавшись шпорой в портьерных кистях, вниз головой и, тщетно стараясь принять нормальное положение, кричал изнемогающим голосом:

— Смирно... ря-яды вздвой!..

А в аванложе Гемма вытирала тонким шелковым платком вспухший нос пострадавшего принца и торопила его, бросая озабоченные взгляды в сторону зала:

— Скорей... зажмите крепче... мы выбежим через боковую дверь... вы наймете коляску и отвезете меня домой... я не хочу попасть в лапы этого безумного мальчишки!..

— Но если он нападет на меня на лестнице? — возразил трепетно принц.

— Да он не очнется скоро от своего полета... Торопитесь!

Она ухватила принца за руку и вытащила почти силой из ложи. В коридоре и на лестнице было пусто, и они выбежали на площадь, уже зарозовевшую утренним светом. У фонаря стояла закрытая каретка. Гемма распахнула дверцу, втолкнула принца, вскочила сама, и сытая лошаденка помчала их по улице.

Мисс Эльслей оглядела своего спутника, прижавшегося в угол кареты. Он зажимал нос и казался смертельно перепуганным.

— Кто вы такой? — спросила она.

— Я... принц Максимилиан Лейхтвейс,— простонал он в ответ.

Гемма широко раскрыла глаза и внезапно захохотала.

— Нет... это поразительно! можно подумать, что я прирожденная роялистка, до того мне везет на царственных особ. Не успела удрать от одного, как попадаю к другому.

Она помолчала, лукаво улыбнулась и сказала, придвинувшись ближе:

— Впрочем, это все равно!.. Вы мой спаситель и можете меня поцеловать.

Принц не шевелился.

— Ну, что же вы,— вспыхнула Гемма,— вы не хотите? Нечего сказать — вежливо!

— Я боюсь... испачкать вас кровью,— пролепетал принц в платок.

— Ничего... целуйте! Это рыцарская кровь,— ответила Гемма.

Принц отнял платок от носа, и мисс Эльслей ощутила робкое прикосновение детски мягких и нерешительных губ.

Каретка остановилась. Кучер открыл дверцу, принц помог спутнице выйти и остановился у подъезда.

— Вы, может быть, зайдете ко мне, умоетесь?.. выпьете кофе?

Принц испуганно затрепетал белыми ресницами и проронил еле внятно:

— Нет... благодарю вас... я не могу... я не... мне ничего... позвольте мне уйти...

— Вы не хотите? — с неподдельным изумлением спросила мисс Эльслей, зарозовев.

— Я... я... вы... нет... нет!..— выкрикнул принц и вдруг, повернувшись, бросился бежать по улице.

Гемма пожала плечами и поднялась на четвертый этаж в свою скромную, три дня назад снятую комнату. Там она сбросила платье, накинула легкий капотик и вышла па балкон.

Зажмурилась от солнца и легла, зевнув, в плетеное кресло. Вспомнила необъяснимое бегство кавалера и, хрустнув вытянутыми пальцами, подумала в обволакивающей дремоте:

«Невероятно!.. Человек королевской крови отказывается от женщины... Что-то противоестественное... Или он ископаемый экземпляр,— gentilhomme sans mersi, или дурак!»

Глава десятая

ИСТИНА ИЗ КОЛОДЦА

С улицы несся полнозвучный и тугой крик разносчика.

Он бежал по только что политой мостовой, шлепая босыми пятками по лужам, и на спине у него подпрыгивал, переливаясь медным блеском, сосуд с холодным лимонадом, разукрашенный цветным стеклярусом и бубенцами.

— Лимонад!.. сладкий лимонад!

Тротуары расцветились гуляющими республиканцами в пестрых одеждах. По мостовой шуршали шинами пролетающие авто, шелестели коляски. Маленькие ослики, нагруженные фруктами и всякой снедью, бодро стрекотали по камню звонкими стаканчиками копыт и весело ревели.

К белой подкове набережной густо-синей мазью прилипло тихое море, в котором, как стальные ангелы-хранители, расположились полукругом наутилийские дредноуты, и над всем этим привлекательным зрелищем истекало золотым жиром расплавленное солнце.

Но сэр Чарльз был глух и слеп к красотам природы.

Он мерил из угла в угол по диагонали свою приемную, и в походке его был опасный ритм тигра, расхаживающего по непрочной клетке.

То, что рассказал ему сидевший перед ним в кресле

посетитель, привело полномочного представителя Наутилии в состояние, близкое к собачьему бешенству. Щеки сэра Чарльза налились бурачным жомом, глаза метали огни, как ночной фонарик в руке полисмена.

— Это... это неслыханно!.. это не имеет названия!.. За это они поплатятся жесточайшим образом! — сказал он сурово и вдруг пристально взглянул на своего гостя.

— Кто мне может поручиться, что вы тоже не лжете? Раз здесь все построено на бессовестном обмане, чем я гарантирован, что вы?..

— Бросьте, дорогой господин... я вам не жулик вроде этих бродячих комедиантов, выдающих себя за законное правительство страны, которую и не нюхали раньше... Мне врать нет смысла... честь нашей фирмы. А впрочем, если не верите, спросите любого сопляка на набережной... Он вам скажет, что даже высокие особы доверялись «Кантариди и сыну» и не раскаивались в этом. Не правда ли, папаша?

Старший Кантариди наклонил голову и промычал утвердительное междометие.

— Но это так невероятно!.. это так...

— Бесчестно, хотите вы сказать?.. Каждый имеет свою профессию или ремесло. Бесчестие и есть ремесло этих шарлатанов, которые вертятся вокруг власти, как карусельные лошади вокруг столба.

Вероятно, переводчик придал фразе гостя какой-то не совсем точный смысл, потому что сэр Чарльз спросил несколько визгливым голосом, не считает ли гость всякое лицо, наделенное прерогативами власти, шарлатаном.

Кантариди-младший неопределенно усмехнулся и ответил с равнодушным презрением:

— Все они не стоят рачьей скорлупы, господин. У них даже нет размаха крупных мошенников. Они мелкие пакостники!

Ответ был достаточно категоричен, и лорд Орпингтон хотел уже напомнить забывшемуся гостю о приличиях, но вспомнил мгновенно, что в лице этого человека в сером костюме с острыми и колюче-веселыми глазами перед ним сидит нефть.

Черный мираж ее снова встал перед умственным взором посла Гонория XIX. Масляные волны катились с мрачным гулом, сливаясь в патетическую симфонию, в которой радужные акции Островной компании шелестели, как струны первых скрипок в нежном пиано.

И сэр Чарльз воспользовался этим видением, чтобы отчасти перевести разговор с темы, становившейся опасной, на ту, которая была близка и желанна ему.

— Хорошо!.. Я верю вам,— сказал он благосклонно,— но все же я не совсем обманут. Пусть все правительство республики, как вы утверждаете, бродячие комедианты, люди без роду и племени, выброшенные на гостеприимный берег республики социальной грозой. Пусть они захватчики и насильники и никто из них не имеет права стоять на почве вашего отечества. За это и за ложь, за попытку обмануть и ввести в заблуждение дружественного монарха великой державы и его представителя, они понесут ответственность перед историей и... нашими законами военного времени. Но я удовлетворен тем, что все же хоть раз мне пришлось видеть подлинное население страны, ее рабочие массы, и я встретил у них самый простой и сердечный прием.

Оба Кантариди переглянулись, и старший с заискрившимся взглядом спросил, где именно лорд Орпингтон видел коренное население республики.

— Как где? На ваших же нефтяных промыслах, господа. Я видел рабочих, они привет... Но что с вами?

Вопрос сэра Чарльза был вполне своевременен, ибо впервые перед взором вождя и дипломата, личного партнера за карточным столом величайшего из монархов развернулось подобное зрелище.

Кантариди-старший поник головой на плечо младшему, а младший уткнулся лицом в колени старшему в совершенном восторге. Тела их дергались, как у картонных паяцев, а из уст в промежутках хохота извергались отрывистые слова:

— Нет... ты слыхал... коренное... массы... ой, не могу... честное слово, лопну, вот так гуси... висельники...

Сэр Чарльз впал в раздраженное состояние.

— Я возмущен,— сказал он, пожимая плечами.— Допустим, господа, что вы выросли в этой стране и с детства заразились непосредственностью ее природы, но если все ваши соотечественники так ведут себя в чужом доме, я предпочитаю им тех, кого вы именуете бродягами и захватчиками.

Переводчик значительно усилил резкость нравоучения сэра Чарльза, и это привело его гостей в нормальное состояние.

— Простите, господин, мы, может быть, вели себя нехорошо, но мы люди простые и любим посмеяться над тем, что смешно. Мы не хотели вас обидеть.

Сэр Чарльз встал, сверкнув, как утреннее светило, золотом и регалиями парадного мундира.

— Меня никто не может обидеть,— произнес он грозно и внушительно,— ваше правительство скоро убедится, что член верхней палаты Наутилии не объект для наглых шуток дрянных актериков. Но я предлагаю вам молчать и не передавать никому нашего разговора. Я покончу с этой комедией одним ударом.

— Вы хотите слопать наших кроликов? — осведомился напрямик Кантариди-младший.

Сэра Чарльза покоробило, но он сдержался и ответил:

— Будущее покажет, что именно я найду нужным сделать. А теперь, господа, я хочу перейти к нашему главному делу, к обсуждению вашего предложения.

— Что же обсуждать? Ваши деньги — наш товар. Гоните монету чистоганом — и все. Наши условия изложены в письме. Старший Кантариди кротко вздохнул и набожно посмотрел в потолок.

— Я советовался с нашим финансовым консультантом и послал вчера же вечером радиограмму концерну компании и в обоих случаях получил ответ, что ваши условия можно считать нормальными. Таким образом...

— Эти слова не для нас, господин,— «консультант, концерн». Это не по нашим мозгам. Вы говорите прямо,— хотите купить — давайте деньги. Не хотите — в каждой стране много ловчил, которые смотрят, где плохо лежит нефть. В этом мы понимаем.

Переводчик заикнулся, переводя эту тираду в смягченном по возможности виде, боясь, что даже образцовая выдержка и такт генерала Орпингтона спасуют на этот раз. Но, к его удивлению, сэр Чарльз добродушно засмеялся.

— Я очень рад, что молодая промышленность вашего отечества так быстро усвоила приемы американизма. Итак, ваши условия: шесть миллионов за всю территорию приисков с готовым оборудованием и имеющимися запасами нефти? Так ведь?

— В самую точку!

— И вы хотите два миллиона сейчас, а остальные выплачиваются в течение четырех лет?

— Оно самое!

— В таком случае мы немедленно подпишем условие. Вы пройдете со мной в канцелярию,— сказал сэр Чарльз переводчику,— условие нужно будет написать на обоих языках. А вас, господа, я попрошу обождать несколько минут. Кстати,— вас удовлетворит выплата задатка акциями Островной компании или вы предпочитаете чек на ваш национальный банк?

Кантариди-старший взглянул на младшего, младший подобрал губы так, как будто хотел засвистать, и оба, взяв свои шляпы, молча пошли к дверям.

Сэр Чарльз оторопел.

— Господа! Куда же вы? Вы меня не поняли. Я прошу вас обождать здесь и спрашиваю только, какой способ расплаты вы находите лучшим?

Кантариди-младший повернулся к сэру Чарльзу и ткнул указательным пальцем правой руки в середину вытянутой ковшиком ладони левой.

— Мы хотим деньги сюда, об это самое место. Наутилийской валютой. А вашими акциями можете обклеить ваши большущие пароходы вместо брони...

— Но если вы не хотите акций — вы можете получить деньгами в вашем банке.

— Простите, господин, но нашими деньгами перестали дорожить даже в общественных уборных. Последнее время они выпускаются на чертовски жесткой бумаге. Нам нужны настоящие деньги. На которые можно покупать...

— Но я не могу платить золотом... это немыслимо...

Кантариди-младший снисходительно усмехнулся.

— Мы не живодеры. Золото нам не нужно. С ним трудно таскаться. Мы удовлетворимся бумажными деньгами, но только с изображением вашего короля, а не с нашим ободранным каплуном.

Лорд Орпингтон задумался.

— Боюсь, что это будет затруднительно,— вся наличность казначейства экспедиционного корпуса едва достигает этой суммы. Если бы вы согласились повременить неделю — я послал бы миноносец, чтобы доставить ее от правления компании.

Оба Кантариди снова повернулись к дверям.

Сэр Чарльз рассердился.

— Я не понимаю вашего упорства, господа! Не все ли равно? Сегодня, завтра, неделя...

— Я бы не пустил вас на базар продавать спички с такими взглядами,— ответил Кантариди-младший.— Может быть, вы здорово выламываете челюсти неприятельским солдатам, но любой мальчишка понимает в торговом деле куда больше. Вся суть в быстроте оборота. Если не дадите денег вы — даст другой. От покупателей нет отбоя. Вам преимущество, господин, лишь потому, что вы любите нашу страну бескорыстно и искренне.

Кантариди-отец внезапно всхлипнул. Сэр Чарльз счел это за знак искреннего восхищения его чувствами к молодой республике, и стрелка судьбы склонила волю генерала на сторону согласия.

— Я тронут вашими симпатиями ко мне и только поэтому соглашаюсь. Моим солдатам и офицерам придется голодать, пока привезут деньги, так как не на что будет покупать провиант.

— Пустяки! — ответил Кантариди.— Если наши важные дамы позволяют вашим солдатам делать с собой что угодно совершенно безвозмездно, мужья этих дам не откажут поддерживать вашу армию отпуском продуктов, хотя, конечно, пользование дамами менее убыточно.

Сэр Чарльз улыбнулся и вышел с переводчиком.

Старший Кантариди подошел вслед за ним к двери и прислушался.

— Ушел,— прошептал он, обернувшись, и шумно вздохнул.— Ну-ну! Коста, слушай! Неужели мы поймали эту рыбину? Ей-ей, мне еще не верится. У меня дрожь под коленками. Скажи, он не за полицией пошел?

Младший хмыкнул и бросился в кожаное кресло.

— Чертовски люблю эти кресла. Жирные бездельники умеют придумывать неплохие вещи... Так ты думаешь, он пошел за полицией? Старик, ты так же глуп, как он! Он пошел за деньгами. Он готов! Его куриные мозги насквозь провоняли уже нефтью, он готов лопать ее, как Иуда расплавленные сребреники! Он вынесет нам кредитки на блюде, как официант бифштекс важному гостю.

— Скорей бы убраться. Не нравится мне большая дорога. Становлюсь стар. По мне, лучше лежать на молу и плевать в море, чем якшаться с важными господами.

Коста обмерил старика суженными, смешливыми глазами.

— Тебе просто не по себе в этом чертовом костюме и крахмальном воротничке. И мешает борода. Я не

дождусь, когда можно будет содрать в ближайшем переулке эти парикмахерские водоросли, которые я таскаю третий день. У меня под ними вспухла вся морда. Но ради такого куша стоит постараться. Собственно, по справедливости, девяносто процентов следует нам, а не этим лоботрясам, которые нас купили. Но ничего не поделаешь — инициатива всегда оплачивается дороже, чем выполнение. Но я хотел бы знать, как они выкарабкаются теперь из истории с румынскими образинами и вообще со всеми своими штучками. Этот индейский петух достаточно свиреп. Так им и надо!

— Скорей бы он нес деньги. Я почувствую себя в своей тарелке, только когда буду за три улицы отсюда,— мрачно сказал Кантариди-старший.

— Ну, а я удеру на прощанье еще фортель... Тс... кажется, он идет.

Сэр Чарльз вошел, держа переписанные экземпляры условия, и положил их на стол.

— Благоволите подписать, господа! — сказал он, протягивая перо.

Гости подписали, причем рука старшего вывела музейный иероглиф, расплывшийся в жирную кляксу на шелестящем листе.

Сэр Чарльз разрешил себе легкую шутку:

— Крепкая подпись!

Младший Кантариди произнес значительно:

— Верно! Вообще дело крепкое!

Появившийся казначей втащил саквояж с пачками кредиток, которые после подсчета были вручены просиявшим продавцам, и в заключение всей сцены, вестовой сэра Чарльза разлил по бокалам принесенное в серебряном ведерке «Клико».

Сэр Чарльз поднял свой бокал.

— Разрешите выпить за удачное разрешение нашего дела, за будущее сотрудничество и за процветание вашего отечества.

— А я пью за хороший конец! — сказал Кантариди-младший, любуясь на свет пузырьками, вспенившими вино.

— Какой конец? — удивился сэр Чарльз.

— Ну, вообще... у всякого дела бывает конец, у человека тоже... Вот я и пью за хорошие концы.

— Принимаю,— ответил сэр Чарльз.

— И еще,— продолжал Кантариди,— я пью за то,

чтобы дорогое отечество получило наконец христианский образ правления.

— А именно? — насторожился сэр Чарльз.

— Любезный господин, высокий покровитель,— начал Кантариди патетическим тоном,— я не решался ранее на полную откровенность, пока не выяснил вашего отношения к нации, стонущей под игом иноземных правителей. Народ, загнанный в дикие горы, обобранный и нищий, ненавидит правительство странствующих шулеров, заезжих прохвостов и адвокатов. Трижды благословен будет человек, который поможет народу низвергнуть чудовищную власть. Народ жаждет монархии...

Сэр Чарльз слушал, держа в руке недопитый бокал. Брови его сдвинулись, а лицо выражало напряженный интерес.

— Но кто же может занять престол? Есть ли у нации кандидат? — спросил он как бы невзначай, но весь превратившись в ожидание.

— Кандидат? — переспросил Кантариди.— Да, господин! Он есть! Он боготворим народом и гоним правительством и...

— Кто же он? — перебил лорд Орпингтон.

Кантариди склонил голову и сказал тихо и проникновенно:

— Это принц Максимилиан Лейхтвейс.

По губам сэра Чарльза, как отсвет июльской зарницы, скользнула улыбка полного удовлетворения. Желания народа совпадали с его собственными планами. Он поставил бокал на стол.

— Я вынужден, к сожалению, расстаться с вами, господа, но я надолго сохраню самое отрадное воспоминание о нашей первой встрече. До свиданья! Можете передать пославшим вас, что им недолго осталось ждать. Пусть будут готовы встать под знамя своего короля.

И сэр Чарльз крепко пожал руки господам Кантариди, которые вышли нагруженные, как мулы, пачками кредиток к ожидавшему их у подъезда кебу.

. . . .

В тенистой платановой аллее за городом один из седоков остановил кеб.

— Ты можешь ехать прямо в деревню, Петриль. Ты нам больше не нужен. Но не смей показываться даже

вблизи города, пока мы не известим тебя. А вот тебе на постройку нового дома и на подарки жене.

Обомлевший кучер схватил пачку кредиток, хлестнул по лошадям и исчез.

Оба друга пошли по тропинке, отходившей от дороги в гору. Путь был трудный, и оба молчали, пока Атанас не сказал:

— Черт возьми! Откуда у тебя берутся слова? Когда ты заговорил эту чепуху о принце, ты говорил так, что я чуть не заревел белугой, хоть и знал, что ты врешь от «а» до «ижицы». Но скажи, пожалуйста, что тебе взбрело в голову возиться с этим недоноском и вытаскивать его в люди?

Младший остановился, присел на пень и, сорвав привязную бороду, бешено швырнул ее в траву, помянувши всю семью дьявола.

— Видишь,— ответил он медленно,— я был вором, жуликом, банщиком, статистом, позировал для неприличных карточек, пел с гитарой, одно время был кругосветным пешеходом, библиотекарем, грумом, альфонсом, поэтом, приказчиком, взломщиком, но не был еще министром. Из опыта моей жизни я вынес впечатление, что в этом звании вмещаются все мои многообразные профессии. Еще лучше они вместились бы в королевском, но королем мне не быть, и я продвигаю на это место другого.

— Мгм,— отозвался односложно старший. Оба опять помолчали.

— А дорого я дал бы, чтоб посмотреть, какая рожа будет у этого дурня, когда он увидит, что купил десять фунтов воздуха за два миллиона. К сожалению, мы этого не увидим, и вся прелесть зрелища выпадет на долю толстого Аткина. Кстати, он ждет нас. Нужно поторопиться. Жалко отдавать заработанное честным трудом, но я привык быть хозяином своего слова.

Он поднялся, но, прежде чем двинуться в путь, добавил:

— В школе учительница рассказывала нам, что истина всегда вылазит почему-то из колодца и обязательно голая. Я не завидую этому заморскому солдафону. Его истина вылезет из нефтяного колодца и будет достаточно непривлекательной и дурно пахнущей... Ну, в путь!

Глава одиннадцатая
БАРОМЕТР ПАДАЕТ

В этой главе путеводная нить романа приводит нас с железной необходимостью в место, запретное для всех посторонних,— в спальню президента Аткина, в тот волшебный час, когда небо сбрасывает синий ночной плащ с порозовевших плеч.

Пуховые горы высятся на громадном кожаном диване президента горячими сугробами, покоя его отдыхающее от государственных забот тело.

Оранжевая лента ордена Демократической Свободы висит рядом на спинке стула, опровергая легкомысленную сплетню о ее органическом сращении с фигурой президента. Ее жаркий цвет пылает еще ярче на фоне фильдекосовых кальсон тона Поль-Веронез.

Несмотря на ранний час, президент Аткин не спал,— об этом свидетельствовали клубы табачного дыма, поднимавшиеся из глубины подушек, где утонула президентская голова, и присутствие в комнате Софи, сидевшей на краю дивана в чрезвычайно прозрачной батистовой сорочке, свесив пухлые ножки на мягкую шкуру, постланную вдоль президентского ложа.

Президент курил, а свободной от папиросы рукой методически гладил спину своей фаворитки, пышную и нежную, как сметана.

— Ах, детка моя, вы не понимаете, вы не хотите понять, как мне надоела эта слава, почести, мировая известность, лесть. Как я хотел бы удалиться вместе с вами куда-нибудь на необитаемый остров, в не нарушаемое ничем блаженство. Только сознание, что я оставлю простодушный и несчастный народ в горьком сиротстве в такое тяжелое время, удерживает меня и заставляет влачить ярмо долга...

— Нет, зачем же на необитаемый? — возразила Софи, томно подставляя спину под ладонь своего султана,— на необитаемом нехорошо! Я только что дала расписать акварелью мое новое платье, а там его некому будет показать.

Как всякая женщина, она вела свою логическую линию и, как всякая женщина, была права.

Господин Аткин вздохнул.

— Пожалуй, вы здраво рассуждаете, сокровище. Я сам скучал бы на необитаемом острове, даже если бы

на нем жили... ну, допустим, обезьяны. Homo sapiens[1] нуждается в себе подобном для общения. Человек — животное социальное и одаренное речью, а обезьяны не способны понять даже самую прочувствованную речь об избирательном цензе как основе истинной свободы. Я удавился бы на этом острове со скуки в конце первой же недели.

Логика президентской фаворитки сделала стремительный поворот на все тридцать два румба, и она сердито топнула ножкой:

— Вы говорите вздор! Вы не смеете говорить так! Со скуки?.. Это со мной? Вы, вероятно, не совсем проснулись и полагаете, что с вами рядом мадам Аткин. Но я думала, что ваша рука может ощутить явственно разницу строения между мной и вашей супругой.

Президент не смог возразить и только нежно поцеловал теплый локоток Софи.

Она сморщила нос и продолжала:

— Нет! Необитаемый остров не годится. Лучше вы выйдете в отставку, выдадите Лолу замуж, а мадам Аткин станет настоятельницей мужского монастыря. Тогда мы уедем в имение и будем возвращаться в столицу только зимой, когда бывают благотворительные балы. Я ужасно люблю танцевать для рабочих.

— Вы ангел доброты, крошка, и даже не представляете себе, какие неблагодарные свиньи ваши рабочие,— сказал печально президент и задумался.

В душе его легло ясное спокойствие. Он знал, что когда лопнет с грохотом бычьего пузыря демократический строй, которому он служил так пламенно и ревностно, поезд его жизни не сойдет с рельс вслед за республикой.

В письменном столе президента, в потайном ящике, лежали тугие свертки наутилийской валюты, полученные вчера на загородной даче министра финансов от продажи нефтяных промыслов. Этой суммы хватит, чтобы звезда счастья и покоя никогда не закатилась.

Какая отрада после честно пройденного пути государственного деятеля, политика и демократа найти успокоение в солнечной вилле на берегу моря, сажая цветы и смотря в глаза любимой женщине!

---

[1] Человек как разумное существо (*лат.*).

В конце концов, не есть ли любовь подлинная земная ось, ради которой существует весь материальный мир и для которой он, как птичий самец, рядится в самые радужные краски?

Разнеженный президент потянулся к подруге, ставшей мягкой, как воск, и раскрывшейся объятиям, но беззастенчивый стук в дверь лишил его ожидаемых радостей.

Софи испуганно вскочила.

— Ради святых... не впускайте! Это, наверное, мадам Аткин!

— Не думаю,— сказал президент, нащупывая туфли.— Что за стук? Почему в такую рань? Кто это? — раздраженно спросил он, подбирая волочившийся халат и берясь за дверную ручку.

Голос дворецкого, пресекшийся волнением, ответил глухо:

— Господин президент! Вас требует генерал Орпингтон!

Президент повернулся к Софи. Губы его скривились в гримасу не то удивления, не то испуга.

— Генерал Орпингтон? В четыре часа утра? Как вам это нравится, малютка? Теперь вы видите,— какое страшное бремя — беззаветное служение идее народовластия. Нет,— продолжал он, одушевившись,— это невозможно! Что за некорректность? Филипп, скажите генералу, что я еще сплю и прошу его заехать позже.

— Господин президент! — отозвался дрожащий голос дворецкого,— я не могу! Генерал приказал сказать... нет, я не решаюсь.

— Да говорите же, старый чурбан! — вспылил господин Аткин.

— Он приказал сказать: «Передайте президенту, что, если через пять минут он не явится для объяснений, я пошлю солдат вытащить его за ногу из кровати».

— Какое нахальство! Этот унтер совершенный хам. Прикажите выгнать его в шею,— вскрикнула Софи.

— Моя куколка, вы ничего не понимаете,— ответил президент, внезапно побледнев и запрыгав губами,— я узнаю моего друга, его шутку. Правда, она несколько грубовата, но разве можно требовать изысканности слога от человека, который три раза спас свою родину на поле чести. Скажите его превосходительству, Филипп, что я сию минуту выйду.

И президент стал одеваться с поспешностью, которая сделала бы честь образцовому солдату, заслышавшему сыгранную горнистом тревогу.

На исходе четвертой минуты он вышел в приемную, застегивая на ходу орденскую ленту.

Лорд Орпингтон сидел в кресле и при входе президента даже не шевельнулся. Протянутая для приветствия рука господина Аткина осталась висеть в воздухе, а в уши ударили неожиданные слова:

— Какого дьявола вы копаетесь столько времени? Вы думаете, я должен ждать вас, милостивый государь!

Президент Аткин отшатнулся.

— Позвольте, сэр,— сказал он с достоинством,— я отказываюсь понимать. Вы говорите с лицом, осуществляющим...

— Довольно! Я говорю с мошенником, представляющим других мошенников...

Господин Аткин безмолвно опустился на ближайший стул. Во рту у него сразу пересохло. Лорд Орпингтон саркастически засмеялся:

— Вам нехорошо? Вы нездоровы? Еще бы,— вы так много потрудились, чтобы сплести целую сеть лжи, пахальства и шантажа. Но это не пройдет вам даром.

— Я не понимаю, о чем вы говорите, ваше превосходительство! — прошептал президент.

— Не понимаете?.. Еще что?.. Может быть, вы опять ввернете мне сказку о высших сословиях вашей маргариновой республики, ассимилировавшихся с культурными северными расами? Или выпишете со всемирной выставки бушменов, чтобы представить их мне как коренное население страны? Так, что ли? Вы понимаете, что вы затеяли? Вы понимаете, что, обманывая меня, вы обманывали его величество, благодаря джентльменской доброте которого и существует ваш государственный паноптикум? Вы знаете, чем это может кончиться, когда я доведу до сведения моего монарха, что вместо государства я нашел здесь свалочное место, а вместо правительства — десяток бежавших карманников?

Президент вытер лоб платком и с шумом втянул воздух в легкие. У него отлегло от сердца. Первоначальная мысль, что представитель Наутилии раскусил нефтяную операцию, оказалась преждевременной. Остальное было мелочью, и президент решил вступить в бой.

— Что бы ни было, сэр,— произнес он, гордо выпрямившись,— вы нанесли в моем лице, на основании данной вам каким-то безответственным лицом ложной информации, тягчайшее оскорбление суверенному государству...

— Государству? — перебил сэр Чарльз.— Я могу купить ваше государство, не сходя с этого места, и сделать из него скетинг-ринг или скотный двор. Могу купить и продать, как купил вчера ваши нефтяные промыслы, хотя вы и увиливали от этого.

В глазах президента Аткина метнулась искра наслаждения. Он понял, что настало время реванша, и сказал каменно-спокойным голосом:

— Ваше превосходительство, я не могу понять сути ваших слов. Вы говорите о приобретении вами нефтяных промыслов. У кого же вы приобрели их?

— Я сам нашел владельцев, хотя вы и скрывали их от меня всеми способами. Вчера я подписал условие с господами Кантариди и уплатил первую часть денег. Теперь никакие протесты не помогут.

Президент Аткин понял, что колосс, стоящий перед ним, уже едва держится на глиняных ногах и что настало время дать ему последний толчок. Он поднял руку и сказал медленно и твердо:

— Здесь явное недоразумение. Никаких господ Кантариди в республике нет и не было. Такая фирма не существует! Промыслы никем не могут быть куплены без санкции парламента, так как они являются государственной собственностью республики. А республика их не продаст.

Стало слышно, как на окне приемной звонко билась в стекло блуждающая оса, и вдруг тишина лопнула, как орех под молотком.

— Что? — крикнул сэр Чарльз тем голосом, от которого трепетали четырнадцать тысяч стрелков наутилийской экваториальной дивизии во время похода в страну Данакиль,— что вы сказали?

Но президент Аткин не затрепетал, он знал, что победа за ним, что крик генерала не более как вопль отчаяния великой души, внезапно рухнувшей с неизмеримой высоты, и он повторил так же спокойно:

— Я сказал, что вы не могли купить промыслов, сэр, потому что они не продаются, потому что они не могут быть проданы, потому что...

Сэр Чарльз шагнул к президенту, выставив нижнюю челюсть, как таран.

— Вы выбрали плохой момент для шуток, господин президент. Их пора кончить! Я это сделаю! Промыслы куплены! Я сам подписал условие вот этой рукой, и я сам уплатил владельцам наличные деньги.

Президент незаметно улыбнулся — в неоспоримость уплаты денег он твердо верил: они прошли через его руки, они лежали в его столе, и лорду Орпингтону вовсе незачем было уверять господина Аткина в уплате. Он погладил ладонью по орденской ленте и сказал с соболезнующим вздохом:

— Я очень сожалею, сэр, что вы, полномочный министр и друг монарха, столь хорошо расположенного к нашему отечеству, предпочли действовать нелояльно по отношению к правительству республики и вели закулисную политику. Если бы вы обратились непосредственно ко мне, эта странная ошибка не была бы сделана. Я думаю,— нет, я даже уверен,— что ваше превосходительство было введено в заблуждение ловкими мошенниками...

— Как? — спросил лорд Орпингтон внезапно жестко,— мошенниками?

— Да... недобросовестными людьми. Мы примем все меры, чтобы самозванцы, проделавшие всю эту комедию, были немедленно разысканы, и для достойного возмездия им республика согласится даже на восстановление, в качестве меры наказания, смертной казни.

Но лорд Орпингтон не оценил огромной жертвы республики. Он взял со стола свою фуражку и перчатки.

— Послушайте, вы...— протянул он,— я не знаю, есть ли в вашей треклятой стране хоть один человек, который не был бы мошенником. И если казнить за мошенничество, то нужно начать с вас, господин президент. Но казни меня не устраивают. Мне нужно вернуть деньги, и это я возлагаю на вас...

— Но это вряд ли возможно, сэр! Если негодяи и будут пойманы,— деньги, вероя...

— Прилипнут к рукам ваших министров? Не сомневаюсь! Но мне нет никакого дела до этого. К десяти часам утра завтрашнего дня вы дадите мне исчерпывающий ответ на следующие ультимативные требования: или ваша республика утверждает продажу и принимает на себя ответственность за преступление, совершенное, как вы утверждаете, неизвестными лицами, или ваше казначей-

ство полностью возвращает мне уплаченную господам Кантариди сумму.

Господин Аткин побледнел. Глиняные ноги колосса отвердели на его глазах, и история принимала оборот вовсе не предвиденный. Он прижал руку к груди и ответил:

— Но для этого нужно созвать парламент, сэр, а он распущен на летние каникулы. Собрать его ранее как в двухнедельный срок...

— Вот что!.. Я — человек, привыкший уважать лучшую в мире конституцию — конституцию Наутилии. И я не хочу нарушать вашу конституцию из уважения ко всему народу, но не к вам и вам подобным. Я даю сроку пять дней. Через пять дней ваш клуб бездельников должен быть в сборе, и я сам приду за ответом.

Президент Аткин поднял голову. Он вспомнил в эту роковую минуту, что на земле жили Бруты, Мирабо, Робеспьеры и что в грозные для их родины дни они умели быть героями. И он позволил себе спросить у лорда Орпингтона:

— А если парламент откажет в вашем требовании, милорд?

Лорд Орпингтон скривил рот такой усмешкой, которая проползла ледяным холодом по спинному хребту президента и сдавила его грудь, как петля боа-констриктора. Отрезая слова, неторопливо и веско, он ответил, испепеляя глазами президента:

— Тогда я найду ему более подходящее занятие! Прощайте!

Господин Аткин сделал невольное движение броситься за уходящим, но лорд Орпингтон остановился, не дойдя до двери.

— Да!.. Еще одно!.. Предупредите вашего военного гения фон Бренделя, что я желаю проехать с ним на фронт. После всего происшедшего здесь мне очень хочется видеть, что происходит там. Я хочу знать, куда пошли средства, отпущенные моим повелителем на оборону вашей страны, на постройку укреплений. Сегодня среда, в субботу генерал фон Брендель выедет вместе со мной, а в понедельник я приду за ответом. Уверен, что он будет благоразумным.

Сэр Чарльз с силой захлопнул дверь. Господин Аткин, отодвинув край занавески, проследил, как страшный гость сел в автомобиль и скрылся.

Президент отошел к столу, проглотил две успокоительные пилюли и, сняв трубку, назвал номер телефона.

— Это вы, фон Брендель? Да?.. Он был у меня... он! Ну да!.. Он требует возврата денег или признания сделки. Да. Очень смущен, но пытается бодриться. Я его здорово срезал... Теперь беда на вашу голову! Он приказал предупредить, что в субботу поедет с вами на фронт осматривать укрепления... Что? Что с вами? Почему вы не отвечаете? Плохо?.. Выпейте валерьянки! Будьте здоровы!

Глава двенадцатая

ИСКУССТВО ТЕАТРА

Может показаться странным, что, начав этот роман военно-дипломатической экспедицией, рассказав о военных грозах, нависших над Итлем со стороны севера, где дерзко крушила мировые устои армия коммунистических штатов Ассора, узурпаторски захватившая власть и беспощадно уничтожавшая свободолюбивую демократию,— мы больше не обмолвились ни одним словом о войне.

Но мы сознательно отходим от грубых картин человеческого ожесточения, мы поворачиваемся спиной к отвратительному и гнусному чудовищу истребления по двум причинам.

Первая заключается в нашем принципиальном антимилитаризме, вторая же в нежелании заливать кровью эти страницы, долженствующие отражать лишь лирическую прелесть существования благонамеренных жителей республики, благоденствующих под опекой мудрого и человеколюбивого народовластия.

И если сейчас мы все же должны на минуту появиться на поле боевых действий, то нас вынуждает к этому сюжетная композиция, в силу которой отголоски пушечных раскатов являются для общего плана столь же неизбежными, как свирепый турецкий барабан неизбежен в самом лучшем симфоническом оркестре.

Но нужно заранее предупредить, что жестокие зрелища войны будут так же безопасны, как пламя именинного фейерверка, и так же мимолетны.

Жители Порто-Бланко, квартировавшие в части столицы, расположенной вокруг пышной гранитной громады

военного министерства, были крайне заинтригованы светом, горевшим три ночи напролет в двух окнах кабинета главнокомандующего вооруженными силами республики.

Под ярко-малиновым абажуром, нежданный и тревожный, он казался грозной звездой, предвещающей близкие беды, тем более что со дня возникновения республики никто не мог запомнить случая, чтобы главнокомандующий работал днем, не только ночью.

Люди стояли у окон квартир, устремив расширенные тревогой зрачки на пугающий малиновый луч, и что-то беззвучно шептали, стараясь проникнуть в тайну кабинета. Многие забыли на эти три ночи жен и возлюбленных и так и засыпали у окон в креслах, не в силах оторваться от волнующего зова огня.

Но если огонь видели все, то разговор, происходивший в кабинете в среду днем, после ультиматума, предъявленного лордом Орпингтоном президенту, между генералом фон Бренделем и его начальником штаба, остался строго конфиденциальным и не вышел за толстые, крытые штофом, стены.

Желание генерала Орпингтона видеть фронт и проконтролировать оборонительные работы республики поставило военное министерство в почти безвыходное положение, так как фактически налицо не было ни фронта, ни оборонительных работ.

Анархические банды Ассора, занятые кровавой и смертельной борьбой на востоке, где им приходилось бороться с храброй, прекрасно обученной и многочисленной армией восточной диктатуры, не обращали никакого внимания на существование где-то сбоку захудалого клочка земли, не представляющего никакой опасности.

Ими был выставлен только слабый заслон по нагорному берегу пролива, отделявшего Итль от бывшей территории империи, для предупреждения десанта.

Поэтому на фронте пятый месяц не слыхали ни одного выстрела, и пограничные посты обеих армий мирно занимались товарообменом.

Средства же, отпускаемые из особого фонда наутилийского правительства на постройку тройной линии бетонированных укреплений, расходились по твердой смете между чинами военного министерства и заканчивали свое странствие в кармане Антония Баста, служа основной базой для развития и процветания «Преподобной Крысы».

Секретный разговор двух военачальников, ответственных за оборону республики, продолжался около шести часов, и с тех пор вспыхнул неугасимый свет в кабинете генерала фон Бренделя.

И в первую же ночь с товарного вокзала столицы ушли в направлении фронта шестьдесят огромных составов с таинственным грузом особого назначения, и в ту же ночь полицией республики были арестованы в постелях и отправлены неизвестно куда около шестисот граждан, имевших касательство к изящным искусствам, и, наконец, в том же направлении проследовала партия в шесть тысяч строительных рабочих.

На следующее утро из магазинов столицы исчезли все запасы бумаги, картона, чернил, красок, холста, и на все расспросы покупателей приказчики отвечали кратко и вразумительно: «Реквизировано по предписанию чрезвычайного комитета демократической обороны».

В столице началась паника. Зажиточные граждане вытаскивали из заветных тайников все драгоценности, уцелевшие от разгрома в ночь встречи наутилийской эскадры, и набережная, где всегда прогуливались наутилийские моряки и солдаты, обладавшие полноценной валютой, превратилась в кипучую биржу-аукцион.

Паника утихла только после официального сообщения, что в субботу командующий экспедиционным корпусом Наутилии, совместно с высшим командованием республики, выедет на позиции для разработки плана наступления на дезорганизованного врага.

Но сообщение вышло слишком поздно, и последние девушки высшего общества столицы отдали свою девичью честь наутилийским матросам за право быть посаженными вне очереди на суда в случае эвакуации, а женщины, по возрасту и внешнему виду не могшие рассчитывать на успех такой жертвы, расстались за бесценок с последними ювелирными безделушками.

К отходу салон-вагона, увозившего сэра Чарльза в боевую зону, на вокзал пришло несметное количество людей, желавших лично убедиться, что никакой опасности для республики нет и что высокий гость Итля действительно едет в сторону фронта, а не в обратную.

И когда поезд тронулся, население приветствовало своего защитника и покровителя восторженными овациями и цветочной бомбардировкой.

Салон-вагон остановился на последнем полустанке перед линией огня в первых розах рассвета. Отсюда сэр Чарльз должен был следовать дальше уже на машине. Пути за полустанком были взорваны и растащены в предыдущую ночь саперами республики по срочной телеграмме из столицы для создания полной иллюзии прошедших боев.

Автомобиль зарычал и понесся по шоссе. По обеим сторонам валялись брошенные фуры, разбитые передки орудий, щебень, блестели осколки снарядов, чернели рваные дыры воронок.

Машина пронеслась с бешеной быстротой по цветущей долине и с разбега вылетела на высоту, с которой открывался горизонт на двадцать верст окрест.

На высоте стояла в ожидании группа штабных офицеров; подскочивший ординарец открыл дверцу автомобиля и помог сэру Чарльзу сойти.

Сэр Чарльз принял рапорт начальника дивизии и повернулся к северу.

Перед его глазами было зрелище, от которого ноздри старого вояки задергались, как у жеребца, зачуявшего раздражающий запах подруги.

Уходя к северу в песчаные дюны, тянувшиеся вдоль пролива, серыми тяжелыми силуэтами высилась тройная линия мощных фортов, связанная ходами сообщений, линиями узкоколеек и переплетенная, как брабантским кружевом, пышными волнами колючей проволоки.

Форты залегли, как хищные звери, готовые прыгнуть на добычу, на вершинах золотившихся под солнцем песчаных холмов.

За ними вихрился, клокотал, гудел и взметался гигантский грохочущий бой.

Казалось, обозленный сатана выпустил на эту слоеную пустыню песчаной парчи весь запас ужасов, грома и треска из своего реквизита.

Синие профили фортов беспрерывно мигали желтыми зрачками залпов, воздух ревел и сотрясался, на самой линии горизонта тянулась сплошная полоса рыже-лилового дыма, просекаемая мгновенными вспышками взрывов.

Сэр Чарльз смотрел долгое время в призматический бинокль «Буша и Ломба» на этот рокочущий вертеп с такой улыбкой на губах, какая бывает у порочных мальчиков, подглядывающих сквозь щелку в женскую купальню.

Он был доволен; больше — он был положительно приятно удивлен.

— Я никак не представлял себе, что у вас могут идти бои такого масштаба. Это совершенный Верден!

— Простите, сэр, разве это можно назвать боем? Это у нас бывает каждое утро. Легкая артиллерийская дуэль! — ответил фон Брендель с пренебрежительным превосходством.

Сэр Чарльз еще раз окинул взглядом бесконечное пространство слоеных песков, кипящее поминутно взлетавшими гейзерами огня, дыма и металла.

И сердце солдата,— а при всех своих недостатках сэр Чарльз был поистине храбрым солдатом,— повлекло его в самую кипень фантасмагорического и жестокого ада.

— Мы пройдем на ближайший форт. Я хочу лично поздравить ваших молодцов. Они дерутся славно. Как прекрасно, что они перестали быть капитанами и стали настоящими драчунами.

Генерал фон Брендель растерянно переглянулся с чинами штаба.

— Это невозможно, ваше превосходительство! Я не смею принять на себя такую невероятную ответственность. Республика вверила мне охрану вашей жизни здесь на полях чести, и я не вправе подвергать ее опасности.

— Опасности? Вы, вероятно, думаете, что война должна быть так же безобидна, как футбол? Вам нужно привыкать к опасностям! Идемте!

Сэр Чарльз решительно двинулся с холма к ходу сообщения. Генерал фон Брендель торопился за ним взволнованной припрыжкой.

— Сэр, я умоляю вас! Здесь совершенно открытое место! Артиллерия противника пристрелялась, как на полигоне... Нас заметят!

— Так и должно быть! — отозвался спокойно и неумолимо сэр Чарльз.

Фон Брендель беспомощно всплеснул руками и, отстав на два шага, отчаянно зашептал начальнику дивизии:

— Нельзя... ни в коем случае нельзя допустить его до фортов. Вы понимаете, что будет? Что же делать? Он сумасшедший!.. А!..— генерал оживился,— телефонируйте немедленно командиру дежурной батареи, пусть он даст завесу на пути! Живо! Не медлите ни секунды!

Начальник дивизии бросился обратно на холм и вырвал у телефониста трубку. Фон Брендель догнал лорда

Орпингтона и шагал рядом с ним в мрачном и ожесточенном молчании по узкому ходу сообщения.

Но на повороте к форту, громада которого стала заметно близиться, ход сообщения с воем и свистом накрыла шрапнель. Все скрылось в белом сладковатом дыму. Фон Брендель присел и набожно помянул патронов республики Варсонофия и Христофора.

Когда ветер унес рваные волокна дыма, фон Брендель увидел, что сэр Чарльз стоит, прислонившись к стене хода, и с сосредоточенным видом вытирает носовым платком кровь на левой кисти.

Фон Брендель зашатался от испуга и тронул наутилийского полководца за плечо:

— В-ва... вва-шше пр... вы ра-нены? Докторов, санитаров!

— Вздор! — сердито отрезал сэр Чарльз,— оцарапало палец,— но вы правы! Эти канальи прекрасно стреляют!

И в подтверждение его слов в десяти шагах с визгом и звоном рванула песок бризантная очередь. Сэр Чарльз выругался и пошел обратно на холм.

Там он перевязал себе кисть платком и сказал столпившемуся штабу:

— Я доволен, господа! Наконец я увидел в вашей фальсифицированной насквозь стране хоть одну настоящую вещь — войну! И я очень счастлив, что в собратьях по профессии я нашел честных людей. Благодарю вас! Я немедленно доложу о виденном его величеству и буду просить о награждении вас высшим боевым отличием моей родины, орденом Рогатого Слона.

Начальник дивизии провозгласил «ура» в честь героического друга республики и, посмотрев вслед умчавшемуся автомобилю, сказал начальнику штаба:

— Друг мой, не забудьте дать командиру дежурной батареи внеочередной месячный отпуск и содержание за три месяца в виде награды. Он блестяще сделал дело и показал себя настоящим патриотом.

Передовые посты железной коммунистической дивизии были ошеломлены в это утро, не увидев на противоположном берегу неприятельских постов. Итлийских солдат не было нигде. Местные жители показали на допросе, что ночью заставы итлийской армии были сняты и уведены на тридцать верст в тыл.

Еще больше изумились разведчики, когда услыхали через час в направлении, куда ушел противник, тяжелый грохот напряженного боя. Они не рискнули по своей малочисленности продвинуться далеко, но отправили срочное донесение в главный штаб революционных войск Ассора о небывалом происшествии у противника.

А в это время, посреди песков, бывших недавно ареной сатанинской потехи, в походной палатке сидело несколько человек за чаем.

Все они были в штатском, и бритые физиономии, и благородные профили римлян последней империи выдавали в них людей искусства.

Старший из них расправил плечи, как человек, уставший от тяжелого физического труда, и сказал задумчиво:

— Д-да!.. Доложу я вам! Работал я в крупнейших, можно сказать, театрах и кинофабриках мира, но такой постановочки на моей памяти еще не было. И всего в три дня! Я считаю эту работу рекордной. После нее мне обеспечено место главного режиссера даже в раю!

И, отхлебнув чаю, добавил:

— Так вот... что вы там ни говорите, а искусство театра — величайшее искусство в подлунной.

Глава тринадцатая
БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА

В приморских кабачках и остериях, разбросанных в веселых улицах Порто-Бланко, в улицах, скачущих, подобно резвым козлятам, с уступа на уступ, от подошвы гор до пенного рюша прибоя,— стали твориться по ночам странные вещи.

Едва успевали вспыхнуть над входами пестроглазые бумажные фонари — дверь какого-нибудь «Райского Берега» или «Печенки Корсара», визжа, поворачивалась на блоке, и по выбитым ступеням в жемчужную от табачного дыма и спиртных паров теплоту подвала спускались двое неизвестных.

Безработные контрабандисты, отставные матросы, браконьеры и торгаши, карманные воры и, наконец, просто бедные и честные люди, фотографии которых украшали альбомы розыскных бюро всего мира,— веселившиеся на территории порта, куда не смела показываться стража республики, при появлении незнакомцев ощетинивались

и встречали их сдержанным рычанием и треском раскрываемых в карманах клинков матросских ножей.

К такой негостеприимной встрече их вынуждала нарочитая загадочность первого неизвестного, закутанного до кончика носа в черную альмавиву. С головы его на тот же злосчастный кончик носа свисали огромные поля ковбойской шляпы.

Но по мере того, как завсегдатаи кабачка ознакомлялись с шириной плеч и с величиной кулаков второго незнакомца, яростное возбуждение стихало, уступая место почтительно-осторожному наблюдению.

Оба посетителя скромно усаживались за свободный столик и требовали в изобилии закуску и самые фешенебельные в этом месте напитки, возбуждая зависть глазеющего махрового сброда.

Понемногу за столиками вскипали и перекатывались заглушенные вздохи и густые морские проклятия подлому времени, когда бедному человеку нельзя даже погулять как следует.

Тогда человек, обладавший широкими плечами, придававшими ему сходство с большим платяным шкафом, внезапно вставал во весь рост и ударял молотообразным кулачищем по столу.

Все умолкало, выжидающие взгляды цеплялись за гиганта, он раскрывал рот, и изо рта вылетали тяжелые трубные рокоты:

— Вы, темные кроты, дохлые мухи. Вы скулите над рюмкой бурды с опаской, что завтра вам не хватит грошей набить требухой ваши урчащие ридикюли... Вы гниете заживо, как бараны, сложенные в холодильник, черт побери! Почему? Потому что нет хорошей власти, которая заботилась бы о честных бедняках... Теперешние повелители?.. Они калифы на час! Они мечтают только сколотить на ваших горбах копейку на черный день, когда им придется уходить вчистую. Им не до вас... И вы живете, как парии... Честно заботиться о народе может только тот, кто знает, что крепко сидит на своем месте и не зависит от числа рваных бумажек с его именем, сунутых наспех в избирательный ящик. Вспомните, ребята! При покойном короле Микеле Слюнтяе — самый последний голыш каждый день мог раздавить бутылочку на свои трудовые гроши. А теперь? Вам нужно потеть неделю, чтобы получить корзину ничего не стоящих картинок, на которые едва ли можно купить полбутылки. А тем, кто любит

ночной труд, разве не плохо теперь, когда ни в одном доме нет порядочной добычи?

По кабачку пролетел ропот сочувствия и сожаления. Говоривший, после паузы, вновь грохал по столу.

— Дорогие друзья, славные патриоты! — продолжал он с энтузиазмом...— Я вижу, вы согласны со мной. В ваших глазах, закаленных житейскими бурями, я вижу слезы печали по чудному прошлому. Слушайте! Не все потеряно. Есть человек, который готов до смерти заботиться о процветании водочных заводов и влажности ваших глоток, как заботился покойничек Микеле. С этого дня каждый из вас может пить здесь за его здоровье ежедневно по две бутылки совершенно бесплатно. Вот!

И незнакомец бросал хозяину кабачка пачку кредиток.

— Хозяин! Ставь вино! Пусть гуляют бедняки. Их угощает тот, чья душа полна любви к своему народу.

Сквозь восхищенный рев гуляк прорывались удивленные возгласы:.

— Кто этот добрый волшебник?

— Покажите нам этого Аладдина вместе с его копилкой!

— Выставьте его для обозрения!

Оратор отступал, выдвигая вперед своего спутника.

— Глядите, ребята! Всмотритесь! Это принц Макс, племянник покойника Микеле.

Альмавива спадала с плеч незнакомца, ковбойская шляпа открывала одутловатые, мелкие черты. Принц Максимилиан робко кланялся буйному собранию и, заикаясь, приветствовал его как лучших и бескорыстных друзей бедного изгнанника.

Он заявлял, что лучшая мечта его жизни — превзойти в заботе о народе французского короля Генриха Четвертого, ибо он желал, чтобы всякий бедняк не только имел курицу в супе, но также чтобы эта курица была сварена в хорошей мадере.

Настроение вскипало, как нарастающий прилив, и, возглашая «ура» в честь доброго принца, гуляки поносили крепчайшими словами республиканское правительство, не умеющее заботиться о несчастных тружениках.

Они бурно и ласково провожали принца к выходу, и их лица, жесткие, как сосновая кора, и потертые, как линолеум на полу биллиардной, оживлялись надеждой на даровую выпивку.

Таким образом, принц еженощно завоевывал твердую популярность среди подлинно демократических элементов населения Итля.

Кроме того, на его стороне была почти вся армия. Оскорбленные капитаны не могли простить правительству президента Аткина той угодливости и трусости, с какой оно уступило требованию сэра Чарльза об их упразднении.

И, откатившись от безукоризненных принципов демократии к откровенному роялизму, капитаны надеялись, что молодой претендент восстановит их наследственные и древние права.

Популярности принца в армии много способствовала также личная дружба, связывавшая принца с одним из наиболее прославленных капитанов, Богданом Адлером.

Он и был тем человеком, похожим на платяной шкаф, с огромными кулаками, который сопровождал принца в ночных скитаниях, делил с ним непритязательную квартиру потомка ассорской династии и дружески оказывал принцу ряд мелких услуг, не гнушаясь даже кулинарией.

Помимо этого, он имел два ценных таланта — пламенного агитатора и неистощимого в мужской силе любовника.

Это делало его, несомненно, опасной для демократических устоев Итля фигурой, и принц с тем большей охотой брал его в спутники полуночных приключений, что при Богдане он не боялся встречи с баронетом Осборном.

Нос бедного рыцаря мисс Геммы Эльслей с трудом принял прежний вид после жестокого удара коммодора, и принц Максимилиан чувствовал себя в безопасности, лишь имея за спиной катастрофические кулаки Богдана, способные раскроить с одного удара лоб быка.

. . . .

В одну из этих заговорщических прогулок, направленных на бесчестное и неблагодарное подкапывание под фундамент приютившей его демократии, принц встретился в кабачке «Амулет Падишаха» с двумя посетителями.

Они приблизились в тот момент, когда принц поставил на стойку бокал, осушенный за здоровье возлюбленных бедняков, и вежливо сняли шляпы.

— Мы слышали, как вы проливали мед красноречия, принц. Мы были тронуты... мы ревели от умиления... Мы

хотели бы поговорить с вами наедине,— сказал один из подошедших с любезным и достаточно низким поклоном.

— Мое сердце открыто голосу народа,— ответил принц. Он со дня свидания с сэром Чарльзом на «Беззастенчивом» носил при себе бархатный томик афоризмов и мыслей великих людей в издании Таухница и приобрел уже некоторую бойкость и величественность в обращении с людьми.

Но, оказав такое доверие неизвестным людям, принц не замедлил переглянуться с Богданом, и тот с готовностью положил на стол, в виде предупреждения, два своих дробительных аппарата.

Подошедшие улыбнулись.

— Вы можете убрать ваш одушевленный танк. Нас обижает недоверие. Мы пришли как искренние поклонники вашего высочества.

Принц сделал легкое движение рукой.

— Я думаю, Богдан, вам не мешало бы поболтать с кельнершей Кэт,— она, бедняжка, очень тоскует о вас. А мы пока поговорим с друзьями,— сказал он.

Богдан молча встал, свистнул и, раскачивая плечами, пошел к прилавку разбивать очередное сердце. Принц пригласил новых приверженцев сесть.

— Я рад преданным людям,— продолжал он, приняв суровый вид,— и в великий день...

— Мы знаем... мы верим в вашу счастливую звезду, принц... мы все знаем,— перебил его собеседник,— мы хотим полного успеха вашей афере и хотим предложить вам свою помощь, сколько хватит сил.

— Кто же вы такие? — спросил удивленный принц.

— Мы? Мы — люди, ненавидящие нынешний строй... Мы видим, что он ведет дорогое отечество к гибели. Жулики, под личиной демократов, вчерашние сидельцы мелочных лавочек, выскочившие, как пена, на поверхность бури... Продавцы патриотизма и подмоченного сахарина слюнявого народовластия. Я ненавижу их! Я — сторонник твердой власти!.. Мой же друг, несчастный старик, которого вы видите, имеет личную причину для ненависти. Он — тесть президента Аткина и его жертва.

Второй собеседник, пожилой и мрачный, внезапно поперхнулся и закашлялся.

— Вы видите, принц,— быстро сказал первый,— он не может даже слышать этого имени. Он захлебывается яростью при упоминании президента. Он был богат и ува-

жаем. Президент отнял у него все. Сначала он взял у него дочь, чистое и невинное создание. Потом — рядом подлогов, мошенничеств и угроз — он лишил старика всего состояния, отобрал последние гроши и выбросил его на улицу. И это только потому, что жена президента оказалась якобы неприлично тощей. Вы понимаете всю гнусность этого поступка, принц? Ведь законы нашей страны не воспрещали президенту предварительно измерить талию своей невесты и твердость ее скелета. Значит, он сам виноват. Но он обрушил подлую месть на беззащитного старца. Большего преступления не знало человечество...

— Это ужасно,— вздохнул принц,— и вы не протестовали? Вы не боролись с произволом вашего зятя? — участливо спросил он понурившегося старика.

Тот часто замигал ресницами, будто собираясь заплакать, пожевал губами, но, не произнеся ни слова, жалко махнул рукой.

— Он смолчал, как истый сын родины. Он не хотел скандала в тяжелые для Итля дни. Но ныне час мести пришел. Он кладет к вашим ногам свою преданность и жизненный опыт...

— Благодарю...— ответил тронутый принц.

— Не благодарите! Это его долг. Это мой долг, долг всякого порядочного гражданина. Мы давно следим за стезей вашего высочества, и нас волнует торжественная заря вашей славы. С ней вернется величие отечества и счастье добрых подданных.

Принц молча склонил голову в знак согласия.

— Но мы полагаем, что ваше высочество находится на немного неправильном пути. Зачем вам лично появляться перед необузданной чернью? Здесь, в этих притонах, скверно пахнет и притом произносятся всякие слова, неудобные для вашего высокородного слуха. Кроме того, вы должны быть окружены, ну, как это говорится в романах... ореолом, что ли?.. должны держать толпу на расстоянии. Вот почему мы предлагаем вам свои услуги. Я знаю здесь каждую буфетную стойку и каждого прохо... то есть посетителя. Мне доверятся эти бедняги скорее и проще, чем вам, а старика знает вся страна как обесчещенного и обворованного президентом почтенного мужа. И в три дня мы сложим к вашим стопам тысячи горящих преданностью сердец.

Принц задумался.

— Вы мне очень нравитесь,— сказал он, раздумывая,— особенно мне жаль убеленного сединами человека, так грубо оскорбленного. Я возмещу вам все утраты и обиды в день, когда...

— Не называйте этого дня!.. Стены могут иметь уши,— перебил его собеседник.

Принц оглянулся и подозвал Богдана, увлеченного беседой с пухлой кельнершей.

— Вы простите,— обратился он к неожиданным друзьям,— я ничего не делаю без Богдана. Что вы думаете об этом, Дан?

Богдан, насвистывая, выслушал сообщение принца.

— Что же,— ответил он,— пожалуй, неплохо. Мне надоело шляться каждую ночь по вонючим берлогам. И думается, по их обличьям, что они куда солидней обтяпают это дело, чем мы с вами, Макс. Но не давайте им в руки ни одного гроша...

— Не беспокойтесь, капитан! — вежливо остановил его младший из собеседников,— мы предусмотрели это. В доказательство нашей бескорыстной преданности мы принимаем все расходы на себя. Мы уверены, что его высочество вернет все издержки в день...

— ...который не нужно называть,— сказал с улыбкой принц, вставая и давая понять, что разговор окончен.

— Отныне мы беспрекословно повинуемся приказам вашего высочества и являемся вашими верными слугами. Вы можете ежедневно передавать нам все инструкции через хозяина «Амулета». Он — наш доверенный,— сказал младший, следуя за принцем до выхода.

Когда дверь захлопнулась, он вернулся к столу, выпил стакан вина и вытер пот со лба.

— Тьфу! — сказал он,— я думаю, легче верблюду влезть в эту самую библейскую иглу, чем разговаривать придворным слогом. Я вывихнул начисто язык. Но все же мальчишка подкован на все четыре лапы. Пусть это влетит мне в копеечку, но я еще стану родоначальником каких-нибудь графьев, хоть бы мне пришлось растрясти все монеты торгового дома Кантариди.

— Зачем только ты понес ахинею о тесте президента? Я чуть не захлебнулся вином. На кой ляд ты выдумал этот вздор?

Спрошенный посмотрел на товарища с глубоким сожалением.

— Я думаю, Атанас, что если на том свете есть-таки ад со всеми его чертями,— тебя повесят за язык за твои бесконечные идиотские вопросы. Пусть меня съедят жабы, если ты не станешь манежным директором будущего цирка, где его высочество будет главным дрессированным ослом. То, что я делаю, называется на языке господ «большая политика». Этого, старик, ты не в силах понять по недостатку светского лоска.

Глава четырнадцатая
ДВЕ КОРОЛЕВЫ

Сэр Чарльз разгневанно отодвинул фарфорового китайца, стоявшего перед ним на столе. Китаец сочувственно закивал головой, как бы понимая раздражение представителя Гонория XIX.

— Да! Я должен констатировать, сэр Осборн, что ваше поведение переходит границы приличия и ваши выходки угрожают работе двух министерств и дипломатического корпуса. Его величество...

— Но я...— попытался вставить коммодор Осборн.

— Молчите! Вы — юный невежа. Вы позволяете себе перебивать старшего во время разговора. Можно подумать, что вы получили воспитание не в привилегированном колледже, а где-нибудь на западной ферме.

Фрэди смущенно потупил голову, перебирая портупею кортика.

— Как вы полагаете, зачем его величеству было угодно отправить вас с моей экспедицией? — спросил еще суровее сэр Чарльз.

Коммодор поднял ясные, как морская вода, глаза на рассерженного лорда Орпингтона, и в них пробежал всполох ребяческого удивления.

— Я думаю... для развлечения,— нерешительно начал он и добавил: — Впрочем, в этой стране такой мягкий климат, а я много кашлял эту зиму и вот...

— Я думаю, что вы легкомысленный и потерявший устои мальчишка,— оборвал сэр Чарльз, покраснев, и встал.— Может быть, вы думаете, что и я направлен сюда короной и парламентом для забавы... Ну, что же вы молчите?

Яркие губы баронета дрогнули, и он не успел удержать простодушного и непростительного ответа.

— Конечно, сэр, Чарльз... В салоне мамы даже говорили...

— Что?.. как вы сказали? — спросил лорд Орпингтон, отступая за стол в неподдельном ужасе.— Вы осмеливаетесь утверждать, что я, посланный в Итль моим монархом с особо важными полномочиями, являюсь не более как клоуном странствующего балагана? Так я вас понял?

— Простите, сэр Чарльз...— начал было Фрэди, приподнимаясь, но ледяной взгляд лорда Орпингтона лишил его сил и приковал к креслу, как немигающие медные глаза змеи лишают сил испуганную морскую свинку.

— Достаточно,— сказал лорд Орпингтон, подняв руку,— достаточно, сэр! Если бы не ваши особые отношения к личности моего августейшего повелителя,— вы были бы немедленно арестованы за оскорбление нации.

Сэр Чарльз с каждым словом вырастал в глазах баронета.

Перед провинившимся был уже не генерал наутилийской службы, не сэр Чарльз, добродушный герой и остроумный собеседник. За письменным столом кабинета стояло многовековое, грузное и громоздкое величие повелительницы морей Наутилии, грозное, как ее колоссальные корабли, гневное и уничтожающее, затянутое в генеральский мундир, сверкающий шитыми лаврами победных дел и непревзойденных подвигов ее истории.

Фрэди ощутил даже легкий приступ внезапного озноба.

Сэр Чарльз перевел дыхание и загремел снова:

— Мне стало известно, что вы осмелились привезти на военном корабле империи, в качестве вашего вестового, женщину легкомысленного образа жизни, осуждаемого законодательством и церковью...

Коммодор вздрогнул. Он чувствовал себя уже полупроглоченным удавом и медленно скользил в беспощадную пасть.

— И вы не только позволили себе поступок, неслыханный в истории королевского флота, но вы еще учинили скандал в публичном месте дружественной страны. Вы возбудили негодование общества,— продолжал сэр Чарльз, не сдерживая уже гнева.— Правда, я не считаю это общество достаточно приличным даже для моего шофера, но по дипломатическим соображениям я вынужден временно считаться с ним. И я должен дать удовлетворение общественному мнению республики. О происшедшем

будет сообщено его величеству, а пока отрешаю вас от командования «Аметистом». Вы будете находиться безотлучно при мне. А теперь можете идти. Я не удерживаю вас.

— Сэр Чарльз! Я безмерно виноват, но...

— Я сказал, что я больше не удерживаю вас, баронет,— прервал его лорд Орпингтон.

Фрэди тяжело вздохнул, встал и удалился из кабинета, пятясь и оступаясь.

Проходя приемную сэра Чарльза, он увидел сидящего на диване молодого человека и, скользнув по нему взглядом, узнал виновника происшествия в «Преподобной Крысе», в чьей ложе исчезла взбалмошная возлюбленная баронета.

Фрэди сжал кулаки и двинулся на врага, но перед ним мелькнуло каменное лицо лорда Орпингтона и безмолвно призвало его к порядку.

Он плюнул на ковер, презрев все правила приличия, и выбежал на улицу.

Под зеленым куполом бульвара он остановился, вздохнул, закурил папиросу и растерянно усмехнулся.

— Старый крокодил чуть не слопал меня вместе с башмаками, теперь нужно приготовиться к родительскому нравоучению. Думаю, старикашка взбесится, как бык.

И, подумав так непочтительно о монархе величайшей империи, баронет сел на скамью бульвара, но не успел сделать и двух затяжек, как нервно швырнул папироску и вскочил.

На средней аллее появилось президентское ландо и в нем — улыбающаяся Лола.

Эта улыбка, свежая и трепетная, как легкие облачка, цеплявшиеся за вершины гор над городом, заставила баронета мгновенно забыть огорчения и грядущие беды,— он бодро выпрямился и пошел наперерез ландо.

— Вы сегодня обаятельны, как утреннее небо,— сказал он, остановившись в двух шагах и снимая фуражку.

— Ужасный льстец! Отвратительный донжуан,— ответила дочь президента и указала на сиденье ландо.— Садитесь, баронет. Мне веселее будет совершать мою одинокую прогулку.

Баронет на следующий день после достопамятного утра, когда Лола появилась на набережной перед высадившимися наутилийскими войсками, как Елена на троянских стенах перед ахеянами, отправился с визитом к

президенту и уехал оттуда после десятиминутного разговора с пленительной наследницей господина Аткина, оставив свой рассудок в крошечных ладонях хозяйки.

Поэтому приглашение Лолы пролилось врачующим водопадом на душу отрешенного командира «Аметиста», и он радостно впрыгнул в коляску.

— Скажите, пожалуйста,— спросила Лола, плавно покачиваясь в ритм ландо и обжигая Фрэди волнующей теплотой плеча,— правда, что ваши офицеры хотят устроить бал на кораблях? Мне сегодня говорил об этом папа.

— Да! Бал в честь дам республики... Прекраснейшая из них будет его царицей,— ответил баронет, прилипая глазами к ослепительным плечам соседки.

— Ах, это бесподобно! Корабли, море, ночная иллюминация, блеск огней в воде. Настоящая поэма! — сказала Лола, прищурившись.

— Я знаю глаза, которые своим блеском затмят всю иллюминацию этого бала,— мечтательно проронил Фрэди.

— Чьи же такие чудесные глаза? — снаивничала обольстительница.

Баронет повернулся на подушках ландо и взглянул в лицо собеседницы пылко и нежно.

— Я думаю, что эти глаза находятся менее чем в одном ярде от моих.

— Какой возмутительный ловелас! — ответила Лола, слегка шлепнув баронета по руке перчаткой,— с вами опасно оставаться наедине. Скольких женщин вы сделали несчастными?

Ландо, шаркая шинами по гравию аллеи, поравнялось в эту минуту со зданием отеля, в котором помещался штаб сэра Чарльза.

Баронет взглянул в окна кабинета лорда Орпингтона, вспомнил полученный выговор и вскипел поздним гневом.

— Нет! Какой нахал! Он забыл, что имеет дело не с субалтерном из нижних чинов. Я ему покажу...— вырвалось у него.

Лола удивленно вскинула ресницы.

— Что с вами, баронет? Вы нездоровы? Кому это вы грозите такими страшными словами?

— Простите,— спохватился Фрэди.— Это я вспомнил совершенно некстати о сэре Чарльзе.

— О сэре Чарльзе? Так сердито? Вы поссорились с ним?

— Да,— ответил небрежно баронет, придя в себя,— мы немного повздорили по вопросам политики. Старик стал страшно упрям и совсем не хочет следовать моим советам.

— Как? Вы даете советы сэру Чарльзу по политическим вопросам? Как это может быть? Не говоря уже о том, что это изумительно скучно, но сэр Чарльз старый политик и заслуженный полководец, а вы так молоды и, вероятно, не опытнее меня,— удивилась Лола.

Коммодор Осборн гордо откинул голову и показал спутнице свой профиль во всем великолепии.

— В конце концов,— ответил он наставительно и твердо,— старик хотя и имеет заслуги перед монархом и родиной, но все же простой смертный, а в моих жилах королевская кровь Наутилии. Он должен иметь уважение к династии.

— Что? Что вы сказали? Королевская кровь? — спросила пораженная дочь президента республики, прижав руки к груди.

— Конечно! Я вовсе не намерен чересчур соблюдать инкогнито из государственных соображений. Мне это надоело...

— Вы брат его величества?

— Нет,— скромно ответил Фрэди, опуская глаза,— я его шалость.

— Ах! — томно вздохнула Лола,— я всегда мечтала об этом.

— О шалости? — изумился баронет.

— Нет, о королях. Папа с детства пичкал меня политической экономией, парламентаризмом, демократией и всякими скучными и серыми вещами. А я тайком читала королевские романы и не спала по ночам. Мне так страстно хотелось, чтобы во мне текла королевская кровь,— прошептала взволнованная Лола.

— Дорогая, но это же пустяк. Это страшно легко устроить,— сказал баронет, беря ее руку и придвигаясь к ней,— я обещаю вам это, как только вы захотите.

Дочь президента встретила жаркий взгляд баронета, вспыхнула румянцем и склонила пылающее лицо на его плечо.

Оранжевый шелковый зонтик с кистями закрыл сблизившиеся головы от взоров любопытных прохожих.

. . . .

По уходе коммодора Осборна сэр Чарльз отложил в сторону рапорт адмирала Кроузона и протокол республиканской стражи о побоище в «Преподобной Крысе», позвонил и спросил адъютанта:

— Что, принц Лейхтвейс явился?

— Так точно, сэр. Он ожидает в приемной. Он пришел почти одновременно с баронетом Осборном.

— Пошлите его сюда,— распорядился сэр Чарльз.

Принц вошел в кабинет бочком, робко и осторожно, и остановился перед лордом Орпингтоном, выжидательно подняв глаза.

— Желаю здравствовать, ваше высочество,— любезно приветствовал гостя сэр Чарльз,— очень рад вас видеть. Как вы себя чувствуете?

— Благодарю вас, милорд,— тихо, с той же робкой осторожностью, которая олицетворялась всей его фигурой, ответил принц Максимилиан.

— Присядьте! Нам нужно будет сегодня поговорить о больших делах. Но прежде всего позвольте выразить сожаление по поводу наглой выходки одного из моих офицеров. Он, кажется, повредил вам нос?

— Ничего, благодарю вас,— так же автоматически ответил принц.

Сэр Чарльз сдержал презрительную улыбку.

— Благодарить, я думаю, не за что, ваше высочество. Я примерным образом наказал беспутного малого, и, думаю, вы удовлетворитесь этим. А теперь перейдем к делу. Насколько выполнены вами мои указания?

Принц Максимилиан, путаясь в словах и поминутно передергивая плечом от волнения, как школьник на экзамене, изложил лорду Орпингтону всю свою деятельность за время, истекшее со дня первого свидания на «Беззастенчивом».

Озабоченная складка на лбу сэра Чарльза разгладилась.

— Я очень доволен, ваше высочество. Вы проявили больше активности и воли, чем я ожидал. Судя по вашим словам, можно считать, что широкие массы достаточно подготовлены к перевороту. Это хорошо! У нас мало времени. Парламент собирается через два дня. Если этот сброд болтунов и лавочников рискнет отказать в удовлетворении моих требований, я не дам им даже времени раскаяться в этом.

Принц вжал голову в плечи и попятился от сэра Чарльза вместе со стулом.

— Итак, будьте готовы, ваше высочество. Послезавтра с утра все ваши молодцы должны собраться на площади перед парламентом. Ваше присутствие также обязательно. Войска, преданные вашему делу, должны быть наготове, чтобы явиться по первому вызову, и вы лично поведете их.

— Зачем, милорд? — спросил принц Максимилиан, окончательно съежившись.

— Как зачем? Вы войдете в зал парламента, как Бонапарт в Совет Пятисот. Вы лично разгоните это сборище и объявите республику упраздненной.

Принц задышал часто и взволнованно.

— Я... я... я хотел просить вас, милорд, чтобы... чтобы в моем распоряжении был бы хоть небольшой отряд наутилийских войск,— сказал он, просительно смотря в глаза сэру Чарльзу.

— Что же? Вы не надеетесь, значит, на преданность ваших солдат? Значит, вы обманули меня, утверждая, что вами все подготовлено? — грозно задал вопрос лорд Орпингтон.

Принц зашевелил губами, но долго не мог выдавить ни одного членораздельного звука.

Сэр Чарльз вышел из себя.

— Какая недостойная робость. Я обманулся в вас. Я считал вас мужчиной. Извольте прийти в себя и отвечать связно.

— Н-ет... ваше превосходительство... разве я осмелился бы... я сказал только правду... но... я думаю... что у ваших солдат гораздо больше опыта в таких случаях... и с ними не произойдет беспорядка,— ответил принц, стуча зубами.

— А! — протянул удовлетворенно сэр Чарльз,— пожалуй, вы правы. В таком случае я дам вам личный конвой в составе одной роты, хотя я полагаю, что было бы достаточно двух моих фельдфебелей, чтобы покончить с вашей республикой.

— Совершенно верно,— подтвердил оправившийся принц.

— Хорошо! Это будет сделано. Вы будете ждать на площади сигнала. Он будет подан горнистом. Немедленно, как вы услышите его, вы входите с солдатами в здание парламента, оцепляете все выходы, появляетесь в зале,

всходите на трибуну и объявляете республику низвергнутой. Правительство во главе с президентом немедленно арестовывается. Уполномоченное вами лицо предлагает депутатам парламента признать королевскую власть в вашей особе и, не выходя из зала, принести присягу. В случае отказа парламент разгоняется. Вот все. Отправляйтесь и работайте. Но если вы попробуете обмануть мое доверие...

— Что вы, что вы, милорд? — пролепетал принц, умоляюще протянув руки, и, круто повернувшись, поторопился уйти.

Внезапно сэр Чарльз остановил его. По лицу великого полководца пробежала тень мальчишеской улыбки.

— Погодите,— сказал он, облизнув губы, как будто готовясь проглотить конфету,— погодите, ваше высочество. Мы предусмотрели все, кроме одного. Вы будете королем, но где же королева? Как мне известно, вы не женаты, ваше высочество?

Ошеломленный нежданным вопросом, Максимилиан молча смотрел на сэра Чарльза.

— Это не годится,— продолжал сэр Чарльз, и лицо его чуть заметно вздрагивало от подавляемого смеха. Он вспомнил день, когда, ввиду приближающегося побережья Итля, он решил разыграть возложенную на него тяжелую политическую задачу с максимумом удовольствия для себя.

До сих пор ему не везло в этом направлении, а роковое происшествие с нефтяными промыслами грозило сделать его главным комическим персонажем фарса, разворачивающегося, вопреки воле режиссера, в обратном авторскому замыслу плане.

И сэр Чарльз решил повернуть игру в свою пользу.

— Это не годится! Население вашей страны, пылкое и восторженное, как все южные расы, должно иметь королеву. Оно может любить и уважать своего монарха, но ему нужен, кроме этого, предмет обожания. Таким предметом для него может быть только женщина, королева.

— Но, милорд...

— Конечно, ввиду срочности событий не представляется возможным найти вам, ваше высочество, невесту среди коронованных особ,— развил свою мысль, не обратив внимания на лепет принца, сэр Чарльз,— но, в конце концов, это не обязательно. Вновь возникающие династии обыкновенно связывались брачными узами с женщинами

своей страны. Это биологический закон, дающий возможность заложить основание для здоровых поколений царственной семьи. Вам нужно срочно найти невесту, ваше высочество, немедленно, не позднее сегодняшнего вечера. Вы любите кого-нибудь?

— Я... я предполагал, что в этом нет необходимости, милорд,— вставил наконец принц с совершенно растерянным видом.

— Вы не имеете никакого права предполагать, пока я вам не разрешил этого,— возразил наставительно сэр Чарльз,— я смею думать, что я более вас искушен в вопросах государственной жизни и придворного этикета. Я говорю, что вам нужна невеста... Я бы мог предложить вам милую дочь господина президента, но считаю это опасным с политической стороны. Старый интриган слишком может влиять на нее и через нее на вас, а юные сердца слишком податливы к просьбам любви. Но ведь в республике есть, несомненно, другие достойные девушки. Вам нравится кто-нибудь?

— М-м-м! — промычал несвязно принц.

— А, понимаю! — улыбнулся сэр Чарльз и погрозил принцу пальцем,— какая скромность! Вы не хотите назвать имя своей избранницы. Но мне и не нужно этого. Я просто спрашиваю — нравится ли вам кто-нибудь?

— Нет, то есть да,— ответил принц с видом человека, бросающегося в огонь. Он закрыл глаза, и перед ним встало лицо мисс Геммы Эльслей.

— Прекрасно! Отправляйтесь немедля и кончайте дело. Вы можете сказать вашей возлюбленной, какое блестящее будущее ожидает девушку, связывающую свою судьбу с вашей. Из этого уже нет необходимости делать тайну для любимой женщины. И сегодня же вечером вы должны совершить обряд бракосочетания, но скромно и без всякой гласности.

— Но я не могу жениться, милорд,— простонал принц, и в глазах у него засверкали слезы.

— Что? Не можете? Это еще что за глупости? — нахмурился сэр Чарльз.— Вы стали слишком упрямы, ваше высочество. Я разрешу себе в таком случае напомнить, чем вы обязаны мне. И если вы будете вести себя вопреки моим указаниям, я немедленно лишу вас помощи, откажусь от вас и предложу ваше место первому уличному бродяге. Я выполняю миссию, возложенную на меня моим правительством, и в интересах выполнения готов на все.

А в кандидатах на престол я никогда не буду иметь недостатка. Итак, что вы решаете?

Принц Максимилиан сжал переплетенные пальцы рук в тревоге и волнении. Лицо его меняло цвета от ярко-красного до зеленовато-белого. Он шатался.

— Ну, я жду,— неумолимо сказал сэр Чарльз,— перед вами два пути. Или корона, слава, блеск, величие,— или безвестность, жалкое прозябание в качестве приживала при республике лавочников.

— Я... я согласен, милорд,— едва выдохнул принц.

— Ну, и чудесно! Я бы с удовольствием принял на себя честь быть вашим шафером, но до решительного дня мое имя не должно соприкасаться с вашим. Идите, мой юный друг. Вот вам на свадебный подарок,— сэр Чарльз подал принцу тугую пачку.

Принц схватил ее дрожащими пальцами, сунул в карман и, закрыв лицо, выбежал из кабинета. Сэру Чарльзу показалось, что он слышал звук подавленного рыдания.

Он опустился в кресло и долгое время оставался неподвижным в рассеянной задумчивости, не замечая вошедшего и ожидающего приказаний адъютанта.

Наконец он хлопнул себя по колену, засмеялся и, подняв глаза, увидел офицера, замершего в предупредительной позе.

— Ах, это вы, Кук! Принц ушел?

И на утвердительный ответ адъютанта сэр Чарльз добавил с бархатистым смешком:

— Приготовьтесь посмеяться, Кук! Спектакль начинается. Оперетта переходит в комедию-буфф, разыгрываемую марионетками. Маргариновая республика заменяется маргариновым королевством. На троне король, пляшущий под шарманку, и королева из белошвеек. Я думаю, что это государство будет занимательней даже Сан-Марино.

Адъютант скромно улыбнулся шутке испытанного политика.

. . . .

У подъезда президентской виллы Лола, взволнованная объяснением, с гудящей в висках кровью, простилась с баронетом Осборном.

Он задержал ее вздрагивающую руку в лимонной перчатке у своих губ и сказал, целуя:

— Я завтра же вечером буду иметь честь просить у вашего отца эту руку.

Лола опустила глаза, зарозовела и, выдернув ладонь из пальцев баронета, со смехом взбежала на крыльцо.

Проходя гостиную, она заметила приближающегося к ней секретаря президента и нахмурилась. Безмолвное обожание этого незаметного юноши в роговых очках раздражало ее уже давно, а в эту минуту показалось прямо оскорбительным. Она остановилась, глядя на подходящего острым, пренебрежительным взглядом.

— Здравствуйте, mademoiselle Лола,— сказал секретарь, низко склонившись.

— Здравствуйте, Гри,— сухо ответила она.

Углы губ секретаря грустно дрогнули. Он тихо спросил:

— Вы взволнованы? Не могу ли я быть вам полезен?

Лола вспыхнула и разгневанно спросила, в свою очередь:

— Скажите, пожалуйста, с какой стати вы навязываетесь с вашими услугами? Почему вы вообще считаете своим долгом не давать мне прохода в моей же квартире? Чем можно объяснить эту непрекращающуюся бестактность?

Секретарь внезапно побледнел и, нервно поправив очки, отступил на шаг.

— Неужели вы не понимаете? — произнес он с печальным упреком.

Лола молча пожала плечами.

— Я люблю вас уже год... И сегодня я решился...

Он не кончил,— дочь президента весело и дерзко расхохоталась ему в лицо.

— Вы с ума сошли? Вы меня любите? Вы? Какая дерзость. Я скажу папе, и он немедленно уволит вас, Гри. Вы забыли свое место и положение. Он меня любит! Да вы знаете, что меня считает за честь любить баронет Осборн, человек королевской крови. Он только что сказал мне это... а вы, секретарь моего отца... нет, вы сами понимаете, что это уже чересчур...

Лола сделала гневный жест, отстраняя с дороги злополучного влюбленного, и ушла, безжалостная и разгневанная.

Секретарь рванулся за ней, но остановился на полушаге и закрыл лицо руками, как получивший тяжелый нокаут боксерского кулака.

. . . .

Выйдя от лорда Орпингтона, принц, как сквозь туман, подбежал к коляске, в которой дремал, ожидая его, Богдан.

Ему с трудом удалось растормошить верного друга.

— Что с вами, Макс? Вы бледны, как белая мышь. Он не дал вам денег?

— Нет,— задыхаясь, сказал принц,— дело не в этом!

— Он отказался от своего плана? — спросил, привскочив, Богдан.

— Да нет же!.. Слушайте, Дан... я сейчас пойду в одно место, а вы немедленно поезжайте к священнику.

— К священнику?

Богдан едва не вывалился из экипажа.

— К священнику? — повторил он.

— Ну да... к какому-нибудь. И везите его сейчас же к нам. Домой... на квартиру.

— Зачем?

— Мне нужно жениться! Сегодня же! Так приказал генерал Орпингтон. Иначе все пропало.

Богдан широко раскрыл глаза.

— Но как же вы можете?..— начал он взволнованно.

— Молчите... ради всего святого молчите...— крикнул принц рыдающим голосом,— молчите и поезжайте за священником.

Богдан пожал плечами и приказал кучеру ехать.

Принц проводил глазами экипаж, вынул из кармана платок, вытер набежавшие слезы и, низко опустив голову, пошел, с трудом переставляя ноги, как больной, в направлении дома, где жила мисс Гемма Эльслей.

Танцовщица была несколько удивлена, увидав у себя своего странного и бескорыстного спасителя, но еще более поразил ее его взволнованный и потрясенный вид.

— Я рада вас видеть, принц, но что с вами?.. Вы так бледны, вы дрожите, вы нездоровы? — участливо спросила она, запахивая домашний халатик.

— Нет... я здоров,— сказал принц тихо и безнадежно,— я пришел к вам... не удивляйтесь, мисс Эльслей... я пришел... я пришел...

— Ну, вы пришли... я это вижу, но успокойтесь. Вам грозит какая-нибудь опасность?..

— Да... то есть нет... Я пришел,— принц зажмурился и по своей привычке втянул голову в плечи,— я пришел просить вас стать моей женой...

— Что? — спросила мисс Эльслей, отшатнувшись,— вашей женой?.. Вы действительно больны... Я ничего не понимаю...

Принц стал на колени на потертый коврик скромного номера балерины.

— Я... я тоже не понимаю... но не отказывайтесь... я умоляю вас. От этого зависит моя судьба... моя корона...

— Ваша корона?

— Да... послезавтра все должно решиться. Я ничего не сказал вам в день нашей первой встречи, я не имел права... но теперь нет необходимости делать тайну... я стану королем Итля, но для этого я должен жениться.

— Вы станете королем Итля? — спросила мисс Эльслей, насторожившись. У нее была хорошо развита практическая сообразительность.

— Да! Переворот подготовлен... Генерал Орпингтон требует... И вы, мисс Эльслей, станете королевой... Я прошу вас...

Мисс Эльслей задумалась. Принц продолжал стоять на коленях, подняв к ней лицо, распухшее от слез.

— Королевой? Вы странный человек! То вы отказываетесь от предложенного женщиной поцелуя, то предлагаете ей стать королевой. Я не знаю, можно ли поверить вам? Но почему вы плачете?

— Не обращайте внимания... это от волнения,— ответил принц.— Ну, что же? В ваших руках моя судьба.

— Я, право, затрудняюсь,— ответила танцовщица,— я вас совсем не знаю.

— Но это ничего не значит... это придет потом...

— Вы думаете?.. Но что заставило вас сделать мне предложение? — спросила Гемма.

— Ах, я, право, не виноват... не сердитесь... мне приказали.

— Вам приказали? — переспросила мисс Эльслей металлическим насмешливым голосом.— Вам приказали жениться на мне?.. Но я не привыкла выходить замуж по приказу!

Принц затрепетал, поняв свою оплошность.

— Нет!.. вы не так поняли...— вскрикнул он, хватая кончик платья Геммы,— это велит мне родина... интересы нации... приказывает любовь...

Гемма молчала, испытующе смотря на ползавшего на коленях принца. Потом тряхнула головой и решительно сказала:

— Хорошо!.. Я согласна!.. Быть королевой — это достаточно шикарно и забавно.

Принц бросился целовать ее руки. Мисс Эльслей подставила ему губы, и он опять ткнулся в них неловко и испуганно.

— Встаньте! Вы протрете колени. И перестаньте рыдать. У вас запухли глаза. Первый раз вижу такого чудака!

Принц вскочил и улыбнулся сквозь слезы.

— Я так счастлив... так счастлив,— сказал он, но в глазах его была тревога и мука. Он взял руку Геммы.

— Нам нужно сейчас же ехать венчаться.

— Сейчас?.. Сегодня?.. Нет, решительно вы самый странный человек. Почему сейчас? Зачем такая спешка?

— Переворот назначен на послезавтра. К этому дню вы должны быть моей законной женой... Иначе нельзя... Идем!.. На квартире нас ждет священник.

— Но я не одета,— возмутилась мисс Эльслей,— не могу же я венчаться в этом балахоне!

— Я умоляю вас!.. Поспешим... Вовсе не нужно одеваться... Никого не будет.

Мисс Эльслей горько вздохнула.

— Я думаю, что, несмотря на все ваши странности, вы обладаете здравым смыслом. Я совсем забыла, что не стоит одеваться, чтобы выйти замуж. Скорее наоборот.

И, набросив на плечи легкий шелковый плащ, мисс Эльслей приняла предложенную принцем руку и отправилась навстречу королевской судьбе.

Глава пятнадцатая

ДЕМОКРАТИЯ УМРЕТ, НО НЕ ПОЗВОЛИТ...

День начался в благодатной столице Итля, как начинались обычно все летние дни.

Как и всегда, из-за лесистого массива мыса выглянуло заботливое солнце, море всколыхнуло золотой чешуей, чашечки цветов повернулись к живительным ожогам, рыбачьи боты, пылая оранжевыми квадратами парусов, медленно вползали после ночного лова в гавань, где на набережной их ожидали продавцы рыбы; на рейде скрипели снасти уходящей бригантины, на наутилийских дредноутах, залегших в синеве подстерегающими зверями, играли утреннюю зорю, по плитам мола стрекотали колеса телег,

ревели нагруженные фруктами ослики и звонко переругивались между собой их погонщики.

В виллах хлопали ставни, в распахнутых окнах появлялись кокетливые головы в кружевных чепчиках и любопытно смотрели, как по тротуару, пошатываясь и бормоча обрывки веселой песенки, возвращался домой ночной гуляка.

До девяти часов самый внимательный глаз не мог бы обнаружить на улицах ничего нарушающего мирное процветание и покой республики, и только после этого срока в городе началось усиленное движение по направлению к площади Умеренного Равенства, где помещалось здание парламента.

Но и в этом движении не было никаких признаков, которые позволили бы считать его необычным.

При горячей любви населения республики к демократическому строю и громадном интересе к общественным вопросам, наблюдавшемся в самых аполитичных слоях общества, поток людей, текущий к парламенту приветствовать своих избранников или просто поглазеть на них с симпатией и радушием, был вполне нормальным явлением.

Они шли группами, по трое, четверо, вымытые, расфранченные, с цветами в петлицах, с повязанными на шеях яркими шелковыми платками.

Преобладающий элемент толпы составляли безработные контрабандисты, браконьеры, торговцы беспошлинным спиртом, содержатели притонов, карманщики и другие бедные и честные люди, не имеющие определенных занятий. Вследствие этого толпа имела ярко выраженный демократический характер, и в ее пестром цветении сумрачно терялись редкие сюртуки зажиточных граждан.

К десяти часам площадь Умеренного Равенства была заполнена народом, как пароходный трюм арбузами.

Экипажи с трудом пробирались через живое море, приветствовавшее едущих депутатов криками радости. Эти приветствия были сердечны и искренни, как всегда, и в толпе не замечалось никаких признаков волнения или беспокойства.

Хотя парламент собирался экстренно и внезапно, в разгаре летних каникул, его неожиданное открытие не встревожило населения.

Пресса республики, осведомленная о причине внезапного созыва законодательного собрания, желая избежать

открытого конфликта и будучи вполне уверена, что недоразумение, возникшее между правительством и командующим экспедиционным корпусом Наутилии, разрешится мирно, предпочла в информации и передовицах ограничиться смутными намеками, что парламенту предстоит обсудить в срочном порядке вносимый министром внутренних дел законопроект, касающийся государственных имуществ Итля.

В этом сообщении самые отъявленные сплетники и шептуны не могли усмотреть ничего угрожающего, и спокойствие столицы не было нарушено, хотя президент Аткин и члены кабинета срочно перевели свои вклады из государственного банка Итля за границу.

Но это осталось тайной для широких кругов и не вызвало биржевой паники.

Депутаты, проходя между живыми шпалерами народа, всходили на крыльцо и исчезали за резной бронзовой дверью.

Здание парламента, построенное некогда для увеселительного заведения, после революции было куплено государством.

Внесенный каким-то сумасбродным депутатом вопрос о безвозмездной национализации здания был отвергнут социал-демократическим большинством, отнесшимся с явным отвращением к такому анархическому грабежу чисто трудового имущества.

Зал заседаний, наскоро переделанный из центрального ресторанного помещения, был расписан по потолку и стенам фресками в помпейском стиле, далеко не священного содержания. Но назначенная правительством комиссия, ведавшая перестройкой, постановила оставить роспись без изменения, ибо, по мнению ученых экспертов, сексуальное раздражение должно было влиять благотворно на повышение политической работоспособности депутатов.

И резвые силены, фавны, кентавры, нимфы и дриады, переплетенные на стенах и плафоне в позах, свидетельствующих об их здоровой жизнерадостности, благосклонно поглядывали на занимавших скамьи депутатов, чувствуя себя непосредственными участниками политической жизни республики.

Хоры заполнились избранной публикой, правительство заняло свои места, направо от председательской трибуны, президент Аткин пылал огненным языком орденской ленты в первом ряду министерских скамей. Председатель па-

латы, старейший из ее членов, но сохранивший еще достаточно силы, чтобы потрясать колокольчиком в бурные моменты, поднялся по ступенькам на свое кресло под мраморной статуей свободы.

В этот момент в ложе дипломатического корпуса открылась дверь, и лорд Орпингтон, свежевыбритый, сверкая орденами и шитьем мундира, занял место у барьера.

Лицо его было каменно-спокойным, замкнутым и непроницаемым, и легкий холодок прошел по залу после его появления.

Фавны на плафоне, беззаботно расточавшие свой пыл крепкотелым лесным подругам, внезапно съежились, и их горящие краски потускнели и заткались туманом.

Впрочем, возможно, что это была лишь обманчивая игра табачного дыма и солнечного блеска.

Заседание открылось обычным церемониалом, и председатель, после краткой приветственной речи, предоставил слово министру внутренних дел для экстренного доклада от имени правительства.

Министр неторопливо разложил на пюпитре листы бумаги, откашлялся и взглянул в сторону дипломатической ложи.

Казалось, он хотел проникнуть взором под загадочную маску наутилийского полководца, но встретил такую ледяную стену сурового равнодушия, что несколько секунд стоял молча, подергивая внезапно ставший тесным, как петля виселицы, воротник.

И голос его, всегда полный и уверенный, зазвучал глухо, как из подвала, прерываясь нервными спазмами.

Палата в непрерываемом молчании слушала изложение событий, никто не шелохнулся, и, только когда министр, волнуясь и перебирая документы, доложил об ультиматуме сэра Чарльза, головы депутатов повернулись, как по приказу, к ложе, где находился командующий экспедиционным корпусом.

По скамьям запрыгал, с пюпитра на пюпитр, нарастающий ропот.

— Мы приняли все меры, мы перерыли весь преступный мир столицы, мы мобилизовали все силы стражи и розыска, но никаких следов преступников не обнаружили. Мы распространили через агентов правительственное обращение, обещающее полную безнаказанность мошенникам, если они вернут деньги, взывая к их патриотизму,

указывая на грозящие стране осложнения. Это не привело ни к чему! И мы доводим об этом до сведения палаты, чтобы совместными усилиями ликвидировать прискорбнейший инцидент в истории нашей родины. Вместе с тем,— закончил министр, дрожа от волнения,— правительство единогласно нашло требования генерала Орпингтона невыполнимыми. Признать сделку на промыслы мы не можем, как и не в силах, при состоянии казны, вернуть уплаченные неизвестным мошенникам деньги. Это повлекло бы государственный кризис, финансовый крах, разорение трудовых масс, всеобщее обнищание. Правительство, повинуясь голосу чести и патриотизма, предлагает палате отказать в удовлетворении ультиматума...

Обвал рукоплесканий заглушил слова министра.

Депутаты вскочили с мест с возгласами негодования, руки вытянулись в сторону дипломатической ложи, потрясая кулаками.

Сэр Чарльз продолжал сидеть, не меняя позы, так же опираясь подбородком на эфес палаша и смотря в зал колючими глазами. Но на губах его блуждала легкая зловещая усмешка.

Министр поднял руку, призывая к порядку, и, когда возбуждение улеглось, добавил:

— Но правительство крайне взволновано этими событиями. Уважение и любовь, которые питает нация к нашему высокому гостю и защитнику, заставляют искать мирного выхода из создавшегося положения. Поэтому, отвергая требования ультиматума, правительство находит нужным просить командующего наутилийским экспедиционным корпусом предать забвению грустное недоразумение и создать паритетную комиссию по изысканию средств покрытия убытков, понесенных им благодаря гнусному преступлению...

Министр покинул трибуну, растеряв по дороге листы доклада, слетевшие трепетными белыми птицами в зал.

Председатель с трудом восстановил тишину.

— Кто желает воспользоваться словом по докладу господина министра? — проскрипел он, потрясая колокольчиком.

Несколько депутатов бросились к трибуне. Самый пылкий опередил всех и, вскочив на возвышение, хлопнул кулаком по пюпитру.

— Граждане Итля! — вскричал он.— Есть моменты,

когда история требует не слов, а поступков. Есть моменты, когда разговоры преступны. В этих стенах, пропитанных духом гражданственности и высоких образцов патриотизма, мы должны вспомнить героические примеры гражданской доблести. Честь дороже жизни! Римляне имели мужество падать на меч, когда им грозил позор. Предлагаю парламенту в полном составе покончить самоубийством. Это ляжет вечным пятном на совесть жестокого чужеземца и заставит его до конца жизни испытывать страшные угрызения совести при воспоминании об окровавленных трупах людей, бывших гордостью и надеждой своей родины.

Речь энтузиаста произвела потрясающее впечатление.

На хорах раздались истерические вопли. Несколько женщин рухнули на пол в глубоком обмороке среди общего замешательства и ужаса.

Председатель, заливаясь слезами, поднял звонок.

— Дорогие соотечественники, patres patriae! [1] Призываю к порядку. Речь депутата Лана обнаружила неслыханный энтузиазм и геройство, но она не по существу вопроса. Прежде чем решить, как нам реагировать на грозящие отечеству беды, нам нужно решить вопрос, присоединяемся ли мы в полной мере к предложению правительства.

В восстановившейся тишине на трибуне появился лидер демократической оппозиции, уже отстоявший однажды национальное достоинство Итля во время боя в «Преподобной Крысе» при помощи палки от портьеры.

Его львиная грива встала дыбом, глаза налились кровью.

От первого же его жеста графин с пюпитра со звоном и треском слетел на голову стенографистки, которую немедленно вынесли прислужники палаты.

Не заметив этого случая, лидер оппозиции загрохотал неистовым голосом:

— Никаких разговоров, никаких комиссий!.. Страна не может платить своим существованием за то, что несколько мошенников, не присутствующих здесь, надули мошенника, сидящего вон там, в ложе, и прикрывающего свое мошенничество генеральским мундиром и узурпированным правом злоупотреблять именем великой и дружественной нам державы...

---

[1] отцы отечества *(лат.)*.

Зал дрогнул в смятении и трепете перед доблестью этого человека, бросившего слова правды в лицо сэру Чарльзу, сидевшему так же недвижно и равнодушно.

— Нет! — продолжал греметь оратор,— никаких уступок! Лучше погибнуть, чем уступить. Предлагаю отклонить ультиматум без прений, немедленно довести до сведения его величества короля Наутилии о неслыханном злоупотреблении его доверием со стороны узурпатора, срочно заключить приемлемый мир с правительством Ассора и поднять знамя восстания против иноземного гнета... Сила в праве!.. Войска Наутилии не пожелают обратить штыки против самого демократического в мире правительства... Да здравствует демократия!

В середине этой тирады сэр Чарльз слегка повернул голову в сторону стоявшего за его креслом адъютанта, и губы его шевельнулись.

Адъютант исчез неслышной тенью.

Председатель поставил на голосование вопрос об отклонении требований генерала Орпингтона.

Руки депутатов взметнулись в воздухе, как ветки деревьев, вздернутые внезапным порывом урагана. Ультиматум был отвергнут единогласно.

Один из членов парламента в возбуждении предложил сообщить с балкона результаты голосования народу, собравшемуся на площади, дабы граждане знали, что времена Рима вновь возродились в Итле.

И, как бы отвечая этому предложению, сквозь окно долетел гул тысячной толпы. Зал насторожился.

— Откройте двери,— приказал президент Аткин.

Стеклянная дверь на балкон раскрылась, и смутный гул обратился в рев.

Депутаты прислушались. Из неясного ропота начали выделяться отдельные крики, влетая в зал на невидимых крыльях.

— Постойте! Что они кричат? — встревожился председатель палаты.

Президент Аткин метнулся к балкону, но навстречу ему хлестнул уже явственный крик сотен голосов.

— Да здравствует король Максимилиан! Водки и девочек! Слава королю!

И вместе с криком в кулуарах парламента загремели каменные шаги и зазвенело оружие.

Встревоженные депутаты образовали на скамьях неподвижные группы окаменевших фигур.

Центральная дверь дрогнула от гулкого удара, половинки ее разошлись, и в зал посыпались коренастые и крепкие наутилийские солдаты.

Они быстро продвинулись по проходу к трибуне и отделили ее от зала ровной и бездушной стеной.

Один из депутатов, взглянув наверх, увидал сэра Чарльза. Он стоял у барьера ложи, скрестив руки, и спокойно наслаждался спектаклем.

— Измена! — завопил депутат, но умолк, получив под ребро невежливый удар приклада.

— Что вам нужно? Кто вы и почему вторгаетесь в дом свободы? — спросил дрожащий председатель солдат.

Они молчали.

Новый взрыв голосов ворвался снаружи, и в зале появился принц Максимилиан. Он был в белом кавалерийском мундире, и цвет его лица был так же бел, как сукно мундира.

Он шел, пошатываясь, поддерживаемый под руки двумя спутниками, сзади его сопровождал с обнаженной саблей Богдан Адлер.

Посреди молчания принц дошел до опустевшей трибуны, вскарабкался на нее при помощи своих провожатых и обвел зал выкатившимися стеклянными глазами.

Он был смертельно пьян и с трудом удерживался на ногах, цепляясь за пюпитр. Богдан встал за ним и подтолкнул его.

Принц вздрогнул, громко икнул и бросил в тишину зала:

— Р-респубаю низверглику!

Молчание стало еще напряженней, и вдруг рядом с принцем снова появился лидер оппозиции, умудрившийся прорваться сквозь цепь солдат.

Прежде чем окружающие принца успели опомниться, он был столкнут с трибуны и покатился по ступенькам, вытирая их снежной белизной мундира.

Лидер оппозиции разорвал воротник и обнажил волосатую обезьянью грудь.

— Солдаты Наутилии! — вскричал он,— я не верю, что вы враги свободы. Опустите ваши штыки!.. А, вы не хотите? Тогда колите мою грудь... Только через мой труп вы пройдете в сердце республики. Мы, социал-демократы, умеем умирать за свободу, и демократия не позволит...

Подскочивший Богдан одним взмахом сорвал оратора с трибуны. Лидер оппозиции, извернувшись, вцепился

зубами ему в ухо, и они покатились под трибуну, откуда солдаты успели извлечь принца Максимилиана и стряхнуть пыль с его девственного мундира.

Один из спутников принца, подождав, пока водворилась сравнительная тишина, провозгласил:

— Как председатель временного кабинета его величества, объявляю, что волей народа на наследственный трон вступил король Максимилиан Первый. Предлагаю депутатам принять присягу на верность короне, в противном случае они будут преданы военно-полевому суду за государственную измену... Его величество дает десять минут на размышление, но депутаты не будут выпущены из зала. Правительство республики, доведшее страну до развала, подлежит задержанию. Объявляю перерыв заседания на десять минут.

И он спокойно занял председательское место.

По истечении десяти минут, во время которых зал парламента походил более всего на сочетание поля битвы с восточным базаром, солдаты восстановили порядок, растаскивая депутатов по местам, и лидер оппозиции, придерживая компресс у глаза, попросил слова.

— Я имею заявление от лица всей палаты. Мы протестуем... Не перебивайте меня! — отмахнулся он от нового председателя, предостерегающе звякнувшего в колокольчик.— Мы протестуем не против изменения конституции, а лишь против насильственного метода этого изменения, который является излишним. Я хочу сказать, что я был совершенно неправильно понят в момент моего предыдущего выступления. Говоря, что «демократия не позволит»,— я хотел только сказать, что демократия не позволит, чтобы ее считали неблагодарной. Его величество, оказавший мне столь любезный прием в своей ложе неделю тому назад и вместе со мною храбро отстаивавший нашу национальную честь во время печального недоразумения в заведении Баста, достаточно доказал свое расположение к представителям социал-демократической партии и ее идеям. Мы верим, что принципы народовластия расцветут еще полнее под монаршей рукой, и приветствуем его величество. Да здравствует король!

Депутаты покрыли речь одобрительными возгласами.

Председатель нагнулся к принцу и, пошептавшись с ним, позвонил.

— Его величеству угодно поблагодарить депутатов за проявленную ими государственную мудрость. Прошу встать!

Принц Максимилиан показался на трибуне и, облокотившись, несколько секунд мутно разглядывал стоящих, взмахнул рукой и сказал, трудно ворочая языком:

— Ч-черт возьми! К-акие паскудные образины!

Глава шестнадцатая
ЖЕНЩИНА У ТРОНА

В ночь переворота все увеселительные заведения Порто-Бланко были закрыты приказом временной директории, и вплоть до рассвета по мостовым бо̀цали кованые подошвы воинских патрулей, обвешанных оружием.

Но спокойствие города ничем не нарушилось.

Охваченные радостью и небывалым подъемом, толпы граждан теснились перед скромной виллой нового монарха Итля, где, весело взбрасывая в небо языки красного смолистого огня, горели факелы у выставленных прямо на мостовую громадных бочек старого вина.

По древнему обычаю страны, каждый гражданин подходил к бочкам, черпал прикрепленными на прочных цепях серебряными ковшами благодатный напиток и пил за здоровье короля, сколько мог выдержать.

К рассвету вокруг бочек образовались завалы из монархически настроенных слоев населения, дошедших в экстазе до полной нирваны.

Многочисленные грузовики, убранные цветами и королевским гербом, развозили этих преданнейших слуг престола к семейным очагам, и на каждой машине, рядом с шофером, сидел веселый шарманщик и вертел ручку шарманки, наигрывая старинный королевский гимн.

Утром, ввиду полного спокойствия, патрули были сняты, и к десяти часам крикливые, как воробьи, мальчишки расклеивали по стенам указ королевского правительства за подписями премьер-министра герцога Коста и гофмейстера двора его величества маркиза Атанаса с известием о восшествии на наследственный трон короля Максимилиана и готовящемся в воскресенье короновании.

Указ произвел потрясающее впечатление. Незнакомые люди, встречаясь на улице, кидались друг другу в объятия и, рыдая, клялись быть хорошими гражданами.

Комитет хлебных торговцев постановил поднять розничные цены на хлеб в окраинных булочных.

Неосторожные приверженцы республики, пытавшиеся отозваться иронически о наступающем золотом веке, были поколочены тростями и зонтиками поклонников монархии, которые немедленно оказались в столице в подавляющем большинстве.

Но побитые не обижались и, получив в аптеках первую помощь и запудрив синяки, возвращались на улицы и, проклиная свои заблуждения, присоединялись к голосам, восхваляющим королевскую власть.

Кабинет министров срочно заседал в бывшем парламентском здании под председательством герцога Коста, обсуждая вопросы, связанные с коронацией и успокоением страны.

Один из вновь назначенных министров, крупный контрабандист, высказал опасение, что республиканцы, в особенности из числа левых депутатов парламента, могут повести разрушительную противомонархическую агитацию и вызвать волнения. Он указал, что внешнее спокойствие и отсутствие эксцессов подозрительно, и предложил для безопасности отечества объявить депутатов парламента вне закона и отправить их за фронт, как это делалось в отношении недовольных рабочих.

— Всех депутатов? — спросил министр просвещения.

— Всех! — не колеблясь, ответил оратор.

— Но ведь, кроме левых, там есть и монархисты.

— Безразлично! Они скомпрометировали себя вхождением в парламент вместе с омерзительными республиканцами,— горячо ответил министр.

Но против этого предложения резко восстал новый министр спокойствия и общественных удовольствий Антоний Баст.

— Я категорически протестую против подобной необузданности,— сказал он, наваливаясь своим неимоверным животом на стол залы заседаний, отчего тот пополз по паркету,— я протестую самым решительным образом. Наше правительство не является реакционным, и его величество выразил желание сохранить конституцию и представительные учреждения. Нам предстоит создать народу веселую и беззаботную жизнь, и он сам должен указать нам желательные для него развлечения и зрелища в очередной сессии палаты через своих избранников. Что же касается предположения уважаемого коллеги, что ле-

вая часть депутатов может попытаться поднять смуту, то я должен заметить, что коллега проявил себя грудным младенцем в области политики. Все депутаты парламента у меня здесь...

Старый Баст усмехнулся мудрой улыбкой сатира и вытащил из бокового кармана бумажник, а из него сверток бумаг.

— Вот,— продолжал он,— эти векселя, брошенные на чашку весов, перетягивают самые якобинские репутации. И если я махну ими направо — вся оппозиция скажет «а», махну налево — скажет «б»!

Он спрятал пачку обратно и добавил:

— Кроме того, чрезмерное рвение коллеги грозит лишить «Преподобную Крысу» половины контингента ее посетителей, а я не могу допустить гибели лучшего увеселительного заведения страны ни как министр удовольствий, ни как хозяин.

Кабинет признал, что предъявленные Бастом гарантии вполне достаточны, и гроза не разразилась над народными избранниками.

Президента Аткина вместе с членами республиканского кабинета в самый день переворота грузовик отвез в достаточно прочное место на окраине столицы.

Король Максимилиан, не будучи человеком неблагодарным и помня отеческое попечение о нем президента в бедственные времена, даже распорядился обставить тюремную камеру низвергнутого главы республики мягкой мебелью в стиле рококо.

По прибытии в камеру президент Аткин потребовал у начальника тюремного замка бумаги и написал огромное заявление на имя короля, в котором проявил все величие своего республиканского духа.

Он заявлял, что никакое насилие не сломит его республиканских убеждений и что монархический строй он считает зловещим чудовищем, против которого он станет бороться даже из страшного гранитного подземелья (президенту была отведена светлая камера с обоями «mauve» [1] и ванной в третьем этаже), но одновременно признает, что король Максимилиан по своим личным качествам является вполне джентльменом, и лично президент Аткин счастлив тем, что имел возможность быть ему полезным в прошлом.

---

[1] розовато-лиловыми *(фр.)*.

Это полное героизма и прямодушного бесстрашия письмо президент закончил трогательным призывом к великодушию со стороны монарха к побежденному врагу и просьбой доставить в камеру дорогую его сердцу подругу Софи и складное резиновое биде.

На докладе об этом король Максимилиан, хорошо выспавшийся после рокового дня и находившийся в состоянии блаженного размягчения, начертал доброжелательную резолюцию: «Мадам и биде послать. Совет и любовь!»

Остальные члены республиканского кабинета переносили свое положение молча и с подобающим демократам хладнокровием, за исключением генерала фон Бренделя.

Генерал изменил республике, генерал предал демократию, обратившись к королю также с письмом, убедившим его бывших товарищей в низости этого беспринципного человека.

Он писал, что с самых юных лет был горячим приверженцем роялизма, перечислял все свои заслуги перед покойным монархом Ассора Микеле, припадал к стопам Максимилиана, прося забыть его преступное участие в крамольном правительстве республики, так как был принужден к столь гнусной измене тяжелым материальным положением и безработицей, и напоминал, что безупречная деятельность по обороне отечества доставила ему благосклонность сэра Чарльза.

Благодаря этому предательству, генерал фон Брендель немедленно был освобожден из-под ареста и сохранил портфель военного министра и жезл главнокомандующего при королевском правительстве.

Два дня в столице прошли в усиленных приготовлениях к торжественному коронованию Максимилиана I и не были отмечены какими-либо выдающимися событиями.

Но на третий — явившийся утром в новый королевский дворец адъютант сэра Чарльза потребовал у гофмейстера маркиза Атанаса допуска к его величеству.

Маркиз попросил адъютанта обождать и отправился к премьер-министру, которого нашел на террасе дворца.

Премьер лежал, развалившись в шезлонге, и навязанным на ниточку протоколом заседания совета министров дразнил пушистого сибирского кота.

— Коста! — позвал гофмейстер.

Премьер дернул бумагу вверх, кот подпрыгнул и распластался на полу всеми четырьмя лапами, вызвав довольную улыбку на лице государственного мужа.

— Коста! Я тебе говорю, черт побери!

Премьер лениво повернул голову и разгневанно поджал губы.

— Послушайте, маркиз,— сказал он,— я положительно возмущен вашим поведением. Во-первых, я не потерплю, чтобы мне мешали в то время, когда я обдумываю проблемы международного равновесия, а во-вторых, ваш титул и древность вашего рода обязывают вас к знанию этикета и владению слогом порядочного общества.

Гофмейстер всплеснул руками.

— Подумаешь!.. Тогда я должен довести до сведения вашей светлости, что адъютант заморского стервятника просит свидания с нашим курчонком.

— Ну и что же?

— Что делать?

— Что делать? — премьер протяжно зевнул и погладил кота против шерсти,— главное — не торопиться. Его нужно выдержать в приемной.

Гофмейстер покачал головой.

— Коста! — произнес он с горечью,— я вижу, что власть портит всех людей. Я никогда не думал, что ты можешь стать такой скотиной, чтобы заставлять ждать подневольного человека.

— Молчи! — вскрикнул быстро премьер,— молчи, старый дурак, или я заткну тебе горло хвостом этого кота. Можно подумать, что этот адъютант из нашей породы, если ты так близко принимаешь к сердцу его ожидание. Успокойся! Он сделан из того же теста, что и его хозяин. Довольно они тешились над Аткиным, и пусть меня пекут на том свете, как карася на сковородке, если я не покажу этим напыщенным шарлатанам, что Итль очень горячая игрушка, которую нельзя хватать голыми руками. Пойдем к нему.

Премьер пощекотал кота за ухом и направился к ожидающему адъютанту.

— Вы желаете видеть его величество? — спросил он, небрежным кивком ответив на поклон офицера.

— Да, и как можно скорее. Я жду уже четверть часа,— ответил адъютант с явным неудовольствием.

Премьер изобразил на своем лице презрительное сожаление.

— К несчастью, его величество сейчас занят и не может принять.

— Но я имею приказ сэра Чарльза Орпингтона лично повидать короля.

— Милый юноша,— наставительно ответил министр,— приказы вашего начальства исполняются на ваших кораблях, здесь могут исполняться только приказы моего повелителя. Благоволите передать мне поручение лорда Орпингтона.

Офицер покраснел.

— Если вы настаиваете — пожалуйста. Но я передам сэру Чарльзу, что я не был допущен...

— Так в чем дело? — переспросил премьер, рассеянно смотря на свои ботинки.

— Сэр Чарльз желает видеть короля и просит его приехать.

— Передайте лорду Орпингтону, что его величество будет ждать его у себя в полдень.

— Но я сказал, что лорд Орпингтон желает, чтобы король приехал к нему...

Премьер сурово посмотрел на офицера.

— Короли не ездят! Ездят к королям! Я считаю дальнейший разговор на эту тему излишним.

Офицер закусил губу, поклонился и удалился.

— Ты с ума сошел? — вскрикнул Атанас.

— Что? Мне жаль тебя... Ты можешь смеяться надо мной, как над дураком, и все же... Я знаю, что это не королевство, а шантан, что это не король, а швабра, я ненавижу всех королей в мире, но... тут и есть но... Я чувствую сейчас себя представителем народа... Да... да, хохочи, лопни от смеха, но, пока я здесь, я не позволю, чтобы этот скулодроб плевал в лицо нации. И пока я здесь, я, бывший шулер, бродяга, пока я на посту премьера этой страны,— я не допущу, чтобы зарвавшийся бурбон командовал нами, как новобранцами.

— Что с тобой? — спросил изумленный гофмейстер,— ты разволновался, как селедка, попавшая в сеть. Откуда у тебя такой патриотизм?

— Патриотизм? Осел!.. Если я и стал премьер-министром, то только для того, чтобы покончить с этой игрой в государство, чтобы облегчить путь сюда тем, идущим с севера, к которым лежит моя душа. Но я не хочу, чтобы вся нация лежала под генеральским сапогом. Ино-

гда жизнь требует пафоса отечества, и он у меня появился. А твой кругозор узок, как ушко иголки...

И премьер отправился в покои короля, покинув озадаченного гофмейстера.

Вскоре он снова вышел на террасу и возобновил свою игру с котом.

Но в полдень его занятие было прервано докладом о прибытии генерала Орпингтона.

Сэр Чарльз мерял приемную дворца огромными шагами, и в такт шагам шпоры его звенели быстро и грозно.

Он взглянул на вошедшего премьера, как лев на падаль.

— Где король?

— Вы изволите спрашивать о его величестве?

Сэр Чарльз пристально взглянул в лицо премьеру. Оно было спокойно и сурово.

— Да! Я спрашиваю, где король?

— Его величество ждет вас в угловой приемной. Я прошу вас последовать за мной.

В угловой приемной, венецианское окно которой выходило в густую синеву залива, король Максимилиан, в том же белом мундире, в котором он был на историческом заседании парламента, поднялся из-за письменного стола и сделал два шага навстречу сэру Чарльзу.

Лицо у него было смущенное, но держался он твердо. Премьер дал ему инструкции, как вести себя.

— Я очень рад посещению вашего превосходительства,— сказал он, протягивая руку с радушной улыбкой.

Сэр Чарльз остановился перед ним и скрестил руки на груди.

— Это что за комедии? — сказал он, дрожа от гнева,— на каком основании вы отказали в приеме моему адъютанту?

Король вздрогнул, но, встретив за спиной разгневанного представителя Наутилии твердый взгляд премьера, сказал тихо и вежливо:

— Я прошу простить меня, ваше превосходительство, но я был занят докладом военного министра.

— Что? — спросил сэр Чарльз,— вы были заняты? Вы? Вы, кажется, не на шутку вообразили себя великим монархом? Вы, кажется, забываете, что вы были всего неделю тому назад безработным шалопаем и что я сделал вас королем?

Максимилиан поднял голову. Одутловатые щеки его порозовели, он сжал пальцы рук.

— Ваше превосходительство! Здесь вы разговариваете не со мной, а с королем Итля. Из уважения к вашему монарху вы должны помнить об этом.

— Как? — вскрикнул, отступая в изумлении, сэр Чарльз,— вы осмеливаетесь сравнивать себя с моим повелителем? Вы? Вы забыли, что завтра же я могу отправить вас подметать улицы так же просто, как я возвел вас на престол... Я смахну вас с трона, как пылинку с мундира.

— Ваше превосходительство! Я вынужден вмешаться. Я не могу позволить в моем присутствии говорить таким образом о моем короле,— вступился премьер.

Сэр Чарльз повернулся к непрошеному заступнику. Лицо его побагровело от гнева.

— О вашем короле? Каков пастырь — таково и стадо! Вы тоже вообразили себя настоящим министром? Тем хуже для вас! Убирайтесь вон отсюда!

— Что? — спросил в свою очередь премьер, и его почтительная до сих пор фигура распрямилась, как пружина.— Бросим вежливости. Если судьба дала вам, господин, ослиную глотку,— все же вы не слишком петушитесь. Когда-то я сворачивал одним ударом и не такие лошадиные челюсти, как ваша. Думаю, что с тех пор я не очень постарел и не очень ослаб...

Сэр Чарльз шагнул к премьеру и поднял хлыст.

Премьер легко поймал его и вырвал с такой же легкостью, как перо из чернильницы, и в то же время сэр Чарльз услыхал за спиной у себя насмешливый женский голос:

— Прелестно! Дипломатический представитель Наутилии, разговаривающий при помощи хлыста. Я была лучшего мнения о дипломатических способностях вашего превосходительства...

Сэр Чарльз быстро обернулся. Женский голос отрезвил его, и, поворачиваясь, он мгновенно сменил гневную гримасу на ту очаровательную улыбку, которая создала ему на родине славу обаятельнейшего кавалера.

— Ее величество! — услыхал он голос премьера.

— Простите, ваше...— начал сэр Чарльз, делая шаг навстречу королеве, и вдруг остановился с занесенной ногой, смотря в лицо стоявшей перед ним широко раскрытыми глазами.

Гемма весело расхохоталась ему в лицо.

— Почему вы стоите на одной ноге, сэр Чарльз? Я не подозревала, что вы так хорошо имитируете аиста. На родине я слыхала о вас столько серьезного, что не ожидала найти в вас такого забавника. Ну, здравствуйте же!

Сэр Чарльз оглянулся на премьера с видом затравленного волка.

— Кто эта женщина? — спросил он трагическим шепотом.

— Ее величество, королева Итля,— спокойно ответил премьер.

Сэр Чарльз почти прыгнул к королю и схватил его за плечо.

— Вы... вы женились... на этой женщине? — закричал он, брызгая слюной.

— Но... вы же с-сами... хотели этого...— пробормотал испуганный Максимилиан, защищая лицо.

— Я хотел?..

— Ну да... ведь вы же сказали, что... что мне нужно... нужно жениться.

Сэр Чарльз оттолкнул несчастного монарха Итля, и тот опустился в кресло.

Вслед за тем сэр Чарльз разразился оскорбительным хохотом.

— Ха-ха-ха!.. Поистине история становится веселей, чем я предполагал. Послушайте, ваше высочайшее величество! Я не мог вам найти невесту королевской крови, но вы превзошли все мои ожидания. Что ж! Для вашего трона хороша и уличная плясунья.

Коста шагнул к сэру Чарльзу.

— Эй вы, господин,— начал он угрожающе, но между ним и лордом Орпингтоном очутилась Гемма с закушенной губой и высоко поднятой головой.

— Вы!..— произнесла она тихо, но отчетливо,— я не знаю, достойна ли я этого королевства, но вы, сэр, достойны конюшни! Мне стыдно за мою страну, и я никогда не предполагала, что ее высшие посты занимают трактирные хамы, позволяющие себе оскорблять женщину. И пока вы не получили пощечины от имени женщин Наутилии — ступайте вон!..

Лорд Орпингтон встал. Он опустил глаза под этим нестерпимым взглядом.

— Слушаю, мадам!

Его шпоры зазвенели к дверям, но на пороге он обернулся и оглядел неподвижную группу.

— Я ухожу. Но вы еще обо мне услышите!

Гемма ответила презрительным движением плеч.

Глава семнадцатая
ENTENTE CORDIALE[1]

В этой главе перед нами снова на мгновение, как всполох шаловливой зарницы, мелькнет зарево войны. Мелькнет, чтобы исчезнуть окончательно.

Главный штаб коммунистических армий Ассора, получив донесения заслона, оставленного на границе Итля, о внезапном оживлении деятельности противника на этом захолустном и не вызывавшем опасений фронте,— донесения, вызванные внезапной канонадой боя, так блестяще поставленного генералом фон Бренделем с помощью лучших режиссеров Итля,— отдал приказ о срочной переброске нескольких батальонов для усиления разведки противника.

Радиограмма с перешейка, где еще не были убраны великолепные декоративные форты, слинявшие от прошедших летних ливней, о замеченном увеличении численности ассорских отрядов, пришедшая нежданно на следующий день после коронования Максимилиана, обрушилась на главнокомандующего военными силами Итля, как горный обвал.

Немедленно генерал фон Брендель распорядился повернуть оставленные на фронте сооружения лицевой стороной к противнику и подновить их окраску, но, чувствуя, что на этот раз система обороны требует и других мер, созвал экстренное секретное заседание кабинета совместно с военным командованием.

Результаты заседания еще больше потрясли храброго полководца, так как правительство единогласно нашло необходимым личное присутствие на фронте главнокомандующего для руководства операциями.

С генералом на заседании сделался внезапно острый нервный припадок, вызванный старой контузией, и он заявил, что состояние здоровья, подорванного боевою де-

---

[1] Сердечный союз *(фр.)*.

ятельностью, лишает его возможности отдать жизнь за родину.

Затруднительное положение было разрублено Богданом Адлером, который после переворота остался не у дел и выразил готовность заменить генерала. Встав во весь свой гигантский рост и расправив квадратные плечи, Адлер заявил собравшимся:

— Мне наскучило болтаться по притонам и спиваться. У меня не было никакого желания защищать эту вонючую республику, но теперь, когда на троне законный монарх и мой личный друг — я готов подраться. Предлагаю себя со всеми потрохами в распоряжение его величества...

Дружные рукоплескания встретили это героическое заявление, но Адлер остановил аплодирующих собеседников:

— Но я требую для себя диктаторских полномочий на фронте, потому что не рассчитываю успешно отражать наступление противника размалеванной холстиной... Кроме этого,— оратор запнулся на мгновение,— кроме этого, я полагаю, что к защите родины должно быть привлечено и женское население...

— То есть как? — перебил пораженный фон Брендель,— вы хотите мобилизовать женщин?

— Отнюдь нет. Участие женщин в обороне отечества должно быть добровольным, но оно должно быть. Женщина подымает дух армии. Наши доблестные капитаны превзойдут героев древности, когда они будут сознавать, что на них смотрят женщины. Кроме того, защитники фронта не будут лишены самой чудесной человеческой радости — любви. Как результат этой любви республика получит подкрепление человеческим материалом для будущих призывов в пополнение понесенных потерь и... и, наконец, я сам считаю необходимым пользоваться женским элементом для поддержания своей работоспособности и бодрости в тяжелые минуты огромной ответственности за независимость родины. Предлагаю создать «священный женский легион».

Предложение было принято единогласно.

Утром по городу было развешено извещение правительства о записи в «священный женский легион». Успех превзошел ожидания. Через четыре дня Богдан Адлер отбыл на фронт с эшелоном в тысячу веселых и жизнерадостных представительниц женского пола из числа ар-

тисток шантана и эстрады, лирических поэтесс, монахинь, портовых кокоток и других патриотических слоев итлийского общества.

После отъезда Адлера генерал фон Брендель заикнулся было о необходимости попросить поддержки у сэра Чарльза, но не встретил сочувствия.

Сэр Чарльз после визита к королю в гневе покинул свой дворец в столице и уехал снова на борт «Беззастенчивого», где и заперся в адмиральской каюте.

Злоба, охватившая его, была так велика, что он не только не появился сам на коронационных празднествах, но в день этого национального торжества запретил отпустить на берег команды наутилийских дредноутов и даже в бешенстве хотел запретить прохождение процессии в виду моря по набережной, но был отговорен адмиралом Кроузоном, указавшим ему, что такое распоряжение может вызвать недовольство дипломатических представителей других держав.

Он не принял министра иностранных дел, прибывшего на «Беззастенчивый» для передачи приглашения правительства на торжества, и, когда министр сообщил через флаг-офицера о цели своего приезда, сэр Чарльз в гневе приказал сказать от своего имени, что в Наутилии высшие сановники государства считают неприличным бывать в балаганах.

Впоследствии, по возвращении в Наутилию, завистники и недоброжелатели определенно ставили ему в вину эту бестактность, утверждая, что именно она повела к окончательной катастрофе и что если бы он нашел в своей душе достаточно благородства, чтобы поступиться личными интересами в интересах родины, знамена ее не покрылись бы несмываемым позором.

Но мы отнюдь не собираемся следовать примеру этих низких людей, ибо нам, более чем кому-либо, ясно, что сэр Чарльз напрягал все свои силы и огромные дарования, дабы овладеть рулем событий, который был все же вырван у него из рук неодолимым ураганом судьбы.

Во всяком случае, никаких надежд на помощь с его стороны у кабинета не могло быть.

Поэтому в течение трех суток в столице, только что пережившей патриотические восторги коронации, царила полновластная паника, и город стал походить на огромную упаковочную контору, где тысячи людей спешно набивали чемоданы всяким имуществом.

Градоначальник столицы безвыходно находился на центральном телеграфе, связанный с штабом фронта прямым проводом, и через каждые пять минут запрашивал о положении дел.

Но Богдан Адлер на этот раз оправдал высокое доверие правительства. Разведка противника, встреченная огнем сколоченных им наспех рот, отошла после недолгой перестрелки в исходное положение, имея приказ командования не ввязываться в серьезный бой.

И вечером на третьи сутки, когда тревога в столице грозила стать катастрофической и на телеграфе, как на званом обеде, собрались почти все именитые граждане, на сотый запрос градоначальника аппарат выдавил наконец узкую макарону ленты с коротким и ясным ответом:

— Противник отбит. Тыловая сволочь может слезать с чемоданов.

Собравшиеся разъехались по домам, бесконечно обрадованные, и чемоданы были вновь распакованы.

В этот же вечер премьер-министр, приехав вечером в королевский дворец для доклада, проходя по залу, увидел в сумерках у окна человеческую фигуру.

Приблизившись к ней, он узнал королеву.

— Ваше величество,— сказал он с почтительным поклоном,— что вы делаете здесь в темноте?

Фигура повернулась, и в полумраке премьер увидел тонкое лицо и устремленные прямо в глаза ему тревожные и печальные глаза. Ему даже показалось, что они наполнены слезами.

Он хотел спросить о причине этой печали, но был прерван неожиданным в упор вопросом:

— Скажите, герцог, вы — честный человек?

Премьер был застигнут врасплох. Он не ожидал ничего подобного и ответил так же неожиданно откровенно:

— Не знаю, ваше величество! Как бы вам сказать?

Гемма схватила его за рукав.

— Правду! Говорите правду, герцог! Мне ничего не нужно, кроме правды!

Трепещущий голос умолял и приказывал одновременно, и премьер после короткой паузы произнес тихо:

— Простите, ваше величество! Если вы хотите правды, то прежде всего я не герцог. Я по дурости влез с ушами в невеселую историю. В первый раз я это понял неделю тому назад, во второй — когда наутилийский ко-

зел бодал короля, и в третий сейчас, когда ваши глаза влезли в меня, как колючки.

— Вы не герцог? — спросила Гемма с удивлением и вместе с радостью.

— Кой черт! Я был шарлатаном, а теперь я не знаю, кто я. Будь она проклята, эта комедия! Я воровал, я совершал мошенничества, я выпускал фальшивые кредитки, и, клянусь, мне тогда не было так тошно, как теперь. Я думал, что судьба доставляет мне редкий случай повеселиться, как никогда в жизни, но вышло иначе, и я готов реветь, как выпь на болоте. Раньше я отвечал только за себя, сейчас мне приходится отвечать за других, за всех, и от этого у меня словно перевернулась башка.

— Сядьте,— сказала Гемма повелительно,— это интересно! Мне нужно с вами поговорить. Кто вы?

Коста опустил голову, и голос его зазвучал виновато-иронически.

— Я уже сказал вам, ваше величество! Я бродяга, жулик, негодяй. Всю жизнь я прожил вне того, что на языке бар называется обществом. Оно презирало меня, и я платил ему тем же. И я имел на это большее право. Я мошенничал открыто — они прикрывались законом и другой благородной чепухой. Но я стал стареть, я начал чувствовать усталость, мне захотелось пожить спокойно. И судьба предоставила мне случай вот здесь, в этом содоме, который пыжится быть государством. Я, который был всем, стал, наконец, премьер-министром захудалого шантана, куклы которого готовы плясать под дудочку любого прохвоста, вроде вашего Орпингтона.

Премьер говорил горячо и энергично.

Гемма с напряженным вниманием слушала необычную речь высшего сановника королевства.

— Я думал, что я буду веселиться на этой должности, как веселился, бывало, в детстве, смотря на ярмарочных клоунов. Но, увы, я вижу, что самый закоренелый жулик все же слишком честен для роли министра. Я внезапно почувствовал себя обязанным. На мои плечи навалился такой груз, который пригнул меня к земле. Я в первый раз узнал чувство ответственности не за себя, а за других, за чье-то достоинство, честь, свободу. За целый народ... Не за этот, конечно, сброд, который согнала в приморский притон революция, а за настоящий народ...

— Постойте,— перебила Гемма,— я не совсем вас понимаю. У меня кружится голова от того, что я видела

здесь. И от того, что пережила... Вы исповедались мне, теперь я исповедаюсь вам... Я не лучше вас... Я легкомысленная девчонка... Я приехала сюда ради авантюры, ради авантюры я очутилась на этом странном троне. И я тоже почувствовала, что у меня есть какие-то обязательства. Расскажите мне подробней о вашей стране. Почему она воюет с Ассором? Кто такие эти коммунистические банды, как их называют у нас, и чего они хотят? Зачем здесь наша эскадра и лорд Орпингтон?

Она уселась в угол дивана и закуталась в шелковую шаль, приготовившись слушать.

Коста взглянул на нее с внезапным чувством нежности.

— Вы хотите знать все, ваше величество?

— Ах, не называйте меня так! Я такое же величество, как вы герцог. Я боюсь, что мой титул тоже плод самого безрассудного легкомыслия. Зовите меня, как хотите, но только попроще.

Коста усмехнулся.

— А съешьте меня черти, если вы не славная барышня!.. Сперва я скажу вам насчет коммунаров. Те, которые идут с севера, из Ассора, они совсем не банды. Они настоящие, хорошие и честные ребята. Единственно, о чем я жалею, что моя жизнь с первых дней пошла по такому пути, что я не чувствую себя вправе быть с ними. Я слишком замарал себя свободными профессиями и боюсь, что мои руки не настолько чисты, чтобы они захотели принять, как равное, мое рукопожатие. Но я люблю их. Будущее за ними, потому что они хотят настоящей жизни для всех, кто трудится; кто добывает хлеб горбом, кто покупает право на существование мозольными лапами, а не тонкой работой пальцев или граверной иглы, как делал это я, и не узаконенным грабежом, как это делают баре, вроде вашего генерала и ему подобных.

— Вы говорите о сэре Чарльзе,— остановила его Гемма,— но я слышала, что наша эскадра послана сюда по просьбе всего народа, чтобы помочь ему в борьбе с армиями Ассора. Значит, народ против них?

Коста похлопал себя по коленке и иронически скривил губы.

— Молодо-зелено, барышня! Где вы видели наш народ? В городе? Здесь столько же народа, сколько волос на коленке. Здесь отбросы человечества, вся накипь высокородной рвани, согнанная грозой,— пролетевшие банкиры,

экспроприированные фабриканты, выгнанные помещики, зверинец паразитов, севших на шею этому прекрасному и плодородному уголку. Это язва, чума, это несчастие Итля, стадо галаадских свиней, которых нужно утопить в заливе! А ваш генерал — наемный скулодробитель, призванный защищать эту шайку и протягивающий свои лапы к нефти. Он спит и видит во сне нефтяные реки с золотыми берегами и готов перерезать все население ради лишней бочки керосина.

— Я ничего этого не знала,— сказала Гемма, вертя в пальцах конец шарфа.

— Народ? — повторил Коста.— Милая барышня, народ не показывается здесь, да его и не покажут, потому что он нищ, гол и бос, потому что он живет хуже, чем скот у вас на родине. Его гонят плеткой на работы и плеткой с работ, из него высасывают все соки, и этими соками наполняются те бутылки, которые распивает орда громил и грабителей в «Преподобной Крысе» и других злачных местах.

Гемма резко встала с дивана и прошлась несколько раз поперек залы.

Премьер молча следил за ней глазами. Она остановилась против него, и в темноте Коста увидел свечи зрачков.

— Но король... Максимилиан? Он знает это? И он разве не может прекратить...

Коста перебил ее, и опять голос его прозвучал снисходительной лаской.

— Эх, барышня... Король? Чему вас учили в школе, если вы надеетесь на короля? Я ничего не хочу сказать плохого о вашем супруге, но все короли одним миром мазаны. Всякий король не более как фиговый листок, которым монархия прикрывает свои неприличные места. И ваш генерал от грабежа сделал Максимилиана королем лишь затем, чтобы заставить его плясать под любой мотив и без затруднений заграбастать мазут, насчет которого он не мог сговориться с демократическими мошенниками.

Коста увидел, как вздрогнули плечи королевы, точно от порыва ледяного ветра.

— Какая мерзость... какая подлость,— тихо сказала она.

Премьер осмелился взять ее за руку.

— Не расстраивайтесь! Я же говорю, что вы хорошая барышня. Я думаю, что вы тоже не сможете стать короле-

вой, как я не могу стать министром в этой обстановке. Вы очень молоды и, как все молодые барышни, с ветром в голове, но у вас есть честь. Вы влипли в передрягу, как и я, и нам нужно выбираться из нее вместе. А на короля оставьте всякую надежду. Его призвание ходить на поводу, продетом в его ноздрю, и наша задача сделать все, чтобы этот повод был у нас в руках. Вы можете помочь мне в этом. Мы сможем сделать вдвоем большие дела и пообрезать когти нефтяному фельдфебелю и его сброду.

Гемма взглянула в окно. В пологе синего тумана, висевшего над заливом, радужными кружками горели огни наутилийской эскадры. Оттуда глухо долетел гортанный призыв сигнальной трубы.

Гемма выпрямилась и указала премьеру на огни.

— Я отказываюсь от них! Я была глупа и наивна. Я считала людьми тех, у кого белые руки и крахмальное белье. Но у них черные души. Среди них человек, из любви к которому я приехала сюда, и он бросил меня, как ветошь. Среди них человек, которого считают у меня на родине рыцарем долга и чести. Теперь я знаю, что он явился сюда обокрасть страну и что этот рыцарь чести оскорбил женщину, как апаш. Хорошо! Довольно! Моя мать работала на сигарной фабрике. Голос крови напомнил мне об этом. Они не получат того, за чем приехали.

Коста нежно положил руку на плечо отрекающейся королевы.

— Я же говорил, что вы молодец, барышня. Я думаю, что мы с вами испортим настроение генералу. Давайте работать вместе. Вот моя рука!

Он ощутил крепкое пожатие маленькой кисти и услыхал твердый голос:

— Согласна! Вступаем в союз.

— До конца? — спросил Коста.

— До конца! — ответила Гемма.

Глава восемнадцатая

КОРОЛЬ НЕ ВСЕГДА МУЖЧИНА

Старожилы Порто-Бланко рассказывают, что таких бурь, какие налетели на побережье в июле рокового года, никто не запомнит.

В летнюю пору берег Итля отличался тихой погодой, благотворным влажным климатом и славился своими целительными свойствами при легочных заболеваниях.

Республиканское правительство поднимало даже вопрос об устройстве курорта для поднятия государственных доходов, но проект, внесенный в парламент, провалился, так как оппозиция доказала, что средства, необходимые для постройки курорта, с большей пользой могут быть ассигнованы на организацию государственной опереточной труппы и что оперетка приносит гораздо больше облегчения всех сортов больным, чем скучный санаторный режим.

Но в это лето, в ближайшие дни за государственным переворотом, внезапно задули с непрекращающейся силой сухие восточные ветры.

Они свистели между известковыми скалами, носили песок по прибрежью, обдавали землю удушливым и томительным жаром.

Листья на деревьях блекли, сворачивались и опадали сухими шелестящими трубочками, которые с визгом носил ветер, кидая охапками на дома и людей.

Над всем побережьем стояла беловатая, едкая пыль, душившая горло, слепившая глаза, забивавшаяся в дома даже сквозь двойные рамы.

Люди ходили с пересохшими губами, красными, слезящимися веками и нигде не находили спасения от зноя, ветра и пыли.

От этого зноя вскипала кровь, и у самых добродушных и спокойных появлялась жажда убийства, желание кого-нибудь придушить или зарезать.

И даже пена, взлетавшая по берегу от мощных ударов тяжелых синих жгутов воды, взбуравленной ветрами, казалась сухой, как пыль.

Официальные документы, относящиеся к этому времени в истории Итля и сохранившиеся в архивах, таят под внешним покровом вежливых фраз и дипломатических любезностей смертельный яд накипающей злобы, и по ним внимательный историк может сразу установить, что страна шла к неотвратимой катастрофе.

Сэр Чарльз не появлялся более на берегу. Он диктовал свою волю со стальной громады «Беззастенчивого», под успокоительною сенью его шестнадцатидюймовых орудий.

Его флаг-офицер свез на берег и вручил во дворце плотный пакет, в который было вложено личное послание наутилийского дипломата королю Максимилиану.

Сэр Чарльз оправдывал в нем свою незыблемую репутацию лучшего политика великой морской державы. Несмотря на то что голос его прерывался от гнева в момент диктовки письма переписчику и он с гораздо большим наслаждением вместо трескотни клавишей «Ундервуда» услышал бы треск пулеметов, направленных на раздражавший его берег, закутанный удушливой пеленой, он нашел в своей душе достаточно самообладания и благородства, чтобы стиль его письма служил на века примером покорности лучшим традициям дипломатического стиля.

Мы не станем приводить текст полностью. Каждый интересующийся читатель может найти его в библиотеке государственного архива Итля, в деле иностранных сношений за № 172133/с. с. лит. О.

Мы обойдем молчанием изумительное по экспрессии вступление, излагающее краткую историю взаимоотношений народов Наутилии и Итля, не станем останавливаться на отечески дружеском напоминании королю Максимилиану о данных им обещаниях, равно как и указании на то, что монарх Итля обязан своим восшествием на наследственный престол в значительной мере стараниям и бескорыстной помощи лорда Орпингтона, и пройдем мимо осторожных и тонких упреков в недружелюбии, высказанных в изысканно вежливой форме.

Сэр Чарльз писал эту часть письма не для себя, а для истории, будучи человеком высокого ума и пророческой предусмотрительности.

Но последнюю часть письма нам стоит запомнить по ее краткости и напряженной энергичности, ибо она гласила, что, в случае неполучения в трехдневный срок от правительства Итля мандата на владение нефтяными промыслами на имя Островной компании, сэр Чарльз будет вынужден, с сердечным сожалением, высадить весь экспедиционный корпус для прогулки в район нефтяных источников; всякая же попытка противодействия вызовет сопровождение высадки музыкальной иллюстрацией оркестра тяжелой судовой артиллерии.

Вручив пакет у трапа посланцу, сэр Чарльз постоял на шканцах, где еще так недавно он беззаботно забавлял-

ся бросанием монет, яростно плюнул в пенившуюся бурную воду и ушел в каюту.

Но флаг-офицер и на этот раз не удостоился личной аудиенции и вынужден был вручить пакет гофмейстеру. В ответ на настойчивые требования личного свидания ему было сообщено, что король занят чрезвычайно важной беседой с придворным столяром.

Гофмейстер без промедления передал письмо премьеру, который, не подумав даже обратиться к королю, отправился прямо на половину королевы и имел с ней получасовое совещание, после чего камеристка королевы была послана к его величеству с просьбой прибыть к ее величеству.

Гемма сидела, держа письмо сэра Чарльза двумя пальцами с таким брезгливым видом, как будто в руке у нее была лягушка. В глазах у нее играли опасные и зловещие огоньки.

Максимилиан вошел, как всегда, бочком, тихонько насвистывая легкую песенку.

— Зачем вы позвали меня, ваше величество? — лениво промямлил он, чмокнув руку Геммы,— опять политические дела? Ужасно! Ради бога, отставьте меня от всякой политики. Я только что начал сговариваться со столяром по поводу одной любопытной переделки в моем кабинете, и вы нарушили весь мой план. Как это скучно!

Гемма внимательно посмотрела на него. Щеки ее вспыхнули и губы дрогнули гневным нетерпением.

— Ваше величество! — сказала она сурово.— Я понимаю, что обстановка кабинета весьма существенная вещь, но иногда нужно уметь быть не только квартирохозяином, но и королем. Прочтите это письмо!

Максимилиан взял лист испуганным движением, втянув голову в плечи, как будто закрываясь от занесенного удара, и испуганно забегал по строчкам.

— Ну, что же вы думаете об этом? — спросила Гемма, постукивая о пол носком ботинка.

Максимилиан поджал губы и сморщил брови.

— Я? — начал он, растягивая слова, как резину.— Я полагаю, что оно написано очень недурно.

— То есть, как недурно? — переспросила ошеломленная Гемма.

— Я хочу сказать, что сэр Чарльз прекрасно владеет слогом. Какая изысканная форма! Я бы хотел уметь так писать.

— А содержание? Как вы относитесь к содержанию?

Максимилиан снова поджал губы.

— Ах, содержание! Опять политика? Я сказал вам, дорогая, что не имею никакого расположения к политике.

Гемма облила его презрительным взглядом.

— Если хотите — это уже не политика. Это вопрос чести! Что вы думаете о требованиях, изложенных в этом документе?

— Что вы прикажете ответить генералу Орпингтону, ваше величество? — вмешался в разговор Коста, до того неподвижно стоявший у стола.

Максимилиан помолчал некоторое время, потирая ладони зябким движением.

— Что же ответить? Напишите, что я согласен. Пусть берет промыслы, мне они совершенно не нужны. Я рад буду сделать удовольствие сэру Чарльзу. Я его, кажется, обидел, а он такой милый человек и такой джентльмен.

Гемма вцепилась обеими руками в ручки кресла и устремила на Максимилиана тяжелый, упорный взгляд.

— Вы серьезно говорите это, ваше величество? — спросила она таким тугим голосом, что премьер поторопился встать между ней и королем.

— Ну конечно, серьезно. Сэр Чарльз так много помог мне, он был так обязателен и любезен...

— Хорошо! — сказала Гемма и поднялась быстрым движением,— вы называете джентльменом человека, который в вашем присутствии нанес хамское оскорбление вашей жене, который явился с ножом в кармане, как бандит, чтобы схватить страну за горло и, задушив, ободрать ее как липку. Вы намерены согласиться на требования, на которые можно ответить только ударом! Если вы это сделаете, я буду презирать вас, ваше величество! И не только я — вся страна!

Она отошла в глубь комнаты, разгневанная, прекрасная, как будто выросшая в эту минуту. Максимилиан стоял, рассеянно сворачивая бумажного петушка из послания лорда Орпингтона. Его отечные щеки недоумевающе оттопырились.

— Но как же можно отказать? Сэр Чарльз пишет, что он будет обстреливать берег. Я этого не хочу! Я могу быть убитым, и потом вообще это так неприятно и беспокойно. Я хочу быть королем. Я хочу отдохнуть и повеселиться, и неужели я должен испортить себе настроение

из-за каких-то промыслов. Почему не сделать удовольствия сэру Чарльзу?

— Ваше величество,— сказал Коста,— вы не уясняете себе положения. Нефтяные промыслы — единственное и главное богатство Итля. Если вы отдадите их, вы станете бо́льшим бедняком, чем прежде. Вам не на что будет пообедать даже в третьеразрядной харчевне.

— Вы должны отказать! Вы не смеете согласиться! Вы не смеете стоять на коленях перед заезжим взломщиком,— горячо крикнула Гемма.

— Боже, как это скучно! — отозвался Максимилиан.— Отказать? Но мы не сможем драться с сэром Чарльзом. У нас нет оружия, нет войск. Если эскадра откроет огонь, нам придется бежать в горы, покинуть столицу. А я совсем не хочу расставаться с дворцом. У меня в кабинете теперь так уютно... И где я буду проводить вечера без «Преподобной Крысы», без театра? Вы не захотите причинить мне неприятности, господа!

Коста взглянул на королеву и пожал плечами.

Гемма подошла вплотную к королю, положила руку на его плечо и взглянула в глаза.

— Неужели? — сказала она тихо, как будто в себя.— Неужели? — И вдруг быстро сняла руку.— Я в последний раз спрашиваю, ваше величество, неужели вы решитесь опозорить свое имя еще трусостью и малодушием?

Максимилиан бережно сдунул с рукава пудру, оставшуюся от прикосновения Геммы, и ответил вяло:

— Дорогая, мне, право же, наскучил этот разговор! По-моему, вы напрасно приписываете сэру Чарльзу нехорошие намерения. Он был так добр ко мне. Он давал мне деньги...

— Идите!.. Идите, ваше величество! Идите разговаривать со столяром! — сказала, задохнувшись, Гемма.— Я думаю, что, действительно, не стоит докучать вам такими неинтересными вещами. Конечно, гораздо приятней слушать хорошую музыку, смотреть голых негритянок в «Преподобной Крысе» и пить старое вино, имея полный бумажник, подаренный бескорыстным другом. Я прошу простить меня за беспокойство. Вы правы, из-за этого дела нет нужды волноваться,— оно касается только такой мелочи, как честь.

Максимилиан удовлетворенно улыбнулся.

— Ну, вот,— сказал он,— и слава богу. Я же говорю,

что не стоит вести такие длинные дискуссии из-за пустяков. Кончайте без меня.

Он взял руку Геммы и прикоснулся к ней губами.

Премьер видел, как Гемма затрепетала всем телом от этого прикосновения.

Максимилиан повернулся и пошел к дверям, весело подмигнув по дороге премьеру. Гемма проводила сутулую фигуру пылающими глазами и закрыла лицо ладонями.

— Барышня! — сказал Коста, шагнув к ней.— Вот вам-то уж не стоит ерзать на собственных нервах. Действительно, не из-за чего. Из манной каши нельзя выковать меча. Плюньте и возьмите себя в руки.

Гемма взглянула на него и рассмеялась.

— Вы правы, друг мой! Это пройдет. Это от неожиданности. Я опешила оттого, что на моих глазах жизнь опровергнула незыблемые правила грамматики. На всех языках, которые я знаю, слово «король» — мужского рода. А я за эти дни убедилась, что король не всегда мужчина. Это открытие немного ошеломило меня.

Она улыбнулась и подошла к стеклянной стене гостиной, в которую хлестал песчинками горячий ветер. Вдали, как всегда, раскачивались чуть видные в мутной пелене пыльного тумана тени кораблей на горизонте залива. Коста закуривал сигару, когда услыхал ее голос.

— Какой удушливый воздух! Как жарко! От этой духоты начинаешь задыхаться и впадать в истерику. Сейчас я подумала, что было бы неплохим зрелищем, если бы все эти стальные коробки отправились на дно вместе с их содержимым.

Коста выпустил волну дыма и засмеялся.

— Милая барышня,— сказал он,— вы растете на моих глазах. Вы подумали сейчас о том, о чем я думаю уже давно. Приятно видеть, как вы успеваете.

Гемма задумчиво усмехнулась.

— Забавно,— обронила она, не отрывая глаз от залива,— видеть, как король отказывается от своего долга и передоверяет защиту чести и достоинства королевства двойственному союзу бывшего жулика и ветрогонной девчонки. Но еще забавней, что эти союзники берутся за свою роль всерьез.

Коста почтительно молчал.

— Я начала с любви к незаконному отпрыску королевского рода,— продолжала Гемма,— и, наконец, сама сделалась королевой. И я сыта по горло монархическими

впечатлениями. Теперь я хочу попробовать другой жизни и другого общества. Я думаю, что оно будет лучше.

— Правильно, дорогая барышня! — с восхищением сказал Коста.— Поверьте мне, я сведу вас с настоящими людьми, а не с этими недоносками без мозгов и души.

— Отлично,— ответила Гемма.

— А теперь нам нужно будет поговорить насчет государственных дел. Король вышел в тираж, но события требуют действий. Нам нужно ответить генералу, пока он еще плавает на своей лоханке и не отправился кормить крабов,— предложил премьер.

— Пойдем в розовый павильон,— сказала Гемма,— там не так душно. Здесь можно задохнуться.

Она набросила легкий шелковый плащ и продела руку под услужливо подставленный локоть премьера. Они прошли коридором и на минуту остановились у двери кабинета Максимилиана.

— Гробница его величества,— шепнул Коста, указывая на дверь.

Гемма подняла руку благословляющим жестом.

— Мир праху его! Requiscat in pace! [1]

Если бы министр и королева догадались заглянуть в замочную скважину, они увидели бы покоящегося в мире короля. Вернувшись из апартаментов королевы, Максимилиан осмотрел тщательно ящик стола, над которым потрудился придворный столяр.

Осмотр удовлетворил его. Он весело засвистал и осклабился.

Закрыв ящик, он набросал в угол дивана груду вышитых подушек и, взяв со стола роман в желтой обложке, улегся поудобней.

Улегшись, протянул руку к столику и, сняв резиновую трубку с хрустальным наконечником, тянувшуюся по ковру к большому столу, припал губами к наконечнику. Лицо его осветилось спокойным блаженством, острый кадык задвигался, и в горле забулькало.

Придворный столяр отлично выполнил заказ, приспособив ящик стола для помещения бидона с ликером, который король и тянул в промежутках чтения через трубку в продолжение двух часов, пока глаза его не помутнели окончательно, и он умиротворенно заснул, выронив из рук томик романа.

---

[1] Да упокоится в мире! *(лат.)*

Глава девятнадцатая
ОТРЕЧЕНИЕ СИМОНА

Гемма встала на пороге павильона, прижимая к груди ворох роз. Она смеялась, погружая лицо в душистую сырость лепестков.

— Вот так ладно, барышня! — сказал Коста из глубины павильона.— Я не могу ручаться, что наш пароходный друг не завел себе штат штук в тридцать бродячих ушей и глаз, скупленных по сходной цене. Королеве подобает срывать розы и не мешаться в политику.

— Чем больше я перестаю быть королевой, тем лучше себя чувствую,— ответила она, сгоняя с лица улыбку.

— Значит, до полуночи. В полночь вы сможете отправиться. Сопровождать вас будут надежные парни. Положитесь на них, как на меня,— отозвался Коста.

Гемма вырвала розу из букета и нервно оборвала лепестки. Они рассыпались по ступеням алыми лодочками.

— Я только не знаю... я боюсь, что я не сумею говорить. Я никогда не говорила с таким количеством людей,— задумчиво сказала она.

— Ерунда! Вы их не видали! Когда они появятся перед вами, у вас сразу заговорит самое нутро. Только держите себя в руках и забудьте на это время, что вы барышня.

— Хорошо! Я постараюсь быть способной ученицей.

— Ну, а теперь идите к себе и приготовьтесь к отъезду. Опоздать нельзя ни на минуту. Поверьте слову опытного человека. Когда выдергиваешь из колоды меченого туза, партнер не должен этого видеть.

— Сравнение подходящее,— расхохоталась Гемма, насмешливо поклонилась премьеру и убежала.

Коста поглядел на оставленные на ступеньках лепестки, на дорожку, по которой умчалась собеседница, и причмокнул языком.

— Ей-богу, отличная барышня! Я думал, что такие бывают только на картинках в воскресных модных журналах.

Он постоял еще минуту, покачивая головой, закрыл за собой дверь павильона и прошел через парк к воротам дворца.

Двое часовых-гвардейцев в зеленых мундирах и сиренево-розовых чикчирах, стоявших у решетки, сделали на

караул. Премьер ответил на приветствие и очутился на улице.

Под теплой тенью каштанов стоял его экипаж, и он энергично вскочил на подножку.

— Куда прикажете? — спросил черномазый кучер.

Премьер оглянулся по сторонам.

— Поезжай за город, Петриль... К Георгосу,— тихо сказал он.

За городом дорога побежала белыми известковыми изгибами в гору, среди отвесных скал, на обрывах которых висели, вцепляясь корнями, корявые горные сосны.

Бойкие гнедые лошадки легко несли экипаж, и Коста сладко задремал.

Он проснулся, когда экипаж, уже в паутине сумерек, спустился в долину, зеленую от виноградников, и остановился у мазанки, прилипнувшей задней стеной к ржаво-бурому обломку скалы.

Навстречу лошадям шарахнулись белолапые, мохнатые, как медведи, собаки.

Они норовили вскочить в коляску и вытащить премьера, и Петриль яростно хлестал их кнутом, когда дверь мазанки раскрылась и хриплый голос крикнул:

— Эй вы, черти!.. Назад!

Собаки поджали хвосты и удалились с суровым рычанием. Вылезший из мазанки хозяин подошел к экипажу, держа в руке винчестер.

— Кого принесло? — спросил он не слишком приветливо, вглядываясь в гостей.

— У тебя, видно, болят глаза, Георгос,— ответил Коста.

Подошедший опустил ружье на землю.

— А, это ты, Коста,— сказал он, ухмыльнувшись,— я слыхал, что ты стал очень важным барином. Зачем тебе понадобилось приезжать в гости к такому мужлану и барсуку, как я?

Коста выпрыгнул из коляски и пожал руку хозяину.

— Не бойся! Барин я или не барин, но я не забываю старых друзей. В свое время, старина, мы немало настреляли здесь вместе чужой дичи и одинаково не любили лесничих. И чиниться нам не пристало. У меня большое дело к тебе. Вынеси сюда на столик хорошего старого винца, да поторапливайся. Мне очень некогда.

Горец взглянул на него пристально.

— Что тебе так загорелось? Неужели ты недоволен своим барством и хочешь приняться за старые дела?

Коста усмехнулся.

— Старые дела? Ах ты, ворона! Я не занимаюсь больше мелочью. Я задумал большое предприятие...

Он замолчал. Георгос придвинулся ближе.

— Какое?

— Тащи вино! — ответил Коста, усаживаясь на табуретку перед вбитым в землю столом.

Георгос зашлепал по земле мягкими горными туфлями и скрылся в мазанке. Через минуту он появился снова с глиняным круглопузатым кувшином, двумя кружками и куском овечьего сыра.

— Может, это покажется тебе невкусно после королевских фиглей-миглей?

— Не дури,— ответил премьер, наливая вино. Он отхлебнул глоток и крякнул.— Ты хочешь знать, какое дело? Изволь! Ты знаешь об этих вон?

Коста повернулся к морю и указал на далекие огни.

— О заморских чертях?

— Ну да!

Горец крепко выругался и сжал кулаки. Коста засмеялся.

— Ну вот! Я хочу украсть у них весь Итль и подарить его северянам.

Георгос крепко схватил премьера за руку.

— Ты не врешь? Ты вправду хочешь это сделать?

— Разве я когда-нибудь врал горным друзьям?

Хозяин оставил руку Косты и одним глотком осушил кружку.

— Ну, слава судьбе,— радостно сказал он,— по правде, я не доверял тебе. До нас сюда дошли слухи, что ты продал душу королю и иностранцам. И я хотел тебя вычеркнуть из памяти. И все друзья тоже.

Коста пожал плечами.

— Дураки! Горный воздух, видимо, разжижает мозги, если вы могли поверить такой чепухе. Я продался? Ты видел когда-нибудь человека, который мог бы меня купить? Жалкий осел!.. Да!.. Так вот, пришло время действовать. Пришло время показать большую фигу странствующим грабителям в генеральских мундирах. И мне нужна твоя помощь. Немедленно! Сегодня же!

— Я слушаю тебя,— просто сказал Георгос.

Премьер склонился к его уху и зашептал. Горец слушал и одобрительно мычал, но вдруг встал и отрицательно покачал головой.

— Нет,— сказал он решительно,— тебе помочь мы согласны, но с королевой мы не хотим иметь дела. Твое дело связываться с помазанниками, а мы им не слуги.

— Молчи! — крикнул Коста и тяжелым нажатием руки посадил Георгоса на скамью.— Ты не знаешь этой королевы! Она не их поля ягода. Она славная женщина!

Он снова нагнулся и зашептал. Сухое, морщинистое лицо Георгоса изумленно вытянулось, он присвистнул и осушил вторую кружку.

— Ах, репейник ей под хвост,— протянул он восторженно,— вот это баба! Нет, ты не заливаешь?

— Что я сказал — то сказал,— сурово отрезал Коста,— так согласен ты или нет?

Георгос встал и протянул жесткую, как дерево, руку.

— Бери,—сказал он,— что тебе нужно?

Коста не торопясь закурил сигару.

— Коротко! Мне нужно сотню парней. Все на лошадях и с ружьями. К полуночи они должны ждать у сторожки на дороге к промыслам. Им предстоит простая работа...

Коста опять понизил голос.

— Ладно,— сказал Георгос, когда он кончил,— теперь я знаю, что ты прежний парень, и засохни все мои виноградники, если я не заткну ножом глотки тому, кто станет врать, что ты продался. Все будет сделано.

— Смотри же, не опаздывай. Ну, а теперь прощай,— поднялся Коста,— мне пора делать то, что должен делать я сам.

Он попрощался с Георгосом и поехал обратно в столицу.

С поворота шоссе открылся вид на ночной город. Он лежал на берегу, притаившийся, сверкая тысячами огней, прищуренными, хищными зрачками. Над домами стояло бледное и зловещее электрическое зарево.

Коста поджал губы.

— А интересно, черт побери,— проворчал он сквозь зубы,— когда старый библейский хрыч попалил Содом, было ли над ним такое же зарево? Я думаю, что в наше время можно устроить лучшую иллюминацию.

Коляска спустилась к берегу и проезжала по главной улице мимо подъезда «Преподобной Крысы».

У подъезда остановился автомобиль, и Коста увидел, что из него вылез генерал фон Брендель в сопровождении двух дам.

Премьер хлопнул себя по лбу и остановил коляску.

— Генерал,— крикнул он главнокомандующему,— подойдите-ка на минутку.

Фон Брендель приблизился к коляске.

— Простите, что я отравляю вам свободные минуты, генерал, но у меня есть небольшой вопрос. Какое положение на фронте?

— Блестяще,— поднял плечи фон Брендель,— система моих укреплений...

— Не то,— невежливо перебил премьер,— система ваших укреплений мне отлично известна. Но, мне кажется, там полное затишье, и не приходится ожидать боев.

— Да! Я думаю. Противник настолько потрясен мощью нашей обороны,— сказал с достоинством главнокомандующий,— что не осмелится повторять наступление.

Коста лукаво прищурился.

— Тогда, я думаю, можно будет разрешить капитану Адлеру вернуться в столицу. Нехорошо, генерал, заставлять такого милого человека сидеть в глуши, когда мы все наслаждаемся жизнью,— сказал он,— могут подумать, что вы боитесь его соперничества в войне с очаровательными женщинами и нарочно загнали малого на фронт. Я полагаю, что вы не откажете вернуть его.

Фон Брендель щелкнул шпорами.

— Я согласен с вами, ваше превосходительство. Я сейчас же распоряжусь вызвать его. Я не хочу, чтобы меня упрекали в эгоизме. Кстати, мы устроим торжественое награждение Адлера за победу над ассорскими бандами.

Генерал раскланялся, и коляска тронулась дальше.

. . . .

Коста нашел королеву в будуаре. Она сидела у окна в костюме для верховой езды.

— Ну, что? — спросила она, порывисто поднимаясь навстречу.

— Все как надо. Вы, я вижу, уже готовы? Не стоит так торопиться, в нашем распоряжении еще три часа.

— Я очень волнуюсь,— сказала Гемма.

— Вот это уже нехорошо. Этого совсем не нужно, Видно, что у вас мало наметки в таких историях. Тут нужно быть спокойным, как будто идешь обедать. Впрочем, это в крови у всей вашей породы.

— Какой породы?— спросила удивленная Гемма.

— Не сердитесь, барышня. Я не хочу вас обидеть. Но вы все-таки из белоручек. Вы не умеете владеть этими самыми... нервами. В опасную минуту вы теряете способность действовать хладнокровно и начинаете дергаться, как паяц на ниточке. И всегда у вас какая-то истерика. А этого нельзя.

Гемма опустила голову и ответила виновато:

— Я постараюсь взять себя в руки. Думаю, что это пройдет.

— Отлично! А на дорогу выпейте стакан хорошего вина. Это здорово бодрит. Ну, пока отдыхайте — я пойду довершать сегодняшние дела. В одиннадцать я зайду за вами, и мой кучер проводит вас на дорогу,— закончил Коста.

Он вышел и направился в свой кабинет во флигеле дворца.

Там он уселся за письменный стол и взял перо, но услыхал осторожный стук в дверь.

— Войдите,— сказал он с неудовольствием, откладывая перо.

— А, господин гофмейстер! Чем обязан чести видеть вашу милость? — приветствовал он вошедшего Атанаса.

Атанас молча прошел через комнату и сел в кресло.

— Слушай, Коста,— начал он,— я пришел поговорить серьезно...

— Знаешь, старик, мне, право, не до серьезных разговоров. Не можешь ли ты выбрать другое время? — прервал его Коста.

Атанас часто замигал глазами.

— Нет! Хочешь ты или не хочешь, а выслушай меня!

— Ну, говори. Можно подумать, под тобой горячая сковородка, что тебе так не терпится. Говори, да скорей.

— Видишь ли... Моя башка не выдерживает этого... Я не в себе. Это мне не по нраву. Я чувствую себя так, как будто меня с ног до головы затянули в корсет...

— Что ты мелешь, старина? — обеспокоенно спросил Коста.

— Я не знаю,— продолжал Атанас,— ради какого дьявола ты полез в петлю и для чего тебе это нужно. Ты всегда был непонятен для меня. Но ты сам за себя отвечаешь. А при чем я? Ты придумал для меня эту клоунскую должность гофмейстера. Помнишь, ты сам говорил, что от придворного слога можно вывихнуть челюсти. Так я вывихнул уже не только челюсти, но и мозги. Мне это надоело. Я простой рыбак и привык жить, как мне хочется. А теперь мне нельзя говорить громко, нельзя ругаться, когда хочется. Я должен шаркать, кланяться, ходить в этом золоченом футляре, сморкаться только в платок, не махать руками и еще тысячи всяких глупостей.

— Чего же ты хочешь, старый осел? — спросил иронически Коста.

— Отпусти мою душу на покаяние. Я больше не могу. Я хочу по-прежнему лежать на молу, ловить султанку, встречать солнце, плевать в море. Вообще я хочу быть свободным человеком, а не гофмейстером. Если ты меня не отпустишь — я все равно сбегу. Я не политик...

Коста хлопнул ладонью по столу.

— Я не думал, что у тебя нервы, как у оперной певицы. Мне стыдно за тебя, старина. Сейчас я упрекал женщину в том, что она не умеет владеть собой, но вижу, что был несправедлив. Барышня — железо по сравнению с такой трепаной мочалой, как ты.

Атанас тяжело вздохнул.

— Ты можешь называть меня, как хочешь, но я больше не могу. Я не в силах. Мой котелок не варит таких вещей. Пусть я мочала, но я не гофмейстер, будь он проклят отныне и довека.

— Значит, ты покидаешь меня? — спросил с упреком Коста.

— Прости меня, я сказал, что не могу больше.

— Так... Симон, Симон! Прежде чем пропоет петел, ты трижды отречешься от меня,— сказал насмешливо премьер.

Атанас покраснел.

— Ты хочешь сказать, что я изменник? Ну что же! Ты всегда был несправедлив ко мне. Но все равно — отпусти меня.

Коста засмеялся.

— Что же, Симон! Вложи меч в ножны. Подъявший меч от меча погибнет. Не буду держать тебя насильно. Очевидно, твоя судьба вязнуть в болоте оппортунизма.

— Как ты сказал,— переспросил Атанас,— оппорт... тун..?

— Да, вижу, что ты действительно не годишься для придворной жизни, если не можешь выговорить самого придворного слова. И не стану привязывать тебя на цепь. Иди!

— Спасибо, Коста. Хоть ты и жесток со мной, но все же ты хороший друг,— ответил бывший гофмейстер со слезами на глазах и стал расстегивать воротник гофмейстерского мундира.

— Что ты хочешь делать? — с беспокойством спросил Коста.

— Я скину эту чертову одежу.

— Ты совсем с ума сошел! — вскочил в бешенстве премьер.

— Нет, Коста. Не уговаривай,— решительно ответил старик,— это кончено!

Коста смотрел на него во все глаза и вдруг захохотал.

Отрекшийся Симон быстро скинул мундир и фланелевые панталоны с золотыми лампасами и остался в одном белье. Бросив свою одежду в угол, он подошел к другу.

— Прощай, Коста,— сказал он, протягивая руку,— когда тебе тоже наскучит высокий пост, приходи на мол. Я всегда накормлю тебя жареной султанкой, потому что я люблю тебя, но не могу здесь оставаться.

— Сумасшедший идиот! — вскрикнул премьер.— Как же ты пойдешь из дворца в таком виде? Тебя арестуют часовые.

Атанас скроил хитрую усмешку.

— Нет! Уж это дудки! Я через ворота не пойду. Я еще третьего дня присмотрел одно место в заборе, где он пониже. Там меня никто не задержит. Прощай!

И он ушел, оставив свои регалии, как змея, сбросившая старую кожу.

Коста пожал плечами и продолжал прерванное писание. Часы прозвенели половину одиннадцатого. Премьер встал и позвонил.

— Отдайте на радиостанцию,— приказал он, передавая конверт гофкурьеру.

По уходе курьера он открыл ящик стола, вынул блестящий никелированный револьвер и взвесил его на ладони.

— Я думаю, он не очень тяжел для женской руки,— сказал он вслух, опустил револьвер в карман и направился в покои королевы.

. . . .

Старая нищенка Пепита, ходившая в эту ночь воровать овощи с пригородных огородов, рассказывала по секрету базарным торговкам, что после полуночи, переходя аллею за городом, она едва не была раздавлена двумя всадниками, бесшумно вылетевшими из темноты и пронесшимися мимо нее с нечеловеческой быстротой.

Еще под большим секретом она сообщала, что у всадников были черные крылья, а из ноздрей коней сыпались искры.

Слушательницы увидели в этом предвестие страшных бед и впоследствии всегда говорили:

— Ну конечно! Когда черти начинают ездить верхом, нельзя ждать ничего хорошего!

Глава двадцатая
ЛИРИЧЕСКАЯ ИНТЕРМЕДИЯ

Было бы большой несправедливостью, если бы мы занялись исключительно героями, поставленными случаем в центр событий романа, и забыли о тех, которые являлись его зачинателями и сошли со сцены только по капризу неумолимого рока.

Тем более что они обладают в достаточной мере всеми человеческими качествами, заслуживающими уважения и внимания.

Президент Аткин был счастлив. Милостивое разрешение короля Максимилиана соединило его с верной подругой, не побоявшейся разделить с достойным гражданином позор и страдания заключения и тем самым доказавшей, что преданные и любящие сердца не исчезли и в век просвещенного материализма.

Софи повесила на окна президентской камеры привезенные с собой тюлевые занавески, поместила в угол клетку с канарейкой, а на вышитой ею собственноручно бархатной подушке лежала любимая левретка бывшего главы республики.

Благодаря заботам Софи, камера приобрела настолько изысканный и даже несколько утонченный уют, что

смотритель тюремного замка ежевечерне приходил пить чай в обществе господина Аткина и его возлюбленной и, слушая веселый щебет канарейки, погружался в воспоминания о добрых старых временах, когда люди даже не смели произносить слова «республика», а измена супружескому долгу каралась извержением виновных из общества.

Низложенный президент сочувственно кивал головой и, прощаясь со смотрителем, подолгу жал старческую руку, утверждая, что и он считает это незабвенное время наилучшим и верит в его восстановление.

Единственное, что беспокоило президента в его гнездышке, было смутное опасение за свою судьбу. Господин Аткин был человеком зоркого и дальновидного ума.

И он, открывая каждым утром окно камеры и вдыхая обаятельную свежесть морского ветерка, улавливал в нем запахи надвигающейся грозы.

Он чувствовал настоятельную необходимость покинуть эту неблагодарную страну, которая не оценила положенных для ее благосостояния и счастья трудов, и с волнением следил, как скользили по волнам залива косые паруса и вились дымки из труб уходящих судов.

Он желал всей душой одного — забыть этот хотя и прелестный, но непрочный уголок. За будущее он был спокоен.

Пачки наутилийской валюты — память о нефтяном деле — хранились в надежном месте, и, получив свободу, президент мог бы немедленно оставить несчастный берег, который не ведал благодарности и уважения к гражданским доблестям, чтобы в другом месте вести спокойную жизнь, полную счастья и безмятежных наслаждений.

Правда, его несколько тревожила возможность встречи с госпожою Аткин, которая оставалась на свободе, но, будучи опытным политиком, он надеялся обмануть ее бдительность и предоставить несчастную ее судьбе, как некогда Тезей спящую Ариадну.

Президент и не предполагал, что оставленная им супруга не нашла возможным последовать примеру другой героини прошедших веков, Пенелопы, и тоже зажгла алтарь семейного благополучия в доме министра общественных удовольствий старого Баста.

Сплетники уверяли, впрочем, что Антонием Бастом в этом случае руководило вовсе не священное чувство любви, а извращенная страсть к противоестественным сочетаниям, ибо вид этой пары — невероятная худоба госпожи

Аткин и такая же беспредельная толщина Баста — вызывал приступы искреннего веселья у беззаботных граждан столицы, и, таким образом, министр общественных удовольствий даже своей личной жизнью выполнял доверенную ему правительством миссию.

Но президенту это обстоятельство не было известно, ибо, несмотря на полный комфорт, предоставленный ему в тюремном замке, сношения с внешним миром были ему строжайше запрещены.

Он обращался к благородству короля Максимилиана и просил дать ему возможность удалиться из пределов Итля навсегда, но обращения эти не пошли дальше кабинета Косты, который спокойно клал их под сукно.

И господин Аткин начинал волноваться.

Помощь и спасение пришли неожиданно извне.

В тот самый вечер, в который страна впервые узнала, что по ее дорогам ездят верхом черти, господин Аткин, как всегда, принял визит смотрителя и лег спать с успокоенной душой, вкусив обычную сладость ласк своей подруги.

Но в час ночи он был разбужен необычным шумом в коридоре.

В смертельном страхе лучший гражданин павшей республики вскочил с перины и растолкал безмятежно спящую Софи.

— Софи!.. Софи!.. Вставайте же!.. вставайте!.. Вы слышите?

Разбуженная сердито зевнула.

— В чем дело? Почему вы меня будите? Что вам приснилось?

Господин Аткин дрожал всем телом, как кролик под ножом повара.

Он ухватился в отчаянии за пышные округлости подруги.

— Прислушайтесь же!

Софи привстала на постели. По коридору грохотали приближающиеся шаги. Звенели шпоры, стучали приклады.

Господин Аткин продолжал сжимать тело Софи.

— Это за мной! О боже! Они хотят расстрелять меня, как мексиканского императора в Керетаро. Я не хочу!.. я не хочу! Софи, спасите меня!

— Вы с ума сошли? — крикнула Софи, отталкивая его,— пустите, вы совершенно раздавили мне грудь!

Нельзя же быть таким идиотом! И почему вы думаете, что вас хотят расстрелять?

Господин Аткин выпустил из пальцев спасительную теплоту и внезапно вскочил с постели.

— Вы тоже предаете меня,— сказал он с упреком,— хорошо! Пусть они идут! Я сумею умереть, как умер Юлий Цезарь!

Он вытянулся во весь рост, закутавшись в простыню, откинув голову и скрестив руки на груди, не замечая, что левая нога его попала в сосуд, стоящий у кровати.

В замке щелкнул ключ, дверь распахнулась, и в свете фонарей, на пороге показался человек, окруженный солдатами.

— Господин Аткин,— позвал он, всматриваясь в темноту.

В камере было тихо.

— Господин Аткин,— повторил он.

Софи протянула руку и крепко ущипнула неподвижную статую в простыне.

— Да отвечайте же, наконец! Что вы, оглохли?

Статуя шевельнулась, и в камере прозвучал срывающийся и визгливый голос:

— Солдаты! Вы пришли исполнить приказ? Я готов! Расскажите детям, как умер человек, любивший отечество и демократию.

Стоявший на пороге громко засмеялся.

— Господин Аткин,— сказал он в третий раз,— выходите! Вы свободны!

Господин Аткин рванулся вперед, как ядро, выброшенное катапультой. Подброшенный его ногой сосуд с треском разлетелся об стену.

— Что? Что вы говорите? — крикнул он, хватая неизвестного за руки.

— Я говорю, что вы свободны,— ответил освободитель под хохот солдат.

— Кто вы?

— Неужели вы не узнаете меня? Я баронет Осборн. Но поспешите. У нас мало времени. Быстрей!

Господин Аткин повис на шее баронета со слезами радости. Потом он ухватил его за руку и подтащил к постели.

— Софи! Дорогая Софи,— вскричал он в исступлении,— это баронет. Обнимите же его, обнимите нашего спасителя!

— Вы не в своем уме,— ответила подруга президента,— уйдите, я раздета.

— Софи! Я умоляю вас не стесняться. Баронет спас нам жизнь. Я требую, чтобы вы поблагодарили его.

Но баронет уклонился и пощадил стыдливость Софи.

— Будьте добры одеваться быстрей. Может подняться переполох. Нам нужно немедленно уходить.

Господин Аткин наконец опомнился и стал молниеносно одеваться.

При этом он тщетно пытался напялить в рукава брюки, растерялся окончательно и с большим трудом был одет ржавшими солдатами.

Президента вместе с подругой вывели на улицу, усадили в приготовленный автомобиль и, после бешеного бега по сонным улицам, перевезли на шлюпке на один из наутилийских транспортов, где его встретила заливающаяся радостными слезами преданная дочь.

После первых объятий и приветствий господин Аткин вдруг осмотрелся по сторонам с явным беспокойством и тревогой.

— Лола,— сказал он дрожащим голосом, ощупывая глазами стены каюты, как будто хотел проникнуть взглядом насквозь,— а где же ваша мать?

Лола горестно опустила ресницы.

— Я должна сообщить вам, папа,— ответила она,— ужасную весть. Выслушайте ее с возможным спокойствием. Мама вышла замуж за толстого Баста.

Господин Аткин выпрямился, как тополь после порыва ветра. Лицо его просияло искренней радостью, но он подавил ее и торжественно поднял руку.

— Дочь моя,— начал он величественно,— мне горько говорить это в вашем присутствии. Когда я был молод и легкомыслен, подобно вам, и собирался жениться на вашей матери, мой покойный отец принес мне медицинскую энциклопедию и, чтобы предостеречь меня от неверного шага, прочел мне страницу, на которой рядом исторических примеров доказывалось, что женщины, страдающие резкой худобой, не склонны беречь честь домашнего очага и обладают развратными наклонностями. Я не поверил тогда моему отцу, но после я имел возможность убедиться в его правоте, и теперешний поступок вашей матери прямо подтверждает мнения медицинских авторитетов. Она нарушила долг супружеской верности, и я презираю ее.

При этих словах господин Аткин нежно обнял талию Софи, склонившей голову на его плечо.

— Я не могу судить маму,— сказала с легкой улыбкой Лола,— но вы, отец, всегда будете для меня примером в супружеской жизни.

Господин Аткин поцеловал дочь и немедленно поинтересовался узнать об обстоятельствах своего освобождения.

Лола удовлетворила его любопытство, сообщив, что сэр Чарльз, уступая ее слезам и горю, а также просьбам баронета Осборна, разрешил последнему произвести эту маленькую экспедицию, поставив непременным условием, чтобы господин Аткин немедленно покинул территорию Итля.

— Я не знаю, папа, захотите ли вы сами остаться на этой безнравственной и неблагодарной земле, что же касается меня, то я окончательно решила отряхнуть ее прах. Фрэди поможет мне в этом.

— Баронет очень милый молодой человек,— сказал президент,— и, во всяком случае, он никогда не будет такой скотиной, как принц Лейхтвейс, который так гнусно забыл, что я кормил его в течение года на свои скромные средства. Кстати, почему сэр Осборн ушел? Мне хотелось бы поблагодарить его.

— Будьте спокойны, папа! Вам не придется кормить Фрэди. У него есть дома свой метрдотель. Фрэди будет есть собственные обеды и кормить меня, потому что он сделал мне предложение, и я ответила ему согласием. Я прошу вашего благословения, но, если вы не захотите, мы сможем обойтись и без него.

Господин Аткин положил руку на плечо дочери.

— Дочь моя! Хотя вы и молоды еще, но молодость не препятствует семейному счастью. Из примеров Библии мы видим, что жены пророков и святых отцов вступали в брак в самом раннем возрасте, и, несмотря на это, церковь чтит их память. Я согласен.

Лола подошла к двери в кают-компанию и открыла ее.

— Фрэди! Пожалуйте сюда на минуту.

Баронет немедленно появился.

— Папа согласен,— сказала Лола, беря его руку,— благословите нас, папа,— продолжала она, подходя вместе с баронетом к господину Аткину,—я думаю, что Фрэди будет мне хорошим мужем. Он находит мои платья достаточно открытыми и мой темперамент вполне удо-

влетворительным. Кроме того, он достаточно красив для мужа.

— Дети мои,— провозгласил господин Аткин, возлагая руки на головы Лолы и баронета,— примите благословение несчастного старца, лишенного всего. Будьте счастливы, не забывайте бога и своих детей...

— Папа, вы говорите глупости,— прервала Лола,— у Фрэди полный ящик необходимых средств наутилийской фабрикации. Они вполне надежны...

— Не прерывайте меня, дочь моя,— в свою очередь, возмутился господин Аткин,— своих детей, говорю я, воспитайте в духе чистой демократии, ибо я провижу, что во всем мире скоро восторжествуют идеи демократии.

— Папа! Это же совершенная бестактность. Фрэди ближайший родственник его величества короля Гонория, а вы говорите при нем подобные мерзости,— покраснела Лола.

Господин Аткин полузакрыл глаза и сквозь ресницы взглянул на дочь торжествующим взглядом.

— Вы удивительно нетерпеливы, дочь моя. Вы не даете даже докончить мысли. Я совершенно сознательно утверждаю, что демократия восторжествует во всем мире. Это так, и это будет лучшей гарантией незыблемости монархического строя, ибо ни одна общественная группа не питает такой преданной и прекрасной любви к своим монархам, как демократия.

Господин Аткин расцеловался с обрученными и проследовал вместе с ними в кают-компанию транспорта, где офицеры приветствовали их звоном бокалов, поднятых в честь баронета и его невесты.

За холодным ужином господин Аткин был очень оживлен и весело беседовал с офицерами о событиях истекших дней, проклиная короля Максимилиана, показавшего всю черноту своей души по отношению к лорду Орпингтону и Наутилии.

Он выразил глубокое сожаление, что не смог убедить сэра Чарльза в ненужности государственного переворота, который только осложнил положение.

— Бросьте, папа,— сказала Лола,— если вам еще не надоела политика, вы сможете заняться ею по приезде в Наутилию. Фрэди поможет вам пройти в парламент, и там вы можете болтать все, что придет вам в голову.

Господин Аткин покачал головой:

— О, нет! Я только отдаю дань воспоминаниям. Я окончательно решил покинуть политическую арену. У меня есть средства, чтобы прожить покойно. Я думаю, что мне удастся открыть фабрику вязаного белья. Я слыхал, что в Наутилии это самое выгодное предприятие.

В окна кают-компании начала пробиваться слабая голубизна рассвета. Офицеры поднялись и пожелали господину Аткину покойного сна.

Фрэди, внимательно смотревший за ужином на подругу президента, проводил Лолу в ее каюту и, вернувшись, предложил указать господину Аткину его помещение.

Сопровождая его по коридору, он продел руку под локоток Софи и, нежно прижав его, шепнул:

— Вы мне безумно нравитесь! Я жажду вас! Могу ли я надеяться?

Софи испуганно взглянула на него.

— Баронет Осборн,— шепнула она,— ведь у вас невеста?

— Какие пустяки! — ответил Фрэди,— всему свое время! Решайтесь!

Софи освободила свою руку.

— Вы дерзкий мальчишка,— шепнула она на пороге каюты,— и заслуживаете презрения... который номер вашей каюты?

Глава двадцать первая

«НЮХАЙТЕ ВОДУ»

Дежурный радиотелеграфист под утро уснул в кабинке. Голова его в рыжеватых завитках упала на лакированный столик, на котором валялись в изобилии апельсинные корки от вчерашнего десерта радиотелеграфиста.

В розоватом свете лампочки под бумажным колпаком волосы его казались такими же оранжевыми, как корки, запутавшиеся в них.

Металлическая дуга наголовья сползла набок, и телефонная раковина висела на одном ухе.

Радиотелеграфист с вечера прослушал концерты и лекции на всех языках, после полуночи долго ловил какие-то непонятные свисты и вопли, несшиеся из неведомых пустынь вселенной, отправил в Атлантический океан крепкое ругательство и, зевнув, предался сну. В эту ночь больше не предвиделось ничего интересного.

В открытый иллюминатор каюты доносилось шелковое плескание волны, и каждые полчаса стенные часы вызванивали такты торжественного гимна «Боже, храни короля», ибо радиотелеграфист состоял в службе его величества Гонория XIX и находился на борту «Беззастенчивого».

Около трех часов почи в телефоне, прижатом к уху спящего, заворковало и забулькало. Таинственный голос кричал из него в ухо телеграфиста. Оп заворочался, промычал и вдруг быстро подпял голову, уже покорный долгу и впимательный, как будто сон и не прикасался к нему.

Оп положил пальцы па эбонитовые шишечки конденсаторов и повертел их. Голос, звучавший из ниоткуда, стал ясным. Длипные и короткие скрипы, перемежаясь, начали складываться в слова.

Телеграфист расшифровал сигнал, призывающий к вниманию, и, нажав отправной рычажок, ответил: «Алло! «Беззастенчивый». Слушаю вас».

Мембрана коротко скрипнула ехидным, как будто смеющимся, скрипом и на секунду смолкла. Телеграфист придвинул блокпот и сжал пальцами карандаш.

На новый скрип рука его ответила скачущей беготней по блокноту, по после первых же строк, легших на бумагу, он подскочил на месте и выронил карандаш из пальцев.

Откинувшись на полукруглую спинку стула, он беспомощно замигал светлыми глазами, с недоумением поглядел па исписанный листок и решительно нажал снова рычаг отправления.

Высоко вверху, на кончике ажурной мачты флагманского дредноута, антенна прошелестела голубоватыми искрами. Искры ушли в пространство, сложившись в тревожные слова: «Повторите, я не понимаю, повторите, повторите».

Но пространство ответило просто: «Вы поняли, как надо. Слушайте до конца».

Радиотелеграфист пожал плечами и обратился в безвольный слуховой аппарат.

Но по мере того, как блокнот заполнялся словами, брови принимающего поднимались все выше и изгибались все острее.

И когда утих последний звук, радиотелеграфист стащил с головы прибор, как будто он грозил раздавить ему череп, и вскочил со стула, держа в руках запись.

— Однако же,— сказал он вслух,— я думаю, что такой радиограммы он не получал со дня рождения. Что, они с ума сошли?

Он отошел к двери и нажал кнопку звонка. Вестовой вырос в ней, бесшумный, как тень отца Гамлета.

— Разбудите тотчас же лейтенанта Уимбли и попросите его срочно прийти сюда,— приказал радиотелеграфист и уселся переписывать начисто принятую радиограмму.

Лейтенант Уимбли, старший радиотелеграфный офицер «Беззастенчивого», появился в кабинке не слишком скоро. При входе он зажмурился от яркого света и запахнул лиловую ночную пижаму.

— В чем дело, Дик? Ради какого землетрясения вы подняли меня с постели? — полусмешливо, полусердито спросил он.

— Простите, сэр, но я не стал бы тревожить вас из-за такой мелочи, как землетрясение.

— Тогда что же? Война?

— Нет, сэр!

— Биржевая паника?

— Нет!

— Что же случилось, черт возьми? Да не тяните же!

— Прочтите сами, сэр,— ответил радиотелеграфист, подавая листок.

Лейтенант Уимбли взглянул на карандашные каракули и через минуту уставился в лицо подчиненного с необычайным выражением.

— Вы напились перед дежурством,— сказал он холодно,— вы знаете, как карается такой поступок, когда эскадра находится на боевом положении?

— Сэр, я непьющий и член Лиги по борьбе с алкоголем,— отозвался спокойно телеграфист.

— Дыхните мне в лицо,— приказал лейтенант.— Странно... не пахнет. Откуда вы приняли ее?

— С берега, сэр. Я сначала не поверил глазам, дал сигнал повторения. Повторили то же, слово в слово. Я думаю, сэр...

— Вам ничего не нужно думать, Дик,— прервал внезапно лейтенант Уимбли,— я думаю, что гораздо безопасней для вас будет совершенно забыть этот текст. Дайте-ка мне черновик.

Он спрятал черновик в карман и дополнил:

— Если хоть одна живая душа узнает содержание, вы будете сидеть в подводном карцере не меньше месяца.

И с этим обнадеживающим предупреждением лейтенант Уимбли покинул кабинку.

Радиотелеграфист уныло посмотрел ему вслед, подошел к аппарату, постоял и дал позывные Эйфелевой башне. Получив ответ, он хихикнул и простучал в эфир: «Чтоб вам подохнуть, жабоеды проклятые».

Лейтенант же Уимбли, не теряя времени, отправился на корму и разбудил флаг-офицера сэра Чарльза.

Оба офицера внимательно проштудировали еще раз злополучный квадратик бумаги, и флаг-офицер нерешительно промямлил:

— Н-не знаю... Я даже боюсь идти к нему с такой штукой.

— Вздор! — сказал решительно лейтенант Уимбли,— вы должны это сделать. Если мы не передадим ему сейчас, он все равно получит вторую, и вам же влетит за сокрытие. Не дурите, дорогой мой. Я подожду вас здесь.

Флаг-офицер вздохнул и заплетающимися шагами направился к каюте лорда Орпингтона. Он трижды стучал в дверь, с каждым разом все громче и настойчивее, пока не услыхал разгневанный сонный голос сэра Чарльза, спрашивающий, почему его будят в такой нелепый час.

— Необыкновенная радиограмма, сэр Чарльз,— поперхнувшись, ответил офицер.

— Что же, вы не могли подождать с ней до утра? — спросил великий полководец, представ перед подчиненным в одной рубашке.

— Она... она слишком необычайна, сэр,— теряя последние остатки хладнокровия, сказал перепуганный офицер, входя в каюту.

— Ну, что же, читайте,— приказал сэр Чарльз, закуривая папиросу.

— Я? — переспросил ошеломленный флаг-офицер, даже отступив назад.

— А кто же? Нас как будто здесь только двое?

— Я... я не смею, ваше превосходительство... мой язык...— пролепетал флаг-офицер.

— Что такое?.. Дайте сюда! — крикнул побагровевший сэр Чарльз, вырывая радиограмму.— Что это такое, что ваш язык не может выговорить?

Он прошел к столу и, приблизив листок к кенкетке, вцепился в него глазами.

Флаг-офицер стоял ни жив ни мертв и рискнул поднять глаза, только услыхав, как что-то обрушилось на стол с грохотом, показавшимся взволнованному офицеру пушечным выстрелом.

Перед ним было лицо сэра Чарльза, совершенно неузнаваемое в перекосившей его судороге ярости. Кулак лорда Орпингтона, упавший на стол, застыл на скомканной радиограмме.

Мы не станем больше играть в прятки с читателем. Правда, сэр Чарльз охотно отдал бы половину своей прекрасной и достойной общего уважения жизни, чтобы текст радиограммы не стал известен людям, у которых в душе нет ничего святого и которые не останавливаются перед издевательским осмеянием сановника, полвека с честью и славой служившего своему государю и родине.

Но события, ареной которых суждено было стать Итлю, получили слишком широкую огласку, и мы не находим нужным щадить безупречное имя наутилийского Баярда.

Карандаш радиотелеграфиста беспристрастно записал для потомства следующие страшные и неслыханные в истории дипломатических сношений слова:

«Заморскому шарлатану, кавалеру ордена великого грабежа, его милости лорду Орпингтону на флагманскую лоханку «Беззастенчивый». Доводим до сведения вашего проходимства, что вкусная нефть велела низенько кланяться. Увеселительную поездку в нефтяной рай советуем отложить, так как при появлении столь высокого гостя будет устроен фейерверк, в который будут употреблены все запасы нефти и который может повредить вашему бесценному здоровью. Для грабежа нужно иметь на плечах голову, а не гнилой кочан. Желаем приятного времяпрепровождения. По поручению правительства Итля премьер-министр герцог Коста».

Несколько мгновений дрожащий от ужаса флаг-офицер слышал только нечленораздельное шипение, пробивавшееся сквозь седые усы сэра Чарльза. Постепенно оно перешло в густой и низкий рев, из которого, наконец, вырвались слова:

— Кто принял этот... эту... это?

— Дежурный радиотелеграфист, сэр,— ответил чуть слышно офицер.

— На нок его!.. Повесить на ноке мерзавца!.. Немедленно! — крикнул сэр Чарльз таким голосом, что флаг-

офицер откатился к двери, как куриное перо, подхваченное на улице внезапным порывом ветра.

— Стойте! — рявкнул лорд Орпингтон, когда подчиненный протискивался в дверь,— стойте, вам говорят!.. Сигнал!.. Боевую тревогу!.. Сейчас же десант!.. Вызовите мне адмирала Кроузона.

Офицер исчез. Он пронесся, как самум, мимо лейтенанта Уимбли, ожидавшего его в кают-компании, не ответив ни слова на вопрос, и двумя прыжками одолел ведущую на палубу лестницу.

Пока Уимбли собрался последовать за ним, с палубы донеслись беготня, крик, и резкий рев трубы горниста хлестнул по сонному рейду руладой боевой тревоги.

— Ого!.. Дело, видно, не в шутку,— сказал себе лейтенант и помчался в каюту одеваться.

. . . .

Когда адмирал Кроузон появился в каюте сэра Чарльза, представитель Гонория XIX успел подавить прилив необузданной ярости и встретил моряка с непринужденной любезной улыбкой.

— Не гневайтесь, сэр Кроузон, что мне пришлось лишить вас заслуженного отдыха. События приняли экстраординарный характер. Я получил только что от правительства Итля возмутительную радиограмму.

— Какую? — спокойно спросил адмирал, застегивая воротник кителя.

Сэр Чарльз порозовел, и на лицо его легла беглая тень замешательства.

— Содержание ее касается лично меня и оскорбляет меня, как лицо, представляющее нашего монарха. Я не имею возможности довести ее до вашего сведения, но я решился покончить наконец с этими наглецами. Мои нервы расстроены вконец, и я думаю, что по возвращении домой мне придется серьезно полечиться.

— Благоволите отдать распоряжения, сэр Чарльз,— так же спокойно ответил старый морской волк.

— Я приказал уже дать боевую тревогу. Будьте добры отдать приказание начать немедленную высадку десанта со всей артиллерией и вспомогательными отрядами. К утру берег должен быть занят нашими войсками, и правительство, осмелившееся оскорбить достоинство Наутилии, будет предано полевому суду.

— Слушаю, сэр!

Адмирал Кроузон повернулся, чтобы идти на палубу.

— Одну минуту, адмирал... Я выйду вместе с вами.— Сэр Чарльз снял со стены каюты палаш в ножнах, украшенный золотыми лаврами, награду за боевые подвиги, и пристегнул к поясу.

Взойдя в командирскую рубку, он огляделся.

Огни наутилийских судов погасли во мгновение ока при первом звуке боевого сигнала. Черные низкобортные чудовища только угадывались во мраке на фоне высоких береговых скал. Прямо под ногами сэра Чарльза смутно круглела громада носовой орудийной башни «Беззастенчивого». Отяжелевшая тишина лежала вокруг, а вдали танцующими золотокрылыми мотыльками переливались огни ничего не подозревающего, но обреченного ужасу Порто-Бланко.

Они отражались в воде залива длинными, не колышущимися, совершенно неподвижными полосами. На всем пространстве залива вода лежала, как мертвое круглое зеркало, не беспокоимое ни малейшей рябью. Сэру Чарльзу показалось на мгновение, что в воздухе висит душной тучей резкий нефтяной запах, но он приписал это ощущение своим расстроенным нервам.

Он вытянул руку и погрозил берегу стиснутым кулаком.

— Все готово к десантной операции, сэр. Разрешите пустить ракету? — спросил, подходя, адмирал Кроузон.

— Да... или нет, адмирал! Подождите секунду. Я хочу быть лояльным до конца. Каждое мое слово с этой минуты принадлежит истории, каждый мой жест будет взвешиваться на весах справедливости. Пошлите ко мне старшего радиста.

Лейтенант Уимбли рысью примчался в рубку.

— Вы сейчас же отправите правительству Итля радиограмму следующего содержания: «Генерал Орпингтон предлагает немедленную сдачу без сопротивления. При неполучении ответа в течение пяти минут начнется высадка десанта с одновременным бомбардированием столицы». Оставайтесь сами в кабинке и через пять минут дайте знать мне о результате.

Лейтенант Уимбли отправился исполнять свой долг. Адмирал Кроузон молча смотрел на берег, устанавливая точки прицела.

Внезапно он повернул голову и сказал:

— Мне кажется, что ужасно пахнет нефтью.

Сэр Чарльз вздрогнул. Очевидно, назойливый запах нефти не был галлюцинацией.

— Мне тоже показалось. Я думал, что обманулся. Впрочем, ничего удивительного, этот берег пропитан насквозь нефтяными источниками.

Внутренний телефон рубки зазвенел пронзительно и визгливо.

— Сэр! Лейтенант Уимбли докладывает, что прошло шесть минут, а ответа с берега нет,— сообщил флагманский телефонист.

Сэр Чарльз стиснул челюсти, и под ушами у него вздулись круглые желваки.

— Ах... так... пусть пеняют на себя,— процедил он сквозь зубы.— Ракету!

Вахтенный начальник поднес свисток к губам. Свист потонул в оглушительном шипе с правого борта, и, ввинтившись в черноту оранжевым горящим штопором, ракета рассыпала в зените голубые, тяжелые звезды.

На мачте повис сигнал «гребные суда на воду», и по рейду пополз скрип поворачиваемых шлюпбалок.

— Залп носовой башней! — крикнул сэр Чарльз.

— По городу? — почтительно осведомился адмирал Кроузон.

— Нет... сначала дайте над городом... по скалам. Я думаю, что они все же образумятся,— ответил лорд Орпингтон, поежившись, как будто от внезапного холода.

Под рукой глухо зарокотали шарикоподшипники, и тысячепудовая кастрюля башни медленно и бесшумно завертелась. Черные хоботы орудий закачались, поднялись и застыли в неподвижности.

— Огонь! — сказал адмирал вахтенному артиллеристу. Артиллерист нажал кнопку распределительного циферблата.

Рубку залило зеленой молнией. «Беззастенчивый» вздрогнул на воде всем корпусом, и сэр Чарльз еле удержался на ногах, ухватившись за поручни. Грохот расколол ночь на звенящие осколки.

— Второй! — сказал сэр Чарльз, зажимая уши, но в рубку влетел лейтенант Уимбли.

— Сэр Чарльз!.. С берега... отвечают... отвечают...

— Что отвечают?

— Они отвечают непонятное,— продолжал задыхающийся офицер,— они ответили три раза одну и ту же фразу: «Нюхайте воду... нюхайте воду... нюхайте воду...»

— Что за глупости, при чем тут вода? — нахмурился сэр Чарльз.— Продолжайте огонь. Довольно шуток!

Но адмирал Кроузон внезапно остановил артиллериста.

— Минуту, сэр Чарльз... Одну минуту... Я, кажется...— И он быстро исчез из рубки. Скоро донесся его изумленный вскрик из-под борта с последней ступеньки трапа.

— Что там? — спросил, перегнувшись через перила, сэр Чарльз.

— Не стреляйте! Не стреляйте, сэр Чарльз! Рейд на вершок покрыт нефтью.

— Я ничего не понимаю,— пожал плечами сэр Чарльз.

Адмирал Кроузон снова появился в будке. Он был бледен и взволнован.

— Сэр Чарльз! Сообщите на берег, что мы прекращаем огонь. Ни одного выстрела! Иначе мы погибли.

— Да в чем же дело? — вспыхнул сэр Чарльз.

— Они выпустили нефть и бензин из цистерн и нефтепровода на рейд. Нефть покрыла воду толстым слоем. Достаточно им пустить с берега несколько зажигательных ракет, чтобы весь рейд запылал, как костер. Эскадра стоит под притушенными котлами. Прежде чем мы успеем поднять давление, чтобы сняться с якорей, мы сгорим, как бабочки на лампе. Нефть может вспыхнуть даже от наших выстрелов, и еще счастье, что это не произошло при первом залпе.

Опять зазвонил телефон, прерывая адмирала Кроузона.

— Дежурный радиотелеграфист сообщает принятую радиограмму: «Прекратите огонь, при втором залпе рейд будет подожжен»,— передал телефонист.

Сэр Чарльз топнул ногой в пробковую подстилку под компасом и рванул воротник мундира. Лицо его окрасилось синью, и он зашатался.

Адмирал Кроузон бросился к нему.

— Врача! Сэру Чарльзу дурно!

Но лорд Орпингтон справился с припадком.

— Не нужно! Никакого врача. На этот раз они опять перехитрили меня, но клянусь именем его величества,— хорошо смеется тот, кто смеется последний. Джокер еще в колоде, и игра не кончена.

Великий человек подошел к борту и посмотрел на город. Офицеры, видевшие его в этот момент, рассказывают, что они никогда не наблюдали ничего более величественного, благородного и грозного, чем этот доблестный муж, от одного имени которого трепетали враги в обоих полушариях, стоящий у борта командирской рубки и пронизывающий ночную темноту глазами, от пламени которых могла бы скорее, чем от выстрелов, загореться заливавшая рейд нефть.

Наконец он обернулся и сказал флаг-офицеру:

— Отправляйтесь на транспорт «Креуза» и доставьте ко мне в каюту бывшего президента Аткина.

Глава двадцать вторая
ПОЯВЛЕНИЕ ХОЗЯИНА

Пока победоносные знамена величайшей морской державы покрываются несмываемым позором на тихом рейде Порто-Бланко, мы подымем край занавеса над первопричиной посрамления боевой славы сэра Чарльза — нефтяными промыслами Итля.

Спустя два часа после того, как старая Пепита увидела на загородном шоссе несущихся вскачь демонов, сотня горцев, бесшумно сняв посты промысловой стражи, ворвалась на территорию промыслов и захватила в постелях мирно покоящуюся администрацию во главе с директором.

Промыслы наполнились ржанием лошадей, топотом, гиком, звоном оружия.

На главной площади у нефтяного бассейна тревожным малиновым огнем вспыхнули факелы, зажженные на столбах, освещая сухие, суровые, как будто вырезанные из коричневатого металла, лица горцев.

Часть отряда разбежалась по казармам подымать рабочих, другая под метавшимися языками пламени громоздила на площади гору пустых ящиков для трибуны.

Разбуженные рабочие выливались из дверей бараков живыми реками, гудя огромным роем майских жуков, и забивали толпами площадь тесно и плотно, плечо к плечу, голова к голове.

Когда площадь до предела утрамбовалась человеческими телами и плотная пятнадцатитысячная масса недо-

уменно перекликалась, проводник, данный Костой, сказал Гемме, тревожно ждавшей в бывшем директорском доме:

— Пора! Нужно идти к ним.

Гемма закусила зубами рукоятку хлыста.

— Мне почему-то страшно. Я никогда не боялась, а вот сейчас чувствую, как будто мне налили в ноги свинца. Не могу подняться.

— Смелее, барышня! Отступать поздно, да вы и сами не отступите. Прикажите себе и... раз, два, три.

Гемма усмехнулась:

— Отступить? Нет! Довольно я ходила кривыми путями. Что начато, то начато. Идем!

Она поднялась, отбросила хлыст и открыла дверь.

В нее хлынул рокочущий гуд площади.

— Ничего, ничего. Не робейте,— сказал спутник, взяв ее под руку и ведя узким проходом между людскими стенами.

Мисс Эльслей закрыла глаза, и так, со стиснутыми веками, ничего не видя, слыша только рокот голосов, с бьющимся сердцем и пылающими щеками, она была возведена на вершину трибуны.

Гомон оборвался, смолк, заменился настороженной, железной тишиной.

Как сквозь сон, Гемма услыхала твердый голос своего спутника:

— Ребята! Повесьте уши на гвозди. Будьте тихи, как херувимы. С вами будет говорить наша королева...

Он не успел договорить. Тишина порвалась, как кожа барабана под ударом пьяного музыканта, и бешеный рев заметался и завихрился по площади.

Закусив губы, Гемма старалась понять, что кричат эти тысячи, не смея еще открыть глаз, но чувствуя в криках вражду и гнев.

— Тише! — проревел снова голос рядом с ней,— я требую, чтобы вы помолчали, пока договорю я. Знаю, что короли плохие собеседники для нашего брата. Но это особенный случай. Эта королева не из того теста. Она пришла к вам одна и как добрый друг. Дайте ей сказать.

В спустившейся опять тишине прозвучало несколько иронических и ворчливых голосов:

— Ну, пускай ее поболтает!

— Королева Золушка!

— Из ржаной муки!

— Умора!

И чей-то очень молодой и срывающийся петухом голос закончил этот диалог восторженной фразой:

— Дайте ей потрепаться. Она здорово хорошенькая.

— Говорите!.. Говорите скорей, пока они стихли,— услыхала мисс Эльслей шепот проводника.

Она сделала шаг вперед и открыла глаза.

Под трибуной, облитые мерцающей багровой лавой факелов, колыхались закопченные мохнатые головы, как странные круглые плоды, устремив на нее красноватые от огня белки глаз. Под головами болталось море лохмотьев на тощих, высохших, измазанных черной жижей мазута телах.

Мисс Эльслей повернула голову к своему спутнику. В глазах ее были недоумение, боль и испуг.

— Это рабочие? — спросила она,— почему они такие несчастные? Почему у них такие болезненные лица? Почему они такие оборванные, жалкие, измученные?

— Вам это кажется странным? — ответил также вопросом проводник,— это обычно. Рабочий должен быть тощим, чтобы распухали господа. Это лицо труда!

Гемма выпрямилась.

— Это лицо труда? Да? Не хочу! Мне страшно, мне хочется закричать. Это лицо будет иным, или я не хочу жить.

— Вот и говорите об этом,— прервал ее проводник,— говорите им. Они ждут. Торопитесь, иначе они заговорят сами.

— Хорошо,— ответила Гемма и подняла руку.

И, вздохнув всей грудью, она ощутила пробежавший по телу острый ток и поняла, что налетает испепеляющий шторм волнения и подъема, который бывает у каждого только один раз в жизни.

И когда заговорила, почувствовала, как слова падают вниз, весомые и кипящие, как капли горячей нефти, стекающие с факелов.

Она сама не понимала, откуда вырвались эти слова, она не могла бы никогда повторить или даже связно передать, что именно бросила она в этот человеческий дых, колебавший пламя факелов. За нее говорила внезапно вырвавшаяся наружу материнская кровь, голос работницы табачной фабрики, мрачная и бурная душа креолки.

Она помнила только, чем нужно закончить неожиданный водопад слов и, задыхающаяся, дрожащая, крикнула:

— Я пришла сюда дать вам свободу, дать в ваши руки оружие. Я недавно в вашей стране, но она стала моей. Я пришла к вам отрекшаяся от побрякушки королевского титула, с открытым сердцем и впервые увидела здесь лицо труда. Я хочу, чтобы это лицо стало радостным и с него исчезли морщины боли и голода. Друзья, время не ждет! За оружие! На город, чтобы покончить с врагами. Я поведу вас туда!

Она кончила, дрожа от нервного изнеможения. Она ждала, что взорвется прибоем аплодисментов, как в театре, завороженная тишина толпы.

Но толпа молчала. Сквозь потрескивание факелов только слышалось напряженное дыхание. Мисс Эльслей беспомощно оглянулась на проводника. Тот стоял, опустив голову.

Она хотела обратиться к нему с вопросом, но середина толпы заволновалась, и первые ряды вытолкнули вперед высокого человека в разорванной черной рубахе. Он что-то крикнул и, быстро взбежав на наставленные ящики, очутился рядом с Геммой. Она увидела глубоко запавшие глаза с лихорадочными отсветами, лицо с торчащими серыми скулами, черную квадратную бороду, просеченную искрами седины.

Человек взмахнул смятым картузом.

— Ребятишки! — вскрикнул он надорванным, ломающимся голосом.— Мы послушали барышню. Она говорит хорошо и зовет нас на город. Это прекрасно, но у нас есть свои планы, и мы должны поговорить насчет них. Пусть барышня подождет пока в директорском доме, мы дадим ей свой ответ.

— Вы, значит, не хотите идти отвоевывать свою свободу? — спросила гневно Гемма.

— Ничего не значит, барышня! — резко оборвал он и обжег ее сузившимися зрачками.— Идите в комнату и ждите, что мы вам скажем. Это наше дело.

Гемма вспыхнула.

— С какой ста...

— Идите,— сурово сказал чернобородый,— идите и сидите смирно.

— Пойдемте, барышня,— взял Гемму за руку проводник.

Она, шатаясь, спустилась с ящиков, поддерживаемая рукой проводника, и снова прошла между молчащих рядов в директорскую квартиру, плотно сжав побледневшие

губы. Но в комнате нервы изменили ей, и она разрыдалась, уткнувшись лицом в кожу дивана.

Проводник почти насильно заставил ее выпить воды.

— За что они обидели меня? Что я им сделала? Я принесла им свободу,— пробормотала она сквозь слезы.

Проводник ничего не ответил.

Гемма вытерла глаза и встала у стола, выбивая пальцами дробь по сукну.

Сквозь дверь с площади доносился придушенный шум. Временами он вспыхивал сильнее, временами заглухал совсем. Мисс Эльслей тревожно прислушивалась к этим непонятным звукам. Наконец на крыльце загремели шаги.

Впереди шел тот же чернобородый, за ним еще двое.

Чернобородый подошел к мисс Эльслей.

— Барышня! — начал он и, взглянув в лицо Геммы, перебил себя: — Э, да вы плакали? Вот это совсем ни к чему. Вас никто не хотел и не хочет обидеть. Послушайте, что мы скажем. Первое: революционный комитет рабочих благодарит вас за то, что вы примчались сюда и прикончили наших барбосов. Постойте,— продолжал он, видя, что Гемма хочет ответить,— да. Мы не неблагодарные свиньи. Но у нас свои дела, и мы теперь сами сумеем управиться с ними. Мы еще не знаем, кто вы и чего вы хотите. Наша свобода отличается от вашей. Вы сказали, что вы поведете нас. Так вот этого не будет! Мы сами поведем себя, и мы знаем, куда нам нужно идти.

— Но ведь я...

— Помолчите же, барышня! — опять сурово сказал чернобородый,— вы не хотите понять. Вы предлагаете идти на город? Может быть, это кажется прекрасным и возвышенным взбалмошной головке. Мы считаем это глупым. В городе войска иноземцев, в гавани их корабли с пушками. Они перебьют нас, как котят. Мы не боимся смерти, но мы решаемся умирать лишь тогда, когда это приносит выгоду нашему делу. Город не нужен нам. Нам нужно освободить дорогу нашим братьям с севера. Общими силами мы швырнем эту шушеру в море на кормежку рыбам.

— Так ведь и я этого хочу,— перебила Гемма.

— Так? Тем приятнее слышать. Но путь, избранный вами, бестолков. Это раз. Второе — мы считали бы себя

безголовыми мальчишками, если бы позволили руководить нашей борьбой такому сорвиголове в юбке, как вы, барышня. Вас увлекают скачка, приключения, стрельба, фейерверк. Нам не нужна мишура. Мы не гонимся за шумом и предпочитаем покончить с городом менее торжественно, без лишних жертв человеческими жизнями, но раз навсегда. Мы деремся за право на свободный труд во всем мире, и нам·ни к чему сопровождать борьбу балаганной музыкой. Наш комитет постановил немедленно вооружить рабочих захваченным в складах администрации оружием и идти на север, чтобы покончить с комедией войны и открыть дорогу коммунистическим армиям Ассора. Город кончится сам собой. Мы сделаем эту тяжелую работу сами и не нуждаемся в лубочных генералах.

Гемма стояла, потупившись, багровая от обиды и стыда.

— Не вы поведете нас, барышня,— продолжал чернобородый,— мы сами умеем идти в бой. Нас достаточно научили этому голод и труд.

— За что же вы отталкиваете меня? — спросила Гемма чуть слышно.

Чернобородый шагнул к ней, внезапно взял твердой рукой за подбородок и приподнял ее голову.

— Мы? И не думаем. Мы только не признаем вашего главенства. Хотите — идите своей дорогой, хотите — можете пойти за нами. Правда, вы как-никак королева, а мы ненавидим все, что соприкасается с королями, но, поистине, вы довольно страшная королева. Если вы хотите честно идти с нами — идите. Мы не отталкиваем никого, кто искренне приходит к нам, хотя бы он и пришел из стана врагов. Но мы не прощаем лжи и измены.

Он замолчал. Гемма внимательно смотрела на его испачканный нефтью упрямый лоб и остро очерченное сухое лицо, как будто изучая нечто невиданное.

Внезапно она встряхнула головой и улыбнулась просто и доверчиво.

— Ну конечно, я сумасшедшая девчонка. Вот я сейчас подумала, что хотела двинуть вас на город, а зачем и что бы мы там делали — я и не знаю. И хоть то, что вы мне сказали, очень обидно и оскорбительно, но мне кажется, что я вполне заслужила такую хорошую шлепку. Ладно, я обращаюсь в рядового и буду самым послушным солдатом. Очевидно, я вошла в такую полосу, когда мне придется только учиться.

— И хорошо сделаете, барышня,— отозвался чернобородый.

— Ну, а на первый случай дайте вашу руку, Это будет моим посвящением.— И мисс Эльслей протянула руку.

Чернобородый осторожно взял ее маленькую кисть в свою громадную и шершавую лапу.

— Моя рука, конечно, не чета тем, которые вы пожимали до сих пор, но ручаюсь вам, барышня, что она не запачкана ничем, кроме нефти, и вы не раскаетесь в этой минуте. Ну, а теперь за дело. Нужно отправляться в поход. Держитесь при мне, не отставайте.

Он распахнул дверь и вышел на площадь. Все последовали за ним.

Гемма вскрикнула от изумления, увидев, что толпа стояла уже правильными рядами полков, сумрачная, твердая, как скалы, опираясь на винтовки.

— Когда же они успели стать солдатами? — спросила она у чернобородого. Он чуть-чуть свел рот в усмешку.

— Не ожидали? Вы думали, что придется учить нас обращаться с оружием. Вы не знали, что такое рабочая организация. Вот эти тысячи, под нашим руководством, отрывали минуты у своего короткого, как воробьиный нос, отдыха,— под риском быть уничтоженными на месте, если попадутся в этом занятии,— чтобы научиться открывать затвор у винтовки. Они знали, что без этого не овладеют ключами жизни, и, как видите, все научились.

Гемма взволнованно оглядывала шеренги.

Изможденные, закопченные, почерпевшие лица, с ввалившимися щеками, воспаленными глазами, изуродованные морщинами и шрамами, казались призрачными в дрожащем свете.

Мисс Эльслей тихо спросила чернобородого:

— Простите меня, может быть, это наивно, но я не могу понять, как они, как вы могли жить и терпеть до сих пор? Ведь они похожи на скелеты, у них кровинки в лицах нет!

Чернобородый резко обернул к ней закаменевший, облитый красным светом, профиль.

— Что? — переспросил он,— вы удивляетесь?— Ха-ха! Вы в первый раз увидали настоящих хозяев земли и удивлены. Смешная женщина! Везде и всегда, с тех пор

как земля помнит себя, ее настоящие хозяева были таковы. Но теперь это кончается. На севере уже два года, как они стали подлинными хозяевами и подняли землю на плечи. Пройдет еще десять, ну, пусть сто лет, и так будет во всем мире. Больше в нашем словаре нет слова «терпение».

Он остановился и отдал приказание окружившим его командирам.

По площади пронеслась команда. Передние ряды подняли винтовки на плечи и тяжело и твердо зашагали в ночь, в темноту, мимо чернобородого и Геммы.

Они шли, освещаемые дымным огнем, одинаковые, молчаливые, бесконечные, в поглощавшую их беззвучную темноту, отвечая коротким хриплым вскриком на напутствие чернобородого.

Секунду пламенные отблески дрожали еще на штыках прошедшей шеренги и гасли, чтобы так же мгновенно и грозно вспыхнуть на штыках новой.

Наконец прошли все. Площадь опустела. Налетевший с моря бриз вскинул мутное облачко тяжелой, пахнущей мазутом пыли.

— Пора! — сказал чернобородый окружавшей его небольшой группе.— На коней.

Он неловко, как не привыкший к верховой езде человек, вскарабкался на лошадь и погрузился в седло мешковато, но твердо, как припаянный к нему.

Кто-то подсадил Гемму, и она с поникшей головой последовала за чернобородым. На востоке слегка побледнели звезды, и сквозь черноту проступила лиловая синева.

— Надо торопиться. К рассвету мы должны быть как можно дальше от берега, чтобы за нами не устроили погони. Идти придется весь день. К будущей ночи нам нужно быть у линии фронта.

Верховой поскакал вперед — ускорить движение колонны.

Гемма подъехала к чернобородому и тронула его за руку.

— Вы думаете, за нами будет погоня? Откуда?

— Из города.

— Кто же будет гнаться?

— Как кто? Как только узнают о нашем уходе, правительство напустит на нас всю свору чужеземных наемников с кораблей.

Гемма пожала плечами:

— На этот раз могу вас утешить. Им незачем больше гоняться за нефтью. Они купаются в ней, не сходя с места. А если тронутся,— обожгут себе крылья.

— Почему? — спросил чернобородый.

Гемма, торопясь, рассказала ему все. Голос ее рвался от волнения и гордости. Чернобородый взглянул на нее, и мисс Эльслей увидела, что его безулыбочное лицо стало на мгновение насмешливо-ласковым.

— Так! — промолвил он,— я вижу, что немножко недооценил вас. Вы — дельная девушка.

Гемма покраснела. От похвалы этого оборванного, жесткого человека она почувствовала себя выросшей в собственных глазах.

— Да,— продолжал чернобородый,— это хорошо. Коста молодец! Правда — он не наш. Он славный парень, но заблудился в дороге. Нам чужды его способы борьбы, но мы не откажемся от его помощи, как не отказались от вашей.

Он помолчал и спустя минуту остановил лошадь.

— Вот что,— сказал он,— у меня есть в таком случае одна мысль. Дайте огня,— приказал он спутникам.

Один из верховых вытащил из-за пазухи свечу и зажег ее, прикрывая от ветра шляпой. Чернобородый вынул из сумки смятый лист бумаги и зачертил карандашом.

— Вот,— сказал он, окончив и передавая Гемме,— вы поскачете сейчас назад и передадите ему это. До рассвета вы успеете добраться до города. Один из наших проводит вас до городских ворот.

— Вы гоните меня? — тревожно спросила Гемма.

— Вздор. Не болтайте глупостей,— обрезал он,— вы хотите принести пользу, так подчиняйтесь приказу. Вы гораздо больше сделаете для нашего дела, если поедете с этим, чем если будете болтаться здесь и смотреть на хвост моей кобылы. Отправляйтесь!

Гемма сунула записку в карман.

Хорошо! Я обещала слушаться. Возвращайтесь скорей. Мы приготовим вам торжественную встречу.

Она поднесла руку к козырьку и ударила лошадь хлыстом.

Влажная от предрассветной росы дорога ринулась ей навстречу.

Глава двадцать третья
УДАР РЕЖИССЕРА

Господин Аткин с тревогой спускался в шлюпку, колыхавшуюся под трапом транспорта.

Неожиданный вызов к сэру Чарльзу среди ночи привел его сначала в состояние исступленного страха.

— А вдруг он хочет выбросить меня за борт? — щелкая зубами, спрашивал он командира транспорта, направляясь к трапу.

— Пустяки,— успокаивал офицер,— вряд ли. Если бы он хотел это сделать, он просто распорядился бы выкинуть вас с транспорта и не вызывал бы к себе. Неужели вы думаете, что сэр Чарльз сам возится с такими грязными делами.

— Спасибо, дорогой! Вы меня успокоили. Я тоже думаю, что этого не может быть после того, как он был так добр, что освободил меня из узилища. Но зачем?

С этим недоуменным вопросом господин Аткин уселся на сыроватую банку вельбота и так и оставался в недоумении вплоть до того момента, как был введен в каюту лорда Орпингтона вахтенным мичманом.

— Потрудитесь подождать здесь,— сказал мичман,— сэр Чарльз сейчас на заседании военного совета. Я доложу ему о вашем приезде.

Упоминание о военном совете снова взволновало бывшего президента. Он слыхал сквозь сон рожки, игравшие сигналы после полуночи, и проснулся от грохота залпа и от того, что Софи,— в испуге прибежавшая из каюты баронета Осборна, где она беспечно обманывала своего старого возлюбленного с женихом его дочери,— трясла его за плечо. Господин Аткин с неудовольствием открыл глаза, но по бледности подруги убедился, что произошло нечто серьезное.

Одевшись, он направился на палубу и пытался разузнать что-нибудь у офицеров, но они были немы как рыбы, и президент тщетно томился любопытством, пока не получил приказа немедленно явиться к сэру Чарльзу.

Мичман ушел. Оставшись один, господин Аткин прошелся несколько раз взад и вперед по каюте, разглядывая развешанные по стенам гравюры, изображавшие отдельные моменты Трафальгарского боя.

Подходя к одной из них, на которой, лежа на руках плачущих матросов, умирал Нельсон, господин Аткин за-

метил на полу смятую бумажонку. Глаза его заискрились, он оглянулся, схватил ее, как коршун цыпленка, расправил на ладони, прочел и весело подмигнул:

— А, павлина доконали окончательно. Он уселся в галошу вместе с усами и своими пушками. Хотя этот Коста и сплошной мерзавец, но прекрасный политик. Учтем этот документик с коммерческой стороны. Теперь я начинаю понимать, зачем я ему понадобился в такую рань. Что же, побеседуем.

Он услыхал шаги в приемной каюты и, швырнув бумажку на прежнее место, сел с монашеским смирением на кончик стула.

Сэр Чарльз остановился в дверях и сказал сопровождающему офицеру:

— Попросите адмирала Кроузона ускорить разведение паров. Нужно же убраться из этой керосиновой ванны. Тут нечем дышать.

Господин Аткин вскочил и кашлянул.

— А, это вы? — заметил пренебрежительно сэр Чарльз, не принимая протянутой руки бывшего президента,— почему вы так копались? Я ждал вас полчаса.

Господин Аткин ласково и виновато улыбнулся.

— Садитесь,— сказал лорд Орпингтон,— мне нужно с вами поговорить. Но предупреждаю, если хоть одно слово нашего разговора выйдет за пределы моей каюты, вы будете болтаться на мачте «Беззастенчивого». Я больше не шучу.

Господин Аткин склонил голову.

— Сэр,— ответил он,— моя долголетняя политическая жизнь в рядах демократии приучила меня к конспирации.

— Заткнитесь,— оборвал сэр Чарльз,— я не нуждаюсь в ваших репликах. Извольте слушать, а не разговаривать. Я обманулся в Максимилиане. Он оказался неблагодарным негодяем. Вернее, он оказался игрушкой в руках своей супруги, этой нахальной девчонки, бежавшей с «Аметиста», и бессовестного шулера — первого министра.

— Простите, сэр, если я рискну вас перебить,— сказал президент Аткин,— вы говорите, супруга Максимилиана нахальная девчонка? Но я знаю, что его супруга старая развратная баба, которая прибрала его к рукам и, пользуясь его титулом, совершила ряд преступных деяний. Она второй год сидит в каторжной тюрьме за аферу с бриллиантами.

— Теперь я понимаю, почему он говорил мне, что не может жениться, когда я настаивал на этом,— промолвил с горечью сэр Чарльз,— это только подтверждает мое мнение о нем как о последнем негодяе.

— Кроме того, вы упомянули, милорд, также о первом министре. Вам, вероятно, неизвестно, что этот герцог и один из господ Кантариди, которые совершили с вами преступную сделку на продажу промыслов,— одно и то же лицо.

— Вот как? А вы знали об этом все время? — сказал сэр Чарльз, вставая, и усы его ощетинились.

Господин Аткин затрепетал и поник головой.

— Счастье ваше,— прошипел лорд Орпингтон,— что вы нужны мне, иначе я приказал бы матросам немедленно утопить вас в той нефтяной луже, в которую этот ваш достойный приятель превратил рейд. Мне было бы очень приятно посмотреть, как дрыгнули бы в воздухе ваши пятки. Но я успею еще доставить себе это удовольствие, если только вы не окажетесь достаточно благоразумным, чтобы хоть раз в жизни честно выполнить поручение.

— Я готов, сэр,— поклонился трепещущий Аткин.

Сэр Чарльз опять сел и положил ногу на ногу.

— Все очень просто,— начал он.— Сегодня я получил от короля неслыханное оскорбление. Мне передана радиограмма за подписью главы правительства, которой я не могу подыскать подходящего названия...

— Можно узнать, какая именно? — смиренно осведомился господин Аткин, и живот его заколыхался от внутреннего смеха.

— Незачем,— вспыхнул сэр Чарльз,— вас это не касается,— он оглянулся, поднял с пола смятую бумажку и сунул ее в карман, не заметив предательской улыбки, обнажившей зубы отставного президента.

— Словом, после этой радиограммы я не намерен ни минуты больше терпеть дальнейшего издевательства разбойничьей шайки надо мной и над моим великим монархом, которого я представляю здесь. С Максимилианом должно быть покончено в ближайшие два дня, и я поручаю это вам. Если вы это сделаете, я обещаю вам свое покровительство в Наутилии, высокое положение в нашем свете и благосклонность его величества. Если нет — мне не приходится повторять, что вас ожидает.

— Но что же именно можно сделать, сэр? — спросил побледневший Аткин.— Вы, простите меня за дерзость,

сделали большую оплошность, уничтожив республиканский строй, искренне расположенный к вам и к особе вашего повелителя и нашего высокого друга. Совершить новый переворот не так просто, учитывая большую популярность, которой пользуется Максимилиан в среде наших капитанов и различных подонков и отребьев населения. Чем можно привлечь их на нашу сторону?

Сэр Чарльз молчал. Господин Аткин осмелился повторить вопрос.

— Видите ли, милостивый государь,— наконец заговорил лорд Орпингтон,— я думаю, поздно разговаривать об ошибках. Но есть еще выход. Когда я отправлялся в это проклятое плавание, его величество удостоил меня секретной запиской, в которой он излагал мне свои планы. Среди его предначертаний имелся совет: выяснить, как относится население Итля к возможности присоединения страны к государственному организму моей родины, на условиях той автономии, которой пользуются все колонии Наутилии и которая предоставляет им исключительно широкую свободу. Вот об этом плане я и хочу знать ваше мнение.

Господин Аткин задумался. Мозг его заработал с лихорадочной быстротой, и он мысленным взором проник в будущее. Ему представилась жизнь в Наутилии, блестящее положение при величайшем дворе и связанные с ним возможности, и он даже облизнул губы.

— Я думаю, сэр,— ответил он взволнованно,— что все разумные и лучшие слои населения примут эту возможность с искренней радостью, как единственный способ обеспечить стране нормальную жизнь и развитие ее неисчерпаемых богатств. Но король вряд ли уступит добровольно свой королевский колпак. Произвести этот coup d'état[1] будет гораздо труднее, чем предыдущий, и он будет стоить много крови.

— Значит, нужно устранить короля,— спокойно ответил сэр Чарльз.

— Как? — спросил господин Аткин, обращаясь в вопросительный знак.

Сэр Чарльз посмотрел на него пронизывающими глазами.

— Я думаю,— раздельно и жестко сказал он,— в вашей стране, как и во всякой, есть анархисты и террористы...

---

[1] государственный переворот *(фр.)*.

Господин Аткин вздрогнул и уставился на наутилийского вождя безумными глазами.

— Сэр... я не решаюсь вас понять... Неужели... вы хотите?..

— Что? Я ничего не хочу,—возразил сэр Чарльз с изумительным спокойствием,— и я не имею права ничего хотеть. Я не могу вмешиваться во внутренние дела вашего... отечества, но анархисты могут захотеть...

— Я... я не могу... я не решаюсь на такое неслыханн...— выдавил господин Аткин.

— Ну, если вы не решаетесь, мне придется обратиться к другим, а вам напиться нефти,— остановил его сэр Чарльз и протянул руку к звонку.

— Сэр... ради бога... не нужно... я... я сделаю все,— залепетал вскочивший Аткин.

— Хорошо,— ответил сэр Чарльз,— вы благоразумны. Теперь слушайте. Послезавтра торжественный день рождения моего повелителя. Я сейчас же снесусь с правительством короля Максимилиана и предложу примирение. В знак примирения рождение моего короля будет пышно отпраздновано нами вместе в Порто-Бланко. Я и король будем принимать парад. Король отправится на площадь из дворца. По дороге... вы понимаете?.. Ну, а тогда, во избежание анархии, отряды десанта захватывают город, тут же плебисцит, и пьеса кончена.

— Это совершенно гениально,— искренне восхитился господин Аткин.

— А сейчас вы отправитесь на берег для подготовки.

Сэр Чарльз позвонил.

— Милый друг,— приказал он флаг-офицеру,— скажите казначею, что я прошу его выдать господину Аткину сумму, которую он сам назначит, и приготовьте вельбот.

— Слушаю, сэр.

Господин Аткин встал.

— Я, право, не знаю,— сказал он в задумчивости,— к кому мне обратиться?

— Ну,— ответил сэр Чарльз,— мне кажется, это вас не затруднит. Я думаю, что в этой необычайной стране нет ни одного негодяя, с которым вы не имели бы тесной дружбы.

— Милорд! — выпрямился оскорбленный господин Аткин.

— Извольте молчать. Вы забыли господ Кантариди? — крикнул лорд Орпингтон, и господин Аткин опустил голову.

— А теперь торопитесь. Возьмите деньги у казначея и поезжайте. Но если вы вздумаете обмануть меня...

Господин Аткин замотал головой и, пятясь, выдавился из каюты.

Спустившись в вельбот, он пощупал у себя на груди деньги, тяжело вздохнул и, взглянув на черную воду, опустил в нее палец.

Палец покрылся жирным коричневым налетом. Господин Аткин понюхал его и вздохнул еще раз.

«Как это просто,— подумал он,— и как я был глуп, что не догадался устроить такую штуку. Этот мошенник Коста оказался умнее меня».

. . . .

Порто-Бланко уже просыпался, когда Гемма влетела в ворота дворца на запаленной лошади и бросила поводья изумленному часовому.

Еще большее удивление объяло его, когда он увидел, что королева, вместо того чтобы направиться к себе, перебежала аллею и исчезла в дверях флигеля, где жил премьер.

Часовой покачал головой и привязал лошадь к ветке акации.

— Кажется, королева-то того, завела шашни. Министр не дурак,— сказал он вполголоса лошади, и лошадь прищурила глаз и кивнула головой, как бы подтверждая заключение солдата.

А Гемма уже колотила кулаком в дверь Косты.

— Коста!.. Коста!.. Вставайте!.. Чрезвычайно важно.

Замок щелкнул, и Коста появился на пороге.

— Простите!.. Я не думал, что это вы,— вскрикнул он, пытаясь запахнуться в одеяло.

— Пустяки!.. Не до этого,— ответила мисс Эльслей, врываясь в комнату.

— А что случилось? — с тревогой спросил Коста.— Почему вы одна? Где ребята? Неужели неудача?

— Нет,— ответила Гемма, кидаясь в кресло,— полная удача. Даже больше, чем я предполагала, но только все пошло по-иному.

— А именно?

Гемма, захлебываясь, рассказала. Коста слушал, кутаясь в одеяло.

— Гм,— процедил он, выслушав до конца,— конечно, они правы и поступили гораздо умнее. Я не учел этого. Конечно, правы.

— И этот чернобородый отправил меня с запиской к вам...

— Ага! Это Тревис! Чудесный парень! Давайте записку.

Гемма подала ему скомканную записку.

Коста развернул ее и прочел.

— Что он пишет? — спросила мисс Эльслей.

— Читайте.— И Коста перебросил ей записку.

Она с трудом разбирала неровные карандашные строчки:

«Здравствуй, Коста,—прочла она,— мне некогда благодарить тебя. Мы с тобой часто ссорились, и ты знаешь, что мы считаем тебя не нашим. У нас разные дороги, мы не пачкали нашего дела грязными проделками. Но теперь не время спорить. Спасибо за помощь, присланную нам с шальной бабенкой, которую я отправляю тебе обратно. Она впрямь неплохая девка. Но она будет полезней в городе. Если ты хочешь и впредь идти с нами и хочешь, чтобы мы приняли тебя, как своего,— сделай вот что: в городе не должны знать о нашем уходе с промыслов. Нам нужно три дня сроку, чтобы быть обратно с северянами. В эти два дня соглашайся на все и не затевай никаких историй в городе. Мы сами покончим со всем. *Тревис*».

— Он хороший человек, этот Тревис,— сказала она грустно, окончив чтение.

— Тревис? Еще бы. Мы оба не годимся ему в подметки, и если я жалею о чем-нибудь, так это о том, что я не смог стать таким, как он,— ответил Коста.

— Ну, а теперь я пойду спать. Я невозможно устала от скачки,— поднялась Гемма.

— Спите. Я сделаю все, чего хочется Тревису. А вы отдыхайте.

Гемма направилась к двери, но в нее кто-то осторожно постучал.

— Спрячьтесь... спрячьтесь,— шепнул Коста, толкая Гемму к окну,— никто не должен видеть вас здесь.— И, покрыв Гемму занавесью, он открыл дверь.

— Радиограмма с эскадры, господин герцог,— доложил вошедший.

— Благодарю вас. Идите.

— Ответа не будет?

— Если будет нужно, я сам приду на станцию,— ответил Коста, выпроваживая телеграфиста.

— Выходите,— позвал он Гемму,— радиограмма от его грабительского превосходительства. Посмотрим, как понравилась ему нефтяная баня. Хм... чрезвычайно странно,— проворчал он, недоуменно поднимая плечи,— милорд изволит капитулировать? Непонятно!

— Что он телеграфирует?

— Видите ли, он извиняется, что по «неосторожности» дежурного офицера произошел «случайный» выстрел боевым снарядом по городу, за что он приносит извинение и выражает согласие возместить убытки. Кроме того, он предлагает королю забыть недоразумения последних дней, омрачившие «сердечную дружбу», и выражает надежду, что в знак примирения король не откажется торжественно отпраздновать послезавтра день рождения Гонория XIX в городе, совместно с ним.

— Ну, что же? Это нам на руку,— сказала Гемма.— Мы уже выигрываем нужные нам два дня. Лучшего и желать не приходится.

— Вы думаете? А мне это не нравится. Я чувствую, что он затевает какую-то гадость, но только не могу никак понять, что именно. Неспроста же он заговорил, как дядюшка, желающий оставить десять миллионов племяннику.

— Мне кажется, вы слишком подозрительны, мой друг,— возразила Гемма,— я уверена, что лорд Орпингтон понял бесполезность борьбы и ищет действительно способа примириться. Нам нужно ответить согласием, чтобы выиграть время. На третье утро мы заговорим другим языком.

— Что же, если вы хотите, пожалуйста. Но все-таки я буду настороже, чтобы не попасть впросак в случае какой-нибудь истории.

— В этом не может быть сомнения. Мы должны держаться начеку каждую минуту, но отталкивать такого предложения нельзя. Сейчас же ответьте ему согласием от имени короля. Ну, прощайте. Я чувствую, что сейчас упаду от усталости.

— Я провожу вас до вашей спальни,—сказал Коста,— отвернитесь на мгновение, пока я оденусь.

— Зачем? Разве я не могу дойти сама?

— Вы чудачка. Сами говорите, что нужно быть начеку каждую минуту, и сами же пренебрегаете осторожностью. Королева — заманчивая добыча.

— Я прошу никогда больше не называть меня королевой. Я перестала быть ею и не желаю, чтобы мне об этом напоминали,— резко ответила Гемма.

Коста засмеялся.

— Для меня, конечно. Для себя также, но не для них. Там, на кораблях, они ведь ничего не знают. Для них вы царствуете, и это даже лучше. Пусть остаются в заблуждении, ибо, если бы они знали правду...

— Я забыла об этом.

Они вышли в сад. Верхушки деревьев запылали уже от первых брызг солнца, и цветы сыро и душно пахли на клумбах.

На большой площадке перед дворцом Гемма схватила спутника за руку.

— Смотрите,— воскликнула она, указывая на залив, открывшийся в просеке между гигантскими веллингтониями,— смотрите! Какой дым!

Над наутилийской эскадрой плавало грозное непроницаемое облако дыма.

— Что там делается?

— Ничего особенного,— отозвался Коста,— все в порядке вещей. Они разводят пары, чтобы выбраться из лагуны на открытый рейд, где их не достанет нефть. Было бы неестественно, если бы они второй раз позволили поймать себя в такую позорную ловушку. Бедный старый индейский петух! Он, наверное, выщипал в эту ночь половину перьев от ярости.

Гемма поднялась на ступени террасы.

— Прощайте. Пришлите разбудить меня к обеду. И все время держите меня в курсе событий.

Она протянула руку. Коста почтительно поцеловал ее.

— Спите... Не беспокойтесь,— все будет хорошо.

Стеклянная дверь звякнула. Коста весело посмотрел вслед мисс Эльслей, прищелкнул пальцами и вразвалку пошел к радиостанции дворца.

По дороге он нагнулся, сорвал с куста чайную розу, воткнул ее в петлицу, взглянул, как бы оглядывая сам себя, и второй раз прищелкнул пальцами, весело покачав головой.

Гемма прошла коридором в свои комнаты. По дороге она задержалась у полуоткрытой двери кабинета короля.

Ее внимание привлекла лампочка, горящая на столе. Она машинально вошла в кабинет и погасила ее. Повернувшись, она увидела Максимилиана, спящего на диване, среди груды подушек. Желтый томик романа валялся на полу. Гемма подошла и подняла книгу.

Кладя ее на столик, она почувствовала резкий раздражающий запах, нагнулась над диваном и сразу поняла. Губы ее брезгливо смялись.

«Пьян»,— подумала она с горечью и презрением и тихо вышла из кабинета.

Придя в спальню, она сбросила свой верховой костюм, надела халатик и вытерлась одеколоном. Подошла к окну, чтобы опустить штору, и увидела, как, вытянувшись в кильватерную колонну, наутилийские суда медленно выходили из лагуны в открытое море.

Гемма гневно отвернулась и отошла к постели.

Усталость томила ее. Она откинула одеяло и, едва успев залезть под него, заснула крепчайшим, здоровым сном.

Глава двадцать четвертая

L'ULTIMO GIORNO DI POMPEIA[1]

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ

По указу его королевского величества, на завтра назначается торжественное празднование дня рождения высокого друга и покровителя итлийской независимости короля Наутилии, его величества Гонория XIX. Граждане призываются принять участие в этом национальном празднике с должным энтузиазмом. В полдень на площади Короны (б. площадь Демократии) — состоится парад соединенным войскам Наутилии и Итля, в присутствии его величества короля Максимилиана и высокоуважаемого гостя, командующего наутилийским экспедиционным корпусом. Вечером карнавал. Правительство уверено, что все население проявит достаточно сознательности в выражении любви к своим иностранным друзьям, в особенности женщины. Все увеселительные заведения порта открыты завтрашний день для солдат Наутилии за счет правительства.

Председатель совета министров герцог Коста.

---

[1] Последний день Помпеи *(ит.).*

Сотни мальчишек, визжа и кувыркаясь, разбрасывали по улицам пестрые, разноцветные листки правительственного сообщения. Жители, встревоженные ночной стрельбой и с утра заполнившие город жужжавшей ордой, жадно расхватывали листки. Женщины и девушки, торговцы и аристократы, священники и воры, биржевые дельцы и налетчики вырывали их из рук друг у друга.

Озабоченные лица прояснялись, расплывались сладчайшими добродушными улыбками. Женщины немедленно разбежались по магазинам закупать необходимые принадлежности карнавала. Мужчины, собравшись группами, солидно обсуждали пышность предстоящего парада.

Теплый хрустальный августовский день дышал безмятежной радостью и довольством. Казалось, сверкающее веселое солнце никогда не закатится больше над страной счастья и блаженства.

В королевском дворце премьер около полудня постучался в дверь кабинета короля Максимилиана.

Максимилиан, размякший после ночного пьянства, ласково принял министра.

— Чем вы можете порадовать меня, герцог? — спросил он, щурясь от солнечного меда, лившегося в широкие окна.

— Я могу поздравить ваше величество с полным миром. Между нами и сэром Чарльзом исчезла последняя тень недружелюбия. Завтра мы празднуем вместе рождение его величества, короля Наутилии.

— Ну вот, герцог. Я оказался прав. Сэр Чарльз очень милый человек, и я не знаю, почему вы и Гемма относились к нему с таким недоверием и злобой,— ответил Максимилиан.

— Мы просим прощения. Ваше величество обладаете государственной мудростью, врожденной всем коронованным особам, которой мы, простые смертные, достичь не можем,— любезно заявил министр со странной улыбкой.

Максимилиан закинул голову с выражением благодушного превосходства.

— Конечно! У меня всегда были государственные способности. Иначе я не смог бы стать королем. Сэр Чарльз не согласился бы, чтобы королем Итля стал человек, не обладающий данными настоящего монарха.

— Совершенно верно,— подтвердил Коста, продолжая улыбаться.

— Какова же программа завтрашнего праздника? Мне кажется, его нужно обставить как можно блистательнее.

— О, не беспокойтесь, ваше величество. Мы уже подумали об этом. Праздник начнется великолепным парадом войск, который вы будете принимать вместе с лордом Орпингтоном. Вечером мы откроем роскошный карнавал, который будет продолжаться всю ночь. Утром он закончится неожиданным и феерическим финалом. Я приготовил секретный сюрприз. Ручаюсь вашему величеству, что нигде в мире вы не увидите такого финала,— горячо сказал Коста.

— А какой сюрприз? — спросил король с загоревшимися любопытством глазами.

Коста прижал руку к сердцу.

— Ваше величество! Не требуйте от меня открытия тайны. Это нарушило бы мой план. Доверьтесь мне, и я даю слово, что удивлю страну.

— Хорошо, герцог. Я не настаиваю. Я знаю, что вы изобретательный человек. Меня очень радует парад. Я ужасно люблю парады. Когда покойный дядя царствовал в Ассоре, он каждую неделю устраивал парады. Это было так весело. Кстати, какой мундир вы посоветуете мне надеть — белый или бирюзовый?

Министр сложил руки на груди с видом глубокого почтения.

— Я бы посоветовал, если разрешите, ваше величество, белый. В нем вы появились в день вашего счастливого восшествия на трон, и, кроме того, он как нельзя более оттеняет чистоту и невинность вашей души.

— Да? Я тоже так думал. Вы очень умный человек, герцог.

— Пустяки. Вы мне льстите, ваше величество. Но разрешите мне покинуть вас, дабы заняться подготовкой праздника,— сказал Коста, испытывая гнетущую неловкость.

— Конечно. Идите, герцог. Я полагаюсь на вас.

Коста вышел в сад. У фонтана он остановился и передернул плечами.

— Какая несчастная тряпка,— пробормотал он и направился дальше.

Придя к себе, он позвал лакея.

— Пришлите мне тотчас же Петриля. Быстро.

— Вашего кучера, господин герцог? — осведомился лакей.

— Ну да, моего... Не вашего же.

— Слушаю-с.

По уходе лакея Коста присел к письменному столу, исписал листок и заклеил его в конверт.

— Здравствуй, Петриль,— приветствовал он вошедшего кучера,— ты мне очень нужен. Возьми письмецо и снеси его старому аптекарю Лерсу. В обмен на него ты получишь мешочек. С мешочком отправишься в главный винный подвал. Там вызовешь Фому, отдашь ему мешочек и прикажешь от моего имени, чтобы он всыпал по ложке содержимого во все те бочонки, которые будут отправлены в кабаки для угощения наутилийских солдат завтра вечером. Понял?

Петриль молча кивнул головой.

— Ну, беги! И не задерживайся нигде по дороге.

Петриль поклонился и повернулся, чтобы отправиться в путь. Открывая дверь, он почтительно отступил в сторону, пропуская появившуюся Гемму.

Гемма молча подождала, пока он вышел.

— Ну, как? — спросила она, здороваясь.

— Все в порядке. Хорошо выспались?

— Отлично.

— Его величество тоже изволили хорошо отдохнуть и находятся в прекрасном состоянии духа,— сказал с иронией Коста.

— Вы говорили с ним?

— Да, говорил,— ответил Коста, безнадежно махнув рукой,— я думаю, что его мозги окончательно скисли. Он даже не похож на человека,— ходячая водянка.

— Он вчера напился на ночь. Я обнаружила это утром, когда проходила мимо его кабинета,— гневно сказала Гемма.

— Вы сердитесь? Разве на него можно сердиться? Он этого не стоит. Он не может думать ни о чем, кроме кабаков и мундиров. Только этим и занят. И еще пьет. Это его единственное утешение. Что бы он вообще делал в мире, если бы не существовало ликеров и мундиров? Пусть пьет! По крайней мере, не будет мешать нам.

— Как с праздником?

— О, я уже выпустил правительственное сообщение. Кажется, весь сброд принял его с восторгом. Я слышал

даже здесь, как они визжали от радости на площадях. Но все же мы должны быть настороже,— ответил Коста.

— Ну что же. И будем!

— Помимо всего, я принял еще одну предосторожность. Я послал Петриля подсыпать в вино, заготовленное для солдат его милости лорда, одной такой штуки, которая уложит их всех в мгновение ока.

Гемма отшатнулась.

— Как? Вы хотите?.. Не смейте, как вы можете решиться на такую...

Коста посмотрел на нее с горьким упреком.

— Вы, кажется, думаете, что перед вами настоящий герцог,— ответил он сурово,— но вы ошибаетесь. Я никого не убивал из-за угла и вообще не люблю крови. Они просто уснут и не продрыхнутся до следующего вечера.

— Простите,— сказала Гемма,— простите, я не хотела вас обидеть, но мне показалось...

— Что кажется — то привидение. Не верьте привидениям,— нравоучительно заметил Коста, вставая,— а теперь идите. Не нужно, чтобы кто-либо обратил внимание на ваши неумеренно частые визиты в мою обитель.

. . . .

В эту ночь тихие ангелы летали над уснувшей столицей Итля. Улицы были погружены во мрак, и ни одна человеческая тень не бродила под широкими лапами платанов. Население спало, набирая сил к предстоящему празднику и карнавалу.

И если бы какой-нибудь любопытный мог подняться на нависшие над заливом скалы, он увидел бы во всем городе только один мрачный и тусклый огонек в окне глухой таверны, пользовавшейся самой разбойничьей репутацией.

В ней за столиком, залитым дешевым вином и липким, как тангльфут, сидел, надвинув шляпу на глаза, против бледного молодого человека в роговых очках господин Аткин.

Бывший президент в первые часы по получении рокового приказа лорда Орпингтона был в полном недоумении, где приискать исполнителя заказанного покушения.

Портовый сброд, среди которого в обычное время можно было найти достаточное количество отчаянных брави, находился теперь в твердых руках Косты и был искренне предан вероломному премьеру. Обращаясь к этим людям,

господин Аткин рисковал немедленно быть выданным с головой в руки врага, а кроме того, бывшему главе республики вовсе не хотелось расстаться с крупной суммой, отпущенной сэром Чарльзом на выполнение плана.

И он тщетно ломал голову, пока счастливая мысль, сверкнувшая мгновенной зарницей, не осенила его начинавший отчаиваться мозг.

Он вспомнил о своем бывшем секретаре, безнадежно влюбленном в Лолу, и с наступлением темноты пробрался в его убогую квартирку на окраине, откуда и увел юношу для секретного разговора в таверну.

— Поймите, дорогой мальчик,— говорил господин Аткин мурлыкающим голосом.— Вы всегда были патриотом, и я был уверен, что, не случись этих трагических событий, вы стали бы одним из лучших сынов своей родины. Но, увы, коварный потомок тиранов с помощью лживых и лукавых чужеземцев растоптал чудесные ростки нашей свободы, раздавил нацию солдатским сапогом... Но мы, сыны отечества, мы не складываем оружия. Гнет монархии и чужестранщины должен быть свергнут усилиями верных делу патриотов. Нужна рука, которая нанесет удар тирану, и это ваша рука...

Секретарь вскинул глаза на господина Аткина и в ужасе отшатнулся. Рука его, лежавшая на краю стола, задрожала нервической дрожью.

Он с трудом разжал побледневшие губы и прошептал:

— Как, господин президент? Вы хотите... чтобы я... убил человека?

Господин Аткин ласково положил свою руку на плечо юноши.

— Милый Гри! Как вы наивны и какая у вас чистая душа. Как хотел бы я быть таким. Вы говорите «убить человека»? Но для нас, патриотов и демократов, король не человек. Он воплощение ненавистного деспотизма, бич божий, и мы должны уничтожить его. Я сам нанес бы ему удар, если бы был моложе и моя рука была бы так же тверда, как ваша. О, будь я ваших лет, я никогда не упустил бы чести совершить поступок, который останется в летописях страны благороднейшим деянием ее истории.

Секретарь низко опустил голову и проговорил, волнуясь:

— Вы думаете, господин президент, что это необходимо для счастья родины?

— Ну конечно,— ответил решительным тоном господин Аткин,— это говорю вам не я лично. Это решение комитета спасения родины и демократии, который решил освободить страну от ярма монархии и чужестранщины и вернуть ей прежнее величие и независимость. Многотысячное население задыхается под игом ненавистной власти, проклиная наутилийских насильников. Жены, матери и невесты протягивают руки с мольбой к освободителю. И комитет предлагает вам высокую честь стать им.

Пока господин Аткин сплетал цветы патриотического красноречия, близорукие глаза секретаря медленно разгорались тем фанатическим и бешеным огнем, который неожиданно вспыхивает в душах тихих и безответных людей и делает из них или жесточайших палачей, или необыкновенных героев. Но ум его еще сопротивлялся.

— Все-таки это жутко... Стать убийцей... даже ради отечества и свободы,— прошептал он, проводя худой ладонью по лбу.

Господин Аткин совсем пригнулся к нему.

— Дорогой Гри!.. Я сказал вам, что тысячи жен, матерей и невест ждут освободителя. Но страстнее всех ждет одна...

Секретарь вздрогнул и взглянул умоляюще на искусителя.

— Да,— продолжал господин Аткин скорбно,— моя дочь, эта легкомысленная девочка, неосторожно шутившая вами, теперь горько раскаялась, что не оценила искренней и честной любви. Она томится сейчас в плену среди грубой иностранной солдатчины, и она молит об избавлении, ждет его от вас, чтобы отдать вам свое изболевшее сердце.

Две слезы повисли на ресницах господина Аткина, и голос его прервался.

Секретарь встал, дрожа и задыхаясь, и схватил патрона за руки.

— Лола? Она ждет?.. Она мучится?.. Ее оскорбляют?..

Он остановился, не в силах говорить более и только сжимая руки господина Аткина, который радостно кивал головой.

— Да!.. Теперь вы знаете... Решайтесь, Гри! Вашей наградой будет вечная благодарность свободной родины и рука моей дочери.

Секретарь выпустил кисти господина Аткина и отошел

к окну таверны, вглядываясь в темноту. Президент смотрел на его сутулую спину с удовлетворенной улыбкой, в то время как его рука ощупывала в кармане кредитные билеты сэра Чарльза, которым суждено было остаться там навсегда.

Наконец секретарь повернулся к президенту. Лицо его было иссиня-бледно и подергивалось. Он шагнул вперед и сказал:

— Я готов!

— Не я, но родина благодарит вас, юный герой,— ответил господин Аткин и, вынув из другого кармана револьвер, протянул его юноше, который взял оружие недрогнувшими пальцами.

. . . .

Утром лорд Орпингтон, прибывший на адмиральском катере, проехал во дворец, встречаемый бурными овациями жителей. Его автомобиль был забросан таким количеством цветов, что представитель Гонория XIX долго разгребал цветочную груду, чтобы вылезть из машины.

Премьер встретил его у ворот и почтительно проводил в тронный зал, где ждал высокого гостя Максимилиан, окруженный чинами двора и прекраснейшими женщинами королевства.

Сэр Чарльз подошел к ступеням трона и сердечно пожал руку короля, спустившегося ему навстречу.

— Ваше величество,— сказал он проникновенно,— я имею счастье поздравить вас с торжественным днем рождения моего повелителя. В этот радостный час да забудутся все прискорбные недоразумения, имевшие место в последние дни. Пусть отныне наши сердца бьются в унисон и все наши помыслы будут направлены на процветание вашего королевства.

Максимилиан пробормотал выученное приветствие.

— Благодарю вас, ваше величество. Я ценю ваше благорасположение. Позвольте мне, старому солдату, просто поцеловать вас,— сказал совершенно растроганный лорд Орпингтон и, повернувшись к королеве, низко склонился перед ней.

— У меня было небольшое столкновение и с вашим величеством, но я уверен, что ради такого счастливого дня вы простите вспыльчивость старика, не учившегося

быть дипломатом,— продолжал он с самой обаятельной улыбкой.

Гемма молча смотрела на него, и лорд Орпингтон вторично опустил глаза перед ее горячим взглядом.

— Я, к сожалению, не могу надолго воспользоваться вашим гостеприимством, ваше величество,— обратился он снова к королю, подавив мимолетное смущение,— так как обязан наблюдать за расположением войск на параде. Но после парада я буду рад посетить вас и побеседовать по взаимно интересующим нас вопросам. До скорого свиданья.

— Мне не нравится его чрезвычайная любезность,— шепнула Гемма премьеру,— он держится страшно фальшиво.

— А вы думаете, мне нравится. Я только никак не могу понять, что именно он надумал, и это меня очень беспокоит. Я чувствую себя безоружным. Глупейшее положение. Однако нужно и нам отправляться. Машина его величества подана.

Коста усадил короля и Гемму в автомобиль, захлопнул дверцу и уселся на переднем сиденье. Автомобиль тронулся тихим ходом по шумящим, веселым, расцвеченным улицам.

Максимилиан с рассеянной улыбкой смотрел на приветствующих его жителей и, повернувшись к Гемме, сказал вполголоса:

— Какие они милые, и как они меня обожают.

— Вы думаете, ваше величество? — спросила Гемма, печально улыбнувшись.

— Не думаю, а уверен. Вам непременно нужно противоречить? Вы обязательно должны испортить мне настроение. Как это нехорошо с вашей стороны. Смотрите, как они кричат, как бегут за машиной. Они, кажется, готовы лечь под колеса.

Автомобиль поворачивал в эту минуту на пересечении двух улиц.

Толпа медленно расступалась, давая ему дорогу. В одном месте она зашевелилась возбужденней. Какой-то юноша в верблюжьем плаще и роговых очках протискивался вперед, толкая и сбивая с ног людей и не обращая внимания на возмущенные протесты.

Отбросив в сторону стоявших в первом ряду, он прыгнул вперед и очутился на подножке автомобиля, вскинув правую руку.

Молниеносно треснули три коротких выстрела. Толпа с воем шарахнулась в стороны. Гемма отчаянно крикнула.

Коста вскочил с сиденья, перевернулся на прыжке и, вырвав из кармана кольт, выстрелил в затылок человеку в верблюжьем плаще. Тот слетел с подножки под колеса.

Коста схватил револьвер в зубы, сильным рывком сорвал шофера с места и выбросил его на мостовую. В следующую секунду он очутился за рулем.

Разбрасывая толпу, отовсюду бежали солдаты наутилийского экспедиционного корпуса. Коста прострелил грудь первому подбежавшему и перевел рычаг на вторую скорость.

Автомобиль взвыл, рванулся и, рыча, как доисторическое чудовище, ринулся в гущу толпы. Люди полетели во все стороны, как крокетные шары. Автомобиль проложил широкую просеку, устланную телами, и с бешеной быстротой помчался по улице.

Солдаты бежали вдогонку и стреляли, припадая с колена, но автомобиль успел завернуть за угол и исчез. Толпа в панике метнулась в боковые переулки, но везде натыкалась на штыки наутилийских цепей, которые загоняли население на площадь.

Когда весь рычащий, рыдающий, потерявший шапки, зонтики, жен и детей человеческий табун был забит в четырехугольный загон площади, на паперти собора появился господин Аткин. Он выступил во всем параде, и оранжевая лента, свежевыглаженная, по-прежнему пылала на его животе.

Он поднял руку, призывая к тишине.

— Граждане Итля,— сказал он, подняв глаза к небу,— наше отечество постигло ужасное бедствие, мы лишились дарованного нам небом кротчайшего и благороднейшего монарха. Рука гнусного злодея поразила его в расцвете жизни. Преступник также пал, сраженный провидением. Но страна осиротела. У покойного короля не было наследника,— королева же иностранка и, помимо того, по законам о престолонаследии, не имеет права на престол. Но нам на помощь приходит наш высокий покровитель, друг и почитатель демократии, король Наутилии. Он предлагает принять нас под свою монаршую руку. Экстренный совет высших сановников Итля согласился принять эту милость и выносит ее на ваше утверждение. Кто против?

Толпа молчала, тревожно оглядываясь на теснившие ее со всех сторон штыки.

— Никого? Мы были уверены в здравом политическом смысле граждан. Сейчас в соборе начнется присяга на верность его величеству королю Наутилии.

. . . .

Автомобиль несся по шоссе, разбрасывая тучи пыли и мелкого щебня. Пригородные крестьяне, завидя издали бегущее с ревом в белом облаке чудище, спешно сворачивали в канавы. Собачонка, бросившаяся из-за шоссейной будки на небывалого зверя, не успела отскочить и прилипла к радиатору, смятая в кровавый блин. Коста сидел, нагнувшись над рулем, и, не оборачиваясь, глотал пространство, пока машина начала задыхаться и покашливать. Ее опустевшее сердце забилось тревожными перебоями.

Коста прислушался, задержал бег и, свернув с шоссе на лужайку, остановил автомобиль под тремя каштанами. С трудом сняв с руля затекшие руки, он встал на сиденье и повернулся.

В задней половине автомобиля, свернувшись комком, лежал на полу Максимилиан. На сиденье, уронив голову назад, раскинулась алебастрово-прозрачная Гемма.

Коста охнул и перенес ногу через спинку сиденья.

— Ах ты, черт! Неужели и ее? Неужели?

Он открыл дверцу и приподнял тело Максимилиана, оно переломилось, как деревянное.

— Ну, этот готов,— сказал Коста, укладывая короля на траву. Открытые глаза Максимилиана тускло взглянули в небо. Белый мундир на груди весь взмок кровью.

Коста снова влез в автомобиль и приподнял Гемму. Рука его почувствовала тепло живого тела. Он усмехнулся.

— Ее не тронуло... Обморок.

Он осторожно вынес женщину и положил под деревом на разостланный плащ.

Наклонившись над ней, он потер ее руки в своих ладонях и с силой дунул в лицо. Веки вздрогнули, но Гемма не пошевелилась.

— Сильный обморок,— сказал Коста,— ну, хорошо. Я знаю, чем ее разбудить.

Он отошел к автомобилю, достал из ящика долото и сильным ударом прошиб низ бака, подставив фляжку.

Набежало полфляжки мутной жидкости. Коста понюхал ее и засмеялся. Потом он сбросил свой расшитый золотом мундир и швырнул его в траву.

— Занятная форма для шофера,— буркнул он, засучив рукава и подходя к Гемме.

Он приподнял ее голову, разжал долотом стиснутые зубы и влил в рот немного жидкости.

Мисс Эльслей глубоко вздохнула, отчаянно закашлялась и раскрыла глаза.

— Ой!.. Что такое? У меня все горит внутри! Что это за гадость? — вскрикнула она, хватаясь за грудь.

— Ничего! Это боевое крещение. Это автомобильный спирт. Он недаром называется бешеным,— невозмутимо ответил Коста.

Мисс Эльслей приподнялась и с испугом посмотрела вокруг.

— Что это... сон? — спросила она, продолжая кашлять.

— К сожалению, не сон, а самая паскудная явъ. Недаром я сидел как на иголках в этой чертовой машине.

— А Максимилиан? — спросила Гемма, вздрогнув.

Коста развел руками.

— По правде сказать, я не советовал бы вам сейчас разглядывать его. У него очень непривлекательный вид, а у меня больше нет спирта, чтобы снова приводить вас в чувство.

Гемма быстро поднялась на ноги и обошла автомобиль.

Увидев труп, она пошатнулась, и Коста поддержал ее.

— Poor Yorick! [1] Бедный шут! — прошептала она, и Коста увидел слезы на ее ресницах. Она молча прошла к дереву, взяла плащ и покрыла им тело.

— С мертвым покончено,— сказала она,— нужно думать о живых. Что нам делать?

— Вы молодец! — ответил с восхищением Коста,— нам нужно идти до ближайшей деревни, взять лошадей и ехать навстречу Тревису и его ребятам. Автомобиль вышел из строя и не годится никуда, разве на гроб королю.

— Идите сюда,— сказала Гемма.

Коста подошел, недоумевая.

---

[1] Бедный Йорик! *(англ.)*

— Вы настоящий мужчина,— заговорила Гемма, смотря ему в глаза,— вы вели себя как следует. Спасибо!

Она поднялась на цыпочки и крепко поцеловала Косту в губы. Он отшатнулся, залился краской и отвернулся.

. . . .

К вечеру Порто-Бланко успокоился и забыл об утренней трагедии. Улицы запылали электрическими лунами, зазвенели песнями, звоном струн и заметались в бесшабашном плясе бушующей карнавальной толпы. Население, как и в первые дни, браталось с наутилийскими воинами, которые блуждали из кабачка в кабачок, выпивая даровое вино. В «Преподобной Крысе» собрались сливки общества, и даже сэр Чарльз удостоил заведение Баста своим присутствием. Веселье, беззаботное, горячее, жадное, кипело во всех уголках города. Женщины льнули к мужчинам, женщины помнили о своем призвании давать радость защитникам и нежно уводили шатающихся солдат в темные двери квартир. Но их ожидания в эту ночь были обмануты. Любовники, не успев окончить первых кратких ласк, засыпали мертвым сном, и напрасно возбужденные женщины пытались разбудить их огнем поцелуев. Они никли грузными, обессиленными телами в пышную свежесть кроватей и храпели густым непробудным храпом, заставляя своих подруг кусать губы в пароксизмах неудовлетворенной страсти.

К двум часам ночи город напоминал замок спящей царевны, и лишь кое-где слонялись по улицам одинокие старики и старухи, вспоминая отцветшую молодость.

Глава двадцать пятая
ГАЛААДСКИЕ СВИНЬИ

Фея прикоснулась к шелковой портьере блестящей волшебной палочкой, и она с шорохом поползла в стороны. За ней открылось широкое пространство, наполненное нефтяными вышками. Их было бесконечное множество, и из каждой тугим, высоким фонтаном хлестала жирная жидкость.

Фея взмахнула палочкой во второй раз, и вдруг загудели гудки и застучали машины. Стук их, сначала тихий и ритмический, становился все громче и громче.

Сэр Чарльз пошевелил головой, но стук не прекращался и начинал терзать нервы. Сэр Чарльз открыл глаза.

Фея исчезла, исчезли и нефтяные вышки, но стук в дверь продолжался.

Сэр Чарльз спустил ноги на пол и сел на постели.

— Кто там? — спросил он, протирая глаза.

— Это я, сэр! Кук! Вы изволили приказать разбудить вас перед рассветом, так как вы хотели посмотреть на восход солнца.

— А... Благодарю вас, Кук. Я сейчас буду готов.

Лорд Орпингтон встал, потянулся, сделал несколько гимнастических движений и накинул халат. Он ночевал в эту историческую ночь в кабинете короля Максимилиана, но тень погибшего монарха Итля не тревожила его непорочную совесть.

Он не вмешивался во внутренние дела несчастной страны, раздираемой политическими неурядицами. Пули, сразившие Максимилиана, были выпущены туземцем, коренным жителем Итля, и сэр Чарльз не мог ни обвинять, ни оправдывать террориста. Он только снизошел на всенародную мольбу о покровительстве и помощи, обращенную к нему, и принял бедный народ, как заблудшую овцу, под прочную и надежную эгиду наутилийской короны.

Одеваясь, чтобы выйти на балкон, он увидел на столе желтый томик романа, поднятый всего день назад Геммой, и повертел его в руках.

— Бедный мальчик,— прошептал сэр Чарльз, кладя книгу обратно и помыслив о бренности всего земного,— но, в конце концов, он сам виноват. Он не мог управлять и погиб жертвой своей бесхарактерности.

Отдав дань памяти покойного, сэр Чарльз вышел в зал дворца и, сопровождаемый флаг-офицером, направился на большой балкон.

Над заливом трепетала прозрачная розово-золотая мгла. Она лежала над сиреневой парчой спокойного моря, которое сливалось с этой мерцающей пеленой мягко и нежно, почти незаметно.

У теплых плоских плит набережной ворковал сонный прибой, перекатывая гальки, и синеватые силуэты кипарисов стояли как тихие девушки, ожидающие женихов, уплывших в море.

Сэр Чарльз был растроган чистой и молитвенной красотой утра.

— Милый Кук,— сказал он торжественным и мягким голосом,— посмотрите, какая упоительная прелесть в этих туманных и сияющих красках. Какая жалость, что мы, люди делового века, утратили способность воспринимать обаяние природы. Даже наши писатели не умеют больше воспламеняться любовью к этому лучшему созданию творца. Разве Анатоль Франс или Редьярд Киплинг могут сравняться по поэтичности описаний природы с такими гениями, как Ричардсон, мистрис Радклиф, Руссо или Бернарден де Сен-Пьер. Чувство природы связано всегда с чувством трогательной печали. Не так ли?

— Совершенно верно, сэр,— подтвердил флаг-офицер.

— Когда я смотрю на природу, я внутренне очищаюсь, я отбрасываю от себя все злые помыслы и беседую с творцом. Как прав был Руссо, когда требовал уничтожить нашу механическую культуру. Смотрите, как мирно и прекрасно выплывает это мощное солнце.

Розовая мгла лопнула на востоке, и в щель прорвалось горячее сияние узкого ломтика солнца. Сэр Чарльз прищурился и скользнул взглядом по берегу. Глаза его задержались на белой стрелке маяка. Там, за ней, лежали нефтяные промыслы, и улыбка полного удовлетворения разлилась по лицу великого человека.

— Сколько неисчерпаемых богатств в природе, Кук, и как ужасно, что человечество не может поделить их между собой любовно, без преступлений и кровопролитий,— продолжал он, вздохнув.

— Как хорошо говорите вы, сэр,— восхитился лейтенант Кук.

— О милый Кук! Вы наивный мальчик. Разве такими словами нужно приветствовать божью мудрость, отраженную в видимом мире. Мне кажется...

Лейтенант Кук приготовился услышать эпикурейское славословие, но сэр Чарльз внезапно осекся на полуслове.

Сзади, из города, еще спящего после пышной ночи карнавала, донесся какой-то неопределенный гул. Он катился по улицам, нарастал, и вскоре можно было различить, что он складывался из взволнованных человеческих голосов.

Сэр Чарльз нахмурился.

— Вы видите, Кук, как я прав. В часы полного умиротворения природы жалкие люди заняты своими мелочными делишками и грызутся из-за лишнего куска.

Гул становился крепче и приближался.

Сэр Чарльз возмутился.

— Пойдите, Кук, и узнайте, в чем дело. Да скажите этим крикунам, что, если они не прекратят тотчас же гвалта, я вызову солдат и заткну им глотки прикладами.

Кук повернулся налево кругом и мелкой рысью побежал в комнаты.

. . . .

Армия рабочих форсированным маршем шла к северу всю ночь и весь следующий день, вливая в себя присоединявшиеся по дороге отряды крестьян и горцев из деревень и ферм, лежащих на ее пути.

Она останавливалась только на короткие привалы, дать людям съесть кусок хлеба с солью, выпить воды и отдохнуть.

Тревис торопил, чтобы поспеть к ночи на линию фронта.

Отряды капитанов, занимавшие ее, немедленно после отзыва Богдана Адлера, сумевшего жестокими мерами создать подобие войсковых частей, сбросили стеснительное и удручающее ярмо дисциплины и разбрелись по поселениям, примыкающим к боевой зоне. Не получая от правительства жалованья, они вновь занялись товарообменом, продавая свои изделия, плетеные портсигары, подстаканники, подносы и корзиночки, которые выделывали с большим изяществом и вкусом из камыша, покрывавшего болота в районе фронта. Эти изделия находили широкий и легкий сбыт. Наиболее предприимчивые из воинов итлийского правительства распродавали декоративные форты генерала фон Бренделя, срезая с них по ночам раскрашенный холст. Крестьяне охотно покупали его, вываривали краску и шили себе прочное белье.

Эта беспечная жизнь защитников Итля услаждалась еще присутствием тысячи добрых и милых женщин из «священного женского легиона», ни в чем не отказывавших своим собратьям по оружию.

Поэтому удар, обрушенный Тревисом около полночи в тыл капитанам, упал в пустое пространство. Позиции были не заняты, и только «женский легион» Адлера оказал неожиданное и упорное сопротивление, конченное штыковым ударом.

Тревис с эскадроном горцев проскакал за линию окопов к передовым пикетам ассорской армии. Остановленный ими, он потребовал немедленного свидания с коман-

дующим заслоном Ассора и, принятый высоким бритым человеком, в маленькой мазанке у железнодорожного полустанка, изложил кратко и ясно обстановку.

— Спасибо, товарищ,— сказал бритый, крепко поцеловав Тревиса,— вы поспели вовремя. К нам только вчера подошла дивизия кавалерии, снятая с восточного фронта, и мы хотели переходить в наступление. Тем лучше. Мы избавлены от лишних человеческих жертв.

Он отдал распоряжение, и рожки горнистов пропели поход.

Через час темная масса кавалерии, колебля в ночной темноте тонкие острия пик, пролетела с гиком, свистом и лихой песней на юг.

Пехота, посаженная в вагоны, отправлялась эшелон за эшелоном вдогонку кавалерии, и ущербная луна косо смотрела на бесконечную ленту поездов, устремившихся один за другим к морю.

В час, когда ликующее население Порто-Бланко праздновало веселым карнавалом свое присоединение к величайшей державе мира, обе части армии соединились на узловой станции, в одном переходе от столицы, и остановились на отдых. Суровые, овеянные пороховым дымом и славой, солдаты ассорской армии братались с нефтяниками и с радостным изумлением набрасывались на фрукты, сладости и жирную мясную пищу.

— Хорошая страна у вас, ребята. Сытная. Полмира прокормить может,— говорили с восхищением они, растягиваясь на траве с полными желудками.

Крестьянки тащили из деревень все новые и новые запасы продовольствия, и солдаты, похохатывая и любезничая, набивали вещевые мешки окороками, бараниной, хлебом, салом, всем давно не виданным изобилием.

Перед вечером они двинулись дальше походным порядком, чтобы ворваться в столицу на рассвете.

. . . .

Ожидая возвращения флаг-офицера, сэр Чарльз с неудовольствием слушал непрекращающиеся крики.

«Экий простофиля Кук. Не может унять сразу»,— подумал он, но дверь террасы с шумом распахнулась, ударилась о стену, брызнув осколками стекол, и в нее проскочил бледный, с раскрытым ртом, лейтенант Кук.

— Сэр Чарльз!.. Сэр Чарльз!.. Несчастье!..— завопил он, подбегая.

Лорд Орпингтон с недоумением спросил:

— Что с вами? У вас мозги не в порядке?

— Страшное несчастье, сэр Чарльз! Они идут! Они уже у городской заставы.

— Кто они? Саранча, тараканы или крысы?

— Нет! Войска!.. Армия Ассора!.. Громадная армия!.. Они сметают все...

Лорд Орпингтон ухватился за перила. Усы его вздыбились.

— Армия Ассора?.. Эти банды?.. Что за вздор? Позовите сюда начальника штаба.

Но начальник штаба сам появился на террасе.

— Генерал Тиббинс, в чем дело? Что за идиотская суматоха? Какая армия? Неужели солдаты так перепились вчера на празднике, что им чудятся армии?

Но генерал Тиббинс, взяв под козырек, ответил с тщательно подавляемым волнением.

— Простите, сэр, но это — правда.

— Как правда? — взвизгнул сэр Чарльз, теряя спокойствие.

— Разрешите доложить, сэр. По моему приказанию, полковник Маклин, командир первой бригады, вчера ночью выставил заставы в горных проходах, окружающих город. Два часа тому назад они были сметены нежданным налетом огромного количества кавалерии и вынуждены были покинуть свои позиции. Одной из застав удалось, отступая, взять двух пленных. Пленные показали, что они являются передовыми частями ассорской армии, форсирующей горную цепь. Полковник Маклин погиб в этой стычке, сэр. Высланная мною разведка мотоциклистов только что донесла, что весь город окружен неизвестным противником. Сила его, по донесениям, около двадцати пяти тысяч пехоты и около дивизии конницы.

Сэр Чарльз задыхался.

— Немедленно!.. Сию минуту! Эскадре открыть заградительный огонь по проходам. Все войска в боевую готовность. Занять все дороги. Я сам принимаю командование.

Генерал Тиббинс стоял неподвижно.

— Вы что? Одурели от страха? Позор! Вы слышали, что я приказал? — крикнул лорд Орпингтон.

Генерал Тиббинс вспыхнул.

— Сэр,— сказал он с негодованием,— в другой обстановке вы ответили бы за ваши слова. Я не струсил бы и перед сатаной. Но...

— Что «но»?..— взревел главнокомандующий.

— Я боюсь даже сказать, сэр. Это необычайно, но это катастрофа...

— Да говорите же, дьявол вас возьми!

— Сэр, солдаты опоены во время вчерашнего праздника каким-то снотворным веществом. Их ничем нельзя разбудить. У нас осталось не более трех тысяч боеспособных людей, но и они не хотят драться.

— Как не хотят? — простонал лорд Орпингтон, сжимая голову руками.

— Они заявили, сэр, что им нечего вмешиваться в чужие дела. Они заявили, что защищать, извините, сэр, такую сволочь, как население этого города, они не желают.

— Расстрелять!.. Каждого десятого! Я им покажу!

— Поздно, сэр! Взгляните на рейд,— сказал уныло генерал Тиббинс.

Сэр Чарльз бросился к парапету террасы и застыл, как жена Лота.

Рейд кишел шлюпками, и в них, как муравьи, сыпались солдаты.

— Они убираются сами и сносят спящих товарищей, сэр. Они говорят, что вовсе не желают платиться своими шкурами за «паршивый вертеп».

Сэр Чарльз оторвался наконец от парапета. Лицо его съежилось и посерело.

— Мой катер? — выдавил он хрипло.— Где мой катер?

— Ваш катер, сэр, находится под охраной моряков. Им можно еще воспользоваться,— ответил генерал Тиббинс.

— Кук! Машину! Мы едем! — крикнул лорд Орпингтон.— Дай мне, боже, силы пережить этот позор.

— Машина уже ждет, сэр Чарльз. Я приказал сразу приготовить ее,— отозвался лейтенант Кук с явной радостью.

Сэр Чарльз покинул террасу огромными шагами. Генерал Тиббинс и Кук поспешили за ним.

. . . .

Катер колыхался у стены набережной среди криков, плеска весел, грохота моторов и гула толпы на набережной.

Лорд Орпингтон сидел на корме, закрыв лицо руками, чтобы не видеть панического бегства своих войск.

Генерал Тиббинс наклонился над ним.

— Сэр! Делегация правительства просит свидания с вами.

Сэр Чарльз поднял голову, и глаза его сверкнули бешенством.

— Правительства? Какого правительства? Какого черта им нужно?

— Делегаты просят предоставить им перевозочные средства, чтобы сесть на корабли и избежать расправы.

Лорд Орпингтон встал и захохотал.

— Что? Они хотят ехать? Куда? В Наутилию? Что же они думают, что Наутилия помойная яма для каторжного сброда? Ха-ха-ха!

— Что же прикажете ответить, сэр?

— Скажите, что эта рвань может тонуть, как ей вздумается. Отчаливай!

Катер отвернулся носом от мола и понесся в открытое море, провожаемый воплями и стенаниями покинутых.

С кормы сэр Чарльз видел, как по покатым улицам бежали вниз к порту орды людей, нагруженных чемоданами, граммофонами, клетками с птицами и другим домашним скарбом. Все это стадо выло, ревело, спотыкалось, падало и неудержимо лилось вниз к спасительным водам залива, в которых была последняя надежда.

Офицеры, сидевшие в катере, услыхали, как представитель Гонория XIX саркастически засмеялся и отвернулся.

Представители правительства, выслушав ответ сэра Чарльза, осыпали удаляющийся катер градом проклятий и недолетевших камней и заметались в панике.

У края выдвинутой от набережной в лагуну деревянной пристани стоял один из транспортов наутилийской эскадры, вошедший ночью с моря, чтобы покрасить борты. Кто-то из воющей толпы зацепил его глазами. Отчаяние подсказало ему план действий.

— Транспорт!.. Захватить транспорт! — завопил он, и весь обезумевший муравейник рванулся на пристань. Но на транспорте поняли опасность и отшвартовались, спешно принимая на борт последних запоздавших солдат. Когда толпа достигла пристани, между ней и бортом транспорта плескалось уже зеленое масло воды.

Толпа замялась, но, сдавленная напором задних, покатилась на мостки.

Очевидцы рассказывают, что именно здесь погибли самые именитые и доблестные граждане. Первым покатился под ноги и был смят в омлет генерал фон Брендель, до

последней минуты не выпустивший из рук маршальского жезла, и тут же испустила дух бывшая супруга президента Аткина.

Толпа сбилась на мостках в тесное месиво, сталкивая передних в воду.

Вдруг над скопищем прижатых друг к другу человеческих голов появилось нечто шарообразное с привязанным к нему желтым чемоданом и покатилось по головам, как футбольный мяч по полю.

Это Антоний Баст в последнем отчаянии стремился опередить сограждан.

Но он не успел докатиться до края пристани. Мостки затрещали, шатнулись, и сплющенные, сдавленные тысячи посыпались в воду в грохоте рухнувших свай и досок, огласив рейд последним смертным ревом.

По улицам к гавани уже неслась, склонив пики, ассорская кавалерия.

. . . .

Эскадра развернулась в кильватер и покидала злосчастный берег Итля.

Сэр Чарльз стоял на спардеке, подавленный и уничтоженный. Вахтенный лейтенант осторожно приблизился к потрясенному полководцу.

— Сэр, будем мы салютовать национальному флагу Итля?

Сэр Чарльз недоуменно отшатнулся от подчиненного и метнул глазами на берег. Над скалами еще трепетал флаг Итля. Ярко-зеленый и сиренево-розовый. Цвета надежды и мечтательной меланхолии.

— Идиот! — сказал с яростью лорд Орпингтон и быстрыми шагами ушел с палубы.

Корабли развили полный ход. Тяжелая, чистая волна хлестала в борты, смывая с них остатки налипшей нефти.

ЗАНАВЕС

Утренний туман лежал над морем серебристым тяжелым занавесом.

На молу, спустив ноги, сидел старый оборванец и снастил крючки удочки жирными червями.

Сзади застучали по известняковым плитам крепкие шаги. Кто-то шел, напевая веселую песенку.

Рыбак повернул голову и увидел подходящего.

— А, Коста! Здравствуй! Я знал, что ты вернешься ко мне. Политика скучная вещь, а главное — непонятная. Ну, что же, садись. У меня как раз есть для тебя лишний перемет.

Но подошедший улыбнулся уголком рта.

— Нет, старый водяной,— сказал он,— на этот раз ты промахнулся. Я пришел, чтобы окончательно проститься. Ты был добрым другом, и я хочу пожать тебе руку.

Рыбак вытаращил глаза.

— Ты, значит, хочешь продолжать эту высокую канитель? Ты хочешь опять быть придворным какаду? Ты рехнулся.

Коста подтолкнул ногой коробку с червями.

— Старый упрямец! Больше придворных не будет. И королей не будет. Пришли настоящие ребята. Они приняли меня к себе и обещали забыть прошлое. Я пойду с ними. За ними будущее.

Атанас хмыкнул.

— И это все?

Коста замялся.

— Нет. Есть еще одно... Но ты не смейся... Видишь ли,— там эта барышня... Гемма, бывшая королева... Она бой-баба. Таких мало на свете, и если она дается в руки — нужно брать. И если бы там не было ничего, кроме нее, я все равно пошел бы, лишь бы она еще раз поцеловала меня, как в день, когда я увез из города ее и дохлого короля.

Атанас злорадно хихикнул.

— Иди! — сказал он.— Ты мне не нужен. Море не любит бабников и дураков.

— Прощай, Атанас,— ответил Коста.

Твердые шаги, удаляясь, смолкли.

Атанас покачал головой и вынул из коробки нового червя.

— Тьфу,— плюнул он на него, насаживая на крючок,— пропал человек.— Он размахнулся и, бросая удочку в воду, лукаво прищурился и прошептал: — А впрочем... будь мне на два десятка меньше... я тоже сделал бы так. Даже наверняка. Она — славная женщина.

Туман поднялся. Жизнерадостное солнце выплыло из глубин над молом, над Итлем, над миром.

<1925>

БУЙНАЯ ЖИЗНЬ

Глава первая
НОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Солнце стояло высоко. С клумб тянуло пряным запахом штамбовых роз и лакфиолей. На застекленной террасе дома семья собралась к завтраку. Из сада тяжелыми шагами, под которыми поскрипывали ступеньки, поднялся глава семьи Михаил Иванович Ткаченко, крепкий, набитый, как арбуз, мякотью, мускулами и жирком, в летнем чесучовом пиджачке.

Он только что вернулся с обхода конюшен и вошел на террасу мрачный, едва сдерживая готовую вспыхнуть ярость. Любимый жеребец Михаила Ивановича засек ногу, конюх не досмотрел, нога воспалилась, загнила, и вызванный ветеринар, покачав головой, сказал, что жеребца нужно пристрелить. Ткаченко, услыхав, что погибает лошадь, за которую он заплатил две тысячи, пришел в неистовство и кинулся с кулаками на конюха, но испугавшийся хохол бросился бежать, и приступ злобы остался не вылитым.

Михаил Иванович буркнул что-то неразборчивое в ответ на приветствия жены и двух дочерей, рванул стул и тяжко плюхнулся на него всей горой мускулов и жира. Жена пододвинула ему любимую газету «Друг», в которой редактор Крушеван, друг и приятель Михаила Ивановича, ежедневно доказывал пользу погромов.

Но и «Друг» не радовал сегодня обозленного хозяина. Наскоро пробежав погромную передовицу, Михаил Иванович перевернул страницу и углубился в международные телеграммы. Его внимание привлекла телеграмма

«Пожар в Оризоне с человеческими жертвами». Михаил Иванович прочел телеграмму до последней буковки и узнал о пожаре поселка, в котором погибло около четырехсот человек.

Он пожевал губами, наморщил лоб и вдруг спросил старшую дочь, гимназистку седьмого класса:

— Антонина! Где такое место, Оризона?

Застигнутая врасплох, Антонина подняла глаза от тарелки с творогом и, подумав немного, ответила:

— Не знаю, право. Не то в Америке, не то в Австралии.

Этого было достаточно, чтобы засевший внутри Михаила Ивановича гнев вырвался наружу с силой оризонского пожара. Газета полетела в сторону. Михаил Иванович треснул по столу кулаком, так что подпрыгнули чашки и одна выплеснула на свежую скатерть бурую струю кофе.

— Не знаешь? Не знаешь, дура полосатая! Не то, не то... А то, что за тебя деньги в гимназию платятся, это ты знаешь, корова? Чему вас, идиоток, там учат? Лиги свободной любви устраивать, напиваться, с мальчишками по постелям валяться да выкидыши устраивать... Возьму тебя из гимназии. Довольно! Все равно умней не станешь. Замуж и так можно выдать. А то еще дождешься приплода с ветру, кто такую дрянь возьмет?

Антонина закусила губы и с изумлением смотрела на отца. Ее глаза медленно, как булавочный укол кровью, наливались тяжелыми слезами. Мать вступилась за девушку.

— Ты что на нее набросился? Чем она виновата? Не может же девочка все знать. И потом, что за неприличие? При ребенке о выкидышах... Стыдись!..

Но вмешательство жены усугубило бешенство папаши. Он надулся черной кровью и, захлебываясь, рявкнул:

— Молчать! Кто здесь хозяин? Что хочу, то и делаю!

Младшая дочь, тринадцатилетняя девочка, в ужасе, искривив губы, с отчаянным ревом выскочила из-за стола и бросилась в дом. Мать перекрестилась и затихла. Ткаченко продолжал орать на Антонину.

— Я тебе покажу гимназию! Знаю, чем вы там занимаетесь. Любовников заводите, гимназисты по ночам у вас сидят, целуетесь, милуетесь. Завела небось себе хахаля? Говори?

Он вскочил со стула и с силой стиснул руку девушки. Она тоже встала и, смотря в глаза отцу, с нескрываемой ненавистью, сказала дрожащими губами:

— Никаких любовников у меня нет, но от вашего обращения я скоро повешусь на шею первому бродяге, чтобы освободиться.

У Ткаченко почернело в глазах. Такая неслыханная дерзость! Он поднял руку и вцепился в волосы девушки. Она закричала, и этот беспомощный крик окончательно лишил отца равновесия. Он стал таскать Атонину за волосы из стороны в сторону, шипя вздувшимися губами:

— Вот тебе, бродяга, вот тебе!.. Вот тебе!

Мать понуро сидела на стуле, опустив голову на руки, и ее худое тело тряслось от рыданий, но вмешаться она не смела, чтобы не сделать хуже. Она знала, что, когда на мужа налетает, лучше смолчать, потому что, осатанев, он мог дойти до убийства.

Антонина, беспомощно мотавшаяся за движениями руки Михаила Ивановича, споткнулась и упала на пол, сильно ударившись лицом об угол стола. Ткаченко выпустил ее косу и выругался.

— Притворяйся, черт тебя подери! Вставай, а то ногой подниму,— и занес ногу, чтобы ударить девушку в бок. Мать метнулась к нему, но в эту минуту из-под террасы, от ступенек прозвучал сильный и полный едкой иронии голос:

— Бог в помочь! Приятно видеть мир в семействе.

Ткаченко быстро обернулся на голос и подбежал к краю террасы, готовый обрушить свой пыл на новое действующее лицо.

На нижней ступеньке крыльца он увидел широкоплечего, загорелого молодого человека в синей сатиновой косоворотке, белой фуражке и парусиновых сапогах. Молодой человек смотрел на разъяренного хозяина и усмехнулся открытой, смелой улыбкой, показывая белые, как сахар, зубы.

— Неначе жартуете? — спросил он по-украински тем же полнозвучным голосом и тотчас же добавил по-русски: — Разумные развлечения облегчают жизнь.

— Ты кто такой? — рыкнул огорошенный Ткаченко.

— Положим, не ты, а вы, но это не так важно...

В голосе говорившего появился такой тембр, что Ткаченко показалось, будто к его голове приложили пузырь

со льдом. Он дернул плечами и уже пониженным тоном спросил:

— Как вы сюда попали?

— А так. Шел мимо, бачу у людей багацько весилля, а я сам чоловик веселый. Дай, думаю, гляну, може, и на мою долю весилля хватит.

— Да кто же вы? — спросил уже совсем тихо Ткаченко.

— А я, пане добродию, новый управляющий. Це ваша писулька? Мабуть вы просили у директора сельскохозяйственной школы, щоб вин прислав вам управителя. Так теж я и есть. Приихав.

Ткаченко стало неловко от этого уверенно-спокойного голоса, от открытой и яркой улыбки человека, стоявшего на ступенях, и он буркнул сердито:

— Не вовремя вы приехали. У меня тут семейные неприятности.

— Бувае,— согласился новый управляющий и равнодушно как будто, но с такой же уничтожающей холодной насмешкой прибавил: — А за волосья таскать не треба, бо я знав такой случай, що батька выдрал дочке косу, а лысу замуж не берут.

— Прошу без советов! — вспыхнув, сказал Ткаченко.

— Так хиба ж я советую. Я только рассказав, що було,— спокойно возразил управляющий. Ткаченко, сморщив лоб, сказал ему:

— Пройдите за дом во флигель, спросите экономку Горпину Григорьевну, она вам покажет помещение, устраивайтесь, а утром приходите в контору. Там поговорим.

— Дякую,— ответил управляющий и, повернувшись, легко и быстро ушел за дом.

— Тоже птица! — пробурчал вслед ему Ткаченко. А из-за его спины вслед ушедшему управляющему упорно смотрели заплаканные глаза Антонины, вспыхнувшие странным огнем.

Глава вторая

ВСТРЕЧА В САДУ

Прошло несколько недель. Строгий экзамен, который учинил Ткаченко новому управляющему на следующее утро после его неожиданного появления, удовлетворил да-

же такого придирчивого и мелочного хозяина, как Михаил Иванович. Новый управляющий знал все, что требовалось по большому сельскому хозяйству Ткаченко, и на все вопросы помещика отвечал неторопливо, спокойно и точно. Михаил Иванович даже расчувствовался и пригласил управляющего обедать у себя, чего никогда не делал по отношению к прежним управляющим. Но к его удивлению управляющий, вежливо поблагодарив, отказался.

— Что ж вы, Иван Васильевич, брезгуете моим столом? — насупясь, спросил обиженный Ткаченко. Управляющий поднял на него карий веселый взгляд.

— И в думке не було,— сказал он, пожав плечами.— А только лучше мне самому столоваться. Пока мы с вами не ссоримся, оно ничего, а поссоримся, вы меня и попрекнете столом. Был уже у меня такой случай, так вот больше не хочу.

— Ну, как знаете. Была бы честь предложена,— сказал сухо Ткаченко и ушел в дом.

Иван Васильевич действительно оказался кладом для имения. Чуть занималась заря, к его крыльцу подавали серого в яблоках коня и он на целый день уносился в поля. Работа под его глазом спорилась, всех он умел подбодрить и приохотить к труду. На баштанах наймичкиполтавки, едва завидев издали белую фуражку управляющего, радостно улыбались во весь рот и говорили между собой:

— Бачьте. Ясно сонечко йиде.

Иван Васильевич подъезжал, бросая одну-другую шуточку, лица девушек расцветали, новая сила появлялась в усталых руках, легче разгибались спины, сожженные июльским степным зноем, ломившие от согнутого положения.

Конюха при Иване Васильевиче присмирели и перестали пьянствовать. Главный конюх Афанасий, цыган, напился в первые дни приезда и набуянил, отказавшись чистить коней. Иван Васильевич, услыхав, немедленно появился в конюшне.

— Ты что же, Афоня, дурить вздумал? — весело сказал он.— Ты, брат, это дело брось!

Афанасий кинул на управляющего косой взгляд налившихся кровью выпуклых глаз.

— Уйдить, Иван Васильевич,— шепнул управляюще-

му второй конюх Гаврилка.— Бо вин як напьется, то удержу немае. Ще вдарить, а в его ручище у-у-у. Коням хребты ломае.

Но управляющий отмахнулся от Гаврилки и продолжал разговор с Афанасием:

— Слухай, Афоня! Я цего не люблю. Дило так дило, а пьянство так пьянство. Когда дило зробишь, то пей хоть до смерти. А пока дило стоить, щоб мени пьянства не було. Зараз чисти коней!

— Геть до чертовой бабушки! — взревел Афанасий.

— Ты не кричи,— ответил, не моргнув глазом, Иван Васильевич.— Я крику не боюсь. А коли ты коней не почистишь, то вот тоби сказ, ходи завтра за расчетом.

Афанасий прорвался. Он схватил стоявшую в углу оглоблю и с ревом кинулся на управляющего.

— Ось тоби расчет!

И тут конюха увидели неслыханное. Уже опустившаяся со свистом оглобля была остановлена в воздухе правой рукой управляющего и вырвана из Афониной руки, как тросточка. Затем управляющий схватил Афанасия за ворот рубахи и, подняв на воздух, поднес к лошадиным яслям и ткнул лицом в сено.

— Воды! — крикнул он разинувшим рот конюхам. Притащили ведро ледяной колодезной воды, и Иван Васильевич, одной рукой прижимая Афонину голову к яслям, другой вылил на него воду и только тогда отпустил.

— Это тебе на первый раз наука. Кони неповинны, що ты пьяница. За ими треба уход. А со мной лучше в драку не лезь, бо я твои кости по двору растыкаю, як подсолнухи.

Афанасий, тяжело дыша и отфыркиваясь от воды, молча взял скребницу и, понурив голову, пошел чистить лошадей, пошатываясь и мотая головой, как очумелый, а управляющий, посмеиваясь, ушел из конюшни.

— Ну, Афонька,— сказал Гаврила,— стривай! Завтра полетишь в три шеи. Тильки тебе и видали. Доигрался!

Но, к удивлению всех, Афанасий остался и управляющий даже ни слова не сказал Ткаченко про столкновение. После этого между рабочими экономии Иван Васильевич прослыл за своего человека. К нему стали ходить за советами, а потом и за врачебной помощью. Одной девке на баштане сапкой порезали ногу, рана загноилась, девка

лежала в жару. Иван Васильевич заметил ее отсутствие на баштане и, узнав о ранении, приказал привести ее к себе на квартиру. Он промыл рану, залил ее йодом, перевязал чистой холстиной, и нога быстро зажила. С тех пор по вечерам после работы у крылечка флигеля стояла очередь пришедших лечиться. Ткаченко заметил, однажды проходя по двору, такое скопление и на утро спросил управляющего:

— Чего это у вашего крыльца лодыри толкутся каждый вечер?

— Это не лодыри. Это больные.

— Больные? — протянул Ткаченко.— Что ж они у вас делают?

— А я их подлечиваю немного. У меня домашняя аптечка.

— Охота,— пожал плечами Ткаченко,— на них все само заживает, как на собаке. А если их лечить, так они и в самом деле разнежничаются. Плюньте вы на это дело. Мужика надо кулаком по зубам учить. Повидали мы православного мужичка во время революции. Кто-кто, а мы знаем, как мужика лечить и как учить.

Иван Васильевич ничего не ответил и только поглядел на спину уходящего Ткаченко заискрившимися глазами. Покачал головой и, резко повернувшись, пошел в сад посмотреть, как окапывают деревья для поливки. Проходя аллеей мимо сиреневой беседки, он заметил вдалеке на скамье женскую фигуру.

Антонина с первого появления управляющего почувствовала в нем человека совсем другого склада, чем ее отец и окружающие помещики. Он напомнил ей студентов, с которыми ей приходилось встречаться в зимнее время, когда она жила на квартире в городе, учась в гимназии, и девушка, томившаяся летом в доме отца, запуганная и мучившаяся, заинтересовалась управляющим. Но он не обращал на нее никакого внимания и даже как будто избегал. Несколько раз в саду, заметив издали ее фигуру, он сворачивал на боковые тропинки, как будто не желая встречаться, а при случайных столкновениях лицом к лицу вежливо приподнимал фуражку и проходил, даже не взглянув.

Но на этот раз управляющий шел прямо по аллее. Антонина закрыла книжку и смотрела на подходящего Ивана Васильевича. Он подошел вплотную и, как всегда,

коснулся рукой фуражки, но остановился и вдруг спросил:

— Мечтаете, барышня?

Антонина вздрогнула от его голоса и, беспомощно опустив голову, сказала:

— О чем мне мечтать?

Управляющий стер с лица официально-вежливую улыбку и внимательно посмотрел на вспыхнувшие щеки девушки.

— Я не так выразился. Не мечтаете, а обдумываете «семейные неприятности»,— проговорил он, напирая на слова. Антонина еще сильнее покраснела и почувствовала набегающие на глаза слезы.

— Вы смеетесь надо мной. А мне так тяжко, так мучительно. Я готова бежать куда угодно из этого дома.— Она опустила голову и вдруг почувствовала, что ее руку взяла твердая и горячая рука.

— Вот как! Ого-го! Плохо, барышня. Видно, несладок отчий хлебец,— услыхала она раздумчивый и ласковый голос.— Что же делать будем? А?

— Научите, Иван Васильевич,— вырвалось у Антонины со слезами,— кроме вас никого здесь у меня нет. Отец и мать чужие. Не могу я с ними жить. Не знаю, как вообще нужно жить, ничего не знаю, а дальше так жить не могу.

— Так-так,— сказал Иван Васильевич,— вот оно что. Отцы и дети. Идейная катастрофа. Ну что ж. Давайте побеседуем. Приходите-ка ко мне вечерком после ужина. Может, чем-нибудь и помогу. Человек я небольшой, а все же.

— Хорошо,— ответила Антонина, но вдруг потускнела: — Только как же это сделать?

— А что?

— После ужина ведь у нас все двери запираются. А если отпирать, отец услышит, тогда совсем убьет. Не смогу я.

Иван Васильевич ухмыльнулся.

— Неопытная вы еще птица. Этаж-то первый? Окно есть? Ну, раз, два и готово. А папенька пусть храпит.

— Правда! Значит, ждите. Обязательно приду,— сказала повеселевшая девушка и убежала, подпрыгивая. Иван Васильевич посмотрел ей вслед.

— Так и лучше,— сказал он тихо,— начнем борьбу с удара в сердце врага.

Глава третья
НОЧНОЙ РАЗГОВОР

Черная, сереброзвездная ночь поникла над затихшим имением Ткаченко. Погасли огоньки в службах и в помещичьем доме. За гумном лихо звенела тальянка конюха Афоньки, соблазнителя всех полтавских девок, приходивших на летние работы в имение, и на ее звуки прокрадывались чуть видные в темноте тени, позванивая стеклянными монистами.

Михаил Иванович, солидно откушав на ночь, завалился на боковую, и дверь спальни тихо подрагивала от его богатырского храпа. Антонина привстала на постели, прислушалась, осторожно спустила ноги на пол и быстро оделась. Встала и, придерживая рукой бьющееся живой птицей сердце, сделала шаг к окну. Половица протяжно скрипнула, и девушка замерла, испуганно прислушиваясь. Но все было по-прежнему тихо. Задыхаясь, она бесшумно отодвинула шпингалеты и распахнула окно. Свежий, благоуханный воздух из сада пахнул ей в лицо успокоительной прохладой. Она стала на подоконник, свесила ноги вниз и, придерживаясь на мускулах, неслышно опустилась в росную под окном траву. Огляделась и быстрыми шагами, на цыпочках, помчалась к флигелю, в окошке которого горел огонек. Добежав до окна, она остановилась, заколебалась, но, решительно тряхнув головой, шагнула вперед и тихонько тронула пальцами стекло. За занавеской метнулась тень, угол занавески отодвинулся, мелькнул глаз, и голос управляющего прошептал: — Идите. Дверь открыта.

Не помня ничего от страха и волнения, Антонина ворвалась в крошечную прихожую, дернула ручку двери и остановилась на пороге, ослепленная светом лампы.

— Входите, не бойтесь,— встретил ее веселый оклик Ивана Васильевича, и он крепко пожал ей руку.— Садитесь, будьте как дома. Я, по правде сказать, сомневался, что вы придете. Думал, струсите. А вы молодец.

Взволнованная и дрожащая, Антонина опустилась на простенькую кушетку. Зубы ее выбивали дробь. Иван Васильевич взял ее руки.

— Ишь какие холодные. Продрогли, голубушка. Я вас сейчас чайком напою.

— Нет, нет,— запротестовала Антонина,— я ничего не хочу. Это не от холода, а от волнения.

— Ну, волноваться не стоит. Первое дело хладнокровие. Если чаю не хотите, давайте сразу разговаривать. Ну, что у вас на сердце, выкладывайте.

Девушка на мгновение замялась, не находя слов. В глаза ей смотрели внимательные, добрые, настороженные глаза управляющего. И, как будто почерпнув в их теплой глубине и нужные силы, и нужные мысли, она торопливо, сбиваясь, путаясь и трепеща, заговорила, спеша высказать все, что наболело в ее маленьком сердце.

Кончила и расплакалась. На ее голову легла мягким прикосновением дружеская рука.

— Так! Поплачьте! Это ничего. Напоследок можно поплакать, чтоб потом уже больше не плакать никогда.

Антонина вытерла слезы и жадно взглянула на Ивана Васильевича. Губы ее дрожали. Он нежданно нахмурился.

— Ждете ответа? Ясно! Что же, дело самое простое. Тысячи людей ищут ответа на эти самые вопросы, и ответ один. Выход в борьбе. В борьбе беспощадной и без сантиментов. Сын против отца и брат против брата на смерть. Забыть все связи и путы, отречься от всего и идти в бой. В этом и ваше спасение, милая девушка. Но хватит ли у вас для этого сил и решимости?

— Помогите мне, Иван Васильевич! Я на все готова, только бы уйти от этой жизни.

— Уйти от жизни легко. Надо уметь принять другую жизнь, которая, может быть, окажется еще тяжелее теперешней. Жизнь гонимого зверя, который не имеет своего угла, который...

— Вы ведь живете этой жизнью, Иван Васильевич? — спросила неожиданно девушка, перебивая его слова. Управляющий опешил на минуту.

— А кто вам сказал, что я живу этой жизнью? — почти строго спросил он.

— Никто. Я сама... догадалась,— робко потупясь, ответила она.

— Хорошо. Допустим. Но я знаю эту жизнь и знаю, как нужно идти с ней в ногу. Это знание далось тяжким опытом. Выдержите ли вы его?

Мгновенная пауза и решительный вздрагивающий голос:

— Выдержу.

Даже если бы вам сказали, что вы должны во имя блага других убить вашего отца, и дали бы вам в руку оружие?

Еще тяжелая тишина и опять дрожащий от напряжения голос:

— Только не сразу... Потом... Сейчас я еще не могу.

Крест морщин на лбу управляющего медленно расплылся, разгладился. Он встал.

— Правильно. Это вы верно сказали. Не сразу. Сразу ничего не делается. Сразу только дураки топятся. Конечно, не сразу. Сначала вам нужно узнать о той жизни, которая предстоит вам после отречения. А потом увидим.

— Расскажите, Иван Васильевич,— проникновенно сказала девушка, прижав руки к груди.

— Ишь какая вы жадная,— улыбнулся он.— Поздно сегодня. Второй час. Скоро светать начнет, вам нужно до свету назад попасть, а то черт знает что будет. Сами знаете. Денька через два я вам опять скажу, когда можно будет прийти. А пока вот возьмите, почитайте на досуге, да храни вас судьба, чтобы папаше не попасться. Тогда и вам и мне и многим крышка. Сумеете спрятать?

Он протянул Антонине пачку цветных книжек. Она крепко схватила ее.

— Сумею. Мы в гимназии от классных дам романы всегда за лифчик прятали,— со смехом сказала она и вдруг вспыхнула румянцем.

— Ну, романы особь статья,— ответил Иван Васильевич, как бы не замечая ее смущения.— Это покрепче надо прятать. Ну, бегом!

— До свидания, Иван Васильевич. Спасибо вам,— прошептала Антонина и, крепко схватив его руку, невольно прижалась к нему. Он ласково погладил ее по плечу.

— Постойте, я выгляну, нет ли кого на дворе.

Они вышли в переднюю. Иван Васильевич открыл дверь и выглянул во двор. Далеко на востоке сквозь черноту ночи пробивалась синяя полоска. В курятнике сонно прокукарекал петух. Кудлатый дворовый пес Сенька заворошился на крыльце и, встав, потерся о ногу управляющего.

— Никого,— шепнул Иван Васильевич.— Бегите.

Тоненькая тень метнулась с крыльца и побежала по аллее. Иван Васильевич закрыл дверь. Антонина бежала напрямик, через лужайку, чувствуя, как ночная роса

бодрящим холодком обдает ноги сквозь чулки. Добежав до окошка, она ощупала лифчик. Книжки были там. Она вздохнула спокойней, оглянулась, поставила ногу на выступ стены, ухватившись руками за железо подоконника, и одним взмахом подбросила тело кверху. Из-под железа подоконника с шуршанием посыпались комочки штукатурки. Сидя на подоконнике, Антонина прислушалась, но шорох комочков был так слаб, что только ее взбудораженным чувствам показался ударом грома.

Ночь оставалась тихой и непотревоженной.

Девушка, сидя на подоконнике, сбросила туфли и спустилась на пол. Поставила туфли у кровати, сняла платье. Подошла в угол, где перед иконой горела голубая лампадка, и вытащила из-за лифчика спрятанные брошюры. Они были теплые от тела и нежно грели захолодевшие руки. При колеблющемся огоньке лампадки она с трудом разбирала названия книжек: «Политические партии в России и их программы, издание Парамонова», «Почему землею владеют помещики, а не крестьяне».

Легкий испуг и вместе радость кольнули девушку в сердце. Она подошла к шкафу, открыла его, достала картонку, приподняла лежавшие в ней шляпки и перчатки и глубоко засунула под них книжки. Спрятала картонку обратно, перекрестилась на икону, темные глаза которой с явным недоумением следили за ней, и, прошлепав босыми ножками по полу, улеглась в постель.

Глава четвертая
БИТВА РУССКИХ С КАБАРДИНЦАМИ

Хозяйство Михаила Ивановича шло своим чередом. Михаил Иванович по-прежнему ругал рабочих, тыкал крестьянам-потравщикам, приходившим к нему с просьбами отпустить захваченный скот, кнутовищем арапника в бороды и держал в страхе и трепете семью. По-прежнему неустанно работал на молотьбе Иван Васильевич и лечил рабочих, по-прежнему Антонина сжималась за столом под взглядом отца, а ночами, уже без страха, по проторенной дорожке бежала во флигель управляющего.

Там читались вслух жаркие книжки, и Иван Васильевич растолковывал девушке прочитанное, объясняя все простыми и понятными словами и примерами. У Антони-

ны загорались глаза, и она слушала, боясь проронить хоть одно слово.

В одну из таких ночей Иван Васильевич предложил Антонине:

— Вот что, друг мой. Дело вам какое-нибудь нужно, хотя бы маленькое. Сил у вас много, а исхода им нет. Одними моими сказками сыты не будете. Надо вам чем-нибудь заняться. Так вот на первое время я и придумал вам работу. Не справляюсь я со своей лекарской практикой. Лапа у меня тяжелая, грубая, а тут дело деликатное: в ране поковыряться, повязку отмочить, растереть, помассировать. Помогли бы мне. А?

— Я! Я с восторгом, Иван Васильевич, да ведь папа не позволит.

— А на кой шут его спрашивать? Ведь это не то, что по ночам в окошко драла давать. Тут все на виду, и папаше вашему можно бы понять, что для него же выгодней, если у него рабочие хворать не будут. Завтра прямо и приходите после обеда. А если папаша заупрямится, я ему такое павлинье слово скажу.

На следующий день после обеда Антонина, немножко трусящая, появилась во флигеле во время врачебного приема у Ивана Васильевича и принялась за работу по его указаниям. Сперва робела и путалась, но быстро освоилась. Мягкие женские руки пришлись ко двору в этой работе, и одна дивчина, которой Антонина меняла компресс на огромном нарыве, сказала ей, улыбаясь:

— Оттеж гарно! Ни трошечки не болыть, бо в вас, паненка, ручка, як те крылышко, легкая. А Иван Васильевич дуже тягне, аж терпеть не можно.

Антонина вспыхнула от радости и робко взглянула на Ивана Васильевича. Он ласково улыбнулся ей. Дрогнуло сердце у девушки от этой улыбки, и, чтобы скрыть свой трепет, она низко нагнулась над очередной пациенткой.

Кончив работу, она вымыла руки и, попрощавшись с Иваном Васильевичем, вышла во двор. Полная бодрой радости, она размашисто шла по двору, не замечая, что на крыльце дома стоит Михаил Иванович и с гневным недоумением наблюдает за ней. Она уже хотела войти в дом с черного хода, когда до ее ушей долетел отцовский окрик:

— Антонинка!

Она остановилась, как подрезанная, и с ужасом взглянула в сторону окрика. Михаил Иванович, сходя с крыльца,

манил ее пальцем. Чувствуя, что ноги подгибаются, она неверными шагами подошла к отцу, крепко сжав локтями бока, как будто желая поддержать себя.

Михаил Иванович несколько мгновений молча смотрел на нее сверлящими глазками.

— Ты что там делала? — спросил он, неприятно растягивая слова.

Антонина взметнула ресницами и сейчас же вновь опустила их.

— Я... помогала Ивану Васильевичу перевязывать больных.

— Как? А кто тебе позволил, кобыла? Как ты смела?

Услыхав грубое ругательство, Антонина ощутила, как к горлу ее подкатывается горячий ком злобы, мешая дышать. Она коротко и шумно вздохнула.

— Что ж тут плохого, папа? Они ведь тоже люди и мучаются.— И, чувствуя безнадежность своего оправдания, добавила слышанное от Ивана Васильевича: — Да и тебе же выгоднее, чтобы рабочие не болели.

— Что? — переспросил Михаил Иванович, и тугие щеки его запрыгали от злобы,— это еще что? Кто тебя этому научил? Отцу возражать, дрянь? Я тебя!

Он занес руку, чтобы наградить дерзкую оплеухой, но в этот момент от флигеля прозвучал голос управляющего:

— Погодите, Михаил Иванович! Если уж вам драться, так со мной, а не с девочкой.

Рука Михаила Ивановича остановилась на полдороге. Он обернулся. Управляющий быстро, почти бегом, подходил к нему. Михаил Иванович забыл про Антонину и набросился на управляющего.

— Вам какое дело? Вы кто такой, чтоб вмешиваться! Сопляк! Молокосос!

— Эге, сколько вы слов знаете всяких. За вами, пожалуй, и не угоняться,— спокойно возразил Иван Васильевич.— А дело мое такое, что я вашу дочь пригласил мне помогать, так я и в ответе. Извольте со мной и разговаривать.

— А, вот что! Вот как? Детей совращать? Революцией заниматься! Мало вам было нагаек, сукиным детям! Мало? Так еще получите. К исправнику, в острог,— заорал вне себя от бешенства Михаил Иванович.

— С вами в родстве не состою, потому и не сукин сын,— отрезал тоже вспыливший Иван Васильевич.

Ткаченко даже подпрыгнул на месте от оскорбления.

Рука его нащупала рукоятку арапника за поясом, он вырвал его, и, прежде чем Иван Васильевич успел поднять руки, хлестнувший арапник оставил на его щеке горячий красный след.

То, что произошло дальше на глазах сбежавшейся дворни, показалось сказкой.

Иван Васильевич с белым лицом подскочил к Ткаченко, схватил его поперек пояса, поднял шестипудовое тело над головой и с размаху пустил им в закрытую дверь дома. Филенка с треском вылетела, и Ткаченко скрылся в проломе.

Иван Васильевич стоял, сжав кулаки, и тяжело дышал. Минуту спустя из-за двери донесся ревущий стон Ткаченко:

— Убили... каррраул! Люди... тащите ружье, стреляйте разбойника. Умираю!

— Ничего, отдышишься, сволочь,— сказал с нехорошей усмешкой управляющий и, повернувшись к дрожащей Антонине, прибавил: — Простите, Антонина Михайловна. Ничего не поделаешь. Вышла битва русских с кабардинцами.

И, махнув рукой, пошел к себе во флигель.

Михаил Иванович действительно отдышался. Крепкая помещичья голова не лопнула от соприкосновения с дверью, только на темени вскочила шишка. Наскоро положив примочку, Михаил Иванович потребовал заложить лошадей.

— Сию чтоб минуту! Поеду к исправнику. Я его в каторгу загоню. Крамольник, бунтовщик! Повесить его!

Когда подали лошадей, Михаил Иванович вылез на крыльцо с заряженной двустволкой в руках, испуганно косясь на флигель. Но там все было тихо. Михаил Иванович плюхнулся на сиденье тачанки и не своим голосом закричал Афоне:

— Гони!

А в ночь в окошко Ивана Васильевича, как всегда, постучала Антонина. Он открыл дверь и, увидя ее лицо, испугался.

— Что с вами?

— Иван Васильевич! Бегите, милый! Отец за исправником поехал. Вас арестуют за бунт.

— Вот беда! Если мне от исправников бегать — жизни не хватит. Да чего вы так разволновались? Лица на вас нет!

— Я за вас... я очень волнуюсь... Я не могу,— девушка запнулась и, видя устремленный на нее с ласковым недоумением взгляд управляющего, выкрикнула с отчаянием утопающего: — Я не могу без вас, я люблю вас,— и закрыла лицо руками.

В тишине, которая показалась ей страшной, она услыхала, как он подошел к ней, и его пальцы отняли ее ладони от пылающего лица. Он поднял ее лицо за подбородок и посмотрел в самую глубину глаз властным взглядом.

— Любишь? — спросил он глухим голосом,— правда? Любишь крепко?

Девушка не отвечала и только дрожала вся в его сильных руках.

— И пойдешь со мной? На мою собачью бесприютную жизнь? От всего отречешься?

— Пойду, Ваня,— истерически крикнула она, и его губы перехватили с ее губ этот болезненный крик и прожгли ее небывалым ощущением сладости и горечи.

Маленькая лампа на столе мигнула и погасла.

Рано утром на двор имения вскочили два экипажа. В первом сидел Михаил Иванович с исправником, во втором — четверо стражников. Они выскочили из экипажей и побежали к флигелю. Стражники забарабанили ножнами шашек в дверь. Дверь открылась, и показался Иван Васильевич.

— Вы Иван Твердовский? — спросил исправник и на утвердительный ответ сказал грубо: — Собирайте вещи, вы арестованы.

— Я уже собрал,— весело ответил управляющий, показывая узелок.

— Тогда садитесь!

— Ладно. Только будьте добры взять и мою жену. Ей деваться некуда. Тоня, иди!

И пред глазами обомлевшего Михаила Ивановича появилась бледная, но спокойная Антонина. Михаил Иванович взвизгнул:

— Негодяй!.. Мерзавец!.. Арестуйте его!.. За бунт и за совращение малолетних.

— Ну,. уж это вы, папаша, врете! Она мне жена добровольно. Садись, Тоня!

— Не пущу,— завопил Ткаченко,— господин исправник, не слушайте! Не берите ее! Я не согласен.

— У вас есть документ о венчании? — спросил исправник управляющего.

— Нет.

— Тогда не могу идти против воли отца. Придется вам, барышня, остаться.

— Ну что же? Не отдаешь добром, хуже будет, когда приду за ней,— сказал с угрозой Твердовский и поцеловал помертвевшую Тоню. Потом решительно вскочил в тачанку, стражники сели по бокам, и кони вынесли тачанку за ворота. Антонина вскрикнула и упала на руки исправника.

Глава пятая

ДО СВИДАНИЯ, МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ

В уездном городишке, куда стражники привезли Твердовского, его заперли в старинную кордегардию, оставшуюся от александровских времен, приземистое здание желтого цвета с неизбежными белыми колонками по фасаду. Толщина стен кордегардии напоминала крепостные казематы, а узкие окошечки были забраны решетками, с прутьями в большой палец толщиною.

Стражники втолкнули Твердовского в единственную камеру этого места заключения, носившую благозвучное название «вонючки», и удалились. Твердовский огляделся.

В большой, отдававшей душной сыростью комнате с каменным полом, полутемной от маленьких окон, на разбитых вдоль стен нарах сидело и лежало несколько десятков людей. Тут были и крестьяне, арестованные по жалобам помещиков, и бродяги-беспаспортники, «не помнящие родства», и воры «марвихеры», и другая уголовная шпанка.

Десятки глаз устремились на нового постояльца и в молчании разглядывали его.

— Здравствуйте, люди добрые,— сказал Твердовский, снимая фуражку.

Никто не пошевелился на приветствие. Несколько голосов нехотя пробурчали в ответ что-то невнятное. Твердовский подошел к нарам, ища свободного места, где бы он мог положить свой узелок.

Но он не успел этого сделать. Узелок с силой вырвали у него из рук сзади.

Твердовский обернулся и увидел свой узелок в руках у приземистого рыжего детины с низким лбом и тускло глядящими свинцовыми глазками. Это был староста камеры, старый каторжник-убийца Шмач. Он в третий раз бегал с каторги и сейчас, пойманный в уезде, ожидал отправки в губернский централ.

Его огромная сила и слава старого волка делали его царем и богом в этой толпе, большинство которой состояло из мелких воришек и случайно, впервые, попавших в тюремную обстановку людей.

— Отдай узел! — сказал Твердовский, повысив голос и приближаясь к нему. Шмач глухо заржал:

— Вишь какой прыткий. Помалкивай, а не то я тебе салазки загну, так небо с овчину покажется.

— Отдай, говорю!

— А ты возьми попробуй,— продолжал издеваться Шмач. Твердовский протянул руку, Шмач наотмашь ударил по ней, но Твердовский успел захватить его кисть и сжал.

— Ну, пожми, пожми,— проворчал Шмач с улыбкой,— эх ты, фраер малахольный!

Твердовский молча продолжал сжимать руку. На лице Шмача появилось выражение недоумения и недовольства.

— Пусти,— глухо сказал он.

— Отдай узел.

— Пусти, черт, а то кишки выпущу.

Твердовский молча жал. Заинтересованные арестанты окружили ссорящихся. Лицо Шмача побагровело, и губы дернулись болезненной судорогой, но он не хотел осрамить свою репутацию перед камерой. Твердовский жал. В тишине было слышно только, как похрустывали суставы в ладони Шмача, и вдруг из-под ногтей его брызнули тонкие струйки крови, и в ту же минуту раздался отчаянный вопль:

— Пусти!

Твердовский вырвал свой узел из левой руки Шмача и отпустил его ладонь. Схватившись за посинелую кисть и глухо рыча, Шмач медленно отошел в угол и сел на нары. Твердовский с жалостью посмотрел на него.

— Говорил же я тебе, дураку,— отдай узел. Не послушал — сам виноват.

Арестанты возбужденно болтали между собой. Победа над страшным Шмачом была в их глазах необыкновен-

ным геройством. Твердовскому быстро очистили место на нарах и предложили чаю. Он стал отхлебывать жидкую бурду, закусывая хлебом с огурцом и разглядывая своих соседей. Его внимание привлекла фигура белокурого великана крестьянина, понуро сидевшего недалеко от него и не обращавшего внимания ни на что. Он сидел, смотря в одну точку голубыми, светлыми глазами, и, ритмически раскачиваясь, думал какую-то свою думу. Напившись чаю, Твердовский подошел к голубоглазому и тронул его за плечо.

— О чем задумался, детина?

Белокурый вздрогнул и посмотрел на Твердовского с застенчивой детской улыбкой.

— Так... Важко,— сказал он с режущей горечью,— за що страдаю, за що мучаюсь промеж злодиями?

— А за что ты сюда попал?

— Та верба, будь она проклята!

— Какая верба?

— Та у пана на гребле. Спилив ее хтось в ночь, а я тут мимо ихав. Бачу, на гребле хворост валяеться, дай подберу — все для дому гоже. А чуть с гребли з'ихав,— пан на коне. Увидел мене и кричить: «Стий!» Ну я став. А вин подскакав та мене нагаем по спине. «Вор, разбишака! Ось хто у мене вербы пидпилюває». Я кажу: «Тю на вашу вербу. Чи вы сказылысь?» А вин выймае пистолю и каже: «Вертай за мной...» Доихалы до экономии, вин приказав черкесам мене выпороть, а потим отправил к становому. Вот и сижу. У, лайдак, холера!

Твердовский внимательно посмотрел на парня, соображая.

— А ты в самом деле не пилил вербы?

— Та ни ж, хай ей черт.

— Значит, тебя ни за что выпороли? — продолжал Твердовский невинным тоном. При упоминании о порке парень посерел и заскрипел зубами.

— У,— промычал он,— попався б мени пан в чистом поле без пистоли...

— А что бы ты ему сделал?

Парень дернулся.

— Ноги б ему пидпилив, як тую вербу.

Твердовский усмехнулся.

— Я вижу, что ты подходящий малый. Как тебя зовут?

— Степан. А по фамилии Иванишин.

Твердовский оглянулся и пригнулся к плечу собеседника.

— Плохо тебе будет,— шепнул он.

— А що, засудять? — спросил, ляскнув зубами, парень.

— И засудят и еще выпорют. На то тебе мужицкая шкура и дадена.

— Ой, лышечко. Що ж робыть?

— А вот что. Мне суда ждать нельзя, мне тоже плохо будет. Надо в бега. Давай вместе. Ты мне помогай, а я тебе. На барскую совесть надежда плоха. А когда выйдем на свободу, не будем расходиться. Мы с тобой и твоему пану и другим панам такой праздник устроим, что сто лет помнить будут. С панами, брате, не словом, а дубьем говорить надо.

— Добре! Це ты гарно балакаешь. Хорошо б на волюшку,— радостно сказал парень и сразу нахмурился.

— Как убежишь? Бачь, яки стены та решетки настроили для бездольного люда. Ни в раз не убечь.

— Пустое,— ответил Твердовский,— руки у тебя не бабьи, да и меня мать-земля силенкой не обидела. Ты знаешь, где тут отхожее?

— Знаю, в кутке. По колидору. На задний двор.

— Ну вот. Когда повечеряем, отправляйся будто по нужде, а за тобой и я. А там вместе осмотримся и, может, к полночи будем на волюшке. А не этим — другим путем уйдем.

Глаза парня засверкали надеждой. Он протянул руку Твердовскому.

— Спасибо, добрый чоловик. Як тебе звать?

— Иван.

— Ну, брате Иване, як выйдем на волю, то я для тебе все зроблю.

— Слово? — спросил Твердовский.

— Ей-бо...

Они пожали друг другу руки и разошлись. После ужина парень по знаку, поданному Твердовским, подошел к двери и попросился у инвалида-ключаря выйти. Инвалид открыл дверь.

— Иди, небога,— сказал он. Нравы в кордегардии были патриархальные, и заключенных в отхожее никто не провожал. Спустя несколько минут попросился и Твердовский. Инвалид выпустил и его, проворчав:

— Ишь разбегались. Баланды обожрались?

Едва Твердовский скрылся за углом коридора, двое воришек затеяли драку. Драка была поднята нарочно, потому что после разговора с Иванишиным Твердовский уговорил воришек за три целковых затеять свалку, чтобы отвлечь внимание сторожей. Оба воришки вцепились друг другу в волосы и катались по полу, неистово визжа. На шум поднялся из-за угла развенчанный Шмач, подошел к дерущимся и, не говоря ни слова, со всего размаха ткнул их ногой. Оба вскочили.

— Ты, король дырявый, чего лезешь? — крикнул на Шмача один из воришек. Шмач также молча ударил его кулаком в лицо. Но у него действовала только одна рука — он неосторожно забыл об этом. Вся камера поднялась отомстить Шмачу за перенесенные унижения. Его ударили под коленки, сбили с ног, и драка завязалась уже всерьез. Когда прибежавшие сторожа, наконец, освободили из-под груды тел полузадушенного Шмача и все утихло, только тогда вспомнили, что два арестанта не вернулись из отхожего. Инвалид, ворча, побрел туда, и вдруг остальные сторожа услыхали его крик:

— Убегли, убегли, проклятые!

Прибежал начальник кордегардии и бросился в отхожее. Толстая решетка, не поддававшаяся действию времени, была выдернута вместе с кирпичами, а на подоконнике лежала бумажка. Начальник кордегардии быстро схватил ее.

Там была только одна строка:

«До свиданья, милостивые государи!»

Глава шестая
ОВЕЧЬЯ СВАДЬБА

Михаила Ивановича Ткаченко едва не хватил удар. Такой позор для семейного благополучия, такой скандал! Богатейший помещик всего уезда, и вдруг дочь сошлась без венца, без поповского благословения и с кем же? С бунтовщиком, с крамольником, с бродягой без роду, без племени. И кто? Антонина, тихая, запуганная, трепетавшая перед отцом.

Михаил Иванович попытался было после увоза стражниками Твердовского проучить опозорившую его дочь своими обычными средствами, но едва он поднял руку, чтобы надавать виновной пощечин, Антонина с горящими

глазами отпрыгнула к стенке и сорвала с нее охотничий медвежий нож.

— Не подступайте, отец,— закричала она,— или даю слово, что я ударю себя ножом. Довольно я натерпелась побоев. Больше не смейте меня пальцем тронуть!

И глаза ее загорелись такой ненавистью и решимостью, что Михаил Иванович отступил, перекрестился и только сказал преступнице:

— Марш к себе в комнату и сиди там, пока я не порешу твоей судьбы. Да на глаза мне не показывайся!

Первым делом Михаил Иванович принял все меры к тому, чтобы невероятное происшествие в его семействе не получило слишком широкой огласки. Он приказал дворовым молчать, как немым, под страхом жестокой расправы. Но приказать молчать исправнику не мог, а исправник, хоть и был в дружеских отношениях с Ткаченко, не мог отказать себе в удовольствии тихонько позлословить с соседними помещиками, и скоро страшная для Михаила Ивановича весть расползлась повсюду. На него смотрели с плохо скрываемым сожалением и притворным сочувствием, а соседи при встречах, скрывая злорадную усмешку, спрашивали, какое несчастье случилось у него в семье? Михаил Иванович, стараясь быть спокойным, отвечал, что все враки и все у него благополучно, но чувствовал себя как на горячей сковороде.

Нужно было находить какой-то выход из положения, чтобы заставить злые языки замолчать. И, придя к этому решению, Михаил Иванович созвал семейный совет, на который пригласил свою тещу, сестру и священника из соседнего с экономией села. Изложив им вкратце происшествие, Михаил Иванович в волнении ждал ответа.

Первым заговорил священник:

— Требовательно знать, поскольку сие верно, что девица Антонина перестала быти таковою. От сего зависит дальнейшее, потому что девица по неопытности и невинности не знает разницы. Святые отцы в сем случае советуют произвести надлежащий осмотр.

Но теща перебила священника:

— Вам бы, отец Паисий, только заглянуть куда не следует. Девицы они прекрасно даже разницу понимают, да и где уж тут разница, когда мужчина молодой, здоровый и целую ночь с Антониной провел. Дело конченное, и мой совет вам, Михаил Иванович, поскорее подыскать женишка и сбыть Антонину с рук. Хорошего теперь, ко-

нечно, не сыскать, да уж за этим гоняться не приходится. Нашелся бы хоть какой-нибудь. Приданым можно сманить.

Сестра и жена Михаила Ивановича поддержали тещу, и решение было принято.

Михаил Иванович пошел объявить об этом Антонине. Она приняла эту весть холодно и равнодушно.

— Делайте, что хотите. Все равно ничего не выйдет. Ваня меня отобьет.

— Ну это мы поглядим,— крикнул Ткаченко и хлопнул дверью.

На следующий день в имение приехал по пути исправник, и ему рассказал Михаил Иванович о решении семейного совета. Исправник ласково осклабился.

— Женишка нужно? Что же, благое дело. А у меня, по правде сказать, на примете даже такой есть.

— Что вы! — обрадовался Михаил Иванович.

— А как же. Пристав второго стана, Павел Елисеевич. Жена у него в прошлом году померла, теперь ищет подругу жизни. Мужчина серьезный, толстый, характера ровного, даже с умом. В «Земщине» исторические сочинения насчет погромов печатает. В членах исторического комитета состоит.

— Да ведь у него нога приставная,— возмутился Ткаченко.

— Совершенно верно. Зато герой и ордена за храбрость имеет. Человек, уверяю, очень почтенный и первый кандидат в исправники, если меня переведут.

Михаил Иванович задумался.

— Ну, черт с вами, шлите вашего пристава.

Пристав приехал через три дня, тучный, потный, волочащий искусственную ногу. После недолгих предварительных вежливостей он повел речь прямо.

— Слыхал я, Михаил Иванович, дочь у вас на выданье, а я вдовец и ищу подругу жизни. Соблаговолите сказать ваше мнение.

Михаил Иванович вспыхнул было. Уж очень показалось ему зазорным выдать дочь за такого урода, но вспомнил про несчастье и мрачно сказал:

— Что ж! Я очень польщен.

— А Антонина Михайловна что скажет? — осведомился жених.

— Что я ей прикажу, то и скажет. Сейчас я ее позову и объявлю о вашем предложении.

Но жених остановил его.

— Позвольте прежде, чем мне говорить с прелестной невестой, узнать от вас, как насчет приданого. Любовь любовью, а дело делом. Средства мои маленькие, а дочь ваша привыкла к довольству.

— Не бойтесь, не обижу,— сухо ответил Ткаченко.

— Я верю-с, как господу богу. Но все же желательно знать точно.

— Все, что нужно белья и вещей, двести десятин и десять тысяч.

Жених поднялся.

— Виноват, не выходит. Маловато. Вот если бы триста десятин и пятнадцать тысяч деньгами, оно бы было подходяще.

— Вы забываете о чести, которую я вам оказываю, выдавая за вас дочь,— вспылил Ткаченко.

— Честь честью,— ответил жених, ехидно-ласково смотря в глаза будущему тестю,— да ведь невеста-то с изъянцем.

Ткаченко вздрогнул и резко бросил:

— А вы видали изъян?

Жених невозмутимо ответил:

— Видать не видал, но слыхал, а потом и увижу. Если несогласны, прощайте. Но только другого жениха, как я, вам не найти.

— Стойте, черт с вами! Согласен! — злобно крикнул Ткаченко и, открыв дверь в соседнюю комнату, сказал жене: — Позови Антонину.

Антонина вошла бледная, но спокойная и стала у порога, опустив глаза.

— Тоня,— обратился к ней отец,— господин пристав сделал тебе предложение, и я ответил за тебя согласием. Поздоровайся с женихом.

Антонина молча подошла к жениху, подала ему руку и, взглянув ему в лицо, пожала плечами, расхохоталась и убежала из комнаты.

— Нервная барышня,— сладко сказал пристав,— волнуется.

Со свадьбой торопились, подходил пост. Михаил Иванович решил не ударить лицом в грязь и не жалеть расходов, чтоб заткнуть рты всем сплетникам. Венчать должен был священник соседнего села, тот самый, который был на семейном совете. В церковь съехались все окрестные помещики и их семейства. После венца молодых уса-

дили в ландо, и они первыми помчались в дом Михаила Ивановича, где должен был состояться свадебный пир.

Дороги было шесть верст. Добрые лошади быстро несли ландо. По середине дороги был маленький овраг с растущими в нем вербами. Кучер стал придерживать четверку на спуске, и вдруг из-за верб появились четыре человека с ружьями в руках.

— Стой! — крикнул звучный голос. Кучер растерялся и выронил вожжи под направленным в него дулом. Пристав беспомощно вцепился пальцами в сиденье и только ворочал толстой шеей, не сводя глаз со второго ствола, глядевшего ему в лоб. Молодой человек подошел к ландо.

— Сходи, Тоня,— сказал он,— скорей! У нас мало времени. Могут подъехать другие.

Невеста с радостным криком выскочила из экипажа и обняла молодого человека.

— Иди за вербу, снимай подвенечное платье, там в саке простой костюм. И не копайся.

— Зачем? — спросила Антонина.

— Нашла время спрашивать. Беги, скорей! Некогда, говорю. Сама увидишь.

За вербой Антонина нашла в чемоданчике синюю юбку, английскую кофточку и легкое пальто. Торопясь и волнуясь, она сорвала подвенечный наряд и быстро переоделась.

— Готова? — спросил Твердовский и, получив утвердительный ответ, крикнул двум товарищам: — Ну, ребята, теперь живее. Венчай его благородие!

. . . .

Михаил Иванович с женой ждали в дверях дома возвращения молодых из церкви, чтобы осыпать их хмелем. В воротах заклубилась пыль, ландо вскочило во двор, и лошади круто свернули вместо крыльца к конюшне. Растерявшийся Михаил Иванович, увидав, как они исчезли в воротах конного двора, бросил блюдо с хмелем и помчался туда, чуя беду. Подбежав ближе и растолкав ошеломленных конюхов, он увидел невероятную картину. На сиденье, почти без чувств от страха и бешенства, полулежал пристав, связанный с овцой, одетой в подвенечный наряд, а к передней стенке ландо был приколот лист бумаги с четкой надписью: «Поздравляю молодых, привет папаше. *Твердовский*».

Глава седьмая

ЛЕСНЫЕ БРАТЬЯ

Увоз Твердовским среди бела дня невесты злосчастного пристава всколыхнул всю округу. Михаил Иваныч с обездоленным новобрачным помчался уже в губернский город жаловаться губернатору.

Заработала полицейско-судебная машина, посыпалась, как из мешка, служебная переписка о разбойничьей шайке Твердовского, и все полицейские чины уже облизывали губы в мечтах о командировочных и суточных за разъезды по поимке дерзкого разбойника. Всем молодым следователям снилось, что они допрашивают пойманного преступника, а молодым товарищам прокурора, что они блестящей обвинительной речью на суде добиваются для Твердовского каторги и кандалов.

Губернатор срочно донес о происшествии министру внутренних дел и, выражая уверенность, что разбойпик через неделю будет пойман, деликатно намекал па представление к ордену.

А в это время в лесу, на холмистом местечке, окруженном со всех сторон болотами, Твердовский сидел в маленькой хижине, оставленной смолокурами, вместе с Антониной, и ожидал возвращения Иванишина. В Иванишине Твердовский нашел незаменимого человека и верного друга. В ту ночь, когда они вместе бежали из кордегардии, пробираясь по болотам к этой самой хижипе, знакомой Иванишину, Твердовский рассказал парню, что мечтает о борьбе с помещичьим гнетом и надеется подыскать для этого десяток хороших товарищей.

Иванишин запрыгал от восторга. Еще свежо ныла мужицкая спина от черкесских нагаек, и он готов был идти на рожон, лишь бы расквитаться с панами. Он сказал Твердовскому, что всюду пойдет за ним и подберет подходящих ребят из сел, которым тоже невмоготу больше терпеть барское ярмо. Первыми он привел к Твердовскому своих двоюродных братьев Кирилла и Павла, с которыми вместе они и отбили Антонину при возвращении из церкви. Теперь Иванишин отправился за новой подмогой.

— Бери только верных людей. Как наберем дюжину, так и начнем дело на широкую ногу. Больше пока не надо. Лучше меньшая дружина, да настоящая,— сказал Твердовский, отправляя своего помощпика.

Пока Иванишин занимался вербовкой, Твердовский обдумывал план борьбы. Он решил начать с нападений на помещичьи усадьбы. Отобранные деньги должны были пойти для раздачи разоренным крестьянам, а часть — в фонд организации дружины, которой Твердовский дал название крестьянского повстанческого отряда.

Твердовский сидел у стола и осторожно, внимательно вырезал острым ножом на круглом куске резины печать отряда. Антонина читала книжку. Она была счастлива. Обстановка лесной хижины, таинственность, радость освобождения от дикого брака, навязанного отцом, близость любимого человека преобразили ее. Она поправилась, порозовела, стала веселой и жизнерадостной, поддерживая бодрое настроение Твердовского.

Когда он привез ее впервые в эту лесную хибарку и ввел внутрь, она с любопытством и волнением огляделась. Твердовский увидел ее удивление.

— Не жалеешь? Смотри, потом не раскаивайся. Тут не дома. Перин не будет.

Она пожала плечами.

— Зачем ты это говоришь? Лучше без хлеба и крова, но с тобой.

Твердовский поднял голову и положил нож.

— Готово,— сказал он, и в ту же минуту дверь хибарки раскрылась и в нее ворвался Павел.

Стопка пришел,— закричал он радостно,— ще восьмерых привел. Росте наша доля, атаман.— Твердовский встал из-за стола и вышел наружу. Там навстречу ему бросился Иванишин.

— Бувай здоров, Иван Васильевич! Як живешь? А я, бачь, не один. Скильки народу приволок. Гарные ребята.

За Иванишиным стояло восемь человек крестьян разных возрастов. Был среди них один совсем уже седой, с окладистой бородой и черными цыганскими глазами. Твердовский подошел к ним и поздоровался. Они ответили, как один:

— Бувай здоров, батько!

Твердовский встал на пень и обратился к пришедшим:

— Братья! Сказал ли вам Степан, зачем я позвал вас сюда?

— Казав... Усе казав... А як же,— послышались голоса.

— А если сказал, то согласны вы, не щадя жизни своей, имущества и семейств, присоединиться ко мне и

идти за мной против кровопийц панов за вашу крестьянскую волю и долю?

— Волим, батько!.. Согласны! — закричали дружинники.

— Клянетесь слушаться меня в жизни и смерти без рассуждения?

— Клянемся! — загудели голоса.

— Ну, тогда помните! Мое слово закон. Кто мое слово преступит, того застрелю, как собаку. Держаться дружно, за товарищей стоять, никого не выдавать, всем делиться поровну, как кровным братьям. Поняли? А теперь, Павло, Кирилл! Варите кулеш, кормите ребят, а вы пока отдыхайте!

Пришедшие расположились на траве. Твердовский и Иванишин прошли в хибарку.

— Ну, что слышно в городе? — спросил Твердовский.

— А много. Обозлились дюже паны, аж зубами стрегочуть. Сам губернахтер на нас войною иде и уся полиция. Объявлений понавешали везде с твоими приметами, Иване.

Твердовский засмеялся.

— Пускай вешают. Я им еще сам напишу поподробней. А теперь слушай, Степан! Нужно добывать на дружину оружие. Сегодня в ночь выедем в уезд за оружием.

Иванишин покачал головой.

— Може гарнише мени одному? Бо тебе в лицо знают. Недай попадешься.

— Не попадусь! А ты один ничего не сделаешь. Я знаю ходы до оружия. А ты пока прикажи Павлу, чтоб он с завтрашнего утра ребят понемногу строю учил. Да чтоб не маршировкам и парадам, а боевому строю, а то он в гвардии в солдатах служил, так может вообразить, что мы к губернатору на парад пойдем.

Иванишин захохотал. Уж очень ему смешно показалось, чтобы можно было дружинникам к губернатору на парад пойти.

. . . .

Перед рассветом в дверь маленького домика на окраине уездного города ударили тяжелые кулаки. Хозяин дома, старый контрабандист и скупщик краденого Герш Шликерман поднялся на постели и прислушался. Удары повторились. Герш спустил на пол худые ноги, влез ими в туфли и, ворча и проклиная гоев, которые не

дают честному еврею выспаться под субботу, пошел к двери.

— Кто там, чтоб на вас холера? — крикнул он.

В ответ ему из-за двери прозвучало какое-то тихо произнесенное слово. Герш отшатнулся, подпрыгнул на месте и широко распахнул дверь.

— Ой, я ж не узнал. Это чтоб на меня холера, а не на вас, Иван Васильич! И как только вы такой смелый, что приехали в город, когда вас каждая собака ищет.

— Не болтай, Герш! Некогда! — ответил, входя, приезжий.— У нас с тобой маленький разговор будет. Веди в комнату.

В комнате Твердовский и Иванишин сели, а Герш, потирая руки, лебезил возле них, спрашивая, что нужно Ивану Васильевичу.

— Разговор короткий, Герш! Нужна дюжина винтовок и две тысячи патронов,— сказал спокойно Твердовский. Герш, как отброшенный вихрем, отлетел в угол комнаты и умоляюще поднял руки.

— Ой-ой! Я даже не слыхал ваших слов, Иван Васильевич! Что вы себе обо мне думаете? С откуда у меня такие вещи? Я даже не знаю, как оно выглядит!

Твердовский молча встал и вынул из кармана смитвессон.

— А ты знаешь, как это выглядит? — спросил он, поднимая револьвер.

Герш замотал сразу головой и руками.

— Ой, спрячьте, Иван Васильевич! Я вас обманул. Я таки знаю, что такое винтовка.

— Ну то-то. Нечего дурачиться.

— Я знаю, знаю. Но только что будет, если я дам вам винтовки? Меня арестуют и повесят на дереве, а что будет с Сурой, Розочкой, Рахилью, Миррой, Исааком, Левой, Сруликом, Абрамчиком?..

— Заткнись, Герш! Мне вовсе не нужно знать, сколько у тебя ребят, а нужно знать, сколько у тебя винтовок. А насчет остального не беспокойся. Никто не будет знать, откуда у нас винтовки.

Герш хитро прищурился:

— Ой, вы говорите, Иван Васильич, как маленький ребенок. На винтовках же есть номера. А вы знаете, откуда у меня винтовки? Так я же их покупаю у господ офицеров пограничной стражи, когда у них нет денег на выпивку. Так они тоже хитрые. Они продают винтовки и

записывают номера. Так сразу будет ясно, что винтовка от Герша.

Твердовский нахмурился.

— Да, это хуже,— сказал он.

Герш ласково ухмыльнулся.

— Так я все-таки сделаю для вас. Вы спасли мне семью в погром. Так мы сделаем так. Вы свяжите мене и засуньте мене под кровать, а потом берите себе винтовки. Я не давал — вы отняли.

Твердовский и Иванишин переглянулись и расхохотались. В минуту Герш был связан, как куль, и заткнут под кровать. Твердовский и Иванишин вынесли из чулана с помощью Абрамчика винтовки и патроны, сложили их под сено на подводу и умчались. А Абрамчик побежал извещать городового, что на папашу напали страшные разбойники, ограбившие весь дом.

Глава восьмая

МЕСТЬ ПАНАМ

Мирно спит экономия помещика Крыжановского. Далеко за полночь праздновали здесь именины хозяйки. Много выпито и много съедено, и спят сладким беззаботным сном хозяева и гости. Сон их охраняется сторожами. Два человека обходят садом вокруг дома, потрескивая трещотками, отпугивая недобрых людей.

Вот оба сторожа встретились у беседки на берегу пруда. Один попросил у другого тютюну набить трубку. Оба зарядили свои носогрейки и присели на минуту на скамейку размять усталые ноги. Эй, не останавливайтесь, стражи панского сна! Не проглядите лихого недруга!

Сидят сторожа на скамеечке, тихонько гуторят, а вдоль пруда, в черной тени старых лип, как будто движутся какие-то неясные силуэты. Один, другой, третий, еще и еще... Они перебегают от дерева к дереву бесшумно и легко, и кажется, что это только чудится, что это лишь игра лунных лучей.

Сторожа кончили курить и встают, чтобы продолжать свое ночное круговращение. Встают и в ужасе отступают перед черной фигурой, выросшей на дорожке.

— Ни с места! — раздается властный шепот, и оба сторожа видят, как поблескивает холодный отблеск луны

на винтовке в руках черного человека. Рядом с ним появляется вторая фигура.

— Связать олухов и свести в погреб! — слышат они грозный приказ. Сторожа сами распоясывают кушаки, поворачиваются спиной к пришельцам, дают связать себе руки и покорно идут к погребу.

Тихий свист прорезает воздух, и прятавшиеся под липами тени выходят на лужайку перед домом.

— Четверо станьте по углам! Если кто будет из окон прыгать — хватайте! Стрелять только, коли не остановится по зову. Крови напрасно не лить. Нам нужно их не по телу бить, а по карману,— слышен все тот же распоряжающийся голос.— Остальные за мной!

Несколько теней сгрудились на крыльце, слышен легкий звон и треск замка, и тени скрываются в широко открывшейся двери.

В спальне на широкой двуспальной кровати нежится во сне хозяин Крыжановский.

Теплой ласочкой прикурнув к его плотному плечу, спит жена. Бесшумно открываются двери спальни, и на кровать брызжет тонкий луч электрического фонарика.

Свет падает в глаза Крыжановскому, он беспокойно заворочался, с трудом разлепил веки, привскочил, с изумлением смотрит на луч фонаря...

— Кто?.. Что? — беспорядочно спрашивает он, не очнувшись еще от дремоты.

— Здорово, хозяин,— слышит он в ответ,— принимай гостей!

Крыжановский вскакивает с постели и бросается к комоду, где лежит у него бульдог, но натыкается всей грудью на ствол винтовки.

— Назад, хозяин. Обожжешься!

Крыжановский столбенеет на месте, ноги его начинают дрожать.

— Кто вы? Что вам нужно?

— А это потом увидишь! Где у тебя зал в доме? Веди!

— Дорогие, голубчики,— вдруг вскрикивает хозяин,— не убивайте, пощадите!

— Зачем убивать? Мы не убийцы,— отвечает голос,— веди в зал!

В это время просыпается жена Крыжановского и, увидев мужа, окруженного вооруженными людьми, истерически вскрикивает.

— Эй, хозяин,— раздается тот же голос, — утихомирь подружку! Худого не сделаем. Будете живы. Забирай ее и марш в зал!

— Дайте хоть одеться,— просит Крыжановский.

— Незачем. Вы мужика всю жизнь раздеваете, пусть и мужик на вас, голеньких, поглядит.

Поддерживая рыдающую жену, Крыжановский идет из спальни под охраной двух дружинников в зал. Там их усаживают в кресла. Дружинники рассыпаются по всем комнатам, и везде происходят такие же сцены. Шум, женский плач, ругань мужчин.

Но ничто не помогает. Все население дома сгоняется дружинниками в зал, где уже зажжены лампы. Испуганные, растерявшиеся люди сбились тесной толпой в конце зала. У входов стоят дружинники, опираясь на винтовки, равнодушные к стонам и мольбам о пощаде. Они молчат, как немые, пока Твердовский и Иванишин обходят опустелые комнаты, собирая из карманов и сумок деньги и драгоценности. Наконец, Твердовский появляется в зале и подходит к сбившейся толпе пленных.

— Господин Крыжановский!

— Я,— слышится в ответ трепещущий голос.

— Где у вас ключ от несгораемого шкапа?

Вместо ответа раздается стон. Крыжановский вспоминает, что только накануне он привез из банка тридцать тысяч, взятые для уплаты за купленный лес и на расплату с подрядчиками за усадебные постройки.

— Где ключ? — повторяет Твердовский.

— Н-не знаю... я не могу вспомнить... куда положил... Я так взволнован,— пробует извернуться он.

— Братцы,— командует Твердовский,— выведите хозяина в сад и успокойте его свинцом!

Жена Крыжановского не выдерживает. Она бросается вперед, заслоняя мужа, и кричит: — Не троньте... не троньте его! Ключ над кроватью в башмаке для часов.

— Ну вот! Баба умнийше за мужика,— смеется Иванишин,— гроши ще можно нажить, а жизнь вже не наживешь.

Твердовский и Иванишин идут в спальню. Визгнув, поворачивается ключ в замке вделанного в стену несгораемого шкапа. Твердовский вынимает из него перевязанные пачки кредиток и рассовывает по карманам. Потом он замечает в углу маленький бархатный ящичек. С ве-

селой улыбкой Твердовский берет ящичек под мышку и возвращается в залу.

— Теперь позвольте пожелать вам здоровья и благополучия,— говорит Твердовский.— Ребята, заведите панов обратно по спальням, уложите в постельки да скажите, чтоб спали крепко часа два и не шевелились. А то мы вернемся их усыплять сказками.

Дружинники со смехом подходят к панам.

— Ну, геть, панове, до дому!

Толпа движется к дверям, и вдруг Иванишин хватает за руку Твердовского.

— Вин!..— кричит он.

— Кто такой? Кого ты увидел?

— Вин самый. Пан Жуков! Тей самый, що приказав черкесам мене посичь. Ворог мий заклятый!

Он указывает на низкорослого человека в полосатых подштанниках, опустившего голову и побледневшего от слов Иванишина.

— О! Вот как? — говорит Твердовский,— приятная встреча. Так он тебя высек, говоришь? Ладно. Теперь поквитаемся. Уведите отсюда женщин, а мужчины пусть останутся.

Дружинники уводят женщин.

— Берите его,— командует Твердовский,— кладите на диван!

Почти потерявший сознание от ужаса, помещик без сопротивления валится на диван. Остальные стоят угрюмой кучкой.

— Шомполами! — приказывает Твердовский,— сотню шомполов да покрепче. Пусть и панская спина почешется, как мужичья.

Резко свистя, опускаются шомпола под дикие вопли Жукова, которого держат за руки и за ноги два дружинника, Твердовский холодно отсчитывает удары...

— Девяносто шесть, девяносто семь, восемь, девять, сто. Хватит. Полная порция. Примачивайте буровской примочкой, скоро пройдет. А теперь будьте здоровы да до утра не поднимайте шума. Не то плохо будет.

Зал мгновенно пустеет. Снова через сад под липами скользят тени к плотине, где привязаны оседланные кони. Все вскакивают в седла. Свист — и дружина уносится. Только по дороге под бледнеющими лучами луны клубится, медленно оседая, пыль.

Глава девятая
ЗАГОВОР ЗУБРОВ

Разжужжался, разволновался помещичий улей после налета на экономию Крыжановского. Перепуганные помещики бросились из имений в губернский город. Там в городских квартирах, под охраной всемогущей полиции и солдат, можно было чувствовать себя спокойно. Губернатор, которому донесли немедленно о новом подвиге Твердовского, позеленел от досады. Его хвастливое донесение министру внутренних дел, что «не пройдет недели, как Твердовский будет сидеть в кандалах», оказалось пуфом. Разъяренный губернатор вызвал полицеймейстера и приказал принять самые энергичные меры к поимке разбойника. Полицеймейстер покорно выслушал губернаторский разнос, склонив голову, и затем вкрадчиво сказал разгневанному губернскому громовержцу:

— Разрешите доложить вашему превосходительству единодушную просьбу господ дворян и землевладельцев. Они просят разрешения вашего превосходительства на созыв экстренного совещания для обсуждения мер борьбы с развивающимся в губернии разбойничеством и крамольным духом мужичья.

— На кой черт это совещание? — недовольно буркнул губернатор. Ему показалось, что помещики подкапываются под его прерогативы и вырвут у него из рук честь поимки Твердовского.

— Осмелюсь доложить,— продолжал полицеймейстер,— что господа дворяне могут помочь, и очень. Конечно, не физической силой, но средствами. Можно будет назначить большую сумму за голову Твердовского, и тогда сами сообщники могут выдать его в расчете на награду,— закончил полицейский служака и облизнулся при мысли, что награда предателю не достанется, а расползется по полицейским карманам.

— М-м, если так, то э... пожалуй, пусть созывают,— сказал губернатор. Обрадованный полицеймейстер укатил, а вошедший лакей подал губернатору визитную карточку. «Граф Шереметев. Поручик гвардии в отставке»,— прочло его превосходительство и кивнуло лакею: — Проси.

В кабинет вошел изящный, высокий молодой человек в визитке, склонил гладко причесанную голову с прекрасным пробором и черной стриженой бородкой.

— Прибыв в город по личным делам, считаю нужным представиться вашему превосходительству как начальнику губернии.

— Э... я очень польщен,— ответил губернатор, пожимая руку графу,— когда прибыли?

— Позавчера, ваше превосходительство. Я, видите ли, намерен продать свое имение в Новгородской губернии и купить несколько тысяч десятин здесь. Меня тянет на юг, к солнышку. Буду искать продавца.

— Э... вы очень удачно попали, ваше сиятельство. Как раз в город съехались все окрестные помещики на совещание. Вы можете э... познакомиться со всеми и узнать все, что вам нужно.

— В самом деле? Это замечательно удачно,— сказал, улыбаясь, граф.

Губернатор тоже улыбнулся и спросил добродушно-шутливо:

— А вы, э... не боитесь, ваше сиятельство, покупать у нас землю? У нас объявился страшный разбойник, который грабит помещиков.

Граф расхохотался.

— Ну, я офицер. И потом,— он расправил широкие плечи,— бог меня силой не обидел. Если ударю сплеча — из любого дух вон.

Губернатор похлопал графа дружески-покровительственно по плечу и ощутил под тонким сукном визитки шары мускулов.

— Действительно, э... у вас мускулатура! Не завидую Твердовскому, если он нагрянет к вам.

Граф почтительно поклонился губернатору.

— Разрешите не задерживать ваше превосходительство? Я отправлюсь к себе в гостиницу. Меня ожидает комиссионер. Я только просил бы ваше превосходительство не отказать в любезности познакомить меня с местными дворянами.

Губернатор спросил графа, в какой гостинице он остановился, и, узнав, что в Лондонской, сказал:

— Великолепно. Там остановился почтенный Иван Иванович Мелиссино. Один из лучших наших землевладельцев. Вы можете направиться прямо к нему от моего имени, а он представит вас.

Граф поблагодарил и удалился.

Спустя час он сидел в номере у Мелиссино и вел оживленную беседу со старым помещиком, совершенно

очаровав его свежими придворными сплетнями и питерскими анекдотами.

— Я так обрадован вашим нежданным визитом,— сказал наконец, вдоволь нахохотавшись, Мелиссино,— так приятно встретить в этой глуши человека своего круга. Вас надо немедленно ввести в нашу среду. Знаете что,— завтра у нас начинается совещание по борьбе с разбоями и крамолой, и мы вместе отправимся туда. Я перезнакомлю вас со всеми.

— Но будет ли это удобно? — спросил граф,— хотя я и рассчитываю купить здесь землю, но пока еще чужой человек.

— Пустяки, батенька! Дворянин дворянину всегда брат и всегда свой. Решено.

На следующее утро Мелиссино и Шереметев вместе приехали в здание дворянского собрания, где было назначено совещание. Граф был немедленно представлен всем помещичьим верхам и так же очаровал их, как Мелиссино. Многие имевшие взрослых дочерей с удовольствием глядели на блестящего молодого богача, представляя его в качестве зятя.

В вестибюле собрания к графу подошел богатейший помещик губернии Тряпицын и с вежливым поклоном обратился к нему:

— Ваше сиятельство! Мы считаем за честь принимать вас у себя и выражаем твердую надежду, что, купив имение, вы станете постоянным членом нашей семьи. Пока же позвольте просить вас оказать мне личное одолжение вашим присутствием на балу, который я завтра даю в доме у себя благородному дворянству нашей губернии.

— Я даже не знаю, чем я заслужил такую честь. Сочту за счастье воспользоваться вашим любезным гостеприимством,— так же изысканно ответил граф.

Бал у Тряпицына был в полном разгаре, когда ливрейный лакей возвестил прибытие графа Шереметева. Любезный хозяин поспешил навстречу желанному гостю. Музыка оборвалась, и Тряпицын под руку с графом вошли в зал.

Граф был в мундире лейб-гвардии гусарского полка, еще больше подчеркивавшем его стройность и молодцеватость. Черные усики его были лихо подкручены, и бородка расчесана и надушена. Он поклонился всем собравшимся и, увидев губернатора, подошел к нему с почтительным приветствием.

— Э... каким вы героем,— сказал губернатор,— красавец! Погибли сердечки наших девиц и дам.

Граф ухарски улыбнулся в ответ. Тряпицын захохотал, колебля свой громадный живот, затянутый в цветной фрачный жилет.

— Да. Кто-то будет счастливицей, которая склонит к своим ногам такого молодчика? Если бы я был дамой, ни минуточки бы не раздумывал. Хе-хе! Ну, давайте я вас представлю одному розанчику.

Он подвел графа к молодой девушке, сидевшей рядом с матерью, окруженной несколькими молодыми людьми.

— Наша пожирательница сердец. Граф Петр Николаевич Шереметев.

Шереметев, низко склонясь, поцеловал руку пожилой даме и пожал маленькую ручку девушки, которая с удовольствием вскинула на него прелестные теплые карие глаза под густыми ресницами. От этого взгляда лицо графа как-то странно вздрогнуло, и по губам его пробежала мимолетная болезненная гримаска, но никто не заметил. Граф щелкнул шпорами и подал руку девушке. Тряпицын махнул рукой на хоры:

— Вальс!

Граф охватил талию своей спутницы и закружил ее по залу. Все гости с удовольствием следили за прелестной парочкой. Дамы и девицы надули губки и теребили кружевные платочки, завидуя счастливице. Но граф показал себя джентльменом и, отведя свою даму после двух туров на место, подошел к другой, третьей и весь вечер танцевал без устали, не пропустив ни одной дамы.

В это время звуки фанфар возвестили ужин, и граф, подав руку своей даме, направился с ней в столовую.

За ужином он был весел, оживленно беседовал со своими соседками, вконец очаровав их своим блестящим остроумием, но после ужина, когда возобновились танцы, решительно отказался танцевать и ушел в карточную комнату, где собрались за покером пожилые и нетанцевавшие гости.

Граф уселся за покерный стол и повел крупную игру. Ему все время бешено везло. Тщетно его противники удваивали ставки, он бил их одного за другим.

— Удивительное счастье,— вскричал один из партнеров графа, простившись с круглой суммой,— в любви везет, в картах везет, во всем везет! Что значит молодость и красота!

Граф самодовольно улыбнулся, придвигая к себе пачку кредиток.

— Если у графа такое счастье, ему нужно поручить поимку Твердовского,— сказал другой помещик, тасуя карты,— он покончит с ним в двадцать четыре часа.

— Ну вас,— отозвался третий,— не поминайте к ночи об этом дьяволе!

Все засмеялись.

— Он пронюхает, что граф выиграл сегодня уйму денег и пожалует к нему с визитом ночью в гостиницу.

Граф молча улыбнулся.

— Ну к кому к кому, а ко мне он не явится,— вмешался в разговор Тряпицын, поднимая свой огромный пухлый кулак.

Шереметев повернулся к нему.

— А в самом деле, что бы вы с ним сделали, если б он пришел к вам?

Тряпицын пожал плечами.

— У меня на стуле возле кровати всегда лежит заряженный браунинг. Стреляю я прекрасно, в муху на стене попаду. И уж если Твердовский дойдет до нахальства налететь на меня, я ему пробью голову.

— Если бы все были такие мужественные и решительные люди, как вы, то вообще разбоев не было бы,— сказал задумчиво Шереметев, раскладывая в руке полученные карты.

— Да уж на что могу пожаловаться, только не на трусость,— гордо сказал Тряпицын.

К трем часам утра гости разъехались. Тряпицын проводил графа до крыльца.

— Спокойной ночи. Пусть вам не приснится Твердовский,— сказал он графу, прощаясь.

— И вам того же желаю,— ответил граф.

Приехав в гостиницу, Шереметев, не снимая мундира, бросился на диван и моментально крепко заснул. Тряпицын, отдав последние распоряжения слугам, тоже удалился в свой кабинет на боковую. Спал он тревожно и беспокойно. Среди ночи ему приснился почему-то граф в своем блестящем гусарском мундире. Он пересыпал на ладони золотые монеты и смеялся. «Вот обыграл я ваших помещиков, все денежки забрал, чище, чем Твердовский»,— говорил граф, кружась в вальсе и держа в правой руке деньги, а в левой горбунью Иваницкую. Сон был так ясен, что Тряпицын повернулся и протер глаза, но граф не

исчезал. Он также стоял в мундире и смеялся, смотря на Тряпицына.

«Тьфу, нечистая сила! Перехватил шампанского»,— подумал Тряпицын, перевернулся на другой бок, лицом к стене и опять заснул.

Розовое январское солнце уже стояло высоко и смотрело в широкие окна кабинета, когда Тряпицын открыл глаза. Он почесал живот, перевернулся, сел на кровати и вдруг глаза его застыли, как прикованные к стулу, где лежал браунинг.

Вместо браунинга он увидел игрушечный детский пистолет с пробкой и рядом с ним записку. Дрожащими руками он схватил ее, развернул, прочел:

«Не хвались идучи на рать, а хвались, идучи с рати».

Тряпицын отшвырнул записку, как ядовитую змею, и вскочил. Взгляд его упал на стену кабинета, где всегда на драгоценном ковре, подарке персидского шаха, висела осыпанная бриллиантами шашка, подарок другого восточного деспота, эмира бухарского. Ни шашки, ни ковра не было. Тряпицын схватился за голову, метнулся, бросился к лежавшим у дивана брюкам, торопливо надел их и стал застегивать.

Пальцы никак не могли нащупать пуговицы. Тряпицын чертыхнулся и увидел, что все пуговицы у брюк гладко отрезаны. Он швырнул их об пол и побежал к шкафу за другими. Но к его ужасу все остальные его брюки были освобождены от пуговиц точно таким же способом. Тряпицын завыл от злобы.

Глава десятая
ТРИ ЗАМЫСЛА

Тряпицынская история наделала шума уже не только в губернии. В Петербурге власти заинтересовались «разбойником» после письма Тряпицына своему тестю, директору одного из департаментов. Тряпицын не пожалел красок и в заключение жаловался на бездействие губернатора и других губернских властей, благодаря каковому Твердовский с каждым днем расширял район своих действий и совершал один за другим безумно смелые набеги.

Из министерства внутренних дел полетела грозная телеграмма губернатору кончить похождения Твердовского.

Губернатор, под которым уже зашаталось губернаторское кресло, в свою очередь, обрушился на полицеймейстера:

— Даю вам две недели срока, если не сможете ликвидировать этого нахального бандита — подавайте в отставку! Мне не нужны нерешительные и медлящие чиновники.

Полицеймейстер ушел, повесив голову, а на следующий день к губернатору явился пристав второго участка, по происхождению чеченец, Хаджи-Ага, и попросил его превосходительство выслушать его в течение пяти минут. То, о чем они говорили, осталось секретом, и только губернаторский лакей слыхал, как, провожая пристава из кабинета, губернатор сказал:

— Скажите полицеймейстеру, что по моему приказанию вам должны отпускаться и вооруженные люди и средства, сколько будет нужно. А я поговорю с начальником жандармского управления.

Хаджи-Ага поклонился и ушел.

Прошло несколько дней. Твердовский отдыхал с дружинниками в лесу после очередного налета на имение немца-колониста Гарвардта. Иванишин отправился в город в обычную разведку, разнюхать, чем пахнет. В тихий морозный вечер он вернулся и вошел в хибарку атамана с озабоченным лицом. Твердовский радостно встретил своего помощника:

— Что так долго? Я уж боялся, не сцапали ли тебя.

Иванишин покачал головой, раскутывая башлык.

— Ни, Иване. Меня не сцапали, а вот на тебя гроза собирается не пустая.

Твердовский презрительно улыбнулся. Антонина вколола иголку в рубашку Твердовского, которая лежала у нее на коленях, и с беспокойством взглянула на Иванишина.

— На цей раз гарно задумали, июды! Щастье, що я дознався, а то б було плохо...

— А что же такое?

— Бачь, що за тебе узявся сам пристав Хаджи-Ага. Заклятый чечен, та не во гнев буди сказано, и храбрый и с башкою. Вин и надумав. Зараз они распустють молву, що на той недили повезуть казначейские деньги в уездный банк. Сто тысяч. И без охраны. Тильки кассир, стражник та кучер. А на самом деле, бачь, воны чуть что не полк по всей дороге рассажают. Ну и как только мы налетим, так тут сразу со всех краев солдаты и поминай

як звалы. От черты их матери! Як бы не стражник Федор выболтав, то мабуть влиплы бы мы.

Твердовский задумался.

— Да, ничего себе затеяно,— сказал он, нахмурив брови,— конечно, я не дал бы им эти сто тысяч провезти спокойно. Может быть, и не поймались бы мы, а людей потеряли бы. Так говоришь, Хаджи-Ага на меня пошел? Хорошо! Люблю храбрых врагов. Ну, поглядим, господин пристав, чья возьмет.

Он задумался. Иванишин и Антонина с тревогой смотрели на него. Наконец он встал и ударил кулаком о стол.

— Вот что, Тоня, собирайся! Завтра поедешь с Иванишиным в город и проживешь там некоторое время.

Антонина вспыхнула.

— Ты думаешь, я могу тебя покинуть в такую минуту? За кого ты меня принимаешь?

— Не глупи, женка,— сказал Твердовский, нежно гладя ее по плечу,— ты вовсе не покинешь меня, а, наоборот, сослужишь мне большую службу. Ты будешь удочкой, на которую мы поймаем храброго чечена. Он хвастает, что привезет меня к губернатору, а я думаю, что скорей он будет гостить у меня в лесу. Ты поедешь с Иванишиным и снимешь квартиру в городе, а под рукой мы пустим слухи, что это моя конспиративная квартира в городе, и даже назначим день, когда я приеду. Тут мы и поговорим с Хаджи-Агой.

— Не нужно, Ваня,— вскрикнула Антонина, прижимаясь к нему,— зачем ты сам идешь на опасность?

— Чепуха,— ответил Твердовский,— опасность везде. А так, я думаю, меня надолго оставят в покое. У меня есть маленький план, только пока это секрет. Словом, собирайся и завтра выедешь.

Утром Иванишин с Антониной выехали на маленькой таратаечке в город. Они благополучно добрались до него и после недолгих поисков сняли маленький домик в три комнаты на окраине. Оставив Антонину в новом помещении, Иванишин уехал в ту же ночь обратно.

В тот же вечер в городе в кабинете жандармского полковника долго за полночь горел огонь, и за столом, покуривая и попивая кофе с ликером, совещались жандарм и Хаджи-Ага.

— Должен заметить, что это вы придумали превосходно, уважаемый,— сказал жандарм, пуская ароматный дымок сигары,— я рад встретить такого дельного и храб-

рого сотрудника. Если это удастся, я буду ходатайствовать о переводе вас в корпус жандармов. У нас вы можете сделать карьеру, а в полиции так и засохнете.

— Буду чрезвычайно благодарен вам, господин полковник,— ответил польщенный Хаджи-Ага, уже представляя себе, как сидит на нем голубой мундир со сверкающими белизной аксельбантами.

— Не благодарите. Нам нужны доблестные слуги престола и отечества,— важно сказал полковник и добавил: — Нужно сейчас же отдать распоряжение, чтобы там все приготовили.

Он встал и позвонил. На пороге вырос усатый вахмистр.

— Возьми пакет,— сказал ему полковник,— и отдай тотчас отвезти с ординарцем в тюрьму!

— Приказано тотчас же отправить пакет с ординарцем,— отчеканил вахмистр, принимая пакет, и, щелкнув с грохотом шпорами, вышел.

— Ну, а теперь по случаю удачного начала,— сказал полковник,— не отправиться ли нам в Шато-де-Флер? Говорят, новые певички есть. Как вы насчет этого?

— С удовольствием,— ответил пристав, польщенный фамильярностью полковника.

Они вышли на крыльцо. Над городом стояла звездная февральская ночь, светлая и тихая. Лошади полковника, застоявшиеся в ожидании у крыльца, нетерпеливо били ногами, и срезы саней скрипели в снегу.

— Какая тихая ночь! — произнес жандарм, усаживаясь в сани и запахивая полость.

Но этой ночи не суждено было остаться тихой.

Около трех часов наружный часовой у стены централа заметил, как на верхушке ее появилась человеческая тень. Часовой остановился и окликнул. Вместо ответа тень спрыгнула со стены в двух шагах от часового, свалилась в снег, затем вскочила на ноги и побежала. Уже когда она заворачивала за угол улицы, часовой открыл стрельбу. Но тень беспрепятственно исчезла за углом, где ей встретился запоздалый извозчик. Тень вскочила в пролетку, и извозчик помчался.

В тюрьме всполошились, началась срочная проверка арестантов, которая и выяснила, что, подпилив решетку камеры, бежал, в четвертый уже раз, содержавшийся до отправки на Сахалин беглый каторжник Шмач.

Глава одиннадцатая
НОВЫЙ ДРУЖИННИК

Бежавший Шмач проскакал на извозчике через весь город до другой окраины. У моста через реку он слез с пролетки и, закутавшись прочнее в свой арестантский халат, пустился через реку пешеходом, держа направление по вешкам, обозначавшим тропу. Перейдя на другой берег, он очутился в пригородной слободке, пользовавшейся славой воровского притона и приюта всякого подозрительного элемента. Пройдя узким кривым переулочком, он подошел к кособокой хате и осторожно постучал несколько раз в заклеенное стекло окна. Наконец за стеклом вспыхнула спичка, и грубый, хриплый голос спросил:

— Кого черт принес?

— Это я, Сонька, Шмач,— ответил бежавший.

В хате раздался изумленный вскрик, дверь открылась, и в прихожей показалась со свечой в руке встрепанная толстая женщина с одутловатым лицом.

— Лукьян? Як це так? Звидкиля ты? Чи то сон?

— Как видишь — не сон. Протри лупала,— ответил Шмач, входя в хату,— водка есть? Наливай стакан, согреться нужно. Замерз, как сука.

Женщина ввела его в горницу. Он поставил табуретку к кривому столу и уселся на нее, растирая окоченевшие руки.

— Да яичницу сжарь, что ли. Жрать тоже хочу.

Сонька, еще не очнувшаяся от изумления, налила стакан водки. Шмач одним духом осушил его и поставил на стол.

— Да как же ты из тюрьмы-то? — спросила Сонька, возясь с яичницей,— неужто сбиг?

— Видишь же...

— Бачу, та глазам не верю. Из централа сбичь, як то можно!

— Заткнись! — сказал Шмач. Она замолчала и молча подала яичницу. Он быстро пожирал ее, отрывая зубами хлеб от большого ломтя.

— Куды ж ты теперь сподиваешься? — спросила, не удержавшись, Сонька.

— К Твердовскому,— глухо, сквозь набитый пищей рот сказал он,— хороший атаман,— и лицо каторжника

оскалилось усмешкой. Он вытер рот рукой. Сонька хотела еще что-то спросить, но он встал и зевнул:

— Буде! Идем в спальню. Давно я без бабы.

Сонька покорно повернулась и пошла в заднюю горницу, освещая дорогу своему повелителю. Утром Шмач, побрившийся и переодетый в крестьянское платье, попрощался с Сонькой.

— На, купи себе чего,— сказал он, вынимая из кожаного пояса золотой. Она заглянула через его руку и увидела, что пояс туго набит золотыми пятирублевками.

— Видкиля ж у тебя стильки грошей? — спросила она, но Шмач грубо толкнул ее ногой.

— Брысь! Не твое дело.

Он надел шапку и вышел. Уже к вечеру он приблизился к лесу и углубился в него напрямик, по одному ему известным тропкам. Стемнело, но он все шел и шел с кошачьей осторожностью. Уже под утро, после беспрерывной шестнадцатичасовой ходьбы, он вышел на маленькую полянку, перешел ее и хотел опять скрыться в чаще, но навстречу ему из-за кустов показался человек в тулупе, с винтовкой.

— Стий! — сказал человек.— Видкиля идешь?

Шмач сделал движение, как будто хотел броситься бежать. Человек навел на него винтовку.

— Стий, кажу! Бо я тоби загоню под шкуру гостинец.

Шмач затоптался на месте и, вглядываясь в человека, неровным и испуганным голосом спросил:

— Ты что ж... не полицейский?

Человек ухмыльнулся.

— Коли тоби полицейского, то ты не туды зайшов. Вертай за мною!

Шмач без сопротивления пошел за ним. Они прошли протоптанной в снегу тропинкой между елями и вышли на холмик. Шмач увидел небольшую хибарку и свежевыстроенную землянку. Возле нее два человека рубили дрова. Приведший Шмача сказал им:

— Постережить его, поки я батьку скажу,— и скрылся в хибарке. Оба дроворуба с подозрительным видом разглядывали Шмача, держа наготове топоры. Наконец дверь хибарки распахнулась, и на пороге появился Твердовский в сопровождении первого дружинника. Он подошел вплотную к Шмачу.

— Кто будешь? — спросил он резко, вглядываясь в лицо Шмача.

— Беглый,— твердо ответил Шмач,— бежал вчера ночью из централа.

— А куда шел?

— Куда глаза глядят. Свет не без добрых людей. Денибудь спрячусь.

Твердовский еще внимательнее поглядел на него.

— Что-то мне знаком твой голос. Где-то я тебя видел.

— Да не иначе и я вас встречал,— сказал Шмач, расплываясь вдруг в улыбку,— ведь вы Твердовский? А я Шмач. Помните, как вы мне руку-то раздавили? Вот где привелось свидеться.

— Ну, да, конечно. Теперь и я тебя узнал. Ну, что ж, старого зла не помню. Будь гостем, поешь, попей, а там помогу тебе деньгами и беги, куда хочешь.

Шмач вдруг снял шапку.

— Есть до тебя просьба, атаман.

— Какая?

— Уж если я на тебя набрел таким случаем, то дозволь мне у тебя остаться. Не пожалеешь. Верным слугой буду.

Твердовский нахмурился.

— Трудно мне тебя взять. Ты уголовный, убийца. А у меня дело политическое. Мы крови не проливаем, денег себе не берем. Ты нас, брат, осрамить можешь.

— Помилуй, атаман,— взмолился Шмач,— ножа в руки не возьму. А если хоть копейку утаю — повесь меня. Не с хорошей жизни я убийцей и грабителем стал.

— Ну, ладно,— сказал раздумчиво Твердовский,— беру тебя на испытание. Но помни, если что — пуля в лоб. У нас расправа короткая.

— Не беспокойся, атаман. На меня не пожалуешься.

— Хорошо. Иди. Ребята, дайте ему место в землянке,— сказал Твердовский, уходя.

Дружинники отвели Шмача в землянку.

Ночью при свете свечи в хибарке за столом сидел Иванишин и, наморщив губы, писал под диктовку Твердовского. От непривычной работы по его лицу струился пот, и рука дрожала, выводя страшные загогулины и каракули по бумаге.

Он положил перо и сбросил полушубок.

— Тьфу, упрел,— простонал он, обтираясь,— хай ему черт, тому пысанию!

— Ничего. Не много осталось,— засмеялся Твердовский.

Когда была додиктована последняя фраза и Иванишин был мокр, как только что вылезший из бани, Твердовский взял у него из-под руки листок и прочел:

«Его высокоблагородию, господину приставу Хаджи-Ага. Ваше высокоблагородие, дозвольте заслужить вашу милость. Я, который один из дружины Твердовского, то как он меня дуже изобидев, то, желая ему отместить и себе выслужить прощение от вашего высокоблагородия и царя батюшки, соопчаю вам, що атаман Твердовский, злодий и розбишака, бувае в городи у своеи крали кажную недилю. В цю недилю вин буде в пятницу под вечир и буде один, без никого, а тольки с полюбовницей в еи хати на Овражной улице, дом Ицки Гутмана. Там его можно забрать в один раз. Не забудьте заступиться за меня, ваше высокоблагородие, а как поймаете атамана, то я вам объявлюсь...»

— Хорошо написано,— захохотал Твердовский,— так написано, что ему и в голову не придет никакого подозрения. Ну, ладно. Надписывай конверт и в ночь отвезешь.

Иванишин надписал конверт и заклеил, размазав пальцами гуммиарабик и грязь по всей задней стороне конверта.

— Гарно буде,— сказал он, закладывая конверт за околыш папахи.

— Постой,— остановил его Твердовский,— ты видел этого нового дружинника, Шмача?

— Бачив,— ответил Иванишин.

— Ну, как думаешь, будет из него прок?

— А чому ж не быть? Парубок здоровый. А коли дурить начнет, то сразу скрутим.

— Вот какая штука,— сказал Твердовский,— в пятницу, пока мы будем в городе, ты накажи Павло и Кириллу, чтоб они за ним поглядывали. Все же он старый уголовник, может натворить чего-нибудь.

— Ладно, накажу. Тольки, думаю, ему своя башка дороже.

. . . .

Утром пристав Хаджи-Ага, выходя из дому, обнаружил в щели двери грязный и замызганный конверт. Он нервно схватил его, распечатал и присвистнул. Первым его движением было бежать к жандармскому полковнику, но, сделав несколько шагов от крыльца, он остановился в раздумье. Говорить ли? Зачем делиться таким счастьем?

Полковник присвоит себе всю честь поимки разбойника, и приставу останутся рожки да ножки. Нет, он сам захватит Твердовского. То-то будет история! О нем узнают в Петербурге, переведут в столицу, посыплются награды. Хаджи-Ага спрятал конверт в карман. Придя в участок, он послал двух переодетых городовых на Овражную улицу, наблюдать за домом Ицки Гутмана, а кроме них выбрал еще троих самых здоровых и приказал им ни на минуту не отлучаться от участка.

Глава двенадцатая
ХУДОЙ МИР ЛУЧШЕ ДОБРОЙ ССОРЫ

Хаджи-Ага едва мог дождаться ночи. Целый день он ходил рассеянный, отвечал невпопад на вопросы и производил впечатление перепившего или невыспавшегося. Его мечты разрастались пышным цветом. Он видел себя стоящим посреди Невского проспекта, в качестве пристава дворцовой части. Вот из дворца выезжает автомобиль, а в нем его величество с каким-нибудь иностранным послом. Автомобиль проезжает мимо, Хаджи-Ага становится во фронт, царь замечает его, останавливает автомобиль и машет рукой. Хаджи-Ага подбегает, и государь говорит послу: «У меня все пристава храбрые, а Хаджи-Ага самый храбрый. Он поймал Твердовского». Посол лезет в карман и вытаскивает орден Льва и Солнца и надевает на Хаджи-Агу.

К вечеру пристав просто дрожал от нетерпения. Наконец примчался один из поставленных для наблюдения городовых с докладом, что до семи часов вечера, кроме молодой женщины, в доме никого не было, а сейчас прокрался огородами широкоплечий человек в тулупе и папахе. Сердце пристава запрыгало, как кролик. Он схватился с места, крикнул городовых и вышел с ними на улицу. Они шли по темным улицам молча, пристав впереди, городовые сзади.

Уже у самого дома их окликнул второй городовой.

— Ну, что? Он еще в доме? Не ушел? — спросил, задыхаясь, Хаджи-Ага.

— Никак нет, ваше высокоблагородие. Сидит с бабой в обнимку, водку пьет. Поглядите сами!

Пристав кошкой подполз к окну и прилип к щели в ставне, за ним вытянули шеи городовые. Хаджи-Ага

увидел опрятную горницу. На диванчике у стола сидел Твердовский, обняв рукой за шею Антонину, и наливал себе в стакан водку из графина. Он распевал какую-то песню, звуки которой слабо доносились через двойную раму.

— Дуже пьет, — сказал городовой,— вже совсем пьяный!

Пристав отполз от окна.

— Пускай еще попьет немного. Как опьянеет совсем, мы его и сцапаем.

Он направил двух городовых на огороды позади дома, двух оставил спереди, а одного, знаменитого в городе силача, оставил при себе, чтобы с ним вместе ворваться в дом. Прошло еще полчаса. Пристав заглянул в окошко и увидел, что женщина собирает чашки, а Твердовский лежит на диване. Его самого не было видно за столом, торчали только ноги в высоких сапогах. Женщина подошла к нему и пыталась растолкать, но он спал мертвым сном. Она топнула ногой и с недовольным лицом отошла.

— Готов! — сказал пристав, отползая. Он прошел вокруг дома, приказал оставленным сзади городовым не сводить глаз с окон и, вернувшись к крыльцу, приказал силачу вскрыть замок отмычкой. Тот повозился с минуту и бесшумно повернул несложный замок. Дверь чуть приоткрылась.

— Смотрите же,— шепнул пристав,— чуть услышите шум или выстрелы, кидайтесь в дом!

Он вынул револьвер и вслед за городовым нырнул в дверь.

Они прокрались коридорчиком к полуотворенной двери в горницу. Женщина куда-то вышла, а Твердовский по-прежнему спал на диване.

— Кидайся сразу через стол на него сверху и дави, а я приставлю ему револьвер к голове, если он будет бороться! — шепнул пристав.— Ну, раз, два, три!..

Городовой, как тигр, перескочил через комнату и вместе с обрушившимся столом свалился сверху на Твердовского. Пристав кинулся за ним с револьвером наготове, ища куда выстрелить, так как тела Твердовского не было видно под тушей городового. И вдруг сзади раздался спокойный голос:

— Бросьте пистолетик, ваше высокоблагородие!

Ошеломленный пристав перевернулся на месте и застыл. Перед ним стоял во весь рост в пролете двери Твердовский. В каждой руке у него было по маузеру.

— Бросьте пистолетик!

Пристав машинально выронил револьвер. С дивана, кряхтя, поднялся городовой, с обалделым видом, держа в руках сапог Твердовского, набитый тряпками.

— Поднимите ручки. Станьте ко мне спинками!

Оба полицейских беспрекословно выполнили требование.

— Марш в ту комнату! — продолжал командовать Твердовский.

Едва городовой перешагнул порог комнаты, его мигом скрутили два дружинника. То же было сделано в свою очередь с приставом.

— Тащите их через окно! — приказал Твердовский.

Хаджи-Ага и городовой были бесшумно вытащены в одно мгновение через окно на огороды, пронесены двором на другую уличку и положены в телегу, где уже лежали два оставленных Хаджи-Агой с задней стороны дома городовых.

— Готово? — спросил Твердовский.

— Готово, батько атаман!

— Езжайте! Антонина, садись! — сказал Твердовский, подводя одетой в шубку, испуганной и обрадованной Антонине лошадь. Она вскочила в седло с помощью мужа, и кавалькада исчезла в глубине переулка среди начавшейся поземки.

Двое городовых, оставленных перед домом, долго прислушивались, но из дома не доносилось ни единого звука. Они продрогли, снег забивался им под воротники.

— Что ж они, заснули там, что ли? — проворчал один и хотел взойти на крыльцо.

— Стой! — остановил другой.— Господин пристав верно забрали Твердовского и теперь займаются с дамочкой. Они любят молоденьких.

Оба постояли еще с полчаса, наконец обоим стало невтерпеж. Первый поднялся на крыльцо, распахнул дверь и вошел в дом. Минуту спустя он снова появился и сказал испуганным голосом:

— Лаврентьев, там никого нема!

— Что врешь? — сказал второй и бросился в дом. Они обошли все комнаты, заглядывали под столы, под кровать, но ясно было одно: в доме никого нет. У обоих волосы встали дыбом. Что-то зашуршало в печке, и оба стража, в ужасе толкая друг друга, слетели с крыльца и помчались по улице.

Из печки вылез большой черный кот, прищурился на лампу, выгнул дугой спину и замурлыкал.

Связанного Хаджи-Агу доставили с завязанными глазами в лесную хибарку, где его уже ожидал Твердовский. Он сидел на табурете, поигрывая тяжелым маузером, когда дружинники внесли пристава и положили его на лежанку.

Твердовский встал и подошел к нему.

— Что, господин пристав, поймали Твердовского?

Хаджи-Ага с ужасом покосился на маузер и умоляюще сказал:

— Не убивайте меня, господин Твердовский!

Твердовский рассмеялся.

— Пуганая ворона куста боится. Я и не собираюсь вас убивать. Напротив. Я имею для вас хорошее предложение. Развяжите его благородие!

Дружинники мигом развязали пристава, он сел, все еще не веря, что жив.

Твердовский тоже уселся и сделал знак всем выйти.

— Ну-с,— сказал он, оставшись наедине с приставом,— слушайте, ваше высокоблагородие! Вы меня ловите потому, что вам мерещатся всякие там карьеры, крестики, награды. А вместо этого сами попались. Однако вы можете уйти отсюда целым. Но для этого мы с вами заключаем маленькую коммерческую сделку. Лучше синица в руки, чем журавль в небе. Когда еще придут ваши награды от начальства, а я вас сейчас награжу по-царски с тем условием, чтобы вы меня не трогали. То есть, конечно, вы можете делать вид, что стараетесь меня поймать, но только вид. Согласны?

— То есть как... Я не совсем понимаю,— пролепетал пристав.

— Экий вы непонятливый. Придется говорить наглядным образом,— Твердовский привстал и снял со стены шашку. Он вынул ее из чехла, и она засияла золотом ножен и сверканием бриллиантов.— Этой шашке цена несколько десятков тысяч. Я забрал ее у Тряпицына, а теперь отдам вам. Понимаете? И каждый год вы и господин полицеймейстер будете получать от меня приличные вашему чину и моему уважению к вам подарки. Поняли?

— Понял,— сказал, вдруг повеселев, Хаджи-Ага.

— Так вот. Вы получаете эту шашку. Господину полицеймейстеру в уважение его высокого чина я посылаю этот ковер и вот это ожерелье для супруги. Только пре-

дупредите его, чтоб он переделал оправу, а то случайно владелица может увидеть его на шейке супруги вашего начальника и выйдет скандал. Итак? Договор заключен?

— Я согласен! — ответил Хаджи-Ага, не сводя глаз с блеска камней.

— Я так и думал, что вы умный человек. Сейчас вас отвезут на окраину города и отпустят. А вот дайте вашим городовым за беспокойство.

Твердовский вывалил на стол кучку золота.

Спустя несколько минут приставу вновь завязали глаза. Он уже с завязанными глазами сказал:

— До свиданья, господин Твердовский! Будьте спокойны, я хозяин своему слову.

— До свиданья. Худой мир лучше доброй ссоры.

У окраины города сопровождающие развязали глаза приставу и умчались. Он, в свою очередь, развязал городовых. В тележке лежал ковер и шашка, в кармане Хаджи-Ага ощущал ожерелье и золотые. Он вынул из кармана рубль и сказал городовым:

— Вот вам, сукины дети, от Твердовского! И чтоб молчали, как дохлые!

— Покорнейше благодарим! — ответили в один голос городовые.

«А с полицеймейстера хватит и ковра»,— подумал доблестный пристав,— нечего баловать всяких взяточников.

Глава тринадцатая
ПЬЯНЫЙ АРХИЕРЕЙ

Много хохотали дружинники, вспоминая поход на храброго пристава.

А Твердовский тем временем задумывал новые планы.

И пока храбрый кабардинец Хаджи-Ага лениво рыскал со стражниками по губернии, делая вид, что тщательно разыскивает Твердовского, атаман отдыхал в хибарке, а верный его помощник Иванишин опять рыскал в городе, пронюхивал дело.

Вернулся Иванишин с двумя чемоданами, полными разного платья. Зачем он столько навез его, дружинники не могли понять и долго мучались догадками.

Но на следующий вечер атаман позвал к себе в хибарку Иванишина, Павла и еще одного дружинника из

недавно присоединившихся к дружине. Это был бывший студент, анархист Володя. У него были прекрасные манеры, и он говорил по-французски, за что дружинники и прозвали его «мусью».

Они пробыли в хибарке около часу. И когда уже совсем стемнело, вышли, закутанные в плащи, сели на лошадей и исчезли по направлению к городу.

На следующий вечер к магазину церковных вещей и облачений, находившемуся на бойком месте в торговых рядах, подъехала карета. Это было незадолго до закрытия магазинов. Погода стояла отвратительная, моросил снег пополам с дождем, и редкие прохожие старались поскорее скрыться домой, в тепло и уют домашнего очага. Из кареты вышли четверо отлично одетых молодых людей и вошли в магазин. Хозяин магазина Оловенников и приказчик подсчитывали уже дневную выручку и прятали в стенной шкаф драгоценные облачения и камни. В этот момент в магазине появились покупатели.

Оловенников обернулся и, увидав четырех джентльменов в цилиндрах и фраках, видневшихся из-под пальто, быстро подошел к прилавку, забыв даже закрыть шкаф, и спросил покупателей, что им угодно.

Один из них сказал другому что-то по-французски и затем обратился к Оловенникову:

— Видите ли, мы почитатели преосвященного Антония и хотели бы сделать ему подарок в день пятилетия его епископства. Мы хотим поднести ему полное облачение. Не можете ли вы показать самое лучшее.

Оловенников расцвел от удовольствия. Такие выгодные покупатели!

— Пожалуйста,— сказал он,— будьте добры присесть. Сейчас покажем.

Он подмигнул приказчику, и они вытащили парчовое епископское облачение. Молодые люди взглянули, поморщились и сказали в один голос:

— Слишком просто. Нельзя ли попышнее? Мы за деньгами не постоим.

Оловенников показал еще несколько облачений. Молодые люди внимательно рассматривали и, наконец, отложили одно, из темно-зеленой парчи. Они щупали его, разглядывали, мерили длину, и, наконец, старший из них сказал:

— Это как будто ничего, но все же дешевка.

— Помилуйте,— даже обиделся Оловенников,— это дешевка? Это самое дорогое какое есть.

Молодые люди стояли в раздумье. Вдруг Оловенников хлопнул себя по лбу.

— Батюшки! Вот старый дурак! Забыл совсем. Есть у меня еще одно. На заказ мы делали. Графиня Блудова заказала для киевского митрополита. Вот это вам, верно, по вкусу придется. Принеси, Игнатий!

Приказчик снял с верхней полки картон и достал из него роскошное облачение бирюзового цвета, все расшитое серебром. Покупатели ахнули от восторга.

— Вот это да! — сказал один из них.

Оловенников замялся.

— Видите... это затрудняюсь вам отдать... Заказ. Впрочем, можно бы, потому что до срока еще далеко, мы успеем сделать такое же. Только уж не прогневайтесь, цена за него будет немалая.

— Чепуха,— ответил самый молодой из покупателей и опять прибавил несколько французских фраз.

Все склонились над облачением.

— Интересно взглянуть, как оно будет выглядеть на его преосвященстве,— произнес старший и, как бы озаренный удачной мыслью, взглянул на Оловенникова,— вот прекрасно,— продолжал он, хлопнув в ладоши,— у вас рост и фигура совершенно, как у преосвященного. Не будете ли вы добры примерить?

Оловенников смутился.

— Недостойно мне, грешнику, одеваться в архипастырское одеяние,— вздохнул он.

— Пустяки,— прервал покупатель,— никто же и не увидит. Сделайте одолжение, а то ведь трудно решиться, не видя.

Оловенников снова вздохнул, еще раз перекрестился и с помощью приказчика облачился. Покупатели встретили его переодевание радостными возгласами:

— Восхитительно!

— Какая красота!

— Жаль, митры нет. Может быть, вы будете добры надеть уже и митру. Только тоже лучшего качества, с хорошими камнями.

— Игнатий! Подай бриллиантовую митру! — сказал Оловенников и, получив ее из рук приказчика, возложил на голову.

Послышались новые возгласы восхищения.

— Сколько будет стоить эта прелесть? — спросили покупатели.

— С митрой пятнадцать тысяч! — ответил Оловенников, сам любуясь в зеркало красотой облачения.

— Только-то? Берем! Володя, доставай деньги! — сказал старший и добавил: — Мы еще одно забыли. Орлецы под ножки владыке. Можно взглянуть?

— Игнатий! Слазай вниз, за митрополичьими орлецами! — приказал окончательно обрадованный выгодной сделкой Оловенников.

Приказчик открыл люк, ведущий в подвал магазина, и стал спускаться вниз.

Младший покупатель достал бумажник и вынимал из него деньги. Оловенников подошел к нему. Вдруг люк сзади с грохотом захлопнулся. Оловенников обернулся взглянуть, но тяжелый удар кулаком по голове сверху насунул ему на лицо до подбородка митру. Он отпрыгнул в сторону и попытался сорвать митру, но сделать это было невозможно. Круговая пружина подалась, пропустив его голову, и теперь митру можно было снять, только разрезав. Оловенников затрясся, рванулся в сторону и, запутавшись в облачении, шлепнулся на пол. Как сквозь сон он слыхал распоряжавшийся голос:

— Выбирай все из шкафа! Серебра не брать! Бери только золото и камни! Деньги тоже забирай! Выковыривай брильянты из риз! Живо, не копаться!

Несколько минут продолжалась легкая возня и шуршание, затем хлопнула дверь и все стихло. Оловенников, вне себя от ужаса, кружась на четвереньках вслепую, нащупал, наконец, дверь и выскочил на улицу, нечленораздельно мыча. Митра мешала ему говорить.

Два прохожих с изумлением увидали кружащегося на месте архиерея в полном облачении и, остановившись, сняли шапки. Какая-то старуха подскочила бочком, сложив руки, и елейно пропела: «Благослови, владыко!» Беспомощно махавший руками Оловенников случайно треснул ее кулаком по темени. Старуха с визгом села в снег. Начинал сбегаться народ, подошел околоточный. Он замер в удивлении, когда почувствовал чье-то прикосновение к локтю. Изящный господин в цилиндре сказал ему:

— Я прокурор судебной палаты. Увезите скорей его преосвященство домой. Он пьян. Соблазн для верующих.

Везите его скорей и не слушайте ничего. Вот вам пять рублей на извозчика.

Околоточный бросился к извозчику и подкатил к тротуару, где несколько человек, вытаращив глаза, смотрели на архиерейские чудачества.

— Разойдись, не толпись! — крикнул он и, подхватив владыку под руку, потащил его к экипажу. Владыка отмахивался и мычал.

— Ничего, ничего, ваше преосвященство. Со всяким бывает! Его же и монаси приемлют,— говорил околоточный, неумолимо влача архиерея. Он силой втащил его в экипаж, и лошади понеслись, оставив верующих в соблазне.

Через десять минут околоточный звонил у подъезда архиерейского дома. Ему открыл служка.

— Примите его преосвященство,— страшным шепотом сказал полицейский,— скорей! Они выпили и не в себе.

Служка отступил и перекрестился.

— Господь да поразит вас своим гневом,— сказал он дрожащим голосом,— такой поклеп на служителя алтаря. Его преосвященство дома, кушают чай.

— Да что ты врешь? Он у меня в экипаже,— погляди!

Инок сбежал к экипажу, взглянул, отшатнулся и убежал в дом. Спустя минуту в дверях показалась сухонькая фигурка архиерея.

Басурман... безбожник... Я тебя анафемой прокляну! — визгливо крикнул он на струсившего околоточного,— како осмелился твой мерзкий язык выговорить?

Он старческими шагами сбежал с крыльца и тоже остановился в остолбенении у экипажа.

— Берите треклятого ересиарха, скомороха! Ведите в дом! — крикнул он наконец.

Когда вызванный слесарь разрезал обод митры и освободил полузадохшегося Оловенникова, околоточный с городовыми бросились в магазин и выпустили из подвала приказчика. В магазине было унесено все золото, деньги и драгоценные камни, крупную партию которых только на днях получил Оловенников. На прилавке лежали рядком освобожденные от золотых риз иконы, а на одной из них белелась визитная карточка: «Иван Васильевич Твердовский».

А на обороте: «Божие богови, а кесарево кесарю».

Глава четырнадцатая
ПЕРВЫЕ ТУЧИ

Твердовский ходил быстрыми шагами из угла в угол своей хибарки. Три шага туда, три обратно. Он кусал губы и хмурился. Иванишин стоял у стены, искоса наблюдая за атаманом с опечаленным видом.

Наконец Твердовский остановился и толкнул ногой мешавший табурет так, что тот полетел в угол хижины.

— Не сами они это придумали. Говорю тебе, не сами! Первое — мозгов бы у них на это не хватило, а второе — они люди честные. Не первую неделю работаем, и никогда ничего подобного не было.

Иванишин вздохнул.

— Да я ж те самое и кажу. Ясно, що не сами. А хто их поворачуе, бис зна.

Твердовский стоял, напряженно думая.

— Уж не Володя ли? — сказал он медленно.— Мальчишка так будто и ничего, боевик хороший, но только без правил. Сорвиголова и из барской семейки, привык к хорошей жизни, а принципов никаких. Боюсь, что это его работа.

— Мабуть, що так,— спокойно кивнул Иванишин.

Твердовский топнул ногой.

— Да что ты спокоен, как корова? Тут дело позорное, нас это погубить может, а ты головой киваешь.

Иванишин с тем же невозмутимым видом ответил:

— А що ж! Хиба ж лучше гонцювать, як журавль, по хати, та табуреты ломать. С того тоже проку не будет.

Твердовский вспыхнул, но вдруг расхохотался. Иванишин любовно взглянул на просветлевшего атамана.

— От так бы и давно. Покличь того Володьку да побалакай с ним, щоб бильш не баловал, тай усе.

Твердовский снова нахмурился.

— Я с ним за такие вещи пулей поговорю. Он проклянет тот час, когда в его дурацкую башку влезла эта мысль. Позови его!

Иванишин быстро вышел из землянки. Твердовский поднял табурет и сел. По лицу его скользнула гневная судорога.

Случилось так, что после налета на магазин Оловенникова трое дружинников пришли к Иванишину и заявили

ему, что просят поговорить с атаманом, чтобы вся добыча делилась на две равные доли — половина атаману, пусть раздает ее кому хочет, а половина дружинникам.

— Мы тоже не дураки. Он себе девяносто долей берет. Кто его знает, может, он мужикам и раздает, а может, на черный день себе прячет. Тогда сбежит, а нас на расправу кинет.

Иванишин немедленно сообщил об этом неслыханном происшествии Твердовскому, и атаман пришел в негодование.

Дверь хибарки раскрылась, и в ней показался румяный и веселый, как всегда, Володя.

— Здорово, Иван Васильевич! Как поживаешь? — сказал он жизнерадостно.

— Поди сюда! Стань здесь, лицом к свету! — тихо сказал Твердовский.

Недоумевающий Володя подошел. Глаза Твердовского, как два гвоздя, воткнулись в голубые зрачки Володи. С минуту продолжался этот безмолвный допрос. Но в глазах Володи было только самое добросовестное недоумение и ни тени смущения или испуга.

— Это не твоя работа — требование, чтобы добыча делилась пополам между мной и дружинниками? — вдруг в упор спросил Твердовский.

Голубые зрачки раскрылись еще шире и заискрились гневом. Губы вздрогнули, и Володя резко сказал:

— Вот что! И вы меня подозревали в таком... в таком?.. Как вы могли? Я после этого часу не останусь в дружине.

Он повернулся и бросился к двери.

— Стой, дурак! — крикнул Твердовский, хватая его за плечо.— Чего обиделся, как девчонка? Нужно было спросить и спросил. А теперь мир, и никуда я тебя не отпущу. Давай руку!

Володя со слезами на глазах подал ему руку и сказал глухо:

— Я, если узнаю, кто это затеял, сам ему язык и глаза вырву!

Он хотел уходить, как в хибарку вскочила бледная, взволнованная и запыхавшаяся Тоня. Она остановилась у двери, зажав руками грудь, чтобы удержать сердцебиение.

— Тоня, что с тобой? Что с вами! — вскрикнули сразу Твердовский и Володя.

Твердовский взял жену за талию и усадил.

— Ну, что с тобой? Говори же!

Антонина робко взглянула на Володю. Твердовский понял ее взгляд.

— Что за секреты, говори при нем!

Антонина с испугом взглянула на дверь и заговорила шепотом:

— Ты знаешь, я вышла немного прогуляться по воздуху, зашла в гущу леса, там, где кустарники у ключа. Гуляю и вдруг слышу голоса. Я испугалась, думала, нас ищут, хотела бежать сюда, но они были близко. Я нырнула в кусты и сквозь ветки вижу — подходят четверо дружинников, между ними Шмач. Он сел на пень у ключа, и вот между ними начался разговор...

Она провела рукой по лицу, как бы отгоняя страшное видение, и продолжала:

— Всего я не расслышала, но только поняла, что Шмач хочет арестовать тебя и выдать полиции, а сам станет вместо тебя атаманом и за это обещает дружинникам, что всю добычу теперь будет получать целиком дружина. Двое соглашались, а двое несогласны, но он приказал им молчать, грозя, что убьет. Потом они ушли, а я прибежала сюда.

Она склонилась головой на стол и заплакала. Твердовский и Володя переглянулись.

— Выпей, дорогая, и успокойся,— проговорил Твердовский, подавая Антонине кружку воды, и продолжал, обращаясь к Володе: — Вот начались первые тучи. Ну, ничего. Мы еще поборемся. Прикажи всей дружине сейчас же собраться!

Володя кинулся из хибарки.

— Что ты хочешь делать? — вскочила Антонина и обняла Твердовского.— Не ходи к ним! Они тебя убьют.

— Ха-ха,— засмеялся он.— Кто кого! А вот ты не выходи и сиди здесь. Это будет представление не для твоих нервов.

— Ваня! — сказала она грустно.— Может быть, довольно? Может быть, пора тебе отстать, уехать куда-нибудь отдохнуть? Я чувствую, что собирается гроза над твоей головой. Что будет со мной без тебя, что будет с будущим маленьким?

Твердовский крепко обнял ее.

— Что ты? Помнишь, ты дала мне слово идти за мной всюду и не мешать мне. Борьба только начинается. Будь спокойна, не расстраивайся и не расстраивай меня. Сиди!

Он нежно усадил Антонину и, сунув в карман наган, вышел из хибарки. Все дружинники стояли на лужайке, недоумевая, почему их так спешно созвали. Твердовский подошел к ним и медленно прошел вдоль ряда, смотря в упор на их лица. Они провожали его глазами. Он прошел еще раз и остановился перед Шмачом.

— Здравствуй, Шмач! — сказал он.— Помнишь, как мы с тобой встретились впервые? Тогда ты полез на меня и был наказан. Теперь ты опять против меня, и вот тебе...

Ближайших дружинников обдало пороховой гарью и брызгами из раздробленной головы Шмача. Он рухнул, как подрубленный, к их ногам. Все отшатнулись.

— А теперь,— крикнул Твердовский, держа высоко поднятый наган,— выходи двое, которые с ним сговаривались меня арестовать. Выходи, прохвосты!

В молчании дружинники смотрели друг на друга. Один, дрожа, сделал шаг вперед, другой попытался улизнуть за спины товарищей, но Володя вытолкнул его.

— Вас бы тоже следовало перехлопать, как заразу,— сказал Твердовский, водя наганом перед посерелыми от страха лицами,— но черт с вами! Подавитесь своей предательской жизнью! Только, чтоб больше я вас никогда в жизни не встретил, иначе вам крышка. Вон, сукины сыны!

Дружинники медленно разошлись. Твердовский и Иванишин обыскали тело Шмача. В поясе нашли большую сумму золотых пятирублевок, а в подкладке одежи — тщательно свернутую бумагу. Это оказалось удостоверением жандармского правления на имя властей, что бывший каторжанин Шмач задержанию не подлежит, так как действует по заданиям жандармерии и является сотрудником управления.

— Ого! Мало, що июда, так ще и шпик,— сказал Иванишин.

— Я это подозревал,— отозвался Твердовский.

Через два дня на окраине города полицией было найдено тело Шмача. Рот его был набит золотыми монетами, а к куртке приколота записка: «Иуда и сребреники возвращаются за ненадобностью».

Глава пятнадцатая

ГРОЗА НАДВИГАЕТСЯ

Прошло две недели. Дружинники отдыхали, готовясь к новым ударам, а сам Твердовский занялся новой работой. Вместе с Иванишиным он ездил по селам, под видом прасола, и организовал на местах маленькие повстанческие крестьянские ячейки, снабжая их оружием и инструктируя. На все просьбы вербуемых принять их в дружину Твердовский отвечал решительным отказом:

— Рано. Когда нужно будет, я вас всех позову. А теперь мне нельзя увеличивать чрезмерно отряд. С маленькой дружиной я подвижен. Сегодня здесь, завтра там — пойди угоняйся за мной! А большой отряд будет громоздок и слишком заметен. Вы принесете свою пользу и так.

Эти маленькие партизанские ячейки сделали, однако, то, что последние помещики, еще остававшиеся в своих имениях, бросили их на произвол судьбы и бежали в город. Вся губерния была охвачена страхом.

Твердовский радовался.

— Хорошо идет дело, Степан,— говорил он Иванишину,— скоро в другую губернию надо будет перебрасываться. Так губерния за губернией и всех помещиков загоним до самого Питера.

Иванишин скептически качал своей лохматой белокурой головой:

— Дай боже нашему теляти вовка зъисть. Больно здорово мы начальству поперек горла стали, а у царя ще силы много.

Опасения Иванишина неожиданно подтвердились в одно апрельское утро.

На рассвете дружинники, стоявшие секретами в лесу, заметили на горизонте цепочки людей. Только что поднявшееся над верхушками деревьев весеннее яркое солнце освещало эти цепочки, движущиеся по направлению к лесу, и играло розовыми блестками на каких-то металлических иглах, несомых приближающимися людьми.

Один из часовых приставил руку козырьком к глазам, вгляделся и засвистал:

— Эге,— проворчал он,— москали. Мабуть цела рота, ишь штыки як блискають.

Секрет бесшумно снялся и отполз к стану. Часовые разбудили Твердовского и сообщили об опасности. Он

вскочил на лошадь и помчался к опушке в сопровождении Иванишина и Володи. Вынув бинокль, он долго и беспокойно вглядывался.

— Да это не стражники. Это солдаты. Их около двух рот. Видите, как они заходят полукругом с флангов. Нечего делать. Боя с ними нам не выдержать. Надо уходить. Степан, возьми пятерых человек, скачи с ними на тот край леса и отходите влево по чаще, отстреливаясь. Пусть они туда лезут всей силой и упрутся в болото. А вы как перейдете через трясину по нашей тропке, то поворачивайте назад в Глуховский лес. Там свидимся. А мы с остальными сразу пойдем туда правой дорогой, чтоб на них не нарваться.

Иванишин стегнул коня и исчез. Твердовский в хмуром раздумье медленно доехал до стана и бросил последний взгляд на убежище, которое сослужило хорошую службу в течение зимы и которое приходилось теперь навсегда покидать. Он разбудил спящую еще Антонину и приказал ей быстро собираться.

— Уходим. Торопись! Солдаты идут,— сказал он ей и приказал подавать лошадей.

Через несколько минут, когда все несложные пожитки были собраны и увязаны во вьюки, слева, со стороны болота, грянуло несколько выстрелов. На них ответили другие, потом ударил ровный залп, а за ним затрещала стрельба пачками.

— Здорово! Молодчина Степан! — засмеялся Твердовский.— Он их запутает теперь в кашу.

В молчании тянулся по лесу маленький отрядик Твердовского, а с холма за ним поднялись пламя и дым подожженной хибарки и землянок.

Вдруг Твердовский, ехавший во главе отряда, насторожился и, подняв руку, остановил остальных.

— Ветки трещат, слышишь,— обратился он к Володе,— кто-то пробирается по лесу.

Действительно, сбоку потрескивали ветки, раздвигаемые тяжелым телом.

— Осторожно! Зарядить винтовки! — крикнул Твердовский.

Щелкнули затворы. В полной тишине отряд, не сводя глаз с лесной гущи, тронулся дальше. Треск веток приближался, наконец Твердовский, вскинув маузер, окликнул:

— Кто там лезет? Выходи!

В ту же минуту кусты раздвинулись и в них показалась морда лошади с белой звездочкой на лбу, а над ней фигура всадника в форме стражника.

— Стой,— сказал Твердовский, направив маузер в лоб стражнику,— слезай с коня! Заблудился, дядя, не туда попал.

Но стражник, не показывая никакого страха или смущения, снял фуражку и спросил:

— Ежели вижу господина Твердовского, то, значит, попал в самую точку. У меня для вас есть записочка от господина пристава Хаджи-Ага.

Он расстегнул куртку на груди и вынул оттуда конверт.

— Занятный почтальон и, можно сказать, вовремя,— засмеялся Володя.

Твердовский разорвал конверт и углубился в чтение письма.

«Господин Твердовский,— писал пристав,— я честный человек и держал свое слово не преследовать вас иначе как для отвода глаз. Да мне и незачем делать это, я человек бедный, и вы очень помогаете мне и моему семейству. Но теперь я должен вас предупредить, что я больше ничего сделать не могу. По приказу из Петербурга против вас двинуты солдаты под командой чинов жандармского управления. Я мог бы, конечно, умолчать об этом, но так как я в настоящее время сильно нуждаюсь, а с вами иметь дело выгодней, чем с моим начальством, то я посылаю эту записку, чтобы предупредить вас. На вас отправлен целый батальон, и полковник поклялся вас поймать. Поэтому уходите возможно скорее в какое-нибудь другое место, потому что один из прогнанных вами дружинников из желания отомстить выдал ваше убежище. Ваш покорный слуга. *Х.-А.*»

Твердовский сложил записку и взглянул на посланного.

— Что ж ты, собачий сын, опоздал? Ты б еще завтра приехал.

— Так что простите, господин Твердовский. Вчера по дороге выпил в корчме, проспал маленько.

Представитель стражи, извиняющийся перед разыскиваемым Твердовским за выпивку и опоздание, был так смешон, что Володя и Антонина разразились хохотом.

Твердовский тоже засмеялся.

— Ну, ладно! Выпил так выпил. Вот тебе еще на опохмелку! И скажи спасибо приставу. Кстати, я слыхал, что у него сын родился?

— Так точно! — гаркнул стражник, повеселев.— Позавчера крестили.

— Отлично! Так вот передай господину приставу от меня на зубок новорожденному,— захохотал Твердовский, вынув из бумажника сторублевку и подавая стражнику. Тот сунул ее за пазуху и козырнул.

— Премного благодарны... ваше... господин Твердовский,— сказал он, чуть не брякнув от радости «ваше благородие», и, повернув коня, исчез в лесной чаще.

Отряд, проводив его хохотом, пошел дальше.

К вечеру добрались до Глуховского леса, необитаемой столетней чащи, и остановились на привал. Володя неистово ругался, что приходится ночевать прямо в лесу, под открытым небом, и проклинал всех солдат и жандармов на свете.

Разожгли костры и на треножниках варили кулеш. Для Антонины натаскали мелкого хворосту и веток, положили сверху войлок и разбили над ним шалаш. Ночь была холодная. Антонина дрожала под одеялом. Твердовский сидел возле нее и грел ее руки, растирая их. Лицо его было сумрачно и тревожно.

К полуночи появился Иванишин с дружинниками. Они, как и было условлено, завели преследующих солдат в болото, а сами ушли по тайным тропкам кружным путем. Но в перестрелке с солдатами они потеряли одного дружинника, двоюродного брата Иванишина, Кирилла. Солдатская пуля пронизала ему череп. Прослушав доклад Иванишина, Твердовский еще больше нахмурился.

Кирилл был первой потерей дружины за все время. Казалось, счастливая звезда начала изменять Твердовскому. Он опустил голову на руку и глубоко задумался. Дружинники в молчании тревожно следили за движениями атамана. Наконец он встал.

— Так нет же, черти полосатые! Рано обрадовались. Мы еще поборемся! — крикнул он и подошел к Антонине.

— Тоня, завтра я отправлю тебя с Володей в город. Будешь пока жить там.

— Опять расставаться? — грустно сказала она со слезами на глазах.

— Ничего не поделаешь. Так нужно. В таком состоянии я не могу обречь тебя на бродячую жизнь, на опасность попасть под пули. Вспомни, что ты носишь ребенка.

Она молча потупилась и тихо прошептала:

— Ну, что же, если нужно, я поеду.

Красная тяжелая луна всходила над лесом. Дружинники спали, завернувшись в чапаны у костра.

Глава шестнадцатая
КАПКАН

В заречной слободке губернского города, заселенной рабочими, напротив пивной, под покосившейся дверью одноэтажного флигелька, приютилась незамысловатая вывеска «Ружейных и иных дел мастер Кузьма Форапонтов».

За дверью, в закопченной комнате, где в углу валяются всегда груды железного лома, пружин, винтов, старых стволов и прочей рухляди, где пахнет нашатырем и кислотой, заседает на окошке у табурета сам ружейных дел мастер Кузьма Форапонтов. Седые вихры торчат во все стороны на его редькообразной голове, козлиная бородка трясется во время работы, а маленькие глазки находятся в безостановочном движении и никогда не смотрят в лицо собеседника, а всегда куда-то в бок.

Жители слободки недолюбливают Форапонтова, и ребята рабочих считают самым большим удовольствием, подкравшись тихонько в сумерках, запустить галькой в стекла форапонтовских окон. Причины этой нелюбви туманны и неопределенны.

В девятьсот пятом году, когда на заводах кипели забастовки и организовывались дружины рабочей самообороны, мастер Форапонтов был одним из самых ярых крикунов и ругателей власти. Мастер Форапонтов изрыгал проклятия против властей и призывал расправляться с ними без пощады.

Он организовал боевую группу террористов из молодых рабочих и послал их с бомбами на прокурора судебной палаты, но, к несчастью, террористы, ожидавшие выхода из квартиры прокурора, были захвачены жандармерией на месте после перестрелки и погибли на виселице.

После, когда приутихла революционная буря, потушенная потоками свинца и ударами казачьих нагаек, на

заводах в течение недели были арестованы все руководители эсдековских и эсеровских организаций. Арестовали и Форапонтова.

Все получили по несколько лет каторжных работ, Форапонтова же освободили под надзор полиции, за преклонным возрастом и болезненным состоянием. Вскоре после этого Форапонтов ушел с завода, купил себе флигелек тут же в слободке и открыл свою мастерскую. И хотя все это еще не давало повода обвинять в чем-нибудь «старого козла», но почему-то общее отношение к нему стало недоверчиво-презрительным. Над ним посмеивались, но и побаивались его. В разговоры с ним никто не вступал, да он и сам не проявлял к этому желания и так и жил в своем флигельке угрюмым и молчаливым бобылем. А мастер он был прекрасный и работал на славу. Даже важные и богатые обыватели-охотники предпочитали чинить свои ружья у Форапонтова и не раз спрашивали, почему он не откроет мастерской в центре города, но старик с лукавой усмешкой отвечал всегда:

— Здесь среди рабочих я родился, тут и помру.

К этому относились, как к капризу чудаковатого старика, и покорно ходили к нему на окраину.

В это утро Форапонтов сидел над починкой сломанной двустволки акцизного инспектора. Он низко согнулся над тисками и, подпиливая напильником зажатый болт, тихонько насвистывал.

В это время на противоположной стороне улицы показался высокий человек в форменной шинели и фуражке судейского ведомства. Он неторопливо шел по тротуару, поглядывая по сторонам. Навстречу ему шел пожилой рабочий. Высокий вежливо прикоснулся к козырьку фуражки и что-то спросил. Рабочий показал пальцем в сторону флигеля Форапонтова. Высокий поклонился и пошел через улицу, как раз в тот момент, когда мастер, подняв голову от тисков, заметил его на улице.

Спустя немного дверь мастерской визгнула на блоке, и посетитель вошел.

— Скажите, здесь живет мастер Форапонтов? — спросил он.

Старик открыл рот, чтобы ответить, но продолжал сидеть, безмолвно смотря на посетителя. Очки его как-то внезапно сползли на кончик носа. Посетитель улыбнулся.

— Вы, верно, и есть Форапонтов? — добавил он.

Старик точно очнулся от дремоты и привскочил.

— Прошу прощения, господин, глазами я слаб стал. Это точно я. А чем могу услужить вашей милости?

Вместо ответа посетитель развернул сверток газетной бумаги и положил перед мастером большой маузер в деревянной кобуре.

— Боевая пружина сломалась,— сказал он,— нужно поставить новую. Только прошу не задержать, он мне сегодня будет нужен, я еду в командировку.

Старик покачал головой.

— Трудненько сразу. Может, подходящей пружины не будет, придется в город сходить... А вы из нашего города будете?

— Да,— односложно отозвался заказчик.

— По судебному, значит, ведомству,— продолжал мастер,— куда ж это вас в командировочку посылают, уж не Твердовского ли ловить? — закончил он, ласково глядя на посетителя через очки снизу.

Губы посетителя дернулись недовольной и странной усмешкой.

— А вы любопытны,— ответил он,— но только напрасно. Командировка секретная и вам вовсе ни к чему знать.

— Да я так,— смешался старик,— больше от скуки. Живешь тут на краю города, скучно. Только и развлечения, что с заказчиком поговорить. А уж если вам так к спеху — не беспокойтесь, часам к семи вечера сделаем. Два рублика.

— Хорошо! Я зайду,— отвечал заказчик и, не прощаясь, вышел. Старик посмотрел ему вслед, прикрыл неплотно запахнутую дверь и пошел в заднюю комнату. Оттуда он вышел обратно в мастерскую с листом газеты, развернул его и долго во что-то вглядывался. По губам его проползла полуулыбка, полугримаса. Он бережно спрятал лист и взялся за маузер. Он переглядел все пружинки, лежавшие в особом ящике некрашеного шкафа, и с недовольным видом встал.

— Бес экий! Придется в город гнать. Нет подходящей.

Он нахлобучил на голову картуз, вышел на улицу, навесил замок на двери и пошел по улице мелкой старческой побежкой.

Вернулся он совсем к вечеру, была половина седьмого. Зажегши керосиновую лампу, он снова уселся на табурет, вынул из кармана сверточек, развернул его, достал пру-

жину, пощупал ее рукой, пробуя ее упругость, и, придвинув разобранный револьвер, вынул из него затвор и, завинтив в тиски, стал примерять пружину.

Работал он неторопливо, внимательно, так же, как и утром, тихо насвистывая «Во субботу день ненастный», и моментами останавливался, как будто прислушиваясь к звучанию мелодии.

Ровно в семь часов у крыльца по тротуару застучали шаги, и щеколда двери несколько раз поднялась и звякнула. Старик поглядел па дверь и спросил...

— Это я,— ответил голос,— утренний заказчик, пришел за револьвером.

Форапонтов неторопливо поднялся и отодвинул щеколду. Вошел тот же высокий в судейской форме.

— Ну, как, готово? — спросил он.

— Повремените минутку, господин! Верите, цельный день пробегал по городу, искавши пружину, и вот только что нашел. Револьвер, можно сказать, редкой системы, ну и не сразу найдешь. А вы присядьте, я при вас минут за десять сработаю.

Он пододвинул заказчику табурет, тот сел, заложив руки в карманы, и зевнул.

Форапонтов ковырялся в револьвере, что-то бурча. На улице, за дверью, пронесся порыв вечернего ветерка, зашелестели густолиственными шапками акации. Мимо дома простучали по тротуару чьи-то шаги. Форапонтов еще ниже склонился над револьвером и внезапно заговорил быстро и торопясь.

— Собачья наша жизнь, господин. Цельный день работаешь, работаешь, а едва на пропитание заработаешь,— он говорил, и вид у него был странный, будто слова бегут с губ совершенно независимо от мыслей, а мысли где-то за пределами комнаты ловят какие-то дальние звуки.

Он закрыл затвор и щелкнул им. Подал заказчику с прояснившимся лицом:

— Ну, теперь готово. Получайте.

Заказчик завернул маузер в бумагу и полез в карман за кошельком. Он вытащил его, раскрыл, доставая деньги, и в это мгновенье Форапонтов громко, напряженным и визгливым голосом, почти прокричал:

— Прибавить надо, ваша милость!

Заказчик с удивлением вскинул на него глаза, но сейчас же услыхал, как за его спиной с грохотом распахну-

лась дверь. Он обернулся и увидал впирающую в комнату через узкое отверстие двери толпу жандармов.

В мгновение поняв все, отбросив ненужный, незаряженный маузер, он вырвал из кармана браунинг. Треснул короткий выстрел, передний жандармский унтер рухнул на пол. Рука вытянулась для вторичнго выстрела, но тут же бессильно упала от удара ружейным стволом, нанесенного сбоку Форапонтовым.

Жандармы навалились кучей, стол опрокинулся, лампа погасла.

Когда кто-то вновь дрожащими пальцами зажег лампу, заказчик Кузьмы Форапонтова лежал на полу, связанный по рукам и ногам. Жандармский ротмистр нагнулся над ним:

— Вы Твердовский?

И даже отступил на шаг, обтирая плевок, попавший ему в лицо.

Глава семнадцатая
ВЛЮБЛЕННАЯ ПРОКУРОРША

Скромно одетая молодая женщина взошла на крыльцо чистенького каменного особнячка и взглянула на прибитую к двери визитную карточку.

«Прокурор Окружного Суда
Сергей Павлович Бубнов»,

прочла она на ней, вздохнула и нажала кнопку электрического звонка. Звякнула цепочка, и на пороге показалась щеголеватая горничная в накрахмаленном переднике и чепчике. Она презрительно прищурила глаза на скромную посетительницу.

— Вам кого угодно?

— Софья Николаевна дома? — спросила женщина.

— А вам по какому делу?

— По личному. Вы доложите, что ее спрашивает Антонина Михайловна Ткаченко.

Горничная захлопнула дверь и скрылась. Минуту спустя она широко раскрыла дверь и пропустила посетительницу.

— Пожалуйте,— сказала она почтительно, провожая ее в нарядную гостиную,— барыня сейчас выйдет.

Гостья присела на кресло в ожидании хозяйки, а в это время на улице, у крыльца особняка, встретились двое

прохожих. Они равнодушно прошли друг мимо друга, как незнакомые, и только один из них тихо бросил, как бы про себя:

— Вошла. Гляди, Степан, в оба!

И разошлись. На углах квартала оба остановились и, небрежно прислонившись к деревьям, стояли и курили, бросая изредка быстрые взгляды на особняк.

В гостиной зашуршала портьера, и быстрыми шагами вошла полная красивая блондинка в сером шелковом платье. Она бросилась к гостье и крепко обняла ее:

— Тоня! Боже, как я тебе рада! Но как ты попала ко мне и как рискнула? Пойдем ко мне в будуар, а то сюда может нагрянуть мой Серж, а тебе вряд ли будет приятно с ним встретиться, да и мне не очень хотелось бы этого.

Она взяла гостью за руку и ввела ее в светленький и кокетливый будуар.

— Ну, садись, садись. Ах, как я рада! Признаться, в гимназии я никак не ожидала, что у тебя будет такая романтическая судьба. Подруга знаменитого Твердовского. Это же прекрасно, как роман,— щебетала возбужденная прокурорша,— ведь он же настоящая знаменитость, твой муж. Как Хаджи-Мурат или Зелим-Хан. Быть женой такого человека куда приятней, чем женой прокурора, который каждый день до трех утра режется в карты, а дома храпит и не обращает на тебя никакого внимания.

— Может быть, приятней, но тяжелее, милая Соня,— грустно ответила Антонина.

— Ничего. Зато у тебя есть, что вспомнить. Ну, рассказывай! Впрочем, ты, верно, проголодалась. Чего хочешь, кофе, какао?

— Не беспокойся. Я ничего не хочу. Я пришла к тебе как к старой подруге с большой просьбой. Ты, благодаря своему положению, можешь ее исполнить. Дело касается моего мужа.

— Твоего мужа? — восхитилась прокурорша.— Прекрасно, говори! Для твоего мужа все постараюсь сделать. Мой благоверный называет его разбойником, но, право, милая Тоня, они со своим преферансом, из-за которого им нет дела до своих жен, большие разбойники. Ну, говори, говори же!

Антонина подвинула стул к подруге и, низко нагнувшись к ней, заговорила шепотом, волнуясь и беспокойно

оглядываясь по сторонам. Лицо прокурорши покрылось румянцем, ее глаза загорелись истерическим восторгом. Она хлопнула в ладоши.

— Боже мой, это восхитительно! — сказала она.— Это так романтично! Я клянусь тебе, что сделаю это. Послезавтра все будет в порядке, можешь быть спокойна. А если он попробует отказать, о, тогда я припомню ему его преферанс! — грозно сказала она.

— Я не знаю, как мне благодарить тебя,— сказала Антонина, вставая и прощаясь.

— К чему? Я это сделаю в равной мере для своего, как и для твоего удовольствия,— ответила экзальтированная прокурорша, целуя подругу,— но почему ты не хочешь посидеть у меня еще?

— Нет, пора. Меня ждет ребенок.

— Как, у тебя ребенок?.. Твердовского.

— Да. Он родился неделю назад.

— Ну, я обязательно приду взглянуть на него. Ах, как скучно, что я должна иметь ребенка от такого тюфяка, как Серж! — вздохнула прокурорша, закрывая дверь за гостьей.

Антонина, улыбаясь, тихо пошла по улице. На углу к ней подошел один из прохожих, встретившихся у прокурорского крыльца. Он равнодушно прошел мимо нее и кинул чуть слышно:

— Ну, как?

— Все благополучно,— ответила Антонина, не оборачиваясь.

. . . .

Прокурор Бубнов вернулся из клуба около трех часов ночи в веселом настроении. Он выиграл в покер около двухсот рублей и хорошо поужинал в компании закадычных друзей. Он снял в передней ботинки, надел туфли и тихонько направился в спальню, чтобы не разбудить жены и не получить нахлобучки. Но к его удивлению прокурорша не спала. Она лежала в кровати, в кокетливом кружевном чепчике и, облокотив белокурую головку на руку, читала французский роман в желтой обложке. Прокурор остановился с робостью на пороге.

— Ты не спишь, Софи? — спросил он с испуганным удивлением.

— Нет, я ждала тебя, Серж,— ответила прокурорша и томно потянулась, как сонная кошечка. Прокурор ти-

хонько сел на край кровати и поцеловал руку жены. Она лукаво улыбнулась и пригрозила ему пальчиком.

— А я придумала тебе наказание за твои полуночные бдения в клубах,— сказала она, принимая самую выгодную и соблазнительную позу.

— Мгм,— ответил прокурор, потянувшись к супруге с поцелуем. Она вдруг завернулась в одеяло до шеи и, сделав строгую мину, шлепнула его по губам.

— Нет, нет! Это оставьте! Я не разрешаю вам дотронуться даже до моих пальцев, пока вы, милостивый государь, не исполните моей просьбы.

— Какую, милостивая государыня?

Прокурорша вздохнула.

— Ах, очень маленькую, Сержик. Мне нужен пропуск в тюрьму для свидания с Твердовским.

Прокурор вскочил. Глаза его стали круглыми, и он сделал такой жест, как будто хотел перекрестить прокуроршу.

— Ты в своем уме? — вскрикнул он.— Что за глупые шутки?

На лбу прокурорши показалась грозная морщинка, предвестие грозы.

— Я не шучу,— сказала она,— и не думаю шутить. Я очень хочу повидать знаменитого разбойника. Мне скучно жить. Я никого, кроме твоих партнеров-картежников и тебя, не вижу. А от вас проку мало. Я хочу посмотреть на Твердовского.

— Но ты прямо соскочила с винтика! Это невозможно,— ответил прокурор, сжав руки,— что за дикая фантазия! — И, видя, что лицо жены принимает все более грозное выражение, поспешно добавил: — Ну, дай я тебя поцелую, пульпультик!

Но прокурорша отстранилась от супруга как от зачумленного.

— Оставь, оставь! Надоело мне колоться о твои рыбьи баки. Убирайся, пожалуйста! Вот как ты меня любишь? Хорошо же! Можешь уходить спать в свой кабинет и больше сюда не являться. Я тебя видеть не хочу! Я себе двадцать, нет, тридцать любовников заведу, а ты целуй нашу Глашу! Думаешь, я не знаю, как ты к ней подъезжаешь?

Удар попал в цель. Прокурор растерянно затоптался на месте.

— Что ты говоришь,— постыдись! Ну зачем тебе пришла в голову такая невозможная мысль? На кой черт тебе Твердовский? О чем ты будешь с ним, наконец, разговаривать?

— Не беспокойся,— отрезала прокурорша,— он, наверное, умеет говорить интересней, чем эти твои судебные кандидаты, у которых ничего, кроме двадцатого числа и водки, в голове нет. Или ты мне дашь пропуск, или...

— Но ведь он сам может не пожелать, чтоб его разглядывала, как зверя, какая-то экзальтированная...— Прокурор чуть не брякнул «дура», но вовремя поправился: — дама. Или он может просто обругать тебя, когда увидит, что ты пришла смотреть на него, как на зверя в клетке.

— Я тебе говорю, что он вежливей и приличней вас всех. Даешь ты мне пропуск или нет?..

— Но надо же сообразить. Дай мне подумать...

— Никаких раздумываний. Какой ты жестокий, Серж, какой тиран! А я так ждала тебя сегодня. Я думала,— протянула прокурорша пленительным щебетом, снова отбросив одеяло и открывая всю фигуру,— он придет из клуба, согласится на мою просьбу, доставит мне маленькое удовольствие, а я его так кре-е-епко поцелую.

— Ну, ну, хорошо... Я дам пропуск, не будем ссориться,— сказал прокурор,— только дай мне слово, что ты не будешь говорить Твердовскому никаких глупостей.

— Какой ты дурашка,— ответила прокурорша, положив голову мужа себе на грудь,— я ведь просто хочу посмотреть на разбойника. Ну, дай я тебя поцелую.

Глава восемнадцатая
НА ВОЛЮ

Как плененный зверь, метался Твердовский в своей камере, в высокой восьмисаженной башне тюрьмы, куда его перевели после попытки к побегу. Руки и ноги ему заковали в наручники, у двери камеры дежурили посменно два самых старых и свирепых надзирателя Балдеев и Мордякин, не сводившие глаз со страшного арестанта, наведшего панику на всю тюрьму. Сам начальник тюрьмы три раза в день приходит смотреть, здесь ли Твердовский. Снаружи во дворе под единственным крошечным

окном камеры установлен специальный пост наружной стражи, которому дан приказ стрелять немедленно при появлении в окне арестанта.

Некуда бежать из страшной башни. Толсты каменные стены, не пробить их, а если и пробьешь, то как спуститься с восьмисаженной высоты под зорким взглядом часового?

Тяжко на сердце у атамана лесных братьев. Уходят минуты, часы, дни, томится он в ожидании расправы. Похудел, измучился, наручники чуть не спадают с рук, только глаза пылают неутомимым огнем борьбы да лихорадочно работает голова. Неужели ничего не придумают на воле Иванишин и Володя? Неужели и погибать так, не свершив и десятой части задуманного, не докончив мести помещикам?

Ходит Твердовский из угла в угол камеры. Глухо позвякивают кандалы.

Вдруг он останавливается и смотрит на дверь. Визжит ключ в замке, дверь со скрипом открывается, и в камеру входит с опаской начальник тюрьмы в сопровождении Балдеева. Твердовский выжидающе смотрит на него.

— Господин Твердовский,— говорит начальник тюрьмы,— пожалуйте на свидание.

Твердовский делает шаг вперед. Глаза его зажигаются огнем надежды.

— Свидание? С кем? — спрашивает он чуть дрогнувшим голосом.

Начальник тюрьмы лукаво и подобострастно улыбается.

— Вот никак не угадаете. Супруга господина прокурора окружного суда, госпожа Бубнова. Очень дамочка вами интересуется.

Кулаки Твердовского яростно сжались, оживившееся было лицо потускнело. Он выпрямляется и гневно говорит начальнику тюрьмы:

— Я не чучело для разглядывания. Гоните эту дуру к черту!

Начальник тюрьмы разводит руками.

— Как хотите, господин Твердовский. Вам от этого убытка не будет, а все же хоть маленькое развлечение. Я так, по человечеству говорю, а там, как вам угодно.

Он поворачивается, чтобы выйти. Вдруг Твердовский решительно останавливает его.

— Погодите, ладно! Сейчас выйду.

Начальник тюрьмы обрадовался. Ему очень не хотелось передавать отказ Твердовского. Еще, не дай, господи, обидится на него влиятельная дама, нажалуется мужу, пойдут служебные неприятности.

— Вот и хорошо,— залебезил он,— сейчас, значит, передам ей, чтобы она подождала. Только уж, извините, я при свидании буду присутствовать. Так мне приказано.

— Пожалуйста,— ответил Твердовский с повеселевшим лицом.

Начальник тюрьмы вышел. Твердовский отряхнул халат, полами его вытер пыль с тяжелых тюремных ботов. Стоявший в камере Балдеев молча смотрел за ним.

— Чего глядишь, Балдеев? Туалет делаю для любовного свидания,— пошутил Твердовский.— Не найдется ли у тебя какого-нибудь огрызка веревочки, халат подтянуть, а то не ровен час распахнется, дама исподнее увидит,— неловко.

Балдеев расстегнул свою куртку и вытащил из-под нее ременный поясок.

— Нате уж, Иван Васильич, подтянитесь. Только когда в камеру вернетесь, поясок мне отдайте, а то не ровен час сделаете петлю, а мне отвечать.

— Верну, Балдеев, не беспокойся. Мне еще умирать рано.

Твердовский подпоясался ремешком и пошел в сопровождении Балдеева в контору. При появлении Твердовского ожидавшая на скамье дама под густым вуалем поднялась и сделала несколько быстрых шагов ему навстречу. Остановилась и приподняла вуаль. Твердовский, смотревший на нее с насмешливой улыбкой, вдруг отшатнулся и побледнел. Но вуаль мгновенно упала опять на лицо дамы, а Твердовский обратился почтительно к посетительнице:

— Чем могу служить, мадам?

Дама оглянулась. Начальник тюрьмы стоял несколько поодаль, внимательно прислушиваясь и приглядываясь. Дама пожала плечами.

— К сожалению, господин Твердовский, нам нельзя говорить без свидетелей. Но это не остановит меня. Я решилась на все. С той поры, как я узнала о вас, я не могу жить спокойно. Ваш образ заслонил передо мной все, чем я жила до сих пор. И я не могу больше мучиться своим молчанием. Я пришла прямо сказать вам, что я люблю вас.

Начальник тюрьмы опешил и растерялся. С одной стороны, он не мог по инструкции оставить арестанта и даму наедине. С другой — слушать такие признания было и неделикатно и небезопасно, а запретить этот разговор он не мог. Он крякнул, отошел к окну и стал глядеть в него, став спиной к Твердовскому и прокурорше. Дама взяла Твердовского за руку и усадила рядом с собой на скамью.

Продолжая говорить торопливо, взволнованно и бессвязно о своем внезапно вспыхнувшем чувстве, дама положила свои маленькие руки на руки Твердовского. Ее накидка накрыла эти соединившиеся руки, и оба застыли в этой позе.

— Я очень тронут, сударыня, вашим признанием. Я польщен, что мог внушить вам такое прекрасное и искреннее чувство, — ответил Твердовский,— но что я для вас, бедный арестант, которому суждена каторга, а может быть, и смерть? Я принесу вам только несчастье. Бегите от меня, забудьте меня, а я даже в могилу унесу ваш пленительный образ женщины, полюбившей несчастного.

Голос Твердовского звучал трагическим надрывом, но в глазах его играли острые веселые огоньки, и губы вздрагивали, как будто силясь подавить смех.

— Вы правы,— сказала дама, плача,— вы правы! Я безумна! Простите меня. Я ухожу, но все же мне легче от сознания того, что я открыла вам свое сердце.

Она поднялась и кинулась на шею Твердовскому, а затем, рыдая, выбежала из конторы. Твердовский смотрел ей вслед. Начальник тюрьмы подошел и тронул его за плечо.

— Пора в камеру, господин Твердовский. А дамочка приятная. Завидно даже, какой вы счастливчик. Поздравляю!

— Спасибо, господин начальник. Дама замечательная. Есть с чем поздравить,— ответил Твердовский, улыбнувшись, и в сопровождении появившегося Балдеева пошел в камеру. Улыбка не сходила с его лица.

У входа в камеру он отдал ремень Балдееву и вошел в камеру. Здесь он лег на койку, лицом к стене, и, осторожно взглянув на дверь, засунул руку под халат. Одно за другим он вытащил на одеяло тонкую шелковую веревку, скрученную мотком, пилку, дамский браунинг и коробку папирос. В коробке было двадцать папирос из

белой папиросной бумаги и пять из желтой. Поверх папирос лежала тонкая бумажка. Твердовский поднес ее к глазам.

«Посылаем гостинцы через Тоню. Ждем на волю, желаем успеха. *Володя и Степан*».

Твердовский быстро разжевал и проглотил записку, остальное опять спрятал на теле под халатом и, повернувшись совсем к стене, громко захрапел. Когда Балдеев разбудил его к вечернему чаю, Твердовский отказался.

— Я сегодня сыт любовью, Балдеев,— сказал он, потрепав надзирателя по плечу,— мне ничего не нужно.

— Лафа вам, Иван Васильич,— осклабился Балдеев.

Уже около десяти часов ночи Твердовский поднялся с койки и стал шагать из угла в угол по камере, раскуривая папиросу. Он глубоко затягивался, выпуская дым и громко похваливая табак.

— Эх, и табачок же! Что значит прокурорский. Хорошо живут люди. Не табак, а прямо мед!

Щелкнул глазок, и в нем показалось лицо Балдеева.

— Что вы говорите, Иван Васильич?

— Табак хвалю. Прокурорша сегодня мне папирос подарила. Замечательный табак. За всю жизнь такого не курил.

— Будто такой хороший? — усомнился Балдеев.

— Правда! Вот покури! Я сегодня в хорошем настроении, угощаю,— и рука Твердовского просунула в глазок желтую папиросу.

— Спасибо,— сказал надзиратель и чиркнул спичку.

Через десять минут Твердовский осторожно заглянул в глазок. Балдеев, прислонившись к стене, спал глубочайшим сном на табурете.

. . . .

На наружном посту у башни дежурил младший надзиратель Бабиенко. Он стоял у стены башни, за полночь, и слегка подремывал, опираясь на винтовку. Тихая майская ночь осыпала на него ласковое серебро звезд, и Бабиенко задумался о родной деревне, прудочке и карих глазах дивчины. Он переступил с ноги на ногу, вздохнул и вскинул глаза вверх на башню.

Точно гора обрушилась ему на плечи и пришила его ступни к земле. Над ним на высоте двух саженей бесшумно качалась на стене человеческая фигура.

Бабиенко обомлел. В мозгу его завертелись бешеным водоворотом мысли. Конечно, это спускается страшный арестант одиночной башни, атаман Твердовский. Нужно стрелять. Скорей. Пальцы Бабиенко сжимают винтовку, но какой-то внутренний ужас мешает ему поднять ее. Широко раскрыв глаза и весь дрожа, он смотрит на качающуюся фигуру и вместо того, чтобы стрелять, дрожащим шепотом спрашивает:

— Иван Васильич! Це вы,— чи ни?

В ответ до него доносится грозный и повелительный шепот:

— Молчать! Смирно, черт тебя побери!

Еще больший ужас охватывает Бабиенко. Зубы его стучат, а страшная фигура уж совсем над ним. Вот спрыгнула без шума, и в глаза Бабиенко повелительно смотрят поблескивающие в темноте суровые глаза.

— Давай винтовку!

Как автомат, Бабиенко подает винтовку. Тихо щелкает затвор, винтовка снова в руках Бабиенко.

— Не подымай шуму! Затвор отдам тебе, когда перелезу забор. Стой смирно, как будто ничего не случилось. Сменишься, никто не заметит. А будешь шуметь — сам же под суд попадешь.

Как во сне, видит Бабиенко высокую фигуру, перебегающую двор к стене. Подставлена доска. Фигура на заборе.

— Положи доску на место! Ни слова никому! Получай затвор!

Затвор с легким звоном падает во двор. Когда Бабиенко поднимает глаза на забор, там уже никого нет. Вздохнув, надзиратель оттаскивает на место доску и становится к стене, слыша шаги смены.

Бабиенко сдал пост благополучно.

Глава девятнадцатая

НОВЫЕ БИТВЫ

Твердовский исчез, как в воду канул. По всем следам бросались полицейские и жандармские ищейки, но ничего не могли найти. Вскоре поиски прекратила война.

Кровавым заревом встала она над страной и заслонила все. Некогда было искать Твердовского. Власти были

заняты угоном на мировую бойню миллионной мужицкой Руси.

Пролетел неизвестно кем пущенный слух, что Твердовский убит своими же дружинниками при разделе добычи. На этом и успокоились, тем более, что и сам Твердовский не подавал признаков жизни.

Февральской метелью смело, сдуло с бескрайних полей России губернаторов, жандармов, прокуроров, приставов и помещиков, а в октябре в могилу их вогнали прочный осиновый кол. Пришла невиданная новая жизнь, пришла новая гроза, началась борьба не на жизнь, а на смерть с теми, кто силой оружия и кулака хотел вернуть старь...

. . . .

В декабре семнадцатого года стоном стонали села и деревни, расположенные на тракте, ведущем из Румынии к черноморско-днепровскому побережью. Полковник Галчинский, собрав черную стаю офицеров в две тысячи человек, сколотил из нее ударный полк и пробирался на Кубань, где уже поднял пламя восстания старый враг революции генерал Корнилов.

Жестоко мстили по дороге офицеры мужикам за перенесенные на фронте от мужиков, одетых в солдатские шинели, обиды.

В каждой деревушке, на каждом хуторе ложились в сухой снег расстрелянные деревенские большевики, повисали на журавлях колодцев, на перекладинах ворот.

Не знали галчинцы слов «милость» и «пощада». Было одно у них слово «месть».

Беспощадная, тупая и злобная месть. По ночам небо озарялось пламенем пожаров, полыхали крестьянские хаты, сожженные за большевизм. Даже скоту не давали пощады, и у деревень валялись, вперемежку с человечьими, трупы коров, овец и свиней.

— С корешками вырву большевистскую заразу,— говорил полковник Галчинский, наблюдая расправу своих офицеров,— будут помнить, собачьи сыны, власть советов.

Двигались галчинские орды напролом, почти не встречая сопротивления. Старая армия развалилась, рассыпалась по своим родным местам, новой силы еще было мало. Одиночные маленькие отряды красной гвардии, едва обученные, неумелые, недисциплинированные, перегруженные примазавшимся элементом, не могли состязаться в

боевой выдержке с кондотьерами Галчинского, прошедшими специальные училища и суровую школу войны.

Утром на большой площади села Нововведеновки, где у соборной ограды лежали рядком тела одиннадцати нововведеновских большевиков, горнист проиграл поход.

Площадь мгновенно заполнилась офицерами, полк построился в боевой порядок.

— Справа по отделениям! Первый батальон, шагом марш! — скомандовал, кружась по площади на высоком соловом жеребце, полковник Галчинский.

Полк тронулся мимо него. При проходе минно-подрывной команды Галчинский ухмыльнулся и подозвал кивком командира. Он сказал ему несколько слов.

Из рядов выделилось несколько человек офицеров.

— Зажигайте все хаты по левой стороне улицы,— сказал, смеясь, Галчинский,— кто живет слева, тот, значит, большевик.

Офицеры рассыпались по улице с пучками соломы и фляжками с керосином.

Перепуганные мужики, сбившиеся посреди площади в покорное овечье стадо и только бросавшие на полковника быстрые, сумрачные, ненавидящие взгляды, метнулись всем гуртом к нему и попадали на колени.

— Ваше превосходительство! Змилуйтесь, за що? По миру идти?

— Ага,— сказал Галчинский,— вот как теперь заговорили — ваше превосходительство. А если б я к вам один попал, так разорвали б меня на куски, зверье сволочное! Пошли вон! — И, перегнувшись с лошади, хлестнул ближайшего нагайкой по лицу.

Мужики таким же испуганно-покорным стадом побежали от Галчинского, только остался, воя, держась за разбитый глаз, кататься в муке по грязному снегу пострадавший.

— Что за вой? Заткнуть ему глотку!

Ближайший офицер поднял винтовку и, выстрелив в упор, разнес череп избитому.

От домов пополз черный густой дым, языки пламени, шипя, стали лизать соломенные крыши.

— Оставить конно-пулеметную команду! Не давать тушить! Как кто сунется — шпарь пулеметами!

Галчинский хлестнул коня и поскакал в голову полка. Длинная змея его уже вышла из села и тянулась по дороге. Скоро она скрылась за холмами в степной дали. Дома

пылали огромными светочами, под глухой вой крестьян и истерические вопли баб. Но два пулемета с углов площади держали эту обеспамятевшую от ужаса и негодования толпу в неподвижности.

Пулеметчики неистово хохотали у пулеметов, обмениваясь замечаниями по поводу глупых морд этого большевистского быдла. Рев и треск пламени, разрастаясь, заглушал все другие звуки.

И офицеры, стоявшие у пулеметов, только тогда обернулись на лошадиный топот, когда из боковой улицы села на площадь вынеслись карьером первые ряды всадников, скакавших с обнаженными шашками. На папахах у них были ярко-красные ленты. Командир пулеметной команды, кадровый офицер, видавший виды, не растерялся и молниеносно подал команду:

— Ворочай! По коннице сзади! Ленту!

Первый пулемет брызнул свинцом, когда всадники были уже в пятидесяти шагах, и точно косой срезал первые ряды, но в эту минуту словно проснулись неподвижные мужики. Без уговора, но сразу, точно все одновременно поняли, что нужно делать, их сбитая толпа, без оружия, ринулась сзади на пулеметчиков.

Оба пулемета были опрокинуты натиском живых тел, по сбитым с ног офицерам заплясали тяжелые подковы мужицких чоботов, убегающих рубили всадники, носившиеся за ними по площади.

У церковного дома остановились трое всадников. Один из них, на серой в яблоках лошади, долго смотрел на одиннадцать тел расстрелянных и кусал губы. Потом обернулся к другому:

— Володя, распорядись перенести всех в больницу! Завтра похороним. Поручаю тебе позаботиться об этом.

Спутник его козырнул и что-то спросил, показывая на гонимых нагайками кавалеристов шестерых офицеров, взятых живьем.

— Собери народ в круг! — ответил первый.

Мужики, возбужденные, переговариваясь между собой, окружили плотным кольцом группу из трех всадников и пленных. Сидевший на серой лошади поднял высоко руку, призывая к молчанию. Все мгновенно стихло, только десятки крестьянских глаз перебегали от лица всадника к белым как мел лицам пленных.

— Товарищи крестьяне! — раздался звучный и полный голос.— В моих руках шестеро тех безумных, которые думают, что кровью и железом можно вернуть трудовое крестьянство в волю и власть помещиков! Я отдаю их на ваш суд. Чего вы хотите для них?

— Вбить!.. Вбить, як собак!.. Заховать у землю живьем!.. Спалить на огне! — раздались возбужденные яростные голоса и слились, наконец, в один общий крик:

— Спалить живьем! Нехай покорчатся!

Лицо всадника нахмурилось и дрогнуло. Он опять призывающе вскинул руку.

— Товарищи,— сказал он,— ваш приговор ясен — смерть! Я приведу его в исполнение. Но сжечь людей живьем недостойно освобожденного и борющегося за свою свободу народа. Это пристойно озверевшим помещикам, которые потеряли голову от злобы, что ушла их власть и сила. Мы не мучаем и не пытаем. Закон смерти суров и неотвратим, но смерть не может сопровождаться лишними муками. Убивайте врагов, но не мучьте! Покажем, что мы лучше их.

Крестьяне стояли с потупленными головами.

— Здесь? — спросил один из спутников всадника.

— Нет! Здесь они расстреливали наших братьев. Пусть их черная кровь не мешается с чистой кровью. Там, на улице.

Шестерых повели. Через минуту в уличке раскатился залп. Все на площади замерли. Старая крестьянка подошла к всаднику на сером коне и припала головой к его стремени.

— Як звать тебя, сынку, щоб знать, за кого бога молить?

Всадник тихо ответил:

— Бога молить не нужно, бабка. Пустое дело. А зовут меня Иван Твердовский.

Глава двадцатая
НЕЖДАННАЯ ВСТРЕЧА

Вечером в церковном доме над картой района склонились три головы, освещенные трепещущим огнем свечи.

Палец Твердовского провел линию посреди путаных и мелких значков карты.

— Из Шепетовки они пойдут именно этой дорогой на Переяславовку. Зачем им на Пятихатки трепаться. Деревушка бедная, там и поживиться нечем. Так вот, смотрите! На девятой версте дорога идет овражком, между рощицами. Сюда и отправитесь! Займите позицию и ждите меня! Я к утру буду.

Володя поднял голову от карты.

— Бросил бы ты, Иван, это дело. Не ровен час нарвешься. И так раскатаем их за милую душу.

— Не лезь не в свое дело! — оборвал Твердовский.— Делай, что тебе приказывают!

К полуночи три сотни Твердовского выступили из села по дороге на Переяславовку. Вели их Володя и второй новый помощник Кособочко. Старый друг Иванишин геройски умер в октябре в Петербурге, при штурме Зимнего.

Колонна медленно тянулась по снежной дороге. Впереди молча ехали Володя и Кособочко. Володя курил козью ножку. Морозный ветер рвал и разбрасывал в белесой мгле золотистые искры махорки.

— Не нравится мне его затея,— сказал он Кособочко,— не нравится. Лезет сам на рожон. А у меня с утра сегодня какое-то беспокойство. Сердце не на месте.

Кособочко хмыкнул в свои висячие китайские усы.

— Отто! Чи ты баба? Ще мабуть станешь в водяного дида верить?

— Не то совсем,— отозвался Володя,— а бывает такая тяжесть. Сам не поймешь отчего. Смутно.

Кособочко подъехал вплотную и хлопнул Володю по колену.

— Эге ж! А ты хлопни стаканчик горилки, тай усе. На, небога!

Он вынул из-под куртки фляжку и подал Володе, отвинтив горлышко. Володя отхлебнул глоток. Горячая волна пробежала по его телу. Он отдал фляжку Кособочко и, сразу повеселев, обернулся к колонне.

— Подтянись! Задние не отставать! Веселей!

Зацокали чаще и четче копыта, колонна стала сокращаться. По этому сокращению и по быстроте его выполнения было видно, что люди отряда знают свое дело. И действительно — Твердовский набрал свой отряд из старых и опытных кавалеристов, подолгу беседуя с каждым принимаемым.

Благодаря этому, отряд Твердовского славился своей дисциплиной и боеспособностью среди многочисленных мелких отрядов красной гвардии, оперировавших на этом направлении. Но, помимо дисциплины и боеспособности, Твердовский высоко поставил отряд в моральном отношении. Случаи грабежа и насилия были неизвестны в отряде. На первых порах некоторые чины отряда, прошедшие через экзамен у начальника, позволили себе грабеж в захолустном местечке.

. . . .

Утром по приказанию Твердовского они были расстреляны собственноручно Володей и Кособочко перед фронтом отряда. Твердовский показал пальцем на трупы и, гневно сдвинув брови, сказал:

— Зарубите на носу! Так будет с каждым любителем легкой наживы, хоть бы он был мне родным братом. Революционная армия не грабит, а кто этого не понимает, тому нет места на чистой нашей земле.

Пример подействовал, и больше грабежей не было. Больше того, отрядники с негодованием отвертывались от людей других отрядов, хваставших хорошей добычей, бриллиантовыми кольцами, золотыми часами, шубами, снятыми с буржуев.

— Нам батька заказав с такой сволочью водиться,— отвечали они и поворачивались спиной к собеседникам.

. . . .

Дымный и морозный декабрьский рассвет едва занимался розовой полоской на горизонте, когда отряд достиг отмеченного Твердовским на карте оврага между рощицами.

Володя остановил отряд.

— Ты бери полторы сотни и ступай направо, а я пойду налево,— сказал он Кособочко. Отряд разделился на две части и вошел в рощицы по обеим сторонам оврага, скрывшись за частым кустарником, закрывавшим опушку.

. . . .

Галчинцы к двум часам дня ворвались в Шепетовку, и здесь повторилось то же, что было в Нововведеновке. Даже еще хуже. Крестьяне, при появлении первых офицеров, пытались оказать сопротивление, предполагая, что

белых просто небольшая кучка, случайно набредшая на село. По офицерам ударило несколько выстрелов из принесенных с фронта винтовок и охотничьих ружей.

Разведка отошла и доложила Галчинскому о сопротивлении.

— Ах, так? — сказал, побагровев, полковник,— батарею!

Подскакавшая на рысях офицерская батарея снялась с передков, и в мгновение ока на село посыпались очереди гранат. После долгого обстрела беззащитных мужиков галчинцы вступили в деревню без помехи.

Начался повальный обыск, порка и расстрелы. К вечеру веселое шумное село выглядело как могила.

Полковник Галчинский устроился на ночлег с чинами штаба в школе, выгнав учительницу. К ночи он забеспокоился, куда девалась пулеметная команда, и послал разъезд кавалерии назад в Нововведеновку за пулеметчиками, а сам расположился с офицерами за ужином. Среди офицеров был один штатский в хорошей шубе с бобровым воротником, дружески и фамильярно обходившийся с полковником.

Рядовые офицеры отряда с завистью прислушивались к хохоту и пению, доносившемуся из школы, где пировал штаб.

Батарея расположилась на ночь у окраины села. Шесть орудий стояли вытянутые в ряд, возле них ходил, закутанный в тулуп, часовой.

Он прислушивался к доносившимся от середины села звукам и тихонько посвистывал. Внезапно он услыхал шаги за плетнем и насторожился. Из-под плетня показалась какая-то фигура.

— Стой, кто идет? — крикнул офицер. Фигура замерла на месте, и до слуха офицера долетел испуганный вскрик:

— Ой, батюшки, мий боже!

Офицер шагнул вперед, вглядываясь. Перед ним стоял высокий молодой еще крестьянин в добротном мерлушковом кожушке и бараньей шапке.

— Ты чего здесь шляешься, сукин сын? — спросил офицер.

— Не гневайтесь, ваше благородие,— взмолился мужик льстивым голосом,— как почали гарматы бить по селу, то я дюже злякався, захватив, що було грошей, та втик. А теперь звертаюсь.

Офицер ухмыльнулся. У него возникла хорошая идея.

— С деньгами утик? А ну, иди сюда! Где у тебя деньги?

— В кушаке.

— Доставай, сволочь! Награбил,— прикрикнул офицер, направляя штык на мужика.

— Ваше благородие!..

— Молчать, а то положу на месте!

Мужик тяжело вздохнул и, развязав кушак, протянул его офицеру.

— Берить, бо що з вами зробишь. Жизнь дороже.

Офицер взял кушак и, подхватив винтовку на левый локоть, пощупал материю.

— Ого! Хорошая пачка.

— Ваше благородие,— тихо попросил мужик,— дайте хочь одну керенку, щоб жинку прокормить завтра.

— Это я могу. Поделимся. Мы не грабим, как красная сволочь, и жалеем людей.

Офицер стал развязывать угол кушака. Мужик неслышно шагнул к нему, рука его взлетела в воздух, послышался короткий хруст пробитой височной кости, и офицер без звука лег к ногам ограбленного.

Мужик огляделся и, подняв свой кушак, подошел к первой пушке. Он тихо открыл затвор, наклонился. Тихо звякнула сталь о сталь. То же произошло у всех остальных пушек.

Кончив свой обход, мужик выпрямился и ровными шагами пошел к середине села.

Веселье в штабе разрасталось. Бутылки пустели. Офицеры образовали кружок, прихлопывая в ладоши, а посредине кружка плыл в лезгинке красивый поручик, грузин, в форме Дагестанского конного полка.

Среди топота, гитарного звона, хлопанья ладошек и выкриков в комнату, занятую веселящимися, вошел запорошенный снегом офицер и, приблизившись к полковнику Галчинскому, вытянулся, откозыряв.

— Господин полковник, разрешите доложить! Вас хочет видеть какой-то крестьянин...

Полковник вскинул на офицера немного осоловелые глаза.

— Мужик? Меня? Что за каналья? Дайте ему двести шомполов, чтобы у него пропала охота беспокоить меня.

Офицер щелкнул шпорами, но сказал настойчиво:

— Видите, господин полковник, он говорит, что имеет важное сообщение и желает предупредить вас об опасности. Он из богатых мужиков, которые держат нашу сторону.

— Тогда ведите его сюда. Только если он врет, я ему...— и полковник сжал кулак.

Лезгинка оборвалась, водворилась тишина. Офицеры расселись по скамьям, полковник занял место в кресле.

Вошел снова тот же офицер и с ним мужик в мерлушковом кожушке и бараньей шапке. На пороге он снял ее, отряхнул об колено от снега и сделал низкий поясной поклон полковнику.

— Здравия желаю, ваше высокоблагородие!

— Здравствуй, здравствуй! — небрежно ответил полковник.— По какому делу пришел?

— Дозвольте казать прямо, ваше высокоблагородие? — спросил мужик, кланяясь вторично и не замечая, что из угла комнаты за ним пристально и лихорадочно наблюдают глаза штатского, того единственного штатского в хорошей шубе, который находился при штабе полковника. Штатский, услыхав первые звуки голоса мужика, приподнялся со скамьи и даже сделал два-три шага к креслу полковника, не отрываясь от фигуры крестьянина.

— Конечно, говори! Именно прямо и правду. Будешь врать — запорю! — брякнул полковник.

Крестьянин истово перекрестился на висевшую в углу икону.

— Лопни мои очи, колы сбрешу! Усе по правди. Я чув, ваше высокоблагородие, що видсиля вы пидете на Пятихатки?

— А тебе что за забота? — сердито спросил полковник, морща лоб.

— Так я ж хотив вам казать, не ходите на Пятихатки, бо там по дороге засада. Большевики гвардии нагнали видимо-невидимо, щоб вас перехватить. Тысячи четыре матросни у их там.

— Спасибо тебе за совет,— презрительно сказал полковник,— мы и сорока тысяч этой сволочи не побоимся, но только мы сами решили идти не на Пятихатки, а на Переяславовку.

Какая-то мгновенная радостная молния сверкнула в глазах крестьянина, и еще ближе подался глядящий на него сбоку штатский.

— А за то, что ты верен присяге и долгу, выпей за мое здоровье,— сказал полковник, наливая стакан водки.

— Покорнейше благодарим!

Крестьянин осушил стакан и поставил его на стол.

— Отто ж матросня озлится, бо воны мусили, що вы прямо до их в лапы попадете. А уж и зверюги ж. А командир в их розбишака, каторжник Твердовский...

Штатский одним прыжком очутился между крестьянином и полковником.

— А! — вскрикнул он.— Теперь я узнал тебя, разбойник! Держите его, это сам Твердовский!

Крестьянин быстро вскинул глаза на штатского и мгновенно рванулся к двери, но кто-то из офицеров ударил его рукояткой нагана в лоб. На него навалились и скрутили ему руки его же кушаком. Когда суматоха утихла, полковник спросил штатского:

— Господин Тряпицын, вы уверены в том, что это Твердовский?

— Еще бы! Я эту морду во всю жизнь не забуду. Как он меня, подлец, ограбил.

— Обыскать! — крикнул полковник. Еще полубесчувственного от удара Твердовского обшарили офицеры и в каблуке сапога нашли свидетельство, выданное революционным военным комитетом на право формирования красногвардейских частей.

— Так,— прошипел полковник,— попалась птичка, стой!

— Расстрелять его, господин полковник! Немедля расстрелять! — взвизгнул Тряпицын. Полковник недовольно взглянул на него. Он не любил вообще, чтобы шпаки совали нос в военные дела, и поэтому отрезал:

— Я сам знаю. Мы его расстреляем завтра при торжественной обстановочке, с музыкой. Казачка или гопака ему зажарим, по выбору, чтоб душе было весело уходить. А пока припрячем до утра.

— Но он сбежит,— заволновался Тряпицын.

Полковник иронически взглянул на него.

— Сбежит? Это может он у таких шляп, как вы, бегал. А от меня на тот свет бегают. Поручик Лебедев! Поручаю вам. Отвечаете головой и жизнью.

— Слушаю, господин полковник! — вытянулся широкоплечий офицер с жестким лицом и ледяными глазами.

Офицеры под руки вывели арестованного из комнаты.

Глава двадцать первая
НЕУДАВШИЙСЯ ПАРАД

Твердовского бросили в грязный свиной хлев, прямо на замерзший навоз, связанного по рукам и по ногам. Поручик Лебедев ткнул его ногой в бок, и офицеры удалились доканчивать прерванное веселье.

Но ему не суждено было возобновиться, потому что с окраины села примчался один из взводных офицеров батареи с трясущейся челюстью и сообщил о невероятном происшествии. Часовой при орудиях убит ударом какого-то тяжелого предмета в голову, а у всех шести орудий сбиты стопорные клинья, что привело их в полную негодность.

Эта весть упала на штаб, как удар молнии. Лица у всех вытянулись.

— Вот сволочь! — прорычал полковник, треснув кулаком по столу.— Это его работа. Но какая дерзость, какое безумное молодечество. Проделать такую штуку и иметь еще нахальство явиться сюда предупреждать, чтобы мы не ходили на Пятихатки. Ну, теперь они прождут нас, как дураки, по дороге на Переяславовку, а мы двинемся как раз на Пятихатки. А перед уходом я устрою для всего полка и для села хороший парад. Я сдеру с этого знаменитого громилы его паршивую шкуру заживо и натяну ее на наши барабаны. По крайней мере у нас будет чем похвастать. Поручик Лебедев!

Поручик Лебедев снова вытянулся перед начальством.

— От этого негодяя можно всего ожидать. Проверяйте караул у хлева и наличность арестованного каждые полчаса! Слышите?

Поручик Лебедев вытянулся еще больше.

— Слышу, господин полковник!

— Ну, а теперь, господа офицеры, пора и на боковую. На сегодня впечатлений хватит. Утром построиться на площади к девяти часам.

Офицеры один за другим вышли. В комнате остались только полковник и Тряпицын. Полковник взгромоздился на кровать учительницы, безжалостно смяв и испачкав

скромное чистенькое покрывало грязными сапогами. Тряпицын примостился на сдвинутых партах, покрытых мешком сена. Полковник погасил свечу и зевнул.

— Господин полковник,— нервно сказал Тряпицын, ворочаясь на своем мешке,— господин полковник!

— Ну, что? — огрызнулся полковник,— не мешайте спать!

— Господин полковник! Ликвидируйте Твердовского сейчас! К утру он исчезнет. Я знаю этого человека слишком давно и знаю, что он может сделать невозможное.

— А ну вас к черту! Трус! — ответил полковник и, повернувшись носом к стене, захрапел.

У хлева стоят пятеро часовых офицеров. Четверо по углам и один у двери. Поручик Лебедев каждые полчаса ходил в хлев убедиться — на месте ли арестант.

В первые приходы поручика Твердовский стонал и ругался и просил дать ему чем-нибудь накрыться, потому что он замерзает. Поручик Лебедев, хохоча, советовал ему кувыркаться через голову. Но на пятом посещении Лебедева стоны прекратились. Твердовский лежал ничком, не шевелился и не отзывался на окрики Лебедева. Лебедев ударил его кулаком в шею, арестант чуть слышно вздохнул.

«Пожалуй, действительно замерзнет, черт! Ночь холодная, придется покрыть, а то как бы не попало от полковника»,— подумал Лебедев и вышел из сарая.

— Смотри в оба,— сказал он часовому у входа,— я схожу за попоной, накрою его, дьявола, а то, кажется, замерзает!

Он ушел в конюшню, где стояли кони штаба, и вскоре вернулся к хлеву, держа в руках суконную попону.

— И зачем возятся? — буркнул часовой.— Пусть бы подох!

Поручик скрылся в хлеву. Часовой услыхал шуршание расстилаемой попоны и спустя некоторое время поручик Лебедев вышел, прижав к носу платок.

— У, дьявол! Тьма египетская, наткнулся на кол, нос расшиб,— глухо сказал он и быстро пошел к штабной избе, чертыхаясь.

Утро наступило солнечное и яркое. Алмазными искрами горел пушистый снег.

Галчинский полк построился четырехугольником на сельской площади вокруг кола, на котором в обычное время гоняли на корде лошадей крестьяне. Сюда же согнали

все население. Двое здоровых солдат стояли у кола, помахивая в воздухе шомполами. Полковник Галчинский показался на пороге школы. Полк дружно ответил на приветствие.

— Ну, начнем, благословясь, представление,— ухмыльнулся Галчинский,— поручик Лебедев!

Но поручик Лебедев не появился, как обыкновенно, перед своим начальником.

— Поручик Лебедев! — крикнул во весь голос полковник. Никакого ответа.

Полковник вскипел.

— Куда он девался, черт побери? Неужели дрыхнет, разбудите!

Офицеры бросились в хату, где ночевал поручик Лебедев, но денщик ответил, что поручик не возвращался ночью. Полковник побледнел и аршинными шагами, почти рысью, побежал к хлеву. Распахнул дверь. Солнечный луч ворвался в затхлый воздух хлева. Арестант лежал накрытый попоной с головой. Полковник быстрым взмахом сорвал попону и отлетел к стене.

Перед ним весь измазанный в навозе, полураздетый, с заткнутой в рот портянкой лежал с вытаращенными глазами задыхающийся поручик Лебедев.

Глава двадцать вторая

БРОНЕПОЕЗД «РУСЬ»

Кипит, полыхает пламенем по степным просторам гражданская война. Растут и крепнут силы революции. Из нестройных отрядиков красной гвардии вырастают с каждым днем спаянные железной революционной дисциплиной красноармейские полки, дивизии и армии.

Но упорен и враг. Огрызаясь, как волк, он с боем отдает каждую пядь земли и иногда бросается сам в наступление, заставляя отходить красные армии.

Партизанский отряд Твердовского развернулся уже в кавалерийскую бригаду.

Белым известно имя Твердовского, и оно наводит страх на самых отчаянных и забубенных. Не один белый генерал кончал самоубийством во избежание позора сдать свою саблю непобедимому командиру красной конницы.

Переброшенная на южный фронт, бригада Твердовского бьется с прославленным в белой армии конным корпусом генерала Слонова. Твердовский встретился с достойным противником. Отчаянная голова генерал Слонов. Лихими налетами обрушиваются его конники на тылы Красной Армии, сжигая продовольственные склады, взрывая станции и водокачки, разрушая пути, уничтожая все, что поддается уничтожению, на своей дороге.

Налетят, разворотят, разрушат и снова уходят к себе за линию фронта.

Второй месяц гоняется Твердовский за неуловимым генералом, но безуспешно.

Несколько раз удавалось настигать мелкие части корпуса Слонова и раскатывать их, но главные силы так же беспрепятственно уходили в свою лазейку к большой узловой станции, где корпус имел свою базу. А прорваться на станцию и покончить с белыми в их гнезде было невозможно.

По линии железной дороги циркулировал лучший бронепоезд белых «Русь», вооруженный тяжелыми морскими пушками Кане и десятками пулеметов. Что могла сделать с ним легкая, но беспомощная против его страшных орудий конница.

Как только части бригады Твердовского зарывались в погоне за противником к линии стальных путей, бронепоезд тут как тут, и, сметаемые его ужасающим огнем, скрипя зубами от злобы, отступают красные кавалеристы перед неуязвимым за своими броневыми плитами чудовищем.

Вне себя от бешенства, Твердовский дал наконец клятву, что он возьмет этот проклятый бронепоезд голыми руками и совершенно один. Даже в штабе бригады эти слова вызвали скептическую усмешку и сомнение. Твердовский обвел глазами своих соратников, стукнул кулаком по столу и сказал решительно:

— Говорю, возьму. А не возьму, пулю в лоб себе пущу!

И твердой походкой вышел.

Через две недели на узловой станции, где имел постоянную стоянку бронепоезд «Русь», была обнаружена попытка взорвать его. Ночью неизвестным злоумышленником, который под видом сцепщика лазил под колесами, была прикреплена к колесу огромной силы торпеда, которая при первом повороте колеса должна была взорваться

и разнести весь поезд. Но злоумышленник, очевидно, был новичком в подрывном деле и от волнения либо впопыхах забыл вынуть из запала торпеды предохранительную чеку, и, когда поезд тронулся, торпеда безобидно зашлепала по шпалам и была немедленно замечена и снята.

После этого дела командир бронепоезда подполковник Стерницкий был смещен за халатность и небрежную охрану поезда, так как следствием было установлено, что он сам видел в ночь покушения неизвестного смазчика под вагонами и даже не потребовал у него документов. На место Стерницкого был назначен прибывший из штаба бронечастей доброармии капитан Пчелин, георгиевский кавалер.

Распущенно-беззаботная жизнь, которую вели при Стерницком офицеры и солдаты бронепоезда, как оборвалась. Капитан Пчелин построил всю команду и заявил:

— Приняв командование бронепоездом, я принимаю на себя всю ответственность за него. Бронепоезд бельмо на глазу у конницы Твердовского. Они сделают все возможное, чтобы уничтожить его. По данным разведки сам Твердовский поклялся уничтожить поезд, а Твердовский опасный противник. Поэтому приказываю господам офицерам и нижним чинам со всей строгостью выполнять предписания уставов строевого, полевого и караульной службы. Малейшее отклонение поведет за собой предание полевому суду. А пьяных я буду расстреливать без суда, независимо от звания и чина.

Хоть и не очень пришелся по вкусу распущенным бронепоездникам такой приказ, однако они присмирели, стали выполнять все требования тяжелой бронепоездной службы аккуратно. Капитан Пчелин, не зная устали, ежедневно осматривал поезд и в первые же дни безжалостно отдал под суд плутонгового начальника и комендоров за плохо вычищенные затворы пушек.

После этого все чины поезда стали наперерыв друг перед другом стараться по службе.

Спустя несколько дней капитан Пчелин получил из штаба группы приказ выйти ночью со станции в южном направлении и на разъезде Карапыш вскрыть приложенный к приказу запечатанный пакет, в котором заключалась инструкция для дальнейших действий. Пчелин собрал офицеров и объявил им, что поезд должен быть готов к отправлению в десять часов вечера.

— А куда мы пойдем, господин капитан? — спросил молоденький прапорщик Веткин.

— Это мы узнаем на разъезде Карапыш, господин прапорщик. Умерьте ваше любопытство,— ответил капитан, обдав прапорщика таким взглядом, что тот съежился, как от ледяного душа.

. . . .

В этот же вечер командиру третьего эскадрона второго кавполка бригады Твердовского принесли из штаба бригады пакет с надписью: «Совершенно секретно».

Он вскрыл его и прочел: «По приказанию командира бригады товарища Твердовского предписывается вам с получением сего отправиться с наступлением темноты в направлении разъезда Карапыш и, скрытно перейдя линию сторожевого охранения противника, захватить разъезд, действуя в случае надобности исключительно холодным оружием, и ждать на разъезде. Дальнейшие приказания получите лично от товарища Твердовского».

Командир эскадрона покачал лохматой головой и сказал ворчливо:

— Загвоздочка, елки-палки зеленые!

В десять часов ночи бронепоезд «Русь», громыхнув буферами и лязгнув скрепами, умчался в черноту южной ночи по направлению к разъезду. На десятой версте капитан Пчелин приказал офицерам собраться в боевую рубку среднего вагона. На столе лежал запечатанный пакет. Офицеры расселись вокруг стола, капитан Пчелин стоял, прислонившись к двери рубки, и курил.

— Прапорщик Веткин,— сказал он,— вскройте пакет и прочтите приказ вслух!

Веткин, покраснев от удовольствия, разорвал пакет и поднес к глазам лист бумаги. Он открыл рот, чтобы читать, но вдруг глаза его расширились, он вскинул их на капитана.

— Тут какая-то ерунда, господин капитан!

— Не мелите вздора, читайте! — крикнул капитан.

— «Господам офицерам бронепоезда «Русь». Настоящим предписывается вам по прибытии на разъезд Карапыш перейти из командования доброармии в командование начальника железной конной бригады Красной Армии товарища Твердовского. Исполнившим настоящий приказ гарантируется жизнь и сохранение занимаемых должностей»,— прочел, заикаясь, прапорщик.

Пять офицеров переглянулись выпученными глазами.

— Что же это такое, господин капитан? — робко спросил один из них.

Капитан Пчелин выпустил клуб дыма и стал в пролете дверей.

— Ничего особенного. Это приказ. Через двадцать минут мы будем на разъезде. Эти двадцать минут я даю вам на размышление — хотите ли вы перейти в мое подчинение, ибо, принимая меня за капитана Пчелина, вы ошибаетесь. Я Твердовский.

Офицеры в изумлении вскочили с мест, но капитан Пчелин исчез, захлопнув за собой броневую дверь толщиной в дюйм. Бросившиеся к ней офицеры заколотили в нее кулаками и табуретами, но в грохоте поезда эти звуки потонули бесследно, а кроме того, в офицерском вагоне никого не было.

Капитан Пчелин, пробежав по коридору вагона, выскочил на площадку и, открыв дверь, вскарабкался по лестнице на шатающуюся крышу вагона. Стоя на ней, он сорвал с себя усы и погоны и побежал, прыгая с крыши на крышу, к паровозу.

Вдали уже виднелись огни разъезда, и машинист начал убавлять ход, когда с тендера на него внезапно обрушилась человеческая фигура и приставила к его носу револьвер.

— Ни с места! Руки назад!

Обомлевший машинист молча исполнил приказ.

— Вяжи ему руки,— приказал капитан кочегару, подавая ему кусок веревки. Кочегар, сверкая белками глаз на черном лице, исполнил приказ.

Машинист, присевший на уголь, вдруг тихо спросил капитана:

— Вы, товарищ, не из красных будете?

Капитан обернулся к нему.

— А вы? — ответил он вопросом.

— Так я ж ваш, только мобилизовали меня, вот и вожу эту сволочь из-за семьи, чтоб семью не трогали.

Руки человека с револьвером мгновенно освободили кисти машиниста от пут и крепко обняли его.

— Чудесно, товарищ! Ступай к управлению!

Поезд прогрохотал по стрелке. Машинист дал контрпар, и паровоз остановился против крошечного станционного домика. На перроне стояло несколько вооруженных людей.

— Товарищ Гаркавенко! — крикнул знакомый голос с паровоза.

— Я, товарищ Твердовский! — отозвался командир эскадрона, кинувшись вперед.

— Где твои люди? — спросил Твердовский, спрыгивая на перрон.

— А здесь, за разъездом.

— Мигом!.. Окружай поезд! В секунду!

Гаркавенко бросился на станцию, и через минуту со всех сторон бежали кавалеристы, окружая поезд. Твердовский пошел вдоль вагонов.

— Открывай двери! Выходи! — командовал он.— Стройся вдоль поезда!

Заслышав голос строгого капитана, солдаты мигом высыпались из вагонов и стали вдоль них. Послышалась команда Пчелина: «Смирно!»

Затем его сильный голос откуда-то из темноты сказал:

— Солдаты доброармии! Вы находитесь в плену у красных. Не шевелитесь и не пытайтесь сопротивляться во избежание напрасного кровопролития! Вы окружены. Но вы обманутые люди и многие из вас принуждены силой служить врагам рабоче-крестьянской власти. Мы с радостью примем в свою среду тех из вас, кто пожелает этого...

При последнем слове на перроне вспыхнули смоляные факелы и осветили фигуру Твердовского, кавалеристов, державших винтовки на изготовку, и понурые ряды солдат с бронепоезда.

— Кто хочет переходить к нам, кто с нами хочет драться за общее дело трудящихся всего мира... два шага вперед!

Минутное молчание и в полной тишине вся шеренга сделала два шага.

— Отлично,— сказал Твердовский,— я так и думал. Комендор Галкин, откройте боевую рубку и выпустите господ офицеров!

Освещенные факелами, спустились на землю пятеро офицеров, растерянные, понурившиеся, щуря глаза от света. Твердовский подошел к ним.

— Ну что же, господа офицеры, вы надумали? — спросил он.— Подтверждаю, что всем подчинившимся мне будет сохранена жизнь и должности.

Минутное молчание. Затем из кучки офицеров послышался взволнованный голос поручика Кораблева:

— Я не знаю... Я чужд вашим убеждениям, но ваше великолепное мужество и храбрость заставляют меня, гражданин Твердовский, сказать, что служить под вашим начальством я счел бы честью. Я к вашим услугам!

— И я... и я...— раздались два голоса, из которых один принадлежал прапорщику Веткину, а другой подпоручику Корниловичу.

— А вы? — спросил Твердовский остальных двух.

— Нет! — ответили оба чуть слышно.

— Взять их,— сказал Твердовский Гаркавенко,— вывести за разъезд до поста и отпустить. Пусть кланяются генералу Слонову.

Через десять минут поезд несся на всех парах и, пролетев через час, несмотря на сигналы остановки, конечную станцию белых, бурей умчался в расположение красных.

Глава двадцать третья
СТРАННЫЙ ПАЦИЕНТ

Разбитые белые армии катились к морю. С каждым днем освобождались из-под помещичье-генеральской пяты все новые и новые пространства трудовой земли, политой потом и кровью бойцов. Но за спиной победоносных армий советской страны вставала новая угроза. То там, то тут вспыхивали восстания кулаков, поднимаемые и поддерживаемые агентами белых. По разоренным губерниям бродили бандитские шайки зеленых, составившиеся из дезертиров обеих сторон и уголовного элемента. С ними завязалась новая упорная и кровопролитная борьба.

. . . .

В кабинете члена реввоенсовета армии сидели у стола, заваленного бумагами, два человека.

— Вы неправы, товарищ Твердовский,— сказал один из них, поднимаясь,— это не мелочь. Это очень серьезный противник. Может быть, даже серьезнее белых. С белыми на этот раз покончено, они больше не оправятся, и мы добьем их остатки и без вас.

Второй из разговаривающих, Твердовский, покачал головой.

— Смотрите, вам виднее. Наделает вам еще Врангель хлопот. А если сейчас на него обвалиться лихим рейдом,

от него в две недели ни пуху, ни пера не останется. А вы меня на каких-то несчастных бандитов гоните.

Член реввоенсовета улыбнулся.

— Я понимаю, что вам обидно после Слонова драться с зеленым Симоновым. Но я повторяю вам, что это очень серьезный противник. Восстанием охвачена вся губерния. Предпосылки удачны для повстанцев. Сильно пересеченная местность, масса мелких, но густых древесных порослей и болота, делающие их неуловимыми. Вспомните вашу собственную практику, когда вы командовали лесными братьями. С маленькой дружиной вы ввергли в панику даже петербургские власти и были неуловимы. То же и здесь. Итак...

— Ладно! Согласен,— сказал Твердовский, хлопая по протянутой руке члена реввоенсовета,— только я с ними не буду столько возиться, как со мной возились в оны дни. Две недели сроку — и конец.

— Желаю успеха,— сказал член реввоенсовета.

Вскоре среди зеленых разнеслись вести, что против них двинута конная дивизия Твердовского. Эффект одного этого известия был поразителен. Шайки зеленых, бродившие по болотам, стали рассыпаться и рассасываться.

Главарь зеленых, бывший эсер Симонов, сначала растерялся, но решил привести свои отряды в повиновение суровыми мерами. Он начал расстреливать бегущих и сжигать села дезертиров. Это остановило бегство, и вскоре зеленые, видя, что никакой опасности еще нет и что дивизии Твердовского нигде не удалось обнаружить, успокоились и продолжали свои разрушительные налеты на села и местечки, срывая продовольственную и советскую работу и безжалостно расправляясь с захваченными работниками.

Обнаглевший Симонов даже прислал в губисполком угрожающее письмо, в котором требовал убрать дивизию Твердовского из губернии, предупреждая, что в случае отказа он сожжет город и перережет всех большевиков.

Но, хотя Твердовский и получил пересланное ему губисполкомом письмо бандита с просьбой о принятии решительных мер, дивизия по-прежнему стояла на отдыхе и никуда не двигалась.

Окончательно обнаглевшие зеленые ворвались ночью в уездный город, перебили несколько десятков человек, сожгли продовольственные склады и разрушили электрическую станцию и водопровод.

Симонов открыто хвастал, что скоро он сам явится в гости к Твердовскому и повесит его на городской каланче.

Но Твердовский по-прежнему молчал. Он даже уехал из города повидаться с женой и сыном, которых не видел два года, и передал командование дивизией на время своего отъезда Володе.

Прослышавшие об этом зеленые издевались:

— Поехал, краснопузый, у бабы храбрости набираться. С нами биться кишка тонка!

Но спустя десять дней Твердовский, веселый и загорелый, появился в штабе дивизии, радостно встреченный Володей.

— Здравствуй, Иван! Ну, как съездил? Как Тоня? Как малыш? — любовно расспрашивал он Твердовского, оставшись с ним наедине в штабе.

Твердовский молча положил руки ему на плечи.

— Дурень ты, Володя! Ты думаешь, я был у Антонины?

Володя молча глядел на своего начдива недоумевающими глазами.

— Ты что ж думаешь, что я могу бросить дивизию в такое время и уехать к жене? Да как ни люблю я Антонину, а никогда этого не сделал бы.

— А где ж ты был? — ахнул Володя.

— Где был — там нет. А был я в самом волчьем логове у Симонова.

— Что ты говоришь?

— А вот то самое. За ручку с ним держался, даже очень ему, сукину сыну, по сердцу пришелся. Он меня уговаривал к себе полком командовать.

— Тебя? Твердовского?

— Ну, зачем Твердовского! Не Твердовского, а Шляпкина, так я там назывался. Зато теперь я их в два счета кончу. Они тем сильны, что в каждом селе у них имеется свой комендант от Симонова. Они шпионят за каждым нашим передвижением, и чуть мы шаг сделаем — им все известно. А коменданты перед Симоновым дрожат и боятся его как черта, хоть никогда в глаза не видели, потому что он им никогда не показывался. Словом, я тебе вечером расскажу, что делать, а пока пойду сосну. Всю ночь не спал, ехавши.

. . . .

Зубной врач Шликерман отпустил последнего пациента из своей холодной конуры, гордо носившей название кабинета, и складывал инструменты в ящик, когда услыхал у дверей резкий звонок. Он подошел к двери с возможной осторожностью — в городе были часты налеты — и спросил, что нужно посетителю.

— Здесь живет зубной врач? — раздался голос из-за двери.

— Здесь, а что такое?

— Пациент.

— Но позвольте, что значит пациент? — заволновался Шликерман,— для пациентов же есть прием. Он уже кончился, какие могут быть пациенты?

— Откройте, доктор! Я хорошо заплачу. Не деньгами, а продуктами. Маслом и бараниной.

Такое щедрое обещание заставило сердце Шликермана смягчиться, и он, еще робея, осторожно открыл цепочку. Пред ним стоял неизвестный в шинели с вещевым мешком на спине.

— Пройдите в кабинет,— с достоинством сказал Шликерман и, пропустив пациента, зажег опять погашенную лампочку у кресла.

— Садитесь! Что у вас такое?

Незнакомец ткнул пальцем в передний резец на верхней челюсти.

— Сюда золотую коронку.

Шликерман осмотрел зуб и пожал плечами.

— Но это же совсем здоровый зуб. Дай бог, чтоб у моих детей были такие зубы. Зачем же я буду ставить на него коронку?

— Я вам сказал, поставьте! — нетерпеливо возразил пациент.

Докторское самолюбие Шликермана вспыхнуло, как вулкан.

— Вы уже будете меня учить, где ставить коронки? Так я вам говорю, что я не согласен. Берите ваше масло и баранину и ухо...

Он не договорил. Глаза его скосились и с ужасом застыли на револьверном дуле, прижатом пациентом к боку его белого халата.

— Что? Что такое? — прошептал он.

— Не дурите, доктор! — ответил пациент.— Берите какую-нибудь из ваших запасных коронок и подгоните

к зубу. Мне нужно это временно, но только сейчас же. Иначе вашим детям придется оплакивать вас.

Доктор поник головой и дрожащими руками вытащил коробочку с коронками.

Когда все было готово, пациент поднялся и крепко пожал руку доктору, подавая ему вещевой мешок.

— Здесь десять фунтов масла и пуд баранины. Я думаю, что вам давно не платили так щедро. Еще одно условие. Вы никому не скажете ни слова о происшедшем.

Он повернулся и вышел. Доктор молча уложил инструменты, по его спине еще бегали мурашки. Он вышел в другую комнату, где жена его варила ржаной кофе. Доктор сел на стул и поежился.

— Да! Видали вы такого пациента? — спросил он сам себя.

— Ты что-то сказал, Моисей? — подняла голову жена.

Доктор взглянул на нее и ответил:

— Нет... ничего. Это тебе показалось...

Глава двадцать четвертая
ОДИН ПРОТИВ СОРОКА

Трудно бороться с Симоновым. В каждом селе у Симонова коменданты из местного кулачья, в каждом селе люди для связи. Что случается — все моментально от села к селу, от деревушки к деревушке, через комендантов и посыльных становится известным таинственному начальнику зеленой армии, заседающему где-то посередине болота и никогда не показывающемуся никому, кроме своих самых близких людей, из страха покушения.

О Симонове по селам ходят самые невероятные слухи. Иные говорят даже, что зеленый атаман по ночам обращается в крылатого змея и летает над полями, над лесами и болотами, и оттого ему все известно и поймать его невозможно. Кто говорит, что у Симонова один только глаз, но заколдованный, и им он видит на два аршина сквозь землю. Еще ходит слух, что Симонов от пули заколдован, что выкупала его цыганская колдунья в вороньей крови и от этого стал он неуязвимым.

А в общем верного ничего не знает никто, даже симоновские коменданты, которым известно только, что ходит атаман в рыжей кожанке и красных штанах.

В селе Соловом комендантом у Симонова — Илья Савватеевич Дулов, богатейший мужик. Тех запасов, что припрятал он на худой день, хватит ему не только, чтоб самому кормиться, но еще и на то, чтоб давать бедноте взаймы и закабалять ее с потрохами. Все село у Ильи Савватеевича в долгу, как в шелку, и жмет он из должников соки, как паук, без жалости и пощады.

А с виду взглянуть — добрейшей души человек. Плечи косая сажень, глазки маленькие, синие, добрые, и улыбочка губ, закрытых усами и окладистой, под бога-отца, бородой, всегда ласковая и приветливая. И баба у него ему под стать — крупитчатая, пухлая булка. По целым дням на кровати лежит, пышки жует и поет чувствительные песни.

Илья Савватеевич сидит за самоваром, наслаждается яблочным чайком. Неплохой чай, а все ж хуже китайского. Да где китайского достанешь? Вот побьют зеленые большевиков, торговля воспрянет, тогда опять и китайский будет. А пока приходится яблочным баловаться. Уже одиннадцатую чашку выпивает Илья Савватеевич.

Расстегнул жилетку, розовую ситцевую рубаху выпустил, отдувается.

Солнце зашло, бегут по земле косые тени сумерек. Вот дрогнули по уличной пыли, как бабочки крыльями, и погасли. Быстро надвигается черная, теплая ночь.

Дулов наливает двенадцатую чашку, но в это время на улице слышен легкий топот копыт, и кто-то подъезжает к крыльцу. Дулов встает и отворяет дверь.

— Кого несет? — спрашивает он, недовольный нежданной помехой.

Человек в ободранной фуражке с обрезом за плечом входит на крыльцо.

— Ты, что ли, Дулов-то будешь?

— Я самый. А ты, добрый человек, откуда?

Вместо ответа человек тычет чуть ли не в нос Дулову записку, Дулов быстро ее схватывает.

— Пройдем в горницу,— говорит он тихо,— тут неловко.

В комнате он разворачивает записку у лампы, предварительно сторожко метнув глазом на двери.

В записке стоит: «Штаб народно-повстанческой группы атамана Симонова. Коменданту села Соловое. Вы извещаетесь, что сегодня в ночь вы должны приготовить

помещение для прибывающего командующего группой Симонова. Держать в секрете».

Дулов немедленно сжигает записку на лампе и вскидывает глаза па посланца.

Тот устало сидит у стола. Его оборванный вид, налипшая на нем со всех сторон грязь, нечесаные волосы говорят за то, что этот человек давно не видел дома и живет в какой-нибудь лесной или болотной норе, как загнанный зверь.

— Чайку хочешь? — спрашивает он.

Оборванец делает утвердительный жест и с наслаждением выпивает залпом большую чашку кипятку, налитую Дуловым, не выпуская из рук обреза.

— Когда ж атаман приедет?

— К полночи,— отвечает гонец и прощается, перекидывая за спину верный обрез.

. . . .

Около полуночи слух дремлющего у стола Дулова ловит осторожный конский топ на улице. Он встает, открывает дверь и всматривается в ночь.

Трое всадников. Один слезает с коня.

— Комендант!

— Здесь,— отвечает испуганно Дулов.

— Ты что же, сукин сын, не видишь? Лошадь прими! — свирепым шепотом говорит спешившийся и тычет в холеную бороду Ильи Савватеевича рукоятью нагайки. Дулов поспешно схватывает лошадь за повод и вводит во двор. Когда он возвращается, спешившийся стоит на крыльце и говорит своим спутникам:

— Езжайте, завтра в ночь за мной приедете!

Двое хлестнули лошадей и ускакали. Дулов вводит гостя в горницу. Перед ним загорелый человек с черной повязкой на глазу, в новой коричневой кожаной куртке и красных рейтузах.

Дулов пристально всматривается в него.

— Вы будете господин командир Симонов?

— А тебе что, повылезло? Протри зенки! — отвечает пришелец.

— Простите, господин командир, но только как по вашему же приказу должны мы удостовериться по сообщенным приметам. С костюму вы подходите.

Приехавший смеется хриплым смехом, и при свете керосинки Дулов видит, как поблескивает золотой зуб,

главная примета атамана, сообщенная всем комендантам.

Дулов вздыхает и кидается к самовару.

— Присядьте! Чайку не угодно ли, благодетель?

Но Симонов грубо обрывает:

— Некогда чаи распивать. Я сыт. Поди сюда!

Дулов подходит.

— Слышь ты,— говорит Симонов,— мы большое дело затеяли. Нужно всех осведомить в районе. Я сейчас спать залягу, а ты пошли посыльных в Павловку, Суслово, Кут, Шулявку и Ясное, чтобы наши к утру приехали. Да только шпаны не зови, а самых верных, которые за нас душой и телом. Буду с вами говорить. А теперь веди спать.

Дулов ведет грозного гостя в свою горницу, которую уступает гостю. Сам с женой будет спать в сеничках. Гость, не раздеваясь, кидается на гору пуховиков, воздвигнутую на постели.

— Не угодно будет чего приказать? — осведомляется Дулов.

— Пошел к чертовой матери! Делай, что приказано! — слышится крепкий ответ.

Дулов на цыпочках выходит в сенички. Жена кидается к нему.

— Ну как? Приехал? Каков? Красавчик?

Дулов чешет в затылке и говорит восторженно:

— Сурьезный человек. Настоящий мужчина... Вот что, ты ложись, баба, спать, а у меня еще гора дела. Всю ночь провожжаюсь.

Он надевает шапку и выходит. Вскоре по нескольким направлениям скачут верховые собирать верных людей по приказу Симонова.

. . . .

На следующий день после наступления темноты к дому Дулова поодиночке пробираются люди. Окна дуловской избы наглухо занавешены. Один за другим набиваются приезжие в комнату, их до сорока человек. Все они здоровые, упитанные, щеголевато одетые люди, все окрестное кулачье собралось на зов своего вождя.

Они сидят на лавках и тихо переговариваются. Наконец распахивается дверь, и, сопровождаемый Дуловым, в комнату влетает быстрыми шагами атаман Симонов.

Все встают и низко кланяются начальству.

Симонов отвечает быстрым кивком и садится за стол.

— Все надежные? — спрашивает он, обводя собравшихся таким пронизывающим взглядом, от которого по спинам у них начинают ползать мурашки.

— Все, благодетель! Наилучшие. Как по вашему приказу, так собраны самые что ни на есть отборные.

— Ну, ладно! Не трепли языком, как сука титьками! — затыкает рот разговорчивому Дулову атаман под общий довольный смех.

Разложив на столе небольшую карту, Симонов поднимается.

— Братья крестьяне! — говорит он.— Пришла пора нам взяться за большевистских насильников всерьез! Я получил донесение, что конница большевиков завтра выступает против нас в район Павловки. Вот и нужно обсудить, как нам заманить ее в топь, за Ясное. Как они туда залезут с лошадьми — так и завязнут, дьяволы, а тут мы и налетим. И враз с ними кончим. А потом пойдем на губернию.

Нагнулись все над картой, разгорелись глаза у кулачья.

Симонов показывает пальцем в карту, где цветными карандашами, зеленым и красным, показано, куда нужно затянуть большевистскую конницу и где доконают ее зеленые.

Раскрасневшиеся рожи нависли над столом, всем хочется посмотреть, где покончат ненавистных краснопузых. И Симонов освободил место у карты, сам отошел к стене. Радуются кулаки, похохатывают, вырывают друг у друга карту, припечатывают красных четырехэтажным словом.

И...

— Руки вверх, сволочи! Я Твердовский!

Отлетели от карты ошарашенные страшным криком кулаки. Смотрят в оцепенении на стоящего у стены, точно выросшего на голову Симонова, у которого в руках два револьвера.

Охнуло, посерело кулачье стадо, но Дулов, с кулацкой сметкой, ударом ноги опрокинул стол. Лампа мигнула и погасла. В темноте дуловский голос провопил:

— Робя, не трусь! Он один! Жарь в его по чем попало!

В полной тьме в душной горнице замелькали огоньки выстрелов. Вся изба грохотала и ходила ходуном. Кто-то

бросился к дверям, чтобы бежать, но они оказались защелкнутыми на задвижку, а дрожащие руки не могли нащупать ее.

Стоны, крики, рев и стрельба продолжались несколько минут. Сыпались разбитые стекла, затем на улице раздались крики и грохочущие удары посыпались в дверь.

Она слетела с петель и рухнула.

В провал двери хлыпул яркий луч электрического фонаря. Толпа сбилась и отхлынула к стене. Тонкий меч света, ползавший по лицам, показался страшнее пуль.

Голос от двери спросил:

— Товарищ Твердовский, где вы?

Голос откуда-то сверху, как будто с потолка, ответил:

— Здесь. Зажгите свет. Никому не трогаться с места. Смирно, кулацкие морды!

Вспыхнули спички в руках кавалеристов. С полу подняли лампу, но она была скомкана в лепешку. Наконец притащили лампу из соседней горницы, где в страхе выла и каталась по полу сыротелая жена Дулова.

Лампа осветила трупы на полу, стонущих раненых и сбившихся комком в углу живых. Они стояли, и бегающие глаза их перебегали по лицам кавалеристов.

— Товарищ Твердовский, да где же вы? — вновь позвал Кособочко.

— Здесь!

Все подняли глаза кверху и увидели на голбце печи лицо Твердовского с весело блестевшими глазами.

— Слезайте! — засмеялся Кособочко.

Губы Твердовского вдруг смялись в болезненную гримасу.

— Помогите сойти! У меня прострелены плечо и нога.

Кавалеристы сломя голову бросились снимать с печи любимого командира.

В ту же ночь, наскоро перевязав раны, Твердовский бросил свою дивизию в обход главных сил зеленых по району, откуда он ловким маневром убрал симоновских шпионов. Дивизия прошла на рысях всю ночь и утро, закончив к двенадцати часам дня окружение симоновского расположения.

После упорного боя, кончившегося только на следующее утро, остатки зеленых в панике сдались на милость победителя, а сам Симонов был найден в болоте с огнестрельной раной в виске. Губерния была очищена.

Глава двадцать пятая
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ

Похудевший и осунувшийся, с рукой на перевязи, но по-прежнему бодрый и пышущий энергией, появился спустя два месяца, проведенных в госпитале, Твердовский в кабинете члена реввоенсовета N-ской армии.

— Ну, что? Предсказывал я вам, что Врангель натворит бед. Не хотели верить, вот и возитесь теперь,— сказал он после дружеского объятия.

Член реввоенсовета улыбнулся.

— Ишь неугомонный! Приехал теперь барона бить? Милости просим. Нужно скорей кончать с последышами белогвардейщины. Надоела эта заноза. Все равно вырвем ее рано или поздно,— губы говорящего сжались решительно и сурово.

— Что ж? Принимать дивизию? — спросил Твердовский.

Член реввоенсовета взглянул на него искоса и нахмурил брови.

— Нет,— ответил он,— дивизии вы, товарищ Твердовский, больше не получите.

Твердовский отступил на шаг и уперся в собеседника потемневшими от гнева и обиды зрачками.

— Это почему? — спросил он.— Что это значит?

— Это значит,— с лукавой усмешкой протянул член реввоенсовета,— что вам придется подчиниться нашему решению и принять конный корпус. Дивизия уже мала для вас, дорогой друг.

Лицо Твердовского налилось румянцем, он опустил глаза, как девушка, услыхавшая признание в любви.

— Я не знаю,— сказал он тихо,— заслужил ли я такую честь.

— Мы знаем это,— ответил член реввоенсовета,— мы знаем и просим вас принять командование корпусом, который ждет с нетерпением своего доблестного командира и хочет идти с ним вместе к новым победам. А кроме того, разрешите еще передать вам вот это.

Он взял со стола маленький бархатный футляр и раскрыл его.

В солнечном луче, пробившемся сквозь морозные узоры на стеклах окна, заискрился серебряными гранями орден Красного Знамени.

Твердовский, низко склонив голову, принял из рук товарища драгоценную награду и после паузы спросил коротко:

— Когда прикажете принять корпус?

— Когда вам будет угодно.

— Хорошо. Принимаю сегодня.

. . . .

Красная Армия, накопляя силы для последнего удара, стояла перед непреодолимыми бетонированными укреплениями белых в солончаковых пустынях Чонгарского перешейка, продуваемых насквозь пронзительными ноябрьскими ветрами и засыпаемых снежной поземкой.

Тяжел был последний подвиг. Сплошная сеть полевых фортов, усиленных могущественной артиллерией крупных калибров, высилась на вражеском берегу узкого перешейка. Оттуда, как на ладони, были видны все позиции красных, разбросанные в глухой солончаковой степи.

Малейшее движение в красноармейских окопах вызывало ураганный огонь противника, не жалевшего снарядов, и каждый день уносил неисчислимые жертвы.

Но тем упорнее держались красные части, помня, что это последние жертвы на последнем фронте побеждающей революции, что с падением этого клочка земли, захваченного врагом, придут мир и возможность вернуться к спокойному труду, к возрождению разоренной страны. Армия, накапливая силы, жадно ждала момента, когда приказ командования бросит ее в «последний и решительный бой».

В ночь на четырнадцатое ноября заревел с неистовой силой ветер с континента. Его ждали давно с нетерпением и тревогой. Он оголил на несколько верст мелкое дно залива, и это дало возможность двинуть наступающие части по осушенному дну, в обход позиций противника, лобовая атака которых была безумной и обреченной на неудачу операцией.

В глухую, завывающую, кидающуюся колючим снегом полночь с берегового обрыва спустился на твердый, словно утрамбованный, щебень оголенного морского дна и потонул в серой ночной мути конный корпус Твердовского.

К рассвету он выбрался снова на берег, уже за позициями противника, и внезапно, как молния, обрушился на тыл белых одновременно с начатой на фронте общей атакой.

Совершилось невозможное. Растерявшийся, ошеломленный противник почти без выстрела кинул позиции, которые сами штурмовавшие считали неприступными.

Белые в отчаянии и ужасе кинулись в паническом бегстве по дорогам, ведущим к морю. По пятам их, наседая на плечи бегущим, рубя и уничтожая все, понесся конный корпус.

Но враг еще раз, в последней судороге издыхающего волка, показал свои зубы. Для спасения бегущих, для обеспечения отступления навстречу коннице Твердовского командование белых бросило свою гордость и надежду, кавалерийский отряд генерала Барбовича, составленный сплошь из офицеров.

Штормом налетела офицерская конница и тяжелым ударом смела первые части корпуса Твердовского. Твердовскому донесли о начавшемся замешательстве. Он выскочил из разрушенного здания полустанка, откуда руководил боем, и кинулся к ординарцам.

— Коня! — крикнул он бешеным голосом.

Напрасно выскочившие вслед за ним Володя и Кособочко уговаривали его вернуться, доказывая, что его место в штабе на руководстве операцией, а не в гуще схватки, где могут обойтись и без него. Твердовский не захотел слушать ничего.

— К черту! Я сам их, сволочей, зубами перегрызу. Замешательство? Отступление? У меня?

Он вскочил в седло и унесся, словно подгоняемый ветром.

Части корпуса медленно отходили под натиском свежей, невыдохшейся конницы Барбовича, засыпаемые градом снарядов конной артиллерии противника, когда в гуще боя появился Твердовский.

Он налетел на попавшегося ему навстречу командира полка.

— Что? Что такое? Почему отходите? Кто вам приказал, три черта вашей матери? Вперед!

Бледный комполка, с перевязанной обрывком рубашки головой, прижал пальцы к отсутствующему козырьку.

— Невозможно держаться. Лошади еле идут. Артиллерия нас не поддерживает, а они сыплют снарядами, как горохом. Полк потерял три четверти состава...

— Молчать! — крикнул Твердовский.— Трусы! Вперед! Кто не пойдет, будет расстрелян на месте. Я сам пойду в атаку в рядах, посмотрим, кто рискнет отстать от меня.

Ободренные присутствием любимого комкора, кавалеристы, отходя, подбирались и перестраивались к атаке. Вот они вытянулись длинной цепью по заснеженному полю. Твердовский окинул глазами суровые истомленные лица ближайших, пелену снега перед цепью, на которой поминутно вспыхивали огни разрывов снарядов противника, бившего с открытой позиции прямой наводкой, и такую же черную колеблющуюся цепочку наступавшего врага.

Он вынул шашку, и поднятая кверху стальная полоса тускло блеснула.

— Товарищи! В атаку! Марш-марш!

Конная артиллерия белых загрохотала яростней, заливая стальным ливнем атакующих. Но он уже не мог остановить разъяренного натиска. За скошенными рядами вырастали новые.

Уже ясно виднелись ряды белых, тоже несшиеся навстречу, но в них началось замешательство. Некоторые сдерживали лошадей, некоторые поворачивали обратно.

И в эту минуту под самыми ногами несшегося рыжего жеребца Твердовского вскинулся к небу фонтан бурого дыма и огня.

Атакующие пронеслись мимо, видя, как офицерская конница поворачивает спины, и врубились в белые эскадроны. Корпус Барбовича обратился в неудержимое роковое бегство.

Когда дым разрыва рассеялся, соскочивший с коня полковой командир и ближайшие красноармейцы, подбежав к месту несчастья, с ужасом попятились.

На земле лежал совершенно разорванный труп рыжего коня командира корпуса, а под ним неподвижно вытянулось тело Твердовского, с ног до головы залитое кровью.

Командир полка закрыл рукой глаза. Нервы его, измученные за день, не выдержали, он сел на землю и в голос, как баба, зарыдал.

Глава двадцать шестая

ТРУДОВЫЕ БУДНИ

По обширному солнечному плацу, поросшему нежно-зеленой травой, гуськом, вкруговую, носятся на сытых, лоснящихся лошадях красноармейцы.

Краснощекий безусый краском, притопывая ногами в такт лошадиному бегу, весело командует нараспев:

— Во-ольт нале-ево... во-льт напра-аво!

Лошади послушно поворачиваются, подчиняясь шенкелям, молодые конники, пришедшие в армию на мирную учебу, старательно постигают премудрость конного строя, готовясь стать такими же доблестными бойцами революции, какими были их отцы и старшие братья, ушедшие с окончанием гражданской войны на покой, вложившие шашки в ножны, сменив их на плуги и молоты, для того, чтобы задавить разруху и воссоздать благосостояние республики неустанным и упрямым трудом.

На скамье под акацией, растущей посреди плаца, сидит, опираясь на палку, окруженный молодым комсоставом, сняв фуражку, седой человек, на куртке которого поблескивают два ордена Красного Знамени.

Лицо его перерезано от виска ко рту зигзагообразным лиловым шрамом, делающим неподвижной левую сторону. Но глубокие, живые глаза смотрят ясно и спокойно, а рука делает широкие и энергичные движения в такт словам.

— Можно только позавидовать вам, юные мои друзья, что вы пришли учить и учиться в настоящую армию. Сердце радуется глядеть вот на них,— он показал в сторону джигитующих конников.— Нам было трудней. Мы своими силами сколачивали армию из ничего. Из остатков царской армии, из сброда разутых, раздетых, голодных и смертельно усталых людей, у которых было только одно — желание победить. И мы с ними победили. Теперь ваш черед воспитать этих для побед. Будьте упорны в работе, не почивайте на лаврах! Грядущее таит еще много гроз. Еще не раз вас призовут к оружию для защиты революции. От вас же зависит, чтобы эту задачу вы смогли выполнить легко и с честью.

Внимательно слушают молодые командиры поучение старого солдата.

Он достает из кармана часы и смотрит на них.

— Ну, пора! Заболтался я с вами. Сейчас время завтракать. Распускайте команды. Да и я схожу перекушу чего-нибудь, а то нужно ехать на поля.

Он медленно встает на ноги, поддерживаемый руками командиров, и, простясь с ними, прихрамывая и опираясь на палку, идет через плац в направлении виднеющегося за деревьями сада дома.

Тяжело раненный в Перекопском бою, Твердовский, к изумлению лечивших его врачей, не надеявшихся на

благополучный исход, переборол могучим организмом все раны, хотя и вышел из госпиталя с изуродованным навсегда лицом и укороченной на десять сантиметров левой ногой, полным инвалидом.

Но, несмотря на предложенную ему почетную отставку и ответственную хозяйственную работу, он не захотел покинуть родной корпус, сохранив командование им и усиленно занявшись воспитанием новых призывов красных конников.

Вместе с этим его потянуло на прежнюю работу по специальности, на землю. Он организовал в имении, на южной границе республики, где стоял корпус, силами красноармейцев образцовое показательное хозяйство. Всю свою энергию и знания он отдавал этой работе, и хозяйство вырастало с каждым годом. Корпус уже довольствовался сам, не нуждаясь в поставках.

В бывшем помещичьем доме и поселился сам Твердовский вместе с женой и сыном, которых увидел, наконец, после долгой, многолетней разлуки.

Но не только мирной учебой корпуса и сельским хозяйством занялся прославленный командир корпуса. Глаза его глядели дальше.

За рубежом советской страны, в каких-нибудь сорока верстах от штаба корпуса, насильно оторванные во время гражданской войны от советской родины, стоном стонали под помещичьим игом сотни тысяч тех самых крестьян, борьбой за освобождение которых начал Твердовский свою революционную работу. Забитые, затравленные, засеченные нагайками жандармов, они все же тянулись к зарубежным братьям, ставшим хозяевами жизни, с жадной надеждой на помощь и освобождение, и то там, то тут постоянно вспыхивали стихийные мужицкие восстания, заливаемые потоками крови, но непрекращающиеся, несмотря ни на какие репрессии.

О них постоянно думал Твердовский. Он связался тесно с подпольным ревкомом крестьянских отрядов и помогал борющимся чем мог: советом, продовольствием, укрывал беженцев, кормил их, пристраивал на работу до того времени, когда победа восстания даст им возможность вернуться в родные села.

Твердовский прошел на террасу дома, где его ожидала Антонина с приготовленным завтраком. Поздоровавшись с ней, он сел и, с аппетитом принявшись за еду, пробегал только что принесенные газеты.

— От партизан не приходили? — спросил он.

— Нет. Сегодня еще никого не было,— ответила Антонина.

Но в эту минуту из дома вбежал на террасу худощавый двенадцатилетний мальчик, сын Твердовского, и с таинственным лицом объявил отцу, что к нему пришли «те самые крестьяне!».

Твердовский быстро допил кофе и направился в свой маленький рабочий кабинет. Навстречу ему поднялись несколько крестьян в белых, расшитых цветными шнурами, свитках.

— Здорово, друзья! — сказал Твердовский, пожимая им руки.— Что скажете доброго?

— До тебя, батько, пришли,— ответил седоусый сгорбленный крестьянин,— за подмогой.

— Ну, ну, садись! Рассказывай, в чем дело!

Крестьяне сели. Седоусый, откашлявшись, продолжал:

— Вот, видишь, какое дело. Завчера переплыли реку с того берега двое наших. Ну и поведали, что у них там все готово на будущую неделю против панов. На тебя, батько, вся надежда. Подмоги!

Твердовский придвинул к себе блокнот.

— А сколько всего народу в отрядах?

— Да по всем селам и хуторам тысячи четыре наберется.

Твердовский записал цифры на блокноте. Крестьяне жадно следили за движениями его руки. Он положил карандаш.

— Не бойтесь! Значит, на будущей неделе? Добре! Помните же, что я говорил! Всем гуртом сразу в драку не лезть. Все равно в открытом бою против солдат не справитесь, пока солдаты чужой башкой думают. Бить нужно понемногу, исподволь, в разных местах, из-за угла, вразбивку, чтоб страху нагонять. Налетел, задал переполоху и удирай, чтоб людей не терять попапрасну. А главное не давай чертовым панам отдыхать! Бей в разных местах, но без передышки! Заматывай!

Старый крестьянин вздохнул.

— Эх, батько, важко нам одним. Кабы ты стал нашим командиром, да взяв бы полк червоноармейцев, так мы б от панов и пуху не оставили.

Твердовский засмеялся.

— Оно верно, старый, да только рано еще. У нас теперь ни с кем войны нет. Если ввязаться, так из этого

такая каша заварится, что вся панская сволочь со всего света на нас полезет. И вам не поможем и сами пропадем. А вот, если вы на своих панов напрете, как следует, чтоб их хоть на три дня скинуть псу под хвост, тогда пожалуйте, мы вашу советскую республику грудью защитим.

— То було б хорошо,— сказал старик,— а уж мы постараемся.

Крестьяне поднялись, прощаясь.

Глава двадцать седьмая
«ЛЮКС-ОТЕЛЬ»

В шумной и грязной столице маленького государства, где главную массу населения составляют ресторанные музыканты, ростовщики и мошенники всех рангов и категорий, каждый мальчишка знает «Люкс-отель».

Построенный на европейскую ногу, этот семиэтажный исполин некогда служил гостиницей для интернационального сброда, приезжавшего обделывать в этой стране всякие темные делишки.

Теперь в нем разместилась контрразведка генерального штаба этой опереточной страны, живущей на содержании у великих держав Европы.

Имя этого учреждения произносится гражданами с почтительным ужасом, и никому из них не хочется, чтобы чиновники этого учреждения заинтересовались его скромной особой, потому что такой интерес равносилен смертному приговору.

Имя начальника контрразведки полковника Менара произносят только шепотом и то предварительно оглянувшись по сторонам, не подглядывает ли какой-нибудь соглядатай.

Все преступления, все мерзости, какие происходят в этой столице, на этом международном базаре продажности и подлости, зачинаются в семиэтажной махине «Люкс-отеля», строго охраняемой день и ночь бесчисленными часовыми.

. . . .

Полковник Менар рванул и скомкал в коротких красных пальцах листок шифрованной телеграммы. Его крашеные усы зелено-бронзового цвета вздыбились, как две пики, а лицо словно налилось бурачным квасом.

Он бросил телеграмму под стол и встал с кресла.

— Этого больше нельзя терпеть,— крикнул он своему помощнику, накрашенному, как шантанная певица, вихляющемуся тонконогому лейтенанту. Тот моргнул от начальнического окрика подведенными бараньими глазами и распустил вислые толстые губы.

— Нельзя, говорю, терпеть. Этот мерзавец нас доконает в конце концов. Опять, по сведениям пограничной стражи, несколько дней тому назад Твердовским переправлен через границу транспорт оружия и даже четыре полевых пушки. Что же это такое? А?

Лейтенант подобрал губы и сказал наивно:

— Почему это пограничная стража всегда извещает о проходе через границу оружия и людей уже после такого случая? Не лучше ли было бы, если они знали бы об этом заранее...

— Вы дурак, мой милый,— оборвал Менар своего помощника,— вы жалкий дурак! Подумаешь, какую умную вещь вы сказали. Открыли Америку! Я это и без вас знаю, и знаю, что лучше, но ведь, к несчастью, я переменил трижды весь командный состав пограничной стражи, чтобы заменить сволочь честными людьми, но с каждым разом после смены офицеры оказывались еще большими негодяями, чем прежние. Даже личным примером я не могу внушить им правил честности и верной службы правительству. За деньги они позволяют партизанам провозить что угодно и докладывают мне только о совершившихся фактах. Продажные подлецы, которые готовы за тридцать сребреников служить кому угодно...

Полковник даже задохнулся от гнева. Лейтенант чуть заметно улыбнулся при последней обличительной фразе своего патрона. Он знал, что всего лишь полчаса назад полковник получил крупную пачку кредитных билетов от английского военного атташе за перечень предметов военного снаряжения, проданных стране французами, на негласной службе у которых состоял сам полковник, получая за это крупную мзду.

Поэтому он был вполне прав, когда говорил, что своим личным примером не может внушить подчиненным правил честности и верности, но беглая усмешка подчиненного вызвала у него новый приступ ярости.

— Что? Молчать! — заорал он, хотя лейтенант и не произнес ни одного слова.— Вы все у меня распустились. Послать мне сюда Ликса.

Лейтенант повернулся налево кругом и выскочил, радуясь, что дешево отделался на этот раз.

Спустя минуту в кабинет полковника ввалился начальник оперативного отдела контрразведки Ликс.

Он шел от двери к столу, тяжело ступая кривыми ногами, громадная горилья нижняя челюсть резко выдавалась вперед, а по бокам плоского носа тупо мерцали звериные безжалостные глаза.

Рычащим голосом он поздоровался с полковником и, подогнув ноги, неуклюже бухнулся в мягкое кожаное кресло. Полковник поднял с полу скомканную телеграмму.

— Читали, капитан? — спросил он.

— Читал,— проворчал Ликс.

— Ну, что вы скажете на это?

Ликс молча сжал в кулаки свои волосатые руки.

— Надо кончать,— прохрипел он,— кончать раз навсегда. Иначе нам будет плохо.

— Кончать? — вспылил полковник.— Хорошо сказать, кончать, а как? Он неуязвим и недостижим для нас. Если бы можно было...

— Постойте,— перебил Ликс,— у меня с утра есть идея. Я хочу его убрать там, на месте. Раз и готово.

Полковник взглянул на Ликса с сожалением.

— Покушение? Тоже придумали! Да если вы его убьете при помощи кого-нибудь из наших прохвостов, это только разожжет пламя повстаний этого мужичья, которое будет мстить за своего героя, не говоря уже о международных осложнениях.

Ликс сделал на своей обезьяньей физиономии подобие усмешки.

— Я не так глуп. Я уберу его иначе. Комар носу не подточит.

Он опять ухмыльнулся страшной усмешкой и подвинул кресло к столу.

Глава двадцать восьмая

ЧЕРНОЕ ДЕЛО

— Ты ко мне, дедушка? — спросил Твердовский, поворачиваясь от молотилки, в которой он копался вместе с механиком.

— До тебя, батько. Не гневайся, что беспокою. Такое дело,— ответил тот же горбоносый старик, что приходил вместе с другими крестьянами.

— А что?

— Да видишь, переплыл реку один наш парубок. Сбиг от проклятого Менара, еле живой. Так вот хотим тебя просить, будь ласков взять его до себя на работу. Нехай трошки подправится, бо воевать ему зараз не можно. Крепко ослаб.

— А где он?

— Та тут за дверью. Я его привел.

— Пусть войдет,— сказал Твердовский.

На оклик старика в сарай, где стояли сельскохозяйственные машины, вошел, согнувшись и еле переставляя ноги, молодой черноглазый парень и низко поклонился Твердовскому.

— Что с тобой? — спросил его Твердовский.

Вместо ответа парень дрожащими пальцами расстегнул ворот свитки, скинул ее и повернулся спиной к Твердовскому. Тот в ужасе отступил на шаг.

Вся спина, распухшая и багровая, представляла собой сплошную гноящуюся рану.

— Где это тебя так отделали? — спросил тихо Твердовский.

— Жандармы. Поймали по дороге, пристали: «Ты большевик, большевик». Я клянусь, что нет, они меня схватили, разложили на телеге и давай драть нагаями. Потом повезли с собой, заперли на ночь в хате, чтоб утром расстрелять, а я из последних сил выбил раму и бежал.

— Тебя нужно сейчас в лазарет. Отправляйся.

Парень опять низко поклонился.

— И так заживет. А уж вы сделайте милость, дайте какую-нибудь работу. Не хочется нищенствовать.

— Ладно. Дадим. Только сначала полечись,— ответил Твердовский и приказал машинисту отвести парня в лазарет.

— А ты какую работу знаешь? — спросил он его перед уходом.

— Я монтер,— ответил парень с гордостью.

— Ну, значит, работа найдется. Сведите его, товарищ Артем, да поскорей возвращайтесь, а то я без вас не справлюсь.

Старик с парнем и машинист вышли. Твердовский выше засучил рукава и с французским ключом в руках полез в самые недра молотилки.

. . . .

Через неделю парень совсем оправился и снова пришел к Твердовскому за работой. Тот послал его на сахарный завод, где его назначили монтером. Работник он оказался сметливый и понятливый, а знания его в монтерском деле даже удивили заведующего заводом. На его вопрос, откуда он столько знает, парень охотно рассказал, что он кончил среднюю электротехническую школу и мечтал поступить в инженерное училище, но бедность не позволила. Заведующий одобрительно потрепал его по плечу.

— Ну, не робей. У нас это не препятствие. Поработаешь здесь годик, а там мы тебя командируем в политехникум, и учись на здоровье.

Нового монтера поместили при заводе в одном помещении с начальником охраны завода.

Это был человек неизвестной национальности, сутулый, с низким лбом, с бельмом на одном глазу, по фамилии Найда.

Три года тому назад он вступил добровольцем в один из полков дивизии, которой командовал Твердовский, и вскоре выделился из рядовой массы своей храбростью. Но вместе с храбростью он проявлял зверскую жестокость и, кроме того, оказался нечист на руку. Узнав об этом, Твердовский, не терпевший таких людей, под горячую руку чуть не расстрелял Найду, но после, пожалев его, ограничился тем, что выгнал его вон из дивизии.

Найда исчез бесследно.

Появился он уже после окончания гражданской войны, придя к Твердовскому, оборванный, грязный и несчастный, прося какую-нибудь должность.

Твердовский сначала решительно отказал, но, видя отчаяние Найды, передумал.

— Черт с вами,— сказал он,— я не хочу взять на себя ответственность за вашу гибель. Хоть и погано, но все же вы служили у меня. Поручаю вам охрану сахарного завода. Это для вас самая подходящая и безопасная должность. В вашем распоряжении не будет денег и не будет соблазна. Но если вы опять проштрафитесь, не взыщите — пощады не дам и старое припомню.

Если бы Твердовский увидел, какой злобой блеснул здоровый глаз Найды при намеке на старый грех, он, может быть, и не принял бы его, но Твердовский ничего не заметил.

В течение года Найда исправно исполнял свои обязан-

ности, и на вопрос Твердовского заведующий заводом ответил рассеянно:

— Работник как работник. Не лучше и не хуже других. В дурном ни в чем не замечен.

У этого Найды и поселился новый монтер. К удивлению заведующего заводом, знавшего Найду как хмурого и нелюдимого человека, которого никто не мог заставить разговориться, монтер быстро сдружился с начальником охраны. Их постоянно видели вместе.

Веселый и жизнерадостный характер молодого монтера, очевидно, заразил угрюмого и сумрачного Найду. Он стал разговорчивее и даже начал улыбаться, чего за ним прежде не водилось.

По вечерам сожители дружно сидели за чаем до поздней ночи и о чем-то оживленно беседовали.

Однажды, попивая чаек, монтер с простодушным удивлением сказал Найде:

— Удивляюсь я, на вас глядя. Умный вы человек и способный, а сидите на такой маленькой должности. Даже жаль вас.

Найда насупился, а монтер продолжал:

— Попросились бы у Твердовского, чтоб он перевел вас на другую работу. Он человек прекрасный, добрая душа, толк в людях знает и с удовольствием верно поможет вам найти работу по вашим способностям.

Найда насупился еще больше и трехэтажно выругался. Монтер изумленно вскинул на него свои глубокие пристальные черные глаза.

— Что же вы ругаетесь? Разве я что-нибудь неприятное вам сказал? — спросил он недоуменно.

Найда сурово молчал. Но монтер не отставал с расспросами и, наконец, заставил своего приятеля рассказать историю его прежней судьбы у Твердовского.

— Ну вот, какой вздор,— сказал он, когда Найда кончил рассказ,— было и быльем поросло. Потом, Твердовский сам видит, что вы исправились, и, наверное, не имеет ничего против вас. Если бы вы сами напомнили ему о себе, он с удовольствием дал бы вам более ответственную работу по вашим талантам.

— Я боюсь разговаривать с ним,— ответил Найда, скрипнув зубами,— ничего в жизни не боюсь, а вот его взгляда не могу вынести.

— Ну, если так,— возразил монтер,— напишите ему письмо. Верьте, я дружески отношусь к вам, и мне очень

хотелось бы помочь вам. Давайте мы вместе обдумаем письмо и напишем. Я уверен, что товарищ Твердовский не откажет.

Найда отрицательно мотнул головой.

— Нет. Он мне пропишет за письмо такую ижицу!

На лице монтера мелькнула на секунду гримаска нетерпения и недовольства, но, согнав ее, он продолжал ласково убеждать приятеля в верном успехе задуманного плана.

Наконец Найда махнул рукой.

— Эх, какой вы неотвязчивый! Ну давайте писать, черт с вами. Только чтобы хуже не вышло.

Монтер достал листок бумаги и придвинул чернильницу.

Уже первые лучи рассвета розовели на востоке, когда они закончили текст письма. Монтер положил его в конверт и запечатал.

— Завтра отдадим вестовому, который будет ехать в штаб, он и отвезет. А дня через два, наверное, будет и ответ.

Но через два дня ответа никакого не было. Не было его и через неделю. Найда волновался, а монтер утешал его.

— Да не волнуйтесь! Мало ли дела у товарища Твердовского. И потом не сразу же он может придумать, куда вас назначить. Нужно все же сообразить. Даже лучше, что не сразу отвечает.

В конце второй недели Твердовский сам появился на заводе, делая обычный объезд расположения корпуса. Он вошел в контору вместе с заведующим. Найда, взяв под козырек, волнуясь, рапортовал ему о благополучии на заводе.

Твердовский, прослушав рапорт, не подал руки начальнику охраны и, смотря на него в упор загоревшимися гневом глазами, сказал раздельно и громко, так что слышали все каждое слово:

— Вы написали мне наглое и дурацкое письмо. Вы просите, чтобы я дал вам более ответственную работу, основываясь на ваших прежних заслугах. Вы забыли, что эти заслуги заключаются только в том, что вы раскрали трудовые народные деньги в тяжелую годину. Я не выгоняю вас сейчас, потому что вы исправно служили год, но если вы осмелитесь еще раз претендовать на какие бы то ни было повышения, вы вылетите вон в два счета и безвозвратно.

Найда стоял бледный. Остальные сотрудники молча слушали, чувствуя неловкость, и никто не заметил, как черные глаза монтера вспыхнули ярким огоньком несдерживаемой радости и удовольствия.

Глава двадцать девятая
В НОЧНОЙ ТЬМЕ

Вечером этого дня монтер, окончив работу и придя в свою комнату, застал Найду лежащим на постели лицом в замызганную подушку.

Он тронул его за плечо.

— Эй, что такое?

Найда медленно повернул голову к спрашивающему. В сумраке комнаты глаза его блеснули мутным злым огоньком.

— Пошел к чертовой матери! — крикнул он.— Это из-за твоего дурацкого совета мне сегодня наплевали в морду. Идиот!

— За что же на меня злишься-то?— спросил, отступив, монтер,— я дал тебе совет обратиться к Твердовскому, потому что на себе испытал, как он добр и отзывчив. Видно, ты ему здорово напакостил, что он не может забыть твоих штук.

Найда злобно выругался. Монтер тихонько засвистал.

— Однако я вижу, ты вовсе раскис. Выпьем, что ли, по маленькой. От водки все горести дымом. Завтра проснешься, как встрепанный, и всю обиду из башки выбьет. А у меня как раз в сундучке здоровая старка. На прошлой неделе у контрабандиста купил. Клялся, что тридцатилетняя. Берег до праздника, но для твоего утешения не жаль распить.

Найда сел на постели.

— Давай, сволочь! Тащи! Пока не надерусь — не забуду. Ведь этакое услышать при всех — это все равно, как если б тебя при людях дерьмом вымазали.

— Да,— откликнулся монтер, доставая из сундука две плоские фляги,— и здорово ж он тебя отделал. При всем заводе. Вор вы, мол, и сукин сын и молчите, а не то в три шеи при всем честном народе.

— Заткнись,— прошипел Найда, скрипнув зубами,— не береди, наливай! Все у меня горит в середке. Подвернись бы он мне сейчас, хлоп и кончено. Мокро бы осталось.

Монтер обернулся и посмотрел на Найду с загадочной усмешкой. Потом он вылил содержимое фляжки в фарфоровую кружку и подал Найде.

— Дуй сразу! Только нос зажми.

Найда зажмурился и опрокинул кружку в рот. Бешеная выдержанная старка ударила ему в голову, как обухом. Несколько секунд он сидел, тяжело задыхаясь. Монтер искоса наблюдал за ним.

— Водка! — буркнул Найда.— Огонь! Надо было с утра такой дерябнуть, тогда б я ему не спустил. Я б ему показал.

— Что бы ты ему показал, корова,— внезапно зло сказал монтер,— только языком вертеть горазд. «Мокро бы осталось». На таракана ты, может, и храбр, а на Твердовского — коротки руки, сопляк.

Найда привстал и засопел.

— Не веришь? Не веришь? Думаешь, треплюсь? Трус я, по-твоему? Говори, стерва! — рявкнул он, хватая монтера за грудь, но тот легко выскользнул.

— Чего ж ты меня хватаешь? Я человек слабый. Ты вот Твердовского так схвати. Так на него небось даже с пушкой не полезешь, дрейфишь.

Найда вздрогнул и, схватив вторую фляжку, хлебнул несколько глотков прямо из горлышка, а фляжку швырнул на пол.

— Эх ты,— сказал он с горькой обидой,— я один на сотню ходил. Сам Твердовский видел. А его тоже не побоюсь. Пусть выходит один на один.

— Ложись спать, баба. Заврался! — подчеркнуто резко оборвал монтер.

Найда оперся на стол. Лицо его посерело и перекосилось.

— А, ты вот как! Так я ж тебе докажу. Вот лопну, а его ухлопаю.

— Да брось язык чесать! Кто вправду за себя постоит, тот молчит. Ты, поди, и пистолета-то в руках не держал, пигалица! — издевался монтер.

— Ах ты, рвань! — вскрикнул Найда и, оттолкнув монтера, пошел к постели. Монтер следил за ним внезапно загоревшимися глазами и, увидев, что Найда вытащил из-под подушки маузер, странно усмехнулся. Найда повернулся к нему.

— Во... видел... Поеду и... крышка. Он у меня не встанет,— рычал он, запихивая обойму.

— Да оставь! — подошел монтер.— С ума сошел. Ложись спать!

Но Найда ткнул его кулаком в бок.

— Не лезь... я тебе покажу, какой я трус. Я всем покажу.

Он распахнул дверь и прогрохотал неровными шагами по ступеням крыльца.

Монтер схватил валявшиеся фляги и сунул их в сундук. Потом погасил свет, раскрыл окно и прислушался. Он услыхал топот выводимой из конюшни лошади и пьяное ворчание Найды. Тогда, захлопнув окно, он лег на кровать и злорадно захохотал.

. . . .

Лампа бросала на стол круг желтого света. Твердовский стоял у стола, облокотившись на него и положив больную ногу на стул, и рассматривал чертежи новой военной игры, переставляя флажки, наклеенные на булавки. Завтра он должен был вести игру с комсоставом. Втыкая флажок, он услыхал какой-то шорох и легкий стук на террасе. Он поднялся, всматриваясь в окно. Но все было тихо. Взяв палку, Твердовский тихо подошел к окну и выглянул. Ему показалось, что у столба террасы стоит какая-то тень. Он окликнул. От столба отделился человек и подошел к окну. Твердовский увидел лицо Найды с закушенной губой. Он вспылил.

— Какого черта вам надо? Это еще что за наглость? Вы хотите бы...

Найда вздернул руку. Прежде чем Твердовский успел отклониться, мигнула синеватая молния, гулко ударил выстрел, и Твердовский, тщетно стараясь удержаться пальцами за край подоконника, повалился навзничь. Из середины его лба струйкой забила кровь. В доме вспыхнули огни, послышалась всполошенная беготня.

А по ночной дороге, за воротами сада, задыхающаяся лошадь пронесла бешеным карьером пригнувшегося к седлу всадника.

И в бархатной темноте, осеребренной призрачным светом низких летних звезд, лошадь и всадник казались сами призраком темной силы, уносящимся в пропасть веков.

. . . .

Лимузин остановился у подъезда «Люкс-отеля», и соскочивший с переднего сиденья маленький солдат в зеле-

ных обмотках открыл дверцу. Молодой офицер, придерживая саблю, вылез из каретки и быстро скрылся в подъезде. Он взошел по лестнице во второй этаж и постучался в одну из дверей длинного и угрюмого коридора. Услыхав оклик, он оправил портупею и вошел.

Из-за письменного стола на него взглянули настороженно обезьяньи глазки капитана Ликса.

— Честь имею явиться, господин капитан!

Ликс хмуро протянул руку.

— Вы не рады, господин капитан? Я рассчитывал на лучший прием. Дело выполнено на редкость блестяще. Вся вина на этом идиоте, которого я довел до точки белого каления. Его арестовали, меня же никто не подозревает, и я спокойно рассчитался через неделю, выставив мотивом ухода, что я не могу работать там, где убит мой благодетель, что мне слишком тяжело. Недурно? Правда? Главное, что наше учреждение совершенно чисто, а чистые руки и чистая совесть самое главное, господин капитан.

Ликс усмехнулся и ткнул разговорчивому подчиненному лист бумаги.

— Лучше взгляните сюда.

Офицер вставил в глаз монокль и поднес лист к глазам.

«Официальная сводка оперативно-политического отдела. По собранным сведениям, смерть известного вождя красной конницы Твердовского вызвала в совдепии не уныние и растерянность, но взрыв общего негодования. Во всех кругах населения жалость к убитому равносильна ненависти к убийцам. Комсостав и рядовые корпуса покойного дали клятву, что за его смерть они заплатят в будущих боях. Никакого замешательства или изменения в политику смерть Твердовского не внесла...»

Лицо офицера вытянулось. Он положил бумагу на стол.

— Ну, что вы теперь скажете? — спросил Ликс.

Офицер замялся. Его ограниченный мозг тщетно искал ответа и не мог найти. Он просто пожал плечами и небрежно сказал:

— Удивительно странные люди эти большевики!

<1926>

СИНЕЕ И БЕЛОЕ

Елизавете Михайловне Гербаневской

...Когда ему помешали любить — он научился ненавидеть.

В. Гюго

ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ

В углу комнаты продолговатым прудком стоячей, замутневшей от времени воды леденело зеркало, замкнутое полированными берегами узкой рамки с бронзовыми веночками по углам. Застегнув последнюю пуговицу кителя, Глеб выпрямился перед стеклом.

В дымной глубине его полыхнуло веселой белизной. Над хрустящей скорлупой кителя, розово смуглея, дружески смотрело на Глеба отглаженное ветром и солнцем лицо с яблочными размывами румянца, налитыми губами и вздернутыми к вискам стрелками бровей.

Брови Глеба мать называла «разлетайками», девушки шептались об их демоничности (такие точно у врубелевского «Демона»),— сам Глеб был ими недоволен. Злила их своевольная мохнатость. Хотя разлет хорош и эффектен, но лучше бы иметь такие брови, как у Левы Скородинского,— тонкие, выгнутые дугами.

Глеб пригладил щеточкой, насколько возможно, упрямый беспорядок бровей. Потянулся и истомленно повел плечом, подставляя его под жидкий солнечный пламень, врывающийся в окно. Широкий золотой шеврон и якорь на погоне вспыхнули вырвавшимися из облаков звездами. Погоны были новенькие, купленные в Петербурге перед

самым отъездом, по дороге на вокзал. Выглядели они ослепительно.

Глеб широко улыбнулся в зеркало июньскому утру, колдовскому мерцанию золота, собственной молодости и, отойдя к столу, прислушался.

Нежное, осторожное позвякивание доносилось из столовой. Это, конечно, хитрит мать, ожидая выхода Глеба. Самовар, наверное, подогревается во второй раз — отец уже давно уехал на службу. Будить Глеба мать не решалась. Нельзя тревожить мальчика, измученного трехсуточной дорогой и к тому же еще больного. И мать только робко позвякивает изредка ложечкой о блюдце. Авось, сквозь утреннюю дрему, услышит и поймет, что ждут.

«Больного?»

Глеб лукаво сощурился. На столе с вечера лежал квадратик бумаги со штампом в левом углу. Он был приготовлен для утреннего визита к коменданту.

Глеб нагнулся над листком и, набухая смехом, как весенняя почка соком, снова прочел такой приятный текст:

УВОЛЬНИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

Дан корабельному гардемарину АЛЯБЬЕВУ Глебу в том, что, согласно постановления врачебной комиссии Ревельского военно-морского госпиталя от 9 июня с. г. за № 1397, он уволен в отпуск по болезни сроком на два месяца, от 20 июня по 20 августа 1914 года, в Таврическую губернию.

Командующий отдельным учебным отрядом судов, плавающих с гардемаринами, контр-адмирал КАРЦЕВ.

Флаг-офицер по распорядительной части, капитан 2-го ранга — (подпись).

«Болен»? Глеб сунул билет в бумажник и, сделав на одной ноге антраша налево кругом, расхохотался.

Действительно, все вышло ловко и забавно. В середине мая, на переходе из Гельсингфорса в Ревель, постояв «собаку» без пальто, Глеб схватил легкую простуду. Кашель и температура тридцать восемь.

Согласно рапорта ротного командира, в приказе появилось: «заболевшего гардемарина Алябьева полагать на излечении в судовом лазарете». В лазарете же Глеб быстро договорился с фельдшером. Фельдшер был опытен и

доброжелателен. За помаженную перуанским бальзамом голову, вихры которой слипались в пахучие рыжие пряди, гардемарины прозвали фельдшера «гальюнным голиком», но в глаза величали полностью Сидором Описифоровичем.

Получив из рук в руки две хрустящие синие бумажки, «гальюнный голик» снисходительно закрыл глаза на ежедневное настукивание ногтем по головке термометра температуры до тридцати девяти. Она никак не хотела снижаться — эта зловещая температура, истощавшая силы больного. Она не подчинялась лекарствам.

В конце недели Сидор Описифорович шепотком доложил судовому врачу, неряшливому и равнодушному ко всему, кроме порнографических открыток, существу, что на легкие гардемарина Алябьева, очевидно, вредно действует сырость корабельных помещений и лучше списать его в береговой госпиталь.

В госпитале же комиссия сразу поняла, что молодой человек изнемог от суровых морских трудов и нуждается в рассеянии. Комиссия охотно признала у гардемарина острый катар левой верхушки и предписала для полного восстановления сил два месяца отпуска в домашней обстановке, на усиленном питании.

Накануне явки на комиссию Глеб после ужина съел, по старому корпусному рецепту, четверть фунта мела, разведенного в уксусе. Всю ночь его тошнило и утром он выглядел зеленовато. Но это было лишним истязанием. Отпустили бы и так. Комиссия великолепно учитывала, что гардемаринской куколке предстоит в октябре феерическое превращение в блестящую, легкокрылую бабочку.

Какому дряхлому, близорукому и бестолковому энтомологу взбрело в голову назвать чудесную черную бабочку с карминными пятнами на крыльях «адмиралом»? Что общего между адмиралом и бабочкой?.. Адмиралу почет и уважение. Адмирала встречают и провожают с трепетом, пышностью, с церемонией. Адмиралу становятся во фронт лихие молодцы в форменках с громом, с треском, с пылью из-под копыт. И все же адмирал — это всегда нечто отживающее, помятое и потускневшее. Жирные золотые гусеницы, свисающие с эполет, великодержавные размахи орлиных крыльев на них не могут прикрыть угасания, старческого, геморроидального разрушения. Адмирал похож на старого крокодила с выпадающими зубами. Он вызывает усмешку невежливой жалости, когда старается бодриться на трапе, во время качки.

«Мичманом» нужно было назвать эту замечательную бабочку... Мичманом!!!

Только у мичмана свежеотглаженный сюртук отливает таким же черным глянцем, как пыльца на нетронутых крыльях бабочки. Только у мичмана щеки могут так цвести полымем алого румянца. Только у мичмана могут так нежно вздрагивать тонкие усики. И только он может так воздушно, так невесомо порхать от цветка к цветку в благоухающем цветнике жизни.

И разве можно не дать готовой прогрызть кокон куколке возможность провести последние минуты перед преображением в неге, тепле и уюте? Чье жестокое сердце решится на это? Даже шелководы укутывают зреющие коконы в вату.

Через три дня в канцелярии госпиталя лежало готовое свидетельство о болезни. Получая его, Глеб уже цвел прежним, полнокровным двадцатилетним здоровьем. Щеки рдели от напора крови и радости, что можно на целых два месяца улизнуть от опостылевшего гардемаринского отряда и учебных «лоханок».

Шестьдесят суток вольной, беспечной жизни, одному, в своей комнате, в тишине, под заботливым крылом матери... Юг, акации в белом дурмане цветения, опаляющее солнце таврического июля вместо белесой подслеповатой балтийской фальшивки... Возвращаться только к сентябрю, а там, через месяц, производство — и прости-прощай навеки гардемаринство.

Глеб подпрыгнул.

— Ура!.. ура!.. ура!..

Правда, здесь, на отдыхе в родном, с детства милом, городе, и гардемаринские погоны с якорьком имели свою прелесть. С их ворожащим, неотвратимым блеском не могли сравниться даже неимоверные, до пят, шинели николаевских юнкеров, матовый бархат околышей «михайлонов», даже прозрачный, как у тающих льдинок, звон савельевских шпор.

Золотой шеврон и якорь навевали грезы о бирюзовых пустынях океана.

Солнечно гудят, рассыпаясь зеленым стеклярусом, высокие волны. За влажно-розовой дымкой горизонтов встают вырезные тени бананов и пальм, расстилаются зацелованные солнцем и пеной янтарные пляжи. В тихих коралловых лагунах — пронзенный солнцем зеленый сумрак,

гирлянды лиан и между ними бронзовые видения с яркими цветами в блестящей смоле тугих кос.

Волшебная ложь Гогена... Возбуждающая малярия экзотических легенд...

Мимо этих чудес плавно и гордо проплывают серые, быстрые непобедимые корабли, грозя безупречной синеве зенита длинными щупальцами орудий.

Не на высоких ли мостиках этих кораблей стоят гардемарины над картушками компасов, впиваясь в дымные горизонты властными взглядами из-под хмурящихся демонических бровей?

Разве не писали об этом Стивенсон и Киплинг, Жюль Верн и капитан Марриэт, Райдер Хаггард и Фаррер — властители дум и сердец начала двадцатого века, апостолы и пророки молодого империализма? И не на дрожжах ли соблазнительных сказок, как ребенок на пище гигантов, с изумительной быстротой рос он и креп, пуская цепкие корни?

Какое девичье сердце могло устоять перед соблазном океанских легенд?

Девушки России едва ли имели представление о том, что корабли российского флота после японской войны не входили в гамбургский счет морских состязаний: что они скучно полоскались в грязной, как прачечные отливы, воде Балтики, решая в томительном блуждании неразрешимую теорему заколдованного треугольника: Кронштадт — Ревель — Гельсингфорс, где сумма квадратов катетов: Гельсингфорс — Ревель плюс Гельсингфорс — Кронштадт была равна не квадрату гипотенузы Ревель — Кронштадт, а мертвой безвыходности из котлована Финского залива; что в Черном море, так же наглухо замкнутом историей и тяжелыми восковыми печатями конгрессов, задыхающиеся корабли, варясь в горячей синеве, притворялись карасями, которые плавают в кипятке по собственному желанию.

Гардемарины избегали рассказывать об этом девушкам, адмиралы — стране. «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман».

Видения океанских просторов возбуждали головокружение и учащение пульса у девушек и у страны. Что могло соперничать с ними?

Глеб выпрямился, словно почувствовав под ногами пьянящую дрожь палубы над океаном, и прямой, слегка

надменный, выкатив вперед грудь,— обремененную катаром верхушек,— вошел в столовую.

Мать нежно поднесла для сыновнего поцелуя пухлое, как архиерейская рука, еще моложавое лицо. В ее пепельных волосах редкими серебряными шелковинками просвечивала седина. Глеб прикоснулся губами к материнской щеке ровно настолько, чтобы поцелуй не показался сентиментальным, и с удовольствием оглядел стол.

Все приготовлено матерью, как он любит. В хлебнице румяная грудка кайзерок, в синеватом фарфоре масленки теплится бледно-золотой слиток. Аппетитный запах поджаренных в сливках гренков, розовая сочность ветчины. Больному нужно усиленное питание.

Корочки кайзерок вкусно захрустели на зубах Глеба. Золотой слиток в масленке таял, усердно подрезаемый ножом.

Мать любовно хлопотала около. Широкие рукава капота трепыхались крыльями взволнованной наседки.

— Глебка, выпей сливок... Прямо со льда. Что же ты ветчины не ешь, Глебчик? Как ты похудел, бедный мальчик!

Глеб подавился кайзеркой и смехом. Хлопоты матери напомнили ему знаменитое письмо отставного адмирала Беспятова начальнику штаба флота. Старик плакался о падении спартанских привычек времен Нахимова, возмущался ленивой беспечностью гардемаринской молодежи и обвинял родителей в ее развращении.

«Мамаша ему пишет,— свирепел адмирал,— пей, деточка, молочко, денег пришлю еще, а этот балбес — кровь с молоком — уже любую бабу дойной может сделать».

Материнская заботливость была смешна, но приятна. Точно как в детстве, она укутывала сына на сон пушистым шелковым одеялом. Смешно и щекотно, но хорошо.

— Довольно, мама, я, право, лопну,— взмолился Глеб, отваливаясь и отодвигая расставленное матерью на столе изобилие.— Мне пора к коменданту.

— Минутку подожди,— ответила мать.— Отец сейчас пришлет Василия. Он и отвезет тебя.

— А, старый пень еще скрипит? — сказал Глеб, разнеженно щурясь.

Приятно, что к коменданту повезет Василий. Конечно, это не петербургский лихач с шелковой сеткой и сокрушительным лётом рысака, но в родном городе пара Ва-

сильевых серых в яблоках и лакированный фаэтон с зеркальными фонарями вполне заменяют лихача. Уже много лет Василий ежедневно возит по утрам отца Глеба из дому в серое здание гимназии, набитое мальчишеским звонким гомоном, как кошелек серебряной мелочью.

Василия Глеб помнит с девяти лет, когда для него было большим удовольствием забраться на кожаные подушки и прокатиться до ближайшего угла.

Позже, в шестом классе, перед уходом Глеба в корпус, Василий же возил его в зимние и летние ночи за город, по излюбленной поколениями дороге к вокзалу, мимо памятника английскому филантропу Говарду, некогда, мимоездом, умершему в городе от чумы. Над острым обелиском памятника висела тусклая платиновая луна. К плечу Глеба привалилось тоненькое плечо девочки-гимназистки: Сони, Кати, Люси (перечтешь ли всех?), внизу смотрели потемневшие взрослым волнением зрачки, и дыхание захватывало от искристого ожога детского поцелуя.

— Ты о чем думаешь, мальчик? У тебя не болит голова?

Глеб встрепенулся и с ласковым сожалением посмотрел на мать. Бедняга, она, кажется, искренне верит, что Глебу по-прежнему девять лет. Что было бы с ней, если бы рассказать ей, что у него было уже несколько настоящих связей.

— Давай, мама, условимся. Я здоров, как бык. Мне просто осатанел корпус, и я словчился в отпуск. У меня ничего не болит и не может болеть. И запомни, что мне уже двадцать лет.

Мать рассеянно кивнула, убирая посуду, и вдруг, следуя какому-то неожиданному ходу своих мыслей, спросила:

— Ничего не слышал о войне?

Глеб скептически усмехнулся. Что это в самом деле всюду о войне? В Петербурге, у знакомых, к которым он заходил перед поездом, спрашивали о войне. Сосед по купе, курский помещик, тоже интересовался войной. Теперь мать заводит эту же музыку. Откуда они взяли? Уж если в отряде и на флоте ничего не говорят — значит, все спокойно. Ах, уж эти штатские шляпы!

Со спокойной самоуверенностью бездумного юноши Глеб ответил:

— Ничего не слыхал, мама. Начальник генмора, беседуя с офицерами, сообщил секретно, что будущее лето нужно будет держаться начеку. К этому времени и Антанта и Тройственный союз закончат свои военные программы. Только это совершенно секрет. А в этом году никакой войны не может быть.

У матери радостно просветлели глаза, но сказать она ничего не успела.

Хрустящая дробь звонка ворвалась в столовую. Это подъехавший Василий давал знать о себе. Глеб поднялся, поцеловал матери руку и вышел в прихожую.

Сабля, звякнув, сверкнула лаком ножен, бронзой эфеса, повисла на бедре, похожая на изящную игрушку. Последний взгляд в зеркало у вешалки. Фуражка надета лихо, по-нахимовски, на затылок. В Петербурге за такую манеру взгрели бы.

Всего год назад вице-адмирал Русин конфиденциально приказал, без отдачи в приказе, арестовать на шесть суток лейтенанта Стаховича и сделать внушение мичманам Римскому-Корсакову и Никонову за неприличное ношение фуражек сдвинутыми на затылок. Вице-адмирал Русин полагал, что подобная манера подрывает могущество императорского флота. Гардемарины думали иначе.

По мягкому половику лестницы Глеб сбегает к выходу, распахивает наружную дверь. Поток света, волна зноя в лицо — и Глеб стоит у экипажа, тонкий, весь белый — молодой лебёденок.

Клочковатая серая бороденка Василия кивает с козел, скалятся щербатые зубы.

— Эге! Здоровеньки, папычу! Який гарный, дивчатам на пагубу.

Василию можно простить фамильярность. Он вроде старого дядьки. Глеб весело здоровается со стариком и вспрыгивает на подножку.

— В крепость!

Серые в яблоках берут ровной рысью. Мостовая горит, как кованная из серебра. Синие, плотные, почти осязаемые тени лежат на тротуаре под стрижеными шарами акаций. Белые и лиловые гроздья источают душный, томительный запах.

Глеб сидит очень прямо. Разваливаться в экипаже и глазеть по сторонам неприлично. Глеб смотрит в спину Василия, на зеленые стёкляшки, вставленные в кучерской пояс. На губах чуть заметная усмешка презрения к юж-

ному уличному шуму. Глеб не зевака. Он едет исполнить обряд воинского долга и не может развлекаться посторонними вещами. Только один раз он бросает быстрый взгляд на здание второй женской гимназии, желтеющее за темной хвоей сада. Но окна наглухо закрыты ставнями, за ажурной решеткой пусто. Каникулы в разгаре — все мертво.

Серые проносят фаэтон в обомшелые ворота екатерининской крепости. Валы ее давно обрушились, во рвах бастионов зацветает плюшем ряски оставшаяся от снеготаяния и весенних ливней желтая вода.

Приземистый военный собор подымает облупленными, точно в пятнах ожогов, пальцами колонн плоскую шапку купола. Против собора — завитый плющом белый домик коменданта.

Глеб не спеша сходит на тротуар, подымается на крыльцо, входит. Не по-провинциальному франтоватый писарь льстиво выслушивает Глеба и, захватив билет, исчезает за дверью. Минуту спустя выходит, приглашая гардемарина.

Глеб входит, отчетливо печатая шаги, держа на отлете саблю. За столом пехотное ничтожество в мятом кителе с аксельбантом подозрительного оттенка. У ничтожества поручичьи погоны и красненький, клубничной ягодкой, носик.

— Господин поручик! Корабельный гардемарин Алябьев представляется по случаю прибытия в отпуск...

Слова отчеканены. Они падают, металлически лязгая, как выбрасываемые из затвора стреляные гильзы. Конечно, потешно стараться перед таким армишоном, но нужно показать ему столичный шик.

Клубничка посапывает, протягивается рука.

— Милости просим. Присядьте, гардемарин. Сейчас ваш билет оформят. Давно из Питера?

— Я, господин поручик, отбыл из Санкт-Петербурга в одиннадцать часов тридцать минут двадцать второго июня.

Моряк военного флота должен быть точен, как секстант, как английский хронометр в штурманской рубке.

— Ну, как там? Что в гвардии? — Глаза адъютанта вспыхивают волнением мечты.

Глебу становится жаль помятого, загнанного человечка, обреченного провести всю жизнь — тридцать, сорок... пятьдесят лет в глухих закоулках страны, в таких вот

жалких кабинетиках с оборванными обоями. Что может дать ему служба? Чин полковника (и то в отставке), грошовую пенсию и кучу ребят, лениво прижитых от худосочной дочери какого-нибудь акцизника. Почему бы не порадовать его хоть раз рассказами о том, что он никогда не увидит и с чем никогда не соприкоснется?

И с доверительной интимностью Глеб рассказывает поручику несколько пикантных анекдотов о гвардейских шалостях, пока за дверью писарь регистрирует билет. Адъютант очарован, он готов расцеловать на прощанье этого милого юношу и собственной персоной, забыв офицерское достоинство, провожает Глеба к экипажу...

— Ха-ха, гардемарин!.. О его высочестве — замечательно... Спасибо. Если бы вы знали, какая у нас зеленая тоска.

На улице полдневный жар, и серые в яблоках ловкими взмахами хвостов хлещут назойливых мух.

— Зараз куды, Глеб Николаич? — обертывается Василий.

— Куда?

Гардемарин, исполнивший воинский долг, превращается в мальчишку. На соборной колокольне бьет двенадцать. Сейчас на главной улице, на всем ее протяжении от угрюмой лютеранской церкви до веселого, как коттедж, костела в другом конце, беспечно фланирует весь город. Прошагать по тротуару, чувствуя на себе взгляды восхищения и зависти, ослепить незапятнанной белизной формы.

— На Суворовскую!

В облаке пыли за экипажем тонет комендантское крыльцо и на нем поникший адъютант.

* * *

На первом же углу кинулось в глаза, завихрилось цветное, кружевное, батистовое облако, искрапленное круглыми пятнами ярких зонтиков. Заплескалось голосами.

— Глебушка!

— Глеб Николаевич!

— Алябьев!

— Приехали? Какими судьбами?

— Идите же к нам!

Завороженный ласковым воркованием, Глеб, забыв о

своем достоинстве, выпрыгнул из экипажа и перебежал на тротуар к девичьей стайке. Теплый живой цветник расступился, пропуская его в середину, и снова замкнулся. Как чудовищные лепестки цветов, качались зонтики, овевая духами.

Вихрь локонов, глаз, губ, розовых улыбок. Целуя протягиваемые пальчики, Глеб вертелся во все стороны.

— Кэт!.. Варюша!.. Снегурочка!.. И вы, Тасенька? Как роскошно встречает меня родина! Но почему вы до сих пор в городе?

— В Канцуровке ремонт: папа заново отделывает дом. Скоро переедем.

Сестры Лихачевы... Варенька Писарева... Лида Кавелина... Солнечное и милое возникало перед Глебом детство.

Что? А чьи же это глаза? Такие ясные, ласкающие. Терракотовая смуглота чуть-чуть неправильного лица, в самой неправильности которого особенная прелесть. Ресницы, дымно затемняющие щеки.

Глеб недоуменно остановился. Зазвенел хохот, сильней закачались зонтики.

— Вы не хотите узнавать Мирру? Ай-ай, как не стыдно!

Смешливая Катя Лихачева, золотоволосая и пышная, берет Глеба под руку, подталкивает.

— Не узнаю...— Глеб действительно смущен. Что-то знакомое в облике девушки, но вспомнить не может.

— Да ведь это же Мирра Нейман.

— Что? — Глеб справляется с растерянностью.— Мирра?

Может ли быть? Год назад видел тоненькую девочку, похожую на слабый росток травинки. Как неузнаваемо расцвела. Глеб уже смеется, не выпуская ее руки.

— Позвольте!.. Что за волшебство? Вы же были совсем маленькая...

Девушка сдержанно улыбается:

— Но ведь и вы в прошлом году были маленьким.

— Не смейтесь над нами, Глеб. Мы все окончательно взрослые. Даже Тася. Кончила гимназию и обезумела оттого, что можно не кланяться классухам и гулять сколько вздумается по вечерам.

Глеба тормошат со всех сторон, хохочут, чирикают. От волнующего чириканья кружится голова, во всем теле иголочками покалывает веселье.

— Милые девушки! В ознаменование такой восхитительной встречи предлагаю идти к Слюсаренко, отдать долг мороженому и птифурам.

Говорливой гурьбой, перекидываясь шутками, туда, где зеркально сверкает широкая дверь кондитерской Слюсаренко. Только на юге бывают такие капища гения сладостей.

О, манящее плодородие прилавков, скрытых, как невеста фатой, полупрозрачным покровом мягкой кисеи! Под ней молодость жадно угадывает полускрытые прелести, обольстительные сласти.

Птифур, наполеоны, слоенки, яблочные безе, кремовые, кофейные трубочки, микадо, пралине, нуга,— чудодейные ухищрения кондитерской магии, более соблазнительные, чем пресные плоды древа познания добра и зла.

Розовые от возбуждения, батистовые и кружевные Евы склоняются над кисеей. Вытянутые пальчики дрожат над пирожными.

— Это...

— И то...

— Два пралине...

— Трубочку...

— Наполеоны, мосье Слюсаренко.

Сам круглый, как птифур, сахарно улыбающийся, Слюсаренко длинными серебряными щипцами достает пирожные. Горка их вырастает на мельхиоровом блюде. То легкие и воздушные, то отягощенные жирной сладостью крема и слоями теста, они покорно лежат, как маленькие жертвы, приготовленные к закланию.

Девушки расселись у столика. Священный обед протекает в молчании. Как нежно тает в розовых губах осыпающий сахарную пудру наполеон, заливаемый обжигающим холодком мороженого.

Глеб придвигает стул к Мирре Нейман и садится, опираясь локтем на эфес сабли. На блестящей зеркальной стене ясно виден ее профиль. Все необычно прелестно в этом лице, даже крошечные рябинки веснушек. Глеб поворачивается к девушке в три четверти (самый выгодный для него поворот — он обнаруживает горбинку носа и дерзкий разлет бровей) и начинает скользящую болтовню.

Серьезно — девушка необыкновенно хороша. Как раньше он не замечал ее?

Катя Лихачева хохочет.

— Не-ет... вы взгляните, mesdames!.. То не хотел узнавать Мирру, а теперь впился глазами, как пиявка... Мирочка, сверни ему голову, я тебя умоляю. Одержи блестящую победу над флотом. Кстати, Глеб, когда вы будете мичманом?

— Пятого октября, Екатерина Михайловна.

— Боже, как официально! Прошу без церемоний — я по-старому — Кэт. Что вы делаете сегодня вечером?

Глеб начинает злиться. Эта болтушка положительно не дает ему разговаривать с Миррой.

— Не знаю... вероятно, дома. Я устал после дороги.

— Нет, приходите к нам. Мы теперь каждый день вместе. Музицируем, поем, играем... В ходу покер... Хотите сегодня в вашу честь? Ведь это морская игра?

— Благодарю... Если не очень устану...

В кондитерскую входит бородатый широкоплечий полковник, командир стоящего в городе артиллерийского дивизиона. Девушки заинтересованно смотрят на Глеба. Они привыкли к постоянному спектаклю испрашивания разрешения. Но они не понимают, какая пропасть лежит между простым гардемарином и корабельным.

Глеб небрежно привстает, подносит руку к козырьку и садится с полной независимостью, даже не взглянув, как полковник лениво — такая жара — не доносит до головы громадную, как подушка, ладонь.

Девушки удивлены. Пока полковник не уходит — они молчат. Едва широкая спина в кителе шанжан скрывается за дверью — единодушное удивление.

— Как? Вы уже не спрашиваете разрешения?

— Вы можете сидеть?

Глеб надменно усмехается.

— Смешно!.. Я не маленький. Перед кем тянуться?

Он вырастает в эту минуту в девичьих глазах, он чувствует это. Больше он уже не мальчик Глеб, товарищ детских забав. Это кончено. Отвалясь на саблю, перед девушками мужчина... офицер... может быть, жених.

— Да, кстати,— Лида Кавелина через стол спрашивает Глеба,— вы не знаете, куда ушло в лагеря Николаевское кавалерийское? Я в затруднении — как писать Коте.

Глеб слегка кривит губы.

— Право, не знаю. Мы не соприкасаемся с армией.

Глеб сам не сознает, какая черная правда в его словах. В самом деле, как были бы поражены, фраппированы убеленные сединами адмиралы, надменные каперанги и

лейтенанты морского генерального штаба, если бы кто-нибудь сказал им, что флот российский существует для того, чтобы поддерживать российскую армию, вести совместные с ней боевые действия.

Ересь!.. Нелепый бред! Ниспровержение вековых устоев, дерзкая попытка лишения чести. Армия: пехота, кавалерия, артиллерия — сброд, не стоящее внимания месиво пешек. Пусть оно существует само по себе и дерется само по себе. На шахматной доске войны флот — ферзь. Флот недосягаем. Кастовой порукой, частоколом аристократических традиций он отрезан от армии. Сухопутного офицера, приехавшего на корабль, встречают хоть и вежливо, но с оскорбительным бездушием, как бедного родственника... Флот — это море, это крылатый крест андреевского флага, не имеющего сходства со знаменем армии. Флот — это самовластие генмора. Флот сражается на море — флот должен владеть морем, такова морская доктрина. Но так как владеть морем он не может и владеть морем он не будет,— он будет отсиживаться в гаванях, мечтая о владычестве, под охраной фортов, обслуживаемых армией. Но соприкосновения с армией флот не желает иметь.

Так охраняют от неравного брака девушек лучших фамилий страны. Так к тонкокостной английской кобыле не подпускают колченогого взъерошенного деревенского Гнедка... Так построена вся военная сила империи — на презрении и обособленности. Гвардия презирает армию, артиллерия — кавалерию, кавалерия — пехоту. Черной мутной ненавистью ненавидит всех пехота.

С пирожными покончено. На мельхиоровом блюде только кучка гофрированных бумажек — «балеринок» — от птифур.

На улице, когда начинают прощаться, Глеб как бы невзначай вспоминает:

— Нам, кажется, по дороге, Мирра Григорьевна? Вы позволите проводить вас?

Ласковые пятнышки веснушек явственней проступают на порозовевших щеках, ресницы падают дымной тяжестью.

— Пожалуйста.

Они идут вдвоем, беспечно болтая. Как короток путь! Мирра останавливается у розового особнячка. На двери медная табличка на двух языках:

ЭКСПОРТНАЯ ХЛЕБНАЯ КОНТОРА Г. М. НЕЙМАН
EXPORT OFFICE GEORGE NEIMAN

Мирра стоит на крыльце, но еще не прощается. Может быть, ей, дочери разбогатевшего хлебного экспортера, принятой в лучших домах города потому, что ее имя покрыто позолотой отцовских червонцев, приятно внимание и предпочтение перед русскими девушками, которое оказал ей сейчас этот блестящий белый, возникший из сказочного и недостижимого мира юноша.

Наконец, рука протянута для прощания. Глеб чувствует, как бьется кровь в кончиках пальцев.

— Надеюсь, мы встретимся?

Ресницы опускаются еще ниже.

— Я буду сегодня у Лихачевых. Если хотите...

— Чтобы увидеть вас, конечно...

Отойдя, Глеб оглядывается. Кремовое платье мелькает в раскрывшейся двери.

Глеб идет домой, разморенный жарой, разомлевший от разговора с девушкой. Идет небрежной раскачкой. Сабля, болтаясь, хлопает по ногам.

«Какая прелестная девушка!.. Какие глаза!.. Даже в Петербурге мало таких... Вот такую бы жену. Как жаль, что еврейка. Черт возьми, какой идиотизм!.. Почему нельзя жениться на еврейках?.. Дикая история, а попробуй — женись. В два счета вышибут из флота... А граф Витте? Ну, то Витте... А это хорошо звучало бы: Мирра А-ля-бьева...»

Глеб прислушивается к нежащим звукам неожиданного сочетания и вдруг спохватывается:

«Что я, черт возьми, с ума схожу, что ли?! Не успел увидеть девчонку и опупел, как кадет шестой роты».

Он подтягивается, подбирает саблю и идет домой, выпрямленный и презрительный, как подобает офицеру императорского флота. Встречный солдатишка, взглянув на необычайный и невиданный погон с золотым якорем, топает мимо него со страдальческим напряжением, задрав руку и голову к синему, горячему небу.

* * *

Третий вечер Глеб пропадал у Лихачевых. Он и прежде охотно бывал в этом доме, с которым издавна был связан детством, совместным ученьем с одним из Лихачевых, нитями мимолетных, но милых привязанностей.

Дом мало походил на обычные дома провинции, со свинцовым грузом мелкочиновных предрассудков, обыва-

тельской спесью. Лихачевы жили широко и открыто, дом всегда пенился нерастраченным весельем юности. Он напоминал скорее стародворянский московский помещичий дом с его хлебосольством, задушевностью и атмосферой постоянной влюбленности. Глеб часто в шутку называл его «домом Ростовых». Сходство увеличивалось тем, что двух младших сестер Лихачевых звали Наташей и Соней.

Мать Лихачевых, женщина умная и живая, сумела не опуститься до уровня провинциальной буржуазки, создать и поддерживать дом, в котором сконцентрировались культурные интересы города. Глава семьи, Лихачев, редко бывал в городе, проводя все время в имении,— на редкость устроенном и обильном среди дворянского оскудения,— в двадцати пяти верстах от города, вверх по реке. В городском доме всецело хозяйничала мать. Столы были постоянно завалены книжными новинками. Приезжавшие на гастроли из столиц музыкальные и сценические знаменитости обязательно появлялись у Лихачевых. Пятеро детей — два сына и три дочери — были, как на подбор, здоровы, жизнерадостны и привлекательны. Возможность запросто бывать у Лихачевых высоко ценилась. И Глеб, искушенный уже петербургскими салонами, продолжал сохранять прежние симпатии к лихачевской семье.

Дом был вполне distingué [1], светским домом, в нем можно было появляться без риска скомпрометировать себя, уронить гардемаринский престиж.

Но в эти три дня Глеба неудержимо тянуло к Лихачевым, больше, чем когда бы то ни было. В первый же вечер, несмотря на действительную усталость от дороги (он рад бы был поваляться дома с книжкой), Глеб все же явился к восьми часам, одним из первых, нарушив свое правило немного запаздывать, как подобает воспитанному английскому джентльмену.

Еще смутное и безотчетное желание, в котором он боялся сознаться себе, пересилило усталость. Ему хотелось увидеть Мирру Нейман.

Остальное стало второстепенным. Это было главное. И в течение трех вечеров он не отходил от девушки, сам удивляясь, но все больше подчиняясь неожиданному и необоримому влечению.

Он не мог противиться внутренней силе, толкавшей его к девушке, и в то же время робел и смущался, как

[1] изысканным *(фр.)*.

мальчишка. Он потерял всю свою наигранную корпусную самоуверенность. Он не понимал, как вести себя.

Мирра была до странности непохожа на девушек и женщин, составлявших круг знакомств Глеба в Петербурге, за стенами корпуса. Те отчетливой гранью общественной табели, ступеньками житейской лестницы делились на определенные категории. Каждая имела свои свойства и черты.

На первой ступени стояли наивные, простоватенькие, стремительно побеждаемые в течение одного отпускного вечера легкомысленные кельнерши маленьких кафе и буфетов Васильевского острова. С ними все было до крайности просто. Несколько игривых любезностей за столиком приводили к уговору о встрече в следующий субботний вечер. Встреча влекла за собой ложу кинематографа или театра миниатюр, где, в теплой темноте сеанса, рука сама собой ложилась на талию соседки. После недолгая, но возбуждающая прогулка по набережной Невы, крошечная каморка на пятом этаже какой-нибудь линии, бумажные веера на стене, кружевная накидочка на постельной подушке и два-три часа пламенных, но ни к чему не обязывающих обе стороны восторгов.

Выше помещались жены василеостровских чиновников всех ведомств в возрасте чаще всего от тридцати двух до тридцати восьми. Эти знакомства обычно завязывались в магазинах Гостиного двора или пассажа, где маломальски наметанный глаз сразу различал василеостровскую обитательницу. Гардемарин «на промысле» со скучающим видом слонялся по магазину, высматривая экземпляр посвежее, рассматривающий у прилавка какие-нибудь тряпки или безделушки. Наметив жертву, гардемарин уже не оставлял ее, играя, как кот с пойманной мышью. Он ловил момент, когда обреченная дамочка, накупив дешевенькой батистовой или шелковой завали, начинала пьянеть от мечтаний о будущем триумфе на именинах у департаментского столоначальника. Ее глаза темнели от предвкушений, но сердце вдруг съеживалось от тоски, что в среде приятелей мужа нет светских кавалеров, которые могли бы оценить будущую обновку. В это мгновение гардемарин выпускал когти. Он вставал на пути женщины как живое искушение. Томно поводя глазами, он выставлял напоказ белый с золотом погон, похожий на ломтик белого с золотыми прослойками сала, который кладут в мышеловки и от соблазна цапнуть

который не может удержаться никакая мышь. Он говорил с изысканным прононсом первую пришедшую в голову английскую фразу, чаще всего крепчайшее ругательство — все равно не поймет, но важно ошеломить. И василеостровская Пенелопа шалела, как клоп, политый скипидаром. Млела, таяла и отдавала в цепкие руки гардемарина вместе с покупкой, которую он галантно предлагал донести до дома, себя самое и свою супружескую честь. У ворот она делала последнюю попытку... сопротивления, уверяя в ответ на пылкие требования гардемарина, что муж всегда сидит дома, кроме... вечера субботы. В этих случаях осчастливленный гардемарин, в придачу к бурной страсти, пользовался со всей энергией молодого желудка домашними соленьями, печеньями и вареньями, как полноправный падишах.

Наконец, на самом верху лестницы, располагались девушки и женщины «своего» круга — сестры и кузины гардемаринов, светские дамы, стареющие звезды бомонда. Здесь все было сложнее и противнее. Девушки, в отсутствие старших, на модернизованных кушетках «декаданс» целовались с приемами парижских кокоток и позволяли «почти все», но немедленно оказывали бешеное сопротивление при дальнейшей активности, пуская в ход ногти, булавки и туалетные ножнички, после чего гардемарин усердно клеветал в корпусе на бешеный нрав теткиного кота, для объяснения кровоточащих царапин. Дамы же, не имевшие причины столь ревниво оберегать свои прелести, преподносили искателю такие сверхъестественные изыски, что перед ними пасовал теоретический опыт гардемаринов, знавших, по корпусным преданиям, только сто четырнадцать способов любви. На такие приключения, впрочем, было немного охотников. Здоровые, неиспорченные мальчики, как Глеб, обычно после такого казуса неделю ходили задумчивыми, ощущая приступы травления при одном воспоминании о «чудном мгновенье», и чаще всего больше не появлялись в доме, где разыгрался роман.

Была еще особая категория девушек, к которым, для Глеба, относились сестры Лихачевы и другие друзья детства. С ними все держалось на ласковой, чуть иронической интимности и не заходило дальше беглого, мимолетного поцелуя где-нибудь за дверью, оконной шторой, после двух-трех рюмок вина, с веселым звоном в голове.

Мирра Нейман была непохожа ни на одну из этих известных Глебу разновидностей. Она была совсем особенная. В ней было тревожащее сочетание восточной дремной женственности с держащим на расстоянии холодком прозрачной девической чистоты.

Даже разговаривать с ней пришлось иначе, чем с другими.

В первую встречу у Лихачевых, войдя в гостиную и увидев Мирру за роялем, в углу, носившем название «Гонолулу» (там висел над диваном вывезенный кем-то с Таити лупоглазый идол), Глеб направился к девушке истомленной, развинченной походкой светского обольстителя.

Со всем испытанным и узаконенным канонами флотского донжуанства изяществом он расположился возле нее на диване и уверенно начал флиртующий разговор с бездумной и легковесной развязностью, усвоенной в корпусе как верх светского блеска. Но после первых же фраз Мирра повернулась к нему, и Глеб впервые увидел ее глаза широко раскрытыми. Они были горячи, прозрачны, и в них была та же девственная ясность, что и во всем облике девушки.

— Глеб Николаевич,— сказала она, доверчиво улыбнувшись,— мне, право, не хочется, чтобы вы разговаривали со мной этим тоном. Мне кажется, что и вы сами не так уж привязаны к нему и это больше... светская инерция. Но я ведь маленькая провинциалка и привыкла к простоте. Вы можете говорить просто? Хорошо?

Глеб пережил чувство кавалериста, выбитого из седла на полном карьере. Скажи это ему другая девушка, он, вероятно, обиделся бы и ответил тонкой, напитанной ядом дерзостью. Но эта детская доверчивость обезоруживала. Он поклонился.

— Есть!.. Приказано говорить проще.

Действительно, после этого стало неожиданно легче разговаривать, как будто сняли с него тяжесть, вынуждавшую все время держаться напряженно. Глеб перестал понимать сам себя.

На третий день у Лихачевых он решил держаться дальше от Мирры. Что с ним, в самом деле? Нельзя же показывать себя так явно заинтересованным, нужно хоть на один вечер отойти.

Но выдержки хватило ненадолго. Он сам не заметил, как опять очутился возле Мирры, и с радостью увидел,

что девушка совсем дружески улыбнулась ему. Он сел на низенький пуф у ее ног. Посреди гостиной, стоя у круглого столика, читал стихи входящий в моду московский поэт Бартельс. Глеб рассеянно слушал распевную заплачку сутулого верзилы с цыплячьей головой, в смокинге, с неестественно огромной хризантемой неестественно лилового цвета.

Цыплячая голова в ритм унылым стихам, призывавшим «демонов самоубийства», то закидывалась назад, то падала, приминая подбородком лепестки хризантемы. После стихотворения Бартельсу дружно рукоплескали.

Глеб спросил девушку, задумчиво смотревшую на клоунские судороги поэта:

— Вам это нравится, Мирра Григорьевна?

— Нет, — ответила она, не оборачиваясь.— Нехорошо и странно. Мне кажется, он сам не верит в то, что пишет... Отчаяние... самоубийство. В восемнадцать лет не хочется думать об этом.

— Я бы его...— Глеба передернуло от внезапной ненависти к поэту,— я бы его отдал в науку нашему боцману Грицуку... Тот бы его обработал. Подраил бы он медяшку две недели, поплел бы маты, постоял бы каждый день на спардеке по два часа с полной выкладкой... После этого узнал бы вкус жизни, камаринскую запел бы!..

Мирра засмеялась.

— Что вы так рассердились?

— Не люблю... Актерствует... дрянь!

Девушка взглянула на Глеба.

— А вы не пишете стихов, Глеб Николаевич?

Глеб изумленно откинулся. За кого она его принимает?

— Почему вы думаете, Мирра Григорьевна? Я еще до этого не докатился. Разве прикажут, в порядке воспитательного воздействия, написать для матросов правила поведения и внутреннего распорядка, вроде: «Коль хочешь избежать наряда — надраить пуговицы надо...»

— Знаете, почему я спросила?.. Вспомнила, что еще гимназистом вы всегда читали на вечерах стихи. И очень хорошо читали. Я помню.

Глеб пожал плечами.

— Дела давно минувших дней... Детство. Грешил. Хотя и сейчас чужие стихи, если они хороши, люблю.

— И читаете?

— Иногда.

— И если я попрошу, прочтете?

— Только вам одной,— ответил Глеб, и ему показалось, что щеки Мирры порозовели, но она быстро отвернулась, отвечая на оклик Кати Лихачевой.

— Глеб!.. Мирра!.. Бросайте тет-а-тет!.. Начинаем покер.

— Иду,— отозвалась Мирра.

Глеб не хотел играть. Он присел к покерному столику помогать Мирре.

Карты, шелестя, рассыпались по сукну. Глеб разбирал карты Мирры, советовал, комбинировал прикупы.

— Мы сейчас всех пустим ко дну, Мирра Григорьевна. Со мной в покер некому тут тягаться. Меня учил лейтенант Лукьянов, а он, в Гонконге, знаменитого английского коммодора Данрейтера начисто раздел, до нитки. Его теперь весь британский флот почитает.

В одну из сдач, передавая Мирре стасованные карты, Глеб нечаянно натолкнулся пальцами на тоненькие пальцы девушки. Всю руку до плеча пронизали колкие мурашки, как от разряда лейденской банки. Он быстро отдернул руку и даже бессознательно подул на нее.

Нагло блефуя, покупая на арапа, с самыми сложными комбинациями и расчетами, улавливая по лицам партнеров состояние их карт (в покере Глеб действительно был докой), Глеб беспощадно рвал ставки. Перед Миррой выросла горка цветных фишек.

— Господа, что же это? Разбой! Глеб обирает нас как липку. Банкротство!

— Не связывайтесь, Кэт, с профессорами. Поделом. Наши ваших бьют,— шутил Глеб, пригребая очередной банк.— Еще удар — и враг бежит.

— Барыня просят ужинать,— позвала с порога горничная.

Шумно подымаясь, гости потянулись в столовую. За покерным столиком наспех подсчитывали фишки.

— Бросьте!.. После подсчитаем. Идем ужинать,— торопила Катя.

— Ты меня извини, Катюша. Я не могу остаться. Позволь мне уйти,— сказала Мирра, пересыпая из ладони в ладонь фишки.

— Что? Почему в такую рань? Еще нет двенадцати.

— Сегодня отца нет. Он вчера уехал в Одессу, а мама нездорова. Нужно раньше вернуться.

Глеб слушал, колеблясь. Проводить? Но нельзя же так навязываться. Провожал позавчера, вчера... теперь опять. Но проводить хотелось. Неожиданно выручила Катя.

— Раз так — не имею права удерживать... Глеб, вы проводите Мирру и возвращайтесь. Мы еще потанцуем.

— Есть! — Глеб набросил на плечи Мирры легкий шелковый плащ.

На улицах было уже пусто. Провинция рано заваливалась на пуховики. Лунная синева преображала знакомые дома, деревья. В нижнем конце улицы, зеленовато мерцая, дымясь, сияла река. Акации струились сумасшедшим запахом, еще сильнее, чем в полдень. Переходя мостовую, Мирра оступилась, и Глеб подхватил ее. Локоть был тоненький, теплый и рождал покровительственную нежность к хрупкости спутницы.

— Вы долго пробудете у нас? — спросила Мирра.

— Всего два месяца.— Глеб ощутил внезапно, вопреки третьегодняшней радости, что срок отпуска далеко не так продолжителен, как ему казалось.

— А потом?

— Потом на месяц в Петербург за производством, а там в Севастополь.

Мирра помолчала.

— Я тоже в Петербург.— Она тихо засмеялась.— Как долго я ждала этого. С третьего класса я мечтаю о Петербурге, как Золушка о принце. Я никогда не видала его, но мне кажется, он необычайно прекрасен, строен, сказочен...

— Изумительный город! — подтвердил Глеб.— Мне жалко его покидать, но плавать в Балтике желтая тоска. Постоянный холод, всего пять месяцев кампании, а семь сиди, как пойманная крыса, на корабле, примерзшем к стенке, зашитом досками.

Они подходили к повороту улицы... Странное мягкое шарканье и глухое позвякиванье донеслось до них из-за углового дома. Мирра остановилась.

— Что это?

— Не понимаю... Сейчас посмотрим.

Они миновали дом. Навстречу, посреди мостовой, в душном тумане двигались облитые луной серо-голубые призраки. Они ритмически взмахивали руками, и при каждом шаге их слышался тупой звон.

— Глеб Николаевич? Что же это?

Голос девушки стал острым. Глеб наконец сообразил:

— Не волнуйтесь, Мирра Григорьевна. Арестанты метут улицу.

Серо-голубые тени, позванивая кандалами и размахивая метлами, медленно проходили мимо, тихие, странные. Высокий арестант поравнялся с Глебом. Луна осветила высокий лоб, выпуклости скул, небритый подбородок. Голова была прикрыта бесформенным суконным колпачком. Жалкая виноватая усмешка свела рот арестанта, и он ускорил шаг. Согнутая спина его с темнеющим ромбом туза удалялась в пыльном облаке.

— Мне жутко, Глеб Николаевич!

Локоть девушки, прижатый Глебом, дрожал.

— Успокойтесь, Мирра Григорьевна. Бояться нечего — несчастные люди,— сказал Глеб и подумал: «Тоже администрация в тюрьме! Не могут, скоты, позже высылать на уборку. Отличное воспитывающее зрелище для жителей».

До знакомого розового особняка дошли молча.

— Вот и дома,— заметил Глеб с нескрываемым сожалением.

— Маленький город,— ответила девушка, болезненно и жалко улыбаясь. Сняла шляпку и присела на выступ крыльца.— Зачем это?.. Как отвратительно!.. Несчастные люди. До сих пор я так любила прогулки в лунные ночи. Любила эту сказочную дымную голубизну, которая все показывает в таком волшебно преображенном виде... И вот это... Теперь мне будет страшно выходить. И луна стала мутная... Даже она не может спокойно видеть такие вещи.

Она закрыла лицо руками. Сквозь пальцы глуховато сказала:

— Вы обещали, Глеб Николаевич, прочесть для меня стихи, когда я попрошу. Если можете — прочтите. Мне станет легче... Вы знаете Блока?

— Да, Мирра Григорьевна. Но что прочесть?

— Что хотите.

Глеб задумался. Несколько минут стоял, подняв голову, припоминая, весь обрызганный фосфористой лунной пеной, стынущей на кителе.

— Хорошо... Это:

Дух пряный марта был в лунном круге,
Под талым снегом хрустел песок...

Мирра сидела поникнув. Гладкая прическа ее, туго облегавшая голову, блестела, как шлем из неведомого струистого металла.

И вдруг — ты, дальняя, чужая,
Сказала с молнией в глазах:
То душа, на последний путь вступая,
Безумно плачет о прошлых снах.

Угарный дурман стихов волновал. Сухими губами Глеб нервно хлебнул воздух. Девушка подняла голову. Голубые блики влажно блеснули в зрачках, и Глебу показалось: слезы. Он шагнул к ней.

— Мирра Григорьевна!

Но Мирра уже вскочила. Вскинула руки, словно защищаясь.

— Пора... Спасибо... Знаете, вы странно угадали, что мне хотелось услышать.

Щелкнул ключ. Черный прямоугольник двери спрятал девушку, и равнодушная филенка стала на место. Глеб остался один на голубой, отравленной сладким чадом акаций улице. В висках звенящим сверчком стрекотала кровь.

* * *

На двадцать восьмое июня у Лихачевых затеяли прогулку в имение. Решили отправиться утром, переночевать и вернуться на следующий день к обеду.

План — ехать пассажирским пароходом — Глеб решительно отверг.

— Лорды и леди! Пароход совершенная чепуха. Давка, посторонняя публика, из буфета несет на всю реку щами и котлетами. Предлагаю другое. Я добуду у Масельского катер «Светлану». Он подымает двенадцать человек и будет в полном нашем распоряжении. Можем поехать на остров, варить уху, заехать в затон. А пароходом скука — сойдем и будем приклеены к берегу.

С общего одобрения Глеб отправился добывать катер. Отставной лейтенант, сугубый пьяница, Масельский был убран с флота за чрезвычайно откровенное предложение, сделанное весьма высокопоставленной даме в угаре винных паров. Он скучно коротал свои дни командиром яхты министерства путей сообщения, бездельно и бесцельно стоявшей в порту у стенки линейной дистанции.

Пары на «Светлане» подымались один раз в год, летом, когда из Петербурга приезжали ревизоры и инспектора речного судоходства. Тогда, отделанная пальмовым деревом и палисандром, изящная игрушка (министерство приобрело ее у кого-то из великих князей за карточный долг) оживала. Каюты ее наполнялись белыми сюртуками путейцев, фуражками с якорями, сигарным дымом, духами и женским смехом, а в трюм грузились ящики вина и тюки снеди. Закончив погрузку, яхта уходила в ответственный рейс от устья реки к порогам и обратно.

Но ревизоры ревизовали почему-то не береговые сооружения, дамбы и пристани, а самые уединенные, заросшие ивами островки. Инспектора интересовались не пароходами, а тихими заводями островков. Яхта подходила вплотную к пушистому зеленому ковру берега, и чины министерства отправлялись ревизовать остров. После таких ревизий на вытоптанной траве оставались объеденные индюшечьи ноги, рачья скорлупа, рыбьи скелеты и извергнутые ревизоровыми желудками подозрительные лужи. У берега тихо колыхались десятки пустых бутылок, как будто в шелковой воде заводи потерпела крушение огромная армада, побросавшая в роковой момент за борт бутылки с известием о катастрофе.

Однажды рыбаки, причалившие к месту такой ревизии, обнаружили в траве предмет, приведший их в изумление. В тончайшую, насквозь просвечивающую материю с разрезом посредине были продернуты розовые шелковые ленточки. Кружева паутиной свисали с концов предмета. Рыбаки разложили находку на траве, долго смотрели на нее, крякая и испуганно дотрагиваясь до материи чугунными пальцами. Один, утверждавший, что это рубашка, попытался напялить предмет на плечи, но туловище его провалилось в разрез, принятый за воротник. Он плюнул и бросил находку на землю. Ни к какому выводу рыбаки прийти не смогли, и даже жены, которым была доставлена находка, не сумели растолковать мужьям, что загадочный предмет представлял собой дамские панталоны того удобного фасона, который носил название «Je suis déjà madame» [1].

В полночь «Светлана» отходила от острова и полным ходом шла по реке, освещенная, как плавучий ресторан. В палисандровой кают-компании, на диванах и под стола-

[1] «Я уже дама» *(фр.)*.

ми, вповалку лежали ревизоры и дамы, а на мостике, расставив ноги, налитой алкоголем, но твердо державшийся, стоял Масельский.

На баке вполголоса матерящиеся матросы заряжали бронзовую салютную пушчонку, с остервенением забивая дуло паклей.

— Комендоры, не копаться! Лихо работай! — кричал Масельский.

— Есть, ваше высокоблагородие!..— громко,— мать твою в погибель,— под сурдинку неслось с бака.

— По броненосцу «Миказа»... фугасными!.. Прицел... целик... Залп!

Пушка звонко лязгала, выбрасывая в ночь золотой сноп огня. Прибрежные села вздрагивали и, сквозь дрему, чутко прислушивались к катящемуся над водой грохоту. Матросы снова бросались заряжать.

Вдоволь настрелявшись, Масельский уходил в командирский салон, запирался и плакал едкими пьяными слезами о прекрасной флотской службе, навеки закрывшейся для него. Из-за чего он должен сидеть на дурацкой речной посудине и возить штатскую сволочь? Из-за чепухи! Из-за того, что в роковой день, спьяна, не разглядел, что высокопоставленная дама перешла уже за возраст, в котором можно было принять лейтенантское предложение всерьез, и сочла его за дерзкую насмешку. Будь она помоложе — лейтенант вряд ли пострадал бы: мало ли какие дела делались моряками с высокопоставленными дамами.

Роскошный поход «Светланы» кончался, кочегары выгребали жар из топок, и яхта снова нудно гнила у стенки, а Масельский просиживал ночи за винтом в благородном собрании.

Глеб всегда захаживал во время отпусков к Масельскому, и обиженный судьбой командир «Светланы» гостеприимно встречал гардемарина. Масельский много плавал, был в двух дальних кампаниях и прошел с цусимской эскадрой ее путь. Он охотно рассказывал Глебу анекдоты прошлого, найдя в нем дружелюбного слушателя.

Глеб застал Масельского на борту. Командир весело приветствовал гостя.

— Ба-ба-ба!.. Почти готовый адмирал... Команда во фронт! Встреча с захождением! Каким ветром? Я пола-

гал, что вы носитесь по роскошным просторам Маркизовой лужи.

— Никак нет, господин лейтенант! Я плаваю у мамы в молочной реке с кисельными берегами. Хватит учебного отряда: я в отпуску.— Глеб всегда титуловал Масельского его бывшим званием, зная, что стареющему пьянице оно как струя меду.

Масельский подхватил Глеба под руку и увлек в салон.

— Как шикарно выглядим! Совсем мичман. Садитесь. Рому?.. Коньяку?

— Не могу отказаться. Коньяку.

— Тихон! — крикнул Масельский.— Бутылку нектара!

Вышколенный, как адмиральский вестовой, Тихон внес коньяк и нарезанный кружками лимон с сахарной пудрой. Масельский налил рюмки и чокнулся с Глебом.

— За три орла!..

— Чтоб наша их взяла,— весело ответил Глеб. Тост подразумевал адмиральские орлы на погонах.

— Что намерены делать дома, адмирал?

— Бездельничать, господин лейтенант. Вы можете роскошно помочь этому.

— Как? — спросил Масельский.

Глеб изложил дело.

— Берите, солнышко. Хоть саму «Светлану». По крайности, машинка прогреется, а то скоро и яхте и катеру геморройные шишки вырезать придется. Только не раскокайте катеришку.

— Ручаюсь, господин лейтенант.

— Я на всякий случай. Все-таки посудинка красного дерева. С кем отплываете?.. Одобряю. Был бы помоложе — навязался бы в компанию. Эх, девушки, девушки, бедовые головушки! — Масельский налил рюмки и хлопнул свою одним глотком.— Погулял и я в свое время. Не знаете, как Зиновей меня в тихоокеанском походе за девушек всей эскадре рекомендовал?

— Нет,— отрицательно повел головой Глеб.

— Это когда пришли мы в Носибей после трехмесячного мотанья по океану и нас из всех портов, как псину коростливую, гоняли. Ну, тут и дорвался я до берега. А дальше ни черта не помню. Очнулся на борту — башка трещит. Приходит Сашка Вырубов — потом погиб в бою,— запирает дверь. «Ну, натворил ты чудес, мосол!» А я только глазами хлопаю. И, оказывается, забрался я

в казино, прихватил двух мулаточек, проваландался всю ночь, а утром забрали меня на главной улице. Слева мулаточка, справа мулаточка, обе в чем мать родила, а я почти в полной парадной, по голому пузу перевязь и сабля волочится...

Глеб хохотал, отвалившись в кресло.

— Да,— продолжал Масельский с заблестевшими глазами,— Рожественский осатанел, как десять тайфунов. Утром приносят приказ по отряду. Тридцать суток ареста и сенсация: «Мичмана Масельского рассматриваю не как офицера, а как свинью, опозорившую честь русского флота». Любил старик выражаться. А какая там честь, когда с начала похода ее уже не было, а после и вовсе обделались, с Зиновеем во главе. Так-то, молодой адмирал!..

— Теперь такой штуки не выкинете,— сказал Глеб, вытирая выступившие от хохота слезы.

— Скучный у вас, молодежи, флот стал. Генмор, стратегия, доктрина. «Жомини да Жомини, а о водке ни полслова». А Руси веселие пити. Хлопнем еще по одной, адмирал?

— Благодарю, господин лейтенант. Не стоит — жара. Значит, «Орленка» можно брать?

— Милости прошу. Куда вам его подать?

— Если позволите, завтра к десяти, к Воронцовскому спуску.

— Сделано! Захаживайте, милорд, кланяйтесь девушкам.

Глеб вышел за ворота двора линейной дистанции. Две рюмки коньяку разморили его и растревожили.

Путь домой лежал мимо особняка Неймана. Эти два дня Глеб не виделся с Миррой. Он призвал на помощь всю гардемаринскую выдержку, чтобы подавить желание встретиться с девушкой.

«В чем дело, наконец? Девчурка как девчурка... Смазливенькая... нет, это неподходящее слово — несомненно, хороша. Что называется — a pretty girl[1]. Но что я у нее потерял? И к чему может привести эта история? Вскружу ей голову, сам свернусь, а дальше? Как ни верти — все же она еврейка. Не станет же она креститься ради меня да и что это исправит?.. А скомпрометировать девушку и самому влипнуть в историю — благодарю по-

[1] прелестная девушка *(англ.)*.

корпо! Узнают в Петербурге — пойдут такие разговорчики...»

Глеба передернуло, когда он представил себе гардемаринские разговорчики по поводу такого неслыханного скандала, как роман гардемарина императорского российского флота с еврейкой.

— Ка-а-ак? — спросит, подымая брови кверху, Бантыш-Каменский, блюститель светских законов и этики,— ж-жидовка? C'est ce qu'on appelle histoire! [1] Что же вы станете делать, cher [2] Алябьев? По субботам ходить с вашей дамой сердца в синагогу и душиться чесночной эссенцией?

В представлении Бантыш-Каменского допустим роман гардемарина с самоедкой, готтентоткой — даже с козой. Это, по крайней мере, можно оправдать извращенностью, высшей утонченностью, желанием изведать бездну. Но еврейка?! Это shocking... inconvenable [3]. Это выбрасывает человека за черту порядочного общества. Это выжигается на лбу позорным клеймом.

Глеб живо представил себе, как сжимается брезгливой гримасой рыбий рот Бантыша и перекашивается истасканное лицо фисташкового оттенка, с лакейски подрезанными бачками, и вдруг яростно вспылил и на Бантыша, и на себя, и на весь мир.

«Подумаешь тоже, дрянь аристократическая! Всему корпусу известно, что стащил у тетки из шкатулки бриллиантовые подвески. Родня замяла. И туда же, скотина, о чести, о порядочности. Онанист несчастный! Рад бы и с еврейкой роман завести, да с такой рожей даже прачки с Шестнадцатой линии не подпускают. Назло этому прохвосту врежусь».

В мыслях Глеба бушевал отчаянный сумбур. Он бросался от крайности к крайности. Обещание врезаться назло Бантышу было, пожалуй, только попыткой маскировать безнадежное поражение. В сущности, борьба была бесполезной. Глеб уже врезался, независимо от чего бы то ни было.

Подымаясь из порта в город, Глеб решал трудный вопрос: дать ли крюк и обойти к дому соседним переулком, минуя опасный особняк, или идти напрямик?

---

[1] Это, что называется, история! *(фр.)*.
[2] дорогой *(фр.)*.
[3] шокирующе... неприлично *(англ., фр.)*.

— Да что же это такое? — Глеб свирепо выругался.— Трушу по улице пройти? К черту! Пойду, и все!

Он решительно свернул на знакомую улицу. Он пройдет мимо,— совершенно независимо, даже не взглянув на окна. В конце концов, наплевать ему на все. Что такое будущему мичману какая-то провинциальная, хотя (берегись, Глеб!) и прелестная девушка. Вот уже крыльцо позади... вот последнее окно... Он и глаз не подымет.

— Глеб Николаевич!

Глеб стремительно вжал голову в плечи, как будто из окна его ошпарили кипятком. Если бы мог — спрятал бы голову под мышку, как страус. Главное — до чего неожиданно. Но раз влип — значит, влип.

Глеб повернулся к окну, чувствуя, как горит лицо.

— Мирра Григорьевна? — в голосе самое честное, самое добросовестное, непритворное удивление.

— Здравствуйте. Откуда вы?

— Добывал катер. Все в порядке. Выйдет прелестный шурум-бурум с ухой, самоваром, собственной яхтой «Штандарт» и прочими соблазнами. А вы что делаете на этом наблюдательном пункте?

— Ожидаю почтальона,— ответила она, кладя на подоконник раскрытую книгу.

— Читаете? Что? — спросил Глеб, постепенно возвращая себе уверенность и хладнокровие.

— Бунин... «Тень птицы».

— Нравится?

— Прекрасная повесть... Что же вы стоите под окном? Заходите...

«Новое дело!.. Только этого не хватало! Он, Глеб Алябьев, в доме «Export office G. Neiman»?

Глеб тревожно оглянулся, словно ждал, что из-за угла выйдет Бантыш-Каменский.

Но улыбка в окне была так ласкова и ясна.

— А не помешаю вам? — последний шанс на бегство.

— Что вы? Я буду очень рада. Идите к парадному, я открою.

Изнутри звякнула дверная цепочка. Мирра открыла дверь. Перед Глебом лежал Рубикон. Рубиконом был обитый ярко надраенной медью порог парадной двери. Неужели река, которую перешагнул в рискованном дерзновении римский диктатор, была такой же узенькой, дрянной, медно поблескивающей речонкой? Но, alea

jacta est!..[1] Глеб перешагнул порог и поцеловал маленькую смуглую руку.

— Кладите фуражку... У вас совсем мокрый лоб. Устали? Такая жара. Пойдем ко мне в комнату — там прохладно.

Следуя за Миррой через квартиру, Глеб с удовлетворением отметил, что G. Neiman сумел убрать свой особняк с достаточным вкусом. Мебель была отличная, строгая, ничего яркого, режущего глаз. В темной столовой тяжелый старый дуб, почернелый от времени.

— Это все брат устраивал,— сказала Мирра, угадывая мысль Глеба.— Он большой любитель старинной мебели.

— А где ваш брат?

— В Петербурге. Адвокат... Я у него и буду жить.

В комнате девушки были опущены зеленые жалюзи. От них комната стала зеленоватой, будто погруженной под воду. Горизонтальные тени полосок жалюзи ложились на блеклые кремовые обои. Шмелем жужжал вентилятор, слив крылья в серебряный трепещущий диск. За японской ширмой белела узкая кровать. На угловом диване пестрели подушки. Белым лаком отсвечивал рояль. Взыскательный взгляд Глеба не нашел и здесь ничего, компрометирующего дом. Комната была вкусной и отличной — в Петербурге не постыдились бы такой. Ничего лишнего, и в самом воздухе чистый, обжигающий холодок девичества — тот же, что в хозяйке.

— Садитесь, Глеб Николаевич.

— Mersi... Не беспокойтесь.

Глеб подошел к роялю и стал перебирать горку нот.

— Вы играете, Глеб Николаевич?

Глеб любил музыку и играл хорошо. В корпусе, в свободное от репетиций время, забирался в музыкальную и часами играл в одиночестве. На людях играть не любил, отказывался.

— Немного играю.

— Сыграйте.

— Знаете,— просто и искренне сказал Глеб,— я почему-то боюсь играть, когда меня слушают. Странное ощущение: слушаешь за себя и стараешься слушать за тех, кому играешь. От этого, во-первых, раздваиваешься, а во-вторых, начинаешь тревожиться — нравится ли слушающим твоя игра, не надоела ли?

---

[1] жребий брошен!.. *(лат.)*

— Ну, как можно? Я не знаю, как бы я жила без музыки. Вам это непонятно — вы приезжаете теперь на короткое время. А музыка для меня единственная настоящая радость дома.

Глеб продолжал перебирать ноты.

«Полонез»... На титульном листе, в овальной рамке, пухлое лицо в круглых очках. Шуберт.

— Вы любите Шуберта?

Глеб терпеть не мог Шуберта. Даже в лице композитора было что-то неприятное. Эта вскипутая, приподнятая высокими воротничками голова с тупым носом, парикмахерские сосульки баков, полное довольство собственной персоной. Так выглядят добродетельные немецкие филистеры, любящие пошуметь в воскресенье, за кружкой мартовского. И музыка тарахтящая, однообразная, бездушная.

— Гадость! Барабанщик!

— Как? — Мирра засмеялась.— За что вы его? Несчастный Шуберт!

— Серьезно. Отвратительный композитор! Мне он напоминает карусельный орган. Вертится вокруг оси и приправляет собственный шум барабаном.

Глеб перевернул еще несколько тетрадей.

Ludwig van Beethoven. Son. № 23. Op. 57.

Это другое дело. Это не Шуберт. «Appassionat'у» стоило сыграть в волнующем подводном сумраке этой комнаты, сыграть для девушки, которая так завладела мыслями. Разве есть еще в музыке что-нибудь, равное этой песне страсти, влитой «неистовым Людвигом» в такую изумительную форму?

Глеб раскрыл ноты и придвинул табурет.

— Что это?

— Не скажу. Узнайте сами.

Глеб дотронулся до клавишей. Рояль звучал отлично — ясно, звонко, мощно. Он был инструментом, достойным композитора. Глеб заиграл.

Под точными клевками пальцев медленными, сдержанными, почти суровыми всплесками вступала и разрасталась главная тема, как несмелый еще голос, уже захваченный, пронизанный страстью, но еще не нашедший силы для ее выражения.

Комната и все в ней как будто еще глубже ушло под зеленую толщу воды.

Глеб забвенно уплывал в звенящие волны сонаты.

Какая нужна была нечеловеческая мощь вдохновения, чтобы создать такую гармонию? На какой недосягаемой высоте стоял над своим временем ее творец! Как буйно опрокидывал он массивные камни классики, с какой неудержимой яростью ломал клетки традиций! Уже в конце жизни, после «Лунной», «Патетической», «Appassionat'ы» — раздавленный катастрофой, глухой, умирающий, но непобежденный, он написал однажды клавир, который нельзя было исполнить на инструменте его времени. Озарением таланта он провидел будущее музыки, предсказал современный рояль с его неограниченными возможностями.

Глеба глубоко волновал финал «Appassionat'ы». Вопреки всем канонам своей эпохи, вразрез законам классической композиции, «неистовый Людвиг» позволил себе в нем дерзость бунтарского новаторства. В повторяемые аккорды темы вдруг врывался, как порыв горячего ветра, совсем новый ритм, кусок мелодии, таинственно возникший из другого мира, и так же внезапно исчезал из музыкального хода. Как будто, в страстном исступлении, человеку не хватило слов земного языка и он вдохновенно заговорил на освоенном силой чувства бесплотном языке иной планеты. Это место сонаты заставляло Глеба всегда испытывать странный, леденящий холод общения с мертвым гением.

Пальцы в последний раз тронули клавиши. Звук медленно затихал в углах, гудя. Глеб вздохнул, поднял голову.

Перед ним, над белым льдом рояльной крышки, совсем близко было лицо Мирры. Неправильное, трогательное своей неправильностью, прелестное даже робким узором маленьких веснушек. С этого лица смотрели на него громадные, заслонившие всю комнату глаза, переполненные волнением. Они говорили... они говорили слишком ясно.

Поднятая, чтобы захлопнуть крышку рояля, рука Глеба повисла в воздухе.

Сколько времени это продолжалось — Глеб и позже не мог дать себе отчета. Но молчать становилось невозможно, а порвать эту тишину было страшно... Хлынет вихрь... взорвется сердце, и всё — стены, земля, мир — вспыхнут и полетят в бешеном кружении, в щемящей сладости, в буре...

Шестым чувством, помимо сознания, Глеб услыхал ворвавшийся посторонний звук и насторожился. Кажется, стучат в дверь. Мирра не шевелилась. Стук повторился.

— Мирра Григорьевна,— сказал Глеб, возвращаясь в действительность,— стучат...

— Что?

Свет в глазах погас. Девушка быстро поднялась и потерла ладонь о ладонь, как от внезапного озноба.

— Войдите!

В комнату уверенно вкатился кругленький человек, блестя лысиной. Живые острые глазки тонули в красном мясе щек. На человеке болтался мешковатый чесучовый костюм, через жилет, свисая, тянулась тонкая анкерная цепочка.

Глеб встал, складывая ноты.

— Иду себе мимо, слушаю, кто-то играет на рояле. Думаю, кто это? — сказал человек скороговоркой и взглянул на Глеба весело и хитровато.

— Папа, познакомься. Глеб Николаевич Алябьев.

Человек, мелко семеня ножками, докатился до Глеба и схватил его за руку:

— Здравствуйте... здравствуйте, молодой человек! Это ваш папаша — директор гимназии? А!.. Знаю. Я с ним имел дело на муке для гимназического пансиона.

Пол зашатался под Глебом. Проклятие!.. Что такое? Какой он молодой человек, он, завтрашний офицер?! Какая, черт подери, мука? При чем мука? Что он — мукой торговать собирается, что ли? Что делать?

Но Г. М. Нейман не заметил судороги, исковеркавшей лицо будущего мичмана.

Так же катясь на коротких ножках, он очутился у рояля и с ласковой деловитостью похлопал ладошкой по его сверкающей поверхности.

— Хороший инструмент!.. «Эрар». Что вы думаете? Купил в Одессе у княгини Трубецкой. Княгиня немножко промахнулась на виноградниках. Зачем князьям заниматься виноградниками, когда банк не дает ссуды? Я купил для Миррочки. Разве жаль?

Глеб остолбенело смотрел на Г. М. Неймана, как кролик на внезапно свалившегося с ветки огромного удава. Что он, с ума сошел, этот маклеришка? Как он смеет так говорить об одной из лучших фамилий России?!

Не находя слов для ответа, Глеб резко повернулся и схватил с рояля лежавшую на крышке книгу в красном переплете, раскрыл ее.

«Спросить о чем-нибудь у Мирры, перевести разговор, иначе...»

Но Г. М. Нейман, увидев книжку в руках гардемарина (это был Киплинг на английском языке), с открытым сердцем доброго отца, обожающего свое дитя, выпалил!

— Это Мирочкина... Когда учился Сема, так я еще не мог ему устроить. Я еще бился как рыба об лед. Что вы думаете? А Мирочка живет, как королева. Хочет музыку — на тебе профессора консерватории. Хочет английский — пожалуйста... Разве жаль для ребенка?

«Куда бы провалиться?»

Глеб взглянул под ноги на отличный багряный йомуд, застилавший пол, но плотная ткань ковра не хотела расступаться. Из полумглы комнаты, дико распухая и щерясь скверными зубами, на Глеба поползла хохочущая образина Бантыш-Каменского.

«Ужас!.. Кошмар!..— Глеб мучительно затоптался на месте.— Немедленно бежать! Но как?»

После Бетховена, после переполнивших его восторгом глаз, незабываемых и пьянящих, как весенняя гроза,— это чудовище! Глеб терял способность соображать.

— Папа, не болтай... Ты помешал Глебу Николаевичу играть.

Голос Мирры как будто дошел издалека, ломкий, жалкий, умоляющий о пощаде.

— Ой, прости, Мирочка! Что вы думаете? Я так забежал, по дороге... До свиданья, молодой человек. Кланяйтесь папаше.

Г. М. Нейман исчез с той же уверенной быстротой, с которой вкатился к дочери. Глеб мотнул головой, как оглушенный обухом бык, стряхивая страшный сон.

— Мне пора домой, Мирра Григорьевна.

Он взял похолодевшую руку девушки и пожал, не целуя. Встретил затаившийся, сухой, замкнутый взгляд. Ясно было — она все поняла. Что-то дрогнуло в груди Глеба, но он сдержался. Нужно было уходить. Все равно нужно было уходить.

— Я провожу вас,— сухо сказала Мирра.

В передней она остановилась у двери. Глеб заметил, как трудно и часто она дышит,— ей не хватало воздуха. Глеб замялся, открыл рот.

— Не говорите ничего, Глеб Николаевич...— Это было почти приказание.

— До свиданья. Завтра в десять у Лихачевых сбор,— сказал Глеб, чтобы что-нибудь сказать.

С коротким кивком она гулко захлопнула дверь перед Глебом.

Дома к обеду Глеб вышел злой, напитанный ядом. За столом отпустил матери несколько совершенно беспричинных колкостей. Это было настолько необычно для него, что Николай Сергеевич беспокойно взглянул на сына и покачал головой.

— Глеб! С мамой можно разговаривать приличней. Что с тобой?

Тогда Глеб сорвался, не доев сладкого, и, злобно хлопнув дверью комнаты, заперся на ключ. Там он лег ничком на диван и пролежал, упорно глядя в стенку, до вечера. Разлетайки бровей сходились и расходились, странные и непривычные думы морщили безмятежный юношеский лоб.

* * *

В половине десятого утра Глеб уже был на пристани. Вплавленный в золотую воду реки катер слепил глаза отшлифованной медью трубы. Глеб сел на скамью набережной, от нечего делать перебрасываясь словами с машинистом, копавшимся в топке... Полчаса... три четверти — никто не появлялся со стороны спуска.

«Пойду навстречу... Что же они опаздывают?»

Но едва Глеб поднялся, из-за деревьев появились подъезжающие экипажи с молодежью.

— Почтенные джентльмены и прекрасные леди! — встретил Глеб подходящих.— Аккуратность не входит в число ваших добродетелей. Я испекся на солнце, как картофель в мундире.

И, еще не получив ответа, заметил, что среди приехавших нет Кати Лихачевой и Мирры. Стало не по себе.

— А где же Катя?

Нарочно — только о Кате. Не нужно показывать, что тревожит отсутствие Мирры.

Ответили сразу несколько голосов:

— Катя с Бартельсом пошли вытащить Мирру.

— Она не хотела ехать.

— Ей нездоровится...

Матрос катера принимал принесенные лихачевской прислугой корзинки с продовольствием. Девушки, подбирая платья, ахая, прыгали вниз, подхватываемые Глебом, рассаживались.

— Прикажете отваливать, господин ардимарин? — высунул голову из люка машинист.

— Погоди, братец. Еще не все.

Глеб искоса наблюдал за набережной. «Неужели это вчерашнее? Но стоило ли обращать внимание?» Позлившись у себя в комнате, больше всего на самого себя, Глеб к вечеру совсем развеселился. В конце концов, не виновата же Мирра в том, что у нее такой чудовищный родитель. А вот он вел себя, как дурак. Неужели нельзя было сохранить выдержку и уйти так, чтобы не обидеть девушку? А у него был, очевидно, такой идиотски растерянный вид, что она все поняла. Зачем? Просто он не пошел бы больше в дом, вот и все. А теперь как неприятно.

— Идут.

Глеб вскипулся. По краю набережной шли обе девушки и за ними Бартельс в широчайших кремовых брюках и панаме. Значит, все же Мирра едет. Глеб дружелюбно встретил даже кладбищенского стихоплета, потому что он пришел с Миррой.

— Понимаете,— тараторила еще издали Лихачева,— приходим, а она лежит с компрессом... Ни в какую!.. «Не поеду...» — Да что с тобой?..— «Малярия, мигрень...» Только подумайте. Смешно! Что же, на воздухе хуже? Такая дивная прогулка — и капризы. Только тем и уломали, что Бартельс пригрозил остаться и стихи читать. Привели на веревочке...

Глеб подал руку Лихачевой, помогая сойти, и услышал, как рядом легко спрыгнула Мирра, отказавшись от помощи.

«Не хочет... Значит, из-за меня».

Глеб сумрачно проследил за девушкой, забравшейся в глубь каретки, к стенке, соприкасавшейся с машиной. Мирра была бледна, глаза завалились, припухли.

— Мирра Григорьевна,— неуверенно сказал Глеб, когда катер уже отвалил.— Вы напрасно сели там, если у вас болит голова. Там будет очень душно, и стучит машина.

— Вы очень любезны, но мне здесь отлично.

«Не смотрит... Даже не повернула головы... Ну и не нужно! — Глеб злобно рванул ручки штурвальчика.— Не

надо!» Но подумать это было легко — принять трудно. Всю дорогу до Канцуровки Глеб каменно молчал. На какой-то вопрос Вари Писаревой сухо оборвал:

— Простите, я не могу отрываться от управления.

Как будто управлял не игрушечным катером на огромной полноводной реке, где можно было спать на штурвале, а проводил коварный и рыскливый миноносец по узкому фарватеру шхер.

В Канцуровке, когда в ожидании завтрака все разбежались по саду, оживляя тропинки смехом и беготней, Глеб остался на террасе. Из ремонтирующегося дома пахло краской и известью, стучали молотки. Старая экономка Федоровна, давняя приятельница Глеба, готовила стол и наблюдала, как он курил папироску за папиросой, швыряя окурки под ноги.

— А ты чего сычом сидишь?.. Молодой ведь. Гляди, сколько невест, а ты табачищем себя прованиваешь. Шел бы в горелки играть.

— Отстань, Федоровна! Не хочу,— буркнул Глеб.

— Не хочу... Гляди, пропехочешься — вот век бобылем и скоротаешь.

Глеб засмеялся.

— Не бойся, Федоровна! На мой век хватит. Вот к тебе присватаюсь.

— Тьфу. Пойду я за тебя, шалого! — озлилась Федоровна.

На террасу ворвалась возбужденная, раскрасневшаяся гурьба с полными руками цветов. Глеб с тайной радостью увидел, что Мирра ожила. Но, как и прежде, прошла мимо него, как мимо пустого места, и за завтраком села в другом конце стола.

После завтрака «Орленок» пересек реку и высадил всех на остров. Глеб задержался на борту, отдавая распоряжения машинисту, но, разговаривая с ним, одним глазом следил за мелькающим между деревьев белым платьем в узких сиреневых полосках.

— Девочки!.. Купаться! В «Биарриц».

«Биаррицем» издавна называлась песчаная коса в верхней оконечности острова. Через широкую отмель перекатывалась неглубокая теплая вода, и коса была излюбленным местом купанья.

— Мужчины — на правую сторону, девушки — на левую! — командовала Катя.— Миррочка, идем!

— Я не буду,— услышал Глеб,— у меня малярия.

Смех убежавших купаться стих за ивами. Глеб спрыгнул в мягкий влажный песок и пошел туда, где скрылось белое в сиреневых полосках платье.

Он увидел девушку на другой стороне дымной от зноя прогалинки. Мирра стояла спиной к нему. Тихо ступая по траве, Глеб подошел вплотную. Девушка покусывала стебель травинки. На ее затылке пылали под солнцем пушистые завитки.

— Мирра Григорьевна! — тихо сказал Глеб.

Она быстро обернулась,— подняла руки, как будто хотела оттолкнуть Глеба.

— Что вам нужно?

— Мирра Григорьевна... Чем я заслужил это?

От нежданной обиды у Глеба сорвался голос. Мирра холодно, отчужденно смотрела на него. Потом это напряженное озлобление точно сразу подсеклось, плечи поникли.

— Что вы хотите, Глеб Николаевич?

— Я хочу знать... в чем я виновен?.. Ваше отношение ко мне сегодня...

Не подымая головы, девушка ответила:

— Хорошо... Давайте поговорим, Глеб Николаевич. Пойдемте!

Несколько минут она продолжала жевать травинку, потом нервно отбросила ее.

— Давайте поговорим... Ваше вчерашнее бегство...

— Мирра Григорьевна! — прервал Глеб.

— Ах, погодите же, не мешайте... иначе я собьюсь, запутаюсь... Я не умею говорить. Пожалейте меня.

Глеб понял, что еще слово с его стороны — и она заплачет.

— Ваше вчерашнее бегство... как оскорбительно... Ведь я все поняла, Глеб Николаевич... Все. Каждую вашу мысль читала... После музыки... вы так необыкновенно сильно сыграли Бетховена... У меня были страшно обострены нервы... Ах, все это не то... не об этом. Я могу повторить все, что вы думали... Все ясно. Положение действительно неудобное... Безукоризненный отпрыск русского дворянства... нет же, даю слово, это не насмешка, это же так... словом, воспитанный русский юноша в доме... в доме, который, с точки зрения его круга, скажем, полуприличен... зайти можно, но рискованно для порядочного человека, как в... трактир.

— Ради бога, Мирра Григорьевна! — отчаянно воскликнул Глеб. Кровь хлынула ему в лицо.

— Не перебивайте же... Разве я не знаю... Всю жизнь испытывать это... каждый час... Разве не испытываем этого все мы... евреи. Отрезанность... чувство гетто,— вы не поймете! Народ, загнанный за решетку, а кругом кипение ненависти, презрения, брезгливости... Почему я сегодня здесь, с вами... с Лихачевыми? Не знаете? Конечно... Потому, что у отца сейфы в банке... Лихачеву нужно затыкать дыры в этом имении...— (взмахом руки она показала на Канцуровский дом, белеющий на другом берегу),— он берет деньги у Неймана... я рано узнала эту прозу... и Нейман гордится... Услуга, дружеская услуга помещику... бывшему гвардейцу. Может быть, Лихачев заступится перед полицией... Если бы не такой отец — меня на кухню к Лихачевым не пустили бы... Почему я все же бываю у них? Глеб Николаевич, мне иногда странно входить в этот дом... как вам вчера — в мой. Просыпается тысячелетняя горькая обида моей нации... убежать навсегда. Но в этой тусклой провинции, где еще я могу послушать, хоть и чужая, музыку, пение... увидеть людей, живущих этим... мимолетных наших гостей. Я не могу... не хочу прозябать в обывательском сне... Я найду все, что мне нужно, в Петербурге у брата... но здесь... Понимаете ли вы меня?

— Понимаю.— Глеб угрюмо смотрел на носки своих туфель.

— У Лихачевых я встретила вас... так тепло, по-человечески встретились... Я на мгновение забыла... какая пропасть. Просто человек и человек.

— Но поверьте, Мирра Григорьевна!

— Не нужно... не говорите неправды... Я не обвиняю... как обвинять вас?.. Что делать? В каждой русской семье... самой интеллигентной, передовой, таится непреодолимое, стихийное пренебрежение к еврейству... к еврею... Это с материнским молоком входит в кровь. Разве не правда? Ваш отец, Николай Сергеевич... О нем с каким уважением говорят евреи!.. В пятом году он прятал в гимназии сотни обреченных... может быть, рисковал жизнью... карьерой. И все-таки он говорит с моим отцом как с низшим... презирает нас. Разве не так?

Подавленный Глеб ясно вспомнил, что отец, в самом деле много сделавший в дни погромов для евреев, искренне возмущавшийся черносотенщиной, в то же время в

разговорах спокойно говорил, упоминая о евреях, слова: «жид», «жидок», без всякой злобы, а просто так, по привычке. И это было до того естественно, что Глебу не приходило в голову задумываться над таким противоречием. И сам машинально перенял от отца эту же привычку. До чего странно!

— А подумайте,— продолжала девушка,— в среде, в которую вы войдете завтра полноправным членом... в офицерстве. Там еврей — все равно, что изменник... предатель... преступник. Да там и слова такого нет... Жид... наравне с собакой. «Убить, как собаку... убить, как жида». Еврей — это грязь, бесчестие... Вчера пред нашей дверью у вас были испуганные глаза... а разве вы трус? Но вы думали: «что скажут, если узнают? Потомственный дворянин... без пяти минут офицер,— в доме еврейского торгаша... Какой ужас!..» Подумали ведь? Скажите... Я не сержусь, но ведь так? Подумали?

Глеб рванул зубами нижнюю губу. Остров, зелень, солнце — все потускнело. Но он не мог лгать. Взгляд в упор требовал правды.

— П-подумал,— в припадке мужества выжал он.

— Ну, видите,— Мирра почти весело улыбнулась.— Я же говорю, что читала ваши мысли. Вы колебались, но все же решились... Даже были поражены... В еврейском доме все похоже на человеческое жилье.

— Мирра Григорьевна!.. Теперь вы пощадите меня. Мне очень тяжело.

— А мне разве не тяжело, Глеб Николаевич?

Она замолчала, словно обуздывая волнение и гнев. Продолжала, уже гораздо спокойнее.

— Мне было очень приятно встречаться с вами. Тем больнее стало вчера. Но я не виню вас. Если бы я не чувствовала, что вам можно сказать все,— я не промолвила бы с вами больше ни одного слова. Вы шли по течению... слепым путем традиций... Думаете, у нас их нет?.. Может быть, больше всего нелепых традиций у нас, и мы страдаем оттого, что не можем переступить через них. Мы глупо и слепо привязаны к нашей проклятой истории... Я думаю, что у вас традиции — только поверхностный налет, и вы достаточно умны, чтобы понять, и с достаточной волей, чтобы поступать не как все... Иначе я не говорила бы... Вчера вас чуть не до обморока фраппировал мой отец. Я видела, как у вас дергалось лицо и земля горела под ногами... Вас — юношу из хорошей семьи, воспитан-

ного во всех правилах хорошего тона, назвали фамильярно «молодым человеком»... Упоминали о какой-то муке́, вам, которому никогда не придется иметь дела с такими прозаическими грязными вещами, как купля, продажа... вексель...

— Вексель — самая знакомая вещь для уважающего себя мичмана,— похоронно скаламбурил Глеб, пытаясь хоть шуткой побороть ощущение собственной раздавленности.

— Ну, акция... закладная... все равно... Вы были убиты... скандализованы. Вы не знали, куда деваться. Но, поверьте, я часто испытываю очень тягостное ощущение в присутствии отца... Мы говорим на разных языках... Ни у одного народа провал между отцами и детьми не бывает таким бездонным, как у нас. Знаете почему? Настойчивостью, хитростью, неразборчивостью, порой прямой бесчестностью (в такие условия мы поставлены) один на сотню мелких ремесленников, лавочников прорывается к золоту... Но за золото он платит страшно... Он стремится дать образование детям. После денег образование для нас — лучший паспорт на вход в жизнь... И дети вырастают... начинают ненавидеть создателя семейного благополучия, как дикаря... невежду, позорящего их преображенную жизнь. Зачастую они начинают ненавидеть его, как хищника, как эксплуататора, паука. Таким его показывают родным детям книги. Вам это чуждо, Глеб Николаевич, но это так. Мой отец учился на счет общины в религиозной школе. Вынес знание талмуда и арифметики ровно настолько, чтобы уметь обсчитать на три копейки. А мой брат уже окончил университет. Я поеду на курсы. Что же остается общего между нами, кроме кровной связи? Мы рвем с родителями, как уже порвал брат, как вскоре, верно, порву и я. Вас приучают к преемственности поколений, вы как святыню бережете каждое предание семьи... А мы часто стремимся забыть своих предков. Вам трудно понять, что у нас каждое новое поколение зачастую становится родоначальником новой ветви... И это наше счастье... Вчера, вы ушли,— я промучилась до утра. Не знала, что сделать. Или никогда не видеть больше, или все сказать. Решила сказать... Не знаю — нужно ли?

Мирра смолкла. Глеб, оглянувшись, сообразил, что они вышли уже на нижний конец острова, далеко уйдя от остальных. Нервничая, девушка во время разговора шла

быстро, и оба не заметили расстояния. Река за островом текла медленно, истомленная зноем. Духота нависала над ней. Из-за заречья темно-сизым голубиным наволоком накатывалась туча.

Мирра устало опустилась на ивовый комель.

— Какая духота!..— Она дотронулась рукой до горла.— И комок тут... мешает дышать.

— Хотите воды?

— Да... Но во что? У нас же ничего нет.

Глеб замялся.

— Если хотите, я могу набрать чехлом фуражки... Это просто... чехол чистый.

Не ожидая ответа, он сорвал чехол с фуражки и, подойдя к берегу, доверху наполнил его. Побежал обратно, проливая воду на ноги. Мирра жадно выпила. Сизый наволок тучи закрывал уже полнеба.

— Пойдем обратно,— сказала девушка.— Видите?.. Нас зальет.

— Одну минутку, Мирра Григорьевна,— попросил Глеб, садясь в траву у ног девушки.

Ему трудно было начать. Мирра вопросительно смотрела сверху.

— Я осел, Мирра Григорьевна,— сказал он наконец твердо и яростно.— Был, помню, такой день, когда боцман Грицук впервые доверил мне самостоятельно завязать конец талей у шлюпбалки. Это было три года назад. Я накрутил узел, который мне показался настоящим хорошим узлом. Вернулся Грицук, взглянул на узел, на меня и... отделал же он меня за этот узел. Так спокойно, не повышая голоса, высек, но я никогда этого урока не забуду, не забуду его тона. «И чим там, прости боже, думают у вас у корпуси? Учать, учать — деньги тратять, а оно не може в толк узять, як узлы вяжуть».

Мирра улыбнулась.

— Сегодня я вспомнил Грицука. Второй урок... Такой же. Вам, наверное, покажется диким, что я никогда не думал о том, что услышал от вас. Да что — я вообще ни о чем не думал: жил, как растет вот эта трава. Если и думал, то только о своем удовольствии и безмятежности. Мне никогда не приходило в голову, что многое вокруг, вероятно, сложно и трудно. Что мне? Меня кормят, учат, одевают, родные присылают мне деньги на булавки — вот и жизнь... Учат для определенного назначения — защищать родину. Это прекрасно!.. Я люблю роди-

ну, Россию и буду, вероятно, хорошим офицером. И мне казалось, это — все, а остальное не мое дело. Вы правы: в корпусе каждый день кругом анекдоты, слово «жид» не сходит с губ гардемаринов. И я принимал это, как то, что каждый день нам дают булку к чаю. Задуматься над этим? Никогда в голову не приходило. Вы, действительно, угадали все мои вчерашние мысли... Вчера же, у себя в комнате, я пытался объяснить себе — в чем, собственно, дело? Почему русские? Почему евреи? Но у меня в мозгах туман. Ведь я же... ведь вы...— Глеб запутался в словах.— Ну просто я вижу, что вы замечательная, хорошая... вы вдесятеро умней и лучше меня. При чем же здесь ваша, моя... национальность?.. Ничего не понимаю. Что за вздор... разве вы стали бы лучше, если бы были русской? Вы и так лучше... Как я ни наивен, но ведь мне в голову не придет сравнивать с вами болтушку Катю, пустую кокетку Кавелину. В чем же дело? Ф-фу, как это сложно! Насколько вы взрослее меня, и какой я мальчишка!

— Я знаю, что я взрослее вас,— задумчиво сказала Мирра,— мы быстро старимся от обид и боли.

— Я не хочу, чтобы вам было больно. Простите меня, Мирра Григорьевна! И, если можно,— навсегда зачеркните вчерашнее.

Глеб поцеловал по очереди опущенные руки девушки. Она тревожно взглянула наверх. Рваные края тучи висели уже над головой. Темнело. Мирра встала.

— Все зачеркнуто, Глеб Николаевич. Идем скорее.

Они быстро пошли назад. Но уже на половине дороги сверху тяжело упали первые капли ливня. Глеб оглянулся. Брызнула молния. Увесистое чугунное ядро, грохоча, прокатилось по серо-стальным выпуклостям тучи.

— Мирра Григорьевна!.. Бегом. До катера уже недалеко.

Высокая осока мешала бежать, сочные стебли ее спутывали ноги. Крупные капли хлестали в лицо. Мирра споткнулась.

— Не могу... Трудно.

Ливень словно ждал этой остановки. С шипящим шумом он сорвался, неистовый, частый, теплый. Деревья сразу исчезли за мечущейся серебряной сетью. Мирра закрыла лицо. Тогда Глеб, не спрашивая, схватил на руки легкое тело.

— Держитесь... Добежим.

Он рванулся, преодолевая сопротивление травы и ливня. Китель, брюки мгновенно напитались водой, отяжелели, облепили тяжелыми пластами. Жмурясь от водяных плетей, Глеб бежал напрямик, инстинктом сохраняя направление на стоянку катера. На руках теплело припикшее тело испуганной девушки.

Глеб задыхался, но упрямо продолжал бежать, больше всего боясь уронить свою ношу. Через минуту сквозь пляшущую дождевую стену блеснула труба «Орленка». Из последних сил Глеб добежал до берега, спрыгнул на песок. С катера протянулись руки матроса, подхватывая Мирру.

— Где вы были? Вот безумные! — кричала из глубины каретки Катя Лихачева.— Вы думаете о чем-нибудь, Глеб? Ведь вы простудите ее насмерть. Кутайте, кутайте в пальто!

Глеб вскочил на борт. Вода потоками текла с него. Но было странно весело. Он встряхнулся, схватился за штурвальчик и крикнул:

— Полный!.. Жми вовсю!

Катер быстро побежал к нагорному берегу. Глеб стоял на палубе, отказавшись от поданного матросом дождевика. Этот горячий радующий ливень — что он ему! Он только освежал и веселил. Натруженное бегом огромное сердце клокотало в такт железному стрекоту машины.

* * *

В этой простой, маленькой, но очень существенной главке, в которой после грозы, после ливня должно быть много солнца, света, сияния, которая должна залить всю землю золотым блеском июльского вечера,— автор вынужден изменить самому себе, предать свои убеждения.

Отказываясь от трезвого реализма, от материалистического восприятия явлений, автор бросается в фантастический мир иллюзорности, символов, галлюцинаций, вводит в спокойное русло повествования тревожную струю видений, призраков, снов. Но это будет единственный раз в романе.

. . . .

Блаженный бесплотный дух счастливо блуждал по тропинкам очарованного волшебного сада. Сад был похож на земной, если бы все в нем — краски, запахи, звуки не

были бы так беспредельно, так дерзко преувеличены, гипертрофированы.

Листья деревьев были громадны, блестящи, покрыты сверкающей зеленой эмалью. В чашечках невиданных цветов, раскрывающихся, как фарфоровые вазы, горели бриллианты. С ветвей свисали ярко-алые плоды величиной с голову ребенка. Птицы радужной окраски носились с гармоничными криками в горящем небе. Изумрудно пылала трава, дорожки волшебного сада были усыпаны золотым песком и янтарем.

Блаженный дух беззаботно переходил от дерева к дереву. За руками его вздымались широкие, шуршащие золотистые крылья. Пухлые белые облака, колеблясь, обвивали его ноги, несли его над землей.

Он напевал чудесную мелодию, он срывал тяжелые плоды и наслаждался ими. Красная тугая мякоть, прокусываемая зубами, истекала сладким, живительным соком.

Он набрал полные руки плодов, без страха пользуясь неистощимым плодородием сада. Но, за поворотом тропинки, он нежданно наткнулся на фею, владетельницу сада. В широком одеянии, сотканном из ярчайших цветов, она воздушно плыла навстречу пришельцу.

Увидев ее, блаженный дух вздрогнул, золотистые крылья взвились, и он ринулся в бегство. Но облака, обвивавшие ноги, погубили его. Он запутался в них и повалился на тропинку...

Падая, он судорожно прижимал к груди сорванные им плоды и свалился на них.

Фея — владетельница сада вскинула руки, села в траву и...— разразилась неудержимым хохотом.

Глеб стремительно вскочил. Пытаться опять спастись бегством было нелепо.

Все равно уже попался. Раздавленные при падении черешни испятнали красным соком его грудь и руки. Он стоял, растопырив пальцы, красный сам, сконфуженно смотря на хохочущую Мирру...

— Я... я не могу, Глеб Николаевич!.. Если б... ха-ха-ха! Если б вы... ха-ха!.. знали... видели, на кого вы похожи!

— Вам смешно,— мрачно проворчал Глеб.— Проклятая Федоровна! Не могла найти никакого другого костюма... Черт знает что!.. Да не смотрите, ради аллаха, на меня.

Он отчаянно запахнул длиннейший и широчайший дьяконский чесучовый подрясник, которым наградила его Федоровна, взамен промоченного ливнем кителя, и попытался скрыться в тень дерева. Но волочащиеся по земле коломянковые штаны мешали ему двигаться, и он разъяренно заплясал на месте.

Черт знает какая история!.. Предстать перед девушкой, в которую влюблен (конечно, влюблен; что уж скрывать), в таком идиотском виде! Он нарочно ушел, переодевшись, в самую глубь сада, где рассчитывал спрятаться от всех, пока Федоровна не приведет в порядок изуродованный костюм. И все-таки Мирра нашла его.

«Нашла?.. Значит, искала? Значит, сама хотела встретиться?» Глеб вздохнул и взглянул на девушку.

Ведь вот хорошо женщинам! Что не наденъ — не будешь смешной. Даже в цветистом ситцевом капоте Федоровны, таком же широком, как проклятый подрясник, Мирра обаятельна, как всегда. А он? Ясно, что она хохочет.

— Не смущайтесь, Глеб Николаевич. Вы очень милы в этом наряде,— сказала Мирра, подымаясь с травы, подбирая полы капота, как бальный шлейф.— По-моему, вы в нем лучше, чем в форме. В кителе у вас слишком суровый вид, вы как будто закованы в белую броню. А так — совсем хорошо... Шальной мальчик!

Она села на скамью.

— Нарвите мне черешен... Какие огромные!

Глеб опять нарвал полные горсти черешен и, высыпав их на колени девушке, сел рядом.

— Кормите меня. Мне лень.

Глеб стал брать черешни за хвостики, поднося их ко рту девушки. Она мягко хватала их губами. Глеб начал дразнить ее, отдергивая руку. Он увлекся этой заманчивой игрой.

Сквозь листву на скамью лился апельсинный свет заката, трава свежо пахла росой, в ветках пронзительно кликушествовала какая-то птичка.

Потянувшись за черешней, Мирра прислонилась плечом к плечу Глеба. Сквозь ситец он ощутил его нежную теплоту и вспомнил, как легко лежало на его руках это тело, когда, проламывая шумящую стену дождя, он бежал к катеру. От этого воспоминания стало радостно.

Улыбаясь, он раскачивал в пальцах черешневую

сережку над тянущимися к ней губами девушки. Губы были свежие и розовые, как черешня.

Черешня была соблазном для губ Мирры,— эти губы были соблазном для Глеба.

Черешня качалась все ближе над губами, голова Глеба клонилась к губам, как черешня. И, неожиданно, черешня вылетела из пальцев Глеба, а протянутые к ней губы столкнулись с губами гардемарина. Вскинувшиеся легкие руки легли на его шею теплым, желанным ярмом.

И настала золотая, тягучая, как мед, пьяная тишина...

Кто посмеет упрекнуть их за то, что настал их час? Что в волшебном саду воздух дышал неодолимыми соблазнами и что так было предначертано им?

Издалека звучали голоса:

— Глеб!.. Мирра!.. Где вы?

Но что значили для них в эту минуту чужие зовы и могли ли они услышать что-нибудь, кроме биения своих сердец?

Только майский жук, прогудевший, как самолет, и ткнувшийся со всего разлета в щеку Глеба, заставил их очнуться. Мирра высвободилась и вскочила. Глеб удержал ее за руку. Заглядывая снизу в опущенные глаза, он виновато сказал:

— Вы не сердитесь?

И тогда, вскинув ресницы, она сказала просто и ласково:

— Я ни о чем не жалею, Глеб... Пойдемте, нас ждут.

* * *

Вечером Глеб и Мирра уехали на пароходе в город. Оставаться в Капцуровке обоим не хотелось. После того, что было в саду, хотелось побыть вдвоем: шумное веселье не привлекало. Мирра сослалась на испуг во время ливня и головную боль. Глеб заявил, что, поскольку он виноват в утреннем происшествии, он считает своим долгом доставить Мирру Григорьевну домой.

Кроме того, несмотря на все старания Федоровны привести платье в прежний блеск, брюки Глеба ниже колен покрылись зелеными полосами от травы, а туфли совсем погибли, превратившись в бесформенные серо-черные лапти.

Возвращаться в таком состоянии в город днем было неприлично — вдруг наскочишь на какое-нибудь высокое начальство.

В радостном возбуждении Глеб не заметил неожиданного холодка, проявленного остальными девушками к нему и Мирре при прощании. Он вообще ничего не замечал, кроме Мирры.

Пароход был переполнен летней, фланирующей, нарядной публикой. Ни одного свободного места в каютах не было. Оставаться на палубе первого класса Глеб счел неудобным. Во-первых, Мирре нужно отдохнуть, во-вторых, в таких туфлях и брюках можно вызвать только насмешливую улыбку пассажиров. И Глеб, не медля, направился на капитанский мостик — просить разрешения провести там полтора часа, остававшихся до города.

Капитан не только разрешил, но и любезно предложил даме воспользоваться его каютой. Мирра ушла в каюту, а Глеб взял парусиновое кресло и устроился на наветренном борту, над колесным кожухом.

Ночной простор реки дымился туманом, на высоком правом берегу тускло мерцали огни селений. Гулко шлепая плицами, пароход бежал вниз по течению. У цветных глазков фарватерных вех, на отмелях сонно темнели выплывшие на ночной лов рыбачьи лодки. Пологая волна, вздымаемая пароходом, медленно и долго раскачивала их с мягким плеском.

Разлегшись в кресле, Глеб курил. В голове вертелась шумная, безостановочная карусель мыслей. От них было смутно и трудно. Глеб не привык много думать. До этого приезда в отпуск, до сегодняшнего дня жизнь протекала так просто, по такой налаженной колее, что сомненьям и раздумьям в ней просто не находилось места. Все совершается само собой. Ежегодно нужно сдавать экзамены в корпусе, летом плавать на «Авроре», драить медяшку, вязать койки, по тревоге бежать к орудию № 5 и подавать гильзу, уничтожать сытную гардемаринскую пищу, уметь шикарно носить форменку, лихо отдавать честь, уметь рассказывать десяток-другой свежих анекдотов, беззаботно гулять на берегу, в меру выпить, чтобы не заметил при возвращении вахтенный начальник, и со светской небрежностью тратить на всяческие развлечения ежемесячно присылаемые из дому сто рублей.

В этом была несложная житейская мудрость, смысл

всей философии нормального гардемарина. Это безмятежное прозябание должно было по истечении определенного срока привести к мичманским погонам и открыть путь к дальнейшему благополучию, прекрасной служебной карьере и связанным с нею благам и почестям, установленным законами империи.

Вдруг все это так мгновенно и нежданно осложнилось, перевернулось.

Оказывается, существуют за пределами этой налаженной жизни такие сложные и мучительные вопросы, от которых начинает трещать и лопаться гардемаринское благополучие и гардемаринская голова.

И их, очевидно, много — таких тревожных вопросов. До сих пор просто некогда было замечать их, или они стояли далеко за пределами гардемаринского существования. Хотя бы сегодняшний урок — утренний разговор с Миррой до ливня.

Разве вчера еще могло прийти в голову, что существует огромный вопрос национальности, расовых различий, кем-то воздвигнутых перегородок между людьми? А теперь ясно, что не только существует, но и изобилует острыми и трагическими положениями. Наверно, есть и другие серьезные проблемы.

Ах, всего день назад он был вольной птицей! Лети, куда хочешь, дыши прекрасной молодой свободой. И в какое-нибудь мгновение все переменилось. Теплые руки, легшие на его шею, покорно ответившие на его поцелуй губы, и вот уже обязанность... долг. Это заставляет думать о будущем иначе, чем думалось до сих пор. Что же делать?

Глеб сердитым размахом швырнул папиросу за борт. Вздохнул. Вздох был грустный и счастливый одновременно. С одной стороны, разве не счастье любовь такой чудесной девушки? Ею может гордиться любой. Умна, прелестна, привлекательна, прекрасно себя держит.

А с другой стороны, что же будет дальше?

То, что происходит с ним сейчас, совсем не похоже на прежние увлечения, когда поцелуи расценивались как легкая шалость, удовольствие, вроде варенья к чаю. Ну, поцеловались — и поцеловались. Даже если дело заходило дальше — никаких особых затруднений не возникало.

Ведь по утверждению гардемарина Янышева, прославленного теоретика любовной науки, поцелуи — то же, что

ордена. Обилие их украшает репутацию, как ордена украшают мундир.

Но янышевская наука была явно порочна на этот раз. Разве возможно применять ее цинические выводы к такой девушке, как Мирра?

Глеб даже привскочил в кресле от негодования... «Что? Мирра? Мирра — единственная!» Давно же ясно, что Мирра не похожа на других женщин и девушек. В воспаленном воображении Глеба Мирра высилась над женским населением земного шара, как нью-йоркская статуя Свободы над заливом.

То, что случилось,— не флирт, не интрижка... Это — любовь.

Любовь? Но любовь предполагает прочные отношения, связывает людей надолго, зачастую на всю жизнь. Ну, так что же? Глеб рад отдать свою жизнь в эти маленькие смуглые руки.

Но тогда конец мечте о море? Тогда прощай флотская служба... прощай море. Шумное, широкое, зовущее. Море, ради которого, после веселой гимназической свободы, Глеб обрек себя сознательному искусу долгих годов заточения в суровых стенах корпуса, в жестких шорах дисциплины и нерушимых традиций.

Открытое море, в пенистых гребнях валов...

Сквозь закрытые веки Глеб явственно увидел море. Оно разостлалось перед ним бесконечное, мерцающее солнечными искрами. Гул пароходных плиц показался гулом прибоя. Море слепило двумя цветами — синим и белым.

Синее и белое! Волна и пена! Гордый взлет Андреевского флага — синий косой крест на белом снегу. Синий воротник на свежевымытой белизне форменки. И все это нужно безвозвратно покинуть. Впереди — судьба Масельского.

Виски прошило тупыми иглами. Глеб схватился за голову.

Но это было только мгновенное сожаление. На помощь пришла Великобритания с ее великолепным кодексом чести. Глеб вспомнил первую заповедь кодекса.

«Джентльмен платит долги».

Да... Ему дано счастье, ему доверена хрупкая жизнь, и он готов заплатить за это отказом от эгоистического удовлетворения. Он уйдет в отставку. Ведь можно перейти в коммерческий флот и плавать еще интересней. Даль-

ние рейсы, тропики, солнечные острова в океане, экзотические порты... Глеб тешил себя видениями Мексики, Аргентины, Таити, а сердце сжималось в крошечный, кровоточащий комок. Вместо гордой палубы крейсера, грязный (почему? — это зависит от капитана) мостик купца. Не лихой командир боевого корабля, а морской извозчик, ломовик.

Но... «джентльмен платит долги».

Глеб вскочил. Из-за поворота реки лиловой радугой вспыхнули огни города.

«Решено! Сейчас сказать обо всем Мирре». Глеб направился к капитанской каюте, осторожно постучал.

— Подходим... уже пристань.

Дверь приоткрылась. В непроглядной темноте каюты близкое лицо обвевает дыханием. Разве удержишься? И, прильнув к этому невидимому лицу, Глеб торопливо и жадно целует его, живое, теплое, родное...

Хриплый вой сирены над головой... дрожь заднего хода... скрипящий удар о сваи пристани... Дома... Скорей на берег.

. . . .

Экипаж отъехал от крыльца, Мирра стояла в пролете двери.

— Обождите минутку, Глеб. Я наброшу пальто и вернусь. Мне нужно сказать вам несколько слов.

— Я сам хочу многое сказать вам... очень большое,— запнулся Глеб.

Мирра скрылась. Глеб сел на крыльцо, достал папиросу. Но папироса почему-то пахла перцем, горчила во рту и тряслась в пальцах. Глеб шарахнул ее оземь и, шепотом, жестоко выругался.

Щелкнул замок. Мирра спустилась по ступенькам и села рядом.

Глеб взял ее руку, поцеловал в теплую, влажную ладонь.

— Я ни о чем не жалею, Глеб,— услыхал он вторично в этот день.— Как хорошо! Я никогда не надеялась... не верила...— Она засмеялась.— Я расскажу вам мою маленькую тайну. Я была еще смешной девчонкой с косичкой; вы — гимназистом... И тогда я... мечтала о вас. Из

гимназии я шла домой так, чтобы встретить вас. Видела издали вашу шинель, помните, такая светлая, и замирала, не могла посмотреть. А вы даже не замечали меня тогда... И сегодня... Помните, как вы прочли мне здесь Блока? Я сказала, что вы странно угадали, что мне хотелось услышать. Я прочла эти стихи днем... «душа, на последний путь вступая, безумно плачет о прошлых снах». Вот я вступаю на последний путь... нестрашный женский путь и прощаюсь с детскими снами, безоблачностью, покоем... Я ни о чем не жалею — пусть даже горе...

— Почему горе? — тихо спросил Глеб.

Мирра положила голову на плечо Глеба.

— А что даст нам любовь? То, о чем я говорила вам утром на острове,— сложно и страшно. Даже близкие встанут против нас, как злейшие враги. Разве вы не видели, как прощались с нами в Канцуровке... Уже вражда, уже ненависть.

— Я ничего не заметил... А что? — встревоженно спросил Глеб.

— А я заметила. Кавелина смотрела змеей. И другие... Это так ясно... «Жидовка» украла у них вас, сорвала лучший цветок. Разве не преступление?

— Если так — я не советую им вмешиваться! — возмущенно дернулся Глеб.— Кавелина — дура vulgaris [1]. Я ее осажу. Мне нет дела, что они будут думать. Я все решил сейчас на пароходе.— Глеб заволновался.— Все решил... Кончу корпус и немедленно буду проситься в отставку. Предлог найду — семейные обстоятельства, болезнь, мало ли. А не пустят — натворю такого, что выставят... (Сердце замерло при слове «отста́вка».) Поступлю в коммерческий флот... наконец, на кораблестроительный факультет...

Мирра молча слушала его сбивчивую речь. Губы ее сложились в невеселую улыбку.

— Милый ребенок!.. Ты смешной ребенок! — сказала она, незаметно и просто перейдя на «ты».— Ты думаешь — все это так несложно, захотел — сделал? Какую каменную стену нам придется пробивать и как мы страшно о нее разобьемся!.. Зачем? Я не хочу думать о беде. Если даже через неделю разразится несчастье — никто уже не в силах отнять у меня то, что было. У девушек

[1] обыкновенная *(лат.)*.

счастье бывает один раз, Глеб, и всегда — короткое. О нем останется только сладкая память. Я хочу, чтобы у меня она осталась... Не выдумывай глупостей, не делай непоправимого.

— Я решил,— упрямо сказал Глеб.

— Глупый!.. Любишь?

— Да,— ответил Глеб.

— Все остальное вздор, милый... А теперь иди... Увидимся через пять дней.

— Как — через пять? — вскрикнул Глеб.— Почему?

Мирра улыбнулась.

— Вот вижу, что любишь. Ничего страшного. Завтра я уеду проводить маму на дачу. И вернусь через пять дней.

— Не уезжай!

— А ты не капризничай. Вернусь и буду с тобой, пока захочешь. Иди!

— Значит, навсегда?

Мирра опять улыбнулась. Поцеловала и быстро взбежала на крыльцо.

На улице стало тихо, пусто. Голубой дым луны, вырезанные тени листвы на белых плитах тротуара. Вдалеке щелкали шаги одиноких прохожих. Глеб вынул часы. Половина двенадцатого. Он медленно пошел домой, словно боясь расплескать себя.

От перекрестка до него донесся нарастающий визгливый звук. Еще несколько шагов — стало ясно, что кричит бегущий человек. Слов пока нельзя было разобрать. Только глухой захлебывающийся всхлип... «босств»... и картавое бульканье... «ирррц»... «ирррц»...

Вот уже совсем близко крик. Уже Глеб понял первое слово — У-Б-И-Й-С-Т-В-О!!!

Не размышляя, Глеб кинулся к углу, наперерез бегущему. Одновременно с ним из-за дома вылетел мальчишка-газетчик. Под мышкой у него была зажата пачка квадратных листков. В лунном свете блестели его вытаращенные от бега и крика белки. Наткнувшись на Глеба, он выбросил скороговоркой:

— Экстренная телеграмма «Родного края»... Очень интересная... Три копейки.

«Кого это могли убить и чье убийство так серьезно, чтобы им положить сонный город в полночь?» — подумал Глеб, вынимая из портмоне медяк и бросая его в обезь-

явью лапу мальчишки. Газетчик ткнул ему телеграмму и с воплем кинулся дальше.

Глеб взглянул. Белый листок пересекался жирным заголовком:

УБИЙСТВО АВСТРИЙСКОГО ЭРЦГЕРЦОГА

Буквы дрожали в неверном синем свете, распухали, наливались, вырастали в человеческий рост.

* * *

В блаженно расслабляющей лени Глеб валялся на диване. Выпятив губы лодочкой, он настойчиво бросал к потолку кольца табачного дыма, целясь в фарфоровый колпак электрической лампочки, ввинченной в бра над диваном. Стрелковая задача заключалась в том, чтобы голубой бублик подымающегося дыма охватил колпачок.

Губы производили звук, похожий на команду «пли». Колеблющееся кольцо взлетало, но каждый раз добиралось до лампочки не так, как следовало, цеплялось, рвалось. Наконец одно прошло гладко. Круглое и плотное, оно миновало колпачок, не задев, и, ширясь, медленно поплыло к потолку.

— Накрытие! — удовлетворенно сказал Глеб и сунул сгоревшую до мундштука папиросу в пепельницу.

Невинное развлечение успокаивало его. Смутные и сумрачные мысли наплывали, тянулись волокнами, цепляясь, как табачный дымок. Во-первых, Мирра не возвращалась уже седьмые сутки, пообещав вернуться через пять. Лишний час ожидания обращался в день, в месяц, в год. Нежное воспоминание о девушке подымало в теле теплую томительную волну. Если Мирра и завтра не приедет — лучше солнцу не всходить.

Во-вторых, раздражала мать. С минуты прочтения телеграммы об убийстве эрцгерцога она не переставала говорить о войне и всерьез разрюмилась. Ей стало казаться, что ее единственного мальчика обязательно настигнет страшная военная смерть и он пойдет ко дну с кораблем, как шли ко дну моряки при Цусиме, и матери не останется даже утешения знать, где лежит изорванное снарядом тело сына в ледяной морской пучине.

Нужно было утешать, доказывать, что война, если даже она и начнется сейчас, будет совсем непохожа на

японскую, что флот теперь не тот, что в пятом году, что, наконец, он, Глеб, будет плавать на Черном море, где и войны никакой, вероятно, не будет. С кем воевать на Черном море? Не сумасшедшие же турки, чтобы ввязаться в войну! У них еще не готовы новые дредноуты, а без них турецкий флот не успеет и пострелять, как очутится на дне. Это будет не бой, а увеселительная прогулка в Константинополь, к прекрасным турчанкам. Может быть, Глеб даже вывезет из Стамбула смуглоглазую черкешенку, как дед Михаил Ионович.

Лицо у матери за эти дни опухло от слез, стало старым и жалким, но при упоминании о черкешенке она все же улыбнулась, и Глеб улизнул от материнских причитаний к себе, сославшись на необходимость написать письмо в корпус, чтобы узнать, с какого румба дует ветер в Петербурге.

Но в комнате, в баюкающей мягкости дивана, думы стали неожиданно беспокойными, лезли в голову, щетинясь штыками.

Вокруг все еще было тихо. Европа, справившись с легким перебоем дыхания, вызванным треском сараевских выстрелов, дышала опять мерно и ровно. Парламенты переживали летнюю спячку. В Париже Пакэн и Ворт устраивали выставку летних моделей. В Кройдон крылато слетались яхты спортсменов всех частей света для гонок на мировой кубок, на теннисных кортах звенели мячи, кинохроника братьев Патэ демонстрировала похороны австрийской наследной четы.

Это интересовало пока только как зрелище,— так же, как бой быков, спуск нового линейного крейсера «Прэнсес Ройяль», пожар на лесных складах в Аргентине,— и воспринималось средним европейским обывателем с таким же сытым равнодушием.

Коренастый мужчина с фельдфебельскими усами и тупым взглядом кнура, долженствовавший наследовать расшатанный трон лоскутной империи, был уложен рядом с такой же дородной супругой в склепе отдаленного замка. Его лишили почестей императорской усыпальницы за неравный брак, и Европа восприняла это как должное. Эрцгерцога Франца-Фердинанда не рассматривали всерьез как будущего монарха. Европа привыкла видеть его в коротких тирольских штанишках и шляпе с петушьим пером, с тремя убитыми перепелками у ног. Сошел со

сцены мелкий помещик, любивший выпить и закусить, потрепать за подбородок румяных пейзанок на стрелковом празднике в имении. Скорбеть о нем не приходилось.

И хотя Вена официально надела траур, но уже объявлена была новая оперетта Иоганна Штрауса, и огненные рекламы нового пива празднично горели над Пратером.

У мертвеца был только один друг — enfant terrible [1] Европы, буян и задира, лихой корпорант Вильгельм Гогенцоллерн, но и он, ограничившись сочувственной телеграммой, хранил пока загадочное молчание, дыбя победоносные усы.

Обывательская Европа не имела особых причин беспокоиться. Она еще не знала, что тишина, наступившая за смертью эрцгерцога,— тишина предгрозья, что генеральные штабы, разработавшие варианты на тысяча девятьсот пятнадцатый, в горячке бессонницы наспех перекраивают военные планы и дипломаты Европы в тишине хладнокровно готовят гибельный взрыв обывательского благополучия.

И все же тревога нарастала. По ночам созвездия вспыхивали злыми и тревожными узорами, и Дунай, против сербской крепости Землин, подергивался судорожной свинцовой рябью.

И думы Глеба, вопреки его желанию, упрямо сворачивали на военную тропу. Это раздражало. Думать о войне не хотелось. Лучше было думать о Мирре, о простой, безмятежной, безоблачной жизни, как солнцем, пронизанной покоем.

— Чертов эрцгерцог! — вслух ругнулся Глеб.— Не мог, сволочь, тихонько сидеть в Вене и гулять по Шенбруннскому парку! Нет — понес дьявол визитировать к верноподданным боснякам! Его грохнули, ему теперь беды мало, а я отдувайся!

Он с силой ткнул носком туфли диванную подушку, срывая на ней злость. Подушка свалилась на пол. Глеб поднялся подобрать ее и, подымая, услыхал с улицы врывающийся в раскрытое окно голос:

— Глеб... Ты дома?

Глеб подошел к окну и навалился животом на подоконник. Внизу, ярко-желтый от косого закатного блеска, стоял худенький, в голубой косоворотке и примятой

---

[1] ужасный ребенок *(фр.)*.

студенческой фуражке, задирая острый подбородок к окну.

— Шурка?.. Ты откуда узнал, что я приехал?

Студент растянул смешком тонкогубый рот.

— Хо-хо... Лицезрел не однажды ваше высокоблагородие в потрясающем окружении высшего дамского бомонда.

— Вот дурень! Почему же не подошел?

— А ну вас! Я в аристократическом кругу — как мерин на колокольне.

— Ну, заходи же.

Глеб отвалился от подоконника и опять раскинулся на диване.

Неожиданный гость — Шурка, Александр Фоменко, давний приятель Глеба по гимназии. Неразлучно они сидели на одной парте, деля мысли, завтраки и шпаргалки. Это было настоящее, крепкое школьное побратимство. Дружба пустила корни с первых гимназических дней, когда Глеб взял под защиту болезненного недоростка, на котором задиры пробовали свои кулаки, как на ярмарочном силомере. По несколько молниеносно расшибленных носов убедили их владельцев, что лучше оставить Фоменко в покое. Глеб был признанным силачом и, кроме того, сыном директора.

Шурка оказался для Глеба прекрасным другом. Характер у него был тихий, ровный, но настойчивый. Постепенно, исподволь он овладел Глебом и от кулачных подвигов увлек на чтение, на споры, на всяческие затеи мысленного порядка.

Веселый здоровяк Глеб безропотно помогал Шурке собирать гербарии, препарировать лягушат и выращивать тритонов. Чулан алябьевской квартиры превратился в химическую лабораторию, откуда ежедневно гремели взрывы и неслась приводившая весь дом в неистовство вонь.

Изредка на ясного и тихого Шурку вдруг налетало нечто темное и тяжелое, болезненные неврастенические вспышки. Во время них он был хмур, ядовито кривил узкие, делавшиеся неживыми губы, одичало молчал. Его отец, подпольный ходатай по делам, пьяница, в припадке алкогольного бреда, на глазах пятилетнего сына, зарезал бритвой жену и, отрезвев, повесился сам. Видимо, страшная память об этом дне и выбивала иногда Фоменко из привычной тихой колеи.

Жил Шурка у тетки, в сырой полуподвальной кварти-

ре, существовал на стипендию, с третьего класса зарабатывал уроками, хотя сам учился трудно.

Ничем не омрачавшаяся дружба едва не порвалась, когда, перейдя в шестой класс, Глеб, очарованный двухмесячным плаваньем по Черному морю на рыбачьей шхуне, задумал уйти из гимназии в морской корпус.

Шурка равнодушно выслушал восторженно-сбивчивую речь Глеба о чудесах морской службы, пожал плечами и очень обидно сказал:

— З-забавно... Рос, учился — и вырос дурак.

Оскорбленный в лучших чувствах, Глеб ударился в амбицию и потребовал объяснения.

— Чего ж объяснять? — скучно отозвался Шурка.— И так ясно, как два апельсина. Вместо того чтобы стать полезным человеком, ты хочешь играть в оловянные болванчики, стать муштрованным бревном. Твое дело. Значит, теперь мы врозь.

И, не вступая в дальнейшие споры, ушел и больше не появлялся. Даже не пришел проводить Глеба в день отъезда. Но, в новом увлечении, Глеб этого почти не заметил.

Правда, на следующий год по приезде в отпуск Глеба, уже начиненного корпусным шиком, Шурка встретил его хотя и насмешливо, но дружелюбно. Внешне отношения восстановились, но основное теплое звено выпало из них навсегда. Шурка охотно встречался с Глебом, но ничего не хотел слышать о корпусе. Глеб относился к этому, как к упрямому, но терпимому чудачеству.

Теперешний приход Шурки был кстати. Шурка обладал резким, ядовитым языком, за словом в карман не лазил. Он был отличным собеседником на сегодня, когда у Глеба тоже разливалась желчь.

Шурка вошел. Глеб, не вставая, пожал руку друга и подвинулся:

— Садись,— пригласил он, шлепнув ладонью по дивану.

— Ну нет... И так жарища, хоть удавись. Да еще на мягком сидеть. Я лучше на сквознячке.

И уселся на подоконник, аккуратно подтянув брюки. Почти хирургическая, педантичная опрятность всегда отличала Шурку, и, оглядывая приятеля, Глеб заметил, что старенькая сатиновая косоворотка отглажена до блеска и так же тщательно проглажены залатанные на коленках брюки.

Фоменко не торопился разговаривать. Вынул из кар-

мана коробку папирос «Salve», постучал мундштучком о картон, вытряхивая крошки табаку, чиркнул спичку и, только дважды выпустив дым, спросил как бы невзначай:

— Надолго?

Глеб зевнул.

— На два месячишка. Перед производством гуляю. Хорошо дома, Шурка. Малина со сливками.

Фоменко слегка подался вперед на подоконнике.

— Как бы малина оскомину не набила!

Глеб повернул голову. Шуркин тон показался странным.

— Ты что так скептически настроен?

— Так...— нехотя буркнул Фоменко, накручивая на палец конец шелкового шнура, подпоясывающего косоворотку.

— А точнее, мистер?

— Любуюсь на вашу красоту. Шик-блеск. Пуговицы блестят, погоны сверкают, морда лоснится. Видать сразу: доблестный православный.

— Вот и врешь, Спиноза,— лениво усмехнулся Глеб,— во-первых, я валяюсь без кителя,— следовательно, мой блеск не должен раздражать твои аскетические очи; во-вторых, если морда у меня и лоснится, то от других причин. А вот отчего ваше личико ладаном и постом отдает?

— Вонючие симптомы,— сердито сказал Фоменко, без перерыва закуривая новую папиросу,— воняет порохом и прочим непотребством.

Глеб засмеялся.

— Ты совсем как ненаглядная мамочка. Та уже все время ревет от военного страха и моей славной гибели в морских волнах. Как в «Варяге» поется: «Наверх же, товарищи, все по местам! Последний парад наступает...»

— Оно и верно, что последний парад наступает. Сыграют вам марш «Под двуглавым орлом» и под музыку высадят вчистую.

Глеб быстро приподнялся на локтях. Что, в самом деле, за странный тон у Шурки! Сидит на подоконнике и пророчествует. Подумаешь — Иеремия!

— Что-то сероводородом несет,— сказал он насмешливо.

— Почему сероводородом? — не понял Фоменко.

— А это под пифиями сероводородом воняли для обострения пророческих данных. Так у Иловайского сказано.

Так вот, кажется, под твоим почтенным седалищем шипит сей газ пророков.

Фоменко сердито отмахнулся.

— Остришь? Смотри, не доострился бы! Война на носу. И будет. Потому что, если не будет войны, будет вдвое хуже.

— А именно?

— А именно, друг мой, знает кошка, чье мясо съела. Если не война, так через два месяца ни в одном городе нельзя будет выйти на улицу, не наткнувшись на баррикаду. Понял?

— Что?

— А то самое. Котел дрожит, клапана выбивает. Нужно экстренно выпускать пар, приложить энергию к делу, которое было бы безопасно для хозяев котла. Авось удастся околпачить «унутреннего врага» патриотическим пафосом и заставить его дробить скулы «врагу унешнему», чтобы он не свернул скулы благочестивейшему, самодержавнейшему.

Глеб сел и уставился на Шурку настороженными зрачками.

— Ты где это нахватался? — спросил он сухо.

Фоменко хмыкнул и через плечо бросил окурок на улицу.

— Уж конечно, не в корпусе, ваше высокоблагородие. Вас таким материям не учат. У вас наука отчетливая. Три шага вперед! На руку!.. Круши нехристя окаянного! Ура царю-батюшке — врагу штык в пузо! «Коль славен» — и хоть морда в крови, а наша взяла.

Глеб никогда не слыхал таких слов от Фоменко. В горле студента словно клокотал тот, готовый взорваться, пар, о котором он говорил.

— Ты бы того, придержал язык,— резко, отстегивая слово за словом, остерег Глеб.— Прокламаций начитался, что ли? Вино свободы в голову вдарило?

— Разное читал,— хмуро пропил Фоменко, ерзая на подоконнике, как будто его жгло.— Не мешало бы и тебе почитать. Понял бы хоть, за что тонуть будешь, родителям на утешение, церкви и отечеству на пользу. А то так и помрешь невинным в мыслях... Небось про статьи Ильина и слухом не слышал?

— А это что за воробей? — с неприязненным смешком спросил Глеб.

— Это брат, такой воробей, что запросто вашей двухголовой птичке обе головы начисто отвертит. Хороший воробей и пишет отлично. Почитай.

— Мне Гельмерсенову «Практику» читать полезней. Я глупостей не чтец, и пуще образцовых, и тебе не советую. Спокойней.

Фоменко не ответил и несколько секунд внимательно разглядывал Глеба с головы до кончиков белых туфель, кривя рот в ухмылку презрительной жалости.

— Значит, пойдешь помирать за православного, самодержавного, всемилостивейшего? В наваксенных сапогах и с шашкой наголо?

— Мы шашек не носим,— оборвал Глеб, вскипая, и встал.— Что-то у тебя, Шурка, ум за разум заходит. Давай договоримся. Мне с самодержавным детей не крестить. Что самодержавный шляпа и дубоват — это все понимают, кроме разве гвардейских кретинов и наших титулованных остолопов. От самодержавного и все качества... Чтобы стать в уровень с Европой, нужны большие перемены. Поэтому я допускаю смену династии, даже республику, если хочешь...

— Мерси бонжур,— закивал с подоконника Фоменко.— Какая широта русской души, какой размах! Нá тебе, боже, что нам негоже...

— Перебивать собеседника принято только у конюхов,— язвительно сказал Глеб.— Да, допускаю даже республику. Но пока там перемена, пока республика — есть и всегда останется родина. А родину я буду защищать до последнего дыхания. И каждый русский это сознает. Только подлецы могут жить без родины.

Фоменко слушал, упрямо сбычив голову, глядя исподлобья. И вдруг спросил:

— А что такое родина?

— Метафизика? Что есть вервие? Брось дурака валять. Россия, родина — это то, что в каждом из нас, так же, как кровь. Незаметно, но естественно.

Теперь Фоменко тоже спрыгнул с подоконника.

— Так... Для тебя это отличная формула. Отец у тебя действительный статский советник и многих орденов российския державы кавалер. Ты вскоре, нацепив погоны, вступишь в великолепную касту патрициев, equites [1]. Тебя подведут к столу, на котором лежит посыпанный

[1] всадников *(лат.)* — высшее сословие в Древнем Риме.

сахарной пудрой пирог родины, дадут в руки серебряный ножичек и скажут: «Же ву при, мичман Алябьев, дегуте ву, с какого конца хотите». Для тебя Россия под таким соусом — действительно родина. А для несметного количества людей, которые в поту всю жизнь гнут спины, которые сахарной пудры на вкус не пробовали,— для этих людей твоя удобная, как диван, Россия не родина, а чудовище. Огромный пыточный приказ. Этим людям мало радости от твоей России. То, что кажется тебе начинкой, малиной со сливками,— это их человеческая трудовая кровь... Они тоже русские, по несчастью, но русские, проданные в качестве рабочего скота капиталу. Капитал накопил груды богатств и сделал людей рабами богатства. Капитал задыхается на накопленном им самим золоте, но ему все еще мало. Ему, как воздух, нужна война. Он гонит страны соревноваться в вооружениях, потому что вооружения дают прибыль. Он цепляется за реакцию и военщину из страха перед призраком рабочего движения и революции, и война нужна ему для того, чтобы разредить наступающие ряды трудящихся. Может быть, удастся утопить их в своей же крови.

— Много времени затратил, чтобы наизусть выучить? — с едкой злобой спросил Глеб.

Фоменко смолк, как будто смутясь на секунду, но сразу накалился.

— Горжусь, что выучил. Не тебе смеяться. Ты первобытный военный недоросль. Дворянский Митрофанушка двадцатого века.

Глеб пренебрежительно поджал губы.

— Проще всего ругаться. Это умеет каждый биндюжник. На нас давно точат зубы Германия и Австрия. Это вековая вражда, и узел нужно когда-нибудь рубить. Сейчас мы можем разрубить его победно. И каждый русский должен быть готов умереть за историческую миссию страны без страха и увиливаний.

Фоменко визгливо захохотал. В теплом сумраке вечереющей комнаты зубы его блеснули по-волчьи жестко.

— Каждый русский?.. Конечно. Русский с погонами, дворянством, именьицем, фабричкой, лабазом. Но он будет только петь о готовности умирать, а умирать пойдут те сто пятьдесят восемь миллионов русских, о которых ты понятия не имеешь. И для этих русских самой лучшей победой будет, если немцы набьют морду твоей России почище, чем это сделали японцы.

— Как ты сказал? — переспросил Глеб сразу пересохшим ртом, весь холодея и напрягаясь.

— Разгром... Военный разгром пятого года вызвал революцию. Новый разгром разбудит ее опять и снесет к чертям твою вонючую Россию...

Глеб даже попятился. Не ослышался ли он? Нет... Эти невероятные слова о России, о любимой родине, за которую Глеб действительно готов умереть,— сказаны. Их эхо еще звенит в углах комнаты, оседая ядом. Нужно сделать сейчас же, не медля ни секунды, что-то решительное, чтобы положить предел этому бреду.

Глеб вытягивается во весь рост, отбрасывая назад голову (так, кажется, делали все великие патриоты, когда при них оскорбляли родину), и, шагнув к двери, с силой открывает ее настежь.

— Господин Фоменко («так, так... жестче, унизительней»)... я не доносчик... я офицер («не важно: гардемарин — тот же офицер»), наконец, к сожалению, между нами годы детской дружбы. Этот разговор не перейдет за стены моей комнаты («да, да, благородство»), хотя вы заслуживаете самого сурового отношения... Все останется между нами, но я требую, чтобы вы моментально покинули наш дом. Извольте больше не появляться...

Голова откинута до отказа, рука вытянута в пролет двери, все сделано великолепно и с достоинством. Но почему же этот отвратительный изменник, предатель родины, ничуть не смущен? Он флегматично берет с подоконника свою мятую фуражонку и беспечно, вразвалку, направляется к двери.

В ее пролете он останавливается. Улыбка силы и превосходства освещает его лицо.

— Второй раз убеждаюсь, что ты идиот. Жалко. Будь здоров, глупей дальше.

Дверь захлопывается с лязгом, похожим на удар по лицу. Что делать? Броситься? Догнать? Ударить?

Поздно. Глеб в ярости рвется к окну, чтобы бросить сходящему сейчас с подъезда Фоменко что-нибудь невыносимо оскорбительное, но в гневной стремительности налетает коленкой на стул. От сильного взмаха другой ноги стул испуганно летит по полу и болезненно крякает ножками, грохнувшись о стену.

Глеб стоит посреди комнаты, стиснув рукой ушибленное колено, и шевелит губами. Беззвучная река концент-

рированной боцманской матерщины льется с них, пока не иссякнет боль — источник необузданного бешенства. Глеб кидается на диван, терзая пружины. Ему хочется завыть от не излитой еще досады.

Ах, Шурка Фоменко! Какой вы неопытный еще и наивный пропагандист! Как мало вы натасканы в социальной психологии! Разве можно невинной девушке в шестнадцать лет объяснить половые отношения так сразу, здорово живешь, теми точными словами, которые украшают российские заборы? Чистое сердце сожмется от ужаса и грубости жизни, и девушка может покончить с собой. Разве можно невинному в мыслях гардемарину, производства морского корпуса, так неосторожно, грубо, без предварительного массажа гардемаринских мозгов, открыть тайное тайных, о котором он никогда не слыхал, от которого его оберегали, как оберегают в лаборатории точнейшие весы от проникновения в колпак обыкновенного воздуха, который может незримыми глазом частичками пыли склонить чашки весов, испортить агатовый, острый как бритва, сердечник. Так нельзя, Фоменко! На каждый отдельный случай нужны особые методы агитации. Жизнь должна научить вас этому.

Сумерки в комнате тягуче густеют, как выставленное на холод желе. Они обволакивают Глеба успокоительной тишиной.

— Нет... Какая сволочь! — произносит Глеб вслух.— Хорошо, что по существу мы разошлись уже давно. Социал собачий!

Желтый язычок спички жадно слизывает заусеницы табака на размятой папиросе. Табак действует на вздыбленные нервы, как валерьянка.

Кукушка в столовой кукует восемь раз. Пойти погулять? Кстати, можно зайти к Мирре, справиться — не приехала ли? Хотя, раз с утренним поездом не было, значит, до завтра не будет. А как хочется сейчас увидеть Мирру, рассказать о своем томлении, прикоснуться к милым тоненьким рукам!

В голубоватом дыму комнаты Мирра встает перед Глебом живая, нежная, желанная. Глеб вертится на диване. Нужно идти. Со всем этим с ума сойдешь.

За тонким скрипом двери в комнату вплывает бесшумная тень матери. Вот не вовремя! Глеб выжидательно молчит.

— Глебка, иди чай пить. А где же Шура? Почему ты отпустил его без чаю?

Не нужно, чтобы мать знала о происшедшем. Глеб чувствует, что что-то было сделано не так, как нужно, нелепо, топорно. Мать разволнуется, пожалуй, опять начнутся слезы.

— Шурка куда-то торопился... кажется, на урок,— неуверенно врет Глеб и встает.— Ты не беспокойся, мама, я тоже не хочу чаю. Пойду пройдусь, голова трещит от духоты.

Мать уходит. Глеб поворачивает выключатель. Молочный холод электричества вносит в комнату ясность и успокоение.

Глеб тщательно причесывается, математически точно прокладывая пробор, как курс на карте. Берет со стола граненый флакон «Divinia». Две капли — на платок, каплю — на подбородок и шею. Запах должен быть зыбок, чуть уловим. Сильно душатся только приказчики.

* * *

Глеб замедленно прошел мимо окон. Они были темны, в доме не чувствовалось жизни. Можно было позвонить и спросить у прислуги, но зачем звонить? Ясно — не приехала.

Он хмуро повернул и рассеянно пошел по улице вниз, к реке. У входа в парк его окликнул женский голос.

— Вы к Лихачевым? — спросила Лида Кавелина, подходя.

— Нет. Просто гуляю. У меня голова болит.

— Проводите меня,— сказала Лида, пристально взглянув на Глеба. Они пошли аллеей.

— У Лихачевых заинтересованы, куда вы пропали? Пять дней не появляетесь, словно уехали из города.

— Неужели моя особа так интересна, что ее исчезновение вызывает переполох? — скривился Глеб.

По удивленному взгляду Кавелиной сообразил, что ответ прозвучал вызывающе. И, как бы в подтверждение, Кавелина сказала с подчеркнутым холодком:

— Вы позволите, Глеб, быть с вами откровенной? Мы знакомы, кажется, с пятилетнего возраста, когда вас и меня няни выводили гулять на бульвар. Это дает мне право считать вас не чуждым... По-моему, вы начинаете делать глупости.

Глеб понял... Сдерживая себя, молчал, но горло уже сводили мелкие судороги бешенства. Не хватало еще нотаций от девчонок!

— Нет тайного, которое не стало бы явным,— продолжает Кавелина, не замечая опасности.— Многое было ясно еще до прогулки, а сейчас... да вы сами отлично понимаете. Если бы это был флирт, я не стала бы говорить. Но ведь вы теряете голову. Я только хочу вас предостеречь. Не можете же вы забывать, кто вы и кто она...

— Простите, Лидия Александровна,— Глеб остановился,— я не совсем вас понимаю. О чем вы говорите? Кто—она?

— Не притворяйтесь, Глеб. Вы прекрасно знаете, что я говорю о Мирре. Смешно так вызывающе демонстрировать ваше отношение к ней. Подумайте о вашей репутации. Ей такое внимание, конечно, лестно — она на седьмом небе. Какой повод для разговоров в их кругу — свела с ума самого блестящего юношу в городе, да еще русского! Какая гордость для наследницы биржевого жулика, жидовки!

А... Вот оно сказано опять, это слово... Грязной пеной оно сползло с брезгливо поджатых губ вздорной кокетки, будущей полковой Клеопатры, усладительницы желторотых подпоручиков. Под прижженными щипцами локонами, придавившими лоб, глаза вспыхивают тупой ненавистью. О ком сказано это так нежданно, омерзительно прозвучавшее слово? О Мирре? Хорошо же!

Собрав всю силу прихлынувшей злобы, Глеб смотрит на Кавелину так, будто увидел ее впервые, будто перед ним какое-то паскудное насекомое.

— Я чрезвычайно благодарен вам, Лидия Александровна, за внимательное отношение к моей чести и репутации,— тон Глеба становился нагло ледяным,— но зачем вы так стараетесь? Это роковое заблуждение. Я не любитель стиля «рюсс». Если вы рассчитываете на меня как на жениха — это недоразумение... Такая перспектива меня не соблазняет...

— Вы с ума сошли,— растерянно шепчет Кавелина.

— Никак нет. А если вы действуете за других — тем хуже. И я никому не позволю так говорить о Мирре... Тем более вам. Имею честь кланяться.

Он поворачивается и покидает ошеломленную Кавелину. Его душит смех и ярость вместе. Если бы на месте Кавелиной был мужчина — он избил бы его и дал выход

всей тяжести, накопившейся за эти дни. Но и так отлично. Корабли сожжены.

Глеб быстро идет домой, стиснув челюсти. Голова кружится, тело бросает то в жар, то в холод, как в пароксизме малярии. И еще эта угнетающая жара, безветрие июльской ночи и отрава акаций... Скорей домой, принять холодный душ, успокоиться.

Глеб вскидывает голову. Прямо против него дом Мирры.

Бред, что ли? Окна столовой освещены. Наверное, прислуга возится по хозяйству и зажгла свет. Но уже ноги сами переносят Глеба на другую сторону улицы. У окна он подымается на цыпочки, затаив дыхание, заглядывает внутрь.

У освещенного стола кресло с высокой спинкой. В нем кто-то сидит. Глеб не видит, но чувствует за овальным кожаным щитом человека. На столе вазочка с печеньем и чашка чаю. Кто это? Глеб недвижно и неслышно смотрит, боясь шевельнуться. Запрокинутая голова затекает кровью, но сидящий должен же когда-нибудь обнаружить себя.

И внезапно из-за спинки кресла к чашке протягивается рука — тоненькая, смуглая, трогательная.

Больше невозможно молчать.

— Мирра!

Оклик робок и тих, но кресло резко отодвигается, девушка вскакивает и поворачивается к окну. На ней домашний японский халатик. Испуганный и радостный взгляд в окно.

— Кто?.. Глеб!

И когда Глеб слышит этот возглас, приподнятый, как музыкальная фраза, радостью и нежностью, он забывает обо всем. Забывает, что существуют двери, что с улицы могут увидеть, что в доме, может быть, есть кто-нибудь из старших или посторонних. Но он слишком долго ждал.

Быстрый рывок тела на руках, как учили подтягиваться по шторм-трапу,— и сразу на подоконник. Во весь рост на окне, прыжок в комнату, в теплоту, электрический блеск, сияние глаз, во встревоженно-радостный смех, в распахнувшиеся смуглые руки.

— Глеб... Глупый... Что с тобой?

Слова колотятся, как в падучей, одно налетает на другое:

— Шестой день... ждал... сам не думал, что так будет... Может быть, глупый, сумасшедший... но третий раз сегодня у твоих окон...

Мирра опускается в кресло. Глеб видит, как под легким дымом ресниц глаза ее медленно наливаются, как чистой и крупной слезой,— любовью. Он становится на колени и зарывает голову в душистые складки халатика, в единственное в мире целительное тепло, в котором тонут все обиды и горечь этих дней.

* * *

Желтый чемодан, распластавшийся на диване, жадно разинул пасть и глотал злобно запихиваемое Глебом белье и платье. Его кожаные челюсти сошлись только под сильным напором обеих рук — брюхо набилось до отказа. Наконец, закрытый насильно, чемодан вспух верхней крышкой, как обожравшийся, и сердито заблестел никелированными глазами застежек.

Глеб вытер платком взмокший лоб, огляделся. Кажется, все уложено.

Комната потеряла интимную прелесть жилья, уюта и покоя. Хотя за окном по-прежнему бесноватое июльское солнце, в комнате как будто пасмурно, она стала нежилой, топорной, холодной. А еще вчера...

А, да что жалеть о комнате, когда весь мир внезапно лишился прелести уюта и беззаботности, когда в одно мгновенье разрушилось, взорвалось, стерто тяжкой сокрушающей лавиной мирное благополучие не только его, Глеба, но и всей страны, всех стран.

Разве не об этом кричит принесенная ночью телеграмма, валяющаяся на полу возле дивана? Даже внешний вид этого смятого листка говорит о неблагополучии, о предвестии катастрофы. На нем наглая разбрызганная чернильная клякса, ленточка текста наклеена криво, грязные подтеки клейстера выползают из-под нее. И плохо отпечатанные рваные буквы похожи на разорванные мысли.

«Приказу прекращении всех отпусков предлагается безотлагательно прибыть корпус пятнадцатого июля».

В этом коротком, безусловном, точно железном тексте не было бы ничего угрожающего при других условиях. Мало ли почему могут быть прекращены отпуска! Най-

дется ряд причин, от внезапного назначения отряда в заграничное плаванье до насморка морского министра и связанного с ним дурного настроения, чтобы лишить злосчастного гардемарина заслуженного отдыха.

Но то, что вертится небывалым, сокрушительным, грохочущим вихрем вокруг этого серого бумажного обрывка с подтеками клейстера, говорит о наступающей неизбежной грозе.

Сараевский мертвец, эрцгерцог Франц-Фердинанд восстал из гроба, вышел из пышного склепа феодального замка и триумфально взошел на престол повелителя мыслей взбудораженной и смятенной Европы. Его воскресение и воцарение было молниеносным и неожиданным для уже успокоенных народов. Взмахами скипетра двуединой монархии, зажатого в синей руке, он властно дирижирует чугунно громыхающим оркестром дипломатических нот и ультиматумов. Уже лязгнули медным дребезгом боевых литавр и раскатились тревожной дробью барабанов десять требований австрийского ультиматума Сербии.

Уже в ответ на эти десять требований его императорское величество император и самодержец всероссийский Николай Вторый объявил устами министра иностранных дел, что Россия не может оставаться равнодушной к судьбе единоплеменной маленькой Сербии.

И взбесившиеся перья газетчиков окунулись, как в чернила, в этот верховной властью брошенный лозунг. Газеты банков, майоратов, биржи и верноподданной профессуры ежедневно швыряют в массу взволнованного населения стотысячные тиражи экстренных телеграмм, как горящие факелы в бензин.

Кругами по воде разбегаются, ширясь и вырастая до неправдоподобия, громовые новости, сталкиваясь, переплетаясь и оплетая обывательские мозги сложной сетью лжи и науськивания. И за их будоражащей шумихой идет неслышная, безостановочная и таинственная работа направляющих сил. За пышными потоками великолепного красноречия передовиц о патриотизме, чести, национальном достоинстве, священности договоров, неприкосновенности прав и суверенитете малых народностей встают тщательно замаскированные гигантские черные тени генеральных штабов, картелей, концернов и синдикатов.

В торжественную, чистую, как хрусталь, как душа государства, музыку национальных гимнов незаметно, но

настойчиво начинают вторгаться побочной темой пронзительные, нахальные торгашеские визги колониальных рынков и сфер влияния. Гулкие тромбоны тяжелой металлургии и военной промышленности сопровождают истерический звон марсельезы, церковное велелепие «Боже, царя храни» и уверенные аккорды «Рейнской стражи». Они торопятся заглушить устарелые средневековые мелодии, и учтиво улыбающийся в седые усы румяный апостол юного российского империализма профессор Павел Николаевич Милюков вынужден стыдливо прикрывать занавесом из газетных статей, посвященных великой теме объединения славянства, бесстыдно вылезающие из-под подола оскорбленной сербской невинности крепкие кирпичные ноги минаретов святой Софии и натекшую под ними соленую лужу проливов.

Этого нескромного зрелища не должен видеть до поры до времени гражданин Российской империи. Он должен лишь верить беззаветно и безоговорочно в то, что великая Россия не может оставаться в стороне, когда идет спор о духовном первенстве, о борьбе за приоритет двух искони противостоящих друг другу миров — славянского и германского. На стороне первого — сила права, на стороне второго — право силы. Дух против материи. Гражданин России должен быть готов выполнить исконную историческую задачу страны — объединение всего славянства под сенью двуглавого орла. В необходимости этого объединения вождь просвещенного русского либерализма профессор Милюков полностью солидаризировался с черносотенным генералом Пороховщиковым, выпустившим на ту же тему брошюру под странным заглавием: «Как объединить все народы под сенью двуглавого орла, если в мире нет такой птицы».

Каждый русский гражданин должен быть готов в любое время принести на алтарь этой исторической миссии и свои сбережения, и свою жизнь. В этом уверен профессор Милюков, в этом уверены верхи русского общества, в это веруют, как в символ веры, офицерские чины армии и флота. В это верит Глеб. И если в стране есть несчастные отщепенцы, отступники национального величия, вроде Шурки Фоменко, заразившиеся от гнилого Запада гнилыми социальными идеями, гибельными для русской самобытности, то эти жалкие элементы будут своевременно и быстро изъяты соответствующими инстанциями.

Согласный хор газет, от откровенно зоологической «Земщины» до кокетничающих оппозиционностью «Русских ведомостей», внезапно утратив индивидуальные тонкие различия, запел в унисон. Из тюков газетной бумаги воздвигается непроницаемая китайская стена между глазами русского обывателя и огромной сценой страны, на которой, за театральным бенгальским огнем парадов, черным дымом и густыми кровавыми языками начинает полыхать кипящее пламя революции, швыряя в скрипящие колеса государственного механизма грузные головни стачек и забастовок.

Нужно оттянуть жар от больного места, нужно пустить мечущейся в красной малярии стране дурную кровь по старому рецепту коновальской медицины, освободить вздутые политические вены нации от чрезмерного напора, грозящего внезапной эмболией.

Если народ готов проливать свою кровь, необходимо сделать все для того, чтобы эта кровь проливалась за идею отечества, а не против нее. Если миллионный лес натруженных мозолями рук жадно тянется к штыкам, нужно дать им эти штыки, но благодетельно и мудро направить их натиск в полезную для родины сторону. Кровь народа, как и его пот, должна быть рентабельна. Пролитая во имя революции, она приносит только убытки, выпущенная за торжество национальной идеи, она может быть зачтена в уплату процентов по долгу доблестной демократической союзнице русского самодержавия, мировой ростовщице, третьей французской республике, национальные задачи которой так счастливо и своевременно совпадают с национальными задачами России.

Платить проценты кровью народа, втиснутого в ярмо серых шинелей, в хомуты походных ремней, куда проще и выгоднее, чем полновесным и звенящим сибирским золотом с Кутума и Алдана. Кровь, идущая в уплату процентов по имперским долгам, не требует особых расходов на добывание, не нуждается в страховке и перевозочных фрахтах. Она даже остается в стране и может служить отличным туком для удобрения тех полей, которые станут собственностью русской державы в результате победоносной войны. Она дешевле фосфоритов и селитренных солей, хотя содержит их в своем составе в достаточных для практических надобностей пропорциях.

При таких перспективах Россия не может уступить наглым притязаниям Австрии, и всероссийский самодер-

жец, царь польский и великий князь финляндский, царь сибирский и астраханский, всея Великия, Белыя и Малыя Руси повелитель и прочая и прочая, готовится призвать божие благословение на доблестную свою армию и флот «с глубокой верой в правоту нашего дела».

Божие благословение, призываемое царем, состоит на инвентарном перечне вооружения российской армии с незапамятных времен, от тех пор, когда дебелые новгородцы на льду Ладожского озера крушили пудовыми колунами уже изношенных культурой и привыкших к более тонкому оружию шведов, и до японской войны, когда богобоязненный генерал Куропаткин, возивший за собой поезд с иконами, взирая на горы солдатских трупов, наваленных по сопкам пронзительным огнем японских пулеметов и дьявольскими разрывами шимоз, утешал общественное мнение страны тем, что «у нас есть большое преимущество перед японцами в религиозности русского солдата». Адмирал Рожественский бросил свою злополучную эскадру в теснину Цусимского пролива 14 мая, «в день священного коронования их императорских величеств», в очевидном расчете на то, что русский бог по такому торжественному случаю посрамит японцев.

И теперь русский самодержец уповает на бога, ибо судостроительная программа не закончена, мобилизационные планы в периоде согласований и переделок, тяжелая артиллерия для поддержки пехоте только начинает формироваться и на всю армию имеется лишь три гаубичных дивизиона.

Но гром небесный не хуже грома земного, ибо он обладает счастливым свойством пугать не только чужих солдат, но и своих, а дым ладана скрывает истину не хуже, чем несовершенные способы маскировки пехотных позиций.

* * *

Глеб с ненавистью посмотрел на распухший чемодан.

Война? Полбеды. О войне Глеб думал так же, как профессор Милюков. Его даже радовало, что этот человек, прославивший свое имя упрямой оппозицией правительству, словесными дуэлями с последним рыцарем дворянской идеи — Столыпиным, теперь заговорил языком патриота.

Война? Конечно, неприятно, что сорван отдых, что приходится неожиданно бросаться в беспокойную неиз-

вестность. Но ведь он готовился к войне. Ведь годы гардемаринства были теоретической подготовкой к тому, чтобы приобретенные знания уметь отдать в роковую минуту отечеству, хотя знания эти были эфемерными и сам Глеб не мог бы сказать, пригодятся ли они в боевой обстановке.

Правда, война рисовалась всегда как что-то отвлеченное, находящееся за гранью той беспечной, полной удовольствий жизни, которой жили офицеры флота.

Война подразумевалась как тяжелая неприятность, вносящая в прекрасный и налаженный ход жизни беспорядок, грязь, бестолковщину, стеснение. Она превращала пленительный, зовущий голубой морской простор в ловушку, полную неожиданностей и грозящую ежеминутно смертью.

Но она же открывала пути неслыханной в мирные дни славы. За словом «война» чудились в дымной вуали горизонтов низкие серые силуэты вражеских судов.

Вставали, окутанные плотными, остро пахнущими клубами порохового дыма и гари, видения Чесмы, Наварина и Синопа, и бронзовый шелест лавровых венков и шелковый шелест георгиевских лент, как дивная музыка, сопровождали величавые призраки прошлого. Вспоминались сейчас только эти героические даты морских побед, роковая же Цусима выпадала из памяти, как нечто случайное и неприличное.

На войне самому захудалому мичману могло подвалить небывалое счастье.

Разве не может быть случая, когда, подобравшись в туманной дымке на близкую дистанцию, удастся пустить в растерявшегося противника гремучий веер торпед? Разве нельзя одним удачным залпом каземата вкатить в бомбовые погреба неприятельского корабля хорошую порцию стали и тротила и вздыбить врага к небу огненным столпом, опадающей грудой рваного металла, расщепленных досок, раздерганных на красные волокна человеческих тел?

Наконец, разве нельзя, встретив в море подавляющие силы противника, принять неравный бой? Вне зависимости от исхода, участникам этого боя была гарантирована слава, прижизненная или посмертная, но настоящая, переходящая из поколения в поколение, из века в век, боевая слава.

Сколько таких примеров в прошлом! Отчаянная мин-

пая атака на дрянных катеришках лейтенантами Дубасовым и Шестаковым огромных бронированных турецких мониторов, бой «Весты», славная стычка парохода «Владимир» с турецким фрегатом «Перваз-Бахри», прорыв «Новика» из осажденного Артура. Картины, изображающие эти незабвенные в анналах флота подвиги, висели в залах и коридорах корпуса, напоминая подрастающему поколению моряков триумфальные дела предков. Историю этих дел знал назубок каждый кадет через две недели после поступления в корпус.

Но самое больное, что по-настоящему волновало Глеба, вызывая в нем острую вражду к упакованному чемодану, была разлука с Миррой. Утром он бросился с телеграммой к ней. Взвинченный, задыхающийся от быстрой ходьбы, он ворвался в дом и трагическим жестом, бросив перед девушкой телеграмму, схватился за голову, как должен был сделать всякий герой романа.

Но, к его удивлению, его отчаяние было встречено улыбкой.

— Ну что же делать, родной? Конечно, нужно ехать,— сказала она, смеясь, положив голову на погон Глеба.

— Но как же ты? Как же я уеду от тебя? Я не могу... Это дикая чепуха. На кой черт вся эта каша? — простонал Глеб.

— Не делай трагедии из пустяков, мальчик. Ты уедешь сегодня, я тоже через несколько дней уеду в Петербург. И там увидимся. Это все так просто и ясно.

В одно мгновенье Глеб забыл о своем отчаянии.

— Ты скоро поедешь? — спросил он, оживляясь.

— Да, лучше успеть добраться до Петербурга, пока еще можно. Если война — на железных дорогах начнется невероятная толчея. Я уже предупредила своих, что выеду не позднее пятнадцатого.

— Тогда знаешь что,— предложил Глеб,— я останусь до пятнадцатого. Ну, возьму свидетельство у врача, что болезнь препятствовала... Влетит, но что из этого? Но подумай только — вдвоем, вместе всю дорогу...

Но Мирра решительно отказалась от этого проекта. Она считала, что не нужно обострять положение. Глеб, после разговора с Кавелиной, совершенно перестал посещать лихачевский дом и при встречах на улицах холодно кланялся Лихачевым, не подходя и не заговаривая, хотя Лихачевы, по существу, не имели никакого отношения

к истории с Кавелиной. Но, возненавидев Кавелину, Глеб перенес часть этой ненависти и на неповинных Лихачевых. Видимо, деформированные слухи при содействии услужливых языков дошли и до дома, потому что мать попробовала как-то заговорить с Глебом, как будто совсем невзначай, о том, что молодые люди его возраста не всегда разбираются в женщинах, но Глеб мгновенно обрезал этот разговор.

— Зачем же давать повод разговорам и сплетням? Если мы еще уедем вместе, это причинит только лишние неприятности и тебе, и мне, и нашим родным. Я ведь говорила тебе, какую стену вражды придется нам пробивать. Зачем же ты хочешь усложнять и без того сложную жизнь? Поезжай один. В Петербурге нам никто мешать не будет. Брат совсем из другого теста, чем наши старики. Мы с ним друзья... Нам будет хорошо.

Глеб ушел расстроенный, не вполне убежденный. Во-первых, его именно прельщало открыто показать, что ему в высокой степени наплевать на мнение города; во-вторых, ему стало казаться, что Мирра намеренно избегает его. После той незабываемой встречи, когда он как сумасшедший прыгнул в окно, Мирра стала какой-то замкнутой, осторожной. Она уклоняется от поцелуев, она держится с Глебом совсем по-мужски, как товарищ, и еще с оттенком какого-то скрытого, но порой прорывающегося превосходства.

Неужели разлюбила?

Проклятый чемодан! Глеб ударил кулаком по распухшему чемоданному пузу и вышел из комнаты. Нужно было съездить к коменданту — поставить отметку на билете. В столовой Глеб наткнулся на мать. С ней сидела жена председателя судебной палаты Бубнова, стареющая провинциальная барыня, живая летопись событий и людей города. Глеб рассеянно поздоровался с гостьей и направился в прихожую. Надевая фуражку, услыхал скороговорку Бубновой:

— Вы представляете себе, Вера Платоновна? В такую минуту... и прокламации! Я всегда говорила Жаку,— так Бубнова именовала мужа,— вы слишком мягко судите. Но вы подумайте, как немцы предусмотрительны. На каждом шагу немецкий шпион... Но на заводе его встретили как следует. Его схватили там же мастеровые и передали полиции. И отлично отделали. Кажется, даже сломали руку. И, вы знаете, оказался...

Бубнова понизила голос, и Глеб не расслышал, кем оказался человек, подбросивший прокламации. Но, сходя по лестнице, он представил себе худосочного туберкулезного человека в очках и с длинными волосами, какими ему рисовались социалисты, рвущимся из рук здоровых парней. Парни жестоко бьют его, и один из них ударом тяжелого лома перебивает тонкую, беспомощную руку. Неожиданная, безотчетная пронзительная жалость к этому человеку уколола Глеба.

Быстро получив отметку и попрощавшись дружелюбно с тем же маленьким адъютантом, Глеб поехал обратно. Нужно было торопиться и до отъезда на вокзал еще раз забежать проститься с Миррой. Глеб уныло опустил голову и односложно отвечал на беспокойные вопросы Василия о войне.

— Гляньте, Глеб Николаевич, как хлопца везут,— окликнул Василий, указывая кнутовищем на подъезжающую навстречу извозчичью пролетку. Глеб нехотя взглянул и увидел на подножках пролетки с каждой стороны по висящему жандармскому унтеру. Они заслоняли тугими спинами и боками кого-то, зажатого в середину пролетки. Когда пролетка поравнялась с фаэтоном, унтер, висевший на подножке лицом к Глебу, дернулся и окаменел, вскинув упитанную морду. Другой перевернулся на подножке волчком и тоже застыл, козыряя. За его туловищем открылся в пролетке худенький, бледный, с неживыми узкими губами. Левая рука его висела на белой повязке. Голубая сатиновая косоворотка зияла разрывами у ворота и плеча.

Одновременно он и Глеб взглянули друг на друга, и Глеб, приподнявшись на сиденье, непроизвольно громко крикнул:

— Шурка!..

Фоменко шевельнул губами: по ним прошла тень улыбки; но сейчас же он отвернулся, пряча взгляд. Глеб, залившись краской нестерпимого стыда и обиды, стоял в фаэтоне, держась за спину Василия. Жандармы тупо таращили глаза на небывалое происшествие, не зная, как принять такой случай, пока один не опомнился и не зыкнул на остановившегося извозчика.

Пролетка отъехала. Глеб опустился на сиденье. Щеки его горели. Так явно высказанное презрение и вражда ошеломили его. Он не понял и не мог понять, что Шурка отвернулся по конспиративным соображениям, следуя

традиционной, переходящей из поколения в поколение, тактике не признавать знакомства после ареста. Этой тактики Глеб не знал, и ему казалось, что при всех, при Василии, при этих разжиревших жандармских унтерах, он получил от Шурки публичную пощечину. Он приехал домой расстроенный и подавленный. До отъезда на вокзал оставалось только два часа.

Через два часа начинается вступление в иную, тревожную, совсем непохожую на прожитые золотые годы, неизвестную жизнь.

* * *

Строй выпускных гардемаринов вытянулся двумя шеренгами поперек огромного зала морского корпуса. По длине зала, вдоль обеих стен, под портретами адмиралов стыли почетным караулом три гардемаринские роты.

Сто восемьдесят выпускников — корабельных гардемаринов были расставлены по ранжиру, по прочно установленному традиционному порядку. В этом порядке играли роль не только рост, но и качество гардемаринов. Правый фланг занимали лучшие, отборные — сливки флота, строевики, те, которые всегда на мостиках, на палубах, на виду, гардемарины первого сорта в количестве ста тридцати трех человек. Одним шагом строевого интервала от них были отделены гардемарины второго сорта — инженер-механики, трюмные и водолазные духи, черная кость, скромные муравьи сложной корабельной жизни. Их было тридцать восемь. И, наконец, замыкая строй, на левом фланге жались третьесортники, бесправные илоты, которые при производстве получают не вожделенное, сладко звучащее имя мичмана, а позорный чин подпоручика корпуса корабельных инженеров, гардемарины-строители, непосредственно вслед за выпуском исчезающие навсегда с блестящей поверхности жизни, закапываясь в бумажные сугробы чертежных, в дымные цеха верфей и эллингов.

О них никто не помнит, их забывают через неделю даже товарищи по выпуску, те любимчики морской фортуны, которые повседневно проносят, как драгоценные сосуды, свои победоносные, сверкающие погонами и звенящие палашами, фигуры по эсплападам Гельсингфорса, по Невскому проспекту, по Приморскому бульвару Севастополя. И если им напомнят фамилию судостроителя, това-

рища по выпуску, они поджимают губы, подымают брови и цедят равнодушно: «Д-да, как будто бы припоминаю».

Судостроителей на весь выпуск было девять. Кому же охота добровольно отрекаться от прелестей жизни? Только сумасшедшие или аскеты могут решаться на это безрадостное существование. Они сами избирают удел презрительного забвения и платят за него тем же, строя для избранных корабли, которые к моменту спуска оказываются архивными экспонатами, с малой плавучестью, с вылетающими от башенных залпов клепками и другими катастрофическими дефектами.

Сто восемьдесят корабельных гардемаринов разных сортов, объединенные пока еще в одно целое железными клещами строя, ждали внезапного выпуска.

Они стояли в мертвой тишине, а за стенами корпуса кипела и билась встревоженная накатывающимся валом военного шторма невская столица.

Но здесь было тихо. Потолок знаменитого зала развертывал над гардемаринами свой простор, как огромный белый парус, уносящий к счастью и славе.

Зал был знаменит своей огромностью и солидностью. Прочность бесконечной площади паркетного пола была испытана после капитального ремонта оригинальнейшим и остроумнейшим способом. Кто-то из высшего начальства, осмотрев только что отделанный зал, усомнился в прочности тонких рельсовых балок, заменивших чудовищной толщины корабельные сосны, поддерживавшие пол до ремонта.

— Это не балки, а спички,— брюзжало начальство.— Роту ввести — и провалится.

Обиженные строители решили наглядным способом доказать облыжность начальственных подозрений. Золотым августовским утром в зал были приведены два батальона Балтийского экипажа с оркестром.

Батальоны построились в две колонны повзводно, с законными интервалами, во всю длину зала. Оркестр отвели на хоры, где у решетки собралось начальство — строители, приемная комиссия, офицеры батальонов. Внизу, на отливающем синью из окон паркете, в интервалах между взводами, по углам зала, на середине, по диагоналям, стояли заранее заготовленные сейсмографы и другие сложные приборы для измерения колебаний. Батальоны замерли на месте по команде «смирно», не подозревая и недоумевая, зачем их расставили на этой паркетной

пустыне, где загадочно поблескивают стеклом и медью неизвестные приборы.

Но им не дали долго раздумывать. Командир первого батальона набрал воздуха в легкие и пропел с хор оглушающим баритоном:

— Батальо-о-оны!.. На месте ша-а-агом ма-а-а-арш!

Платиново мерцающие трубы оркестра ударили в стены гулким тараном Преображенского марша. Две тысячи тяжких дюймовых каблуков грянули в паркет. По залу пошел громыхающий рокот, ударяясь в потолок, разбиваясь о решетки хоров.

Зеленый мичманок, дежуривший в тот день по корпусу, тревожно округлил глаза, побледнел и незаметно прошил грудь мелкими крестиками, а председатель приемочной комиссии, контр-адмирал Колокольцев, осклабился, как нажравшийся рыбы тюлень, и воркующе сказал командиру батальона:

— Лихо они у вас ходят. Прямо слоны!

Озадаченные небывалым маршем, слоны балтийского экипажа, наливаясь кровью, грохали в пол с точностью метронома. Удары били залпами:

— Батальо-о-ны!.. На месте ша-а-агом ма-а-а-арш!

Сатанея, звенел оркестр, и командир батальона, с отвисшей внезапно челюстью и осоловелыми, как у мышиного жеребчика, разглядывающего ножки балерин, глазами, перегнулся через перила решетки и, утеряв ясность голоса, исступленно прохрипел:

— Ножку!.. Крепче ножку, ребята! По две чарки, молодцы!

Гром усилился. Казалось, качается все здание. В рядах батальонов началось странное, непозволительное шевеление. Головы заводных слонов, устремленные по уставу прямо вперед, стали оборачиваться назад к хорам, лица бледнеть. Люди поняли, но продолжали с отчаянием безысходности грохотать каблуками.

Двадцать минут продолжался этот страшный неистовый марш на месте, все оглушительней, все быстрее темпом, пока Колокольцев не махнул с испугом рукой. Оркестр смолк, оборвался грохот. Батальоны вывели из зала. Проходя коридорами к выходу, матросы во всю глотку матерились. Взводные делали вид, что не слышат.

В зале сутулый поручик корпуса корабельных инженеров, единственный офицер, находившийся внизу для наблюдения за приборами (кого же еще можно было

оставить с матросами, обрекая на гибель в случае обвала, как не третьесортного офицера!), зябко пожимая плечами, рассказывал обступившему начальству:

— Прямо не знаю, господа, как выдержал. Весь пол плясал, как пружинный матрац. Вверх... вниз... Точно качели, ей-богу. Я сперва все же следил за приборами, а потом плюнул, закрыл глаза и только жду... вот-вот пролетим в первый этаж. Дрожу, как лист, и «Отче наш» читаю... Девять раз прочел, ей-богу.

А на улице в рядах уходивших батальонов по шеренгам глухо перекатывалось:

— Это что же, братцы? До чего драконы, сволочи, додумались!

— Нашим братом балки пытать?

— Погоди, мы ихнего брата тоже под балки положим.

И в первый раз офицеры не оборвали недопустимые разговоры в строю, шли молча, кусая губы и бледнея.

С тех пор под тягучую томность вальсов и резвый дребезг мазурки безопасно носились по залу во время корпусных балов крепкие ноги гардемаринов и маленькие в шелковых туфельках ножки институток. С тех пор спокойно устраивались в зале парады и разводы — знали, что если балки выдержали топот двух батальонов грузной, набитой кашей и щами, матросни, то легких, подвижных, призванных повелевать, выдержат безусловно.

По строю гардемаринов словно прошелестел ветер, шатнув его. Выравнивая ряды, повелительно хлестнула команда. Корабельные гардемарины вытянулись, вскинули головы, три гардемаринские роты с тупым плеском взнесли перед собой стальной частокол штыков.

За дверью зала, в дымной глубине коридора, зашелестело, зашаркало, тускло блеснуло золотом, муаровой радугой лент. Торжеством, триумфальным величием встречи обрушился оркестр. И директор корпуса, славный рассеянностью и чудачествами, высоко подняв плечи с адмиральским орлом (был произведен всего месяц назад), плавно скользнул по паркету туда, к дверям, в блеск золота, в переливы муаров, и отлился неподвижной черно-золотой статуей, рапортуя.

Низкорослый, в мешковатом мундире, с эполетами капитана первого ранга, с голубой мерцающей рекой Андреевской ленты, с неуловимым лицом в бесцветной пепельной пене бороды и усов, прослушав, протянул руку, принимая четвертушку строевого рапорта. Прошел мимо

отступившего адмирала на середину зала. Гардемаринские головы плавно поворачивались за его движением, как башни за вражеским кораблем.

За низкорослым, почтительно клоня к нему голову, шел худой, подобранный, с лицом инока Осляби, морской министр генерал-адъютант Григорович и, отступя, безликая золотоплечая, золотогрудая мешанина свиты.

Остановившись, мешковатый капитан первого ранга повернул голову к Григоровичу, тихо сказал что-то. Министр почтительно согнул спину, отвечая. Со стороны строя было смешно смотреть на каучуковое сгибание полного адмирала, сурового старика, перед младшим в чине. Но над капитаном первого ранга учинила злую шутку история. Его венценосный родитель, Александр Третий, внезапно почил, опившись в Ливадии, не успев произвести возлюбленного наследника в генеральский чин. Это было непоправимо — по закону царствующий император не мог сам себя повышать в чинах. И самодержец всероссийский двадцатый год вековал в штаб-офицерах, как забытый в провинции и обойденный замухрышка, командир какого-нибудь Обдерилаптинского полчка. От этого, от сознания своей воинской ничтожности, на парадах он всегда смущался в окружении генералитета, сбивался с ноги, сердито покашливал, по-ефрейторски разглаживая усы вывернутой ладошкой.

И сейчас, проведя пятерней по усам, невнятно сказал, когда смолк оркестр по знаку министра:

— Здравствуйте, господа гардемарины.

И вздрогнул от дробного раската:

— Здрав... жлаем... ваш... императст... во...

Самодержец переступил с ноги на ногу, как будто жали новенькие ботинки. Путаясь пальцами, полез за подкладку треуголки, скосив туда глазом. Сказал, не подымая головы:

— Господа гардемарины! По случаю посещения нашей дорогой родины главой союзной нам Франции, президентом Французской республики, признали мы за благо произвести выпуск офицеров флота ранее установленного срока. Надеюсь, что вы будете служить матушке-России так же доблестно и честно, как ваши старшие товарищи... Будьте строги, но справедливы с подчиненными и уважайте ваших начальников. С верою в милость божию храните честь нашего славного андреевского флага в грозную для Руси минуту... Поздравляю вас офицерами...

Император запнулся... Возможно: хотел сказать еще привычное: «Подымаю бокал за ваше здоровье». Фраза лезла сама на язык, хотя бокала и не было.

Но гардемарины приняли заминку за окончание речи. Ревущее «ура», поддержанное грузными колоннами аккордов гимна, поплыло над строем. Николай растроганно обмяк, вынул платок, сморкнулся и пошел к выходу. «Ура», отпрыгивая от потолка, грохочущими комьями валилось на начинающее лысеть темя самодержца.

Строй треснул, сломался, рипулся. Гардемарины гурьбой бросились по коридору, на почтительном расстоянии провожая державного вождя флота нечленораздельным, надрывным воем. Глеб заметил, как, неистово работая локтями, проталкиваясь вперед, разевал рот, чернея от прилива крови, Бантыш-Каменский. Постепенно замедляя шаг, Глеб отстал. Тот холодящий нервный подъем, с которым он ждал, стоя в строю, появления императора, внезапно исчез. Бежать и орать «ура» рядом с Бантышом не хотелось.

Ярко припомнилось, как в комнате Мирры на него полезла из волшебной зеленой полумглы подхихикивающая истасканная физиономия Бантыша, и от этого стало томительно противно. Глеб совсем отстал от гардемаринской толпы и пошел в курилку. У входа услышал нагоняющие шаги и обернулся.

— Чугунка? Ты что, тоже сбежал?

Беловолосый, круглолобый, розовый Чугунов пренебрежительно махнул рукой, догнав Глеба.

— А ну их... Не офицеры, а вологодская плотва по первому году. Топочут по коридору, как бараны. Неужели нельзя сдержанней?

— Узнаю вашу милость,— улыбнулся Глеб.— Как всегда, «принципиально против».

— А что? — запальчиво надвинулся Чугунов, все же понижая голос, хотя в курилке было пусто.— Разве не комедия? Два часа морили в строю, как истуканов. Зачем? Две минуты послушать, как величество мямлит словеса, заглядывая в шпаргалку на дне треуголки? Скука... Из года в год одно и то же... Хоть бы для такого случая новый текст придумали... А мы, как ишаки, «уру» ревем.

— Ясное дело,— поддразнил Глеб.— И чего только ты молчал? Вышел бы из строя и сказал: «Ну, отойдите, ваше величество. Не выходит у вас. Вот я, гардемарин Чугунов, сказану...»

— Идиот!..— обиделся Чугунов.

— Не сердись, Чугунка. Я шучу... Ты прав — тоскливо.

Оба молча закурили.

Глеб действительно чувствовал щемящую, подступающую слезами, тоску. Жданная годами радость производства, до которого тщательно отсчитывались годы, месяцы и дни, перед которым тускнели все другие события гардемаринского существования,— была грубо скомкана, смята, раздавлена этим неожиданным выпуском в верчении военных вихрей, уже колебавших страну. Все произошло мгновенно, наспех и не так, как представлялось. Даже вместо чаянных мичманских мундиров с эполетами пришлось встать в строй в будничных кителях, и от этого церемония тоже выглядела буднично и тускло. И вместо двухнедельного веселого гулянья предстояло через трое суток выехать в Севастополь. Отсрочки не могло быть.

Только три дня в Петербурге. Сегодня шестнадцатое июля — значит, девятнадцатого уже в вагон. Но ведь Мирра будет в Петербурге только восемнадцатого. Что же, удастся пробыть с ней два неполных дня? Но это ж невозможно! Что делать? Может быть, проситься остаться в Балтике? Нет! Поздно и неудобно. Весь год он только и говорил о Черном море, вакансия давно выбрана. Если менять теперь, нужно ставить все адмиралтейство вверх ногами. Но для этого у него нет достаточно сильной протекции. Так — откажут, а обращаться за помощью к имеющим руку в министерстве — противно.

«Эх, и упек же я себя!» — отчаянно подумал Глеб, грызя мундштук папиросы. Чугунов внимательно смотрел на хмурое лицо Глеба.

— Что с тобой, Глебка, если не секрет? Ты плохо выглядишь.

Годы корпуса связали Глеба с Чугуновым ниточкой доверчивой юношеской привязанности. Чугунов, как и Глеб, ехал на Черное море, и это еще больше сближало. И Чугунов был одним из немногих серьезных, не ветрогонных юношей и внушал Глебу уважение, несмотря на забавную внешность.

— Так,— ответил Глеб, жалко улыбнувшись,— непонятное что-то, Чугунка. Нужно бы радоваться, а я... видишь... Пустота и смятение. Как будто вытряхнули все из меня и остался пустой футляр.

— А чему особенно радоваться? Радоваться после будем, когда отвоюем. У морского царя на дне весело будет. Садко на гуслях играет, и моржи затыкают задницы льдом во избежание тумана.

— Может быть, все-таки до войны не дойдет? — сказал Глеб и сам удивился, как он, только что выпущенный гардемарин, безотчетно хочет, чтобы вся кружащаяся сумятица событий кончилась мирно.

— Держи карман шире,— буркнул Чугунов,— а для чего тебе в спешном порядке надели мичманские погоны сегодня, а не подождали пятого октября? Почему высокий гость, мусью Пуанкаре, стремительно плывет сейчас на «Франс» через Каттегат, чтобы добраться вовремя до дому? Почему австрийцы громят Белград, а мы объявили вчера мобилизацию? Будь спокоен, когда мы сядем в вагон, на границе уже будет мордобой. Флот фактически мобилизуется, заградители с полным запасом мин под парами. Нет, голубчик, рыбки уже виляют хвостиками, чуя вкусное мичманское мясцо.— Он встал и положил руку на плечо Глеба.— К бою, мичман!.. открыть погреба!.. башни на правый борт!.. Дистанция... А, все равно. Раздумывать нам с тобой не полагается. Казенное имущество — куда повезут, туда и поедем. А если не сгорим в огне и в воде не утонем, тогда...

— Что тогда? — спросил Глеб, взглянув на замолчавшего Чугунова.

— А тогда и увидим, что вырастет... Ты что намерен делать вечером? — спросил Чугунов, явно желая переменить тему разговора.

— Право, не знаю. Собиралась компания к Додону вспрыснуть погончики, но мне что-то неконвенабельно.

— А хочешь — поедем к нашим? Я тоже не имею желания праздновать в такой обстановке. У нас будет посемейному тихо. Мама, сестры да мы с тобой. Хочешь?

Глеб с благодарностью принял приглашение. Ему хотелось простого домашнего тепла, ласковой семейной тишины. Буйный ресторанный кутеж выпускных мичманов, который наверняка закончится уличным скандалом и поездкой к женщинам,— показался отвратительным.

. . . .

Каменный окоп Невского проспекта, выдолбленный в тусклых, серых массивах домов, охраняемый с обоих концов часовыми — башнями Адмиралтейства и Нико-

лаевского вокзала,— непривычно бушевал звуками и красками.

Трехцветные флаги в кронштейнах и на балконах нежно трепетали, как присевшие отдохнуть на домах огромные бабочки. В окнах, у балконных решеток, на панелях всеми цветами полыхало людское множество. Панели, по которым любило чинно, без помехи, прогуливаться в свои часы петербургское чиновничество, были сейчас забиты человеческим месивом, плотным, как шпроты в банке. Толпа стискивала и плющила людей.

И в стиснутых руках, повисая на сломанных в давке стеблях,— белые, алые, синие,— пестрели по всему проспекту цветы, цветы, цветы.

От множества цветов в июльский жар над проспектом подымалось ароматное удушье, и между расцвеченными панелями по мостовой текла бесконечная, шумная, мутно-зеленая река, накатывая правильные волны. Солнце над золотеющей пикой Адмиралтейства рябило эти волны тусклым стальным мерцанием штыков.

По смоленскому пластрону торцов, вместо льстиво-пристойного шелеста дутиков и автошин, гулко и грубо, крича о силе, устрашающе грохотали кованые колеса лафетов и зарядных ящиков, каменным рокотом прибоя бо-цали сапоги тысяч.

Золотом песчаных отмелей сверкали в этой зеленой реке трубы оркестров, и торжественный ритм маршей колыхал дома, людей, весь проспект от края до края.

Петербург, Санкт-Петербург, столица империи, провожал свою гвардию. Гвардия уходила на фронт, неузнаваемо обесцвеченная серой зеленью защитных рубах, потерявшая волнующий блеск и яркость мирной раскраски. Но от этого она казалась петербуржцам суровее и величавее, похожей на ряды римских легионов, идущих завоевывать мир.

И Санкт-Петербург не щадил для своей гвардии цветов, улыбок и легких.

Безостановочное, уже хриплое, но все так же восторженное «ура» лилось из окон, с балконов, панелей вперемежку с цветами. Цветы падали крупным, радужным, душистым ливнем, устилая торцы мягким живым ковром, чтобы ногам гвардии было легче шагать по пути побед. Цветы пылали в петлицах гимнастерок, за походными ремнями, на погонах, кокардах, винтовочных дулах.

На лафетах проходящих орудий лежали охапки цветов, и черноглазый хорошенький мальчик, подпоручик лейб-гвардии конно-артиллерийской бригады, гордо высился на новом скрипящем седле перед взводом, без фуражки, в бело-золотом венке нарциссов, брошенном ему с панели девушкой в голубой соломенной шляпке.

Гвардия уходила на фронт. Она имела право на внимание и любовь Санкт-Петербурга, размеренный покой которого она охраняла доблестно и верно в течение двухсот лет от всяких бурь. Гвардию нарочно вели на вокзал главной артерией Санкт-Петербурга, а не второстепенными улицами Питера, чтобы зрелищем восторга и преклонения петербуржцев изгладить из памяти гвардии обиды, понесенные ею несколько дней назад от жителей Питера, неблагодарных и невоспитанных, не умеющих оценить защитников родины.

В захудалых питерских кварталах гвардию также встречали плотные толпы людей, но у них не было достаточно такта, чтобы, расступясь по панелям, оставить гвардии широкий свободный путь. Они загораживали улицы поперек своими телами и трамвайными вагонами. Их крики были тоже громки, но грубы, в них отсутствовали ласковые интонации. В гвардию вместо цветов летели бутылки, вывороченные из мостовой булыжники и даже револьверные пули. Бестолковая чернь застав не хотела понять, что гвардия — соль земли, надежда и любовь Санкт-Петербурга, главный оплот столицы и России.

Гвардия была жестоко обижена этим невежеством, и нужно было дать ей последнее удовлетворение встречи с теми, кто понимал, как нужно провожать на боевую страду самых верных, самых избранных рыцарей русской земли.

И выходившая из казарм с хмурыми еще от огорчения лицами гвардия расцветала, проходя по Невскому, под беспрерывным дождем криков, цветов и улыбок.

Любовь Санкт-Петербурга щедро проливалась на нее, как весенний теплый проливень на распаханный чернозем.

Глеб стоял в безнадежно застрявшей у Главного штаба пролетке, держась за пухлое плечо извозчика, и смотрел на бесконечное шествие гвардии. Переехать через Невский нечего было и думать. Санктпетербуржцы разорвали бы в клочья каждого, кто осмелился бы нарушить

триумфальный порядок этого шествия их гвардии, невзирая на офицерские погоны нарушителя.

— Не выйдет, васясь,— сказал извозчик, оборачиваясь.— Гляньте, что делается. Идет Русь-матушка на немца всей силой.

— Объезжай через Марсово поле,— с досадой приказал Глеб.

Он бессознательно относился в этот момент к гвардии почти так же, как отнеслись к ней на питерских заставах. Он, правда, был далек от того, чтобы выворачивать из мостовой булыжники, но гвардия была для него неприятной помехой, она загородила ему путь к Мирре.

Но, объехав кругом и приближаясь по Литейному к углу Невского, он увидел, что и здесь сбита такая же плотная толпа. На этом перекрестке гвардия сворачивала с Невского на Владимирский и Загородный, к Царскосельскому вокзалу.

Выругавшись, Глеб расплатился с извозчиком и, проложив дорогу через толпу, перебежал мостовую под мордами лошадей гусарского эскадрона. Гусары с презрительными усмешками смотрели на мичмана, бегущего перед лошадьми. Флот, в лице Глеба, вынужден был торопиться, чтобы не попасть под копыта армии.

Выскочив на тротуар и резко расталкивая толпящихся петербуржцев, Глеб вышел наконец на Троицкую. Здесь было свободно. Размашисто, почти бегом, Глеб добрался до Пяти углов.

Угловой шестиэтажный дом давил и разглаживал перекресток серым, громадным утюгом. Острой грудью, стеклянными выступами фонариков он победно раздвигал, оттесняя в расступившиеся пять улиц, унылые каменные коробки, не достигавшие окон его пятого этажа.

Гранитным мысом он входил в пространство города, высоко вздымая шпиц своей башни, как знамя неудержимой купеческой экспансии, орифламму золотого мешка, беспощадно наступающего на оробелое и притихшее, закопченное стадо дворянской архитектуры, на прошлое имперской столицы.

Зеркальные овалы двери подъезда бесшумно раскрылись перед Глебом. Пышная борода Черномора распласталась по ливрейной груди в низком поклоне.

— Бельэтаж, направо, ваше высокоблагородие.

По суконной красной дорожке Глеб взбежал в бельэтаж, позвонил. Голубая горничная в наколке впустила

его, оценив внимательным и опытным взглядом, попросила в комнату, откидывая портьеру. Глеб вошел в серо-голубой уют матовых обоев и кожи. Посреди комнаты стоял человек, чертами лица очень напоминающий Мирру. Та же легкая неправильность лица, длинные ресницы, только все определеннее, тверже.

— Семен Григорьевич? — спросил Глеб.

— Так вот вы какой,— не отвечая на вопрос, сказал человек.— Я знаю вас по письму Мирры. И сегодня, не успев положить чемодан, она стала рассказывать только о вас. Очень рад познакомиться. Конечно, приятнее было бы встретиться в более спокойное время, но что делать... Курите? Может быть, сигару? Вероятно, вскоре с сигарами придется проститься...

Он предупредительно подвинул Глебу ящичек.

— Спасибо,— отказался Глеб.— Так Мирра Григорьевна приехала?.. Она дома?

Нейман понимающе, но вполне корректно улыбнулся, смотря через плечо Глеба.

— Если вы обернетесь...— сказал он с поклоном, и Глеб услыхал сзади шорох, бросивший его в жар.

В дверях он увидел Мирру. Смущенно и неловко поклонился.

— Мирра Григорьевна...

Но нежданный жаркий, душистый вихрь налетел на него, смял, завертел, повис на нем опьяняющей тяжестью.

— Ну, здравствуй же... здравствуй... Ну что? Ты даже не хочешь меня поцеловать?

Девушка, хохоча, тормошила опешившего Глеба.

— Глебушка... Какой ты смешной! Ты язык потерял? — болтала она, вися на Глебе.

Глеб с беспомощным испугом взглянул исподлобья на Неймана.

— Умываю руки... Не сестра, а разбойник,— засмеялся Нейман.— Впрочем, Глеб Николаевич, я в курсе дел. Можете не брать меня в расчет.

— Ну... Ты и после этого будешь стоять такой смешной чучелкой? — спросила Мирра, приближая лицо, и тогда Глеб еще неловко и чрезмерно громко чмокнул ее в щеку.

— Садись,— Мирра насильно повлекла его к дивану.— Рассказывай... Нет, лучше я буду рассказывать... Я жалею, что не поехала с тобой. Какой ужас в дороге! Вагоны переполнены, грязь... на всех станциях стоим...

все забито... и эшелоны... без конца эшелоны... Плач, вой, страшно. В Москву опоздали на восемь часов... Только случайно попала в курьерский... А ты как? Тебя отпустили? Надолго?

Завороженно смотря в глаза девушки, слушая щебет, Глеб сразу вспомнил при этом вопросе, что завтра отъезд. Бесповоротный, неотложный отъезд. У него захватило дыхание. Тихо сказал:

— Мирра... Я завтра еду...

Девушка откинулась, не понимая. Пальцы ее сжали руку Глеба.

— Едешь?.. Куда?..

— В Севастополь. Ведь война же,— еще тише выговорил Глеб, как будто оправдываясь, хотя оправдываться было не в чем.

— Постой... я ничего не понимаю. Как же... ведь ты говорил — до октября?..

Глеб молча и с ненавистью щелкнул пальцем по мичманскому погону, по так долгожданному мичманскому погону.

— А что? Я не понимаю...

— Да ведь нас же досрочно произвели... Дали три дня. Завтра я должен выехать.

Девушка прижалась к нему. Губы детски недоуменно и тоскливо дрогнули.

— Глебушка... Этого не может быть. Я так мечтала — приеду, будем вместе бродить по Петербургу, ты будешь мне все показывать. Помнишь, я говорила тебе, что бредила Петербургом... Как же так?.. Не мучь меня. Неужели нельзя отложить?

Глеб усмехнулся. О, если бы была какая-нибудь возможность!.. Но что мечтать впустую!

— Ничего нельзя сделать, Мирра... Ничего.

Она вскочила и подбежала к брату.

— Сеня... Что же это такое? Ну, неужели ты ничего не можешь придумать? Ты же юрист...

Нейман пожал плечами.

— Я юрист, а ты ребенок. Ведь Глеб Николаевич военный. Он же не ратник второго разряда, чтобы я мог выхлопотать ему отсрочку. Война!

Мирра отвернулась. Плечи ее поднялись уголками.

— Двое мужчин — и ничего не могут придумать. Хороши!

Глеб взглянул на Неймана. Оба засмеялись.

— Единственный выход,— сказал Нейман,— купить Глебу Николаевичу в Вяземской лавре липовый паспорт и отправить его в тайгу. Или внести в Государственную думу срочный законопроект о пожизненном освобождении офицерского корпуса флота от воинских обязанностей...

— Ты все шутишь,— упрекнула Мирра,— но ведь это Глеб уезжает завтра... Завтра!..

— Шутит или не шутит Семен Григорьевич,— уныло сказал Глеб,— а ехать нужно,— и ничего не сделаешь.

Мирра обернулась к нему.

— Ты очень нехороший. Но я беру тебя в плен до самого отъезда. Ты никуда не уйдешь от нас и останешься ночевать... Правда, Сеня?

— Конечно, Глеб Николаевич. Не стесняйтесь. Квартира просторная — места хватит.

— Но у меня же все вещи в корпусе,— попробовал возразить Глеб. Но возражал больше для приличия. Возможность пробыть с Миррой до конца была заманчива.

— Ерунда! Сейчас мы с тобой отправимся бродить по Петербургу. Я хочу хоть в первый раз посмотреть его вместе с тобой. А потом ты заедешь за вещами и вернешься к нам. Идем.

По Загородному все еще текла зеленая река гвардии, звенела музыка и гремело «ура».

— Я не хочу на это смотреть,— болезненно зажмурилась девушка.— Куда-нибудь подальше, где тихо и нет людей.

На углу Московской они нашли лихача.

Серый рысак пролетел Марсовым полем, прогремел мостом и, стрекоча копытами по торцу, помчал Каменноостровским.

Весь остаток дня они носились по островам, обедали на Стрелке и только к вечеру направились обратно в город. Усталый конь шагом пошел через Елагин мост.

— Вот,— сказал Глеб,— это место внушило Блоку те стихи, которые я тебе прочел в день нашей встречи у Лихачевых.

— Да? — Мирра с интересом посмотрела на мост и часовенку.— Это и другое, помнишь? «Вновь оснежённые колонны, Елагин мост и два огня. И голос женщины влюбленный. И хруст песка и храп коня»... Как странно... Когда-нибудь умрет Блок, забудется многое из его стихов, а вот мимо этой часовенки будут, как и прежде, проез-

жать тысячи влюбленных и вспоминать эти строчки, пьянея грустью.

Она оглянулась. Мост был пуст, только две старушки ковыляли через него. Мирра вытянулась и крепко, жадно поцеловала Глеба.

— Ты ведь останешься жив для меня? Правда, родной?

Глеб невесело усмехнулся.

— Если бы это зависело от моего желания... Впрочем, на Черном море, вероятно, будет спокойно. Будем плавать, как в мирное время, и завидовать балтийцам.

Но, сказав, почувствовал, что никакой зависти к балтийцам не испытывает,— наоборот, сердце радостно билось от сознания, что Черного моря вряд ли коснется война.

Отвезя Мирру домой, он в одиннадцатом часу поехал за вещами. По корпусу бродили сонными мухами несколько обездоленных мичманов непетербуржцев, не имеющих пристанища в городе и застрявших до выезда на корпусном пепелище. Наскоро простившись с ними, Глеб погрузил чемоданы и помчался на Загородный.

В столовой он застал Мирру и Семена Григорьевича за столом. Нейман был во фраке.

— Вы почему в таком параде, Семен Григорьевич? — спросил Глеб.

— Сейчас еду вместе с патроном к одному его клиенту. Никифиров... Может быть, слышали — мануфактурист?.. Возрадовался купчина, что запахло жареным, и устраивает патриотический вечер. Наверное, на всю ночь закатимся, так что меня не ждите. Вернусь не раньше утра... Кстати, если хотите, Глеб Николаевич, я могу дать вам письмо в Севастополь к моему другу, доктору Штернгейму. Вы ведь, полагаю, будете себе устраивать пьедатерчик [1] на берегу. Мирра сказала, что вы любите рояль. А Штернгейм прекрасный музыкант и поможет вам найти место, где вы могли бы пользоваться инструментом.

Глеб поблагодарил и, закрыв дверь за Нейманом, улыбаясь, вернулся в столовую.

— Я вспомнил,— сказал он на вопросительный взгляд Мирры,— как ты ошеломила меня утром встречей. Я думал, нам придется играть роль знакомых, разговаривать

---

[1] пристанище.

«на вы», и вдруг... Я просто ошалел, не зная, как к этому отнесется Семен Григорьевич.

— Я же говорила тебе, что он совсем другой. Он простой, мы с ним друзья, и он мешать не будет. Это его принцип. Он никому не мешает и требует, чтобы ему не мешали.

— Он женат? — спросил Глеб.

— Нет... если говорить об обыкновенной женитьбе. Но у него есть большой друг — художница. Она замечательная. Сеня приезжал с ней два года назад к нам. Жаль, ты ее не увидишь, она сейчас на Кавказе.

Они вышли из столовой на балкон. Белые ночи шли на убыль. В полночь было уже почти темно, но фонари на улицах не зажигались. Внизу все еще шумела людская толчея взбудораженной первым военным днем столицы.

Голубоватый полусвет, похожий на сияние луны сквозь туманную дымку, дрожал над улицей. В неровный шум улицы вошло неожиданно мерное шарканье и позвякиванье. Мирра круто повернулась по направлению к этим приближающимся звукам.

Со стороны Невского подходила какая-то пехотная часть. Гвардия продефилировала по столице днем, на глазах у петербуржцев, в ярком солнечном свете, грозная, непобедимая. Ночью погнали к вокзалам пасынков — армию. Уставшая за день публика равнодушно смотрела на серые шеренги, не имея уже сил кричать. И цветы были все израсходованы на гвардию.

Взводы пехотинцев шли медленно и устало. Едва различимые с балкона лица казались бледными, призрачными. Глухо шаркали по мостовой сапоги, мерно позвякивали котелки и саперные лопатки.

Мирра всей тяжестью налегла на плечо Глеба, глаза ее испуганно раскрылись.

— Глеб... Что это? Мне страшно...

— Что ты? Это же солдаты,— успокаивающе сказал Глеб, не понимая причины внезапного испуга девушки.

— Мне показалось... помнишь ту ночь... арестантов? Совсем как тогда. Тот же голубой туман... пыль, шарканье, звяк кандалов. И такие же согнутые, несчастные, и их гонят, гонят... Куда, Глеб? Зачем?

Глеб молчал. Ему нечего было ответить. Он не мог ответить.

Солдаты скрылись. Рассеивая ночной бред, опалами вспыхнули дуговые фонари. Лилово дымясь пылью, улица засияла.

— Идем в комнату,— сказала Мирра,— мне почему-то тяжело здесь.

В гостиной на рояле лежали ноты.

— Смотри,— Мирра взяла знакомую Глебу тетрадь,— я привезла из дому. Я думала, что ты не раз сыграешь мне ее здесь. А теперь возьми себе. Если захочешь вспомнить обо мне, сыграй в Севастополе.

Глеб взял тетрадь. Наклонился, целуя руки девушки. Когда поднялся, увидел — на ресницах дрожат слезы.

— Не нужно,— шепнул он,— мы же вместе. Все хорошо, все пройдет.

Она положила руки на плечи Глеба.

— Это так... это ничего... от счастья. Ты понимаешь, что я люблю тебя на всю жизнь?

Глеб молча привлек ее к себе. Она осторожно освободилась.

— Пора отдохнуть. Завтра у нас еще целый день.

Мирра позвонила. Голубая горничная появилась на пороге.

— Дашенька, покажите Глебу Николаевичу его комнату и можете ложиться.

Горничная провела Глеба в приготовленную комнату. На диване белела постель. В книжном шкафу смутно золотились корешки книг. Глеб зажег лампу, подошел к шкафу. Слева на полке стояли томики Пушкина. Глеб рассеянно вынул один, раскрыл, перелистал несколько страниц. В глаза кинулось:

Для берегов отчизны дальной
Ты покидала край чужой...

Внутренне холодея от волнения и восторга, он прочел напоенные горечью разлуки стихи и осторожно, как святыню, поставил книгу на место. Достал из чемодана полотенце и умывальный прибор, снял китель и тихо прошел по коридору в ванную. Возвращаясь в комнату, услышал из-за двери тихий оклик:

— Это ты, Глеб? Я хочу, чтобы ты сказал мне «спокойной ночи».

— Я без кителя,— ответил Глеб,— сейчас оденусь — приду.

— Не нужно. Иди так.

Глеб открыл дверь. На подушках, затененная высокой спинкой кровати, смутно темнела голова.

— Сядь здесь,— показала Мирра рукой на краешек кровати.

Глеб осторожно сел. Сердце стало стучать гулко и медленно, кровь во всем теле густела, как мед. Хотелось сказать что-нибудь, но язык, отяжелев, не повиновался. Дремотная певучая тишина властвовала комнатой.

Заговорила Мирра:

— Я ничего не понимаю, Глеб... Мне смутно. Такая горькая тяжесть ложится на мои, на твои плечи. Я смотрела по дороге на отправлявшиеся эшелоны. Как рыдали бабы... как угрюмо смотрели солдаты, как все было странно! И я подумала, что нас многому учили, но не научили чему-то самому главному. И меня, и тебя, и всех не научили, как сделать так, чтобы не было войны. Ты не знаешь?

— Нет,— тихо ответил Глеб, припадая головой к легкому шелковому одеялу и чувствуя под его тканью такое же тревожное биение другого сердца.—Нет, я не знаю.

— Но ты же должен знать — почему война! Ты учился воевать? Если ты знаешь, как начинается война, может быть, вместе мы придумаем, как сделать так, чтобы ее не было. Как сделать так, чтобы мы были счастливыми?

Что мог ответить Глеб? Он не знал, почему начинается война. Он думал, что немцы напали на Россию и Россия должна защищаться. Но из этого знания ничего нельзя было извлечь. Как сделать так, чтобы немцы не нападали на русских, а русские на немцев,— он не знал.

Он держал в своих руках теплые, трепещущие руки, доверчиво отданные ему, но он не знал, как положить в эти руки жар-птицу — счастье.

— Не знаешь,— печально прошептала Мирра.— И я не знаю. Какие мы глупые и несчастные! Ну, хоть расскажи, как ты любишь меня.

Но об этом разве можно было сказать словами, когда кровь струилась золотым, тяжелым благовонным медом? И был только один путь. Глеб встал, подошел к окну и резко рванул вниз штору. Ощупью вернулся в блаженный мрак, в пьяную теплоту.

* * *

Гремя, звеня, вздрагивая, наматывалась на бесконечный барабан за окном вагон-ресторана убегающая назад панорама. Поля — перелески... перелески — поля. Бесцветные плоские пятна деревень. Под железным гулом мостов сверкала рыбья чешуя лениво ползущих равнинных речонок.

Золотое пламя колосьев, сухо шипя, колыхалось над полями, зеленое пламя берез металось вдоль поезда, шурша и трепеща.

Путь от Петербурга до Курска прошел для Глеба, как сон. Он не замечал ничего. Он жил еще Петербургом, ночью, пролетевшей синей птицей, сумасшедшим волшебным мраком, шепотом, бредом, поцелуями, немыслимым, горячим земным счастьем.

Во время шестичасовой стоянки в Москве он даже не вышел в город и все это время пролежал в купе, в вагоне, загнанном в тупик, в блаженной истомной одури, с закрытыми глазами, с опьяненной улыбкой, вспоминая все, что до краев переполнило его густой медовой сладостью.

Он еще ощущал воздушную легкость рук, замкнувшихся вокруг его шеи на вокзале в последнюю минуту, перед третьим звонком. Какое это было прощанье! Замедли поезд тронуться — он не выдержал бы. Он выскочил бы из тамбура вагона и остался бы в Петербурге. Лишь бы не расставаться с Миррой, а там — хоть трава не расти.

От хрустящего полотна кителя еще веяло чуть уловимым дыханием духов, томительным запахом счастья, и, склоняя голову к плечу, Глеб жадно ловил этот головокружительный, ускользающий аромат.

Он был рад, что Чугунов уехал побродить по Москве, оставив его одного переживать воспоминания без помехи. Накаленная солнцем коробочка двухместного купе была для него надежным убежищем, где он мог замкнуться от грубого шума и сумятицы мира.

Но и в эту колдующую тишину бездумья незаметной ядовитой струйкой просачивалась тревога.

Глеб чувствовал усталость от мыслей, совершенно непохожих на прежние его думы.

Те были легки, возникали и исчезали, не остав-

ляя следа, как проходят по песку воздушные тени облаков.

«Поехать к Дюссо — заказать пару замшевых перчаток?.. К Вишневецким или к Изюмовым пойти в воскресный отпуск?.. Словчиться удрать от шлюпочного ученья»... «Вывезет или не вывезет на экзамене по навигации?.. Пришлют ли гардемаринам билеты на бал в Гельсингфорсской ратуше?» — таков был маленький реестрик повседневных, необременительных помышлений.

Все это улетело бесследно, подхваченное гремящим ураганом.

Разговор с Миррой во время прогулки, нелепое происшествие с Шуркой Фоменко, щуплая фигурка бывшего приятеля между двумя жандармами в пролетке, эрцгерцог, ультиматумы, выпуск, война — все это накатывалось ревущими волнами, и каждая следующая волна была огромней и грозней предыдущей, и где-то вдали чудился еще неразличимый и непонятный, но сокрушительный и веющий гибелью девятый вал.

Несложный кустарный аппарат мичманского мышления скрипел и разваливался. Череп ломило от неуклюжих, топорных, колючих дум. Они лезли в голову, невежливые, непрошеные, настойчивые, и не было уменья расставить их по местам, установить какую-либо очередь и последовательность, справиться с их бушующим хаосом.

Со всех сторон буйствовал и бесился шторм, вихрастые, рваные клочья грозовых туч лезли на горизонт, и самое лучезарное счастье казалось непрочным, как летучий аромат духов на ткани кителя.

Все это было похоже на внезапную аварию рулевого управления. Вместо привычного и несложного действия штурвалом нужно было переходить на рискованное и тяжелое управление машинами в минуту, когда бешеные удары взбесившейся воды в скулы корабля ежесекундно сваливают с курса. Требовалось громадное уменье и опыт очередного использования правой и левой машин, чтобы спастись, но и правое и левое полушария мичманского мозга явно скисали, и корабль несло на буруны.

Ни уменья, ни опыта не было. Оказывалось, что прожитые девятнадцать лет были прожиты впустую. Жизнь лежала впереди голым полем, на котором нужно было строить дом неприспособленными руками, без чертежей, без материалов.

* * *

Перед Курском Глеб с Чугуновым ушли в вагон-ресторан обедать.

Неожиданно для Глеба (он знал, что Чугунов не любит пить) мичман выпил почти две бутылки вина, и его быстро развезло от жары и духоты.

Шишкастый лоб его покрылся красными пятнами, скулы выпятились. Он сидел, вобрав голову в плечи, хмурый и мрачный, ковыряя вилкой пятно на скатерти, не обращая никакого внимания на откровенно ласковые взгляды обедавших за соседним столиком дам, явно желавших свести знакомство с героическими шикарными мичманами.

Хрипло всхлипывая, как загнанная лошадь, поезд влетел на станцию. Дернулся всеми скрепами и замер. И, на смену монотонному рокотанию колес, в окна ресторана ворвался человеческий гул.

На платформе, между первым и вторым путями, все было забито людской толчеей. На втором пути стоял длинный хвост теплушек. От их кровяно-красных стенок несло парным удушьем только что освежеванного мяса. Вдоль теплушек, потные и распаренные под тяжестью скаток и амуниции, стыли солдаты. Посреди платформы, у походного аналоя, сверкали ризы священников и высилась блистающая мирта архиерея.

Глеб высунулся в окно. Архиерей взмахнул кадилом и протяжно забормотал. Солдатские руки взметнулись к стриженым головам, кладя кресты.

Хор отчаянно, с нецерковной лихостью, грянул:

— Спаси, господи, люди твоя и благослови достояние твое...

Толпа повалилась на колени.

— ...благоверному государю нашему Николаю Александровичу на супротивныя даруяй...

— ...и твое заметая хвостом твоим жульничество,— вдруг совершенно явственно услыхал Глеб. Он оглянулся. Чугунов сидел красный, выкатив глаза, и зло усмехался. Дамы из-за соседнего столика с испуганным любопытством смотрели на мичмана. Нужно было спешно ликвидировать нарастающий скандал.

— Чугунка, ты напился, как баталер,— тихо сказал Глеб.— Идем сейчас же в купе, дьявол! И молчи в тряпочку.

Чугунов послушно встал, покачнулся. Невеселая судорога дернула его рот. Он махнул рукой и нетвердо пошел из ресторана. Глеб быстро расплатился с официантом и отправился вдогонку Чугунову.

— Ты что? Обалдел? Когда ты успел надраться?

Чугунов угрюмо промолчал, не оборачиваясь. Навалившись на оконный столик, он глядел в окно на гудящий перрон. Молебен кончился, но по настороженности толпы, по напряженно повернутым головам было видно, что люди ждут еще чего-то.

И над тесно сгрудившейся массой плеч и голов внезапно вырос человек. Вероятно, он вскочил на подставленный ему стул или ящик. Глеб увидел круглую опухшую морду, похожую на морду жирного кота. Маленькие усики чернели под носом, заворачиваясь колечками. Очень темные, гладкие, как будто намасленные, волосы падали ему до плеч.

Человек повел рукою, и рокот голосов на перроне стих.

— Русские люди,— человек энергично встряхнул волосами и вздыбил усы, и в этот момент Глеб сразу понял, кого напоминает ему эта гладкая кошачья морда. Человек был явно похож, больше того — он старался быть похожим на Петра Великого.

— Русские люди!.. В грозный для нашей многострадальной матушки-Руси час приветствую вас, доблестных защитников веры, царя и отечества от лица Государственной думы и отдаю вам земной русский поклон...

Человек согнулся в пояснице, длинные волосы метнулись.

«Кто это такой?» — подумал Глеб, всматриваясь в мучительно знакомое лицо.

— Смело идите в бой за честь и достоинство нашей родины — мы, избранники русского народа, не пощадим ни имущества, ни живота нашего, чтобы добиться вместе с вами победы над дерзким врагом, вековечным противником русской идеи. Я счастлив провожать вас в Курске, который всегда был верным оплотом государства. Покажите немцам, что в Курске есть не только соловьи, но и орлы, которые разнесут мощными клювами хлипкую неметчину. С богом, за царя и веру, герои... Государю императору «ура»!..

Сквозь гул и рев голосов Глеб спросил Чугунова:

— Ты не знаешь, Чугунка, кто это? Знакомая физия.

— Четвероногое, зубр... Марков-второй,— не оборачиваясь, буркнул Чугунов.

Глеб с любопытством взглянул на прославленного черносотенного скандалиста. Марков вытер лоб платком и слез с возвышения, разговаривая с архиереем. Тонко и жалобно пропела труба горниста, и солдаты метнулись по вагонам. И сразу в вагоны полетели цветы. Они валились в раскрытые двери теплушек непрерывным радужным ливнем, и Глеб вспомнил петербургские проводы гвардии. Там был такой же ливень цветов. Было непонятно, откуда набралось такое количество цветов. Казалось, вся страна несколько лет должна была заниматься садоводством, чтобы успеть приготовить такие запасы для проводов своих героев.

Одно странное обстоятельство поразило Глеба. Цветы от щедрого сердца провожавших летели в вагоны, но погрузившиеся уже в них солдаты не обращали внимания на этот благоухающий дождь. Они столпились у противоположных дверей теплушек, спинами к провожающим. Они лезли там на плечи друг другу, толкались и кричали, выказывая полное пренебрежение к тем знакам любви, которые проявлялись толпой, заполнявшей перрон.

И еще одно показалось странным Глебу. В толпе, заполнявшей платформу, не видно было простонародья. Ризы священников, панамы, канотье, котелки, дамские шляпки, цветы в руках и на шляпках. Ни одного платочка, ни одного картуза.

Издали звонко залился паровоз. Пронзительно завизжали сцепы, теплушки рвануло, и они поползли скрипящей, скрежещущей багровой змеей.

И тогда, за ними, открылась противоположная сторона путей.

Глеб ошалел от неожиданности.

Неистовый неуемный бабий вой ударил ему в уши. За спинами выстроившихся вдоль путей городовых и жандармов метались и бились бабы. В выгоревших от солнца бабьих ресницах горько кипели слезы. Они безостановочно катились по опаленным, запудренным пылью щекам, выжигая на коже ровные нежно-розовые дорожки. Цепенящий, высокий визг висел над путями. Раскрыв рты, бабы бежали вслед вагонам, отбрасывая руки городовых, старающихся задержать бабий бег. Эшелон ускорил ход. Бабы спотыкались разбитыми ногами, валились в мазутную, пропитанную вонью отбросов пыль между путями.

Жадно цеплялись пальцами, скрюченными и страшными, за горячую сталь рельсов. Навсегда запомнилась Глебу одна старуха.

Она истово, медленно опустилась на колени, протягивая руки вслед поезду. Кажется, у нее единственной глаза были сухи, воспалены лихорадочным блеском, бесслезны. Но в них была такая сила материнского отчаяния, что у Глеба пошли нервные мурашки по спине от этого взгляда.

Вытянувшись, старуха склонилась вперед и упала головой на рельсы. Простертые вдогонку поезду руки вцепились в рельс. Рельс уходил из-под пальцев. Холодно блестя, он вытягивался тонкой нитью. Он был похож на стальную пуповину, связывающую мать с отнимаемым сыном последней дрожью, пульсацией стали под напором колес.

Тень от облака наплыла на пути, погасила стальной блеск, разорвала эту последнюю призрачную связь с кровным, насильно отрываемым, обреченным смерти, грохочущему боевому ужасу.

Глеб отвернулся от старухи и растерянно посмотрел на Чугунова. Мичман прислонился спиной к койке. Красные пятна сошли с его лба, он весь посерел.

— Ты что, Чугунка? — спросил Глеб.

Сквозь плотно стиснутые губы Чугунов процедил:

— Видал? — и, дернув головой: — Вспомнилась мне одна штучка. В Гостином дворе, под воротами, картинки продают. Сверху взглянешь — радость младенцам. Две кошечки с голубыми бантиками на шелковой подушечке сидят. А против света такое немыслимое похабство откроется — стравить хочется.

— Ты к чему это? — удивился Глеб.

— А к тому... Молебен, благолепие, архиерей, Марков-второй... «на супротивныя даруяй»... серые герои — душа радуется. А с другой стороны жандармы героевых баб к чистой публике не допущают. Православная, самодержавная... порнография! — крикнул Чугунов, качнувшись, и сел на койку.

— Тише,— Глеб испуганно взглянул в окно.— Ты совершенно пьян, чугунная голова.

— Ну и пьян... и мать его с Марковым-вторым,— вяло сказал Чугунов.

За окном торжественно прошествовал архиерей, ведомый под руку Марковым в сопровождении ризоносного

стада попов. За ними валила публика. Дама в пышной кремовой пене кружевного платья, видимо губернская львица, метнула сладкими коровьими глазами в окно на Глеба. В руках у нее жадно алели розы — львица не успела израсходовать запаса на христолюбивых солдатиков. Растекаясь в томную улыбку, она приблизилась к окну.

— Господин офицер... На память от Курска. Вы — наша гордость и надежда.

Букет влетел мимо Глеба в окно, ударился в белизну чугуновского кителя и рассыпался, как будто забрызгав мичмана огромными пятнами крови. Чугунов вскочил. Глаза его ополоумело, дурновато уставились на упавшие на коврик цветы. Он ногой отшвырнул розы под диван. Прежде чем Глеб успел удержать его, Чугунов высунулся в окно. Дама, истекая восторгом, ждала.

Чугунов заржал и спотыкающимся пьяным голосом сказал:

— Кель фамм маньифик! Вуле ву, мадам, авек ну в Севастополь?..[1] Купе на двоих, пур дез'эро, э вив л'амур!..[2]

Дама зашипела, посерела, сжалась, как резиновый чертик, и метнулась от вагона. Глеб втянул Чугунова в купе.

— Идиот собачий!.. Скандала хочешь?

Чугунов повалился на койку и повернулся к стене.

— Спать буду,— сказал он мрачно.— Я, брат, напился. Не выпускай меня, а то я еще налижусь и дебош устрою.

Глеб вышел в коридор. Навстречу шел с метелочкой проводник.

— Долго стоять будем? — спросил Глеб.

— Задерживают, ваше высокоблагородие. Впереди опять же эшалон идет. Всю дорогу завалили эшалонами. С полчаса еще простоим.

Глеб спустился на обезлюдевший перрон между первым и вторым путями. Здесь было не так жарко, как на вокзальной стороне; от вагонов лежала по асфальту тень. В глубокой задумчивости Глеб шагал вдоль поезда. Он не заметил, как выскочивший из-под вагонов, от вокзала, матрос с чайником отдал ему честь, перебегая платформу.

---

[1] Какая великолепная женщина!.. Хотите с нами, мадам, в Севастополь?..

[2] для героев, и да здравствует любовь!..

Матрос ухмылочно взглянул на задумавшееся начальство, кошачьей легкой поступью пересек пути и приблизился к какому-то отведенному в самый загон поезду.

Пробежав мимо него, матрос внезапно остановился перед одним вагоном. Он был выкрашен в ту же густо-зеленую казенную краску, как и все вагоны третьего класса, но окна его были забраны густой решеткой, и над окнами, желтая и яркая, шла надпись «арестантский».

Матрос поднял к окнам этого вагона лицо, молодое, нежно-розоватой смуглоты, с черными сросшимися бровками, с задорной волнующей родинкой под правой скулой. За одной решеткой он увидел худенького, в голубой сатиновой косоворотке, с хмуро поджатыми, неживыми губами. Он стоял, держась тонкими больными пальцами за прутья решетки, и тоскливыми глазами смотрел на шумящий вокзал.

Матрос поглядел на арестанта, потом лукаво подмигнул, с явной дружеской лаской.

— Ты кто ж будешь, дружок, щегол али кенарь, что тебя с таким форсом в клеточке возят? Видать, птичке цены нет — берегут, холят, в лес летать не дают.

Тонкие губы арестанта разжались в улыбку.

— Не угадал,— ответил он.— Бери выше. Соловей.

— Ага! Значит, это про тебя, ономнясь, государственный депутат солдатикам разливался, что, дескать, в Курске не только соловьи, а и орлы растут. Может, ты и в орлы метишь?

— Нет уж,— сказал арестант.— У этого орла две головы, а у меня, видишь,— одна.

— А что с двух голов пользы, когда обе из ж... растут.

Арестант засмеялся.

— А ты, вижу, понятливый.

— Кой-чего хватаем,— весело отозвался матрос, взмахнув чайничком, но не успел больше ничего промолвить.

В двери вагона показался конвойный унтер-офицер. Монументальный, откормленный, лоснящийся, он заслонил собой просвет. Солнце спрыгнуло с неба на начищенную бляху его пояса, бросая зайчики на землю. Унтер повел плечами.

— Ступай, ступай, утка болотная, не проедайся. Губы захотел? С арестантами разговаривать? Пшел!

Матрос отступил на шаг, смерил унтера сузившимися, лихо заблестевшими глазами.

— Здрасьте... Хозяину наше почтение. Вишь, ряшку наел, пишки-едришки.

— Да ты как могешь так со старшим говорить, сучка! — вспылил, наливаясь кровью, унтер.

— Не тревожь брюхо, дядя, кишка выпадет. Молчал бы уж, холуй, а то вставлю тебе чайник — завертишься, кобель гладкий, турбиной.

— Ах ты стерва!

Унтер стремительно сорвался с площадки, но матрос вьюном скользнул под вагон, и с другой стороны донесся его задиристый хохоток.

Унтер свирепо затопотал к окну вагона, хватаясь за кобуру.

— Отойди от окна... Отойди зараз, язва! — заорал он на арестанта.

С тонких неживых губ сошла улыбка. Арестант презрительно отвернулся и скрылся в глубине вагона.

* * *

Поезд наконец тронулся. Чугунов, посапывая, спал. Глеб сидел на столике, бесцельно смотря в окно. Каждый час жизни оседал в нем неосознанной желчной горечью. Как все это было непохоже на то, о чем мечталось.

Поезд, дергаясь на стрелках, проходил мимо составов на запасных путях. За окном пролетел зеленый вагон с решетками. Кинулась в глаза надпись «арестантский». Неприятное ощущение холодка прошло по телу, стало жаль людей, которые едут неведомо куда, запертые в этой душной коробке на колесах. За решетками никого не было видно. У вагона индюком шагал унтер, и Глебу не удалось увидеть в вагоне худенького, с неживыми губами, того, с кем была связана в памяти безмятежность детства и горькая обида недавней дикой и бессмысленной ссоры. Шурка Фоменко надолго ушел из жизни Глеба, отделенный решеткой желтых букв слова «арестантский» на скучном казенном вагоне.

* * *

Утром, за Харьковом, проснувшись, Глеб свесил голову с койки. Чугунов лежал, обвязав голову платком, намоченным одеколоном. По желтому, восковому лицу и

ввалившимся глазам было ясно, что у него катценъяммер [1].

— Здравия желаю, ваше высокоблагородие,— приветствовал его Глеб.— Головка болит?

— Черт знает... прямо разламывает,— проворчал Чугунов.

— А вы помните, сэр, что вы вытворяли вчера?

— А что? — Чугунов приподнялся.

— Неужели не помнишь?

— Так... в туманце... Пить мне нельзя. Как выпью, так и начинаю нести все, что по чину не полагается. Что я плел?

Глеб рассказал. Чугунов помотал головой.

— Не врешь?

— Честное слово. В такую гражданскую скорбь ударился. Про самодержавную порнографию распространялся. Точно студент. Ты лучше вина не трогай. А то, знаешь, на корабле за такой стиль фитиль вставят.

— Н-да... Неужели? Ни черта не помню. Хорошо, что пью-то раз в три года, по особому заказу.

Он укоризненно помотал головой и потянулся за одеколоном.

Мимо проносились опять поля в пламенеющем пожаре колосьев. Но перелески исчезли. Только поля и степи. Степи и поля. Деревни тонули в садах, стали цветистыми, веселыми, слепили глаза белизной и синькой мазанок. Поезд летел сквозь Украину.

На станциях повсюду повторялось одно и то же.

Эшелоны, теплушки, солдаты, трубы горнистов, вой, рыдания. Вся страна, казалось, встала на дыбы, обезумела и бесконечной серо-зеленой рекой, звенящей котелками, поблескивающей рябью штыков, лилась без остановки на запад.

Поздно ночью слева промерцал волшебной лунной мглой Сиваш, весь в дымно-голубом, влажном блеске. Воздух стал вкусным, прохладно-солоноватым, как стебель травы.

За Симферополем, в розоватом дыму солнца, затопившем огромный провал камышловской балки, раскинулись по склонам виноградники. Было видно, как среди лоз копошатся люди — шла подрезка. Так мирно было это розовое сияние, спокойны фигуры виноградарей, такая ласка-

---

[1] похмелье.

ющая тишина стояла над долиной, что здесь было невозможно поверить в войну. И путь, оставшийся позади, эшелоны, проводы, рыдания баб, рябь штыков казались дурным бредом, удушливым дорожным кошмаром, суконной одурью вагонных диванов.

Мягкие, переливающие опаловыми тенями, холмы вставали по сторонам, за ними уже мережилось море. Становилось проще и спокойней. Еще немного, и на смену тревоге, неуверенности, неудовлетворенности настанет четкая, приводящая все к одному знаменателю, ясность и точность военного ремесла.

Железные громы туннелей рванули в уши, и сразу, за тростниковым болотом Черной речки, брызнуло светом, вспыхнуло синевой. Мерцающая, ликующая, бесконечная, она дымилась зноем. Белым полымем раскаленных стен, столпившихся на обожженном известняке голых скал, манящей легендой, сказочным миражем полыхнул в глаза Севастополь.

* * *

Город вырос на развалинах и из развалин. На пепелище древних культур и царств, в беспрерывных боях и соперничестве сметавших друг друга.

В шестом веке до новой эры от анатолийского берега Эвксинского Понта, из гавани Гераклеи Понтийской отчалили утлые гребные суда, скрипя тяжелыми веслами. Гонимый чрезмерным размножением населения и законом о принудительной эмиграции, гераклийский демос уходил на север в поисках счастья и наживы.

Буйная волна Понта швыряла караван кораблей. Днем по солнцу, ночью по тайным знакам созвездий кормщики вели суда к Тавриде. Плети надсмотрщиков взвивались, врезая рубцы в худые спины гребцов.

Легендарная Таврида манила обилием. В плодородных степях, которыми владели скифы, готы, аланы, хозары, обильно рождались хлебные злаки. Бродили табуны скифских и парфянских коней. В кочевьях лежали громадные запасы кож, соли, рыбы, меда и воска.

В обмен на эти товары гераклийцы везли в своих трюмах кованое оружие, бронзовые сосуды, золото, жемчуг, тонкие пурпурные ткани, аравийские и тирские благоухания — все, что дразнило и влекло жадные взгляды дикарей-кочевников.

Мощь развитой промышленности, сила торгового капитала подымала свое знамя на резных носах гераклийских кораблей, шла в наступление на первобытное хозяйство дикаря.

В западном углу Тавриды гераклийцы вступили на берег голубой солнечной бухты. Плоский камень послужил первым алтарем для возлияния богам за благополучное плаванье. На обожженной солнцем земле разложили привезенные товары, и гребцы спешно воздвигали первую стену из обломков скал вокруг нового рынка. Косматые и свирепые, осторожно подходили готы и скифы, не сводя зачарованных взглядов с заморских приманок. Жены их тащили связки кож, мешки с солью и рыбой. Воины вели рабов и рабынь. Черные, бронзовотелые греки жадными глазами впивались в белокурые косы и белые груди рабынь. Начался торг.

Вокруг рынка стал воздвигаться город. Гераклийцы назвали его Херсонесом Таврическим и посвятили Зевсу.

Быстро разрастаясь, наращивая жир несметных богатств на скелет республиканской организации, новый город затмил славу породившей его Гераклеи, украсился пышными зданиями, храмами, складами, окружился мощными стенами крепости. Огромные систерны, высеченные в толще известковых скал, вбирали в себя запасы вымененного зерна. Херсонаситы вели им торговлю непосредственно с Элладой, минуя посредничество малоазийских перекупщиков.

Когда, перед началом новой эры, закачалось и рухнуло, источенное роскошью и продажностью, могущество Эллады, Херсонес приняли по праву преемственности новые владыки мира — римляне. Но и над Западноримской империей разразилась катастрофа. Пышная, расточительная, завладела колонией Византия. Она внесла в город чувственную лень, изнеженность, вероломство, политику тайных убийств и дворцовых переворотов, сменившую спартанскую простоту эллинской республики.

А в киммерийских степях уже накапливались неудержимые варварские полчища славян. Они с жадным вожделением смотрели на богатства, накопленные Херсонесом-Корсунью. Они искали выхода из дремучих лесов на мировую арену. К вождю их — Владимиру — вороньем слетались проповедники религий, торопясь прибрать к рукам новорожденную нацию, не удовлетворявшуюся уже

еле отесанными первобытным топором дубовыми чурбанами.

Ослепленный сказочной пышностью и мистическим великолепием византийских обрядов, зашитый в шкуры дикарь решил осенить свой народ бриллиантовой диадемой византийского патриарха.

Но он не хотел идти в лоно новой веры смиренной овцой, он захотел взять ее с бою, как брал становища врагов. С огромной ордой он пришел креститься под стены Корсуни.

Забывшие тяжесть боевого меча, привыкшие лениво пересыпать в изнеженных пальцах золото всех империй, купцы-херсонаситы не могли отбить сокрушительного напора юного варварства. Херсонес пал. Славяне, потряхивая чубами, смолили на берегу днища долбленых колод, собираясь плыть за крещением уже в Византию. Их владыка требовал, в придачу к новой вере, сестру византийского императора в жены. Бессильная столица Восточноримской империи в страхе ждала с моря ватагу славянских дружин. Обороняться было нечем, и Палеологу пришлось отослать византийскую принцессу победителю. В разрушенном городе, на улицах которого руссы еще резали широкими мечами жирных торгашей, обрубая пальцы вместе с драгоценными перстнями, и насиловали раскормленных торгашеских самок,— священнослужители, беспокойно прислушиваясь к звукам погрома, трижды окунули славянского князька в баптистерий. Руссы ушли из-под стен Корсуни, дотла очистив город. Оправиться от этого удара он не смог.

Его разоряли монголы и турки, и в средние века ветер уже заносил пылью обломки зданий.

Но в восемнадцатом веке с севера вновь пришли русские. При первых признаках болезни, поразившей оттоманский мир, они возобновили свое стремление к морю. Через пять лет после Кучук-Кайнарджийского мира, установившего независимость Тавриды, Екатерина Вторая простым манифестом 1783 года присоединила Крым как вотчину к разраставшейся карте России.

Стрелка колониальной экспансии, переменив полюсы, вытянула хищное жальце с севера на юг.

Самодержица всероссийская возмечтала о просторах Средиземного моря. Фантастический проект восстановления Византийской империи кружил голову империи Российской. Для занятия престола Византии готовился внук

императрицы, нареченный, в честь последнего Палеолога, Константином.

Для осуществления великодержавной мечты, поддерживаемой нарождающимся капиталом, нужна была прочная морская база, из которой можно было бы ударить по Стамбулу, по сердцу Высокой Порты. Белый палец Потемкина, сверкнув бриллиантом даренного матушкой перстня, повелительно уперся в карту Крыма, почти в том месте, где некогда владычествовали херсонаситы. Там, на берегу бухты, лежала жалкая татарская деревушка Ахтиар — все, что осталось от былой славы Херсонеса.

Адмирал новорожденного императорского флота, британский выходец Мэкензи, разбил свой шатер, подобно древним гераклийцам, на берегу Ахтиарской бухты.

Сын великой Англии, восприемницы могущества Греции, Рима и Византии в новую эру, осмотревшись на новом месте, с британским хладнокровием заложил город и порт — угрозу потомкам Магомета Завоевателя.

Постройку торопили. Рабочих рук было мало. От державных милостей императрицы татарское население тысячами бежало в Турцию и на Кавказ. Посылаемые с севера мужики и солдаты дохли как мухи от лихорадок, гнездившихся в болоте Черной реки. Камень для построек приходилось высекать в инкерманских массивах и медленно тащить на волах по бездорожью.

Адмирал Мэкензи посетил развалины Херсонеса. Обилие обтесанного камня, прекрасных плит мостовых и стен навело его на остроумное решение. Опытный взгляд адмирала сразу оценил значение открытия. Шлифованные камни Херсонеса могли значительно ускорить постройку города. Но помимо природного английского практицизма, адмирал приобрел в новом отечестве российскую сметку. Он сообразил, что экономия от разборки херсонесских зданий — вместо утомительной, медленной и дорогостоящей ломки камня в Инкермане — целиком останется в резном ящике адмиральской каюты на только что спущенном первенце черноморского флота, корабле «Александр».

И вскоре все, что оставалось еще от древнего Херсонеса над поверхностью земли, было снесено дочиста. Адмирал Мэкензи перещеголял древних руссов. Те оставили стены, он не оставил камня на камне. Выступ Карантинного мыса стал гладким пустырем, но зато рядом, по мановению волшебной палочки, выросли форты, батареи,

здания, доки, новая твердыня империи, новое гнездо для ширяющего к югу, унаследованного от Византии, имперского орла.

В бухте встали, трепеща парусами, лебеди-корабли. Басистый рокот торжественных залпов эхо несло к Босфору. Новые руссы шли по стопам старых. Империя золотила заржавевший Олегов щит, чтобы вновь прибить его к вратам Цареграда.

Но времена изменились. Босфор перестал быть сказкой, пристанищем мифов, сирен, Сциллы и Харибды, увеселительным прудом Ариона, местом романтической страсти Геро и Леандра. Босфор стал торговой дорогой, биржевым авеню всесветного торга. Для мирового капитала, усевшегося на мешках с золотом, стало выгодным оставить Босфор под призрачной, номинальной властью обессиливающей Турции, а не в крепких и жестких руках страны с устрашающей военной силой и бесчисленными людскими резервами. Эта страна могла в любое время, по своему капризу, по внезапной прихоти, перегородить шлагбаумом путь товарооборота и нанести торговле планеты неисчислимые убытки.

Новая военная твердыня, нареченная городом величия — Севастополем — выросла, как бельмо, в глазу Европы. Над банками, рынками и товарными складами Запада вновь повисал темный ужас азиатского нашествия и погрома. Искусственные узы Священного союза, связавшие в начале века Запад с Россией, во имя защиты монархического принципа от покушений черни, были разорваны по воле банков и бирж. Монархи перестали быть ценным имуществом, ради которого стоило помогать росту восточного великана.

Бесцеремонная десница Николая Первого, на пальцах которой, вместо ногтей, росли трехгранные русские штыки, слишком самовластительно вторгалась в Европу через границы. Судьба Венгрии, где надежды молодой революционной буржуазии были растоптаны без остатка в течение нескольких месяцев коваными каблуками русской пехоты, заставила Европу призадуматься над будущим. Европейский жандарм вырос из сшитого ему девятнадцатым веком мундира, и его распирало, как тесто.

Нужно было поставить его на место, убрать с позиции, которую он занял не по чину.

И когда самодержавная десница потянулась через море, к малоазийским берегам, закрывая пятерней дорогу

банкирам наполеоновской Франции, Европа ударила по этой руке соединенным оружием коалиции. Стремительный разгром турецкого флота под Синопом, произведенный черноморским флотом, которым командовали единственные за всю историю русской морской силы боевые и талантливые адмиралы, не испугал коалицию. Ее силы, в сопровождении огромного количества судов, вошли в Эвксинский Понт. Они не обладали ни стратегическим уменьем, ни особым героизмом, эти силы. Они давили количеством — излюбленным боевым оружием Англии на море. И давили техникой. Винтовые увертливые пароходы против громоздких трехдечных посудин, обреченных быть игралищем ветров. Бомбические орудия против допотопных чугунных пушек, нарезные штуцера против кремневых ружей средневековья. Впервые в истории войн обнаружилось разительное преимущество новейшего оружия. Не военная сила коалиции била военную силу России. Машина била дубину: в военную игру входил новый элемент — капиталистическая индустрия — против феодальной кустарщины.

И город величия — Севастополь — постигла судьба его предшественника Херсонеса. Войска коалиции обратили его в груду дымных развалин. По условиям мира, Российская империя лишилась права восстанавливать укрепления и держать флот. Мечтам о Византии, о наследии Восточноримской империи, венским трактатом был нанесен сокрушительный удар, на завоевательный пыл наложен долгий запрет.

Только в конце девятнадцатого века, под гул военной катастрофы, до фундамента потрясшей Францию, зашевелились опять когти на лапе российского орла, протянутой к южному морю. Но было уже поздно.

Российскую державу начало раскачивать изнутри. Стихийные штормы вставали из низин и колебали большой государственный герб. Он кряхтел и качался, с трудом удерживая равновесие под напором горячих динамитных вихрей. Позолота кусками осыпалась с него, обнажая под горностаем порфиры вонющую непристойность и разрушение.

В начале двадцатого века воссозданный для продолжения «Drang nach Süden» [1] черноморский флот едва не похоронил империю. Как погребальный факел, над сине-

[1] Порыв на юг *(нем.)*.

вой Эвксинского Понта в течение недели полыхал красный флаг на стеньге «Потемкина-Таврического», и от одинокого гула единственного залпа его орудий треснули точеные ножки императорского трона на другом полюсе империи, в багровой твердыне Зимнего дворца.

Но рулевые монархии, в последний раз, сумели выправить на курсе накренившийся и зачерпнувший бортом государственный корабль, кинув наступающей буржуазии подачку призрачного парламентаризма, и разбили нависавший смерч революции на мелкие струйки.

Воцарился последний мир. Красный огненный факел угас в чужой гавани Констанцы под визг скрипок в румынских кабаках. В севастопольской твердыне, обескровленной казнями и каторгой, водворилось угрюмое спокойствие.

Благодарная буржуазия, заняв кресла в Таврическом дворце, приняла от монархии как долг чести вопрос о проливах и Византии. Он вошел в ее плоть и кровь, он стал для нее жизненным вопросом империи, и Государственная дума сама подняла вопрос о расширении и усилении военно-морской мощи России на берегах Черного моря, вопреки даже мнению Морского генерального штаба, считавшего, что в первую очередь должна быть выполнена судостроительная программа Балтики, проблема обороны столицы. Рынки Малой Азии были приманкой, на которую клевал русский буржуа, помещик и фабрикант. Золотой блеск крестов на святой Софии был духовной приманкой для русского интеллигента, богоискателя и духовидца. Все вместе называлось исторической миссией страны и славянства. Руссы в третий раз собирались креститься в Византии золотом, рентой и акциями.

И, как одинокий, но еще способный укусить клык в распатанной челюсти империи, свисающей в море массивом Тавриды, белел и грозился на низком оранжевом мысе, устремленном к Босфору, херсонесский маяк.

* * *

За маяком, за пятью бухтами: Херсонесской, Камышовой, Казачьей, Стрелецкой, Карантинной, за линиями фортов и батарей, на высоком взгорбье скалы лежит город величия — Севастополь. Единственный, неповторимый, не похожий ни на какой другой город.

Скала высится над бухтой каменным корпусом трехдечного корабля. Прихотливые домики, в балкончиках, выступах, террасках, лепятся по скале, как корабельные надстройки, вышки, мостики, адмиральские балконы. Над ними сухим очерком уходит в головокружительную синюю высоту сигнальная мачта штаба черноморского флота, днем пестреющая яркими цветами флажков, ночью мерцающая желтыми искрами клотиковой сигнализации.

Две главные улицы города — Екатерининская и Нахимовская — лежат глубоко внизу у моря, вымощенные ровными плитками, гладкие и шлифованные, как настил верхней палубы. Узкие рельсы трамвая похожи на рельсы для минных тележек, проходящие по палубам миноносцев.

И, в довершение сходства с кораблем, из верхней части города от мачты, от башен, жители спускаются вниз не по улицам, а по трапам. Десятки узеньких крутых каменных лестничек-трапов сбегают по склонам холма к морю, как сбегают трапы на корабле с марсов, ростр, спардека, боевых мостиков.

Твердыня Черноморского флота, южный оплот империи, должна походить на свои корабли. Севастополь — город-корабль. Кораблем он вплывает в опьяняющую голубизну вод, в дрожащие изумруды отблесков, гордый, сверкая белизной домов, как новым холстом парусов, чистый и надраенный неутомимым солнцем.

Два основных цвета полновластно владычествуют над ним. Синий и белый.

Синее небо, синее море. Белые полногрудые облака, белая оторочка рассыпчатой пены у берега бухты. Белый камень домов, синие густые тени от них. Выбеленные солнцем, продраенные голиками палубы кораблей с тоненькой черной дратвой пазов; синеватые от блеска, от игры водных бликов, шаровые корпуса, тяжело окунающие броню в зеленоватую глубь. Белые кителя, белая кость, наверху, на мостиках, на шканцах; синяя роба машинных команд глубоко внизу, в жарких стальных недрах кораблей.

И над всем этим, на стеньгах, на кормовых флагштоках, на тонком острие штабной мачты, на катерах и шлюпках, бороздящих бухту,— символ величия и славы, штандарт доблести, белое полотнище, рассекаемое косым синим крестом.

Вытягиваясь по ветру, сухо трепеща и шелестя складками, с восьми утра до заката вьется над Севастополем, над флотом, андреевский флаг. Как огромный конверт, заклеенный полосками орденской ленты, он прячет в своих складках пятьдесят тысяч человеческих жизней, скованных стальными цепями дисциплины и морского устава. В нем наглухо запечатаны раздирающие противоречия, смертельная вражда и ненависть, разделяющая лакированный уют офицерских кают и краснодеревную роскошь адмиральских салонов от убогой тесноты и затхлости командных палуб.

Мелкой, лихорадочной дробью бьются в высоте прямоугольные полотнища. Напор сдавленной злобы, запертой бури сотрясает тонкие иглы флагштоков. Когда-нибудь в шторме восстания, в топоте матросских ног по палубам, в треске выстрелов, он размечет в лохмотья одряхлевшую эмблему империи.

Но пока — андреевский флаг гордо реет на кормах кораблей. Его охраняют штыки часовых, автоматические пистолеты в карманах офицеров и святость традиций.

Прочно вгоняется в матросские головы тысяча двести восемьдесят четвертая статья морского устава, согласно которой «флаг почитается, как знамя в полку, и все служащие на корабле должны охранять этот флаг до последней капли крови, как хоругвь русского государя».

Каждый день, утром и вечером, по команде «на флаг, гюйс, смирно», под певучий стон горна, застигнутые этой командой в любом месте корабля, за любым делом, мгновенно цепенеют моряки российского флота на время священнейшей из тысячи морских церемоний — спуска и подъема флага.

Вытянувшись, стоят офицеры — руки у фуражек, и на их лицах от полотнища флага отсвет славы, величия и побед, и в глазах огонек гордости и силы.

Каменеют во фронте матросы, задрав исступленно подбородки, вытянув руки по швам. Но ничего не прочесть на их лицах. Гладки они и плоски, как доски палубы, а глаза пусты и загадочны. Что чувствуют они, глядя на хоругвь русского государя,— не угадаешь.

Может быть, они думают о том, что когда-нибудь настанет день боя, когда по боевой тревоге все бросятся к своим местам: в палубы, казематы, башни, рубки, за неверное, но все же скрывающее человека от острого глаза вражеского дальномера, прикрытие брони металла.

И только часовой у кормового флага, у священной хоругви, останется покинутый всеми, один как перст, на опустевшей верхней палубе, не имея права тронуться с места, обреченный на расстрел неприятельским пушкам.

Может быть, каждый из матросов, глядя на перекрещенное полотнище в минуту церемонии, молит о том, чтобы в бою его миновала чаша поста у кормового флага.

Трудно угадать матросские мысли. По уставу — мыслей и чувств матросу не полагается. Им предоставлено распускаться пышным цветом в голубой крови офицеров.

Матрос — инвентарный номер, условная человечья сила, вроде лошадиной в цилиндрах машин, матрос — имущество корабля, пушечное мясо, бессловесный нерассуждающий автомат, безразличный ко всему, кроме веры, царя и отечества,— такова воспитательная политика флота.

Матроса кормят, обучают стрелять из пушек, шуровать в топках, матроса одевают — и этого достаточно.

Борщ, каша да казенная роба, а остальное не наша хвороба.

Простую философию эту прививают матросу, как оспу, с первого дня призыва, выбивая из него всяческие другие, ненужные и усложняющие его военную жизнь, раздумья.

И живут тысячи людей в душных железных галереях жилых палуб странной, особенной, непохожей на обычную, как непохож Севастополь — столица флота — на другие города империи, жизнью. Она — вся нараспашку перед всевидящим оком начальства, эта жизнь, под постоянным неослабным контролем.

В любую минуту по приказанию старшего должен быть открыт для осмотра матросский рундук, где хранится несчастное матросское имущество. Каждое письмо, пришедшее «с воли» матросу, и каждое, идущее от матроса на берег, прощупывается пристальным взглядом помощника ротного командира.

Бдительное око кондукторов, боцманов, фельдфебелей, унтер-офицеров ни на мгновенье не выпускает матроса из поля своего благодетельного зрения.

Круговой порукой пропаяна тяжкая цепь этой слежки. За матросом унтер-офицеры, за унтер-офицерами боцмана, за боцманами кондуктор, за кондукторами офицеры, за ними старший офицер — все следят друг за другом по нисходящим ступеням морской табели о рангах.

Снизу доверху корабельного организма проходит эта лестница взаимного шпионажа и недоверия. Только на ней держится то призрачное, угрюмое спокойствие, которое удалось водворить в водах севастопольской бухты после девятьсот пятого года.

Даже в краткие часы матросского досуга, на берегу, вне корабля, не позволяется матросу почувствовать себя человеком.

Сторонкой, бочком, озираясь, он торопится с Графской пристани поскорее проскочить парадные палубы нижних улиц, где на каждом шагу нужно вздергивать руку к фуражке перед встречными белокительными, столбенеть во фронте перед убеленными сединами. Только свернув в щель какого-нибудь трапа, в боковушку, в закоулок — матрос вздыхает свободней.

И сверху, с горки, с ненавистью, сжимая губы, смотрит на чистенькие аллеи Приморского бульвара, куда вход собакам и нижним чинам воспрещен.

Но матрос и сам предпочитает гурьбой, косяками, как керченская сельдь, наводнять буйную Корабельную слободку. Там испокон века селится севастопольская беднота, портовые грузчики, рабочие доков и морского завода. Там усатые греки держат кофейни, похожие на генуэзские пиратские притоны. Там по вечерам заводные органы гудят тоскливыми песнями и, положив голову на руки, уткнувшись лбом в липкую клеенку столика, залитую молодым балаклавским вином, грустя, подпевает матрос органу. Иногда скупые, горючие матросские слезы мешаются на клеенке с вином. Иногда кровь брызжет на столики, красная и теплая, как вино. Это бывает, когда приходят с моря рыбачьи суда или приезжают из Балаклавы, после хорошего улова, молодые банабаки в модных пиджаках, в лаковых ботинках со скрипом.

Не поделят по пьянке девушку, заспорят о морских делах,— кто спорее на греблю или управляться с парусом — балаклавские или флотские,— и летят кверху ногами столики, в брызги рассыпается посуда, лезет под стойку сивоусый Родоканаки, а в воздухе уже мелькают выломанные ножки табуреток, бутылки, ножи, и под ногами дерущихся — хрупкий хруст битого стекла.

Эх, вольная сторонка, Корабельная слобода! Развеселая жизнь матросская, черноморская! В ухо банабаку, скулу набок городовому, боцманмата винным бочонком по загривку, четверо в фаэтон, пятый — гармонист — на ко-

ленях, и по слободке с гиком, с зеркальными фонарями, в голубую крымскую ночь, к Малахову кургану, к Килен-балке. В один вечер — дымом кровные копленые матросские денежки, а в полночь на четвереньках на Графскую пристань, на борт на горденях,— унтерцерский кулак в зубы, утром карцер, лихая стоечка под винтовкой с полной выкладкой, на мостике, на чертовом солнцепеке, пока с ковырок не свалит, месяц без берега, и в стриженой матросской башке пушечный гул похмелья.

Развеселая ты, проклятая жизнь матросская на вольной Корабельной сторонке.

Есть чем помянуть лихих братков, кровных сродников: погибших на «Потемкине», «Пруте», «Очакове», на номерных миноносках, на «Иоанне Златоусте», подымая алые флаги, на страх драконам, на погибель царю и империи.

Много зарыто их в безымянных балках за городом, по Инкерманским, Балаклавским, Бахчисарайским трактам, много плавает под зеленой толщей моря у пристаней, у полукруглой эспланады Приморского бульвара, у памятника затопленным кораблям. В серый ноябрьский денек бросались они в ледяной студень воды с горящего борта «Очакова», с разбитых ростр «Прута», под огнем крепостной артиллерии и верных царю кораблей. Многих вбивало в воду снарядами, многих, уже почти доплывших до берега, низали пули забитой, запуганной, мордотыком заезженной пехоты.

Остальных прикрыли решетки тюрем, засосали шахты сибирских рудников.

Белая кость гуляет на палубах, на Приморском бульваре, синий угарный дым ненависти в трюмах и палубах, в кабинках Корабельной слободки.

Одна радость — не ходит белая кость на матросскую сторону, избегают белокительные узких ее переулочков, как черт ладана. Можно здесь, в глухой темени ночи, получить булыжник в висок, ножик в печенку, с размаху, неожиданно, из-за угла. И искать виновника бесполезно. Скроет его непроглядная мгла, кривые петли закоулков, гостеприимные двери рабочих хибарок.

И, угрюмо сутулясь, смотрит с чистой стороны, с постамента на площади перед домом морского собрания, на Корабельную Нахимов, сдвинув фуражку на затылок. Одним глазом, искоса, смотрит он через бухту на северный берег, где в уютной балочке зеленеет единственный

в этой выжженной скалистой пустыне фортов и пороховых погребов садовый оазис — дача командующего флотом «Голландия».

Адмирал Чухнин оставил по себе черную славу. Чугунной ступней придавил флот — ни пикнуть, ни вздохнуть. Адмирал не знал жалости, и только одна у него была слабость — к цветам. На даче «Голландия» развел цветники, гроздья роз струились ароматом на клумбах. Нашел адмирал хорошего садовника — матроса Акимова. Жил Акимов в «Голландии», поливал адмиральские розы, и в прекрасное летнее утро, когда вышел адмирал в сад подышать благовонием, садовник-матрос достал из куста двустволку и всадил в главного командира флота и портов Черного моря два заряда картечи.

Темная зелень адмиральского сада, как траурный креп, тревожит глаза офицеров, смутной надеждой ластится к матросскому сердцу.

Так, под обманчивым солнечным блеском, омываемый теплыми волнами, двойной жизнью живет город-корабль, столица черноморского флота.

Под блестящей, но тонкой скорлупой порядка, размеренности, точности, кажущейся монументальности и непоколебимости застывшего ритуала церемоний, уставных статей и традиций глухо и грозно кипят задавленные силы, горячие волны незримо вздымающейся лавы обид, злобы и ненависти.

На одной стороне — сверкание погон, кортиков, орденов, чины, восковые печати родовых жалованных грамот, гербовые страницы дворянских книг, успехи, волшебно смеющаяся жизнь, слава, женщины, прекрасные, как цветы, утонченная романтика любовной игры; на другой — бесправие, темень, безымянность, каторжный матросский труд, кабаки Корабельной стороны, упрощенная любовь в душные ночи в кустах Исторического бульвара, подальше от начальственных глаз таимые, черные мысли.

* * *

От разогретых ступеней Графской пристани дрожащим маревом подымался воздушный ток. В его трепетных струях рябили и колыхались северный берег, бухта, корабли. Катера и шлюпки ежеминутно подходили и отваливали от пристани, как трамваи.

Бухта гремела, грохотала, выла, гудела сиренами.

От доков шел неумолчный пулеметный стрекот пневматических молотков. Неврастенически визжали сверла, скрипели мосты кранов, рокотали канаты.

Рейд бурлил мобилизационной суматохой. Он был болен горячкой движения.

Пятеро матросов томительно жарились под отвесным солнцем, присев на дубовые ящики, аккуратно сложенные на нижней площадке пристани. Из-под георгиевских ленточек бескозырок на кирпичные лбы и носы стекали капельки пота.

На пристани было душно и знойно, как в духовой печи.

— Вот гадюки, анафемы! Нет, чтобы подумать, что люди, как лобаны на сковороде, жарятся. Сам же, холера его растрави, приказал к часу привести эту муру на пристань. А теперь сиди и жди у моря погоды.

Матрос взял двумя пальцами фуражку за середину чехла и несколько раз приподнял и опустил его, действуя, как мехом. От напора воздуха из-под околыша пот пошел ручейком.

Сосед, меланхолически отдиравший дубовую щепку от ящика крупными железными ногтями, хитро усмехнулся в пышные усы.

— Бачь,— сказал он хриплым баском,— до якой механики чоловик дойти може. Кострецов!.. А Кострецов!.. То, мабуть, ты поддувало до мозгов приспособлюешь?

Кострецов отпустил руку от фуражки и плюнул.

— А поди ты, хохландия, до божьей матери под подол,— отозвался он лениво,— тут в пору сдохнуть.

— А ты божью матерь не чапай. Вона тебе не рожала, так не твоя и хвороба.

Матрос запустил ногти в щель и рывком отодрал полдоски.

Из подвалившей штабной моторки стремительно выскочил лейтенант. На белизне кителя нестерпимо горело серебро аксельбанта.

Матросы вскочили и вытянулись. Небрежно вскинув руку, лейтенант стремглав одолел три марша пристанского трапа и исчез за колоннами.

— Ишь садит полным ходом. Как скипидаром их смазали,— Кострецов угрюмо смотрел вслед офицеру.

— А то як же ж... Война — воно не кулеш варить.

Третий матрос — суховатый, подобранный, щегольской, с очень румяными губами, вскинул глаза на говорившего.

— Ты... философия... Лучше б доски с ящиков не драл. Коли тебя кондуктор доской по зубам съездит за это дело, так по заслугам. А мы при чем? Ишь кулачищи отрастил, что становые якоря. Нескладень. И фамилия у тебя этакая. Ну где это видно, чтоб человека Перебийносом звали?

Перебийнос конфузливо приладил огромными пальцами оторванную доску на место и потер руки.

— Хвамылия? А хиба я себе брал тую хвамылию? Призвище воно таке дило — як чирий. Пристане — не видчепишь. Ось у тебе призвище — вроде вывески на крамныци. Що в середке, то ї зверху.

— Ты это насчет чего? — румяногубый нахмурился.

— Та ничого. Як ты есть Прислужкин, то, мабуть, с того ты перед кондукторами, як той вченый цуцык, вприсядку танцюешь.

— Дурак,— румяногубый пожал плечами и презрительно отвернулся.

Перебийнос вспушил усы в улыбке и продолжал, обращаясь к Кострецову:

— Ось бачь, Кострецов. Война! А яка ж война, колы воювать не с кем?

— А тебе приспичило, хохландия? Не терпится? Рожа цела, так хочется, чтоб разворотили? Видали чудаков. По мне — хоть бы ее и вовсе не было. Помирать кому охота, а мне неволя.

— Хиба ж я про то. У мене жинка в Катеринославской. Зараз хлиба жнуть, урожай дюже гарный. Мени в осень вже на волю выходило. Мени, може, ще меньше охоты воювать. А тильки маю думку — воювать так воювать. А то и до дому не пускають, и драки нема. Якась неладна оказия.

— Ну и дура,— вставил четвертый, молчавший до сих пор,— чистый петух с кандибобером. Не нравится, что драки нет. А? Ты что, царь, что ли, что тебе неймется?

— На що царь,— невозмутимо ответил Перебийнос,— був бы я царем, то й вовсе не воював бы. Лежав бы с царицею на перине, цацкався бы, кохався, ийив бы ковбасу, та горилкой запивав.

Матросы захохотали. Прислужкин уничтожающе посмотрел на Перебийноса, потом на остальных: вот, дескать, олух.

— Хватил,— причмокнул губами четвертый матрос,— видать твое понятие об царе, деревенщина. Горилку он, слыхать, лакает почище тебя, а с царицею на перине за него другие цацкаются... А насчет войны, так кровь царю первое дело — заместо чаю пьет с булкой.

Матросы смолкли. Прислужкин опустил длинные, девичьи ресницы и отвернулся деликатно, будто разговор его совсем не касается.

Тогда пятый из группы, с унтер-офицерскими лычками, сидевший немного поодаль, поднял голову. Глаза его, коричнево-золотые, с дерзиной, яркие, уставились на сказавшего.

— Тпру, коняка! Не тащи воза в горку — кишка задом вылезет. Нашел место язык распускать.

Говоривший покраснел и что-то хотел ответить.

Но от портала пристани спустился по ступенькам мичман. Он постоял, осматриваясь, щуря мохнатые брови-разлетайки. Потом решительно направился к пятерым. Матросы подобрались. Черт его знает — какой мичман, откуда, что ему надо?

Всегда лучше перестараться, чем недостараться.

— С «Сорока мучеников», ребята? — спросил мичман, подходя.

Голос у него был не нахальный, не пренебрежительный, подразумевающий в матросе пустое место, но и не приторно ласковый, каким говорили с нижними чинами некоторые офицеры.

Голос был так себе, в меру звонкий, чуть мальчишеский, и матросы почуяли, что непосредственной опасности мичман не представляет.

— Так точно, ваше высокоблагородие,— ответил тот, с коричнево-золотыми зрачками.

— Катер скоро придет?

— Так что сами ждем гребной, ваше высокоблагородие. Должен скоро прийти. Нас старший артиллерист спосылал за гальваническими запалами — вот полчаса, как дожидаемся. Суматоха, ваше высокоблагородие, все посудинки в разгоне.

— Ладно, подождем.

Мичман присел на ящик. Матросы продолжали стоять, вежливо подобранные. Мичман вынул папироску. У мат-

росов пожаднели глаза, и во рту защекотала слюна — они не курили уже больше часу, и вид папиросы вызвал в них острую зависть.

Мичман по лицам понял. Раскрыл портсигар.

— Что, курева нет? Угощайтесь, ребята!

Опять ответил с унтер-офицерскими лычками:

— Покорнейше благодарим, ваше высокоблагородие. Только что здесь курить не дозволяется. К тому ж и запалы в ящиках.

Щеки мичмана медленно порозовели. Получилась дурацкая штука, он сам предлагал матросам нарушение дисциплины. Но он нашел выход.

— Папиросы все равно берите. Когда можно будет — выкурите.

— Есть, ваше высокоблагородие. Ежели так, мы тут за пристанью в закуточке курнем.

Унтер-офицер осторожненько, стараясь не коснуться пальцами портсигара, выудил папиросу. За ним потянулись остальные, кроме Перебийноса.

— А ты что же? — спросил мичман.

— Так що не курящий.

Матросы скрылись за колоннадой. Перебийнос стоял, во все глаза смотря на мичмана и потея от напряжения. Оставаться один на один с незнакомым офицером было неприятно.

— Садись, братец,— сказал мичман.— Жара ведь.

Перебийнос присел с краю, одной половиной седалища, и, присев, осмелел:

— Дозвольте спросить, васкобродь, а вы не до нас?

— Да. Сейчас получил назначение в штабе. Значит, вместе служить будем.

— Рад стараться, васкобродь,— ответил Перебийнос удобной и готовой уставной формулой. И искоса оглядел мичмана с ног до головы. Как будто ничего хлопец и даже простой, в разговор идет, папирос дал. А может, так, спервоначалу задабривает. Разве их разберешь? Вон лейтенант Долецкий тоже, когда попал на корабль, сперва все на водку давал, а теперь только в зубы дает.

Офицеры для Перебийноса были всегда загадкой. За четыре года службы он так и не мог понять их сложности. Он уже рассчитывал на выход в запас и избавление от этой постоянной муки с непонятными офицерскими характерами, а теперь война, и придется еще бог весть сколько времени лавировать между барской любовью и

барским гневом. Подумав об этом, Перебийнос снова спросил:

— А ще дозвольте узнать, вашескобродь, чи долго буде тая война?

Мичман постучал каблучком о плиты набережной.

— Война? Ну, это, братец, неизвестно. Если быстро разобьем немцев, то скоро и войну кончим.

— Эге ж,— кивнул головой Перебийнос, и не понять было, какой смысл он вложил в это украинское междометие — утверждение или сомнение.

Матросы появились снова, и сейчас же слева, из-за стройных корпусов легких яхт, стоявших на бочках у яхт-клуба, вывернулся катер с «Сорока мучеников».

Матросы, уже не обращая внимания на мичмана, завозились, подымая крайний ящик.

Мичман подошел к катеру. Старшина в рабочей робе приткнул вымазанную в смоле руку к виску и крикнул «встать». Гребцы вскочили.

Мичман спрыгнул в катер. Старшина взглянул на белоснежные брюки офицера и на грязные банки катера. Ох, уж эта работка! С утра катер мечется от корабля к берегу как белка в колесе. Только что возили из порта бухты смоленого каната, завалили весь катер — смола пристала к банкам, а тут черт нанес офицера.

— Дозвольте доложить, ваше высокоблагородие,— грязно очень. Скоро должен паровой быть, как ревизор обернется, старший офицер на берег хотели ехать. Может, подождали бы — неровен час одежду измажете.

— Ничего. Подстели что-нибудь. Я тороплюсь.

Глеб не мог терять ни секунды. На корабле некомплект офицеров. Он должен немедленно заполнить собой опасную брешь в боевом организме. Там его, наверное, ждут с нетерпением. Какое значение могут иметь грязные банки катера, когда дело идет о службе.

«И куда его гонит?» — неодобрительно подумал старшина, но возражать офицеру разве осмелишься? Старшина крякнул и достал из кармана брезентовых штанов красный платок. Разостлал на кормовом сиденье.

Мичман сел. Ящики заполнили днище.

— Прикажете отваливать, ваше высокоблагородие? — спросил старшина и на утвердительный кивок мичмана добавил: — Прикажете стать на руль или сами?

— Управляйся... Я в первый раз — дороги не знаю.

Мичман конфузливо улыбнулся и этим примирил старшину со своим присутствием.

«Без форсу — Чижик»,— заключил старшина, настраиваясь доброжелательно.

Гребцы навалились. Катер пошел ходко и ровно, вытягиваясь на середину бухты.

— Кто старший офицер? — неожиданно спросил мичман.

— Их высокоблагородие, капитан второго ранга Лосев, ваше высокоблагородие.

Старшим офицером интересуется. Значит, не в гости, а, видать по всему, на постоянное жительство. Новенький. По повадке видно — еще не обтерся, только-только из гардемаринов, молоко на губах не обсохло. Чудные они в эту пору, тычутся, как слепые щенки, по кораблю, так и гляди, чтобы чего не нагадил.

Катер вырвался из горловины южной бухты на простор рейда. Под северным берегом, грузные, монументальные, похожие на пышные купеческие надгробия из серого мрамора, стояли корабли линейной бригады, густо дымя в слепительно голубое небо.

Глеб вглядывался в них, стараясь угадать в тяжелых, точно врезанных в воду силуэтах корабль «Сорок мучеников».

По традиции, пошедшей с Екатерины Второй, корабли Черноморского флота, предназначавшиеся для борьбы против ислама, получали наименования в честь святых. Этим должна была выражаться идея торжества христолюбивой державы российской над воинством Магомета. Страницы святцев были мобилизованы для нужд имперского флота.

Самые странные и редкие святые осеняли своими именами корабли.

«Селафаил», «Уриил», «Рафаил», «Евстафий», «Гавриил», «Федор Стратилат», «Св. Меркурий», «Святитель Пантелеймон», «Автроил» имели своих крестников.

Но вскоре одиночные святые перестали удовлетворять неудержимую изобретательность адмиралов.

Появились суда, крещенные скопом святых, коллективизированные.

«Три святителя», «Двенадцать апостолов», «Сорок мучеников» — угрожали исламу целыми взводами райских ратей.

«Георгий Победоносец» также не был забыт в этой святейшей эскадре, и только, по странному недосмотру, основатель и патрон флота, его вождь и знаменосец — Андрей Первозванный, переплывший некогда через Понт в Киев просвещать россиян истинной верой, ускользнул из черноморского флота и плавал в никогда не посещенной им Балтике.

Диссонансом в этом согласном строю святых были корабли «Синоп» и «Екатерина Вторая». Впрочем, последнюю можно было причислить к лику тех вознесенных в горние обители блудниц, которых церковь за неутомимость в любви удостоила сонма блаженных. На этом основании императрица имела право на канонизацию наравне с Марией Египетской и Марией Магдалиной и могла считаться святой.

Что же касается «Синопа», его существование оправдывалось тем, что он носил имя славнейшей победы Черноморского флота над флотом неверных, победы, добытой теми же святыми: «Константином», «Двенадцатью апостолами», «Тремя святителями», и был как бы благодарственным даром русского флота своим небесным покровителям, пославшим «одоление на языцы».

Корабли ветшали, сдавались к порту, шли в лом, но традиция не умирала, и новые корабли принимали старые имена и преемственную славу.

Крейсер «Память Меркурия» вместе с именем своего предшественника принял и георгиевский флаг, предмет гордости его офицеров и зависти всех остальных судов флота.

Рать стальных святителей стояла в Северной бухте, в черных вихрях дыма, наполняя свои чрева гремучей пищей, топливом, провиантом. Она готовилась снова нести ужас и истребление к анатолийским берегам, к узкому входу Босфора.

Все ходы стратегической мысли морского генерального штаба кружились, как карусельные кони, вокруг этой извечной идеи похода на Византию. Во всех операционных планах черноморского театра всегда красной нитью проходило слово «Босфор». Оно царило и в последнем перед войной плане.

Но этот план операций на 1914 год был настолько переполнен условностями и неясностями, что превращался в чистейшую фантастическую феерию, сочиненную штабом Черноморского флота для отписки и развлечения.

Если стремление Российской империи к заветным проливам являлось основным звеном всей ближневосточной политики самодержавия и политики вообще, то вводить в оперативный план четырнадцатого года идею диверсии на Босфор было крайне несвоевременно. В этом году Черноморский флот находился в почти трагическом положении, и фантастика оперативных замыслов наглядно иллюстрировала поразительное несоответствие политики русской державы с ее стратегией.

Об этом свидетельствовала уже основная часть плана — оценка политической обстановки:

Турция, находясь под влиянием Германии и управляемая военной партией младотурок, может решиться начать новую войну, чтобы получить обратно потерянное положение и, таким образом, создать базу для возрождения страны. Германия, толкая Турцию на вооружение и войну, стремится, в случае успеха Турции, воспользоваться ослаблением России, а в случае поражения ее, получить большую часть Малой Азии, включая проливы, в качестве своей колонии. Болгария, до решительной победы России, воздержится от войны и будет строго нейтральна, не позволяя России пользоваться ее бухтами как базами для флота. Румыния, до выяснения результатов столкновения и решения вопроса о господстве на море, войны также не начнет, сохраняя строгий нейтралитет. Австрия, вследствие угрозы англо-французского флота, не в состоянии послать своего флота в Черное море.

Россия, не усилив своей армии, параллельно усилению в 1913 г. германской и австрийской армий, не имея на Черном море ни сильного флота, ни достаточных средств для перевозки крупного десанта, также боясь внутренних потрясений, сама войны не начнет.

Таким образом, на Черном море в 1914 году война может быть наступательная только со стороны Турции, при обороне со стороны России.

В этой оценке политической обстановки наибольшей точностью отличалась негативная часть. Руководители флота били не в бровь, а в глаз империи, намекая на внутренние потрясения самым неделикатным образом. Но ситуация Болгарии и Румынии была оценена весьма легкомысленно. В предыдущей войне Россия нанесла болга-

рам незабываемую обиду, поставив на сербскую карту. Рассчитывать после этого на нейтралитет Болгарии, вырванной из-под русского крылышка Германией, было наивно. Румыния, связанная династическими узами с Гогенцоллернами, тоже вряд ли могла входить в расчет союзников, даже при благоприятном ходе войны.

И поэтому штаб, с лирической грустью переходя к политической цели войны, вынужден был, тяжко вздохнув, проститься с византийской мечтой в пессимистическом абзаце:

Для России занятие Константинополя и проливов решило бы весь многовековый ближневосточный вопрос, но, не имея на это, по крайней мере в начале войны, сил, Россия в 1914 году принуждена ставить себе целью только оборону своих границ.

Но на этом абзаце кончалась нормальная логика. Дальше начинался поэтический бред, ибо, предъявив свое боевое убожество, штаб впадал в неожиданный пафос непонятной стратегической идеи «господства на море».

Из сравнения вероятных сил вытекало с полной очевидностью, что в линейном флоте черноморцы значительно слабее турок, усиленных новыми дредноутами и возможной помощью немцев. Так же обстояло дело с крейсерами. Не лучше — с минным отрядом.

При этих условиях идея господства на море могла родиться только в горячечном воображении, но черноморское командование было одержимо манией линейного боя. Громовое эхо Синопа еще звучало в ушах моряков, напоминая о былой славе и мощи. Флот был во власти гипноза решительного боя. Две линии кораблей — друг против друга. До последнего снаряда, до последней капли крови. В волшебной картине линейного сражения был дурманящий штабные головы яд. Если была бы хоть какая-нибудь возможность, штаб не отказался бы применить в качестве основного принципа предстоящей схватки героический маневр прошлого века — бой на шпринге, на мертвых якорях, до полного взаимного истребления.

Но, к несчастью, противника нельзя было загнать в ловушку какой-нибудь бухты, как это удалось Нахимову со злополучной эскадрой Османа-паши. Противник не только был сильнее, он был подвижнее. Его эскадренный ход по всем данным превышал эскадренный ход святительской армады почти в полтора раза.

Искать встречи с противником при таких данных флот не мог. Ему оставалось с пассивной покорностью ждать, пока противник сам пожелает этой встречи, и из этой безнадежной ситуации родилась вторая бредовая мысль — о бое на центральной позиции вблизи базы, в виду Севастополя.

Операция должна заключаться в том, чтобы, выйдя из Севастополя со всеми силами, занять выгодную позицию вблизи его и на этой позиции дать решительный бой. Предел удаления этого боя от Севастополя определяется оперативной деятельностью подводных лодок и гидроаэропланов.

Задача господства на море окончательно уплывала в дымку черноморских туманов. План отыскания противника, героический и достойный флота империи, постепенно тускнел, превращаясь в униженное ожидание вражеского визита у своего крыльца. Флот превращался в трусливую деревенскую шавку, лающую на прохожего, высовывая только кончик носа из подворотни.

Но расчет, что противник сам полезет в бой в заведомо невыгодную для него обстановку, чуть не в раскрытую пасть, не мог быть подтвержден никакими стратегическими соображениями. Флот, связанный, ждущий врага чуть ли не под защитой крепостных орудий и посреди минных полей, терял не только стратегическое господство над морем, но и боевой дух и способность к активности.

В виду неподвижной армады, привязанной к месту, противник получал полную свободу стремительных операций набегов на побережье, методических погромов портов, полного сокрушения морских коммуникаций между югом России и Кавказом.

Культ старого Севастополя времен Крымской войны, приверженность к берегу, страх активных операций и непонимание идеи малой войны вели к прострации флота, к медленной и бесславной смерти.

* * *

Катер подходил к броненосцу. Серая стена вырастала над головой. Вплотную к ней, впереди трапа, стоял водоналивной пароход и поил пресной водой прорву водяных систерн. С кормы непристойно, как отрепья, свисали перепутанные концы, болталась повисшая боком беседка.

С палубы несся нестройный гам базара. Это было совершенно непохоже на всегдашнюю гипертрофированную опрятность и торжественную тишину военного корабля.

Крючковой впился багром в трап, и Глеб выскочил на площадку.

С палубы свесилась офицерская голова и, окинув ошалелым взглядом катер, рявкнула:

— На разгрузку! Не болтаться у трапа. Живо!

Глеб поднялся на палубу. Офицерская голова уже исчезла, метнувшись куда-то к рострам. Проход на шканцы загораживала груда шестидюймовых снарядов. Они лежали рядами, как только что зарезанные поросята, и красные полосы на их шейках были похожи на зияющие раны перерезанных горл. Глеб растерянно остановился.

Куда сунуться в этой неразберихе?

— Полундра!..

Внезапный вопль над головой заставил Глеба отпрыгнуть. Вплотную над ним, качаясь на цепи крана, проплыли два огромных ящика.

Матросы бежали мимо, чуть не натыкаясь на мичмана, черт его знает откуда взявшегося на дороге. Он ощущался ими как явно постороннее тело. Они привыкли за эти дни к офицерам, вымазанным прикосновениями всех грузов, зачерненным растушевкой угля, одурелым. А этот был чистенький, как из бани, и не знал, куда приткнуться.

Один из матросов, волоча кранец, мельком взглянул на непонятного чистюлю.

— Где вахтенный начальник? — спросил Глеб.

Матрос поднял глаза к небу.

— Зараз був на юте, вашскобродь, а може, теперь и нема.

И, точно вспомнив что-то чрезвычайно спешное, рванулся от Глеба вместе с кранцем.

Глеб осторожно перелез через снаряды и пошел на ют. Настроение у него стало кислым. Он рассчитывал попасть на минную бригаду. Служба на броненосцах не прельщала его, он не любил эти громоздкие посудины, больше похожие на уездный город, чем на военный корабль. Но в штабе флота его весьма невежливо обрезали, заявив, что в военное время нет возможности считаться с какими-то там желаниями мичманов. Со стесненным сердцем он продолжал поиски вахтенного начальника, пока тот сам неожиданно скатился на него с трапа кормового мостика.

Он был больше похож на кочегара, чем на представителя воинской чести и боевой готовности корабля. Через весь китель от плеча к поясу шла полоса ржавчины, локоть был порван, и обрывок материи болтался крылышком.

Только кортик, обязательная регалия вахтенного начальника, указывал на его звание.

Глеб взял под козырек.

— Мичман Алябьев. Назначен на корабль.

Вахтенный начальник полоумно уставился на Глеба. Медленно сообразил и вяло козырнул.

— Здравствуйте. Руки не подам — не руки, а совки для сажи, черт знает что. Собственно, вам нужно явиться к старшему офицеру, но сам дьявол не скажет вам, где сейчас старший офицер. Кажется, он уехал ругаться с командиром порта... Куда? Куда прешь, строфокамил? — Вахтенный начальник прыгнул, как тигр, через крышку люка, схватил за плечи матроса, тащившего бачок с краской, повернул его и, дав должное направление, отдуваясь, вернулся к Глебу.

— Отправляйтесь пока к командиру. Может быть, он скажет вам что-нибудь путное, хотя сомнительно. Командир у себя. Спуститесь вниз, спросите вестового. А я извиняюсь.

Вахтенный повернулся и помчался на шкафут. На бегу обернулся.

— Фу черт, забыл. Лейтенант Ливенцов, прошу любить и жаловать.

Глеб засмеялся. Спустившись в кают-компанейский люк, он спросил у вестового путь в командирскую каюту. Вестовой провел его и сдал на руки командирскому вестовому.

В командирском салоне за столом, разбирая бумаги, сидел капитан первого ранга, широкоплечий и приземистый. Голубой отсвет иллюминатора обливал глазурью его лысину. Он вскинул от бумаг жесткую, как из проволоки, рыжую бороду с проседью.

Выслушав представление Глеба, он поморщился, пожевал губами и ворчливо сказал:

— Вряд ли вам придется что-нибудь делать, пока не утрясется мобилизационный бедлам. Включиться сейчас в корабельную жизнь новому человеку немыслимо. Только будете путаться и сбивать. Вообще же войдете в состав второй вахты. Отправляйтесь к лейтенанту Калинину.

Больше ничего вам сказать не могу — голова кругом идет. Эк вас нелегкая принесла в такую минуту.

Ошарашенный Глеб вылетел из салона в коридор, пожал плечами.

«Приемчик! Ну и хамло, кажется, командир,— подумал он, направляясь опять на палубу.— А впрочем, действительно, я свалился как снег на голову в сумасшедший дом».

Лейтенанта Калинина на палубе не оказалось. После долгих расспросов артиллерийский унтер-офицер направил Глеба к лейтенанту.

— Их высокоблагородие в каюте. Я им только что снес погребные ведомости.

Снова нырнув под палубу, Глеб постучал в дверь указанной каюты.

— Вы ко мне?

Перед Глебом стоял высокий, очень высокий лейтенант, в расстегнутом кителе. Худое лицо, желчное и суровое, мягчили серые внимательные глаза. Гладкую прическу пепельных волос рассекала посередине плотная серебряная прядка.

На груди подрагивал на двухцветной ленточке офицерский «георгий».

— Так точно, господин старлейт. По приказанию командира. Мичман Алябьев. Сегодня прибыл из Петербурга и назначен на корабль. Командир приказал быть во второй вахте и явиться к вам.

— Садитесь.

Лейтенант протянул длинную ладонь, всю из костяшек. Показалось — сожмешь, и костяшки защелкают, как кастаньеты.

— Как ваше имя, отчество? Глеб Николаевич? А меня зовут Борис Павлович. Следовательно, как и полагается — Глеб к Борису.

Лейтенант засмеялся жестяным смешком, и Глеб увидел, как его правая щека вдруг дернулась тиком, противно искажая приятное, почти красивое, если бы не некоторая холодноватая жесткость черт, лицо. Лейтенант сжал губы, видимо пытаясь преодолеть тик, но судорога повторялась еще сильнее. Он потер щеку ладонью.

— Не обращайте внимания,— сказал он Глебу,— идиотская штука. От цусимского купанья осталась — никак избавиться не могу.

«Цусима... Вот откуда крестик»,— подумал Глеб и с еще большим любопытством посмотрел на лейтенанта.

— Я, видите ли, мой друг,— старший артиллерист этого ковчега. На якоре, как полагается старшему специалисту, вахты не несу, а в походе и вообще теоретически — вахтенный начальник второй вахты. Следовательно, будете у меня вахтенным фендриком. Помимо того — помощником ротного командира и башенным командиром левой носовой шестидюймовой. Должностей, как видите, много, но все это не так сложно, как представляется обыкновенному мичману. Во-первых, от одной обязанности — помощника ротного командира — я вас сразу категорически освобождаю. Читать матросские письма у меня в роте не полагается. Я этого жандармского свинства не люблю. Считаю долгом об этом сразу предупредить, чтобы не вышло потом неприятных коллизий. Если вы на это иначе смотрите — лучше сразу просите у старшего офицера переселения в вахту фон Моона. У него это в моде.

— Наоборот,— ответил Глеб,— я очень доволен, что вы избавляете меня от этой обязанности.

— Отлично. Предупредить не мешало. Разные моральные установки бывают. А сейчас в корпусе, кажется, усиленно прививают пинкертоновские склонности. Я же вас в первый раз вижу. Не обижайтесь.

— Да я и не думаю обижаться,— весело сказал Глеб.— Я вообще не обидчив.

— Есть. Предварительный контакт установлен. Теперь несколько слов о корабле и населяющих его чистых и нечистых. Начнем с командира. Наш патрон, капитан первого ранга Коварский, старый болван, ерник, в морском деле смыслит, как обезьяна в логарифмах. Главная специальность — порча пятнадцатилетних девочек, для чего на берегу имеет постоянное логовище у Соньки Шпис, достопримечательной севастопольской мегеры. Старший офицер, кавторанг Лосев, милейший мужчина. Был бы прекрасным настоятелем тихой обители. Для корабельной службы мало пригоден по вялости характера. Иногда бывает труслив до того, что даже с утвержденными начальством мнениями боится соглашаться. Но корабль знает, и если нас не утопят в первом бою — этим будем обязаны ему. Остальные офицеры — совершенная мразь, за исключением младшего штурмана, водолазного механика и, может быть, вас, поскольку я вас еще не знаю...

Глеб остолбенело смотрел на лейтенанта.

Что такое? Что это за рекомендации? Кают-компания, в которую гардемаринов пускали раз в год, по особому заказу, представлялась Глебу в облагораживающем ореоле корпусных преданий, как братская офицерская семья, рыцарский орден, а тут незнакомому, только что пришедшему человеку офицер представляет других офицеров как сборище прохвостов. Что он — больной или нахал?

— Не удивляйтесь, юноша,— сказал лейтенант, заметив изумление и растерянность Глеба.— Я знаю,— в кают-компании вас немедленно будут жалеть, что вы попали к сумасшедшему неврастенику и идиоту Калинину. Поэтому я предупреждаю нападение, а кроме того, люблю играть в открытую. Если бы не эта черта характера, я, может быть, уже командовал бы крейсером. Я за этим не гонюсь. Морскую службу люблю из принципа и каждого, кто ее превращает в поле для карьеры и холуйства, буду заедать без сожаления. Вас пугает моя откровенность?

— Нет,— смущенно ответил Глеб,— но я удивлен. Это так непохоже на то, что я вынес из корпуса.

— Корпус... Чепуха корпус,— вспыльчиво обрезал лейтенант Калинин.— Выкиньте, пожалуйста, из головы корпус и дурацкие иллюзии, которыми вас там фаршировали. Офицер не должен иметь никаких иллюзий, они расстраивают организм и мешают должному отправлению службы. Иллюзиями можете заниматься на берегу, когда будете кобелировать с девчонками. На корабле требуется холодная голова, умеющая всему давать реальную оценку. Из цветового спектра ваших восприятий прошу начисто вытравить розовенький цветик. Им размалевывают только дамские будуарчики. Понятно?.. Ну-с, на первый раз хватит, а то у вас глаза на лоб лезут... С каютой устроились?

— Нет. У меня еще все вещи в гостинице.

— Ну так вот. Сейчас вам делать на корабле нечего. С завтрашнего дня начнете приручаться, а пока поезжайте за своими вещами. Старшего офицера сейчас на корабле нет. Как только он вернется, я сам попрошу его распорядиться об отводе вам каюты. Когда он в такой каше вертится, как сейчас, к нему без сноровки подступаться не рекомендуется. К вечеру приезжайте на новоселье.

— Спасибо за заботу, господин старлейт.— Глеб встал.

— Па де куа[1], юноша. Кстати,— сказал Калинин вдогонку, когда Глеб уже открывал дверь каюты.— Еще два слова о моих странностях. Я люблю старый портвейн и коньяк и не люблю, когда строфокамилов обращают в прибор для упражнения мускулов.

— Я не понимаю, господин старлейт,— ответил Глеб.— Какие строфокамилы?

Он второй раз слышал уже это слово на корабле, но не мог разгадать его значения.

Калинин усмехнулся.

— Знаменитый непобедимый ковчег «Сорок мучеников» имеет свою табель о рангах, мичман. Нижние чины, при благодушном настроении всякого начальства, имеют прозвище «братец». В средней степени раздражения матрос именуется строфокамилом, а в высшей — камелеопардом. Это из библейской зоологии. Так вот, я считаю, что зубы у строфокамилов существуют для того, чтобы их чистить собственными руками, а не чужими, хотя бы и облеченными властью.

Глеб вспыхнул.

— Этого вы могли бы мне не говорить, господин старлейт.

— Приятно слышать. Отпадает еще один повод для недоразумений. Счастливого пути и всяческих успехов в будущем.

Глеб выбрался на палубу. Против кают-компанейского люка рабочие морского завода клепали кромку основания кормовой башни. Пронзительные сверчки пневматических молотков стрекотали на разные голоса. Их стрекот раздирал уши. Глеб пошел к трапу, но внезапно вспомнил, что нужно найти вахтенного начальника и испросить разрешение на съезд.

Он был теперь уже частицей этого корабельного тела и должен был подчиняться всем церемониям его сложного ритуала морской службы.

Вахтенного начальника пришлось разыскивать долго. Наконец Глеб обнаружил его у машинного люка. Вернее, обнаружилась нижняя часть спины и ноги, верхняя часть корпуса лейтенанта Ливенцова погрузилась в комингс. Свесившись туда вниз головой, лейтенант неистово орал на кого-то невидного.

---

[1] Не за что.

Выждав перерыва лейтенантского вопля, Глеб осторожно дотронулся до торчащей ноги. Лейтенант вывернулся, изогнувшись змеей, и уставился на Глеба налитым кровью лицом.

— Разрешите съехать на берег? — сказал Глеб.

— Ради бога! Заберите с собою половину команды — легче дышать станет,— взвыл вахтенный начальник и снова исчез в люке с ревом: — Я тебе ноги оторву, я тебе покажу, куда трос класть!

Глеб спустился в шестерку, отваливавшую в город. В несколько взмахов весел она далеко отлетела от борта, и грохот палубной работы затих, растворенный в солнечной дымке бухты.

* * *

Глеб вошел на солнечную веранду поплавочного ресторана, встретившую его разноголосым шумом. Приторным певучим стоном истекают скрипки, гул говора плавает над столиками. За огромным окном веранды, рамы которого висят в воздушной бездне, как соты, дремотно пришептывает море. Его жидкое стекло сонно обливает потрескавшийся бетон набережной под верандой.

На струистом голубом муаре бухты лениво покачиваются круглые поплавки заградительного бона, похожие на круглые головы великанов, плывущих чередой на Северную сторону, к новым зданиям ангаров. За желтым сутулым массивом Константиновской батареи, лиловея и туманясь, море уходит в дымный зной за мыс Лукулл, к песчаным россыпям тендровских отмелей.

Белые искры парусов вспыхивают язычками пламени над горизонтом.

Глеб нашел столик у окна и заказал обед. Он решил не торопиться и ехать на корабль к вечеру, когда стемнеет. К этому времени должна улечься сумятица авральных работ, будет спокойнее и приветливей.

Прием на «Сорока мучениках» выбил Глеба из колеи. Он вспомнил, с какими бодрыми надеждами шел из штаба на Графскую пристань, чтобы ехать на броненосец. Все казалось ему необыкновенно приятным, ласковым, дружелюбным. Матросы с «Сорока мучеников», встреченные на пристани, были такие здоровые, жизнерадостные, приветливые. И он ждал на корабле, который теперь

должен был на многие годы стать его родным домом, такой же гостеприимной встречи.

Новый сотоварищ, сослуживец, новый член дружной кают-компанейской семьи,— казалось, ему должны были обрадоваться.

Вместо этого — базарная грязная суматоха, ошалелая возня на палубе, в которой никому не было дела до вновь появившегося лица, брюзгливый прием командира, который прямо дал понять, что приезд мичмана совсем не ко времени.

Наконец, необъяснимо странная манера разговора лейтенанта Калинина. Этот пронизывающий, насмешливый взгляд, раздражающий тик, желчные фразы. Неврастеник! Недурное удовольствие вступать в службу под началом у такого оригинала!

Аттестации, которые он дал офицерам «Сорока мучеников», если они справедливы хотя бы наполовину, обещают тоже мало приятного. Любопытно будет узнать, как другие офицеры аттестуют самого Калинина.

В невеселом раздумье Глеб вяло ковырял вилкой бифштекс.

За большим столом в середине зала обедала шумная компания. Пять офицеров и две дамы. Оттуда все время вылетали взрывы хохота. Видимо, сидевший спиной к Глебу мичман беспрестанно рассказывал остальным что-то очень смешное. Воздушная розовая блондинка, похожая на английские открытки «applegirls [1]», хохотала до слез. Гладко причесанная длинная голова мичмана с оттопыренными ушами показалась Глебу знакомой.

Чужое веселье растревожило его. Сердце у него тихо и пронзительно заныло, как больной зуб. Вспомнился Петербург, Мирра. Глеб отвернулся к окну, стараясь не слушать раздражающего женского смеха. Рассеянно смотрел в синее марево, на белые искры парусов.

Неожиданно услыхал громко произнесенную свою фамилию. Обернувшись, увидел подошедшего от того стола, показавшегося знакомым мичмана.

— Эгмонт?

— Он самый. А я вас тоже узнал.

Эгмонт был выпущен на год раньше Глеба. В корпусе он слыл присяжным остряком, изобретателем веселых и

---

[1] аппетитная девушка *(англ.)*.

ядовитых анекдотов. При этом был большим вралем, и все потешались над его склонностью считать себя прямым потомком знаменитого сподвижника нидерландского штатгальтера графа Эгмонта, хотя всем гардемаринам прекрасно было известно, что Эгмонт — эстонец из захудалых прибалтийских «серых баронов».

— Нашего полку прибыло,— сказал Эгмонт, скаля зубы и протягивая руку.— Здравствуйте, свежая кулебяка. Давно в нашем богоспасаемом?

— Сегодня приехал,— ответил Глеб.

— Ну, как в Петербурге?

— Немного серьезней, чем у вас. У вас и на войну непохоже.

— Пока нет. Но за будущее не ручаюсь. В штабе были?

— Был. Получил назначение на «Сорок мучеников»,— сказал Глеб.

— Фе! — скривился Эгмонт.— Неужели вам нравится плавать на этих усыпальницах? Почему не в храбрую минную дивизию? Впрочем, подождите. Идем за наш столик, чего ради вам пропадать здесь. Я вас познакомлю с отличными женщинами. Наша компания — самый веселый сумасшедший дом в Севастополе, и вам все равно не миновать его. Тут тонут все новички.

— Если позволите — в другой раз,— ответил Глеб.— У меня сегодня настроение не очень. Насчет минной дивизии дело не вышло. Не было вакансий.

— Молодо-зелено,— Эгмонт снисходительно улыбнулся.— Послушайте, малютка, раньше, чем лезть в пасть штабным удавам, нужно было найти старших умных мальчиков, вроде меня, и спросить совета, как верблюду проскочить в игольное ушко. Ну, ничего. Пострадайте за дурость, а после мы вам это дельце устроим. Вы с мичманом Рябцевым не знакомы?

— Нет. А кто это? — спросил Глеб.

— Красавец и полированный гвоздь. Кумир всех проезжих купчих и победитель ялтинского проводника Махметки. Неофициальный владыка мичманских душ и телес, а попросту говоря, флажок Эбергарда. Может сделать все, что захочет. Например, может выдать мне удостоверение в том, что я девица, и совершенно нетронутая.

— Послушайте, Эгмонт,— перебил Глеб болтовню мичмана,— дайте мне спросить, в свою очередь. Вы знаете лейтенанта Калинина?

— Бориса? Знаю. А что?

Эгмонт отодвинул стул и сел против Глеба.

— Меня интересует его облик. Он мое прямое начальство.

— Фью-фью,— присвистнул Эгмонт.— Здорово!

— Почему вы свистите?

— А собственно, что вы хотите знать о Калинине? — спросил Эгмонт, смотря в глаза Глебу.

Глеб безотчетно смутился.

— Просто мне интересно знать, какая у него репутация начальника, человека... офицера, наконец? Мне хотелось бы ориентироваться, как держать себя на первых порах с начальством.

— Ориентироваться? — Эгмонт засмеялся.— Я готов отдать приготовленный реверс и остаться всю жизнь холостяком, если кто-нибудь сможет ориентироваться в Борисе Калинине. С такой же уверенностью можно ориентироваться в полном тумане на шхуне, из компаса которой матросы выпили спирт. Одно могу сказать с полной ответственностью — Калинин мировой артиллерист. Он может первым залпом накрыть плавающую в море суповую миску на дистанции шестьдесят пять кабельтовых. Если бы не артиллерийский гений — его давно выгнали бы из флота.

— Почему?

Эгмонт поковырял отточенным ногтем мизинца скатерть, как будто выковыривая из-под синеватого полотна нужный и трудный ответ.

— Видите ли, Алябьев... Я не знаю, чего вам хочется. Если вас привлекает строевая карьера, если вы хотите всерьез делаться артиллеристом, то вы счастливый человек. Ручаюсь, что через два года вам могут предложить пост флагманского артиллериста в Грандфлите. Что же касается остального, то ваше положение я сравнил бы с положением гусарского новобранца, которому в шутку подкидывают сумасшедшего жеребца, от которого давно отказался весь полк. У Калинина норов такого жеребца. Он способен при матросах «обмативировать» адмирала, если ему не понравится адмиральская борода. Он выражает свои мнения о людях прямо в глаза, не выбирая выражений. Некоторые зачисляют его в красные. Другие считают это вздором потому, что Калинин патриот. Думаю, что всего правильнее рассуждают те, которые полагают, что ему простудила мозги цусимская ванна. Но,

словом, характер заедает ему карьеру. С пятого года, как вы видите, он дополз только до старлейта, и это при наличии офицерского «георгия». Эбергард каждый год вычеркивает его фамилию из списков производства в отместку за один эпизод. Кажется, в десятом году, на разборе маневров, Калинин при всем штабе ляпнул ему в глаза по поводу какого-то поворота, что так поворачивают только идиоты. Андрей съел, но не простит до гроба. Не удивляйтесь, если, по неопытности прошляпив какой-нибудь пустяк, вы получите от него «чугунную голову» или «остолопа на ходулях». Это уже не раз бывало.

— Ну, это посмотрим,— возмутился Глеб.— Я сам ему так отвечу, что второй раз не захочет.

— Malbrough s'en va-t-en guerre [1], а по-русски «хвались, идучи с рати»,— захохотал Эгмонт.— Лучше не пробуйте. Тогда он загрызет вас насмерть, сделает из вас деволяй. Вся суть в том, что он никогда не обложит незаслуженно. Но, если промахнулись, пощады не ждите. И в то же время, если вы положите классный залп или вообще отличитесь, он может на месте обнять вас, как нежная мамаша, и лобзать на глазах у восьмисот голопупых, составляющих команду вашего гроба. Такой уж истерик.

— Перспективочка! — уныло сказал Глеб.

— А вы не скисайте, Ромео. Если будет невтерпеж — скажите мне. Я через Рябцева устрою вам перевод в нашу прославленную минную банду. А сейчас извините. Дела сердечные.— Эгмонт подмигнул на покинутый стол и поднялся.— Не забывайте, крошка, будьте гостем. Я на «Счастливом». Приезжайте, вспомним минувшие дни и корпуса веселые преданья.

Эгмонт ушел. Глеб расплатился и вышел на заполненную гуляющими эспланаду. Шурша по гравию, как прибой, проплывала толпа. Веселый, звонкий южный гомон стоял над нею. И от этого Глеб еще острее почувствовал свое полное одиночество. И неожиданно вспомнил о лежащем в кармане письме Семена Григорьевича.

Глеб остановился, вынул письмо, повертел в пальцах продолговатый плотный конверт сине-серого цвета. Прочел надпись: «Мирону Михайловичу Штернгейму. Чесменская, 18».

---

[1] Мальбрук в поход собрался *(фр.)*.

Письмо выплыло из кителя, как спасательный круг. На нем можно было проплавать до вечера, чтобы не пойти ко дну в холодной пустыне одиночества. Глеб спросил у встречного, как пройти на Чесменскую, поднялся по трапу мичманского бульвара, пересек его и мимо сигнальной башни вышел на узкую, ползущую в гору улочку.

Восемнадцатый номер оказался уютным белым домиком. Фасад его заплетала густая сеть виноградных лоз. Глеб вошел в калитку, поднялся на крыльцо.

Синяя, на белой эмали, блеснула в глаза табличка:

ДОКТОР

МИРОН МИХАЙЛОВИЧ ШТЕРНГЕЙМ

Венерические и мочеполовые болезни.
Прием от 5 до 7 веч. Дам от 7 до 8.

Глеб испуганно оглянулся. Дьявольщина! Венеролог. А вдруг проходящие подумают, что он идет лечиться. Но на улице было пусто. Глеб осмотрел дверь, ища звонка. Но ничего похожего на обычный звонок на двери не было. Над табличкой была прибита бронзовая голова ворона. Клюв ее угрожающе торчал, как будто собираясь клюнуть пришельца. Глеб из любопытства потянул за клюв, тот на шарнире пополз книзу, и из квартиры донеслось глухое карканье.

«Забавно,— подумал Глеб,— везет мне в Севастополе на чудаков».

Маленькая румяная девушка открыла дверь и недружелюбно оглядела посетителя.

— Доктор принимает с пяти. Там написано.

Глеб залился краской. «Так и есть — приняла за венерика».

Заикнувшись, он сказал:

— Простите, я здоров. У меня письмо к доктору из Петербурга.

Девушка недоверчиво отступила, пропуская его внутрь. Видимо, она давно служила у доктора и привыкла ко всяким фокусам пациентов, скрывающих свои болезни. Положив фуражку Глеба на столик, она раскрыла дверь.

— Проходите... сейчас доложу.

Глеб, оробев, вошел в приемную. Где-то за стенами звучал рояль. Играли Моцарта.

В приемной стояли вдоль стен дубовые стулья и, вокруг стола, четыре кожаных кресла. На белых блестящих эмалевых стенах вместо обычных гравюр висели клинические снимки сифилитических разрушений. Глеб взглянул. Мутная щекоть отвращения подползла к горлу.

— Странный выбор сюжетов для развлекания пациентов,— вслух сказал он, стараясь не смотреть на лезшую на глаза рожу с проваленным носом и выеденной челюстью.

Румяная девушка неожиданно выскочила из стены, открыв дверь, такую же белую, эмалевую и незаметную.

— Проходите,— сказала она, издевательски усмехаясь. Глаза ее говорили явно, что ни в какое письмо из Петербурга она не верит.

Глеб, начиная злиться, шагнул в дверь и остановился, ослепленный. В широкое окно докторского кабинета лился буйный солнечный поток. За окном раскидывалась в пропасти Южная бухта, на синей глади которой стояли, словно игрушечные, корабли и бегали катера. За бухтой белели дома, уходили вдаль холмы, над ними высился чуть видный памятник Корнилову на Малаховом кургане.

Солнечный светопад заливал цветы. На полу, на столе, подоконниках, полках — всюду, где можно было найти место для вазона, стояли цветы. Солнечные лучи рассекали не воздух, но сгущенную эссенцию цветочных запахов.

Щурясь от щекочущего света, Глеб искал глазами хозяина, но в комнате не было заметно присутствия кого-либо живого. Мебель и цветы.

Думая, что Штернгейм еще не вышел, Глеб подвинул к себе стул и сел. Но вдруг стул под ним дрогнул, захрипел, зачмокал и тоненьким стеклянным треньканьем музыкального вала заиграл вальс из «Фауста».

Глеб вскочил, разъяренный. «Что за идиотские шутки?!»

Стул продолжал наигрывать. Глебу захотелось разбить эту нелепую игрушку. Он шагнул к стулу, сжав кулак, но откуда-то сбоку раздался веселый, такой заразительный хохот, что, оборачиваясь на его звук, Глеб сам уже улыбнулся. Он увидел у окна, над красным сукном письменного стола человеческую голову. Пышная рыжая борода топырилась вокруг ее очень розовых щек, яркие синие глаза суживались в добродушные щелки.

— Не сердитесь,— сказала голова, мигнув левым глазом,— разве вы не любите хорошей шутки? Молодость должна любить шутку. Что бы мы стали делать в жизни без улыбки? Какая мрачная Сахара для меланхоликов развернулась бы перед нами.

Голова обогнула стол, и Глеб мог теперь рассмотреть хозяина дома целиком. Перед ним стоял маленький горбун. Красно-золотой веер бороды делал его похожим на сказочного кобольда. Прозрачно-синие, добро и ясно лучившиеся глаза говорили, что в этом крошечном, изуродованном природой тельце обитает неунывающе-жизнерадостный дух. В лице доктора Штернгейма не было и следа того хмурого озлобления, которое всегда отмечает горбунов.

Он протянул Глебу тоненькую ручку с очень длинными пальцами:

— Извините. Не правда ли, у этой забавной штучки поразительно чистый тон?

Глеб искоса взглянул на замолкший стул. Раздражение у него сразу прошло.

— Любопытная игрушка.

— Вам понравилось? В самом деле? — Штернгейм засуетился.— О, тогда я вам покажу еще.

Он забегал по всей комнате, касаясь ручками стульев, столов, шкафчиков, ящиков, этажерочек, и под этими прикосновениями кабинет оживал, пел, звенел на разные голоса.

Штернгейм остановился посреди кабинета, сложил руки на груди и с рассеянно-мечтательной улыбкой прислушивался к звенящей какофонии.

— Это моя мания! Я собираю всякие музыкальные игрушки. Они такие ласковые, почти живые. Вы знаете, кто я? Я Альберих, а это мой Нибельгейм. Только я добрый нибелунг, и у меня нет среди моих сокровищ золота. Золото отвратительная вещь.

Он, улыбаясь, смотрел в лицо Глебу, похожий на счастливого ребенка, и Глеб невольно сам по-детски улыбнулся странному человечку. Тогда Штернгейм осторожно ухватил гостя за рукав и потащил к креслу.

Глеб недоверчиво покосился на кресло.

— Нет... Оно молчаливое,— с сожалением сказал хозяин и, усадив Глеба, взял его за руку.

— Ну, теперь рассказывайте... Где болит? Нашалили?

Глеб развел руками.

— Позвольте, доктор. Разве ваша прислуга не сказала, что я к вам совсем по другому делу. Я абсолютно здоров.

Штернгейм вскочил, засуетился.

— Ах, каналья. Она никак не может поверить, что ко мне могут приходить здоровые люди. Вы знаете, что она мне сказала. Она сказала: «Пришел мичман, врет, что с письмом».

Глеб засмеялся:

— Я так и думал. Нет, я действительно с письмом. От Семена Григорьевича Неймана.

Штернгейм вскинулся и снова схватил руку Глеба.

— От Семена Неймана? Что вы говорите? Замечательно! Наконец этот троглодит вспомнил обо мне. Мы же сидели с ним восемь лет на одной парте и дрались за золотую медаль. Она была нужна нам обоим, и мы не могли уступить друг другу. Ведь это была открытая дверь в университет. Ну, и вы знаете, чем мы кончили? Мы взяли две золотые медали! Ха-ха!

Кобольд весело осклабился, вспушив бороду. Припрыгнул.

— Давайте же письмо.

Длиннопалая лапка разорвала конверт. Пробежав текст, доктор еще дружелюбнее взглянул на Глеба.

— Ого! Вы музыкант? Это чудесно! Это замечательно!

— Если Семен Григорьевич так назвал меня, то это преувеличение. Я немного играю, но по-дилетантски.

— О, нет! Семен не называет вас музыкантом. Он,— Штернгейм странно лукаво покосился на Глеба,— он пишет, что вы любите рояль. Я ведь тоже дилетант, но люблю рояль и буду очень рад помочь вам, Глеб Николаевич. Во-первых, конечно, вы можете приходить ко мне, когда вам захочется, в любое время дня и ночи. Мы будем играть вместе, мы будем играть поодиночке и слушать друг друга. Я скажу моей горничной, что вы не пациент, чтобы она не водила вас в мою приемную. Моя приемная рассчитана на больных. Я склонен сразу ошарашивать их наглядным показом будущего... Но как отлично, как отлично, что вы приехали, что вы знакомы с Семеном. О, моя молодость!

Глеб улыбнулся. Ему с каждой минутой становился симпатичнее этот необычайный горбун.

— Ваша молодость? Но, Мирон Михайлович, вы никак не похожи на старика.

— И однако, мне уже тридцать первый год. Это уже старость! Это уже старость, дорогой Глеб Николаевич. Но знаете — уйдем из этого обиталища болезней ко мне. Я вас сегодня никуда не отпущу.

— Спасибо,— Глеб поклонился.— Но мне необходимо сегодня к вечеру переехать на корабль.

— Ах, да,— Штернгейм сожалительно всплеснул ручками.— Я совершенно забыл, что война, что вы офицер. Тогда вот что. Вам нужна ведь комната. Хотите — пройдем вместе к одной моей знакомой здесь, рядом. Она старушка, вдова штурмана дальнего плаванья, и у нее найдется комната и неплохой Стейнвей. Вас это устраивает?

— Вполне. Я очень вам благодарен за хлопоты, Мирон Михайлович.

— Нет, нет. Не благодарите.

Штернгейм нажал кнопку на стене. Вошла горничная.

— Марфуша! — воскликнул доктор торжественно-нравоучительно.— Марфуша, пусть ваш слабый женский ум запомнит, что Глеб Николаевич вовсе не больной, что он никогда не будет больным, что он будет приходить ко мне и вы будете немедленно пускать на здоровую половину в моем присутствии и в моем отсутствии, иначе да настигнут вас лихоманка оговора и лихой глаз. Поняли? Теперь выпустите нас и закройте двери.

Спустя четверть часа Глеб возвращался со Штернгеймом, уговорившись с хозяйкой квартиры, чистенькой, жеманной старушкой. Комната оказалась хорошей, рояль отличным, Штернгейм окончательно очаровал Глеба.

Однако от приглашения доктора — зайти выпить кофе Глеб отказался.

Солнце уже касалось краем тонкой иглы Херсонесского маяка. Нужно было еще зайти в гостиницу, собрать вещи и ехать на корабль. Штернгейм проводил Глеба до подъезда и на прощанье повторил приглашение считать его дом своим домом.

— Семен написал о вас такое милое письмо, что мне очень хочется быть полезным вам, Глеб Николаевич. Прошу же не забывать меня.

Глеб поблагодарил. Он не знал, что в письме, оставшемся на столе докторского кабинета, любопытная Марфуша, морща лоб, прочла по складам:

Дорогой Мирон! Податель этого письма очень милый мальчик и пламенный рыцарь сестренки Мирры, которую ты помнишь еще девчонкой. В умственном отношении этот мальчик (зовут его Глеб Николаевич Алябьев) совершенная «tabula rasa»[1], но, видимо, у него есть хорошие задатки. Поручаю его твоему вниманию и опеке, думаю, что ты сможешь вылепить из этой глины нужного человека...

Слово «нужного» было дважды и жирно подчеркнуто.

* * *

Глеб стоит у обвеса командного мостика и смотрит на бак. Приборка только что закончилась. Разнесены шланги, аккуратно уложены бухты тросов, настил палубы чист и бел, кое-где еще сверкают просыхающие лужицы воды. Над простором бака подымается легкий пар от накаляемых солнцем влажных досок, прошитых черными нитками пазов.

Корабль больше не похож на толкучку, на рынок железного и канатного барахла, каким он был два дня назад. Ни одно пятнышко не оскверняет палубы, стерилизованной, как операционное поле.

Могучая кастрюля носовой орудийной башни пучит под ногами Глеба свою выпуклую крышку с прицельными колпаками. Два длинных, стремительно вытянутых ствола двенадцатидюймовых орудий уперлись обрезами в пирамидальную церковь братского кладбища на берегу. Легкий ветерок из горла пролива лениво колышет гюйс.

Хорошо стоять на мостике, чувствуя прелесть июльского утра, ощущая великолепную слаженность, порядок и точность корабельного тела. Еще лучше осознавать себя не последней пружинкой замечательного стального организма.

Вахтенный офицер — полновластный хозяин бака. Это его владения, его маленькая империя, созданная по образцу и подобию большой империи российской.

Вон матросы, прибранные, чистенькие, умытые, тянутся к фитилю покурить. От вахтенного офицера зависит позволить им это законное удовольствие или отсрочить

---

[1] чистая доска (*лат.*).

наслаждение густой струей махорочного дыма, приказав переуложить вон ту бухту каната, левый бок которой, кажется, не так изумительно выровнен, как в других бухтах.

«Нет... ничего, сойдет. Бухта как бухта».

Глеб еще раз взглянул на подозрительную бухту и отвернулся. Широкий простор густо-зеленой воды сияет и переливается радугой. Вон от штабного корабля «Георгия Победоносца», вышедшего уже из строя и обращенного в неподвижный блокшив на мертвых якорях, отчалил длинный моторный катер красного дерева и ласточкой скользил по воде. Две блестящие пленки разрезанной воды липнут к узкому корпусу, рассыпаясь узором зеленого стекляруса за кормой. Голубоватая струйка бензинного дыма плывет за ним в воздухе. Это катер флаг-капитана.

Нужно смотреть в оба. Катер идет к линейной бригаде.

Глеб искоса взглянул на сигнальщиков Гладынюка и Ершова, стоящих тут же рядом. Смотрят ли?

Но сигнальщики не сводят глаз с бегущего катера. Веки Гладынюка сужены, взгляд напряжен, на крепкой, кирпичной шее вздулась и пульсирует артерия. Все в порядке — не прозевают. Но катер, не доходя до траверза «Сорока мучеников», круто развертывается и ворочает на третий от края корабль, на «Иоанна Златоуста».

Глеб успокоенно отвернулся, перешел на другую сторону мостика, поглядел на унылое каре казарм на горе над Корабельной слободкой.

Все-таки хорошо на корабле. Неприятный осадок от первого приезда быстро сгладился за эти два дня. Старший офицер при первой встрече отнесся к молодому мичману совсем по-отечески, сам зашел в каюту посмотреть, как устроился новый сослуживец, и поздравил с новосельем.

Спросил о доме, о родных, любезно предложил в случае необходимости в деньгах обращаться к нему запросто, как к близкому человеку, и по мере возможности избегать брать деньги взаймы на берегу, особенно у штатских.

И командир, успокоившийся после горячки погрузок на шканцах, удостоил нового члена кают-компании несколькими фразами. А это уже много. Командир не

слишком интересуется мичманами. Командир — полубог, властитель, недоступная личность, отношения которой с младшими ограничиваются обычно вставкой фитилей.

Остальные офицеры также гостеприимно приняли Глеба в свой кружок и джентльменски вспрыснули его появление шампанским.

И даже, вопреки предостережениям Эгмонта, лейтенант Калинин хотя и держится очень сухо, но чрезвычайно вежлив и вчера два часа беседовал с Глебом у себя в каюте, дав ряд ценных указаний по артиллерийской службе. Он посоветовал Глебу поближе познакомиться с унтер-офицером его башни Гладковским, рекомендовав его Глебу как артиллерийского самородка и профессора.

Жизнь снова засияла для Глеба улыбчивым светом, особенно после вчерашнего ужина, когда вестовой принес ему телеграмму от Мирры в восемьдесят два слова.

Все чудесно в мире. Сегодня в десять часов «Сорок мучеников» выйдет в море на боевую практическую стрельбу. Сегодня Глеб впервые будет командовать своей башней. Глеб с нежностью посмотрел на узкое тело шестидюймового орудия в амбразуре левой носовой башни. Пушка показалась ему родной, послушной, терпеливо ждущей его властных командных слов.

Правда, страшновато впервые. Но в башне Гладковский. После разговора с Калининым Глеб вызвал к себе Гладковского. Гладковский с первого взгляда очень понравился Глебу. Непохож на обыкновенного серого матроса, деревенщину. Подтянутый, франтоватый, в хорошо облегающей форменке. Лицо тонкое, умное, чуть насмешливый рот, держится без подобострастия, но и не развязно. Говор не мужицкий, приятный голос с чуть заметным пришепетыванием польского акцента.

В разговоре Глеб осторожно выпытывал у Гладковского ряд деталей, касающихся управления башней, и Гладковский очень толково сумел все объяснить Глебу, так, что выходило, как будто не унтер-офицер просвещает мичмана, а наоборот,— мичман проверяет знания подчиненного. Глеб высоко оценил такт Гладковского. С таким не пропадешь, он не подведет и выручит при заминке.

Закончив разговор с унтер-офицером, Глеб вынул из портмоне синенькую бумажку и протянул Гладковскому:

— Спасибо, Гладковский. Возьми, выпьешь за моё здоровье.

Но унтер-офицер, внезапно покраснев, тихо сказал:

— Покорнейше благодарю, ваше высокоблагородие, а только позвольте денег не брать.

— Почему ты не хочешь? — удивился Глеб.

— Спасибо за доброе слово, ваше высокоблагородие. Разрешите доложить, что мне жалованья хватает; кроме того, я непьющий. А службу я всегда рад исполнять по присяге, ваше высокоблагородие.

Было что-то неуловимое в тоне подчиненного, что заставило Глеба не настаивать больше. Он сунул пятерку в карман.

— Ну , что ж. Во всяком случае, я рад, что ты у меня в башне. Можешь идти.

Гладковский вышел. Глеб задумался. «Странная все-таки штука матрос. Вот их на корабле восемьсот человек. Станут во фронт и как будто все на одно лицо, замкнутые уставом, как замком, неразличимые, одинаковые, а на самом деле подойдешь поближе и увидишь, что каждый по-своему особенный, у каждого свои привычки, характер, мысли. Как их понять? Нужно будет понемногу, исподволь знакомиться с людьми своей роты, с каждым поодиночке. Об этом говорили еще в корпусе, что хороший офицер должен знать подчиненных как свои пять пальцев. Но сколько времени пройдет, пока узнаешь их. Да и узнаешь ли всех?»

Топот и шум на рострах оторвали Глеба от этих мыслей. Он перешел к заднему обвесу, откуда как на ладони были видны ростры.

К первому баркасу бежала команда. Дежурный боцман Ищенко, разгладив ладонью кошачьи усы, неторопливо подошел к шлюпбалкам.

— На спуск баркаса номер первый! Баркас к спуску!

Старшина и двое гребцов давно взобрались в баркас, карабкаясь по шлюпкам. Остальные стали по талям.

— Ищенко! Куда баркас? — окликнул Глеб.

— За провиантом для кают-компании, вашскородь,— отозвался боцман, не взглянув на мичмана.— Господин ревизор спосылает. Приказано принять полный запас.

— Ага. Ну валяй! — покровительственно сказал Глеб, точно разрешение на спуск баркаса зависело именно от

него и он давал последнюю санкцию, хотя ему отлично было известно, что распоряжение отдано старшим офицером вахтенному начальнику, лейтенанту Ливенцову, и он, Глеб, не больше как пятая спица в колеснице.

Но Ищенко деликатно ответил:

— Слушаю, вашскородь,— и тотчас же во всю силу голоса рявкнул: — Тали второго баркаса разнести! Ж-живо, не копайсь!

Команда торопливо и скоро разносила тали. Громадный округлый корпус баркаса медленно вывалился, повис над водой, слегка раскачиваясь.

— Нажать тали!

Тали дрогнули, ослабляя стопора.

— Снять стопора!.. Тали травить! — покрикивал Ищенко, чувствуя себя главным актером спектакля.

Оборачиваться со шлюпками не простое дело. Стальная махина линейного корабля требовала для своего обслуживания огромного количества гребных посудин. Грузные, пузатые баркасы, с прекрасными мореходными качествами, не боящиеся шестибалльного ветра, подымающие большой груз и свыше сотни людей; гребные катера; вельботы — командирский и спасательный с воздушными ящиками, узкие, легкие на ходу, как рыбы; восьмерки, шестерки, четверки, неисчислимое количество двоек; два паровых катера; моторный, минный — все это теснилось здесь, на вышке ростр, и нужно было точно знать и помни́ть, что к чему, для чего каждая шлюпка, как с ней обращаться. Это знание было делом че́сти хорошего боцмана, а Ищенко был хорошим боцманом.

— Ровней трави, черти безрукие!.. Не видите, дьяволы! Задержать носовой, трави кормовые,— забеспокоился боцман.

Только недогляди за ними! Вот баркас юркнул носом. Ищенко беспокойно кинул косой взгляд в сторону мичмана. И чего торчит, не сводя глаз? Оно конечно, по уставу полагается спускать баркас под наблюдением боцмана и вахтенного офицера, но что он знает, этот мичманенок, три дня как появившийся на корабле. Щенок! Точно он, Ищенко, в первый раз руководит этим ответственным делом.

Боцман недовольно крякнул, как потревоженная утка, но баркас уже выровнялся и плавно шел вниз, скрываясь за срезом борта.

— На воде! — долетел снизу оклик старшины.

Ищенко распрямил грудь, подкинул на ладошке дудку. Спуск сошел ладно.

— Раздернуть тали, лопаря уложить!

Теперь все в порядке. Нужно еще доглядеть за посадкой.

Ищенко спустился с ростр. Глеб последовал за ним. Баркас мягко покачивался в сверкающей прозрачной воде под выстрелом. Гребцы наготове стояли у борта.

— На баркас!

Люди, мелко перебирая ногами, побежали по выстрелу, гроздьями закачались на штормтрапе, валясь в баркас.

— Кострецов! — крикнул Ищенко, перегибаясь через стойки.

— Есть, господин боцман!

В старшине катера Глеб узнал одного из пятерых матросов, которых он встретил на Графской пристани в день приезда в Севастополь.

— Значит, так — пойдешь наперво в Килен-балку до провиантского складу, после, как заберешь там консерву и зелень, перейдете до Южной бухты за мясом. Погрузишь и кати под минную башню. Там бухветчик из собрания вино привезет. Да гляди, чтоб ящики осторожнее грузили, а то бутылки перебьете, тогда я вас начищу.

— Слушаю, господин боцман! Тольки по такому делу как до похода назад бы обернуться. Много больно погрузки.

— А кто тебе, дурья голова, сказал до походу оборачиваться? Без вас не обойдутся? Через час выйдем на стрельбу, в два часа будем назад. К тому времени и оборачивайтесь.

И, повернувшись к Глебу, сделав официально-торжественное лицо, Ищенко приложил к околышу красную шерстистую пятерню.

— Разрешите отваливать, вашскородь?

Глеб кивнул. С баркаса отдали бакштов, скобленые весла, полыхнув на солнце, легли на воду, и баркас, переваливаясь, тяжело пошел к берегу.

Глеб вернулся на мостик, взглянул на хронометр. Половина десятого. Через полчаса съемка с якоря на стрельбу. Первая стрельба. Не осрамиться бы! И он взволнованно зашагал по мостику, вглядываясь в горизонт, как будто выжидая нежданного появления из сизой дымки неприятельских кораблей.

Но сонная даль горизонта была чиста. Где-то далеко уже вторую неделю гремели орудия, корпуса Самсонова и Ренненкампфа давящей лавиной катились через Восточную Пруссию; Гумбинен, Алленштейн, Гольдап, дымясь, лежали в развалинах, на корабль каждый день с берега привозили вороха газет, переполненных телеграммами о новых победах, о тысячах пленных; в кают-компании за столом обсуждались кандидатуры на пост берлинского генерал-губернатора, и офицеры ставили шампанское в заклад о сроке взятия германской столицы.

Но в Севастополе все было тихо и блаженно, как в мирное время. Гостиницы были переполнены курортной публикой. Цвет московского и петербургского бомонда струился через город на бархатный сезон южного берега, и у мичманов и лейтенантов был обычный летний любовный улов.

Тучи плыли еще далеко над Босфором, не омрачая Таврического горизонта, и дым из двух низких широких труб прорвавшегося в Дарданеллы «Гебена» расплывался и таял на рейде Константинополя, не беспокоя русское командование едким запахом кардифа. Война ощущалась только в усиленной сторожевой службе охраны рейдов, в маскировке входных огней, в сокращении отпусков на берег для нижних чинов, в ночных пробных тревогах отражения минных атак.

Если бы не это — можно было бы подумать, что во всем мире тишина и в людях благоволение. И в безветрии рейда сонно свисали к воде полотнища андреевских флагов.

* * *

Закончив погрузку консервов и зелени, баркас неторопливо выполз из Килен-бухты. В проходе заградительного бона, густо дымя, выходил в море корабль.

— Наши поперли,— сказал Кострецов, мотнув головой в сторону уходящего корабля.

Он сидел на транце баркаса, упираясь босыми ступнями в настил кормового сиденья, нагретого солнцем, и с наслаждением шевелил пальцами. Горячие доски напоминали ему горячую землю Липецкого уезда, дни жатвы, милую деревенскую землю, приятно покалывающую пятки золотистыми иголочками стерни.

В деревне сейчас кончали жниво. Из писем, приходивших от жены и отца, Кострецов знал, что урожай в этом году важнеющий.

«Так что, дорогой наш сынок Никитушка,— писал отец,— нонче дела вовсе справные, пшеницу уродило, что золото. Зерно важкое да духмяное. С такого урожаю справимся ладно, и Вавилову можно будет долг отдать сполна. Как осенью вернешься со службы, станем рубить новую избу, лесу я припас малость да у барина попросим — обойдется. Мать тебя крепко дожидает, а Ксюшка уж все глаза проплакала. Кобеля к ей все подъезжают, да бог послал тебе жену хорошего толку, ни с кем не хороводится, работяща и к нам ласкова...»

Письмо было написано еще в начале июля, когда деревня и не чуяла грозовых военных туч.

Кострецов зажмурил глаза, и сквозь красное мерцание так явственно встал перед ним косогор за речкой, пыльная лента дороги, по которой тянутся возы со снопами, деревенская околица и синие Ксюшкины глаза.

Он помотал головой, разжал веки и раздраженно сплюнул в воду набежавшую во рту слюну. Все пошло вверх тормашками. Кострецову так же, как Перебийносу, как многим, осенью выходил срок службы. На сверхсрочную Кострецов не думал оставаться, хотя ему, как безупречному матросу, и предлагали. Он знал, что нужен дома, что без него трудно справляться, что хоть отец и бодрится, но здоровьем стал слаб, ноги болят от простуды! Да и Ксюшка не давала покоя. Кострецову надоело путаться по ночам на Историческом бульваре с гулящими девками, хотелось Ксюшку, теплую, родную, незатасканную, как севастопольские стервы.

По ночам в кубрике Кострецову снилась Ксюшка, будто вот подваливается под бочок, ластится, милует, шепчет сладкие слова. Кострецов вертелся, раскачивал койку, однажды даже вывалился и набил здоровую шишку на лбу о стальную палубу.

Теперь черта с два доберешься до Ксюшки. Матери под хвост эту войну! Может, и прав Перебийнос, и особенно глупо то, что война на самом деле не война. Если бы появился настоящий враг, возможно, стало бы как-то проще и было бы на кого излить досаду и злобу. А то вся Россия воюет, а тут сиди и вози жратву для господ офицеров.

А впрочем, беды особой нет. На сверхсрочной произведут в унтер-офицеры, все ж будет немного легче. Он не шкура, ребят жать не будет дуром, но зато унтер-офицеру и почет и уважение совсем не то, что серой матросне. Да и из жалованья по военному времени можно будет кое-что послать в деревню.

Кострецов так замечтался, что чуть не зевнул. Откуда-то сбоку неожиданно вывернулся командирский вельбот «Пантелеймона». Сверкнули погоны на кителе, и Кострецов стремительно рванул руку к фуражке. Но белокительный смотрел в другую сторону и не обратил внимания на опоздание отдания воинской почести.

«Пронесла нелегкая,— радостно подумал Кострецов,— заметил — припаял бы».

И, обернувшись вправо, поглядел в сторону открытого моря.

«Сорок мучеников», выйдя за бон, дал полный ход. Под его кормой снежно кипела пена, силуэт корабля быстро сжимался, будто его сдавливало со всех сторон невидимой тяжестью воздуха. Вот он повернул боком, виден бурун у носа.

Кострецов вздохнул. Хорошо хоть на время оторваться от корабля. Пусть и призрачная, а все же на баркасе свобода. Здесь он хозяин и командир, ему доверена забота о шлюпке. Хочет — положит руль вправо, хочет — влево.

И, точно обрадовавшись своей власти, Кострецов прикрикнул на гребцов, подражая тону боцмана Ищенко:

— Ну, что размякли, коблы! Навались, ребятки, веселее.

Баркас пошел ходче, заворачивая в Южную бухту.

У мясного пакгауза задержались долго. Мясо запоздали привезти с бойни. У стенки под пакгаузом скопились гребные суда с кораблей, образовав пробку. Когда наконец около часу дня доставили мясо, началась толчея. Каждый торопился скорее получить и погрузиться. Старшины переругались, прочный, добротный мат заколыхал воздух.

Кострецов, небрежно развалясь на банке, спокойно ждал конца перебранки. Торопиться было некуда. Корабль в море, пусть дураки спешат вперед батька в пекло, а пока можно погреться на солнышке, прогреть кости после железной сырости кубрика. Он даже отпустил гребцов сбегать в соседнюю кофейную, оставив, на всякий

несчастный случай, нескольких человек, тоже дремавших на банках.

И только когда все шлюпки, нагруженные провизией, расползлись от пакгауза, он послал людей за мясом. Погрузившись, пересек бухту.

На пристани под минной башней дожидавшийся уже с ящиками доверенный буфетчика морского собрания встретил его руганью. Но Кострецов не стерпел.

Доверенный был вольнонаемный, шпак, и Кострецов не мог снести от такого шибздика унижения флотского звания.

— Не важная птица — не сдохнешь,— отрезал он и, в ответ на угрозу пожаловаться буфетчику, крепко, с вариациями и в рифму, обложил доверенного.

— Прими ящики по счету. Некогда мне. И так смок, вас дожидаючись. Грузите сами, идолы, а меня буфетчик ждет,— снизил тон доверенный.— Вот одиннадцать ящиков, а бутылки тут перечислены в фактуре.

Он сунул Кострецову листок и скрылся с пристани. Низкий разрывающий рев родился где-то сбоку и пронесся над рейдом.

— Ого, ребята. Наша сирена. Вертаются. Грузи скорее!

Гребцы поволокли ящики в баркас. В сосновых коробках глухо позванивало стекло. Кострецов увидел, как у матросов заблестели глаза.

— Чур не шалить, братцы. Я же в ответе.

Загребной Данильченко оскалил белый частокол зубов.

— Э, Никит, шо за бида. Чи не може буты такой оказии, щоб сронить який не будь ящик. Для офицерни хватит.

— Брось, брось, Данильченко,— уже испуганно сказал Кострецов.— Вы ж меня подведете под беду. Знаете ревизора.

Кострецов в самом деле испугался. Несколько бутылок вина не бог весть какая важность, когда в кают-компании всегда море разливанное для офицерского стола. Но если эти бутылки пропадут — налицо кража. За все ответит старшина. Как пить дать можно попасть в «святые».

— А винцо лихое,— прищурился один из гребцов, разглядывая сквозь щель ящика бутылку.— Чего написано, не разберешь. Не по-нашему. Видать, почище нашей сивухи.

— Для охвицерского пуза робили,— отозвался Данильченко.— В их кишка деликатная, тонкости ей треба.

Матросы жадно и угрюмо смотрели на бутылку, блестевшую на солнце.

«Разохотились, черти. Не иначе, как сопрут»,— подумал Кострецов, и, несмотря на жару, по спине у него прошел холодок. Но забеспокоившийся мозг нашел неожиданный выход из положения.

— Не трожьте, ребята, я вас богом прошу. А коли хотите выпить, так и быть — я угощаю.

Кострецов порылся в кармане, вытащил платок, развязал узел и медленно отсчитал семьдесят пять копеек.

— Данильченко! Слетай в бакалею, возьми на всю бражку четверть балаклавского красного. Выпьете, ребята, по-честному, и хватит. А офицерского добра не касайтесь, ну его коту в задницу.

— Вот это спасибо, Никита.

— Уважил.

Гребцы повеселели. Данильченко побежкой поднялся в гору и вскоре показался снова, таща под мышкой четвертную бутыль, в которой, розово пенясь, плясало вино.

Бутыль спрятали в баковый ящик и накрыли брезентом. Протащить ее на корабль в ералаше разгрузки было уже пустым делом. И не такие штуки проделывались на глазах у вахтенного начальника. Железные тиски дисциплины рождали всякие ухищрения, и матросы умели находить лазейки.

— Ну, ребята, пора. И чур молчок! — предупредил Кострецов, залезая на транец.

Было действительно время возвращаться. Пришедший с моря корабль уже приближался к бочке. Довольные кострецовским угощением, гребцы нажимали весело и лихо, и почти в ту минуту, когда корабль окончил постановку на якорь, баркас подошел к борту и, получив распоряжение боцмана, встал на разгрузку под кран.

Четвертную, укутанную в брезент, благополучно принял с баркаса через полупортик Данильченко и стащил в угол тросовой камеры. Окончив разгрузку, Кострецов отвел баркас на бакштов, назначил дежурного гребца и, облегченно вздохнув, выбрался на палубу.

После ужина в кают-компании осталось несколько человек. Верхнюю люстру погасили, только настольные лампы из-под оранжевых куполов абажуров лили розовато-желтый свет.

Оставшиеся разделились на две группки. Одна собралась у рояля, где мичман Горловский вполголоса пел французские шансонетки. Мичман прекрасно имитировал манеру пения парижских певичек, мурлыча текст мягкой картавой скороговоркой. Фривольные словечки песенок вызывали приглушенные вспышки смеха. Горловский, ободренный сочувственным вниманием, переходил от песенки к песенке. Черные маслины его глаз весело блестели, холеные пальцы легко бегали по клавишам.

Глеб сперва посидел возле Горловского, но его внимание привлек разговор собравшихся на диване за круглым столом. Там устроились лейтенант Калинин, старший штурман, старлейт Вонсович, огненно-рыжий, поразительно напоминающий цветом волос, лицом и влажными собачьими глазами ирландского сеттера, водолазный и трюмный механики и мичман Лобойко, незаметный рахитичный мальчик, беспрерывно куривший папиросу за папиросой. О нем ходила среди офицеров шутка, что никто на корабле не знает, как выглядит Лобойко, потому что невозможно разглядеть его лица за вечной пеленой табачного дыма.

— Присаживайтесь, дитя природы,— пригласил подошедшего Глеба Вонсович.— Кстати, вас можно поздравить с боевым крещением. Даже жестокосердный Навуходоносор от артиллерии,— Вонсович кивнул на Калинина,— излил на вас елей похвалы.

Глеб вспыхнул удовольствием.

Утренняя стрельба прошла удачно для корабля и для Глеба. Во-первых, из четырнадцати бортовых залпов (стрельба велась на пятьдесят кабельтовых) девять залпов дали накрытие по щиту, пять легли небольшими недолетами. На стрельбе побашенно левая носовая шестидюймовая дала два накрытия из пяти выстрелов, и Глеб, зардевшись, как девчонка, выслушал в телефонную трубку похвалу Калинина из боевой рубки. Боязнь осрамиться оказалась напрасной, и Глеб ходил именинником.

Чувствуя себя отныне равноправным членом офицерской семьи, Глеб с преувеличенной небрежностью развалился на диване рядом с Вонсовичем.

— Ну, ври, сын человеческий, дальше,— сказал Вонсович Лобойко, возобновляя прерванный разговор.

— Почему же я вру? — возмутился мичман, исчезая за клубом дыма.— Ей-богу, что слышал, то и передаю. Дивизион только что пришел из похода, я торопился к

ужину и на пристани встретил Витьку Щербачева. Он клялся и божился, что так и было. Они прошли вдоль румынского берега и подошли к ложному Босфору. Четыре часа утра, солнце на месте, но горизонт парит, и такая дымка. И вдруг сразу из дымки полным ходом вылазит он...

— Кто это? — перебил Глеб, не слышавший начала рассказа.

— Ну кто? «Бреслау». Длинный корпус, четыре трубы и прет, как бешеная лошадь. У носа бурун в две сажени, и прямо на дивизион.

— Это только от твоего носа такой бурун идет, когда ты у дамской купальни плаваешь,— вставил водолазный механик Спесивцев.

— К чертям! Если будете издеваться, я брошу рассказывать,— окончательно взорвался Лобойко.— Что за свинство, в самом деле?

— Не буду,— Спесивцев прикрыл рот рукой, пряча предательский смешок.

— Да... И, понимаете, без флага. Никакого флага. Ни немецкого, ни турецкого, вообще на гафеле пустое место. Тогда наши бьют боевую тревогу и ворочают строем пеленга для атаки.

— То есть как для атаки? — спросил Калинин, недоуменно приподняв бровь и воткнув в Лобойко колючий взгляд.— Мы же с Турцией еще не воюем? Что вы?

— Ну, не знаю,— сразу замявшись, ответил Лобойко.— Наверное, хотели пугнуть только, чтобы обнаружил флаг, а он, не показывая нации, шестнадцать румбов кругом — и паутек. Наши его до входа гнали. Только у самого пролива назад повернули. И сейчас же радио в штаб. А ведь здесь никто ничего и не знал. Витька говорит, что он явно держал курс на Севастополь!

— А зачем?

— Что, вы не знаете немцев? Такие нахалы и сволочь — хуже турок. Ясно, шел к Севастополю набросать мины. А там ищи-свищи, когда взорвешься.

Калинин встал. Дрогнув, блеснул на кителе георгиевский крест.

— Пойдите, мичман, прикажите вестовому приготовить вам холодный душ и облейтесь. Что за чушь? Какой-то идиот наболтал вам вздора, а вы повторяете, даже не потрудившись подумать. Почему «Бреслау» должен непременно набрасывать мины? Ведь и наш дивизион ходил

к Босфору. По вашей логике выходит, что мы тоже могли набросать мин? Ерунда! Просто выходил корабль в море, как каждый день выходим мы, а Трубецкой авантюрист и полез на рожон. Только напрасно раздражает турок и получит хороший фитиль.

Лобойко смяк и потупился. Спесивцев смешливо покосился на него.

— Вот если б Леонид командовал дивизионом, уж он бы, наверное, попер бы за «Бреслау» в Босфор и привез бы Магомета Пятого.

Лобойко открыл рот, чтобы срезать шутника, но в это время к сидевшим подошел ревизор.

Ревизора не любил весь корабль от командира до последнего захудалейшего кочегаришки. Лейтенант Вейс дер Моон (матросы лихо переименовали эту тяжелую фамилию в понятное русское словцо: «Весь дерьмо-он») был примерным офицером. Он прекрасно знал службу, был безукоризненно честен, к его рукам не прилипла ни одна казенная копейка, не ругался, не дрался, был, в сущности, справедлив, кормил команду отлично, и тем не менее его ненавидели даже тараканы на корабле, хотя он подавал к такой ненависти гораздо меньше повода, чем командир корабля капитан первого ранга Коварский.

Вероятной причиной этого всеобщего отвращения была скучная дубовая педантичность и аккуратность лейтенанта и его нечеловеческое бездушие. Дер Моон был похож на заведенный раз навсегда механизм, тикающий неумолимо и тоскливо, как секундный метроном. Никогда никто не видел, чтобы он улыбнулся или огорчился. Белое, продолговатое, очень правильное лицо над накрахмаленным воротником кителя было всегда невозмутимо и неподвижно, как маска. Однотонный, чертовски скучный голос ревизора вызывал у офицеров отвращение.

Поэтому при приближении ревизора все замолчали. Дер Моон обвел сидящих равнодушными блекло-серыми глазами и, обращаясь к Вонсовичу, спросил скрипуче:

— Не знаете, Владимир Михайлович, старший офицер у себя?

— Вероятно. А что случилось?

— Очень неприятный случай. При подсчете привезенного сегодня с берега провианта, проверяя, совместно с буфетчиком, наличность продуктов и соответствие привезенного накладным и фактурам, я обнаружил недостачу количества вина. Не хватало трех бутылок шампанского

и семи бутылок марсалы,— ответил дер Моон деревянным тоном, без всякой модуляции.— Я распорядился немедленно осмотреть баркас, и три пропавшие бутылки шампанского были найдены унтер-офицером Волынкиным в глубине бакового ящика, а вышеупомянутые семь бутылок марсалы нигде не удалось обнаружить.

Мичман Спесивцев поспешно вскочил и, повернувшись спиной к ревизору, подозрительно раздирающе закашлялся.

— Фу, черт! Вы говорите, Магнус Карлович, как будто рапорт диктуете содержателю,— пожал плечами Вонсович.— «Вышеупомянутая марсала!»

— Вы задали мне вопрос, и я излагаю вам содержание происшествия,— не дрогнув ни одной черточкой лица, ответил дер Моон.

— Никакого происшествия нет,— сказал Калинин,— совершеннейшая чушь! Ну, выпьют камелеопарды на здоровье марсалы — злей станут. Не стоит раздувать, Магнус Карлович.

— Вы говорите неправильные вещи, Борис Павлович. Преступление есть преступление, и кают-компании причинен убыток в сумме десяти рублей двадцати девяти копеек. Это недопустимая вещь, и, кроме того, команда развращается. Сегодня украдут марсалу, а завтра подымут красный флаг.

Глеб с удивлением поднял глаза на ревизора и едва удержался от смеха. Спесивцев, стоя за спиной дер Моона, напыжился, вытянув лицо и подражая, очень похоже, каждому движению лейтенанта.

— Если вас так расстраивает убыток, запишите за мной эти десять рублей двадцать девять копеек,— злобно сказал Калинин, напирая на цифру,— а красный флаг они подымут когда-нибудь и от одной водки.

Он повернулся и пошел из кают-компании.

— Я нахожу вашу шутку не совсем уместной,— без волнения, так же скучно сказал дер Моон вдогонку Калинину и, в свою очередь, вышел из кают-компании.

Спесивцев повалился в кресло и в восторге дрыгал ногами.

— Боже мой!.. Вот скотина!.. Ну и скотина!

— А ведь доложит старшему офицеру и раскрасит в четыре цвета,— произнесло облако дыма, за которым подразумевался мичман Лобойко.

Разговор не возобновлялся. Все понемногу разошлись от стола. Глеб взял оставленную кем-то книгу и стал лениво перелистывать.

* * *

Старший офицер ковырялся в бумагах и с неудовольствием оглянулся на дверь, услыхав стук. Черт подери, проклятая должность! Лезут и днем и ночью, никогда нет покоя. За всеми смотри, в каждую мелочь вникай, чуть не в гальюн лазай ежедневно нюхать, как пахнет. И везде норовят подвести.

Обязанностей гибель — они перечислены на шести страницах морского устава в сорока статьях, от 373-й до 413-й. Их даже запомнить невозможно, особенно при слабой памяти. Старший офицер совершенный Фигаро.

Старший офицер? Я тут... Старший офицер? Я там... Старший офицер здесь, старший офицер там. Сплошная опера.

Капитан второго ранга Лосев свирепо укусил правый ус и на вторичный стук разъяренно буркнул:

— Пожалуйста.

В дверь, не сгибаясь, прямой, как стеньга, вплыл дер Моон.

Лосев попытался изобразить гостеприимную улыбку, она не вышла, и старший офицер еще недовольнее сказал:

— Что у вас, Магнус Карлович? Садитесь.

Ревизор сел. Спина его и в сидячем положении осталась прямой.

— Я должен доложить вам неприятное известие, Дмитрий Аркадьевич.

— К нам едет ревизор? — попытался отшутиться Лосев, но дер Моон не понял шутки и, видимо, не подозревал о комедии Гоголя, потому что со спокойным недоумением заметил:

— Почему едет? Я уже пришел.

«Ну и дурак»,— внутренне поморщился Лосев и спросил:

— Что случилось?

— Случилась кража продовольственного имущества кают-компании,— и с тем же потрясающим хладнокровием, в тех же словах, что и в кают-компании, ревизор изложил суть происшествия Лосеву. Даже «вышеупомяну-

тая марсала» была повторена в его докладе во всей неприкосновенности.

Лосев задумался.

— Кто ходил старшиной на баркасе?

— Кострецов.

— Странно. Отличный матрос, безупречного поведения, никогда ни в чем не замечен. Жаль! Вероятно, кто-нибудь из гребцов тишком слямзил.

— За всякое происшествие и недостачу на шлюпке, посланной с поручением или за грузом, несет ответственность старшина,— выжал ревизор.

— Как вы думаете, Магнус Карлович, я учил устав? — ядовито спросил Лосев.

— Я ничего не думаю.

Ревизор был неуязвим, как броня. Шутка, острота, резкое слово отпрыгивали от него, как тридцатисемимиллиметровый снаряд от поясной брони линейного корабля, не оставив даже царапины, и у Лосева закололо в висках от сознания невозможности прошибить этого человека. И уже по-деловому старший офицер спросил:

— Что же вы думаете предпринять?

— Подать вам рапо́рт и просить дать делу законный ход.

Старший офицер задумался. С одной стороны, пустяк. Какие-то семь бутылок марсалы. С другой, если рассуждать по существу,— кража, уголовно наказуемое деяние, и потакать таким вещам не следует. Но Кострецова жаль. Из него вышел бы дельный унтер-офицер, а теперь не миновать разряда штрафованных. И старший офицер молчал, вертя пуговицу кителя, и припоминал лицо Кострецова, открытое, деревенское лицо.

Живой Кострецов был отделен в эту минуту от старшего офицера переборками, коридорами, десятками герметически закрывающихся стальных дверей, и кавторанг Лосев не мог видеть, что происходило в кубрике номер шестнадцать, где помещался Кострецов с двадцатью семью такими же Кострецовыми, судьба которых целиком зависела от одного слова старшего офицера.

Кострецов стоял навытяжку перед боцманом Ищенко, прижав руки к швам штанов. Пальцы его слегка вздрагивали, глаза уперлись неподвижно в кошачьи усы боцмана.

— Говорил я тебе или нет, щучья голова, смотри в оба? Говорил или нет?

— Так точно, говорили, господин боцман,— отвечал Кострецов, и на лбу его выступили мелкие капельки пота от напряжения и волнения.

— Ну а ты что? Что ты наделал, холера?

— Разрешите доложить, господин боцман.

— Разрешите доложить,— передразнил Ищенко.— Теперь докладай не докладай, а дело твое в шляпе. Вино покрадено. Ревизор с тебя семь шкур спустит. С лычками, братец ты мой, прощайся. Не видать тебе лычек.

Пот еще резче проступил на лбу Кострецова.

— Так я ж, ей-богу, ни при чем, господин боцман. Я как заприметил, что ребят разохотило на вино, то на свои денежки четверть им купил, лишь бы офицерского не трогали. Рази ж знатье, что найдется такой гад, который своего брата не пожалеет под артикул подвести.

Глаза Кострецова замутнели, и боцману стало жалко исправного парня.

— Поймать бы мне эту суку,— сказал он, намеренно повышая голос, чтобы его слышали во всех углах кубрика.— Я б его самолично измордовал до трех смертей, чтоб такая пакость на корабле не заводилась.

Он помолчал, словно выжидая ответа, но матросы не шевелились.

— Мой тебе совет, Кострецов, пойди к ревизору, проси прощенья. На него как иногда найдет. Бывает вдруг, что и простит.

И боцман пошел из кубрика, поигрывая цепочкой.

— Братцы,— сказал надорванно Кострецов, обводя глазами кубрик.— Будьте людьми, верните клятое вино. Ей-богу, на три четверти не пожалею, пейте за милую душу. Ведь мне под суд за это идти.

— Да кто ж его знает, кто взял.

— Мы не брали.

— Разве охота тебя подводить,— ответило несколько голосов.

Кострецов сжался и посерел. Нет — уж раз нашелся такой подлец из подлецов, его не усовестишь. Он понурился и, не глядя на матросов, полез по трапу на верхнюю палубу. На баке у фитиля натолкнулся на кого-то.

— Это ты, Кострецов? — спросил встречный, вглядываясь в Кострецова против света лампочки, горящей над люком.

— Я и как бы не я,— безнадежно ответил Кострецов.— Погань мои дела, Степка.

Встречный приблизился. Тусклая желчь лампочки пролилась на плотное лицо, отразилась в коричнево-золотых с дерзиной зрачках.

— Что так?

Кострецов рассказал. Собеседник покачал головой.

— Да, дрянь дело, не будь я Думеко.

— В святые загонят?

— Это уж будь покоен. Раз-два — и гуляй с венчиком. Да ты не унывай,— прибавил он, взглянув на выпершие скулы Кострецова.— Теперь не страшно. Вот только с турками заваруха начнется, опять выслужишься. За первую драку лычки дадут.

— А ну их к матери с лычками,— яростно сказал Кострецов.— Удавить бы их на ихних лычках. За семь бутылок готовы человека в гроб положить.

— Ша, Абрам-щука не для вам,— с тихим смешком сказал Думеко.— Тишок-молчок. Нынче для этого дела, брат, не время — чуть что, разделаются по военному закону. Хуже разгрохают, чем на «Иване Златоусте». Потерпи, дружок. Арбуз в свое время зреет.

По палубе зазвучали шаги. Кто-то шел от спардека.

— Иди, друже, спи. Утро вечера мудреней,— кинул Думеко, ныряя в темноту.

Кострецов постоял еще минуту, вздохнул и полез в люк.

Старший офицер вышел наконец из задумчивости и, вскипув глаза на деревянно застывшего ревизора, осторожно сказал:

— Все-таки жаль хорошего матроса, Магнус Карлович. Может быть, как-нибудь замять эту гадость? Я уверен, что он лично не повинен, а виновника найти трудно. Спишите эти злосчастные бутылки в бой.

Впервые на маске ревизора отразилось какое-то чувство, похожее на негодование.

— Я не могу соглашаться на служебное преступление,— ответил он.— Если я спишу бутылки, это будет подлог. Если вы не согласитесь с моим мнением, господин кавторанг, я буду вынужден подать рапорт командиру.

Может быть, другой старший офицер на месте Лосева поставил бы зарвавшегося подчиненного на должное место, но Лосев всецело соответствовал характеристике, данной ему Калининым. Он был труслив и больше всего

боялся портить отношения на корабле. И, сделав гримасу отвращения, как будто глотая порошок хины, Лосев хмуро сказал:

— Ну, как хотите, Магнус Карлович. Это ваше дело. Кому только дать дознание? Сейчас у всех дела по горло.

Это была последняя уловка отвязаться от ревизора. Но дер Моон, подумав секунду, подсказал выход:

— У нас есть новый офицер, мичман Алябьев. Его нужно приучать к морской службе по всем отраслям, и он более свободен, чем остальные. Для него это будет практика.

Больше лазеек не оставалось, и Лосев согласился.

— Отлично. Будьте добры, Магнус Карлович, прикажите вестовому, чтобы он позвал мичмана Алябьева ко мне.

Ревизор встал, поклонился прямой спиной и вышел. Кавторанг Лосев тяжко вздохнул и снова зарылся в боевое расписание.

* * *

Кострецов стоит навытяжку перед Глебом, так же, как стоял предыдущим вечером перед Ищенко, и так же неподвижно глядит на блестящий медный карабин иллюминатора. Он рассказал все, что знал. Больше говорить нечего.

— Значит, когда ты увидел, что матросов соблазняет вид бутылок и они могут похитить чужое имущество, ты, чтобы спасти его от расхищения, на собственные деньги купил для команды угощение?

— Так точно, вашскородь,— уныло говорит Кострецов.— Дал Данильченке семь гривен с пятаком. «Возьми, грю, четверть балаклавского и выпейте, а офицерского не трожьте». На совесть людскую понадеялся, вашскородь, а мне вон какую свинью подложили.

Глеб пожимает плечами. Совершенно идиотское дело. Абсолютно же ясно, что Кострецов не только не виноват, но, наоборот, принял все меры к спасению офицерского вина, пожертвовав для этого своими грошами. Нужно скорей кончать эту глупость. Действительно, ревизор потрясающий дурак и сутяга.

— Ну, а кто на баркасе вообще особенно интересовался вином? Кто первый заговорил о вине?

Кострецов отрывает глаза от иллюминатора и смотрит на мичмана, сминая в руке фуражку.

— Хто? Наперво, вашскородь, должно быть, Тюнтин, а после Данильченко.

— Так, может быть, кто-нибудь из них двоих и спрятал эти бутылки?

Кострецов задумчиво взглядывает на свои ботинки. Но сейчас же вскидывает голову и уверенно говорит:

— Никак нет, вашскородь. Тюнтин наперво в рот не берет напитков, а с бутылкой шалил так, для озорства. А Данильченко мне друг и в жизнь мне бы такого позору не сделал.

— Следовательно, ты ни на кого прямого подозрения не можешь высказать?

— Никак нет, вашскородь. За всеми разве углядишь?

В самом деле, на баркасе было двадцать два гребца. Не выпустить никого из наблюдения — невыполнимая задача для одного человека, которому нужно и управляться с посудиной, и отвечать за нее. Кто-то словчился под шумок упрятать эти паршивые десять бутылок, из-за которых пущена в ход громоздкая машина военного правосудия. Слепая Фемида грозит вот этому отличному, безукоризненному матросу тяжелыми карами. 161-я статья шестнадцатой книги Свода морских постановлений непреложна. Она обещает каждому: «за кражу, умышленное истребление и повреждение имущества, виновные в сем нижние чины, охраняющие имущество сторожевым порядком, а равно дежурные, дневальные и прочие должностные лица, коим поручено наблюдение за целостью имущества, подвергаются: потере некоторых прав и преимуществ по службе и отдаче в дисциплинарные батальоны или роты, от одного года до трех лет, или одиночному заключению в военно-морской тюрьме от трех до четырех месяцев».

Глеб еще раз перечел прочтенную утром перед дознанием статью.

Как глупо! Вот две чаши весов. На одной — живой человек, исправный служака, несомненно честный парень Кострецов, на другой — семь бутылок марсалы десятирублевой цены. И эти бутылки, с прибавкой к ним ревизорового идиотизма, перетягивают живого человека и открывают перед ним зловонную дверь каземата.

Глеб внимательно смотрит на похудевшее лицо Кострецова.

Какие мысли бушуют сейчас в его понуренной, стриженной под машинку голове?

Глебу хочется ободрить Кострецова.

— Ну, вот что, Кострецов. Ты не унывай. Я думаю, что дело можно прекратить. Что ты не брал вина, это ясно, а найти, кто его взял, невозможно.

Слабая искорка радости вспыхивает в глазах Кострецова. Мичман, конечно, понимает дело. На то и учился. В самом деле, не пропадать же ему, Кострецову, из-за чертовой марсалы, которой он никогда в жизни не пробовал и не попробует. И мичман, видать, добрый и душевный и не хочет кострецовской погибели.

И взволнованный Кострецов от сердца говорит:

— Покорно благодарю, вашскородь. Дай вам господь здоровья.

— Не за что. Можешь идти.

Куда идти Кострецову? За дверью мичманской каюты дожидается часовой. С полночи Кострецова отвели, как подследственного, в карцер. Пока еще мичман покончит с дознанием — придется посидеть. И Кострецов сумрачно выходит в коридор.

Он идет на цыпочках, стараясь быть бесшумным, и за ним, как тень, идет часовой, тускло поблескивая штыком.

Глеб допросил Данильченко, Тюнтина и еще нескольких гребцов. Все они в один голос показали, что Кострецов вина не трогал, а кто взял — неизвестно.

Отпустив последнего допрашиваемого, Глеб решительно написал заключение, что по обстоятельствам дела ясна полная невиновность Кострецова, принявшего все меры к предотвращению пропажи вина и поплатившегося даже собственным карманом для охраны офицерского имущества, а потому дело подлежит прекращению.

Подписался, сложил листки дознания в папку и с облегченным сердцем вышел на палубу. От сознания, что сейчас он сделал доброе и справедливое дело, полуденное пылающее небо показалось ему голубее, чем обычно, и даже мрачная фигура командира, прогуливающегося на правой стороне шканцев, стала как-то светлее.

Капитан Коварский ежедневно перед полуднем выходил на шканцы и медленно мерил их взад и вперед в течение получаса. Он называл это предобеденным моционом. Как и всегда при его появлении, все живое, находившееся на шканцах, как ветром смело на левую сторону,

и на правой остались только двое матросов, красивших отдушины палубных люков.

По пустынному пространству палубы одиноко и угрюмо шествовал командир, как зачумленный, от которого бегут все.

Вековые традиции и требования устава ставили его на корабле в странное, почти таинственное положение. Полновластный владыка, корабельный самодержец, могущий в любой момент, пользуясь особыми полномочиями, приговорить любого из команды к смерти и немедленно выполнить приговор, он был отрезан от всего корабля, от его обыденной жизни.

Ему одному, как полномочному представителю империи, было доверено безусловное охранение чести русского флага. Он единственный из всего офицерского состава назначался на корабль не приказом по морскому ведомству, а именным высочайшим приказом. Он читал по воскресеньям на шканцах всему собранию служащих на корабле законы, «дабы никто не мог потом отговариваться незнанием оных». Он распоряжался людьми и вещами, имел власть прекращать заразные и прилипчивые болезни, он мог назначать и отменять богослужения.

Только он имел на корабле отдельное, особое роскошное помещение из нескольких кают, в то время как не только матросы, но и младшие офицеры теснились нередко по два-три человека в крошечных каморках, а то и просто в «занавешенных местах». Это было компенсацией за статью устава, гласящую, что «командир, по мере возможности, должен не покидать корабля». Правда, статья давно стала фикцией, но компенсация продолжала оставаться реальной.

И он жил в своем помещении, как отшельник, окруженный ореолом таинственности и власти, и даже не разделял стола с офицерами, за исключением редких дней, когда по приглашению подчиненных он снисходил до появления за кают-компанейским столом. Только он один имел право подходить на катере к кораблю с правого парадного трапа и занимать одной своей персоной всю правую сторону шканцев, откуда немедленно должны были удаляться все остальные. Исключение делалось только для вахтенного начальника.

Но он мог пригласить на свою сторону любого офицера и матроса, чтобы, смотря по обстоятельствам, либо обласкать, либо разнести.

Глеб, остановившись у трапа, наблюдал, как мерными, журавлиными шагами капитан Коварский нагуливал аппетит для одинокого обеда.

Склянки отзвякали полдень. Командир с последним ударом переступил через комингс командирского люка, и офицеры, в свою очередь, потянулись к люку кают-компании.

Проходя коридором, Глеб догнал дер Моона. Ревизор с достоинством нес свою персону к обеду.

— Я закончил дознание, Магнус Карлович,— заговорил Глеб.— Дело не стоит выеденного яйца. Считаю, что его нужно направить к прекращению и совершенно бессмысленно отдавать под суд такого отличного матроса, как Кострецов.

Дер Моон повернул голову, подпертую воротником кителя, и посмотрел на Глеба рыбьим, мутным взглядом.

— Мичман, запомните, что я никогда не разговариваю о делах перед обедом — это вредит здоровью. И потом если вы хотите разговаривать со старшим по служебной надобности, то обращайтесь ко мне по чину. В частной беседе я могу быть Магнусом Карловичем, а по службе я лейтенант.

Глеб опешил, но афронт был так неожидан, что он не успел ничего придумать в ответ, а когда пришел в себя, дер Моон уже садился на свое место.

«У, дубина!» — подумал Глеб, косясь на ревизора, но тот смотрел прямо перед собой и усиленно жевал, не обращая ни на кого внимания. Челюсти его мерно ходили, как жернова, перемалывая пищу.

«Погоди. После обеда поговорим»,— и, решив объясниться с ревизором, Глеб тоже принялся за еду.

Но ревизор встал из-за стола, не дождавшись сладкого, и тотчас же ушел. Глеб отправился искать его, но не нашел и в раздражении вернулся в каюту. Но не успел расстегнуть кителя, чтобы вздремнуть, как в дверь постучался вестовой.

— Что тебе, Семкин?

Семкин усиленно заморгал глазами, чувствуя, что потревожил хозяина не вовремя.

— Так что, вашскородь, вестовой их вскородия старшего офицера просят вашскородь пожаловать сейчас к их вскородию.

Семкин запутался в высокородиях и побагровел.

— Вот дьяволы! Вздремнуть не дадут,— выругался Глеб.

— Так точно, вашскородь,— обрадовался Семкин.

Глеб расхохотался:

— Ты что? Опупел, братец? Кому дьявол, а тебе старший офицер. Ишь обрадовался!

Семкин окончательно растерялся и решил свести разговор на другое.

— Виноват, вашскородь. На берег сегодня съедете? Кительчик, может, пригладить?

— Нет. Не трудись. Когда нужно будет — скажу.

Семкин беззвучно исчез. Глеб застегнулся и направился к старшему офицеру. Войдя, он увидел ревизора и по унылому виду Лосева понял, что предстоит какая-то неприятность.

— В чем дело, мичман? — спросил Лосев.— Что у вас с дознанием?

Глеб кратко сообщил Лосеву о дознании, невиновности Кострецова и необходимости во имя справедливости дело прекратить, ограничившись дисциплинарным взысканием. Старший офицер молчал, вертя в пальцах янтарный мундштук. Дер Моон подался вперед.

— Я имел честь доложить вам, Дмитрий Аркадьевич, умозаключение мичмана Алябьева, которое он сейчас вам сообщил лично. Я нахожу, что у мичмана Алябьева весьма странные понятия о дисциплине и мерах ее сохранения на корабле. Я полагаю, что если над матросом назначается дознание, то окончательное решение вопроса о его виновности предоставляется суду. Иначе самый процесс дознания обращается в какую-то игрушку. Раз матрос украл — его нужно судить.

— Но позвольте, господин лейтенант. Ведь в том-то и дело, что Кострецов не крал. Его подвели гребцы.

Ревизор неожиданно засмеялся. Звук смеха был такой, как будто потерли наждаком по стеклу.

— Его подвели? Мичману нравится изображать целомудренную Гретхен.

— Господин кавторанг! Я просил бы оградить меня от подобных реплик,— вспылил Глеб.

Лосев скривился:

— Господа офицеры, не раздражайтесь. Дело не стоит этого.

— Я это и утверждаю, господин кавторанг. Нельзя же из-за грошовой пропажи погубить матроса. Не может

один нести ответственность за двадцать человек, найти вора среди которых сейчас уже невозможно. Не предавать же суду всю команду баркаса.

— Если матрос украл — он получит справедливое наказание,— сказал ревизор.— Если он не украл — все равно приговор суда будет для него наукой и предостережением для остальных. В военное время дисциплина должна быть удвоена, иначе вместо корабля у нас будет плавучий кабак. Это мое твердое убеждение, господин кавторанг. Если только отпустить вожжи, эта мужицкая сволочь перервет нам глотки и не пощадит даже сентиментальных мичманов.

— Обо мне прошу не беспокоиться,— взволнованно бросил Глеб.

— У меня нет никакого желания беспокоиться о вас, мичман. Я беспокоюсь о корабле, на котором мы служим России и государю императору. Вы здесь без году неделя и не имеете понятия о матросне.

Дер Моон встал, обращаясь к кавторангу:

— Я, господин кавторанг, настаиваю на суде в интересах службы. Если вы не разделяете моего мнения, мне останется подать рапорт о списании, потому что служить против своего убеждения я не могу.

Лосев беспомощно заворочался в кресле, переводя глаза с одного офицера на другого. Черт знает какая идиотская история! И ревизор болван, и мальчишка, конечно, действительно не понимает, что матросу нужна острастка. Без острастки они готовы распуститься до невозможности. Суд иногда действует как холодный душ на матросские головы. Конечно, досадно, что жертвой принципа дисциплины должен стать Кострецов, но не все ли равно, в конце концов? Не он, так другой. А самое главное — сохранить мир в офицерской среде. Если по каждому пустяку пойдут ссоры, придется ежедневно пачками списывать офицеров. Получится не корабль, а этапная казарма. Нет, нужно сказать твердое командирское слово и покончить с неприятным инцидентом. И, откинувшись на спинку кресла, кавторанг Лосев сделал официальное лицо.

— Никакого рапорта, Магнус Карлович, я от вас не приму. Еще не хватало, чтобы офицеры уходили из-за всякого вздора. Вы, естественно, формально правы — кто-то виноват в краже. Поскольку действительного вора не поймаешь — на точном основании закона отвечает старшина шлюпки... Я согласен с вашим мнением.

Он повернулся к Глебу.

— А ваше заключение, мичман, вычеркните из дознания и представьте мне дознание без всяких заключений. Извините, голубчик,— поспешно прибавил старший офицер, видя, как дернулось лицо Глеба,— но вы, в самом деле, еще молоды, и вам все представляется несколько проще, чем обстоит в действительности. Послужите — сами узнаете, какая чертова каша эта морская служба и как трудно справляться с командами. С каждым годом они становятся все хуже и дерзче. Я прямо не узнаю людей. Значит, пришлите мне дознание. А теперь, господа офицеры, вы свободны.

Глеб молча повернулся и выскочил в коридор офицерских помещений. Щеки у него горели, как будто кто-нибудь надавал ему звонких пощечин. Ненависть к дер Моону переполнила его сердце. Он вспомнил, как ревизор назвал его целомудренной Гретхен, и, побелев от злобы, оглянулся, ища глазами ревизора. Но, видимо, лейтенант, выйдя из каюты Лосева, свернул в другую сторону из благоразумия. Глеб прошел к себе, лег на койку, но дремать расхотелось. Перед глазами неотступно стоял Кострецов, такой, каким он был здесь, перед Глебом, окаменевший, сумрачный, тоскливо мнущий в руках скомканную фуражку.

* * *

Подсменные караула, коротая время, от скуки наливались чаем. Огромный, как бочонок, чайник красной меди стоял на столе караульного помещения.

Лица матросов были красны, как чайник, и тускловато блестели от пота.

Пили по пяти-шести больших жестяных кружек, до отвалу, но обычной болтовни сегодня не было. Люди точно прислушивались к заглушаемым стальными стенами корабельным шумам.

Они знали, что сейчас заседает корабельный суд. Полчаса назад, по приказанию караульного начальника, часовые вывели Кострецова из одиночного карцера в заседание суда.

От сознания того, что неподалеку за переборками решается судьба матроса, товарища,— люди, затаясь, бычились, глядели исподлобья.

И, когда по гулкому настилу издали загрохали шаги, все, как по команде, повернули головы в сторону коридора.

Между часовыми вышел Кострецов. В сочившемся больной желчью свете электричества поросшая небритой щетиной кожа его щек была бела как бумага, и под ней, вспухая волдырями, перекатывались желваки.

Кострецов остановился посреди караулки и сильно вдохнул душный, пропитанный машинным маслом, воздух. Приклады винтовок часовых тупо стукнули в сталь.

Стало еще тише и сумрачней.

— Ну? — спросил Перебийнос. Он подался вперед на лавке. В растопыренных пальцах его правой руки неподвижно застыло блюдце с налитым чаем, и лучистый еж электрической лампочки отражался в круглом зеркальце жидкости.

— На мерина нукай,— ответил Кострецов,— рысью поскачет.

Он повернулся, ища глазами разводящего.

— Отпирай часовню персицкого шаха, принимай постояльца! Приглашай клопов, в мать приснодеву, велисапед и соленые грибы!

Кострецов поднял руку к груди, дернул за тельняшку и, высоко подняв ногу, грянул каблуком в пол, точно давя подвернувшуюся гадину.

Разводящим был Гладковский. Он спокойно подошел к Кострецову, тронул его за плечо.

— Ты спокойней! В чем дело? Что тебе припаяли?

— Шесть месяцев. По случаю войны заменили шестью неделями карцера на хлебе и воде да на год в святые. Что ты скажешь?

— Говорят дураки, а умные помалкивают,— совсем тихо обронил Гладковский, косясь глазами на коридор.— Ты не топай — копыто отобьешь. Палуба стальная, один не проломишь. Всем сразу надо топнуть.

В коридоре показался караульный начальник, мичман Нератов. Гладковский принял сугубо унтер-офицерский вид и сердито крикнул:

— Ну, ступай, ступай. Нечего прохлаждаться!

Он отомкнул решетку карцерной двери и подтолкнул Кострецова. Матрос вошел в стальную клетушку, и замок скрежещуще щелкнул за ним, отрезая его от воздуха, солнца, свободы.

Мичман Нератов был глубоко равнодушен к личной судьбе и бедам нижних чинов команды «Сорока мучеников». Он был не то что жесток,— по молодости сердце его не успело еще зачерствать,— но он был типичным представителем своей касты. Нижний чин существовал для него как нечто отвлеченное, далекое, не имеющее ни возраста, ни пола, ни имени. Некий служебный фактор, номер в боевом расписании, единица полезной рабочей силы. Судьба этой единицы не вызывала в душе мичмана никаких сложных эмоций. Если она выбывала из ряда других единиц, Нератов не беспокоился. Выбывшую единицу немедленно заменяли другой, как заменяют болт в механизме, как сменяют отслуживший срок бушлат. Испытывать какое-либо волнение по такому поводу не приходится.

Но кострецовская беда даже в этой автоматизированной голове разбудила чувство неловкости. Возможно, это было потому, что главная роль в деле была сыграна ревизором, которого Нератов, как и другие офицеры, недолюбливал. Будь сам Нератов на месте ревизора, наверное, он сам дал бы такой же законный ход делу о пропаже семи бутылок «вышеупомянутой марсалы». Но теперь он счел нужным, в пределах, допускаемых правилами морской службы и офицерскими понятиями, выразить свое сочувствие осужденному, кстати сказать, отличному матросу, прекрасному строевику, что несколько выделяло Кострецова в мичманском сознании.

Нератов подошел к двери карцера.

— Что, братец? Засадили?

— Так точно, вашскородь,— ответил Кострецов совсем другим голосом, чем говорил с Гладковским. С мичманом он пустил в ход испытанный маскировочный прием глуповатой растерянности, и пожалобился: — Обидно, вашскородь. Четыре года верой-правдой служил царю-батюшке. Единого замечания не имел, и за что теперь спекся и чести лишили, в воры произвели? Куды ж мне теперь глаза от стыда деть?

— Пустяки, братец,— покровительственно-небрежно сказал мичман.— Подумаешь, велика беда! Я верю, что ты, возможно, не трогал вина, но дело в том, что тут вопрос дисциплины...

Мичман решил пофилософствовать и сморщил лоб.

— Ты служишь на военном корабле, старый матрос и должен понимать, что у нас должно быть строже, чем

на вольной службе. За проступки подчиненных отвечает старший, иначе вся служба развалится. Если бы меня послали за чем-нибудь, а я недоглядел бы за своими подчиненными и пропало бы какое-нибудь казенное имущество, я тоже ответил бы. Возможна ошибка, но суд есть суд, братец. Он разбирает только факт вины. Ну что ж, отсидишь шесть недель. Срок невелик, а потом, приведет бог, в первом бою заработаешь георгиевский крест — и все пойдет насмарку.

— Покорнейше благодарю, вашскородь, пошли вам господь здоровья,— сказал елейно-растроганно Кострецов.

Из группы подсменных раздался звук, похожий на икоту.

Мичман повернулся, строго оглядел караульное помещение, приказал Гладковскому прибрать крошки со стола и вышел. С минуту после его исчезновения матросы молча смотрели ему вдогонку. Потом переглянулись и беззвучно, как призрачные духи корабельных трюмов, залились смехом.

Перебийнос встал и подошел к решетке.

— Гей, чуешь, Кострецов? Зараз тоби и утеха готова. Дадуть егория — ганаралом станешь. За таке дило не сумно и ворюгою побуты. Хе-хе!

— Развел антимонию на кислом молоке,— отозвался голос из-за стола.— Старшой должен ответствовать! А как до дела доходит, опять же матрос отдувайся. В прошлый год энтот самой Нератов вечор пришел на катер нализавшись,— ни бе ни ме. А мы погрузили с заводу станину для мотора минного катера. Отвалили от пристани, тут зыбь-морянка была. Его на волне, конечно, развезло, полез на бак блевать, поскользнулся там да и спихнул станину в воду, чуть сам с ней не слетел, баковый за задницу ухватил. Так ему, сучке, хоть бы кто слово сказал, зато господин кавторанг Лосев на боцмана Савчука наорал, что у него команда распущена — не могут за офицером пьяным приглядеть, а боцман со зла меня по зубам съездил — я старшиной на катере ходил. Вот тебе и старшой ответствует!

— Жизнишка флотская,— вздохнул белобрысый матрос под заглушенный хохот и, как водку, опрокинул в горло кружку чая.

— Гладковский, поди сюда на минутку,— позвал через решетку карцера Кострецов.

Гладковский подошел.

— Будь другом, сполни просьбу. Мне теперь на берег долго не попасть. Так ты возьми у меня в сундуке, в углу, в синем платочке, завязаны деньги. Шесть с полтиной. Как попадешь на Корабельную, зайди в паштетную — отдашь хозяйну Бенардаки. Он меня ссужал, как надо было домой послать. Я обещался отдать, а тут такая незадача. Подумает, зажилил.

— Ладно,— сказал Гладковский.— Нех бендзе[1] так.

— Эх, Рух, плохая мне вышла линия. Не думал — не гадал. Главное, мичман меня этот новенький, что дознание вел, обнадежил, что ничего не будет. Наврал, сука.

— Дело не в мичмане, чудак,— опять понизив голос, ответил унтер-офицер.— Ты это пойми. Один мичман, один матрос погоды не делают. Я знаю от вестовых, что мичман у старшего офицера имел мордокол с ревизором из-за тебя.

— А, волынка! — презрительно сказал Кострецов.— Все одним миром мазаны, сволочи.

— Вот теперь ты говоришь правильней. На том вся служба стоит, что каждый офицер матросу волк. Их с малолетства учат, как борзых, нашего брата зубами за горло грызть. Они из маткиной груди с молоком всасывают, что только те, которые с золотыми погонами, люди, а матрос — лайдак, быдло. У них просто понятия нет, что у матроса тоже человечья душа есть, они думают — пар у нас в середине, как у псины. Разве могут они за матросом человеческое достоинство признать с такими думками? Возьми этого самого мичманишку. Может, он и неплохой, и добрый, и сознание у него есть, что по неправде тебя судить приходится, а приказали ему — и он любую подлость сделает и всегда матроса продаст. Что ему матрос? Не полезет он за тебя на рожон потому, что выкинут его с флота, а куда ему деваться? Ничего не знает, не умеет, только перья может распускать, как павлин. Даже когда добро хочет сделать, доброта его в морду матроса бьет. На днях я ему башенную премудрость в башку вгонял, а он мне за бардзо дзенькую[2] на чай деньги сует. Мысль ему даже не залезает, что этим матроса можно хуже чем зуботычиной обидеть. В том и главное, Кострецов, что мозги у них навыворот и глаза не видят. Так будет всегда, пока есть богатые и бедные, паны и

[1] Пусть будет.
[2] в благодарность.

холопы. Не по одному надо бить, брат, а по всей машине, которая так устроена.

— Голова ты парень, Рух,— ласково сказал Кострецов.— Говоришь, как по-ученому, и все объяснить справен. Откуда в тебе берется?

— У нас в Польше народ развитой, фабричный. К загранице близко. Польша не такая темная, как Россия, а польский рабочий развитее русского помещика,— спокойно сказал Гладковский.— Ну, а теперь сиди и думай. Деньги Бенардаки я отнесу.

Он отошел, вынул из кармана брюк часы на тонкой серебряной цепочке, взглянул на циферблат и выпрямился.

— Время! Вторая смена на пост!

Подсменные второй смены заторопились, разбирая из пирамиды винтовки.

* * *

По суточному расписанию работ дежурный боцман назначил Думеко на прочистку машинных шпигатов по ватерлинии. Работа была нудная и сволочная. Думеко угрюмо спустился в двойку, забрав с собой зубило, скребок и щетку.

День был жаркий. Под килем двойки ярью-медянкой, зеленея, сияла вода. В ней плавали объедки хлеба и гальюнные сувениры.

Из распяленных, как раздутые ноздри, дыр шпигатов несло терпкой железной ржой, горелым маслом, душным банным паром. Потравливая бакштов, Думеко переползал от одного шпигата к другому. Зубилом обивал палево-рыжие пласты накипи, остатки до металла оскребал скребком, проволочной щеткой, как банником, забирался в глубь шпигатных труб.

Кончив возню с третьим по очереди шпигатом, присел на банку, свернул цигарку, пустил дымок в раскаленный воздух. Лениво поднял голову и посмотрел в тысячный раз вдоль осточертевшего борта броненосца. Как всегда, высилась серая равнодушная стена цементированной стали, висели трапы, торчали откинутые выстрела, и в портики батарейной палубы высовывались вытянутые вдоль корпуса дула средней артиллерии.

На краю командного мостика стоял сигнальщик. Руки его вели хитрую и проворную игру с двумя красными

флажками. Флажки взлетали, падали, бросались в сторону, как две большие бабочки, и казалось снизу, что сигнальщик дирижирует их капризным балетом в воздухе.

Думеко равнодушно взглянул на привычную картину пляски флажков, бросил цигарку в воду и, перебравшись на нос двойки, взялся за конец бакштова, чтобы распустить узел и потравить двойку к очередному шпигату.

Неожиданно его внимание привлекла голова, высунувшаяся в порт жилой палубы. Волосы головы вились мелкими кудерьками, на щеках был девичий румянец, и тоненькие усики казались хитро нарисованными.

Голова принадлежала Прислужкину. Она повернулась направо, налево, глаза ее увидели Думеко в двойке, и губы расползлись в улыбку.

— Трудишься, Степа? — спросила прислужкинская голова.

Думеко не терпел Прислужкина. В этом парне,— действительно, под стать фамилии — было что-то противно подхалимское, лакейское, гнусное, что вызывало в независимой душе Думеко физическое отвращение. Прислужкин же всегда лез к нему с разговорами, напрашивался на дружбу, подхихикивал, вилял и с льстивыми ужимками сносил грубые обрывания Думеко.

И в ответ на прислужкинский вопрос Думеко ретиво обрезал:

— Наше дело маленькое. Мы, не как которые паразиты на берегу горничным, шпигаты прочищаем.

Прислужкин хихикнул, заморгал глазами. Сахарно протянул:

— Завсегда ты, Степа, норовишь обидеть, а я к тебе всей душой.

— Катись ты со своей душой в кочегарку. Там пару мало — от души твоей прибудет.

Прислужкин безнадежно пожал плечами,— дескать, что с такого возьмешь,— высунулся из порта по пояс и, размахнувшись, бросил в воду бутылку. Бутылка описала в воздухе сверкающую параболу и гулко булькнула в воду. Голова Прислужкина исчезла в порте.

Бутылка, уйдя под воду, выскочила через секунду наружу, как подпрыгнувшая рыба, и закачалась в стоячем положении, хлебнув горлышком воды.

Думеко рассеянно взглянул на нее и, наставив зубило на пласт накипи, несколько раз раздраженно и сильно ударил молотком. Но вдруг отбросил молоток и пристально,

сведя брови к переносице, посмотрел на медленно уплывавшую к северной стороне бутылку.

Швырнул зубило и молоток на дно двойки. Быстрыми рывками развязал узел бакштова, схватил весла и в несколько гребков подогнал двойку к бутылке. Перегнувшись, ухватил бутылку за горлышко и втащил в лодку. И сейчас же услыхал сверху с палубы начальственный голос:

— Тебя куда понесло?

Думеко вскинул голову и увидел у трапа лейтенанта Ливенцова. Лейтенант, проходя по палубе, увидел двойку, которой надлежало быть у борта, в неположенном месте и почел нужным справиться о причине беспорядка.

Думеко сделал преданное лицо,— только в глубине зрачков остался спрятанным золотой блеск дерзинки,— и почтительно ответил:

— Бутылочку подобрал, вашскородь. Как я в палубе назначен присматривать за иконой, бутылка для оливы сгодится.

Лейтенант недоуменно вскинул брови.

— Что ж ты, строфокамил, не мог у буфетчика попросить? Ловишь всякую дрянь из воды, как мусорщик?

— Разрешите доложить, вашскородь,— не мигнув, соврал Думеко,— так что я просил буфетчика, но только оны меня маторно послали.

Лейтенант усмехнулся и махнул рукой.

— Ну черт с тобой,— сказал он милостиво,— бери свою бутылку и продолжай работать. Еще раз увижу, что за дерьмом плаваешь,— припаяю наряд. Понял?

— Так точно, вашскородь,— весело ответил матрос, лихо подогнав двойку к бакштову. Пришвартовавшись, он взял бутылку и повернул ее к себе этикеткой, наполовину отклеившейся в воде и болтавшейся лоскутом. Ладонью Думеко осторожно разгладил бумагу по стеклу.

Этикетка была позолочена, и в черной рамке поперек бумаги тянулись узорной вязью черные прописные буквы чужого языка:

MARSALA
№ 9
G. Depret

Думеко поджал губы, сосредоточенно вглядываясь в надпись. Первые две буквы были понятные: «м» и дальше «а». Третья походила на перевернутое в обратную сторо-

ну русское «я», четвертая была похожа черт знает на что, на какую-то завинтившуюся крючком пиявку. Потом следовали опять два «а» и между ними торчала глупая палка с хвостом внизу.

— Пишут тоже невесть по-какому, г....ки,— выругался Думеко.

— Маяаа...— сказал он вслух, произнося подряд все поддававшиеся прочтению буквы. Выходила какая-то чепуха. И вдруг Думеко осенило. Он вспомнил, как два месяца назад в Севастополь пришел итальянский белый как снег стимер. Катер «Сорока мучеников», пересекая бухту, прошел под кормой океанского красавца. На корме катера сидел лейтенант Вонсович. Кто-то из матросов попросил его сказать, как называется итальянец.

— «Джулио Персано», братцы. Был такой у итальянцев давным-давно знаменитый адмирал. В его память и назван пароход,— сказал штурман.

Перед глазами Думеко выплыла и заплясала золотом на зеленой воде врезавшаяся в память надпись на корме стимера. Ну конечно, это ж ихнее «р», а пиявка — «с». Бессмысленная груда букв на этикетке мгновенно обрела ясный и потрясший Думеко смысл. Первоначальное неясное еще стремление подобрать брошенную Прислужкиным бутылку обратилось в страшную уверенность.

— Марсала! — громко сказал Думеко, яростным размахом молотка цокнув по зубилу. Отскочивший обломок накипи едко ударил его в скулу. Думеко поднял руку, тронул ушибленное место, на руке осталась капелька крови.

— Марсала, в бога душу! — повторил он и разом стиснул челюсти так, что за ушами складками стянулась кожа на шее.— Ах ты ж, Иуда гадова!

Лицо его налилось дурной, черной кровью бешенства. Последний шпигат он чистил с такой яростью, что брызги накипи летели градом и пот пропитал тельняшку. Каждый удар молотка по зубилу он наносил так, будто вгонял зубило, как нож в грудь врага. Расшифрованная надпись на бутылке прямыми нитями вела к Кострецову, к приговору суда, закатавшего приятеля в святые.

— Ну погоди же,— сказал он вслух, окончив работу. Вместе с зубилом и молотком он сунул за тельняшку

бутылку. Просохнувшая на солнце этикетка издевательски-дразняще сверкнула золотом.

Думеко подтянул двойку к выстрелу и проворной кошкой взобрался на борт.

* * *

Берег с ночевкой! Только тот, кто сидел неделями, месяцами в железной ограниченности корабельной клетки, укачиваемый однообразным ритмом флотских суток, с вожделением и завистью смотря с палубы на ночные огни города, на земные просторы,— только тот может понять, что такое берег с ночевкой.

Глеб получил суточный отпуск на берег.

Он сидел у себя, в «своей» комнате, и писал длинное, как летний день, письмо Мирре. Письмо переваливало на восьмую страницу. Оно было беспорядочно, всклокочено. Сообщение о первых служебных ощущениях перебивалось подробным описанием каюты, нежному лирическому отступлению в прошлое сопутствовала нелестная характеристика капитана первого ранга Коварского, во влюбленный лепет врывалась история Кострецова и брань по адресу дер Моона.

На десятой странице письмо пришлось закончить по непредвиденным обстоятельствам: кончилась захваченная с корабля почтовая английская бумага.

Глеб рассчитывал, что этого количества хватит на два письма. Оказалось, мало и для одного. Продолжать на простой бумаге Глеб считал невозможным,— это было вульгарно.

Вздохнув, он повернул последнюю страничку боком и написал по полю: «Больше нет места, хочу только сказать тебе еще раз: люблю, люблю и не перестаю думать о тебе».

Конверт, проглотив листки, сразу вспух. Глеб написал адрес, сладко потянулся.

В комнате было прохладно. От букета сухих трав на рояле пряно несло горьковатым запахом чобрика. Тихо вздрагивала на окне кремовая штора под налетами ветерка с моря.

Глеб раскрыл рояль. Ему захотелось сыграть свое письмо. Из-под пальцев брызнула восторженная и такая же всклокоченно-беспорядочная, как письмо, импровизация. Взыскательный музыкант, вероятно, пришел бы в

ужас от ее бредовой композиции, но Глебу она понравилась. Он играл с увлечением.

Но к удовольствию от игры стало примешиваться постепенно ощущение непонятной стесненности. Она шла откуда-то извне, была неуловима, но причиняла явное беспокойство и помеху.

Глеб сидел спиной к окну. Окно выходило на улицу, за ним был тротуар. Шторка по-прежнему равномерно покачивалась. Глеб, продолжая играть, искоса поглядел на окно. Стало ясным, что беспокойство, мешающее ему играть, идет из окна. Он чувствовал за шторкой чье-то присутствие, как ощущается иногда упрямый взгляд в спину.

Глеб вскочил и дернул за шнур шторки. С треском она полетела кверху.

Вплотную у окна, вытянув шею, полураскрыв рот, стоял матрос. Он был молод. На лице нежно-розоватой смуглоты черными пиявочками лежали над озорными глазами сросшиеся бровки. Под правой скулой круглилась задорная, волнующая родинка.

Когда в окне взвилась шторка и двое очутились лицом к лицу, оба сделали одинаковое движение. Матрос отпрянул от окна, вскинул руку к бескозырке и застыл. Розовая окраска сплыла с его щек, глаза заметались. Глеб от неожиданности тоже отступил в глубину комнаты.

С минуту оба смотрели друг на друга. Положение становилось глупым.

— Ты что? — спросил, наконец овладевая собой, Глеб.

— Ничего, вашскородь,— ответил матрос, продолжая обалдело смотреть на Глеба.

— Как ничего? Зачем ты стоял у окошка?

Матрос вдруг улыбнулся простой, мальчишеской улыбкой, и безотчетные подозрения Глеба о каком-то дурном намерении сразу рассеялись от этой улыбки.

— Разрешите доложить, вашскородь. Шел мимо — слышу: играют так чувствительно. Задержался послушать, простите, вашскородь.

— Чудак,— сказал Глеб, заинтересовываясь.— Опусти руку. Ты что же, любишь музыку?

Матрос уронил руку к бедру и опять порозовел. Солнце заиграло на золотом тиснении ленточки «Трех святителей».

— А кто ж ее не любит, вашскородь? С малолетства я музыку уважаю. Только по нашему положению настоящую музыку когда услышишь? Гармонь да балалайка —

одно баловство, разве на их по-хорошему сыграешь! А тут проходил мимо окошка — за душу взяло, вашскородь. Простите, вашскородь, что обеспокоил. Разрешите идти?

— Иди,— машинально сказал Глеб обычную формулу, и матрос вмиг исчез, как будто его растопило солнце, обрадованный столь безболезненным окончанием необычной встречи с белокительным.

Глеб опустил опять шторку и отошел в глубину комнаты.

«Забавный матросенок! Напрасно я так сразу отпустил его, надо было бы расспросить. Любитель музыки! Откуда это у него?»

Матрос возник из дневного зноя живой иллюстрацией к смутным мыслям Глеба о восьмистах нижних чинах «Сорока мучеников», о пятидесяти тысячах нижних чинов, населявших корабельные палубы и просторные казармы Севастополя. Пятьдесят тысяч отборных здоровяков. Пятьдесят тысяч опаленных таврическим солнцем лиц, на первый взгляд не отличаемых ничем, кроме разных надписей на ленточках.

Чем они живут, о чем думают? Что скрыто за показным великолепием лихой выправки, беспрекословного автоматизма?

Вот подобранный, аккуратный, спокойный Гладковский, так непохожий на человека из простонародья. Вот этот странный матрос, который с малолетства уважает настоящую музыку и презирает инструменты, узаконенные как любимые национальные инструменты русского мужика. И сколько их еще, таких разных, каждый со своими думами, вкусами, привязанностями, замкнувшихся, скрывших свои чувства под маской слепой, нерассуждающей покорности! И как трудно с ними.

Глеб недоуменно пожал плечами, застегнул китель, взял со стола письмо и вышел на улицу.

* * *

Гладковский выходит из паштетной Бенардаки, куда забрел отдать хозяину кострецовский долг. Узкая, извивающаяся по склону скалы раздавленной змеей улочка Корабельной стороны сбегает вниз к Южной бухте.

Гладковский останавливается на углу. Прислоняется к жалкому искривленному стволу акации,— деревья белеют и корчатся в безводном известняке,— и смотрит вниз,

на ворота морского завода. Из них плотной волной вытекают рабочие. Только что прозвучал гудок окончания работ. Закопченные, забрызганные маслом люди спешат, карабкаясь по подъему улочки, торопясь к своим очагам. Там ждут жены. На плитах ароматно бурлят борщи, трещат на сковородках помидоры, румянится скумбрия и камса. Гурьбой и поодиночке они проходят мимо Гладковского. Он пристально рассматривает проходящих. Губы унтер-офицера собраны в хмурую черточку.

Нет, эти рабочие мало похожи на лодзинских текстильщиков, на изможденный, издерганный туберкулезный пролетариат промышленного центра, к которому привык Гладковский.

Мимо него проходят усатые, с жирными затылками, краснорожие. Под низкими лбами заплывшие бесцветные глазки. Они больше похожи на мещан-торгашей, чем на рабочих. Лишь изредка проплывет в этой толпе, как будто осветив ее, усталое худое лицо, напомнив Гладковскому близкие, родные лица.

Первое время службы, попав в Севастополь, Гладковский долго не мог понять, почему эти рабочие так не похожи на лодзинских.

Теперь он знает. Завод военный. После девятьсот пятого года начальство решило с корнем вырвать очаг крамолы, выросший под боком у флота. Старый контингент рабочих ликвидировали. Многие ушли в каторгу и ссылку, ускользнувших от имперского правосудия выгнали за ворота и выслали административным порядком. Немногие закаленные кадровики рабочего класса уцелели от этого планомерного погрома, притихли и притаились до лучшей поры. Новых рабочих стали набирать преимущественно из уходивших в запас сверхсрочных шкур, из бывших городовых, членов союза Михаила Архангела. Радетельная администрация давала этим образцовым рабочим ссуды на обзаведение хозяйством. Бывшие кондукторы, боцмана, фельдфебели женились на разжиревших базарных торговках, смазывали по закоулкам слободы беленькие домики, разводили кур и свиней, оседали на Корабельной, сытые, верноподданные, прочно, как клопы в диване.

Да, с такими много не сделаешь.

Гладковский криво усмехнулся, засвистал и небрежно пошел по улочке. Дойдя до узкой щели бокового тупичка, он оглянулся, свернул в него, поднялся в гору и распах-

нул висевшую на одной петле калитку. За тремя карликовыми кронами абрикосов блекло голубела облупившейся побелкой хибарка. Гладковский костяшками пальцев выбил по двери мелкую дробь.

— Кто? — спросил хрипловатый басок за дверью.

— Петух яйца снес — бабка продавать пришла,— ответил Гладковский.

Дверь визгнула, западая внутрь хибарки. Гладковский перешагнул порог.

Пол комнатенки был завален свежими стружками, они свисали гирляндами с верстака, янтарно желтея. Вкусно пахло разогретой сосной.

Хозяин сунул руку Гладковскому. Прищурив узенькие щелки умных глаз, засмеялся.

— Входи, петух! Что давно не был?

— А, пся крев,— сказал Гладковский,— сам знаешь, какие дела были. С чертовой этой мобилизацией и вооружением с ног сбились. На берег и думать было нечего. Теперь поутихло немного.

— Садись, Рух.

Хозяин смахнул ладонью с табурета стружки. Гладковский сел. Хозяин прислонился к верстаку.

— Ну, что у тебя? Выкладывай.

— Что выкладывать? — раздраженно ответил унтер-офицер.— Нам выкладывать нечего. У нас все по-прежнему, а вот у вас тут на берегу сплошное «Боже, царя храни», а вы глазами хлопаете и все прохлопали.

— А ты не горячись, друг любезный. Тебе чего бы хотелось? Всемирной революции? Ишь какой курьерский поезд нашелся! Ты разумеешь, какой хитрый ход царь-батюшка с подцарятами проделали?

— А у вас хитрости не хватило?

— Тебя, видишь, не было,— со смешком сказал хозяин, но сразу согнал смешок и сдвинул брови.

— Ты в корень гляди, Рух. Мы не в Лодзи, а в Севастополе. Да и в Лодзи не лучше дело обстоит. Уж если ваших поляков вокруг пальца обвели, башки задурили великокняжеским воззванием,— всю заваруху сорвали,— здесь и вовсе дело швах. С каким трудом мы тут держимся, лишь бы остатки организации хоть в подполье сберечь. С апреля по стране какая буря пошла, а у нас тишь-гладь. А все ж не сложа руки сидели. На заводе, сам знаешь, даже мастерам в карманы прокламации позасовывали — и все, как в бочку...

— Ну, морской завод,— презрительно махнул рукой Гладковский.— Видали мы с рейда, как после манифеста эти «пролетарии» все, как есть, к градоначальнику, с царской мордой впереди, поперли.

Хозяин колюче уперся глазами в Гладковского и вскинулся голосом:

— Легче на поворотах, Рух! Все не все. Были, которые и не ходили, а остальным отчего и не пойти? Точно не знаешь, какие рабочие? Этот самый пролетариат из боцманов вот нам где сидит,— хозяин провел ребром ладони по горлу.

— А на кораблях ничего нельзя было сделать?

— Ну что ты впустую мотаешь, Рух? Отлично я тебя понимаю. И у тебя в душе кипит, и у нас тоже, но голым задом на горячую плиту садиться не расчет — дай остынет. Кто же мог на корабли сунуться? Зачем? Чтоб нас на первой ступеньке трапа за шкирку взяли? Последних работников угробить? И то, что могли,— сделали. На «Евстафии» в ремонтной бригаде двое наших хлопцев были — успели все же листовки по кубрикам растыкать. А большему сейчас не время. Наша сила в массе, а масса пока одурелая ходит, обойденная. Дай немного сроку. Поднамнут немцы нам бока, дурман этот убойный сползет, опохмелятся люди,— пойдет другая музыка.

Гладковский постучал кулаком по колену.

— Не радует меня это.

Хозяин усмехнулся.

— А ты думаешь — мы радуемся? — Он помолчал, погладил рукой редкую бородку и уже по-деловому спросил: — На корабле как? Каково настроение? Выложи!

— Ядро то же. Я, машинистов трое, электрик один — все надежные. Думеко, конечно, тоже наш, но только в анархию сильно сворачивает, в руках держать надо. Террорист по природе. Кострецова последнее время обрабатывал — теперь успешней пойдет.

— Почему успешней?

— Кострецова в святые закатали ни за грош. За семь бутылок офицерского пойла. Конечно, парень расстроен сильно, надо ковать железо, пока горячо. Из него прок может выйти.

Хозяин отклеился от верстака и, оживившись, спросил:

— Что, говоришь, с Кострецовым?

Гладковский рассказал подробно.

— Так...— хозяин потер руки.— Это хорошо. Зацепка есть. С этого бы и начинал. Для листовки неплохой сюжет — пустить по кораблям. Смотрите, дескать, православные воины: на войну ведут, за веру, родину помирать, а тут вашего же брата за бутылку паяют. Хорошая новость, Рух. Еще что?

— А больше как будто ничего. Душно.

— Ладно,— хозяин потрепал Гладковского по спине.— Скоро и посвежеет, Рух. Нынче главное в выдержке. Организацию береги, не давай рассыпаться — это первое. Расширять не торопись. На сегодняшний день лучше один верный, чем десять сомнительных. Понял?

Он отошел в угол, разгреб обрезки досок и планок, сваленных у стены, достал деревянный ящичек для столярных инструментов и вытащил из него шелестящую пачку папиросной бумаги.

— Забери с собой. Вчера из Петербурга успели подкинуть. Питерские прокламации, циркуляр ЦК.

Гладковский оттянул ворот тельняшки и спустил туда листки.

— Есть, товарищ Антон.

— Ну, ступай. Связь держи по возможности.

Он прошел к двери, приоткрыл ее, выглянул.

— Никого. Вали!

Гладковский вьюном проскользнул в дверь, выскочил в тупичок, пощупал рукой шуршание бумаги на животе и развалистой походкой ухарского сверхсрочного пошел вниз, к бухте.

* * *

Незадолго до захода солнца сигнальщики доложили вахтенному начальнику лейтенанту Дурылину принятый с «Евстафия» флажный семафор.

Начальник бригады линейных кораблей контр-адмирал Новицкий вызывал на флагманский корабль командира «Сорока мучеников».

Записав сигнал в вахтенный журнал, лейтенант Дурылин послал унтер-офицера вахты с докладом каперангу Коварскому, а сам вызвал дежурного боцмана и приказал приготовить на всякий случай командирский вельбот и моторный катер.

Лейтенант Дурылин, наученный опытом двухлетнего сожительства с командиром, полагал совершенно справедливо, что лучше перестараться, чем недостараться. Черт его знает, на чем заблагорассудится рыжему дьяволу отправиться к флагману на неожиданный вызов. Приготовишь вельбот — он разорется, почему не катер. Подаешь катер — готов фитиль за то, что не вельбот. На него не угодишь.

— И смотри — в два счета, а то я тебе пропишу ижицу,— напутствовал боцмана лейтенант.

— Есть, ваше высокоблагородие! Не извольте беспокоиться.

Боцман ушел. С ростр донесся свист дудки, вызывающий на спуск командирского вельбота. На мостик поднялся возвратившийся от командира унтер-офицер.

— Доложил, Герасимов?

— Так точно. Их высокоблагородие счас едут.

— Насчет шлюпки распоряжений не было?

— Так точно, вашскородь. Приказали вельбот.

Лейтенант обрадованно вздохнул. Опасность разноса отпадала. Он подошел к обвесу мостика и крикнул на ростры:

— Дубовой!

И на ответное «есть» боцмана приказал:

— Отставить катер! Готовить вельбот!

— Есть — отставить катер, готовить вельбот,— долетело эхо на мостик.

Лейтенант Дурылин зашагал по мостику. Спустя пять минут он перегнулся за обвес и взглянул вдоль правого борта. В пурпурной от закатного блеска воде под трапом качалась узкая сигара вельбота, на площадках каменели фалрепные, и на палубе переминался с ноги на ногу старший офицер, обязанный лично провожать командира при съезде с корабля. Но каперанг Коварский не торопился.

Лейтенант Дурылин с неудовольствием посмотрел на часы, откинув рукав кителя с блистающей манжетой, потом на штабной блокшив «Георгий Победоносец» в глубине бухты.

Солнце за боном уже тронуло краем линию горизонта. Его красный шар лизали темные зубчики бегущих по горизонту валов. Сейчас бухнет с «Победоносца» пушка к спуску флага. Чего это старый черт возится?

Солнце на три четверти ушло под воду. Со шканцев донеслась команда, огненными язычками вспыхнули вскинутые штыки караула, и лейтенант Дурылин увидел приземистую фигуру командира на верхней палубе. И в эту же секунду, другим глазом, лейтенант поймал желтый выплеск орудийного огня на «Победоносце». Он вскинулся, застывая.

— На флаг... Смирно! Флаг спустить!

За его спиной протяжно и грустно серебряным стоном запел зорю горн, и с первым его звуком в вековой недвижности ритуала окаменел корабль.

Замер возле трапа командир, чеканными силуэтами в алое знамя заката врезалась выстроившаяся команда, гребцы в вельботе, сигнальщики на мостике, лейтенант Дурылин. Даже сигнальные фалы, все время раскачивавшиеся ветерком, повисли без движения, и прозрачная струя дыма из первой трубы неподвижным столбом стояла в небе. В мертвой окаменелости всего корабля, мгновенно ставшего похожим на царство спящей красавицы, двигались только два предмета: руки матроса, сучившего фалы кормового флага, и само полотнище флага, медленно опадающее с высоты флагштока на палубу и стоечные тросы.

Горн оборвал стон, и волшебная тишина кончилась. Корабль ожил, задвигался, зашумел. Столб дыма над трубой сломался и поплыл к берегу, фалы заплясали и загудели под порывом бриза.

Вельбот отлетел от трапа и ходко пошел к «Евстафию».

Встреченный на палубе флагмана командиром «Евстафия» каперанг Коварский, после официального приветствия, доверительно спросил у коллеги (они были одного выпуска):

— Ты не знаешь, за каким чертом я понадобился хозяину?

— Нет. Набедокурил что-нибудь. Марабу зол, как голодная блоха.

— Не понимаю, в чем дело. Как будто ничего не было.

Каперанг Коварский оправил саблю на поясе и раздраженно двинулся к адмиральскому салону. В коридорах уже пылало электричество. Часовой у денежного ящика в проходе выкатил глаза и бойко отдернул винтовку по-ефрейторски.

Адмирал сидел в пухлом, облекавшем его со всех сторон кожаном кресле. Он только что принял ванну, морщинки на лице разгладились, и адмирал был свеж, как молодой огурчик. Белье и расстегнутый китель сияли белизной и пахли шипром. Начальник бригады обожал духи, как восемнадцатилетняя кокотка.

Он лениво привстал навстречу подчиненному и протянул Коварскому белую, мягкую ладонь.

— Прибыл по приказанию вашего превосходительства.

— Да, да. Прошу, Константин Константинович,— пригласил адмирал, указывая на другое кресло.— Чашечку кофе не откажетесь? Чудесный ром.

По мановению адмиральской руки бесшумный вестовой Андрюшка, ухарь и наглец, любимец адмирала, дерзивший всем офицерам, наклонил кофейник, и свитая, как манильский трос, блестящая коричневая струя пролилась в чашку. По второму знаку адмирала Андрюшка вылетел за дверь, так же бесшумно прикрыв ее, и за дверью приник ухом к скважине, чтобы по возможности не упустить разговора.

— Угодно рому, Константин Константинович? — и, не ожидая ответа, адмирал налил рюмку, осторожно поставил бутылку и, приложив ладошку к ладошке, заиграл длинными пальцами. На одном сверкал бриллиант перстня.

«И чего тянет, скотина?» — раздраженно подумал Коварский, зная по опыту, что любезность адмирала прямо пропорциональна его злости. Чтобы не длить пытки, он решился идти напролом.

— Разрешите узнать, ваше превосходительство, чему обязан удовольствием быть вызванным? — спросил он.

Но адмирал разгадал хитрость каперанга. Продолжая невозмутимо шевелить пальцами, он вяло сказал:

— Я всегда рад вас видеть, Константин Константинович. Вы — отличный командир и хороший моряк. Разве мало? Прошу — сначала выпейте кофейку.

«Сволочь!»

Командир «Сорока мучеников» внутренне скрипнул зубами и с отвращением, обжигаясь, стал глотать кофе. Адмирал из-под полуопущенных ресниц следил пристальным взглядом играющей кошки за муками каперанга.

— Вы отличный командир,— повторил он, когда Коварский отодвинул пустую чашку.— Но, извините меня,

Константин Константинович, почему у вас на корабле такие идиоты?

Коварский, опешив, вскинул глаза на адмирала.

— Я не понимаю, ваше превосходительство. Какие идиоты?

— Тут понимать нечего!.. Нечего понимать! — вдруг завопил, с неожиданной легкостью вскочив с кресла и проносясь в угол салона, флагман.— Совершенные идиоты, музейные дураки...— Он схватил со стола папку и подошел к изумленному Коварскому.— Только дураки могут проделывать такие штуки, не понимая, к чему это может повести. Как мне ни неприятно дискредитировать вас и офицерский состав корабля, но я этого приговора не утверждаю и не утвержу.

Не давая Коварскому открыть рта, он выхватил из папки клочок бумаги и потряс им в воздухе.

— Ваш корабельный суд приговорил матроса... черт, как его... да, Кострецова, в карцер и разряд штрафованных за какое-то вино...

— Простите, ваше превосходительство,— осмелился вставить Коварский,— мне кажется, что предание суду было совершено на законном основании...

— Вам ничего не должно казаться, Константин Константинович,— оборвал флагман.

Он замолчал, потер кадык и вдруг совершенно спокойным и ленивым голосом сказал:

— Матрос, конечно, сукин сын, и его следовало закатать, но, дорогой Константин Константинович, нужно же сообразоваться с обстоятельствами. Если бы месяц назад вы послали его за это вино на каторгу, я бы рукой не двинул. Им надо показывать кузькину мать, чтобы они нам ее не показали. Но сейчас, когда, слава богу, военные события даже в матросах пробудили чувства патриотизма и отвлекли их от политики, такой приговор, получив распространение на судах по пантофлевой матросской почте, может все благодетельные последствия воинского подъема свести на нет. Я отменил приговор, Константин Константинович, как это ни неприятно, и заменил простым арестом на трое суток. Ваш ревизор — болван, потрудитесь ему это объяснить,— снова повысил голос адмирал.

Он замолчал и сел в кресло. Опять началась игра пальцев.

— Разрешите ехать, ваше превосходительство? — спросил Коварский.

— Не смею задерживать, дорогой Константин Константинович.

В коридоре Андрюшка прижался к стене, почтительно пропуская разъяренного командира «Сорока мучеников», но глаза его весело и нахально смеялись унижению каперанга. В дверях командирской каюты Коварский увидел командира «Евстафия», выжидательно выглядывавшего из своего логовища.

— Ну что? — осторожно спросил хозяин приятеля.

— К дьяволу! Только кончится война — уйду в отставку! — и, безнадежно махнув рукой, оскорбленный каперанг проследовал на вельбот. Усевшись на корме, он с ненавистью подумал о дер Мооне.

«Заварил кашу, скот, а командир расхлебывай».

Зверея от неожиданного фитиля, он решил разнести ревизора и, встреченный у трапа Лосевым, машинально выслушав обычный вечерний рапорт, буркнул:

— Будьте добры, Дмитрий Аркадьевич, прикажите сейчас же послать ко мне ревизора.

Старший офицер уловил в голосе командира урчание наплывающей на ревизора грозы.

— Вестовой!

— Есть вестовой, вашскородь!

— Лейтенанта дер Моона к командиру.

Вестовой оперным чертом провалился в люк. Старший офицер провожал командира по шканцам. Внезапно каперанг Коварский обернулся и резко сказал:

— И выпустите сейчас же эту скотину!

Лосев недоуменно поднял брови. О какой скотине речь? Несомненно, это слово подразумевало матроса. Но их восемьсот штук. Очевидно, из числа арестованных, но по рапортичке арестованных налицо было девять,— поди угадай, кого.

Недоумение старшего офицера еще больше разозлило Коварского, и он, уже не сдерживаясь, рявкнул:

— Что вы, Дмитрий Аркадьевич, смотрите на меня? Выпустите из-под ареста эту скотину, которая наворовала вина. Из-за вашей дурацкой истории я имел сейчас историю с начальником бригады. Благодарю покорно — удружили. Только и умеете раздувать пустяки,— в раздражении выбрасывал скороговоркой командир, непоследовательно забывая, что первым утверждал приговор корабельного суда он сам и от него зависело не дать «истории» выплеснуться за борт броненосца.

Старший офицер молча и незаметно пожал плечами. Что поделаешь с такой собачьей должностью — отдувайся за всех! Но, проводив Коварского до люка, он вспомнил, что утром на работах по неосторожности матросов обломали бортовую стойку на баке, и решил немедленно взгреть боцмана.

Первый крепкий снежок служебной потасовки, брошенный белой рукой адмирала Новицкого в командира «Сорока мучеников», продолжал свой полет, стремительно разрастаясь в пухлую снежную бабу, на которую постепенно налипали ревизор, Лосев, дежурный боцман и несколько злосчастных матросов, сломавших на погрузке провизии стойку, которым предстояло получить последнюю дозу неприятностей от боцмана.

* * *

Сыграв несколько партий на бильярде в морском собрании с незнакомым мичманом, Глеб вышел в плюшевую ночную темь на Нахимовскую площадь. Отпуск кончался в полночь, к половине двенадцатого нужно было быть на катере.

Оставалось полтора часа берегового времени. С Приморского бульвара ветер доносил бархатистые баски тромбонов, выводивших сентиментальный штраусовский вальс. Глеб прошел в ворота бульвара. Над аллеями стояло теплое опаловое облако пыли. По скрипящему гравию хищными стайками прыгали вокруг девушек мичмана, скопом — десятеро на одну. Чинно прохаживались, гордо закинув победоносные головы и напудренные электричеством медальные профили, лейтенанты. У каждого была своя, прочно пришвартованная шикарная женщина. На этих женщин мичмана взирали только издали, скорбно вздыхая и прищелкивая языками, как лиса на виноград. Это были именно лейтенантские женщины, их закрепляла за лейтенантами неписаная любовная табель о рангах. Лейтенантские женщины шуршали шелками, глаза их в тени огромных шляп моды четырнадцатого года казались загадочными, манящими, таинственно и несказанно прекрасными.

Изредка проплывали, степенно неся под ручку законную половину, бородатые, солидные, успокоенные в карьере и любви люди с двумя просветами на погонах, капитаны второго и первого рангов. Они обычно делали не

больше одного тура по бульвару. Долго находиться в обществе мальчишек они считали неудобным и шокирующим.

А на другом конце города, над пологим холмом знаменитого четвертого бастиона, над чащобой деревьев, круглым куполом панорамы стояло такое же, но еще более густое пыльное зарево. В темени дорожек шаркали бесчисленные ноги в грубых матросских ботах, смутно белели форменки и цветные ситцы. Крепкие, пропахшие смолой ладони беспощадно жали плотные женские торсы и зады, и заливистый щекочущий визг заменял серебряный плач вальсов, карамельную истому танго.

Загнанный на окраину матросский Севастополь любил здесь по-своему, как ему разрешалось, той мутной угарной любовью, эквивалентом которой были полтинники с курносым профилем императора и которая поощрялась белокительным синклитом отцов-командиров, как отвлекающее матросов от опасных мыслей средство.

Глеб прошел к морю. Узкая колонна памятника затопленным кораблям иглой прорезала голубое мерцание зыбкой лунной дорожки, бежавшей к горизонту. Слева сверкал электричеством ресторан на поплавке. Глеб спустился по лесенке на нижний планшет к самому памятнику. Здесь было почти пусто. На парапете сидели только одинокие парочки, тесно прижавшись друг к другу.

На выдавшемся в воду камне чернелся неподвижный человеческий силуэт. Его очертания, посадка человека, манера держать голову показались Глебу напоминающими кого-то знакомого. Он вплотную подошел к камню. Заслышав шаги за спиной, сидевший обернулся. В ту же минуту ползавший по бухте луч боевого фонаря дежурного миноносца, выходившего за бон, мазнул бело-розовым слепящим светом по берегу, колонне памятника, человеку. В человеке, ставшем в луче фонаря похожим на раскаленную добела статуэтку, Глеб узнал лейтенанта Калинина.

И лейтенант тоже узнал Глеба. Оба сказали одновременно:

— Борис Павлович?

— Алябьев!

В розовой слепительности света Глеб увидел знакомую уже мучительную судорогу тика, дернувшего щеку лейтенанта. Было похоже, что он озлился на неожиданного пришельца, нарушившего его одиночество. Но луч

прожектора сорвался вбок, улетел, лицо исчезло, а голос артиллериста из темноты прозвучал гостеприимно:

— Прыгайте ко мне, Алябьев.

Глеб перепрыгнул узкую полоску воды, разделяющую камень от берега. Смутно белеющее в темноте, чернильно-густой после ослепляющего света фонаря, худое лицо улыбнулось ему навстречу приветливо. Калинин, видимо, был в размягченном настроении.

— Гуляете? — спросил Калинин.

— Догуливаю последний час, Борис Павлович.

— Почему же в одиночку? Не по-мичмански,— сказал с легкой усмешкой лейтенант.— Ваша порода без бабы — явление ненормальное.

— У меня никого нет в Севастополе, Борис Павлович.

— А не в Севастополе?

Вопрос показался Глебу несколько неуместным, но что-то заставило ответить просто:

— Есть в Петербурге.

— Тогда понятно,— голос Калинина стал теплым.— Ну, присаживайтесь рядом. Мне кажется,— я присматриваюсь к вам все это время,— что у вас есть хорошие задатки. Это довольно редкий случай в морской практике. Может быть, из вас выйдет дельный моряк и честный человек.

Глеб опустился на камень. Камень был еще теплый от дневного зноя. Сухие космы покрывавших его водорослей, дохнули солоноватой терпкостью. Набегавшая мелкая рябь стеклянно плескалась о ребра камня.

— Ну, как? — спросил лейтенант после недолгого молчания.— Много вам за эти дни наговорили про меня страхов? Рассказывали, что я идиот, что место мне в сумасшедшем доме?

— Знаете, Борис Павлович,— ответил Глеб.— Меня совершенно не интересует, что о вас говорят другие. Но, если хотите знать правду, первая встреча с вами произвела на меня странное впечатление.

— А именно? — осведомился лейтенант, и Глеб уловил в вопросе болезненную горечь.

— Не сердитесь, Борис Павлович. Мне показалось, что вы человек очень неровный. С вами нужно быть очень начеку, и трудно угадать, как вам угодить?

Калинин засмеялся.

— Это вы по молодости, мой друг, не можете разобраться. Мне совсем не трудно угодить, нужно только по-

настоящему любить морское дело, службу, не быть лодырем, не переносить центра тяжести жизненных интересов с корабля на Приморский бульвар и в бильярдную морского собрания.

Глеб смутился. Неужели Калинин бьет прямо по нему? Может быть, он видел, как, томясь от скуки, Глеб забрел после обеда в бильярдную, чтобы скоротать время? Но Калинин смотрел не на Глеба, а в море и, видимо, говорил вообще.

— Я не терплю таких рыцарей бульвара и бильярдной. Какие из них, к черту, офицеры, командиры? Куда они могут вести флот? Поверьте, милый друг, я говорю на основании мучительного личного опыта. Десять лет назад, кончая корпус, я сам был таким же прохвостом. В голове у меня была Сахара, и в ней носились беспорядочные самумы петушиной самовлюбленности и глупости. Я чистосердечно считал себя солью земли, чуть ли не пупом Российской империи, только потому, что на плечах у меня были гардемаринские погончики, а на пустой голове фуражка с белыми кантами. Я шлялся, задрав голову, и думал, что мной обязан восхищаться весь мир.

Если бы в это мгновение боевому фонарю миноносца вздумалось опять ударить лучом в берег, он осветил бы мичманское лицо весьма интенсивной окраски. Лейтенант Калинин бил сейчас каждым словом, без промаха, по Глебу, по недавнему, вчерашнему Глебу.

— Возможно, я так и остался бы тротуарным ослом, если бы не большой экзамен. В октябре тысяча девятьсот четвертого я добровольно пошел с тихоокеанской эскадрой и, бестолково проплыв четырнадцать тысяч миль, под конец проплавал семь часов в довольно холодной воде Японского моря на спасательном буйке, с перебитой рукой, помогая плавать лейтенанту Донцову с перебитыми ногами. Он так и не доплыл до подобравшего нас японца,— его подняли на палубу уже не лейтенантом, а трупом. А я просидел до конца войны в Японии и там заново родился и переучился. Я увидел Японию и после нее стал другими глазами смотреть на нас. Я понял, что такое настоящий флот, настоящие матросы, настоящие офицеры. Мы, офицеры страны, занимающей шестую часть мира, были жалкой беспомощной дрянью по сравнению с офицерами странишки, которая целиком влезала в мой родной Липецкий уезд. У нас не было ни подлинных знаний, ни подлинной любви к родине, ни сознания своей

ответственности перед ней. Мы только требовали и ничего не давали. Мы были сутенерами своей страны, милый друг.

— Я думаю, вы несколько преувеличиваете, Борис Павлович,— взволнованно сказал Глеб.— Ведь были же хорошие моряки и в нашем флоте.

— Были отдельные хорошие намерения у плохих моряков,— резко сказал Калинин,— и только. Система воспитания не могла рождать хороших моряков. Она рождала карьеристов, алкоголиков и завсегдатаев публичных домов, а эти качества в морском бою благоприятных результатов не дают. Даже если были на флоте десять моряков, которые знали службу,— одна ласточка весны не делает. Я познакомился в Японии с постановкой артиллерийского дела на флоте. Это меня потрясло. Страна, полвека назад не знавшая огнестрельного оружия, сделала такие успехи в артиллерии, что наши пушки, наши комендоры, наши правила стрельбы оказались отодвинутыми в восемнадцатый век. И, когда я вернулся домой, я поставил себе задачей поднять артиллерийскую часть на современную высоту. Десять лет я все свое уменье и силы отдаю этому делу. Но сделать удалось крупицу того, что нужно было сделать.

— Вы скромничаете, Борис Павлович,— возразил Глеб.— Не скрою, что я уже слыхал о вас отзывы как об исключительном артиллеристе.

— Да не в этом же дело, черт возьми! Нужно, чтобы наш флот был исключительным по артиллерийской мощи, а не лейтенант Калинин артиллерийским самородком-одиночкой. Какому дьяволу нужна такая персональная натасканность? Я долблю без передышки морской генеральный штаб своими докладными записками по артиллерийской части и за это заслужил только репутацию человека, сующего нос не в свое дело и психопата. Я исписал несколько стоп бумаги на эти записки, а осуществлена из них едва ли десятая часть, да и ту у меня уворовали штабные хлыщи. Правда, кое-чего удалось добиться, стреляем мы, конечно, в общем, лучше, чем в пятом году, но мы должны стрелять лучше всех, а немцы, морская история которых короче воробьиного носа, могут нам дать десять очков вперед. А ведь нашему флоту двести лет, и ведь были же у нас Сенявин, Ушаков, Нахимов! То, что волнует меня потому, что я научился у японцев любви к родине,— не волнует других. Не все ведь принимали

крещение в Цусимском проливе, и не всем промыло мозги. И когда я вижу, что рядом со мной на каком-нибудь «Ростиславе» сидит артиллерист, который с десяти кабельтовых не может попасть в город Севастополь, не говоря о щите, мне делается не по себе, мой друг, ибо вторая Цусима утопит не только нас с вами и корабли, но утопит Россию. Не будет России — вы понимаете, что это такое?

— Ну, Россия всегда останется,— сказал Глеб, несколько раздраженный мрачным пророчеством лейтенанта. Фраза «не будет России» неприятно напомнила ему слова Шурки Фоменко, тоже предсказывавшего, что военное поражение уничтожит «вонючую Россию».

Но самоуверенное возражение сыграло роль искры, неосторожно поднесенной к горючему, и лейтенант Калинин взорвался, как снарядный погреб.

— Черта вы понимаете в этом, щенок! — крикнул он внезапно тонким и резким голосом.— Слушайте, когда вам говорит старший, который умнее вас. Да, умнее! Подумаешь — защитник попранной российской чести! Поверьте, мичман, Россию я люблю не меньше вас, а больше, потому что вы и России-то не знаете. Ничего вы не знаете, кроме количества подштанников в вашем чемодане и дюжины похабных анекдотов.

— Позвольте, Борис Павлович! — возмутился Глеб.

— Что позволять? Что позволять, я вас спрашиваю? — повышал голос Калинин.— Позволять вам оставаться невинным в мыслях сосновым пнем? Пожалуйста, милости прошу,— вольному воля.

Глебу стало вдруг смешно. Он громко засмеялся.

— Я вовсе не хочу оставаться невинным в мыслях. Наоборот, я очень признателен вам, Борис Павлович, но я только хочу, чтоб вы на меня не кричали.

— А,— сказал, сразу успокаиваясь, Калинин,— не обращайте на это внимания. Это нервы, Глеб Николаевич. Вы меня сразу расположили к себе, и поверьте, что я искренне желаю вам добра. Вы ведь хотите стать хорошим моряком?

— Конечно, хочу. Иначе зачем бы я пошел во флот?

— Ну вот. И я этого хочу. И не расстраивайтесь, если иногда я буду рычать на вас. Это потому, что я волнуюсь за вас. Мне досадно, если вы пойдете по обычной проторенной мичманской дорожке. Если вы будете делать себя не трудом и знанием, а лизоблюдством и самоуверенным невежеством.

— На лизоблюдство я не способен, а невежество постараюсь изжить. И буду очень обязан, если вы поможете мне, Борис Павлович,— горячо сказал Глеб.

— Ну и прекрасно. Я уверен, что вы хороший мальчик и из вас выйдет толк.

Калинин быстро вскочил на ноги. Встал и Глеб.

— Ну, поговорили, пора и домой... Завтра, прошу вас, Глеб Николаевич, вместе с Гладковским проверьте хорошенько механизмы башни, чтобы все действовало безотказно и гладко, а то у вас там заедает элеватор. Знаете, что значит в бою заминка в подаче снарядов? А бой может быть каждую минуту.

— А что, разве есть какие-нибудь новости насчет турок? — спросил Глеб.

— Особенных нет, но думаю, что рано или поздно турки полезут на нас. Несомненно, что адмирал Сушон с Энвером делают все, чтобы втравиться в войну. И это может случиться и через месяц, и сегодня ночью. Так вот, чтоб все было в порядке! — сказал Калинин тоном приказа.

— Есть. Будет в порядке! — ответил Глеб, прыгая вслед за Калининым на берег.

* * *

Полурота мылась в экипажной бане. В крутящихся облаках душного пара мелькали разгоряченные, блестящие, мокрые тела, расписанные татуировкой.

Боцман Ищенко был покрыт узорами с головы до пят и был похож на живую выставку якорей, пронзенных сердец, хвостатых сирен, птиц, рыб и прочих экзотических предметов. По прихоти татуировщика, а может быть, и по желанию самого боцмана — на обеих чугунно-крепких ягодицах его красовались две женские головки с томно пронзающими глазами.

Эти головки, скопированные с английских открыток, подаренных Ищенко офицерами, при каждом шаге боцмана двигались, как живые, меняя выражение. Таким татуированным чудом восхищалась и гордилась вся команда «Сорока мучеников».

Ищенко сидел на банной лавке, зажмурив глаза, неподвижный и важный, как идол, а стоявший над ним маленький комендор Бессудько, напрягаясь от тяжести громадной шайки, поливал стриженую голову боцмана теп-

лой водой, струившейся по загорелому телу серебристой влажной парчой.

Немного поодаль, утопая в пенных хлопьях, мылился Гладковский.

Из парного тумана доносились радостные повизгивания, звонкие шлепки ладони по телу. Баня была любимым матросским удовольствием. Во-первых, съезд на берег; во-вторых, приятная перспектива попариться, поозорничать, шлепнуть приятеля веником, обдать, как бы невзначай, холодной водой, вообще повеселиться в обстановке полной свободы. В бане неписаный закон отменял чинопочитание и даже боцмана разрешалось разыгрывать.

В разыгравшемся банном веселье один Думеко был хмур и сосредоточен. Он вымылся торопливо и небрежно и сидел на лавке, скрестив ноги, упорно рассматривая мыльные потоки на асфальтовом полу мыльни. С того дня, когда он выудил из воды брошенную Прислужкиным бутылку и разгадал надпись на ней, страшным смыслом связавшуюся с судьбой Кострецова, Думеко стал молчалив и задумчив.

Он ничего не сказал о своей находке выпущенному по приказанию старшего офицера Кострецову, но через несколько дней, ночью, повозившись долгое время без сна в койке, он вылез, разбудил Гладковского и срывающимся, взъерошенным шепотком рассказал ему историю с бутылкой.

— Што ты скажешь па такую гадюку?

Гладковский зевнул и сквозь зевок проронил:

— Гадюка и есть гадюка, Степан! Что Прислужкин дрянь — давно известно. Я знаю не только об этой бутылке. Помнишь, когда в прошлом году охранка забрала Петровых, никто не мог понять, как он влип. А я узнал, что Прислужкин, подглядев у Петровых в рундуке книжки, доложил старшему офицеру... Ты что?

В зеленой мути ночного освещения кубрика лицо Думеко мгновенно и дико ощерилось, и Гладковский услыхал, как скрипнули сжатые зубы товарища.

— Ну, держись, вошь! — не сказал, а проклокотал всей грудью Думеко.

— Ты что хочешь делать? — спросил Гладковский, сразу сбрасывая остатки дремоты и вцепляясь глазами в искаженное Думекино лицо.

— Пришью,— дошло в ответ коротко и шипяще.

Гладковский привскочил и схватил Думеко за плечо.

— Не смей! Я тебе запрещаю!

Думеко недобро осклабился.

— А ты мне шо за птица? Старший офицер или матка?

— Дурак! — ответил Гладковский.— Это не способ борьбы. Ты прикончишь Прислужкина — в ответ прикончат тебя. Какой смысл? Придет время — мы уничтожим Прислужкиных и тех, кому они служат, но сделаем это организованно...

— Придет время,— злобно протянул Думеко.— Наслышался я об этом! Придет времечко — зарастет темечко, а пока пусть продают гуртом и в розницу. Твоего времени, может, сто лет ждать?

— Если мы не дождемся — дети наши дождутся,— спокойно ответил Гладковский.

— Иди ты коту под хвост! — вспылил Думеко.— А може, я и детей при такой жизни рожать не хочу! Меня по карцерам гноить будут, а Прислужкин, гад, в кондукторах будет гулять, погонами кочевряжиться, меня же по рылу бить? Хрена!.. Поймаю ночью на берегу — разошью на нем шкуровы лычки ножиком.

— Слушай, Степан! — сказал Гладковский внезапно отяжелевшим железным голосом.— Ты эти замашки брось. Ты революционер или хулиган? Только посмей — вылетишь из организации. Бандитов нам не надо.

— Да ты чего вызверился? — растерянно спросил Думеко, внезапно остывая.— Я тебе предлагаю змею спичтожить, а ты рычишь, ровно собака. Не хочешь — черт с тобой! Жди своего времени.

— Это не только мое время, но и твое. Наше время. И только все вместе мы добьемся его и не такими способами. Не валяй фильку.

Думеко молча уплелся к своей койке, повесив голову и опустив бессильно плечи.

Теперь, в угарном банном пару, он вспомнил эту ночь, и опять злоба и жажда мести вору и предателю, как удушье горячего пара, туманили мозг. Он с силой вдавил пятки в мокрый пол и стиснул кулаки, вжимая ногти в мясо ладоней.

Сквозь общий гомон и крики он услыхал знакомый альтовый тембр прислужкинского голоса. И внутренняя, звериная, нерассуждающая сила толкнула его на этот голос. С остановившимися глазами, как слепой, натыкаясь

на голые тела, он пересек баню наискосок и остановился у каменной лежанки, ступеньками уходившей кверху. Здесь был пар гуще и горячее. На обжигающих ступеньках лежанки нежились любители париться. На нижней ступеньке Думеко сквозь жемчужную, мерцающую вуаль пара разглядел Прислужкина. Белое нежное тело его, непохожее на загорелые матросские тела, смутно и волнующе розовело, как девичье. Прислужкин, лежа на спине, полузакрыв томные глаза, тихо похлопывал себя по ляжкам веником и высоким голосом повизгивал, как девка, которую щекочут.

Думеко остановился. Рот его внезапно наполнился горячей слюной, и нервная дрожь дернула мускулы. Сплюнув, он спросил неестественно ласково:

— Прогреваешься, Сереженька?

Прислужкин открыл глаза. Тоненькие, точно приклеенные, усики шевельнулись, приоткрывая влажно блеснувшие зубы. Он явно был польщен ласковым обращением Думеко, к которому безуспешно старался войти в дружбу и доверие.

— Ух и хорошо! — ответил он, заигрывающе потягиваясь всем телом.— Присосеживайся, Степа. До костей пробирает.

— Может, пару прибавить? — спросил Думеко, и опять та же мучительная дрожь пронизала мускулы.

— Подбавь!

Думеко протянул руку к стоявшей на полу шайке, но пальцы сорвались, и шайка с грохотом ударилась об пол. Тогда, стиснув зубы, Думеко схватил ее обеими руками и подставил под кран с надписью «кипяток». Вода со свистом ударила в деревянное дно, поднялась до краев. Держа шайку за ушки, Думеко поднялся на лежанку, рядом с Прислужкиным, потом на ступеньку выше и, весь напрягшись, занес шайку вбок, чтобы одним размахом плеснуть воду кверху, на накаленный потолок печи.

Но неожиданно колено у него подкосилось. Он сделал стремительный рывок, чтобы удержаться на ногах. Одно ушко шайки вырвалось из зажима левой руки, и широкая струя кипятка обрушилась вниз, прямо на голову Прислужкина, а Думеко, сорвавшись со ступеньки, загремел на пол.

Чудовищный леденящий вой вырвался из вздыбившегося пара. Вся полурота гуртом метнулась на его звук и кольцом голых тел окружила лежанку. Когда пар рассе-

ялся, взвившись к потолку, все увидели: у лежанки, с сумасшедше-вытаращенными глазами, приплясывал Думеко, размахивая в воздухе побагровевшей от кисти до локтя левой рукой и хватаясь правой за ошпаренное колено. Из рассеченной при падении брови по лицу, на плечо, грудь и живот текла розовая, расплывающаяся по мокрому телу кровяная струйка.

На полу же билось в неистовых корчах, воя и подпрыгивая, человеческое тело. Голова его была невиданно страшна. Алая, как освежеванное мясо, с мгновенно вылезшими из орбит белыми, сваренными глазами, с лопнувшей на темени кровоточащей кожей и вздутыми, распяленными в вое, губами, она была так ужасна, что матросы попятились со стоном.

Но уже Ищенко по-хозяйски, сердитыми тычками под ребра, расталкивал сгрудившихся.

— Ну шо?.. Шо стали болванами, мать вашу за ногу?.. Берить его, идолы, в предбанник. Бессудько, натягивай живо портки, холера, беги на улицу за фаэтоном. Зараз его в госпиталь надо. Ну шо уставился? В зубы тебе поддать для живости? Бери, бери, да осторожно, за обваренное не хватайся,— командовал Ищенко людям, подхватывающим корчащееся чудовище, непохожее на Прислужкина.

Прислужкина понесли в предбанник. Матросы гурьбой ринулись туда.

Думеко с тем же сумасшедшим взглядом продолжал приплясывать на месте, размахивая рукой. Ищенко обрушился на него.

— А ты шо? Долго тут падекатр будешь плясать, стерва безрукая? Человека насмерть сварил. Пошли дурака в баню мыться... Марш одеваться — в госпиталь поедешь, сам ведь обваренный,— мягче сказал боцман, поворачивая Думеко и подталкивая его.

Тот повернулся и, как деревянная кукла, побрел в предбанник негнущимися ногами.

Ищенко пошел за ним, продолжая ругаться. Последний оставшийся в мыльне, Гладковский молча проследил глазами, пока Думеко не скрылся за дверью, и потом, мотнув головой, тоже вышел.

В предбаннике воя уже не было слышно. Прислужкин потерял сознание, и только грудь его с лохмотьями слезающей кожи подымалась с гулким хрипом.

Матросы, подавленные, одевались. Кто-то вполголоса рассказывал:

— Бессудько-то... До того напужался, что вместо портов напялил тольки тельняшку и так и побег за хваетоном.

Но даже легкого смешка не вызвало это сообщение, и кто-то зло оборвал рассказчика:

— Заткнись, дерьмо собачье! Тоже нашел смешки!

Думеко, уже одевшийся, с засученным левым рукавом, сидел поодаль от всех, придерживая обожженную руку, раскачиваясь от боли. Глаза его потухли и были опущены вниз. Вокруг него образовалась тягостная, молчаливо осуждающая пустота.

Через минуту ворвался, оттягивая книзу тельняшку, прикрывая непоказные места, Бессудько с докладом боцману, что фаэтон приехал. Прислужкина вынесли, следом за ним вышел Думеко. Уложив Прислужкина и дав в провожатые двух матросов, Ищенко построил полуроту и повел ее к пристани. До самой посадки в баркас никто из матросов не проронил слова.

Старший офицер, выслушав словесный доклад Ищенко о случившемся, обложил боцмана разъяренным матом и приказал подать письменный рапорт о несчастье.

Ищенко, придя в кубрик, сел выводить непослушные буквы и на взволнованные, вполголоса, разговоры людей рванул в сердцах:

— Прекратить разговоры! Ишь ахтеры нашлись разговаривать! Горе мне с вами, обормотами, едри вашу в корень!

Через час на корабль вернулся Думеко. Его не взяли в госпиталь, признав ожоги легкими и подлежащими лечению на корабле. Он до ночи просидел, забившись в угол, отказываясь от еды. Ночью вышел на бак покурить. Неотступно следивший за ним Гладковский догнал его у бочки. Думеко повернулся и, увидев унтер-офицера, отшатнулся.

— Ты нарочно сделал это,— сказал Гладковский, надвигаясь вплотную.— Я знаю, что нарочно. Ты мерзавец и убийца, а не товарищ! Мы выкинем тебя из организации, потому что убийца из-за угла не может быть революционером.

Думеко побледнел и отступил, тяжело дыша.

— И не надо! К чертовой матери! Тоже Христы развелись. Врага возлюбить, може, прикажешь? Катитесь, будьте вы прокляты, разговорщики!

— Ты что, с ума сошел? Зачем ты это сделал? Зачем ты опозорил себя?

Тогда Думеко здоровой рукой изо всей силы сжал локоть Гладковского, притягивая его к себе.

— Я не знаю... Не знаю, Рух, нарочно или нечаянно. У меня сперва не было мысли... как-то без меня это вышло. Как я его увидел обваренного, во мне все перевернулось. Я сейчас как мертвый, а ты тут еще пилишь по живому мясу. Я, може, и так свернусь от этого. Стоит надо мной его голова, как нож в сердце. За борт мне впору нырнуть.

— Что ты, дурень? — сказал Гладковский, с испугом вглядываясь в скореженное лицо Думеко.— Только этого не хватало! Держи себя в руках, уж очень ты бешеный и своевольный. Помни, что скороспелыми делами не только себя, а и других губишь. С такой горячкой в сердце нельзя быть революционером. Ты думаешь, революция — это натиск, шторм, бомбы? Вздор! Это шумиха для дураков! Революция — это неустанный подкоп. Каждый день по горсти земли из-под стены — и стена рухнет верней, чем от бомбы, которая только дырку вырвет. Учись спокойствию.

— Рух... товарищ... прости,— навзрыд вырвалось у Думеко, и он весь осел.

— Ну вот! Наделал дел, а теперь киснешь. Этого еще не хватало! Истерик! Иди-ка спать. Выспишься — поговорим.

Ночную влажную тишину прорезало стеклянное стенание склянок, отбивавших полночь на кораблях. Думеко повернулся и, как пьяный, заковылял по палубе. Гладковский подошел к борту, облокотился на поручни, поглядел на звезды и обронил про себя:

— Ой, який трудный хлопец!

* * *

Осень наплывала с моря росной духотой туманов, хмурью, влажной сыростью.

Днем голубая пленка неба отливала холодноватой грустинкой увядания. Ветер заходил с норд-оста. Волны становились стеклянными, ломкими, звенящими. Шквалики рвали с верхушек валов хрустальную россыпь, озорно разбрасывая ее по воздуху.

В городе прилавки фруктовых киосков ломились от

винограда. Взбухшие, дымчато-яхонтовые, зелено-золотистые кисти тяжело свисали, сочась свежащей медовой сладостью. Громоздились восковые пирамиды груш. Розовый пушок на бочка́х персиков был теплей и душистей девичьей щеки.

С южного берега ежедневно гуськом влетали в город парокопные корзинки. Звеня колокольцами и сбруей, колыша расшитые парусиновые навесы, они катились по улицам к вокзалу. Золотой сезон кончался, как в мирное время, не спугнутый военной бурей. Петербургская знать и московское купечество возвращались по департаментам и банкам, к тяготам служения родине.

События войны часовой стрелкой шли по циферблату истории.

Русские корпуса в безоглядной истерике натиска на Восточную Пруссию уже сыграли подсуфлированную им французскими займами роль. Роль банки, оттяпувшей германскую кровь от полей Марны. С французского фронта пришлось снять прусскую гвардию, чтобы заткнуть угрожающую дыру в Мазурских озерах, проломанную телами русской гвардии.

Артиллерийские ураганы Марны отгремели, уступая новому огневому шторму на холмах Сольдау. Брошенный соседями, истощившись под безостановочным проливнем стали, погиб самсоновский корпус вместе со своим командиром. За Львовом и Галичем задохнулось наступление Рузского.

Конец войны, обещанный единым фронтом газет не позднее трех месяцев, убегал, прячась в багряную муть неведомого будущего. Так убегает хвост курьерского поезда, вслед которому с отчаянием глядит опоздавший пассажир.

В кают-компаниях перестали ставить шампанское в заклад о сроке взятия Берлина и угрюмо перешли на родную горькую. Мрачные вести не располагали к легкому веселью игристых вин.

Надежда Тройственного согласия, большой флот Великобритании бесславно отсиживался в гаванях Хумберга, Гарвича, Скарборо и Ферт-оф-Форта, прицеливаясь на еще более удаленную от неприятностей базу в Скапа-Флоу. Большой флот был ошеломлен и перепуган прогремевшей на весь мир атакой Веддигена. Неведомый немецкий лейтенант на дрянной, назначенной к слому субмарине в полчаса потопил три британских крейсера

с четырьмя тысячами людей. Немцы оправдали свой девиз: «Будущее Германии — на воде».

В Балтике взлетела на воздух «Паллада», оставив на плаву два спасательных круга и бескозырку. Пятьсот человек в пятнадцать секунд ушли под воду, унеся тайну своей гибели. Илистая впадина между Ревелем и Поркаллауддом была забита круглыми гремучками мин, как бонбоньерка шариками драже.

Балтийский флот мутно томился в безвыходности заколдованного треугольника Ревель — Кронштадт — Гельсингфорс. Только минная дивизия осмеливалась изредка врываться в зараженное пространство.

Черноморцам выпала участь еще бесславней. Они задыхались на севастопольском рейде, не сделав еще ни одного боевого выстрела. Само положение флота, не имеющего противника, в охватившей страну военной горячке было непристойным, почти смешным. Флот продолжал уже третий месяц сытую, ленивую мирную жизнь. Мичмана и лейтенанты снимали на берегу последние сливки стремительных романов с несущимися сквозь город женами, содержанками и дочерьми российской аристократии и купечества. Матросы драили медяшку, плели маты, красили борты, получали наряды и как-то нехорошо посмеивались. Искусственно взвинченный в июле патриотический дух падал с каждым днем.

Война была нужна, как хлеб, как ежедневная чарка, но война не приходила.

Пятнадцатого октября утром, находясь к юго-востоку от мыса Фиолент, флот занимался учебным развертыванием «на удобной позиции вблизи Севастополя», предусмотренной фантастическим планом военных действий на море.

Заданный противник подходил с зюйд-вест-тен веста. Противника изображали «Алмаз» и транспорты. В блеклости утреннего марева море тяжело кипело ртутной, мерцающей кипенью. Заволакивая горизонт грузным занавесом дымов, корабли из строя фронта строились в кильватерную колонну для охвата головы противника. Третий дивизион эсминцев, находившийся при флоте (остальные миноносцы ушли в Евпаторию на учебные торпедные стрельбы), перепутав сигнал, лег на неправильный курс, прорезая строй. Концевой дивизиона едва успел проскочить под форштевнем «Ростислава», поплатившись смятой обшивкой на корме и лопастью правого винта.

«Ростислав» бросился в сторону, избегая столкновения. Линия нарушилась. Колонна обратилась в непристойный сброд кораблей. Маневр сорвался.

Сигнальщики на мостике «Евстафия» притихли, увидев задергавшуюся щеку командующего и нервно сжатые кулаки. Секунду спустя, ретиво ввязывая флажки, они подымали адмиральский сигнал командиру дивизиона:

— За позорное управление дивизионом адмирал объявляет выговор.

Подымая сигнал, сигнальщики пересмеивались глазами. Командира третьего дивизиона не любили, и адмиральский фитиль пришелся по сердцу.

Командующий, закусывая бороду, тяжело метался по мостику. В нем накипало бешенство на всю эту бестолочь, сумятицу, бессмыслицу. Он отчетливо сознавал в эту минуту обреченность всего флота и свою собственную.

С той поры, как судьба подбросила туркам в игру бесспорного козыря в виде «Гебена», историческая хартия Черноморского флота на владение просторами Понта стала жалкой фальшивкой.

Английский коллега русского адмирала, командующий средиземноморской эскадрой сэр Эдвард Мильн, знал, что делает, пропуская немецкие крейсера в Дарданеллы. Он понимал, что овладение твердынями Стамбула может пьянить голову русского профессора истории Милюкова. Но в расчеты шахматной доски Даунинг-стрита не входила русская ферзь на берегах Босфора.

И сэр Эдвард Мильн сделал такой простительный в игре зевок, поставив на дороге славянской ферзи опасного офицера — адмирала Сушона с его кораблями. Их появление в Черном море путало все стратегические и тактические расчеты. Один «Гебен» по силе артиллерии равнялся всей дивизии линейных кораблей, а по скорости превосходил ее вдвое. Это обрекало адмирала Эбергарда на странную и позорную тактику. Он должен был всегда каждый день, каждый час, держать все ядро флота вместе. Он не мог рисковать выделить хотя бы один корабль для выполнения отдельной задачи. В этом случае «Гебен» становился уже сильней остальных кораблей. Бой с ним в неполном составе линейной эскадры сулил самые убийственные перспективы.

Пока на черноморском театре стрелка весов истории равнодушно качалась между войной и миром, адмирал Эбергард был еще спокоен.

Но первый снаряд, который с ревом раздерет тревожную завесу молчания над этой морской пустыней, обрушится прежде всего на его голову, на голову руководителя флота. Удары посыплются один за другим.

Несмотря на крепкое здоровье, возраст требовал своего: покоя, размеренности, почетного комфорта, всей той атмосферы благоустроенности и хозяйственной налаженности, к которой привык адмирал. Война несла с собой бессонные ночи, внезапные боевые тревоги, изнурительные походы, качку. Качки адмирал не терпел и не мог к ней привыкнуть за тридцать лет службы.

Разрушится даже внешний уют — со стен адмиральского салона придется убрать шелковые щиты, выбросить мягкую мебель. Наглая голизна стали будет раздражать глаз, ежеминутно напоминая о смерти.

А в случае неудачи...

Адмирал зажмурился. Думать об этом не хотелось — захватывало дыхание и леденели пальцы. Вокруг командующего кипело недоброжелательство, происки, зависть. Один проигранный бой — и сразу вспомнится все. И немецкая фамилия, и бездеятельное флаг-капитанство в порт-артурском отряде, и репутация канцелярского теоретика.

А кроме того... шаткая храмина гражданского мира на флоте, с трудом возведенная на цементе накачанного в матросов патриотизма, рухнет карточным домиком. Притихшие команды подымут головы... Адмирал вспомнил озаренные пожаром видения пятого года: «Потемкина», «Память Азова».

Он раздраженно открыл глаза. Перед ним стоял флаг-капитан Кетлинский. В руках у флаг-капитана был клочок бумаги, принесенный вестовым из радиорубки.

— Что? — спросил адмирал, приходя в себя.

— Пустяки,— Кетлинский приподнял бумажку, придерживая ее. Заходивший шквалистый ветер рвал листок; казалось, белая птица рвется из ладони флаг-капитана в дышащую влажной солью ширь.— Радиограмма с купца. Доносит, что встретил на высоте Амастро «Гебена» с двумя миноносцами, курсом на Керемпе. У страха глаза велики,— наверное, принял «Хайреддина» за немца.

— Запросите, действительно ли «Гебен»? — внезапно хрипло сказал Эбергард.

— Слушаю.— Флаг-капитан повернулся.

— Постойте... флоту сигнал: «Возвращаться в Севастополь».

Кетлинский скрылся в штурманской рубке. Сигнальщики бросились к шкафам набирать флаги. Адмирал поднес к губам остававшуюся все время зажатой в пальцах сигару.

Но сигара погасла и дала только горький сок. Адмирал бросил ее за обвес и грузно ушел в боевую рубку.

Дальномерщики у обвеса грустно проследили кривую полета шлепнувшейся в воду сигары, и один прошепотил:

— И холера же, ей-богу! Нет чтоб матросу отдать. Даром добро губит. У нас на «Святителях» командер завсегда бычка даст сигнальщикам.

— Дожидайся,— беззвучно пошевелил губами другой.

Корабли, увалисто всползая на усиливавшуюся зыбь, последовательно ворочали на норд-ост.

Уже у входа на рейд, перед боном, к борту «Евстафия» на ходу подвалил штабной мотор. С него в батарейный порт передали только что полученную на имя командующего телеграмму из Ставки. Кетлинский принес ее в салон. Адмирал отставил тарелку с недоеденной яичницей и нервно разорвал пакет. Кетлинский увидел, как побелели щеки командующего и на носу резче проступила лиловатая сетка склеротических капилляров.

— Кажется, начинается,— произнес тихо адмирал и неожиданно перекрестился. Флаг-капитан заглянул в телеграмму.

«Верховный главнокомандующий приказал поставить в известность ваше превосходительство, что, по полученным сведениям, Турция решила объявить нам войну не позднее 24 часов пятнадцатого октября. Начальник штаба Верховного генерал Янушкевич».

Флаг-капитан удовлетворенно вздохнул. Известие не было неожиданным. Оно вносило наконец нужную ясность в двусмысленное положение флота. Флаг-капитан молчал, ожидая приказаний. Только чрезмерно быстрое движение пальца, ноготь которого Кетлинский шлифовал о рукав кителя, обличало волнение.

— Флоту перейти на третье положение, транспортам пока четвертое. Затребуйте катера с «Победоносца» — штабу через час переехать туда. К двадцати часам вызовите на совещание начальников соединений... Господи, помоги России и флоту! — после паузы добавил командующий. Он сознавал, что минута историческая и нужно

сказать какие-то слова, которые будут сохранены для потомства, но весомых слов не нашлось, и адмирал сердито покосился на неуходящего флаг-капитана.

— Ну, еще что-нибудь?

— Так точно, Андрей Августович,— вкрадчиво наклонился Кетлинский.— Сейчас получилась еще одна радиограмма Ставки. Должен сознаться, довольно бессмысленная. Дело касается отправки шестьдесят второй дивизии. Ставка нервничает. Дивизия вся уже в Севастополе и ждет посадки в вагоны. Застрял только батальон, расквартированный в Ялте, и Ставка просит распоряжения вашего превосходительства о перевозке батальона морем.

Кетлинский дернул правым погоном, выражая безмолвное осуждение нелепого требования, но командующий, видимо, не разделял мнения флаг-капитана, потому что сказал озабоченно:

— Кого же послать? Свободных транспортов нет. А впрочем... пошлите «Прут».

Флаг-капитан замигал, как сова, вылетевшая на солнце. Приказ показался ему чудовищным. Батальон мог сделать поход в восемьдесят километров, по прекрасному шоссе, за сутки. Посылка транспорта давала экономию в три-четыре часа. Для этого рисковать лучшим заградителем, не приспособленным к перевозке войск, слабо вооруженным и имеющим на борту семьсот пятьдесят новых мин заграждения, половину всего запаса флота, было по меньшей мере дико. Флаг-капитан рискнул высказать свое мнение.

— Нам не приходится рассуждать. Раз Ставка требует — нужно исполнить,— мрачнея, отрезал командующий, и Кетлинский умолк.

«Не хочет ссориться со Ставкой накануне событий»,— подумал он и вышел. Приказ командующего передался на мостик, и вахтенный офицер, проклиная жесткое перо, брызгавшее чернилами, равнодушно занес в журнал:

«11 часов 38 минут сигнал: флоту с двенадцати часов третье положение, транспортам — четвертое».

* * *

«Третье положение» для личного состава флота было чревато неприятностями.

С момента его введения большие корабли и первая полубригада эсминцев должны были находиться в трехча-

совой, а вторая полубригада даже в двухчасовой готовности к выходу в море.

Но самое главное — увольнение на берег днем прекращалось совершенно, за исключением съездов по службе. Вечером же увольнялось не более четверти офицеров и самое ограниченное число матросов с условием возвращения не позже срока готовности.

Милая, налаженная связь с твердой землей и ее радостями становилась для пятидесяти тысяч матросов и четырех тысяч офицеров недосягаемой мечтой как раз в то время, когда берег сулил изобилие удовольствий.

Весть о «третьем положении» взволновала кают-компанию «Сорока мучеников» не острым запахом военного ветра, не пороховой терпкостью, а именно этой обидой лишения берега. Сообщение Лосева, что отныне офицеры будут увольняться на берег повахтенно, за исключением старших специалистов, которые должны оставаться на корабле, последовало между первым и вторым блюдом и было встречено дружным шарканьем ног под столом. Это была форма молчаливого негодования. Когда же Лосев сказал, что сегодняшняя очередь дается второй вахте, все посмотрели на счастливцев людоедскими глазами.

— Алябьев, голубчик! — услыхал Глеб молящий голос Горловского. Мичман тянулся через стол. Фиолетовые сливы его глаз стали просительно ласковы.— Доро-огой, уступите мне очередь. Я вас прошу. У вас ведь никого на берегу.

— Продаю,— сказал Глеб, смеясь.

— Покупаю. Что хотите?

— Что тебя так тянет на берег, сын человеческий? — спросил Горловского Вонсович, подмигивая мичманскому концу. Мичманам было известно, что Горловский переживал головокружительное увлечение приехавшей из Ялты супругой какого-то жандармского генерала. По мичманскому концу прополз сочувственный хохоток.

— Отстань, штурман,— отмахнулся Горловский.— Ты устарел. Ты не можешь понять, какая женщина...

— Ну и женщина,— Снесивцев поджал губы.— Тоже нашел предмет. Подобрал жандармские объедки... Бррр...

— Осел! — вспылил Горловский.

— Господа мичмана... Придите в себя. Может быть, завтра нам всем придется идти в бой, а вы занимаетесь мальчишескими ссорами,— вмешался Лосев.

Мичмана притихли, и Горловский шепотом спросил:

— За сколько?

— Десять фунтов «Миньону»,— также шепотом ответил Глеб.

— Пять?

— На бирже настроение вялое. Сделок нет! — равнодушно ответил Глеб.

— Свинство!.. Даю семь!

— Есть, семь. За чечевичную похлебку...

— Господин кавторанг,— весь просияв, обратился к Лосеву Горловский,— разрешите обменяться очередью съезда с мичманом Алябьевым.

— Пожалуйста, господа. Это ваше личное дело, я не вмешиваюсь. Катер будет у трапа через четверть часа после обеда.

К отходу катера Глеб вышел на палубу. У трапа столпились офицеры, с завистью смотря на съезжающих. Катер отошел под смех и иронические пожелания с палубы. Глеб прошел по шканцам. Под кормовым мостиком матрос в робе стоял на четвереньках и конопатил паз. Когда Глеб подошел, матрос поднял лицо. Глеб узнал Кострецова.

С момента отмены начальником бригады приговора корабельного суда между Глебом и Кострецовым протянулась какая-то ниточка сердечной теплоты. Немедленно после освобождения из карцера Кострецов пришел благодарить мичмана, он был почему-то уверен, что отмене приговора помог Глеб, и как Глеб ни уверял его, что при всем желании помочь он не имел и не мог иметь никакого влияния на решение адмирала, Кострецов остался при убеждении, что мичман просто не хочет признаваться.

Вспотевшее и вымазанное смолой лицо Кострецова застенчиво улыбнулось навстречу мичману, и Глеб ответил тоже улыбкой.

— Копаешься, Кострецов?

— Кончаю, вашскобродь. До чего теплая земля Таврия, вашскобродь. Октябрь на дворе, а все солнце жарит, смолу топит... А у нас в деревне небось дожди уж... По утрам заморозки, ледок хрупает,— закончил Кострецов, погрустнев от воспоминания, и, помолчав, спросил:

— Что это, позвольте спросить, вашскобродь, с походу отдыха не дали, на третьем оставили? Ребята говорят, турки войну объявили?

Глаза матросские тревожно пытали мичмана.

— Еще не объявили, но каждую минуту можно ждать войны. Не боишься?

Кострецов медленно ухмыльнулся.

— Бояться чего ж, вашскобродь? На то и служим, чтоб войны не бояться, а, конечно, лучше, ежели б ее не было. Горя сколько и народу раззор один. Чего это люди поделить не могут, вашскобродь? Ужели нельзя придумать так, чтоб без войны сладиться?

Глеб хотел ответить обычное в таких случаях, внедренное в память извне, что Россия войны не хотела, что ее вынудили воевать, что нужно защищать родину, но внезапно запнулся. В тревожном пытании Кострецова вдруг почудилось что-то схожее с взволнованной тревогой Мирры, тоже с отчаянием спросившей в ту незабвенную ночь: «Как сделать так, чтобы не было войны?» Он почувствовал, что слова о родине, о России где-то в глубинах сознания внезапно поблекли, облиняли и прозвучат тускло и неубедительно. И, неожиданно для себя самого, сказал матросу совсем другое, непроизвольно вырвавшееся:

— Через тысячу лет войн не будет, Кострецов.

Матрос потупился и промолчал. Глеб отошел, краснея за себя.

«Что за чушь? Почему через тысячу, а не через две? Какой идиотский ответ! Что он объяснил Кострецову? Да, Мирра была права. Нас многому учили, учили, как воевать, но не научили, как сделать так, чтобы не было войны,— думал он, переходя на правую сторону шканцев.— Какое-то роковое недоразумение во всем этом. Военные подвиги, слава, заманчивые легенды. Но вот Кострецов осуждает войну, Мирра тоже. Я принимаю ее как неизбежность, но ведь и я тоже хотел бы мира. И в глубине души этого хотят и Горловский, и Вонсович, и Лосев, и даже Коварский. Всем она несет горе. Кто же тогда хочет войны?»

Мысль была так неожиданна, что Глеб растерянно взглянул в море за рейдом, словно искал там найти тех, кто хочет войны. Но голубоватая марь курилась легким дымком и была пуста.

С рейда пронесся над водой тяжелый и низкий гудок. Глеб обернулся и увидел «Прут». Заградитель, дымя, подходил к бону.

«Куда это он? — удивился Глеб.— Ставить заграждение? Но почему один, без конвоя?»

На реях «Прута» и стоявшего в глубине рейда штабного «Георгия Победоносца» все время подымались и опускались флажки. Глеб засмотрелся на этот безмолвный и непонятный разговор. Рука опустилась на плечо Глеба. Он оглянулся. Сзади стоял незаметно подошедший Калинин.

— Глеб Николаевич, я устроил вам маленькую компенсацию за проданную очередь. Возьмите четверку и съездите на берег. Сдадите в штабе крепости этот пакет и получите в обмен другой. Только оборачивайтесь быстрее.

— Есть... Куда погнали «Прута», Борис Павлович, вы не знаете?

— Вероятно, куда не нужно. Вы видали когда-нибудь, чтобы послали с толком? Ну, поезжайте.

Глеб спустился в четверку.

Вода в бухте лежала гладкая, тяжелая,— плотный плавленый свинец. Просвечивала под килем хмурой зеленью. Может быть, завтра в этот стылый студень, ревя и взвывая, бешено ворвутся раскаленные стальные болванки снарядов. Взметнутся высокие фонтаны, забурлят огромные пузыри, ходенем заходит вода, и в ее зеленое однообразие вплетутся яркие кровяные нити. Кровь! Чья? Может быть, каперанга Коварского, беззаботно влюбленного мальчика Горловского, не думающего о смерти Калинина, его, Глебова, кровь... Кровь Кострецова... восьмисот матросов. Как на «Палладе» — в четверть минуты почти тысяча жизней. Что же, славная боевая смерть, серебряный гром оркестров, торжественная панихида в морском соборе, георгиевские ленты венков, позолоченная фамилия на мраморной доске алтаря... Какие глупые мысли! А жизнь? Вот это блеклое, но еще ласкающее солнце — его ведь не будет. Не будет вот этого полного молодого дыхания, широко распрямляющего грудь. Не будет писем и телеграмм, запертых в ящике каюты, и никогда больше не почувствовать родное тепло смуглой руки, не взглянуть в глаза сквозь дым ресниц. Вздор! Не нужно думать об этом. Никогда ледяное одиночество славы не заменит горячего биения жизни... Не думать о смерти. Жизнь! Жизнь чудесна, и в ней так много обещаний и надежд...

— Вашскобродь... Пристали...

— Что?

Глеб не заметил, что четверка уже стоит у ступеней Графской пристани. Виновато улыбнувшись, выпрыгнул и побежкой вынесся по лестнице на площадь.

Бронзовый Нахимов в высоте пристально смотрел на флот пустыми орлиными глазами. Делал посмертный смотр внукам, готовящимся вплетать новые лавры в венок черноморских побед. Тонкие губы адмирала кривила недобрая усмешка,— так показалось Глебу. «Вы, нынешние, ну-тка» — как будто хотел сказать старик.

Обменяв пакеты в штабе крепости, Глеб возвращался на пристань. На Екатерининской мимо него пролетел лакированный фаэтон. Блестела сбруя, сверкали граненые стекла фонарей. Две фигуры на сиденье жадно, тесно, в мучительном томлении приникли друг к другу, не стыдясь уже взглядов, не замечая их. Рука женщины в лимонной перчатке лежала в мужской ладони. Нежный профиль, фиалочья синева прозрачных глаз под теплой тенью соломенной шляпки промелькнули перед Глебом. Взгляд Горловского скользнул по Глебу растерянно, неузнавающе, он не видел ничего, кроме своей спутницы.

Мгновение... Дробный цокот копыт промчался, затихая, и у Глеба сжалось сердце. Но через секунду он улыбнулся, вспомнив, какой ценой купил мичман короткие, последние часы счастья.

«Можно было сорвать десять фунтов,— подумал Глеб, веселея.— Вполне стоит».

Он вошел под колоннаду, направляясь к шлюпке. Внезапно его внимание привлек дежурный сигнальщик, стоявший у края пристани. Сигнальщик стоял спиной к Глебу и не видел офицера. Он разговаривал с женщиной. Женщина была высокорослая, пышная, красивая ранней осенней красотой. Она взволнованно и умоляюще о чем-то просила. Сигнальщик хмуро качал головой, видимо, отказываясь. Тогда женщина раскрыла шелковую сумочку. В руке ее очутилась двадцатипятирублевая бумажка. Она протянула ее матросу. Сигнальщик с показным пренебрежением взял бумажку и сунул в карман. Отступил и привычно взметнул флажки.

Они запорхали в его руках, и Глеб прочел позывной «Ростислава».

Это показалось ему подозрительным и странным. Отнекивание сигнальщика, деньги, неизвестная женщина, вызов корабля отложились в его сознании слагаемыми преступления. Накануне решающего дня это выглядело

опасностью. Разговоры в кают-компании о прекрасных немецких шпионках, соблазняющих моряков, претворялись в явь.

Сигнальщик вглядывался в рейд, ожидая ответного семафора с корабля. Глеб резко и стремительно падвинулся.

— Сигнальщик!

Оклик был металлически жесток и взъярен. Сигнальщик перевернулся, как на пружине. Глаза его испуганно всполыхнулись при виде мичмана.

Явно! Пойман на месте.

Тяжелая волна гнева плеснула в лицо Глебу. Происшествие требовало решительных мер.

— Ка-ак фа-милия? — спросил Глеб, бледнея и неприятно растягивая слоги.

— Мухин, вашскобродь,— тихо сказал сигнальщик, опуская глаза.

— Пойдешь за мной к коменданту. Вам, мадам, тоже придется последовать за мной,— сказал Глеб женщине.

У нее дрогнула щека и раскрылись губы.

— Позвольте, мичман.

— Ничего не намерен позволять,— с ледяной вежливостью отрезал Глеб,— объяснитесь в контрразведке. Там с вами поговорят... по-немецки,— неожиданно взвизгнув, закончил он.

Губы женщины раскрылись еще больше, потом метнулись в спазме неудержимого хохота. Глеб вспылил. Это было уже слишком. Какое нахальство!

— Прошу вас...

Но женщина уверенным интимным жестом подхватила его под руку. Смех еще дрожал и катался у нее в горле, как серебряный шарик в свистке.

— На одну минуточку, мичман,— сказала женщина, увлекая Глеба в сторону.— Боже, какое дикое недоразумение! Я сейчас только поняла, за кого вы меня приняли. Какой вздор!

— Вы меня не проведете,— сухо сказал Глеб, чувствуя, однако, по тону женщины, что она спокойна и уверенна.

— Да я и не собираюсь вас проводить. Мне, конечно, не очень приятно открывать вам мои личные тайны, но ваша горячность...— Она наклонилась к Глебу и совершенно доверительно вполголоса продолжала: — Видите ли, у меня на «Ростиславе» есть... ах, боже мой, как глупо... ну, близкий человек... лейтенант Воинов. Сообщение

с кораблями прервано, его не пустили на берег, а он мне нужен. Я просила сигнальщика передать ему семафором, что мне обязательно нужно его видеть... В конце концов, у меня не было другого способа передать. Вы можете спросить сигнальщика.

— Черт знает что,— пробормотал Глеб, краснея. История оборачивалась глупо.— Неужели, мадам, вы не можете понять, что в такое время...

— Я очень хорошо понимаю, милый мичман, но думаю, и вы поймете, что чувство не всегда считается с таким временем,— женщина уверенно и вызывающе улыбнулась.

Глеб отвернулся к сигнальщику. Тот стоял каменный и непонятный.

— Немедленно отдать деньги!

Рука сигнальщика рванулась к карману и вытащила двадцатипятирублевку.

— Возьмите, мадам,— Глеб передал деньги женщине.— А ты доложи дежурному по связи, что мичман Алябьев приказал посадить тебя на трое суток... за неотдание чести. И чтоб больше таких штук не было! Понял, балда?

— Так точно,— вытянулся, веселея, сигнальщик. Неожиданный наскок офицера, грозивший серьезной бедой, заканчивался, к счастью, пустяками.— Покорнейше благодарю, вашскродь.

Глаза сигнальщика были бессмысленно преданны, но где-то в их глубине металась дразнящая веселая искорка. Мичман опростоволосился, и это веселило матроса.

«Идиот!» — выругал себя Глеб, спускаясь в шлюпку и услышав за собой вновь вырвавшийся у женщины хохоток.

* * *

Предрассветный сон крепок, радостен и тепел. Предрассветный сон навевает самые приятные видения. Тело нежится под одеялом, набирая бодрости для предстоящего дня. Вокруг темь, тишина, великое ночное спокойствие.

Спит большое мохнатое небо, обнимая огромное, притихшее на ночь море. Спит рейд, молчаливо и угрюмо дремлют на рейде корабли. Безветрие. Стеклянно застывшая вода, и над ней механические перезвоны склянок, отзванивающие вековую матросскую, флотскую тоску.

Завернувшись до носа, спит в койке Глеб. В низких коробках кубриков, в мертвой блеклости зеленых ночных ламп, спят подвешенные в койках, как копченина в погребе, тяжело дыша, хрипя и ворочаясь в духоте, матросы. Воющие вентиляторы не могут высосать из кубриков теплого удушья, запаха распаренного сном тела.

До полночи шла спешная погрузка угля. В двадцать один час с «Георгия Победоносца» просемафорили флоту клотиком:

«Положение весьма серьезное. «Гебена» с двумя миноносцами видели около Амастро. С рассвета — положение первое. Госпитальным судам тоже к девяти часам».

Упоминание о госпитальных судах показывало, что кровавый ветер надвигается вплотную.

Огни погашены на всех судах. Очертания и места судов только угадываются по памяти вахтенными начальниками, безмолвно шагающими во мгле по мостикам и палубам. Вахтенные начальники, напрягая глаза до слез, смотрят все чаще и чаще в открытое море. Что таит в себе его непроглядная чернь?

Часовой у флага на «Георгии Победоносце» стоит неподвижно. На узкой грани штыка чуть розовеет отблеск света из люка адмиральского салона. Командующий флотом не спит. В его помещении сейчас сосредоточена вся жизнь флота.

Сюда стекаются и отсюда расходятся все сводки, приказы, радиограммы. Как в человеческое сердце венозной кровью, вливаются в адмиральскую каюту донесения подчиненных, рапорты командиров судов, информационные данные, весь отработанный материал флотского дня, и свежей артериальной кровью выливаются на суда, батареи, минные роты — приказы, инструкции, распоряжения.

Около полуночи вестовой передает в салон радиограмму. Ее принимает начальник штаба контр-адмирал Плансон. Он, зевая и ежась (в салоне сквозняк — командующий любит свежий воздух), читает. Начальник минной дивизии запрашивает из Евпатории об обстановке: «Ввиду серьезности положения полагал бы необходимым принять полный запас топлива. Жду распоряжений».

Контр-адмирал Плансон просыпается, ему становится еще холодней. В самом деле, в горячке дневных событий совершенно забыли о минной дивизии. Начальник штаба докладывает командующему.

— Какие будут распоряжения, Андрей Августович?

— Приготовиться к бою, возвращаться в Севастополь... Только пусть подходит в обстрел батарей и к минному заграждению не раньше рассвета. В случае появления неприятеля вскрыть пакет 4 Ш.

Рука Плансона с карандашом быстро бегает по блокноту. Листок вырывается и бросается вестовому, хватающему его на лету. Вестовой, как рысак, срывается с места.

— Стой!.. Константин Антонович, а «Прут»? Сообщите «Пруту» то же самое. В случае появления неприятеля вскрыть пакет. Держаться в море, не слишком удаляясь от берега.

Командующий устало закрывает глаза.

Пакет 4 Ш. На каждом корабле флота, в командирской каюте, на дне несгораемых секретных ящиков, между другими секретными документами, ежедневно сменяясь, лежат большие холщовые пакеты, прошнурованные и запечатанные кровавыми наплывами сургуча. На них ни адреса, ни имени, только буква и цифра:

4 Ш

Мирно и скромно лежат эти пакеты на дне, и трудно заподозрить в их скромной и замкнутой внешности гремучее содержимое. Пыль оседает на них, и, роясь в ящике, командир обычно досадливо отбрасывает в сторону этот пакет, как лишний предмет, как неуместное напоминание о том, о чем неприятно говорить в спокойные дни размеренной флотской жизни.

Но наступает час, когда из-за горизонта острым порывом шквала налетает тревога, поют горны, дребезжат колокола громкого боя, слетают чехлы и надульники с орудий и голубоватые грузные черепахи башен ворочаются, ища в сумеречной черте горизонта уже зримую цель. Тогда командир, перекрестившись, дрожащими пальцами ломает запекшуюся кровь сургуча, дергает шнуры, с треском раздирая добротный интендантский холст пакета.

И из вязи аккуратных букв пишущей машинки перед глазами командира выплывает красное и горячее, как свежий сургуч, огромное свинцовое слово:

ВОЙНА

И уже наверху гремят залпы, выплескиваются из дул длинные, мгновенно рвущиеся шлейфы желтого огня и рыжего дыма, ухает плещущая вода, скрежещет сталь и умирают люди...

Вестовой уходит. Дремлет, прислонившись к кожаной спинке дивана, командующий, на цыпочках выходит в передний салон, прикорнуть на десять минут, начальник штаба.

Часовой у флага остановившимися, немигающими глазами смотрит на светлое пятно люка. Отсветы его, пересеченные решеткой, неподвижно стынут на зрачках часового.

Спит рейд, спят корабли.

Слезы текут из раздраженных напряжением глаз вахтенных начальников, слезы стекают по красным векам кочегаров, шурующих в топках, подымая пары для полного хода. Звон и шуранье лопат, захватывающих размельченную кашу угля, рев топок, вой вентиляторов. Спящие корабли готовятся к бою.

* * *

Поляна горит ядовитой зеленью травы. Трава высока и жирна. Она хлещет по ногам и мешает идти. Как это неприятно! Ведь нужно идти скорее. На той стороне поляны, под низкими ветками ивы, стоит девушка в белом платьице с сиреневыми полосками. Солнце золотит крутые завитки волос на тоненькой шее.

Вот-вот она бросит травинку, которую грызет, и убежит. И тогда никак не догонишь ее. Никак и никогда. Скорей!

Глеб несется большими легкими прыжками, почти летит.

Вот осталось два шага. Девушка оборачивается. Со смехом протягивает руки. Какие они легкие и горячие! Ее губы обдают душистым теплом, и Глеб припадает к ним. Минута пустоты, стремительного сердцебиения, страшной сладости.

И сквозь эту пустоту в уши бьет частый, пронизывающий, мучительный трезвон набата, и синее небо над поляной багровеет. Где-то пожар. Нужно бежать.

Глеб рвется. Пылающая балка, брызгая искрами, летит сверху и обрушивается на голову. Туман. Темнота.

В каюте темно. Только кругляш открытого иллюминатора чуть синеет. Глеб хватается за лоб, ушибленный о коечную стойку.

Зарева нет, но набат продолжается. Ах, черт возьми! Это же боевая тревога.

Мгновенно вскочив, Глеб задраивает иллюминатор и поворачивает выключатель.

Наспех, через два крючка, зашнуровываются ботинки, на одну поясную пуговицу застегиваются брюки. Китель, фуражка. Все.

Вырванное из сна тело трепещет ознобной утренней дрожью. Но оно прогреется на бегу. Распахнув дверь каюты, Глеб вылетает в коридор. По нему бегут люди. У денежного ящика Глеб налетает на несущегося навстречу человека. Они тщетно пытаются разминуться. Глеб влево — и встречный влево. Глеб вправо — и встречный тоже. Наконец его хватают за плечи.

— Что за черт! Стойте! Я обойду вас кругом.

Только теперь Глеб узнает лейтенанта Ливенцова.

— Что случилось? — спрашивает Глеб, прижимаясь к стене, пропуская лейтенанта.

— В Одессе,— лейтенант проскакивает мимо,— пистолеты обгадились...— Спина Ливенцова уносится по коридору.— Турки взорвали «Донец»... разносят город,— заканчивает лейтенант, исчезая за поворотом.

Глеб несется коридорами, кубриками, обгоняя бегущих, натыкаясь на встречных.

Вот наконец дверь башенного колодца. Сердце прыгает кроликом, вот-вот вырвется. По скользким перекладинам трапа наверх — и вот уже ровный белый свет лампочек, прислуга, окаменевшая у пушки, умное, спокойное лицо Гладковского.

И Глеб сразу приходит в себя, смиряя подступившее клубком, душащее волнение.

Мысли приходят в порядок.

«Напали на Одессу... Какого же черта у нас боевая тревога, а не съемка? Что за переполох? Нужно сниматься, а не подымать тарарам на якорях. Болваны!»

Рот у Глеба наполняется слюной от неистовой вспышки злобы на эту бестолковщину, на бесцельную тревогу, взбудоражившую девятьсот человек и бросившую их по боевым местам, когда никакого противника нет еще в помине.

Он оглядывает башню. Как ласкает глаза этот успокоительный порядок! Ярко и свежо, как молодой ледок, сияет сталь, и тепло лучится надраенная медь приборов. Все на месте, все подчинено прекрасному ритму служебной слаженности, и прислуга слита в одно целое с тяжелым и мощным казенником орудия, ежесекундно готового

метнуть огнем и грохотом в испуганно рвущееся пространство.

— Молодец, Гладковский! — говорит Глеб, щурясь от света.

— Рад стараться, ваше высокоблагородие.

Уставный ответ звучит у Гладковского как-то по-особенному. В нем сознание своего достоинства, он отвечает мичману почти как равный. Странный матрос, но прекрасный служака, образцовый унтер-офицер. Надо не терять его из виду.

Бараном блеет телефон. Глеб берет трубку у телефониста, ему хочется самому услышать. Может быть, что-нибудь интересное.

— Левая носовая.

— Это вы, Алябьев? — слышит он голос Калинина.

— Я, Борис Павлович.

— Как у вас?

— Все в порядке.

— Отбой боевой тревоги. Прислуге остаться при орудиях. Могут спать, не отходя от пушки.

— А что наверху, Борис Павлович? — спрашивает Глеб.

— Ни черта особенного. Нагремели в штаны, теперь проветриваемся. Можете погулять. Перемен пока что не предвидится. Вселенная в тумане, на дне морском Садко на гуслях играет.

Жестяной звук лейтенантского смешка — и Глеб слышит, как трубка упала на рычажки.

— Гладковский!

— Есть, ваше высокоблагородие.

— Прислуге остаться! Можете дремать, ребята. Все спокойно — неприятеля еще нет.

Глеб спускается вниз и по коридору выходит на ют. У борта стоит группка офицеров, вглядываясь в начинающую светлеть пелену тумана за боном, в просвете между батареями. Подходя, Глеб взглядывает на часы — пять часов пятьдесят минут. С каждой минутой светает.

В кучке офицеров Ливенцов, Горловский, Лобойко, дер Моон, Спесивцев. Говорят почему-то придушенным шепотком, точно боятся, что разговор будет услышан там, за боном, в колышущейся полосе тумана.

— Только что с Сарыча передали. На зюйд-весте видели прожектор,— говорит Лобойко.

— Чей?

— Ясно — «Гебена».

— Возьмите катеришко — сходите справьтесь,— ядовито советует Спесивцев.

— Вероятней всего, «Прут». Он должен быть где-нибудь у Фиолента.

— Нарвется на немца как пить дать. По пер...

Штурману не удается договорить. Снова томительно взывают горны и гремят колокола по всему рейду. Опять боевая тревога.

Влетев в башню, Глеб подымается к наблюдательному колпаку. В стеклах перископа близкая, как будто здесь, под самой рукой, часть берега Северной стороны. На голых скалах видны кустики высохшей травы. Как на ладони — задний фас батарей, видно, как копошится прислуга у орудий.

Что в море? Но Константиновская батарея, бон, выход закрыты от взгляда надстройками корабля. Какая бессмыслица! Торчать на якоре, когда противник уже у города, когда по морю шныряет вражеский прожектор. Вести огонь можно только кормовой башней.

Глеб переводит перископ в глубину рейда, где на мертвых якорях, наглухо приклепанный, стынет штабной блокшив, сданный к порту линейный корабль «Победоносец». Рядом с ним стоит небольшой пароходишко. Всмотревшись, Глеб узнает флагманский тральщик бригады траления и рядом другие тральщики. Значит, бригада траления вернулась с моря. Что же там? Как мучает эта дурацкая неизвестность! Хотя бы из боевой рубки сообщили что-нибудь.

И вдруг Глеб слышит рождающийся вверху, над кораблем, в плотном осеннем воздухе низкий, гнетущий, приближающийся рев. Он проносится вихрем над самой башней, и Глеб видит, как на середине рейда, будто вытолкнутые подводным извержением, встают пять высоких белых фонтанов.

Они не успевают еще улечься и рассыпаться кругами пены, как с палубы «Георгия» выплескивается вперед длинное, мгновенное, сверкучее пламя, и вслед за ним могучий, грузный удар потрясает рейд. Еще пламя, еще удар. Пауза — и в третий раз.

Ах, что же делается там? Глеб чувствует, как трясутся его пальцы, бешено вращающие штурвальчик перископа. Быстро плывет в стеклах опять Северный берег, батареи. Теперь они тоже полыхают вспышками залпов.

Хлещущий плеск лопается где-то рядом. Слышно, как на борт корабля обрушивается тяжелая масса воды. Попадание? Нет, вероятно, только у самого борта.

Подлое ощущение беспомощной мыши, запертой в мышеловке. Мелкие мурашки щекотно ползут по спине. Что это? Страх? Неужели он испугался? А матросы?

Глеб взглядывает вниз. Матросы стоят недвижно. Головы у них склонены набок, они тоже прислушиваются к темным звукам снаружи. Рука гальванера замерла на ключе. Внимательный взгляд Гладковского встречается с глазами офицера.

А за стальным колпаком, которым накрыты люди, продолжают грохотать залпы.

* * *

В пять часов пятьдесят восемь минут в штаб командующего флотом поступило донесение с северного наблюдательного поста на мысе Лукулл. Начальник поста сообщал, что в виду мыса появилось двухтрубное двухмачтовое судно, идущее к Севастополю.

В сопоставлении с предыдущим донесением поста Сарыч о видимом в море прожекторе можно было уже уверенно предполагать приближение неприятеля. Из своих в этом районе мог находиться только посланный адмиралом в Ялту «Прут». Но ему не было никакого смысла обнаруживать себя боевым освещением.

Но, несмотря на то, что штабу уже было известно о налете турецких миноносцев на Одессу и адмирал Эбергард телеграфировал в Ставку о событиях ночи и выходе флота в море,— ни флот не двигался с рейда, ни штаб не предпринимал ничего для встречи противника.

Помимо спешки и нервности, мгновенно охватившей штаб, превращая его тихий приют на «Победоносце» в разбуженное осиное гнездо, на действиях командования роковым образом отразилось трехмесячное двусмысленное состояние «ни войны, ни мира», притупившее восприятие опасности и быстроту реагирования.

После первого донесения Лукулла ни кораблям, ни береговым батареям, ни начальнику минной обороны не было дано никаких указаний на случай появления противника.

В море оставалась бригада траления, совершенно беззащитная и обреченная на гибель, и дозорный четвер-

тый дивизион эскадренных миноносцев в составе «Лейтенанта Пущина», «Живучего» и «Жаркого». Миноносцы были старые, угольные, с максимальным двадцатипятиузловым ходом. Вероятный противник — «Гебен» — превышал этот ход на три узла.

В шесть часов двадцать минут, когда уже просветлело, пост Лукулл вторично донес, что замеченное судно — несомненно военное и имеет башни с орудиями. Через три минуты начальник бригады траления по собственному почину, не дожидаясь приказаний, повернул с партией на траверзе Херсонесского маяка в Севастополь, ибо завидел на севере вылезающий из тумана огромный силуэт линейного крейсера. Сомнений не оставалось, и, бросившись полным ходом к рейду, натралбриг дал радио комфлоту: «Вижу «Гебен» в тридцати пяти кабельтовых на норт-ост-тен норд, курсом зюйд».

Но «Георгий Победоносец» молчал. Он стоял в глубине бухты, как мертвый корабль-призрак. Начальник охраны рейдов, находившийся в адмиральской рубке, осмелился напомнить командующему, что боевые батареи крепостного минного заграждения разомкнуты в ожидании возвращения «Прута» и что, вследствие появления противника, их необходимо замкнуть.

Адмирал стоял, наклонившись над картой района. Он поднял на начальника охраны рейдов пустые, ничего не выражавшие зрачки и молча отвернулся опять к карте. Подчиненный не осмеливался настаивать — когда командующий смотрел таким пустым взглядом, это означало недовольство посторонним вмешательством в его ответственные мысли.

Начальник охраны рейдов не выдержал — нервы у него были натянуты. Он дернул головой, как лошадь, и вылетел на палубу, чтобы лично взглянуть на положение.

Но едва он переступил за комингс люка, над его головой завыло, раздираясь, небо, и он увидел на оловянно-неподвижной воде рейда те же пять высоких фонтанов-всплесков, которые видел в перископ из своей башни Глеб.

Это был первый залп «Гебена» по Севастополю.

Начальник охраны рейдов схватился за голову и присел. В узком просвете между Александровской и Константиновской батареями, на грани волокнистой полосы тумана, колыхавшейся в море, он увидел на секунду неясный очерк низкого серого двухтрубного корабля. «Гебен» шел

вдоль крепости полным ходом, у носа его кипел отчетливо видный высокий бурун.

Соломенно-светлый огонь блеснул над его корпусом. Взвыли снаряды, и сбоку в городе прокатился дребезжащий раскат разрыва. Начальник охраны рейдов оглянулся. Над прямоугольным скучным зданием морского госпиталя курилась пыль и расходился оранжево-лиловый дым.

Начальник охраны рейдов снова взглянул на неприятельский крейсер. «Гебен» значительно передвинулся к югу. Он стал виден отчетливее, и начальник охраны рейдов с томительным зудом во всем теле увидел, что крейсер маневрирует на линиях минного заграждения.

Тогда, не ожидая нового залпа, начальник охраны рейдов ринулся в люк, не разбирая ступенек. В голове у него молотком стучала страшная мысль. На рейде среди боевых кораблей стояли заградители с полным запасом мин. Один случайный снаряд в заградитель — четыре тысячи пудов тринитротолуола вырвутся на волю из чугунных шаров, и флот окончит свое существование на рейде.

Время нужно было считать тысячными долями секунд. Ввести батареи заграждения было единственным шансом отвратить катастрофу. «Гебен» в своем тяжелом разбеге налетит днищем на гальванический контакт на таком же чугунном шаре, злобно таящемся под водой — Севастополь и флот будут спасены.

Начальник охраны рейдов ворвался в адмиральское помещение с перекошенным лицом. У адмирала кипела суетня, он только что отдал приказание о немедленном переходе штаба на «Евстафий», и писаря стремительно свертывали карты, напихивали карманы документами, кто-то уронил пишущую машинку.

«Сумасшедший дом,— подумал начальник охраны.— Вздумал переезжать под огнем, нашел время, тюфяк».

В это время наверху ахнуло, и старый корабль шатнулся. Это его двенадцатидюймовая башня, без приказания, которого не от кого было получить, по собственной инициативе, открыла огонь по чуть видному силуэту вражеского крейсера. Остальной флот молчал, не решаясь вести огонь без приказа командующего.

Начальник охраны рейдов подбежал к адмиралу. От волнения и спешки он едва выговаривал слова. Он забыл даже титуловать командующего.

— Разрешите включить батареи. «Гебен» на заграждении... Идет на юг. Через пять минут выйдет из минированного района.

Эбергард просовывал в рукава поданного вестовым пальто. Резко обернулся и злобно, почти с отчаянием, как показалось начальнику охраны рейдов, обрубил:

— А... включайте... черт с ними.

Раздумывать было некогда. Черная трубка телефона прилипла к уху. Центральная штаба не давала ответа. Начальник охраны рейдов вопил в трубку, перескакивая с ноги на ногу, как будто стоял на раскаленном металле.

Наконец удалось соединиться с начальником минной обороны через центральную коменданта крепости.

«Только успеть бы»,— шептал в забвенности начальник охраны рейдов.

— Начальник обороны!

— Их высокоблагородие вышли на пристань,— почтительно ответила трубка.

— Кто у телефона?

— Дежурный унтер-офицер Маслаков, вашскобродь.

Начальник охраны рейдов в ярости хватил себя кулаком по ляжке.

— ...перемать! Немедленно начальника обороны к телефону!

— Слушаю, вашскобродь.

Уходили безвозвратно дорогие секунды. Берег гремел орудийным огнем, и тут, в слабо освещенном адмиральском салоне, превращенном в канцелярию штаба и сейчас опустевшем, начальник охраны рейдов чувствовал себя отрезанным от всего мира.

Наконец в трубке захрипел голос начальника минной обороны.

— У аппарата...

— Говорит начальник охраны рейдов... Что вы делаете, черт возьми! Включить батареи.

— Есть!

Начальник охраны швырнул трубку и снова помчался на палубу. В городе, на Корабельной слободке, начинался пожар от снарядов «Гебена». Корабли стояли без движения, врезанными в воду памятниками русской чугунной бессмыслицы, монументами имперского позора. Невидный уже за берегом Артиллерийский бухты, «Гебен» продолжал слать с моря воющие и рвущиеся сгустки стали.

Начальник охраны рейдов в бессильной злобе вцепился в поручни и вдруг, не обращая внимания на матросов, вслух захохотал.

Под неприятельским огнем, среди неподвижного растерянного флота, ставшего похожим на притихшее стадо, пыхтя и буравя воду, бежали от «Георгия» к «Евстафию» гуськом катера с адмиральским штабом и канцелярией.

В момент боя, прозеванного и обрушившегося на флот, как гром из чистого неба, корабли остались без командующего. Он сидел на корме адмиральского катера, нахохлившийся, понурый, оставшийся без пристанища, странный командующий беспризорного флота.

— Скотина! — яростно взревел начальник охраны рейдов, уже не считаясь ни с какими требованиями чинопочитания и осторожности.— Плавучий бордель катается.

Стоявшие рядом матросы, обслуживавшие штабной блокшив, беззвучно, из деликатности, захихикали, подталкивая друг друга.

* * *

Когда утихла стрельба и сыграли отбой боевой тревоги, Глеб торопливо выбрался из башни.

Стало неожиданно и страшно тихо над городом, над рейдом.

Только орали, низко проносясь над водой, всполошенные грохотом чайки и, как всегда, дрались из-за плавающих отбросов.

На верхней палубе Глеб заметил боцмана Ищенко, распоряжавшегося на рострах. Матросы возились у спасательного вельбота.

— В чем дело, Ищенко? — спросил Глеб.

Боцман сурово обернулся к мичману... И чего лезет?

— Кильблоки разбило осколком, вашбродь.

— Разве было попадание?

— Никак нет, вашбродь,— еще сумрачнее отозвался боцман.— Об воду и рикошетом осколками рвануло. По вельботу и по мостику. Их высокоблагородие мичмана Горловского убило.

— Что?

Глеб почувствовал странную отяжеляющую пустоту под ложечкой.

— Так точно, вашбродь. Голову раскроило. На месте скончались, без слова.

Матросы работали у вельбота молча и сосредоточенно. Не было слышно обычной переброски словами. Глеб справился с мучительной внезапной тяжестью и взбежал на мостик. У левого обвеса стояли сигнальщики, тесно сгрудившись, обступив Вонсовича. Штурман был бледен, у него отвисла губа, и, больше чем когда-либо, он походил на сеттера.

Двое матросов с голиками и ветошками мыли палубу у нактоуза, и Глеб, взглянув, увидел в ведре мутную, ярко-розовую воду. Его затошнило, и воротник кителя прилип к шее от внезапного пота. Он повернулся к сигнальщикам.

— Мы, значит, ваше высокоблагородие, стояли вот тут, значит,— сигнальщик испуганным жестом обвел вокруг себя,— он, значит, в море идет, еле его видать скрозь туман. Потом как блескануло на нем... р-раз, значит... и весь залп вон там слева, ваше высокоблагородие, об воду... Ну и выбросило!.. Сажен на пятнадцать кверху вода встала, как свечками, значит. А их высокоблагородие засмеялись еще и говорят: «Поздравляю, ребята, дождались праздничка». А он тут снова как дернет по городу! От госпиталя так кирпичи и фукнули в небо... И наши, главное дело, молчат, просто злость берет... Что ж, думаем, значит, так он и будет садить, а мы в рот воды набрамши? Но тут в самую минуту с «Георгия» из башни и по ему дунули... Я гляжу — здоровый недолет, значит. Их высокоблагородие тоже увидели и говорят: «Надо показать «Георгию» недолет, может, им за берегом не видно». Костюк это вмиг на шкаф и семафорит «Георгию». И только позывные, значит, успел дать, а тут совсем рядом об воду... И опять, значит, фонтан и прямо на мостик. Как вдарило водой — прямо молотом по башке. Я, ваше высокоблагородие, спиной об рубку как треснулся — Москву увидел! И всех поразметало — кого, значит, куда. Очухался я, тут вода журчит, ребята с карачек подымаются...

«Это тогда, когда я в башне услышал, как вода плеснула»,— с холодком подумал Глеб, жадно прислушиваясь.

— Все, значит, встали, ваше высокоблагородие, оглядевшись — господин мичман под нактоузом лежат, руки раскинумши и ничком. Сперва думали — зашиблись об нактоуз. Подбегли, а у их высокоблагородия из-под головы кровь хлещет... Перевернули, значит, на спину, скричали санитаров, глядим, у их высокоблагородия заместо лица одна каша... Что-то они еще сказать хотели, какое-

то слово, но только, значит, в горле у них одно бульканье зашлось, вытянулись, дрогнули и кончились.

— Вот, сын человеческий. Судьба,— сказал штурман растерянным, коровьим каким-то голосом Глебу.— И боя еще не было, а готов человек.

— Какой ужас,— трудно выжал из себя слова Глеб.— Ведь подумайте, вечером я видел его на Екатерининской. Он ехал... ехал с женщиной...— Глеб говорил все медленней, горло сжимало.— У него были такие счастливые глаза... Он смеялся, Викентий Игнатьевич... Смеялся...

Мутная пелена поплыла перед глазами, как медленно волочащийся пороховой дым. Глеб удивился. Поднял руку и, коснувшись лица, с удивлением понял, что это слезы мешают видеть. Он отвернулся. Офицеру неприлично реветь перед матросами, но это было сильнее его, это были обыкновенные мальчишеские неудержимые слезы, которые вскипали в детстве и лились без конца от обиды или боли. И остановить их было нельзя.

«Уступите очередь... За сколько?.. Даю пять... Свинство, хотите семь?» — вспомнил Глеб последний разговор за обедом, просиявшее улыбкой детское лицо Горловского с дымным пушком стриженых юношеских усиков. Так это было еще близко, так резко выплыло из тайника памяти, что Глеб склонился на поручни и, уже не сдерживаясь, затрясся всем телом в плаче.

— Бросьте!.. Брось, сын человеческий... Все там будем по очереди. Есмы говядина, погонами украшенная. Привыкайте, мальчик.

— Ваше высокоблагородие! Глядите... глядите! — неистово вскрикнул один из сигнальщиков, перегибаясь через поручни.

Глеб выпрямился. Слезы еще дрожали на ресницах, он по-детски смахнул их тыльной стороной кисти.

В ворота рейда медленно вползал с моря миноносец. Корма его была высоко приподнята, полубак осел в воду почти до палубы. Вся носовая часть до мостика дымилась, тугими струями хлестали там шланги, душа огонь.

Из рубки вышел каперанг Коварский. Сигнальщики расступились, пропуская его к обвесу. Молчали.

— «Пущин»,— сказал наконец Коварский.— Очевидно, нарвался на «Гебена» в море.

Миноносец подходил ближе. Уже виден был весь опустившийся полубак с рваной дырой в палубе, под носовым орудием. Листы стали торчали развороченной ро-

зеткой, палуба выпучилась. На мостике дыбились остатки расщепленной обшивки штурманской будки.

Мучительно тихо скользя по воде, «Лейтенант Пущин» проходил вдоль борта «Сорока мучеников». На изуродованном мостике тесно жались офицеры.

Коварский прижал ладони рупором ко рту:

— Андрей Николаевич, с боевым крещением!.. Что у вас?

— Атаковали... С четвертого залпа — накрытие, подлец. Один — в командный кубрик, второй дал в рубку,— донеслось в ответ.

— С людьми как?

— Семь убитых, одиннадцать раненых.

Кто-то тихо и испуганно охнул рядом с Глебом. За надстройками и трубами миноносца открылась его кормовая часть. На палубе у кормового флага неподвижно лежало что-то, смутно угадываемое по очертаниям, накрытое брезентом. В нескольких местах по брезенту проступали темные пятна, как ржавчина. Часовой у флага, наклонив голову, неотрывно смотрел на брезент, и винтовка в его руках не стояла, как всегда, отвесным стеблем, а склонилась, шатаясь, набок.

Матросы на мостике «Сорока мучеников» молча крестились, провожая взглядами миноносец. Коварский снял фуражку, и Глеб торопливо сдернул свою.

Так вот оно — настоящее! Вот война! Ярко-розовая вода в ведре... «дрогнули и кончились»... старый в латках брезент... ржавые пятна на нем и страшные в неподвижности контуры.

Острое, как с размаху всаженная игла, пронзило воспоминание детства. По городу везли на свалку издохшую лошадь. Телега была накрыта таким же вот брезентом, чтобы не портить настроения обывателям. От тряски брезент сполз. Из-под него палкой торчала одеревенелая лошадиная нога, и хотя был чистый шумный летний день, эта одеревенелая нога была так страшна, что Глеб затрясся и бросился бежать к дому во всю прыть своих десяти лет. И долго потом эта нога пугала во сне.

А это на миноносце было страшней, и разве сможет он когда-нибудь забыть серую казенную мертвенность брезента и смертельную ржавчину на ней!

Механически, пустым жестом Глеб надел фуражку. Всем телом ощутил жесткий, кусающий утренний холодок. Взглянул на часы. Было пятьдесят минут восьмого.

Через десять минут предстояло заступать вахту. Нужно было одеться. Глеб сообразил, что пронизывающий холод помимо нервного состояния, оттого, что, вскакивая по тревоге, он напялил брюки на голое тело.

Он спустился с мостика и побежал в каюту. На умывание, одевание, на стакан крутого кипятку, который взбодрит и приведет чувства в норму, оставалось девять минут. Нужно было торопиться. Что бы ни случилось, флотская служба должна была идти по своему вековому ритуалу, и опоздать на вахту мог только мертвый, для живого это было преступлением.

* * *

Командующий флотом вступил на палубу флагманского корабля в ту минуту, когда, отвлеченный от бомбардировки города безнадежной атакой дозорного дивизиона, «Гебен» прекратил огонь по крепости и рейду и обрушился на атакующие миноносцы. Подбив головного «Пущина» и отбив атаку, крейсер внезапно повернул на шестнадцать румбов и вышел из района минного заграждения номер три, боевые батареи которого были наконец замкнуты в это мгновение.

Адмирал Сушон не захотел больше рисковать и бросился в море на пересечку одинокому и всеми покинутому «Пруту».

Когда над «Евстафием» взвился адмиральский флаг, бой был кончен, противник исчез из вида. Командующий упустил время командовать, и сейчас его присутствие было бесполезно и на «Евстафии» и на «Георгии».

Надеяться догнать противника в море, при двойном превосходстве его в ходе, мог только сумасшедший, и при таких условиях выход флота в море отпадал, как безнадежная фантастика, к тому же еще и опасная, так как неприятельский крейсер мог набросать за собой плавучие мины и без предварительного траления фарватера нельзя было высовываться за бон.

В сумрачном молчании начальника штаба, в опущенных глазах офицеров и матросов адмирал чувствовал презрительное осуждение.

«Старая ворона... Шляпа»,— безмолвно говорило каждое лицо.

Эбергард тяжело ходил по салону, смотря под ноги, и, путаясь в словах, вяло диктовал Плансону текст донесе-

ния в Ставку верховного главнокомандующего. Донесение требовало особо осторожного подбора выражений, а встревоженный мозг, как назло, не мог найти нужных, точных фраз.

В дверь салона осторожно просунул голову флаг-офицер, мичман Рябинин.

Голова была маленькая, как у петуха, с петушьим коком. Волосы синевато блестели, отлакированные бриолином. Никакая катастрофа не могла помешать мичману привести голову в состояние обычного лоска. Даже оторванная снарядом, она должна была бы оставаться образцом высочайше утвержденной мичманской головы для всего обер-офицерского состава.

— Ваше превосходительство,— голос флажка тянулся вязко, как стынущая патока,— начальник охраны рейдов просит экстренно принять.

Командующий остановился на полушаге. Лицо его мгновенно побурело, он поднял руку к воротнику кителя и просунул в него палец, как будто хотел разорвать стянувшую шею петлю. То, чего он больше всего страшился сейчас, надвигалось. Оно воплощалось в коренастой фигуре начальника охраны рейдов. Адмирал многое отдал бы, чтобы отдалить минуту этой встречи, но отказать было нельзя.

— Просите,— выговорил он, с трудом разжимая губы.

Взглянул на Плансона. Начальник штаба сидел, устремив глаза в блокнот с видом чрезвычайного внимания и заинтересованности текстом донесения, и командующий, поняв, зябко передернул плечами.

«Продаст... За пятак продаст»,— подумал он и беззвучно грубо выругался.

Разве мог этот исполнительный, безличный чиновник понять бурю в душе адмирала, разобраться в сложных переплетах адмиральской мысли, в трагедии, пережитой начальником!

Командующий знал: ему никогда не простят, что он допустил неприятельский крейсер разгуливать в течение десяти минут на незамкнутых минных полях. Что бы ни было дальше, это был подводный камень, на котором разбивалась его карьера. И в то же время (это было бесспорно) на его месте точно так же поступил бы любой из трехсот адмиралов русского флота.

Батареи заграждения можно было включить своевременно. Это нужно было сделать еще ночью, по получении

радио о налете турецких миноносцев на Одессу. Правда, в море оставался «Прут». Это было официальным поводом оставления батарей незамкнутыми, но настоящая причина была не в этом. «Пруту» всегда можно было сообщить о вводе заграждений и предложить до выяснения обстановки укрыться в Ялте.

Отказ от пользования минными полями вытекал из непогрешимого догмата о великолепном первородстве Российского императорского флота. Это было аксиомой, символом веры, утвердившимся под арками адмиралтейства, в грузных массивах захаровских зданий, в головах адмиралов и всего офицерского кадра.

Флот российский существует для того, чтобы поддерживать российскую армию и вести совместные с ней боевые действия?

Ересь!!! Ниспровержение вековых устоев, дерзкое посягательство на незапятнанную, как кителя его офицеров, честь флота. Армия? Сброд! Не стоящее внимания месиво ничтожных пешек. Пусть оно существует — флот согласен не замечать этого неприятного обстоятельства. Но пусть дерется само по себе, в пыли, в грязи, во вшивых дырах окопов, не оскорбляя своим соседством девственную чистоту палуб. Флот недосягаем. Кастовой порукой, частоколом традиций, печатями грамот о трехсотлетнем дворянстве флот отрезан от армии, от замухрышек, parvenus [1], кухаркиных детей.

Флот — это море, волнующие просторы океанов. Флот — это крылатый крест андреевского флага, не имеющий сходства со знаменами армии. Флот — это самовластие генмора.

Флот сражается на море, он владеет морскими просторами, и он не может считаться с армией.

Адмирал Эбергард давно забыл символ веры, который учил мальчишкой на уроках закона божьего, но символ веры флотский — помнил.

Непонятная медлительность в отдаче приказа о включении боевых батарей минного заграждения, раздражение адмирала, когда начальник охраны рейдов вторично напомнил ему об этой необходимости,— имели корни во флотском символе веры. Командующий знал, что план военных действий Черноморского флота на тысяча девятьсот четырнадцатый год — лихорадочный бред, плод пат-

---

[1] выскочек *(фр.)*.

риотического психоза, высокий самообман. Командующий знал это потому, что сам был участником составления этого плана, изготовленного в качестве валерьяновых капель для воспаленного самолюбия империи.

Но, зная, он все же верил в невероятную возможность боя «на удобной позиции вблизи Севастополя», боя, который осенит ореолом славы андреевский флаг и седеющую голову его водителя.

Адмирал верил, что он успеет вывести флот на пресловутую позицию до подхода противника. Он верил, что с кораблями, едва нагоняющими пары для четырнадцатиузлового хода, ему удастся встретить неприятеля в море.

Эта вера была нелепа, но так же крепка, как вера дикаря в божество, обитающее в деревянном чурбане.

Адмирал полагал, что противник будет учтиво ждать русский флот в море, любезно предоставляя ему возможность желанного боя у ворот своей гавани.

Но он не учел и не мог учесть неизвестных вражеской части боевого уравнения. Он судил о противнике, исходя из своей психологии, и не мог судить иначе. Непреоборимым грузом на плечах адмирала, незримо таясь между вышитыми орлами империи, лежала всосанная с корпусных дней, выпестованная в японскую войну под крылом наместника Дальнего Востока, сухопутного флотоводца, рабская пассивность тактики, отсутствие инициативы и способности к самостоятельным решениям.

Командующий слепо шел по проторенному другими пути. Он был верным учеником целой плеяды кунктаторов, чиновников, апологетов рабской философии, вся сущность которой укладывалась в лакейскую формулу «тише едешь — дальше будешь», учеником Старка, Витгефта, Ухтомского, Рейценштейна. Как и они, адмирал больше всего страшился риска. Смертная судьба единственного боевого флотоводца, кухаркиного сына — Макарова и страшный конец тихоокеанского похода только убеждали адмирала Эбергарда в непреложности девиза пассивной обороны.

И история повторилась, как фарс. В Одессе, Севастополе, Феодосии, Новороссийске в ночь на шестнадцатое октября девятьсот четырнадцатого была повторена позорная ночь Порт-Артура на двадцать седьмое января девятьсот четвертого года.

Командующий ее флотом не мог предотвратить удар, но мог отвести его от флота и крепости. Но он не захотел

этого сделать. Символ веры, аксиома флотского первородства не позволила ему этого.

Он мог, но не хотел до последней минуты включить батареи минного заграждения. Он не мог уступить высокую честь истребления врага какому-нибудь захудалому минному офицеришке, который из своей блиндированной норы нажимом электрической кнопки вырвет у андреевского флага торжественные лавры победы. На море дерется флот — и только флот имел право на уничтожение вражеского корабля. И даже если бы флот был бессилен это сделать, ничья рука не смела сделать это за него.

Адмирал Эбергард выпрямился и сурово встретил начальника охраны рейдов.

Он должен был соблюсти достоинство флота и не допустить никаких кривотолков.

Но начальник охраны рейдов был слишком взволнован, чтобы держаться в узких рамках служебного ритуала. Он выбросил залпом обжигающие слова, которые ударили адмирала в лицо, как пощечина.

— Ваше превосходительство... какое преступное упущение... Батареи включили в шесть часов сорок две минуты, а с шести двадцати трех до шести тридцати семи «Гебен» маневрировал на заграждении. Наблюдатели отметили ряд замыканий на трех магистралях... Карта курса противника...

Адмирал выпрямился еще больше. Кажется, было произнесено слово «преступление»? Кто смеет судить поступки водителя флота?

— Господин капитан,— сказал адмирал, повышая голос,— я прошу вас помнить, что за действия свои в качестве командующего флотом я отвечаю только государю. Я не давал вам права вмешиваться в мои оперативные распоряжения.

— Виноват, ваше превосходительство... я и не думал,— сразу осел начальник охраны рейдов и уже простым огорченным человеческим голосом сказал: — Но какая досада, ваше превосходительство. Ведь могли пустить на дно, как миленького.

Адмирал Эбергард пожал плечами. Первое нападение было отбито, оставалось только окончательно подавить вспышку подчиненного, ввести его в норму.

— Конечно, досадно. Но нельзя же было подвергать опасности «Прута»!

О том, что «Прут», попав под орудия немецкого крейсера, тонул в этот момент к югу от Фиолента, открыв кингстоны, командующий еще не знал.

— Так точно, ваше превосходительство,— ответил начальник охраны рейдов.

Адмирал внутренне улыбнулся. Этот ответ свидетельствовал, что взбудораженный мозг подчиненного пришел в должный порядок. Но оставалась еще одна опасность, и адмирал почувствовал неприятный холодок, проползший по спине.

— О действиях минных станций подайте подробный рапорт со сводкой всех донесений,— адмирал на мгновение запнулся,— к рапорту приложите карту маневрирования «Гебена» на магистралях. Сделайте это срочно. Можете идти.

— Есть, ваше превосходительство.

Начальник охраны рейдов поклонился. Адмирал проследил за ним глазами, пока спина в кителе не скрылась за дверью, и, облегченно вздохнув, нажал кнопку звонка. Отпустил палец и с ненавистью посмотрел на кнопку. Она напомнила ему о минной станции, о жалком офицеришке, который мог вырвать у флота лавры.

— Капитана Кетлинского! — крикнул адмирал просунувшемуся в дверь Рябинину.

Флаг-капитан немедленно явился.

— Что вы ходите с видом факельщика на похоронах? — грубо спросил Эбергард, заметив уныние на лице флаг-капитана.

— Ваше превосходительство... «Прут» пошел ко дну. Под огнем противника открыл кингстоны... Какая доблесть, ваше...

— Убирайтесь к...— резко выругался адмирал, поворачиваясь спиной к обомлевшему флаг-капитану.

Из темного угла салона, с коричневых, под кожу, обоев, наплывали на командующего черные призраки следствия, суда, лишения командования, не смываемого на всю жизнь позора. Он вздрогнул, повернулся и, подойдя вплотную к Кетлинскому, неожиданно сильно сдавил плечо флаг-капитана.

— Могу я на вас положиться, мой друг?

Флаг-капитан с удивлением услыхал ласковые ноты в сухом голосе командующего.

— Вы можете располагать мной, ваше превосходительство,— ответил он.

Адмирал оглянулся и понизил голос.

— От начальника охраны рейдов поступит рапорт. При нем будет приложена карта маневрирования «Гебена» по минному полю. Вы знаете, эта карта имеется в единственном экземпляре по условиям чрезвычайной секретной минной обороны... Возможно, придется произвести расследование сегодняшних событий,— еще тише сказал командующий,— поэтому карту нужно особо беречь. Она останется у вас, на вашу ответственность. Я надеюсь... Вы поняли?

— Понял, ваше превосходительство,— ответил флаг-капитан, отводя взгляд.— Будет исполнено, ваше превосходительство [1].

* * *

В разгар работы по исправлению разбитых осколком кильблоков вельбота боцмана Ищенко вызвали к старшему офицеру.

— Черта я ему сдался,— ругнулся Ищенко, озлобившись, что его отрывают от спешного боцманского дела.— Спокою нет... Вы, ребята, просвежитесь малость, пока я обернусь.

Предложение отдохнуть было сделано не от доброты души. Ревнивый к работе, истовый служака Ищенко не хотел, чтобы работа продолжалась в его отсутствие без хозяйственного глаза. Еще чего-нибудь наворотят, косорукие!

Но матросы отдыху обрадовались. Ищенко гнал как на пожаре. Передохнуть несколько минут и поляснячать было приятно.

Расселись тут же на рострах, под вельботом, подставляя вспотевшие спины приятно освежающему ветерку.

На рейде кипела суетня, взад и вперед носились катера и шлюпки — в одиннадцать часов командующий поднял сигнал: «Приготовиться к походу в полночь», и на всех кораблях торопились свезти на берег последние при-

[1] Исторический факт. Карта маневрирования «Гебена» на минном заграждении исчезла и следственными органами обнаружена не была. Ее удалось разыскать только в 1923 г. в пачке документов, взятых из каюты флаг-капитана Кетлинского после его смены в 1916 г. и сданных в архив как его личные (!!) документы.

веты родным и знакомым, а с берега на корабли такие же обратные приветы и недополученные боевые и съестные припасы.

Ковыряя коричневым железным ногтем распушенный конец троса, Перебийнос долго глядел на комариное мельтешение катеров по рейду. Под черными усами его ползала полная яда усмешечка.

— Бачь,— сказал он, поглядывая искоса на мостик, где виднелась фигура мичмана Алябьева.— Бачь, як забигали. Неначе, як клопы у хати, колы жинка кипятком плесне.

— Забегаешь, ежели полную мотню наклали,— отозвался рябоватый и угрюмый марсовый Смоляков.— Небось самому Эбергарду вестовые сейчас штаны стирают.

— А ему чего? — повел плечом Кострецов.— Он немец, за немца и держит.

— Тише ты, оболдуй! Одного суда мало, второго захотел?— предостерегающе сказал маленький Жуков.

Кострецов пренебрежительно скривился.

— Кто в море не бывал, тот суда не видал. Что мне суд? — в тоне Кострецова прозвучало ухарское наплевательство отпетого.— Плевал я на суд.

Но, однако, тоже взглянул на мостик и значительно понизил голос.

— Я так полагаю, братцы, что нонешнее дело, видать, заранее подстроено. Вильгельм — это не кот чихнул, хитрая стерва. Он тебе кого хочешь обойдет и пальцы откусит. За его немцы горой стоят, а у нас, куда ни обернись, всюду немцев насажено. Оттого нас и бьют повсюду за милую душу. Сами глядите: под Дубининым (так переделал для себя Кострецов Гумбинен) два корпуса народу навалили, сказывают — девяносто тысяч одних пленных германец забрал. А какие войска были?

— Какие войска... Пехота-матушка, дерьмо серое,— вставил Смоляков. Зараза флотского презрения к армии отрыгнулась в этом безапелляционном замечании.

— Сам ты... серое,— огрызнулся Кострецов.— Это тебе небось не армейские замухрыги — гвардия. У меня брат в семеновцах служит, рассказывал: что ни парень — косая сажень. На коклетах откормлены, против их германец, что жаба против вола. А как их расщелкали?

— Германец машиной дерется. У него пулеметов гибель,— хмуро вставил Жуков.

— Машина машиной,— нравоучительно прервал Кострецов,— а измена свое берет. Кто ими командовал? Господин генерал Ренненкампф.

— Брешешь, кум,— вдруг озлился Перебийнос,— а про генерала Самсонова чул? Хиба Самсонов немец?

— А ты слушай. Где генерал Самсонов? Нет его — убили. А храбрый командир был. Он немцев и бил все время. И, значит, выходило, что уже Вильгельму под задницей жарко становилось. Вот он и подослал к Ренненкампфу своих людишек: дескать, ваше превосходительство, мы из последних сил на русских вдарим, а коли генерал Самсонов от вас помощи запросит, так вы не давайте, и за то вам мильон заплатим. Вот так оно и вышло.

Жуков засмеялся.

— Враки все это,— сказал он, блеснув зубами и улыбкой.— Генерал генерала не продаст. Одним миром мазаны. А окромя того, каким это манером твой Вильгельм людей до Ренненкампфа послал?

— Через царицу,— шепотом, пригнувшись к плечу Жукова, бросил Кострецов.— Царица главная немка и есть. От ней вся пакость.

Слова были страшные. Матросы притихли.

— Вот так и у нас,— после молчания вновь заговорил Кострецов.— Невесть что в одну ночь немец наделал. И в Одессе, и в Феодосии, и в Новороссийске. И тут тоже. А много у его флота здесь? Один крейсер. У турок только корыта старые. Так вот и продают нашу кровь колбасникам. Немец немцу руку дает на полный сговор.

— Мичмана жалко,— вдруг вставил молчавший до сих пор Савкин.— Ни за что сгиб мальчишка.

Опять молодо и дерзко блеснули зубы Жукова.

— Нашел чего жалеть, сачок. Их не убудет. Нового сделают. Одна сволочь!

— Ну, это ты напрасно,— Кострецов с упреком взглянул на Жукова.— Надо тоже в людях разбираться. Одно дело командира или там ревизора бы хлопнули,— все равно что гадюку раздавили. А этот тихий был, не озверел еще. Мальчонка — пел все. Матери-то горе. Материнское сердце у всех одинаково.

Все невольно посмотрели на мостик, туда, где утром шальной осколок сборвал мальчишью жизнь мичмана Горловского, и у всех прошла одна мысль о матерях, тоскующих дома.

— Да, конешно. Мать — она мать и есть, что во дворце, что в избе. Убиваться будет,— круто вздохнул Смоляков и повернулся к Кострецову: — А насчет Вильгельма все же ты, Федька, загинаешь...

Из-за баркаса № 2 вывернулась чья-то ладная, подобранная фигура. Жуков быстро ткнул Смолякова в бок, и тот оборвал фразу.

Но Кострецов, взглянув на подходящего, ободрился.

— Ладно, ребята. Я, может, конечно, и неправильно понимать могу, а вот спросим Руха. Рух парень умственный. Рух, поди-ка сюда,— позвал он Гладковского.

Савкин испуганно посмотрел на унтер-офицерские лычки: он был первогодком и всякого сверхсрочного боялся, как крокодила.

— Что? — спросил Гладковский, останавливаясь и внимательно посмотрев на встревоженное лицо Кострецова.

— Да вот мы про себя спор имели за немца,— и Кострецов поспешно рассказал Гладковскому разговор. Гладковский улыбнулся.

— Не к месту разговор затеяли,— сказал он спокойно.— У нас хозяйки говорят, что гречневую кашу нельзя ворошить, пока не пропреет, иначе комом выйдет.

— А ты все ж объясни, Рух, как ты про это понимаешь? — попросил Кострецов.

— Нех бендзе так,— улыбнулся Гладковский.— Коротенько могу. В одном ты, пожалуй, прав.— Кострецов победоносно задрал голову.— В нашем правительстве много немцев и людей, которые к немцам тянут. Но главное не в этом, Кострецов. Ренненкампф, Самсонов — это не важно, дружище. Генералы не изменяют своим хозяевам, им это невыгодно. У генералов нет отечества, Кострецов. Генерал с немецкой фамилией будет, как верный пес, служить русскому царю, а генерал с русской — немецкому. Потому что генералу все равно, от какого царя получать чины, ордена и майонтки [1]. Генерал может изменить, когда изменой можно погубить другого генерала, который стоит ему на пути к ордену, к почести. Тогда они грызутся, как псы из-за кости, и им наплевать на всякую родину. Они ее не имеют. Так было с Ренненкампфом. Он не помог Самсонову не потому, что Вильгельм прислал ему мильон,— Вильгельм не такой дурак, чтоб бросаться

---

[1] поместья.

деньгами на глупого русского генерала, которого он и так разобьет. Он не помог Самсонову потому, что Самсонов очень лез вперед и Ренепкампф не хотел уступить ему первую очередь дойти до Берлина. Он подставил ему ножку, и в результате немцы наложили обоим. И наложат еще больше потому, что наша большая, глупая, неграмотная и нищая страна не может воевать. Пятьдесят лет тому назад немцы воевали с французами и наклали им по первое число. И один умный немец сказал, что войну эту выиграли не немецкие солдаты, а немецкий школьный учитель...

— Это как же? — спросил Жуков с загоревшимися глазами.

— А так, что в то время французы были такими же безграмотными дураками, пушечным мясом, как и мы. А немцы были образованны, и каждый немецкий нижний чин не только умел читать газету, но и мог разбираться в том, что в ней написано. И он разбирался в задачах и целях войны, а тогда эта война для Германии была войной нужной потому, что она вела к объединению Германии, к созданию немецкого государства, и выигрыш в ней нес каждому немцу улучшение жизни. Поэтому немцы и победили французов, которые дрались из-под офицерской палки, ничего не понимая в войне. Народ только тогда может победить, когда знает, за что дерется, и понимает, что кровь, которую он льет, облегчает ему жизнь. А мы деремся из-под офицерской палки и ничего не знаем... Вот ответь мне, что тебе сделали злого немцы или турки?

— Да я их и не видал,—хмуро ответил Кострецов.— Какого рожна мне с немцем делить? Он в Германии, а я в Тамбовской.

— Почему же ты идешь воевать против немца?

— А ты разве не идешь? — спросил Кострецов.

— Подожди. Ты мне на мой вопрос ответь.

— Я не дурак, чтоб в святые опять попасть или на рее повиснуть.

— Значит, ты идешь, потому что над тобой палка?...

— Зекс,— внезапно шикнул, выкатывая белки, Жуков.

От старшего офицера возвращался Ищенко, и увлеченные матросы едва не прозевали его.

— Почему без дела толчетесь? Что это за гулянки? —

как будто только что налетев на отдыхающих, крикнул Гладковский, чуть побледнев.

— Ничего... ничего, не трожь,— благодушно сказал унтер-офицеру Ищенко.— Это я им позволил, пока к старшему ходил. Устали хлопцы.

— Виноват, господин боцман... не знал. Прохожу мимо — вижу, бездельничают. Непорядок.

— Молодец,— похвалил Ищенко.— Службу знаешь. Из тебя ладный боцман выйдет.

— Покорнейше благодарю, господин боцман. Разрешите идти?

— Иди, иди,— благоволительно буркнул Ищенко.— Ну, коблы, за работу.

* * *

Когда, сдав вахту, Глеб спустился в кают-компанию, там уже завтракали.

Но вместо обычной тишины,— по светским правилам за столом разговаривали вполголоса,— уже от входа до Глеба донеслись громкие, возбужденные голоса.

Вся кают-компания обсуждала события сегодняшнего утра.

Глеб отодвинул свой стул и, садясь, взглянул на пустой напротив. Это было место Горловского. Казалось, вот сейчас он войдет, поблескивая веселыми глазами, отломает корочку хлеба и помажет горчицей — это было привычкой мичмана, уверявшего, что от горчицы разыгрывается аппетит.

Но мичман Горловский лежал уже в батарейной палубе, рядом с лазаретом, на столе, накрытый андреевским флагом. В изголовье и по бокам, желтовато мерцая язычками пламени, горели свечи, отсверкивая в гранях маленького образка, вложенного в посиневшие руки.

Четверо матросов каменели, зажимая винтовки в пальцах, а у аналоя читал псалтырь комендор Яков, сладко растягивая славянские слова. Матросы на цыпочках ходили мимо, недоуменно и хмуро косясь на прикрытую кисеей разбитую голову веселого мичмана.

Глеб отвернулся, стараясь не смотреть на пустой стул. Вяло положил на тарелку салат, вяло зажевал.

— Беленькой хотите? — спросил сбоку Спесивцев, подвигая графин.

— Нет,— Глеб даже передернулся: один вид водки вызывал отвращение.

С лейтенантского края стола доносился рубленый деревянный голос дер Моона:

— ...изучение морской истории позволяет утверждать, что подобные операции, с того момента, как плавучие средства были использованы для военных целей, и до сегодняшнего дня, носят в себе элементы полной безнаказанности для оперирующего. Быстроходный корабль, имея перед собой достаточно обширный водный бассейн, всегда, по крайней мере на первое время, будет трудноуловим...

Ревизор однообразно скрипел, как будто читал по книге или отвечал урок на репетиции. Прислушиваясь к его скрипению, Глеб случайно взглянул на Калинина, сидевшего за штурманом, ближе к командирскому концу стола. Артиллерист занимал место сейчас же после старшего офицера, несмотря на то, что Вонсович, дер Моон и минный офицер лейтенант Морошко были старшими лейтенантами. Калинин же просто лейтенантом. Но право на первое место артиллеристу давал георгиевский крест.

Вид лейтенанта обеспокоил Глеба. Худое лицо Калинина пошло белыми и зелеными пятнами, тик безостановочно рвал щеку, тонкие пальцы неврастеника играли вилкой, вертя ее. Вилка крутилась, как крылья мельницы, белесо поблескивая серебром.

Калинин пристально смотрел на ревизора и молчал.

— ...Рассуждая математически, по теории вероятности, вы имеете очень мало шансов своевременно предугадать точку, куда вам необходимо направить суда, чтобы пересечь курс противника и принудить его к бою... А особенно в наших условиях. «Гебен» имеет огромное преимущество в ходе... Да даже при наличии незначительного хода на таком просторе, как Черное море, очень затруднительно изловить корабль, отважившийся на крейсерскую операцию.

— Ну, положим,— усомнился Морошко.— Есть же возможность предусмотреть вероятнейшие объекты нападения. Если у флотоводца голова на плечах...

Кавторанг Лосев беспокойно зашевелился, спешно вытирая салфеткой жир с усов. Фраза о флотоводце, имеющем голову на плечах, могла быть намеком на командующего.

Но ревизор не дал минеру закончить опасное сравнение.

— Конечно, возможно. Помимо тактической сообразительности, может помочь удача или случай. Но это еди-

ничные факты, в общем же, как правило, крейсерские операции наиболее верные и безопасные из всех морских операций...

«Как противно говорит,— подумал Глеб.— И кому эта лекция сейчас нужна, когда все об этом знают из учебников, а рядом за стальными стенами лежит мертвый Горловский, жертва крейсерской операции и неуменья ее предотвратить».

— Я приведу вам замечательный пример...— Ревизор отправил в рот кусок бифштекса и, старательно разжевав его, проглотил, затянув паузу.— Здесь же у нас, на Черном море... Правда, это было не во время войны и не с вражеским кораблем, но это еще больше убеждает в верности основного положения.

Глеб увидел, как Калинин подвинулся к штурману и вилка еще быстрее заходила в его пальцах.

— Это было во время...— Дер Моон взглянул на возившихся у буфета вестовых и тихо сказал: — Во время этого «потемкинского» безобразия. Я тогда плавал молодым гардемарином.

— Простите, Магнус Карлович,— спросил Спесивцев, и в голосе у него забился непочтительный смешок,— а разве бывают старые гардемарины?

Ревизор даже не обернулся к дерзкому мичману.

— Я прошу вас поберечь ваши остроты для прогулки на бульваре, мичман Спесивцев,— скучно сказал он в сторону.— Так вот, нужно было как-то покончить с этим хулиганством, которое позорило флот. Несколько офицеров обратились к адмиралу Кригеру с просьбой разрешить взять миноносец, укомплектовать команду из офицеров, выйти в погоню и взорвать этот паршивый броненосец. Я упросил лейтенанта Яновича, принявшего командование «Стремительным», взять меня на миноносец. Мы вышли из Севастополя девятнадцатого июня, зная море как свои пять пальцев, зная, где матросня могла рассчитывать на хороший и где на плохой прием,— словом, находясь в наилучших и наиблагоприятнейших условиях по сравнению с противником, и все же, пробыв в кампании до двадцать пятого июня, мы «Потемкина» не поймали...

— А вы хотели его поймать?

Спросил Калинин. Спросил резко, в упор, с подчеркнутым сомнением. На мичманском конце стола разговор сразу стих, все вытянули головы к лейтенантскому краю.

— То есть я не понимаю вашего вопроса, Борис Пав-

лович,— сказал ревизор внешне спокойно и так же деревянно, но у него задрожали веки.

— Вот срезал, так срезал,— восторженно зашептал Спесивцев, нагнувшись к Глебу.— Молодец! Такую дубину расшевелил.

— Погодите,— шепнул Глеб, отмахиваясь от Спесивцева, как от мухи.

— Я, кажется, выразился чистейшим русским языком,— жестко выложил Калинин.— Думаю, понять не трудно. Меня интересует,— острая судорога исковеркала левую сторону лица артиллериста,— действительно ли вы хотели поймать броненосец?

— А кого же, вы думаете, мы хотели поймать? — спросил ревизор, краснея.

— Я полагаю,— Калинин заикнулся,— что вам меньше всего хотелось увидеться с броненосцем. А вот желание поймать орденок или высочайшую бла...

— Лейтенант Калинин...— Ревизор шумно встал. Краснота отлила с его лица — оно стало серым, как орудийная ветошка.

— К вашим услугам, лейтенант дер Моон.

— Это наглость,— сказал ревизор. Большие руки его нервно смяли салфетку.

Тогда вскочил и Калинин. Голос его зазвенел пронзительно:

— Что? Молчать!.. С кем вы разговариваете? С георгиевским кавалером. Извольте помнить!

Окрик был так резок, что ревизор невольно выпрямился.

Но уже, опрокинув рюмку, к лейтенантам тянулся всполошенный Лосев.

— Господа офицеры!.. Прошу... приказываю прекратить... Перед вестовыми... Магнус Карлович!

— Я прошу вас, Дмитрий Аркадьевич, обратить ваше приказание к лейтенанту Калинину,— сказал ревизор трясущимися губами, пытаясь овладеть собой.

Спесивцев отчаянно ущипнул Глеба выше локтя, но Глеб даже не заметил. Он не отрываясь смотрел на Калинина.

— Борис Павлович,— умолял Лосев, выкарабкиваясь из-за стола,— в кают-компании... во время войны...

Но Калинин, казалось, не слышал и не видел старшего офицера. Он сверлил глазами ревизора — вот-вот ударит. Но неожиданно скверно засмеялся и с презрением сказал:

— «Потемкина» вы, уважаемый, не поймали, а вот в Феодосии солдатский триппер подцепили от благодарного женского населения.

Ревизор рванулся. Офицеры вскочили. Вонсович схватил дер Моона за локти. Лосев метался между ними, кружась, как подшибленный палкой пес, и воющим голосом требовал прекратить ссору. Вестовые, застыв у буфета, двусмысленно кривились.

— Я так этого не оставлю!.. Я рапорт подам!.. Если он сумасшедший — уберите его с корабля! — кричал ревизор, вырываясь из рук штурмана, но Вонсович волочился за ним, как борзая, севшая на волка.

— Господа...

Все оглянулись. Голос тихий, но отчетливый, привлек внимание всех.

— Господа,— лейтенант Ливенцов поднял руку,— вспомните, что рядом за стеной — член нашей семьи, павший сегодня смертью солдата. Нельзя ли тише?

Офицеры переглянулись. И Калинин, дернув головой, как от удара, сказал:

— Простите, Лев Григорьевич. Спасибо, что напомнили.

Он сел, опустив глаза. Ревизор несколько секунд постоял на месте, потом пожал плечами и, несгибающийся, прямой, как стеньга, широким шагом вышел из кают-компании. Офицеры молчали.

— Борис Павлович,— сказал успокоившийся Лосев, принимая официальный тон,— я все же прошу вас сдерживать ваши нервы. Мы здесь все-таки одна семья офицеров, бог знает сколько времени придется прожить вместе, а такие казусы совершенно разрушат мир в кают-компании. Теперь ведь целая история выйдет. Магнус Карлович рапорт подаст. Ведь вы его тяжело оскорбили.

— Прошу извинения, Дмитрий Аркадьевич,— заскучав, отозвался Калинин,— больше не буду. Вы имеете резон, не стоило оскорблять.

Он тщательно сложил салфетку и вышел. Завтрак кончился в подавленной тишине. Мичмана молчали, как убитые, зная по опыту, что сейчас болтать опасно. Лосев, не рисковавший слишком резко разговаривать с лейтенантами, в таких случаях имел обыкновение срывать досаду на младших.

Покурив на диване, Глеб отправился соснуть. Проходя коридором, увидел, что в каюте Калинина дверь приот-

крыта. Внутри был свет. Глеб невольно замедлил шаги. В боковом зеркале умывальника отражалась часть каюты, закрытая дверью. У стола, склонившись на руки, сидел Калинин и ритмически раскачивался, зажимая ладонями лицо, как делают при невыносимой физической боли. Это было так страшно и вызвало у Глеба такую острую жалость к лейтенанту, что, рискуя быть выгнанным из каюты, он постучал.

— Кто? — донесся окрик Калинина, и Глеб увидел в зеркале, как вскочил артиллерист.

— Это я, Борис Павлович. Простите, пожалуйста, что не вовремя. У вас, кажется, есть Пушкин. Мне что-то захотелось перечесть «Пиковую даму».

— Войдите,— сказал Калинин, впуская Глеба и запирая дверь. Глаза у него были потухшие и пустые. Он снял с полки томик Пушкина и протянул Глебу. Глеб поблагодарил и неловко стоял, не решаясь уйти. Калинин взглянул на гостя и рассмеялся.

— А зачем вы, милый юноша, врете, что вам хочется читать «Пиковую даму»?

— Борис Павлович...

— Да вы не смущайтесь. Сознайтесь, что зашли посмотреть, не вовсе ли я сошел с ума?

Глеб растерянно молчал. Калинин взял его за руку и усадил в кресло.

— Милый вы мальчишка! И за каким чертом только вас понесло во флот! Могли бы быть хорошим человеком, полезным человеком, а теперь пропадете ни за грош.

— Почему? — удивился Глеб.— Разве во флоте я не смогу быть полезным?

— Бросьте,— Калинин болезненно скривился,— чепуха! Кому и чему можно быть полезным здесь!.. Я понимаю, что я продолжаю тянуть лямку с отчаяния — мне уже поздно начинать сначала и некуда деваться, мне уже тридцать лет... В ваши годы можно еще надеяться что-то переделать, что-то изменить, вообще перевернуть землю. Но тут эти надежды напрасны, они засохнут, как дерево без поливки. Тут, мой юный друг, царство рутины, тупоумия, бездарности и бесчестия, рай для болванов и холуев, вроде дер Моона. Над этими кораблями надо повесить украденную из Дантова ада доску с надписью: «Оставь надежду всяк сюда входящий»... Вот!

— Вы расстроены и огорчены, Борис Павлович,— осторожно возразил Глеб,— и поэтому преувеличиваете.

Он ждал вспышки, но артиллерист только бледно улыбнулся.

— Нет, я уже совершенно спокоен и сам ненавижу себя за свою выходку за завтраком. Это отрыжка моих прежних розовых мечтаний о великой России, о настоящем флоте, который эту Россию должен защищать, о настоящих офицерах, которые будут командовать этим флотом. Бойтесь этих мечтаний, гоните их в шею. Этого флота нет и не будет, этих офицеров тоже нет, и, кажется, самой России тоже нет. Той России, которую мы узнали с пеленок и которая выдумана кем-то для сладкой отравы наших неустойчивых душ. Ее нет, мичман Алябьев. Есть какая-то другая Россия, которая для нас закрытая книга, в которую нас не пускают и не пустят. А от нашей России остались только погремушки, объедки, жалкий островок, на котором сосредоточена вся российская мерзость — взяточничество, нравственное растление, гнусь, гниль, помойка, прикрытая сверху позументами, галунами, побрякушками.

«У него заскок на этом пункте»,— подумал Глеб, вспомнив, что почти то же Калинин говорил ему в вечер их встречи на бульваре.

— Да,— продолжал лейтенант,— мне иногда становится не по себе. Я чувствую, как под ногами качается ненадежная и дрянная почвишка этого островка. Вот-вот он скувырнется — и я слечу в какое-то неизвестное море. Оно чужое — я не понимаю его, и оно не захочет меня. К берегу я доплыть не смогу, и большинство из нас не доплывет, мы пойдем на дно этого моря и будем плавать там вонючими безглазыми трупами в неподвижной, воняющей сероводородом и клозетом жиже.

— Борис Павлович, не нужно,— сказал Глеб, передернув плечами.— К чему такие черные думы?

— Милый мой, привыкайте. После нашего черного прошлого у нас еще более черное будущее. В нем темно, как у негра... На что мы можем надеяться, когда нас ничто и ничему не может научить... Черт возьми! — Калинин нервно топнул ногой в линолеум каютного пола.— Черт возьми, разве это не позорнейшее из зрелищ: через десять лет после страшного военного разгрома влезть в новую войну, ничего не вынеся из опыта старой. Какая гадость!.. Какое омерзение!.. Ввиду небывалого успеха у почтеннейшей публики, антреприза морской труппы Российской империи по случаю десятилетнего юбилея восста-

навливает полностью феерию «Ночь в Порт-Артуре»... Декорации обновлены...— Голос лейтенанта пошел кверху, на высокий визг и стал рваться.— Приглашены новые исполнители, но для сохранения преемственности постановкой руководит почтенный артист морского штаба господин Эбергард, с успехом исполнявший роль флаг-капитана в порт-артурской постановке. По ходу действия внезапные налеты неприятельских судов, потопление русских кораблей со световыми и звуковыми эффектами... Начало в полночь... Цены обыкновенные. Участники наполовину идиоты, наполовину мерзавцы...

— Но ведь мы тоже участники, Борис Павлович,— сказал Глеб, надеясь шуткой успокоить лейтенанта.

— Вы — идиот,— с грубой прямотой резнул Калинин.— Что же касается меня, я не совсем уясняю свою принадлежность. Я не идиот потому, что понимаю омерзительность всего, но, пожалуй, и не мерзавец, потому что болею, смотря на этот кабак. Я, очевидно, та размягченная субстанция, которая плавает в проруби от края к краю и никуда не может пристать. Печально, но факт. А кроме того, что я могу сделать? Я не знаю, как бороться. Я не знаю, как можно отстоять наш островок... Да нет, его и отстаивать не стоит. Я хочу жизнь отдать за Россию Карамзина и Ключевского. За Россию, которая сто лет назад принесла миру освобождение от генеральского сапога Бонапарта, за Россию декабристов.

Глеб осторожно взглянул на дверь каюты, но она была плотно прикрыта и заперта, а пробковая изоляция между стенками надежна.

— Но, понимаете, мичман? Эту Россию украл черт, как у Гоголя черт крадет месяц в рождественскую ночь. И наша с вами Россия болтается в мешке, где-то у черта под хвостом. А вместо нее нам подсунули оборотня.

— Ну, хорошо, Борис Павлович. Где же тогда выход?

— Где выход? Черта с два я отвечу вам, где выход. Я этого не знаю. И вы не знаете. Это знают какие-то другие силы, нам неизвестные. Может быть, это знают строфокамилы, недаром у них последние годы такой загадочно-философский вид. Возможно, что они знают выход, и, наверное, здоровый выход, поскольку они сами здоровы. Но только не радуйтесь,— если они до этого выхода доберутся — нам от этого не поздоровится. Они-то сами выберутся на воздух, а нас прихлопнут чугунной крышкой и за все наши благодеяния устроят нам такую жару,

что небо с овчинку покажется. И будут правы... И по заслугам. И, может быть, они вернут к жизни настоящую Россию, конечно, под каким-нибудь другим соусом. Одно досадно,— Калинин жалко улыбнулся,— когда они до этого исхода дорвутся, они ни правых, ни виноватых разбирать не будут, а начисто выстригут все, что носит вот эти погончики,— под номер два нуля... Жалко! Все-таки в каждом бедламе есть праведники, но уж нашим строфокамилам в этом не разбираться. Им наши погончики и мы сами вот где сидим,— лейтенант резанул рукой по горлу.

— Вы прямо накликаете беду,— начал Глеб, но осекся. В дверь осторожно постучали. Стук был явно матросский. Глеб нерешительно поглядел на лейтенанта.

— Не бойтесь,— нервно расхохотался Калинин,— это пока еще не строфокамилы. То есть наверняка строфокамил, но в единственном числе и за мирной надобностью.

Он открыл дверь. За дверью, преданно уставив глаза на лейтенанта, вытянулся рыжий вестовой старшего офицера, носивший кличку «Пудель». Шепелявя и отворачивая рот в сторону, чтобы случайно не брызнуть на китель слюной, Пудель выпалил:

— Не обессудьте, вашскобродь, как господин кавторанг приказали найтить мичмана Алябьева и как вестовые кают-компанские сказали...

— Не мямли, курослеп,— сказал Калинин.— В чем дело?

Но Пудель уже увидел за спиной Калинина разыскиваемого мичмана и, просовывая голову в каюту, зачастил:

— Вашскобродь, разрешите доложить, что по случаю похода приказано нонче же похоронить их покойное высокоблагородие мичмана Горловского и, как нужно их проводить в место успокоения с почестями, то господин старший офицер назначили вашскобродь в наряд для отдания почестей с полуротой. Так что, вашскобродь, через двадцать минут их высокоблагородие выносят на катер.

— Почему я? — спросил Глеб, неприятно пораженный новостью.

— Не могу знать, вашскобродь. Господин старший офицер говорили, что требовается послать справного офицера, вашскобродь, чтоб, значит, наружно себя вполне оказал...

— Пошел вон, строфокамил! — сказал Калинин и захохотал.— Ну, милый друг, собирайтесь оказывать себя наружно.

* * *

По распоряжению командования мичмана Горловского и семерых нижних чинов, убитых в лихой, но бессмысленной дневной атаке четвертого дивизиона на линейный крейсер, должны были похоронить в общей братской могиле.

В этом был высокий патриотический смысл. В этом была разумная историческая традиция. Это было необходимо.

Личный состав флота, все его пять тысяч офицеров и пятьдесят тысяч матросов знали и видели охраняемую инвалидным сторожем на плешивой маковке Малахова кургана белую мраморную колонку в нищей зелени запудренных пылью туй.

Под колонкой сухая, как порох, севастопольская земля берегла останки десяти тысяч французских и русских мужиков. Полвека назад три тысячи русских крестьян, одетых в грубохолстинные флотские штаны и куртки, отбивая беспрерывный поток штурма, уложили свинцом и чугуном на склонах холма семь тысяч французских крестьян в синих шинелях и красных шароварах и легли сами, сломленные штыками атакующих.

Русский и французский императоры и их правительства приказали этим крестьянам стать врагами и бить друг друга. Смерть прекратила эту навязанную сверху вражду. Русская земля одинаково гостеприимно приняла в свои недра простреленных бретонцев и заколотых штыками рязанцев.

А правительства России и Франции, использовав для своих целей эти недорогие и несложные жизни, великодушно почтили своих примиренных смертью солдат патетическим четверостишием, врезанным в мрамор памятника:

Unis par la victoire,
Réunis par la mort!
Du soldat c'est la gloire,
Du brave c'est le sort [1].

---

[1] Объединенные победой,
Соединенные смертью!
Это солдата слава,
Это храброго судьба *(фр.)*.

Эта циничная игра трещащих рифм была признана образцом высокой надгробной поэзии. Ее помещали в учебниках, ее заучивали адмиралы и гардемарины, чтобы при случае програссировать торжественное журчание французского стиха. И эту же надпись сосредоточенно и хмуро разглядывали гулявшие на Малаховом матросы. Легкий и изящный частокольчик латинского шрифта, не поддающийся прочтению, глухой враждой злобил матросские сердца.

Не умея расшифровать смысл надписи, они инстинктом чувствовали в воздушном изяществе мрамора и шрифта какую-то ложь, какую-то легкомысленную издевку над темной и неуклюжей матросской жизнью. Дряхлому сторожу не раз приводилось с ворчаньем счищать с искристой поверхности мрамора прилипшие глинистые комки, следы внезапно вспыхнувшей неизъяснимой матросской ненависти.

Матросы и офицеры Российского императорского флота были врагами. Врагами бо́льшими, чем русские матросы и французские зуавы полстолетия назад. Они были врагами не по приказу правительства, а вопреки его желаниям — врагами по крови, по мыслям, по убеждению. Эту вражду не могла прекратить даже смерть. Это была не вражда личностей, а ненависть класса к классу.

Тем более нужно было командованию показать на первых похоронах жертв первого боя подлинное горячее братство офицеров и матросов, их крепкое единение в равной смертной судьбе героев, павших за родину на поле чести. В этом было призрачное самоутешение командования. И этим же бросалась психологическая подачка матросской массе. Люди, никогда не могшие при жизни стать рядом, ложились в могилу как братья, как равные. Их забрасывали одними и теми же цветами, засыпали одной и той же сухой севастопольской землей.

Это было прекрасно. Это было мудро. Это звучало как стихи:

Réunis par la mort!

«Réunis par la mort» — потомственные дворяне, собственники тысяч десятин русской земли и пейзане в форменках, земельный надел которых был не больше места, занимаемого ими в могиле,— лежали рядом как братья.

Кто посмел бы сказать, что империя делает различие

между своими верными сынами, за отечество «живот свой положившими»?

Тело мичмана Горловского в металлическом гробу с золочеными ручками опускалось по трапу в катер в раздирающем томлении траурного марша, в сверкании штыков выстроенного на верхней палубе караула.

Святыня русского флота, андреевский флаг был приспущен до половины флагштока. Даже он склонялся перед прахом героя.

И на «Лейтенанте Пущине», где в катера спускали семь строганых деревянных гробов, тоже томительно пели трубы оркестра, блестели штыки и печально ник к воде синий крест.

Равные почести отдавались храбрым — их уравняла смерть.

«Pro patria mori» [1]. В этом было что-то от древней, сказочной римской доблести. И, взволнованный высокой печалью, старший офицер с влажными глазами подошел к корабельному священнику отцу Никодиму, осенявшему крестным напутствием медленно сползающий по трапу гроб.

Старший офицер взял отца Никодима под руку и озабоченно сказал вполголоса:

— Батя, вы уж приглядите, пожалуйста. Нужно, чтобы гроб Всеволода Васильевича не бухнули в середину могилы, а поместили с краешку. Все равно за телом приедут родные — придется разрывать. Так чтоб не копаться в вони, а сразу вынуть.

— Разумею, Дмитрий Аркадьевич. Погребем убиенного одесную матросиков,— елейно отозвался пастырь флотских душ.— Сродственникам-то извещение послали?

— Телеграфировали,— коротко бросил Лосев и крикнул вниз на трап, нарушая торжественность минуты: — Крючковой! куда крючком тычешь? Боцман, запиши,— на два часа под винтовку.

Никакое волнение или жалость не могут служить оправданием неловкому тыканью крюком в медную оковку ступеней трапа, иначе что же станется с прекрасной налаженностью флотской службы? Восстановив нарушенный порядок, Лосев вновь сказал священнику:

— Не тяните только канители, отец Никодим, с похоронами. К ночи поход — люди нужны для аврала.

---

[1] Умереть за родину *(лат.)*.

— Я что ж, я бы быстренько обтяпал,— робко сказал поп,— да ведь я не один, Дмитрий Аркадьевич. Все духовенство соборне погребает героев наших. Нехорошо нарушить чин благолепия.

— Ну вас к кобыле с благолепием,— ругнулся старший офицер.— У меня каждый человек на вес золота, а я должен в ваше благолепие целую полуроту загнать. Подтолкните там ваше духовенство в загривок.

— Ох, Дмитрий Аркадьевич, накрутят вам черти на том свете за эти словеса,— уныло сказал пастырь, но, увидя вздыбившиеся усы старшего офицера, торопливо прибавил: — Уж я постараюсь.

Он вздохнул и подавил зевок. С полуночи, когда получились первые тревожные известия, отец Никодим не спал. Он смертельно боялся войны, вычитав в истории цусимского похода про внезапную смерть корабельного священника «Авроры», разорванного в каюте во время сна своим же снарядом, всаженным в крейсер в минуты беспорядочной стрельбы на Доггер-банке. Ему все казалось, что его ждет такой же страшный и внезапный конец, и отец Никодим втайне мучился поздним раскаянием, что, соблазненный сытой жизнью и почетом, он бросил монастырь для корабля.

— Полезайте, отец Никодим,— сказал Лосев, когда гроб установили на катере.

Отец Никодим вздохнул еще раз и полез вниз, придерживаясь за фалреп.

У колоннады Графской пристани во взбудораженной тишине жадно толпился весь Севастополь. Любопытный, шумливый, легко возбуждающийся южный город, бросив все дела, ринулся на похороны моряков, как на страшный, но неодолимо притягательный спектакль.

Толпа стояла молча, но по ней ходила рябь нервной дрожи, шорох тяжелого дыхания сотен стиснутых волнением глоток, сдавленные взвизги женщин.

Пустырь Нахимовской площади с сутуло высящейся над ней фигурой адмирала отгораживала от толпы черносиняя ровная стена взводов и полурот, высланных на похороны от кораблей и экипажей.

Льдисто переливалась под осенним солнцем парча священнических риз, и зябкая ткань ладанного дымка, разрываясь, тянулась над площадью.

В тяжкой тишине плеснули о приклады взятых «на караул» винтовок матросские руки.

Высоко поднятые гробы на плечах несущих, качаясь, как корабли, поплыли над толпой в невозвратный рейс.

Вдоль замершего фронта полуроты «Сорока мучеников» прошли они грозным строем кильватера, уходя в узкое русло улицы, ведомые серебристо поблескивающим офицерским гробом, как флагманом.

Глеб забвенно уставился на тронутые смертельной зеленоватой белизной лица, на задранные алебастровые носы, слипшиеся синие губы. Было в них холодящее предупреждение, давящая тень обреченности.

— Мичман!.. Мичман!.. Ведите же часть.

Перед глазами метнулось распаренное красное лицо, полковничьи погоны. Глеб очнулся. Гробы уплывали, колеблясь. Полурота стояла, закаменев. Живые лица матросов были тронуты той же смертельной зеленью, что и у уплывающих в последнее плаванье.

— На плечо! Справа по отделениям... Левое плечо вперед. Полурота... шагом марш.

Ряды колыхнулись, ожили. Железные слова команды успокоили, вернули всему живую, плотскую реальность. Глеб увидел знакомые, обычные лица. На фланге первого отделения промелькнула аккуратная, как всегда подтянутая, фигура Гладковского.

Ритмичный топот матросских ног по мостовой ударил в уши пленительной музыкой жизни.

«Жив... жив... жив...»

Короткое это слово, почти ощутимое физически в горячей своей волнительности, билось в мозг, как отсчеты маршевого ритма:

«Раз... жив... два... жив...»

Разве были когда-нибудь эти нелепые мальчишеские мечты о геройской гибели на уходящей в воду палубе, под разодранным сталью косым крестом флага? Мечты о мерцающем золоте букв на мраморных досках корпусной церкви, венках с георгиевскими лентами? О волнующем ореоле славного боевого конца?

«Жив... жив».

Да. Только жить. Только жить и дышать колкой свежестью вот этого хрустального осеннего вечера. Лишь бы не было страшного качанья уплывающих в улицы тихих длинных ящиков. Только бы не было этих ввалившихся глазниц, этого непереносимого молчания почерневших губ.

Жить! Не нужно никакой славы. Жить безвестным,

неведомым, безымянным, но слышать удары сердца, тугой ток крови по жилам, впивать здоровый ритм молодого, крепкого тела, игру мускулов. Видеть солнце, небо, робкие иголки травинок в обочинах мостовой, любимые глаза, крошечные веснушки на смуглых щеках, дрожанье ресниц.

Жизнь!

«Раз... два... левой... левой».

«Да, это я, живой, молодой, иду, и это мои ноги отбивают такт шага по звенящему камню. Левой! Левой! Крепче! Я хочу жить, и эти сто двадцать за моей спиной тоже хотят жить, видеть небо, любить, тосковать, смеяться, петь песни. Раз... два... Посмертная слава? Геройство? Память потомства? Какая глупость! Утешение или игрушка для живых. А для мертвых? Для Горловского и этих семерых? Яма с осыпающимися комьями земли, черная пропасть безмолвия и неподвижности. И это навеки... навсегда. Левой! Левой!»

Глеб оглянулся на матросов. Ряды шли, неровно покачиваясь. В них не было полноты жизни, ее могучего ощущения. Надо было вернуть им его.

— Дать ногу... Раз... два... левой!

Голос прозвенел неприлично бравурно. В нем прорвалась буйная жизненная радость, внезапно захлестнувшая Глеба. С тротуаров, забитых толпой, негодующе укоризненно оглянулись на веселого мичмана женщины.

* * *

С кладбища полуроту увел на пристань фельдфебель Горчак. Глеб, получивший разрешение Лосева пробыть в городе до восьми вечера, одиноко побрел тихими улочками, по которым расходились с похорон севастопольцы. Он вышел на гору, к старой церкви, выстроенной в стиле дорического храма, поглядел на вечереющую бухту, огоньки судов, на зеленую звезду, холодно мерцавшую над высотами Инкермана.

Одиночество начинало становиться томительным; в этот вечер, после всех событий дня, хотелось комнатного тепла, света, разговора, и Глеб вспомнил о Штернгейме.

С того первого севастопольского дня он ни разу не был у милого и забавного горбуна,— на берег попадать приходилось редко, и в эти редкие дни он либо бродил за городом, либо болтался с мичманской компанией в морском собрании.

Узеньким трапиком Глеб спустился на Чесменскую. Улыбнулся, увидев на двери уже знакомую, ошарашившую его в первый раз табличку доктора, нажал на вороний клюв. Глухое карканье донеслось из квартиры.

— Здравствуйте, Марфуша. Дома Мирон Михайлович?

Девушка ухмыльнулась, узнав мичмана, которого она приняла в первый раз за больного, и поздоровалась с ним, как со старым другом.

— Здравствуйте, паныч. Дома, дома, он на своей половине — идите прямо.

Глеб двинулся по коридору. Мягкий половик заглушал шаги. Подойдя к двери, указанной Марфушей, Глеб услыхал голоса. Видимо, у доктора кто-то был. Глеб задержался на мгновенье.

— Это не игра,— сказал за дверью голос доктора Штернгейма,— с вашей торопливостью вы устроите крыловский квартет. Нарастание должно быть постепенным, иначе вы сорвете всю музыку.

— Было бы что срывать,— ответил другой голос, глуховатый и низкий,— а вашей музыки не жалко.

«Странно,— подумал Глеб,— нашли время спорить о музыке, когда рядом война».

Он постучал. За дверью замолчали. Кто-то встал. Резко скрипнул по полу отодвинутый стул.

— Войдите,— голос Штернгейма прозвучал удивленно и словно тревожно. Глеб распахнул дверь.

— Может быть, я не вовремя, Мирон Михайлович?

Но уже рыжебородый кобольд, подбежав, тряс руку мичмана.

— Что вы, что вы, Глеб Николаевич. Наоборот, очень рад. Куда вы пропали? Я уж думал — вас в Севастополе нет.

— Невозможно было вырваться,— сказал Глеб.— А так — куда же деваться казенному флотскому имуществу,— пошутил Глеб.

Не выпуская руки мичмана, Штернгейм подвел его к своему собеседнику.

Еще на пороге комнаты Глеб заметил у книжного шкафа узкоплечего, сутулого человека. Дешевенький серый пиджачный костюм болтался на нем мешком, выпятившиеся колени брюк свисали, как коровье вымя. Прядь льняных волос никла на выпуклый, круглый лоб.

— Познакомьтесь,— сказал Штернгейм,— мичман Алябьев.

Из-под белесых ресниц взглянули на Глеба глаза незнакомца. Они были умны, насмешливы, золотисты, красили незаметное лицо. В их буравящем взгляде была большая внутренняя сила, упрямая воля, независимость.

Выслушав представление Штернгейма, незнакомец усмехнулся.

— Тищенко... Антон... не имеющий чина,— отрывисто сказал он, протягивая Глебу руку.

Рука была костлява, суха, с жесткой кожей,— Глебу показалось, что по его ладони прошлись наждачной бумагой. Пальцы этой руки, видимо, обладали железной хваткой: несмотря на то, что Глеб был довольно силен, кисть его была легко смята этим рукопожатием.

Глеб с любопытством взглянул на Тищенко. Он показался ему занятным.

— Антон — чудак... Он очень горд, что не имеет чина,— вставил Штернгейм, суетясь и припрыгивая около. В этой суетливости было что-то похожее на смущение.

— Вы тоже врач? — спросил Глеб у Тищенко.

Но тот не успел ответить, предупрежденный Штернгеймом.

— О нет... Антон... тоже музыкант. Нашего поля ягода.

«Странно,— подумал Глеб,— по его руке я скорей был предположил, что он слесарь или кузнец».

— Да, я музыкант. Люблю громкую музыку, за исключением военных оркестров,— подтвердил Тищенко с той же усмешкой. Было похоже, что он издевается — то ли над собой, то ли над собеседниками.

— Вы пианист? — заинтересовался Глеб.

— Как вам сказать... иногда и пианист. Но больше композитор и музыкальный критик.

И опять нельзя было понять, шутит этот человек или говорит серьезно. Это начало раздражать Глеба. Он в упор посмотрел на Тищенко, но умные зрачки спокойно выдержали взгляд мичмана.

— Я не признаю игры Мирона. Это безнадежный дилетант и старая дева, отставшая от современных веяний в музыке,— сказал Тищенко уже без усмешки.— Мы смертельно ругаемся.

— То-то я слышал, подходя к дверям, как вы бранили Мирона Михайловича. Я даже удивился. Сегодня, мне кажется, Севастополю не до музыки.

— Что вы? Наоборот,— засмеялся Тищенко.— От та-

ких происшествий только и остается заиграть в четыре руки. Не правда ли, Мирон?

Глеб прищурился. Уж не вызывающий ли это намек на ночное позорище флота?

Но Штернгейм вдруг прекратил свое топтанье по комнате и расхохотался.

— Конечно, мы с Глебом Николаевичем обязательно помузицируем, но вас я лишаю удовольствия послушать за ваши дерзости.

— Невелико наказание,— ответил Тищенко,— я и так уйду. Вы знаете, я не слишком ценю камерные концерты. До свиданья, мичман.

Глеб поклонился. Тищенко вышел, сопровождаемый Штернгеймом. Глеб раздумчиво поглядел вслед. Было в этом странном знакомом Штернгейма что-то неразгаданное, недоговоренное, беспокоящее.

Штернгейм, проводив гостя, вернулся. Непонятная суетливость его, поразившая Глеба, сменилась задумчивостью. Он молча постоял несколько секунд, барабаня пальцами по столу.

— Я вижу все-таки,— начал Глеб,— что попал к вам в неудачную минуту.

Штернгейм как будто проснулся.

— Оставьте, Глеб Николаевич,— вы меня обижаете. Вы всегда желанный гость. Просто я сегодня раскис... Хотите, в самом деле сыграем что-нибудь вместе.

— Спасибо, Мирон Михайлович, но через час я уже должен быть на корабле. А кроме того, я тоже раскис. Я только что похоронил сослуживца.

— Ах да,— всполохнулся Штернгейм.— Ради бога, простите. Я совсем упустил из виду. Ну, просто посидим. Хотите чаю? Кофе?

— Спасибо. Ничего не хочу. Мне приятно провести у вас этот час, в тишине, уюте, на твердой земле.

Штернгейм опустил крышку рояля, которую приподнял было, приглашая Глеба играть. Звук какой-то струны прошелестел по комнате нежно и долго.

— Я проснулся сегодня от рева орудий,— сказал Штернгейм, зябко поведя плечами.— Это было так внезапно, неожиданно, чудовищно.

— Для вас неожиданно, согласен,— зло перебил Глеб,— а для нас это не должно было быть неожиданным, а оказалось...

Штернгейм бросил косой быстрый взгляд на Глеба.

— Да, в городе говорят разное... А впрочем, кто же мог знать. «Не весте убо ни дня ни часа, в онь же приидe сын человеческий».

— Ерунда,— вскипел Глеб,— что годится для Писания, то ни к черту во флоте. Если бы командовал адмирал, а не старый суслик, мы могли бы встретить налет как следует, и «Гебен» сейчас плавал бы на дне, вверх килем. Я бы весь этот штаб с хлюстами и моментами в гальюне утопил.

Штернгейм вскинул голову и весело сверкнул глазами.

— Милый Глеб Николаевич, что за иеремиада?

— Иеремиада! Еще бы. Завтра вся Россия в нас пальцами тыкать будет. Не успев выстрелить, потеряли канонерку и лучший заградитель.

Доктор загреб рукой бороду и засунул ее конец в рот.

— Вот как? Припадок честного самосечения?

— А что вы думаете,— я должен во что бы то ни стало защищать честь мундира вопреки здравому смыслу? Знаете, как говорят французы: «La plus belle fille ne peut donner plus qu'elle a» [1]. Не могу же я говорить, что черное есть белое. У меня сейчас все нервы дергаются от злости.

Штернгейм помолчал. Потом придвинул вплотную свой стул и положил на колено Глеба маленькую длиннопалую руку.

— Это отлично, что вы пришли сегодня ко мне... Это замечательно... очень хорошо, что вы расстроены...

— Спасибо,— засмеялся Глеб.

— Нет. Это в самом деле отлично. Но...— Штернгейм остановился.

— Что «но»? — запальчиво спросил Глеб. Он все больше взвинчивался, сам не понимая — почему.

— Но неужели вы думали, что флот в самом деле может предупредить внезапное нападение, что сегодняшний неудачный бой может иметь другой, более приличный результат?

— То есть? Что вы хотите сказать? — Глеб недоуменно уставился на горбуна.

— А видите ли, дорогой Глеб Николаевич. Я не знаю, захотите ли вы меня выслушать или встанете и уйдете и перестанете здороваться со мной на улице, но посколь-

---

[1] Самая красивая девушка не может дать больше того, что у нее есть *(фр.)*.

ку вы сами начали разговор о печальных происшествиях нынешнего утра, должен вам сказать со всей прямотой, что я их ждал и предвидел в большей степени, чем ваш адмирал Эбергард или ваш штаб.

— Вы? — Глеб даже попятился от доктора вместе со стулом.

— Удивляетесь? — Кобольд тоненько засмеялся.— Ну да, ждал и предвидел. И это не потому, что у меня какой-нибудь скрытый военный гений, и не потому, что я, скажем, полковник германского генерального штаба. Нет, я человек глубоко штатский, шляпа, «шпак», чему свидетельство мой горб. Но, милый Глеб Николаевич, чтобы предвидеть военные события, сейчас мало быть военным. Надо быть политиком. Кто-то из великих стратегов Российской империи учил, что «офицер не должен быть политиком». Так вот — эту священную заповедь нужно выбросить на помойку.

— Здорово,— насмешливо сказал Глеб.

— Здорово или не здорово, а правильно. Я думаю, что вы многого не знаете. Государство готовило вас к определенной роли, по своему рецепту. Из вас нужно было сделать, по мере возможности, идеальный военный механизм. По понятиям Российской империи, этот механизм должен как можно меньше интересоваться тем, что выходит за пределы узкой специфики его функций.

— Хотя это и очень туманно,— усмехнулся Глеб,— но все же я понимаю, что это не комплимент.

— Совершенно верно, дорогой Глеб Николаевич. Но, избави боже, я меньше всего хочу вас упрекнуть в чем бы то ни было. Вы делали то, что вам позволяли делать, и узнавали только то, что вам разрешали узнавать. Это русский всеобщий грех. «Мы ленивы и нелюбопытны» — это заметил еще Пушкин.

— Допустим,— мрачно сказал Глеб.— Что дальше?

— А дальше вот что. То, что вы считаете позором и что наполняет естественным негодованием ваше сердце военного моряка,— это нормальное следствие весьма многих причин и в основном государственного строя. Он очень тяжело болен, этот строй. Он не может больше держаться на одном уровне с более здоровыми и жизнеспособными государственными организмами. Он разрушается... Вы, кажется, видели в моей приемной нравоучительные картинки для моих пациентов? — неожиданно сказал Штернгейм.

— Видел,— бросил Глеб, передернувшись от отвращения при воспоминании о клинических снимках.

— Отлично... Простите грубое сравнение — российская монархия в теперешнем состоянии во многом напоминает эти картинки.

— За такие сравнения я недавно поссорился на всю жизнь с другом детства,— холодно сказал Глеб,— и я думаю, что офицеру флота в военное время сравнивать свою страну с такими вещами неуместно.

— Вот видите,— ответил доктор, криво улыбнувшись,— я же говорил, что вы встанете и уйдете и перестанете кланяться мне на улице...

— Я охотно буду вас слушать, если вы избежите резкостей,— сказал Глеб.— Я думаю, вы правы, утверждая, что я многого не знаю.

— Мне будет трудно удерживаться от резкостей... Может быть, перейдем лучше на разговор о музыке? — предложил Штернгейм с явной иронией.

Глеб вспыхнул.

— Вы думаете, что я неспособен к разговору на серьезную тему, Мирон Михайлович?

— Нет... Не думаю, что неспособны, но думаю, что непривычны... Хорошо, я постараюсь выбирать парламентарные выражения. Итак, вернемся к нашим барашкам. Вы верите в победу России, Глеб Николаевич?

— Конечно, верю.

— Ясно... Другого ответа от вас я не ждал. И я очень хотел бы, чтобы ваша вера имела реальные основания. Но признайтесь, вы базируете ваше убеждение не на фактах, а на исторической традиции, на предвзятом убеждении, что Россия — великая держава, что русская армия доблестна и непобедима, что русский народ многотерпелив, покорен и видит во сне, как бы перегрызть горло Вильгельму.

— Да, если хотите, я основываюсь на истории России, на великой миссии славянства, на моральной силе духа...

— Ага... полное собрание панславистских басен Павла Милюкова в популярной переработке для кадетских корпусов.— Штернгейм закатился тоненьким хохотком и похлопал себя по коленке.— Так этого мало, Глеб Николаевич, мало... Против вашей отвлеченной и туманной славянской идеи и российской азиатской дикости и отсталости стоит вооруженная до зубов техникой, организованная, индустриальная империалистическая Европа. Славянская палица, даже с привешенной грамотой, удостове-

ряющей ее принадлежность самому Илье Муромцу, гроша ломаного не стоит против пулемета Шварцлозе и тяжелой гаубицы.

— Значит, вы верите только в силу кулака и отрицаете моральную силу национальной идеи, например? — сердито спросил Глеб.

— Я вообще не верю в кулаки, Глеб Николаевич. Но с полной отчетливостью сознаю, что кулак, вооруженный автоматическим пулеметом, сильнее кулака, вооруженного ослопом. Что же касается национальной идеи, то где она? В чем?

— Как в чем? В объединении всей России перед лицом врага, в забвении всех счетов и обид на время войны.

— Ах, вот что,— Штернгейм досадливо махнул рукой.— Это вы из манифеста? Ну, в него поверило офицерство, буржуазия, часть интеллигенции, крошечная горсточка в миллионной массе разноплеменных народов России. Не эта же горсточка подопрет своими телами разваливающиеся стены. А главный фактор, решающий фактор,— стомиллионное крестьянство, промышленный пролетариат. Как же вы думаете, они очень заинтересованы в национальной идее и посрамлении германизма ценой собственных боков?

— Мне трудно спорить с вами, Мирон Михайлович,— сказал Глеб.— Вы знаете, конечно, больше меня, и я просто теряюсь перед вашими аргументами, но мне кажется, что в настроениях русского народа вы ошибаетесь. Разве матросы — не мужики в основной массе?

— Предположим,— скривился Штернгейм.— Ну, и что же?

— А то, что матросы на кораблях принимают войну как неизбежное, как должное и даже рвутся в бой. Больше рвутся в бой, чем офицеры, которые, я прямо в этом сознаюсь, совершенно равнодушны ко всему, кроме личного благополучия.

Штернгейм рассмеялся и посмотрел на Глеба с явным сожалением.

— Матросы рвутся в бой? Позвольте в этом усомниться, Глеб Николаевич.

— Я сам слышал это не раз,— покраснел Глёб.— Я слышал разговоры: «И чего канителят. Драться — так драться, а не на печке лежать».

— Они совершенно правы, Глеб Николаевич. Но их не потому тянет драться, что они одержимы высоким гип-

нозом национальной идеи. Ерунда! Военный аппарат государства набивает ваши бронированные ящики огромным количеством молодых, здоровых, полных сил людей, насильственно оторванных от продуктивного, созидающего труда. Вместо этого труда для них создается видимость никчемной и архаической чепухи, именуемой военной службой, которая, по существу, есть худший вид паразитического безделья. По существу, десятки тысяч работников насильственно превращаются в сытых и развращенных лодырей. Их томит это положение, которое для их командиров является нормальным. И когда наконец приходит война, когда им представляется возможность заняться хоть и бессмысленно-разрушительным, но все же делом, они, естественно, предпочитают его безделью. Но и то меньшинство. Большинство завтра же разбежалось бы по домам, если бы не призрак военного суда за спиной.

— Значит, по-вашему, матросы служат только из страха палки?

— Не по-моему,— мягко улыбнулся горбун,— это объективная истина, Глеб Николаевич.

— А по-моему, это красная чепуха, Мирон Михайлович, извините за прямоту.

— Значит, вы считаете, что все благополучно? Что государственный строй России на высоте, военная сила безупречна и рвется в драку? Тогда чем же вы объясните восточнопрусский погром и прочие неудачи на фронте?

— Временное явление. Игра военного счастья,— самоуверенно сказал Глеб.

— Так... Следовательно, по-вашему, в двадцатом веке, при наличии расцвета тяжелой промышленности, финансового капитала, банков, колониальной политики, высокой техники, государство, управляющееся методами Ивана Грозного, имеет шансы на успех в борьбе против государства с современными принципами управления?

— Что значит «современные принципы управления»?

— Что вы скажете, например, о подлинной конституции или о демократической республике?

Вопрос застал Глеба врасплох. Слова и термины, с такой легкостью слетавшие с губ доктора, ворочались в мичманском мозгу грузно и неуклюже, как булыжники, цепляясь и сваливаясь в груду.

— А черт его знает. Я ни бельмеса не смыслю ни в конституции, ни в республике,— с отчаянной мальчишеской прямотой сказал Глеб.

Штернгейм засмеялся тем же тоненьким смешком и радостно потер руки.

— Но позвольте, Глеб Николаевич. Ведь должны же у вас быть какие-нибудь политические взгляды? Кто вы? Монархист, конституционалист, умеренный республиканец? Социалист, наконец? Аграрий вы или представитель промышленного капитала? Банкир? Интеллигент?

Докторские вопросы били, как пулеметные очереди. Глеб тяжело вздохнул.

— Ей-богу, Мирон Михайлович, я ничего этого не знаю. Я даже не понимаю многих слов из сказанных вами. В корпусе я никогда не думал ни о какой политике, и никто не думал... Да, черт возьми, мне и в голову не приходило задумываться над такими вопросами... Я хотел сделаться хорошим моряком — и только...

— Но для того, чтобы стать хорошим моряком...— начал Штернгейм и вдруг резко оборвал, прислушиваясь.

Где-то далеко, за домами, за темными вечерними улицами, родился внезапный, густой, ежесекундно нарастающий звук. Он был пронзителен и заунывен. Стекла окна тонко задребезжали ему в ответ.

— Сирена! — Глеб вскочил.— Мы забыли о времени. Я уже опоздал. Это сигнал съемки. Прощайте, Мирон Михайлович.

Глеб выбежал в коридор, торопливо, путаясь в рукавах, натягивал шинель, пристегивал саблю. Сирена продолжала выть — встревоженный, задыхающийся зверь.

— Счастливого пути,— ласково сказал маленький горбун, сжимая своими детскими ручками руку Глеба.— Счастливого возвращения. Тогда мы еще поговорим с вами. Не правда ли?

— Конечно... До свидания, Мирон Михайлович.

Хлопнула дверь. Сырой ветер ударил в лицо. Темная улица сбегала трапами к бухте. В городе погас свет. Только над рейдом жуткими синими мечами метались прожектора. Не разбирая дороги, Глеб кинулся по спуску.

* * *

В узкую щель прицельного колпака сыростью, солоноватым холодком, неизвестностью дышит осенняя морская темнота. Слышно, как глухо и мягко хлещет в борт корабля волна. С высоты сиденья под колпаком Глебу видна вся сложная, тонко рассчитанная внутренность башни,

где каждый прибор занимает свое, точно определенное место.

Из колодца подачи тянет внутренним теплом корабля, особым запахом масла и нагретой стали, которого не спутаешь ни с каким другим запахом.

Люди у приборов неподвижны. Они кажутся сейчас частями этого сложного механизма, где все разграфлено по шкалам градусов, углов, секторов.

В жутковатой тишине слышно только шмелиное гуденье электромотора. Загорелая крупная рука наводчика, крестьянская рука, привычная к грубой рукоятке топора или вил, бережно и цепко лежит на рычаге вертикальной наводки.

Грузная и огромная казенная часть пушки медленно и бесшумно оседает книзу.

Глеб знает, что там, за амбразурой, в сырой ночной темноте, так же медленно и беспощадно ползет кверху орудийное дуло, нащупывая цель.

На диске указателя перед глазами Глеба стрелка стоит на цифре «95».

Это дистанция, данная из боевой рубки, где у таких же дисков и приборов стоит сейчас старший артиллерист, лейтенант Калинин.

За щелью прицельного колпака, в свинцовой темени, где-то лежит невидимый берег. Его очертания размыты ночью.

В густой, как пролитые чернила, мгле испуганными искорками мерцают чуть видные огоньки. Они тянутся цепочкой, и там, где они сбиваются в тесную стайку,— там лежит цель.

Рассекая ледяную плещущую воду, тяжелыми черными призраками ползут на восток вдоль невидимого берега шесть кораблей линейной бригады, окруженные тоже скрытыми в темноте миноносцами.

Силуэты кораблей грузно чудовищны. Так выглядели, вероятно, в доисторическую эпоху гигантские ящеры, днем таившиеся в душной чаще хвощовых зарослей, а ночью выходившие на водные просторы для охоты и любовных игр.

Ни одного огонька в иллюминаторах и на палубах. Все наглухо задраено перед боем, и только сзади идущий корабль видит крошечную светлую точку кильватерного огня мателота.

И на всех кораблях, в башнях и казематах, в плутон-

гах и батареях, руки наводчиков лежат на рычагах наводки, и тяжелые стальные зады орудий неуклонно ползут вниз.

Приказ командующего флотом прочтен сегодня на всех кораблях.

В возмездие за «дерзкое и преступное нападение коварного и бесчестного врага на мирные населенные пункты черноморского побережья» флоту надлежит произвести обстрел анатолийского берега, и в первую очередь Трапезонда.

О том, что Трапезонд и другие пункты, обреченные разрушению этим приказом, представляют собой не крепости, а такие же мирные города, как русские города Одесса, Феодосия и Новороссийск, в приказе не говорится. Это мелочь, не могущая иметь влияния на детально разработанный план операции.

Закон войны прост и точен: «Око за око и зуб за зуб». За несколько заборов, разбитых поспешными беспорядочными залпами вражеских крейсеров в ночь на пятнадцатое октября, за сгоревший в Новороссийске хлебный амбар и сбитую трубу цементного завода — Трапезонд обречен стать мишенью методичного и спокойного расстрела всей боевой силой Черноморского флота.

Флот должен смыть черный позор, легший пятном на снежную белизну андреевского флага, позор, от которого потускнело золото адмиральских погонов и поникли головы вышитых на них орлов.

Там, где стайкой сбились искры береговых огоньков, в теплой долине, у подножий вечнозеленых гор, раскинулся тихий нищий город, с белыми свечками минаретов, с грязным рынком, по которому бродят кудлатые своры бездомных собак и где гортанными воплями выхваливают товар и переругиваются черноусые турки-торговцы.

Он ничего не знает, этот город о своей черной участи. В задымленных прибрежных кофейнях лениво бросают на липкие столики из жестяного стаканчика игральные кости, за частыми решетками окон спят обыватели, и сонный сторож ходит по рынку, шлепая бабушами и колотя в деревянную доску.

Он не смотрит на море, а если бы и поглядел — ничего не увидят старческие глаза в осенней, влажностью дышащей мгле. Он только слышит, как под берегом против рынка мирно поскрипывают бортом о борт задремавшие до утра рыбачьи фелюги.

Черные тени стальных ящеров все еще молча шли вдоль берега.

Сто пятьдесят пушечных дул с правого борта бригады неотступно следили за береговыми огнями.

Двадцать пять тонн металла и пять тонн тротила хищно и тихо лежали в пастях орудий точеными болванками снарядов, готовые превратиться в гром, огонь, смерть по сигналу с «Евстафия».

Пронзительно задребезжал звонок. Глеб взглянул на циферблат приборов управления огнем. Звонок призывал к вниманию. Сейчас стрелка дрогнет, рванется, узкое кольцо ее уколет слово «огонь».

Но стрелка не двигалась. Ожидание становилось мучительным. Стиснуло горло, и сразу пересохли губы. Глеб облизнул их и еще раз взглянул вниз.

Прислуга башни стояла бледная, сосредоточенная, непроницаемая. Было похоже, что люди утратили всякое выражение, кроме тупого и сумрачного ожидания.

«Черт... ведь не учебная же стрельба по щиту. Город... люди, а тут ни признака волнения... Что это? Автоматизм выучки или скрытность?» — подумал Глеб, перебегая глазами от одного к другому.

Но лица казались одинаковыми, как тарелки одного сервиза.

Кострецов... Макаренко... Перебийнос... Щелкунов... Заводчиков...

Глеб мог назвать каждого по фамилии, но эти фамилии утратили индивидуальность. Перед ним были номера, детали беспощадного разрушительного механизма, ничем не отличимые одна от другой.

На мгновение взгляд Глеба задержался на Гладковском. Он был единственным из всех, в сжатых губах и сведенных бровях которого Глеб ощутил какое-то человеческое волнение.

Вероятно, Гладковский почувствовал упорный взгляд командира. Он повернул голову. Глаза офицера и матроса встретились. В зрачках Гладковского полыхнул какой-то тревожный блеск, и он быстро опустил голову.

— Дзинь!

Стрелка качнулась. Мгновение, и она прыгнула на «огонь».

— Залп!

Рука Глеба метнулась вниз, рубнула воздух.

Башню дернуло. Испуганно мигнули лампочки. Короткий и звонкий, лопнул за башней раскат выстрела. Жирно чавкнув, отпал замок, из колодца подачи прыгнул лоток со снарядом. Толстая стальная свинья, подхваченная зарядником, сунулась рылом в казенник, и замок с жадным щелком сцепил стальные зубы.

— Залп!

Глеп припал к стеклам дальномера. Освещенные вспышками залпов, стекленели гребни валов. В непроглядной черноте, там, где лежал берег, метались бледнорозовые мгновенные фонтаны.

— Залп!

Удары выстрелов трясли башню. С беспощадной точностью каждые пять секунд гремел залп. Сладковато запахло жженым целлулоидом пороховых газов. Взвыл вентилятор, и одновременно Глеб услыхал слабый дребезг телефона.

— Перенос огня... Наводка по пламени пожара влево от маяка... Три меньше,— сказал голос артиллерийского кондуктора Ивашенцева.

— Есть перенос огня... Наводить по пожару влево от маяка. Три меньше,— повторил Глеб наводчику.

— Залп!

Глеб припал к щели колпака, мучительно вглядываясь. Он искал то невиданное и страшное, что предстояло увидеть впервые, и, найдя, почувствовал, как задрожали его пальцы на штурвальчике дальномера.

В круге, пересеченном заборчиком делений, встал неожиданно близкий столб маяка на низком молу. Бок его розовел отсветом пожара, а за его тонким силуэтом на берегу вихрилось, вздымаясь, крутясь и ширясь, тяжелое оранжевое пламя.

Пригибая его к земле, разрывая на части, разметывая, прыгали в этой огненной завесе стремительные выплески разрывов.

Низкое облако освещенного снизу дыма медленно плыло по ветру.

Стекла дальномера нащупали у самого берега ярко освещенный пожарищем белый дом в зелени сада.

Он был виден резко и отчетливо. Глебу даже показалось, что он различает узор на резной деревянной двери под нависшим балкончиком. Дом был похож на рисунок из Шехеразады. За этой резной дверью, за узкими жалюзи балкончика должна была прятаться в тиши гарема

прелестная черноглазая турчанка. Такую когда-то увез из Турции дед Глеба, и у нее, должно быть, такие же тревожные брови-разлетайки, как Глебовы.

— Ах!..

Непроизвольный крик вырвался у Глеба. Мгновенно откинувшись назад, он едва не сорвался вниз.

В черном прямоугольнике резной двери взметнулось огромное зеленовато-желтое пламя, мигнуло, погасло, заволоклось дымом, и Глеб увидел, как домик распался в пыль.

— Боже мой,— прошептал Глеб,— все вдребезги... Но ведь в этом домике мирные люди...

— Залп!

— Ведь это, возможно, мой снаряд... Что же это такое?

Глеб закрыл глаза. Посмотреть на берег опять было страшно. Рука, наводившая дальномер, вдруг застыла, сведенная внезапным холодом, и Глеб затрясся от налетевшего нервного озноба.

Залпы гремели не переставая. Бригада средним ходом продолжала идти вдоль берега, засыпая Трапезонд тоннами стали. Огонь велся спокойно и точно, как на практических стрельбах.

Черноморский флот смывал позор ночи на пятнадцатое октября, и андреевские флаги торжественно бились по ветру на стеньгах, осеняя величавым косым крестом пустынные палубы плещущих грохотом и огнем кораблей.

* * *

Флот повернул на север. Усилившаяся волна тяжело била в скулы кораблей, захлестывала на палубы. Сзади мерцало тускнеющее дальнее зарево — там дотлевал развороченный Трапезонд.

За два с половиной часа бомбардировки бригада линейных кораблей выбросила по городу двадцать пять тысяч снарядов. Эта груда металла весила вдесятеро больше, чем все население разрушенного города.

Флот мог гордиться удачной операцией. Офицеры и матросы имели право на заслуженный отдых и поощрение.

Отмывшись под душем от копоти и липкого осадка пороховых газов, Глеб направился в кают-компанию и в изумлении остановился на пороге.

Кают-компания по-праздничному сияла светом.

Матово светились тугие изломы скатерти, мерцал хрусталь, искрилось серебро, и в вазах на столе тяжело восковели горы фруктов.

У каждого прибора лежали бутоньерки, перевязанные трехцветными ленточками. Вымытые, надушенные, веселые, входили один за другим офицеры в приподнятом настроении, улыбаясь, блестя глазами.

— Что это такое? — спросил Глеб у Спесивцева.— Что за торжество?

— Ха! — усмехнулся водолазный механик, подтолкнув Глеба в бок.— Неужели не понимаете, малютка? Празднуем блестящую победу, и по сему торжественному случаю «вышеупомянутая марсала» расстаралась на пасхальный стол. Вот выпьем!

Спесивцев радостно щелкнул пальцами по тугому воротнику кителя и поддел Глеба под локоть. Придвинувшись вплотную и щекоча ухо Глеба усиками, Спесивцев смешливым шепотком сказал:

— Как же не праздновать! Почитай полторы тысячи турецких скворешен раздолбали. Одних детишек сколько перебили. Словом — «Гром победы раздавайся, напивайся, храбрый росс!»

— Как вам не стыдно так шутить? — Глеб вспыхнул и высвободил локоть.

— Милый Алябьюшка! Смотрите на вещи проще. Если все принимать всерьез, нужно пойти в каюту, снять шнур с портьеры и повеситься на собственной койке,— с неожиданной горечью ответил Спесивцев.

Глеб хотел что-то возразить, но в эту минуту прозвучал голос Лосева:

— Га-спа-ада офицеры!

Офицеры вытянулись. Боковая дверь, выходившая в командирское помещение, раскрылась, и в ней появился капитан первого ранга Коварский. Сегодня он удостаивал своим величественным присутствием офицерское общество. Рыжая борода командира была аккуратно разглажена, из-под нее синевато сверкали крылышки отложного воротничка, и застывающими каплями крови горел владимирский крест на шее.

Командир сделал общий поклон и пошел на почетное место в голове стола.

— Прошу садиться, господа!

Тишина разбилась. Переговариваясь и смеясь, офицеры занимали места.

Вестовые, бесшумно скользя по ковру, разливали шампанское. Золотая жидкость весело пузырилась в бокалах.

Коварский протянул руку, сверкнув рубинами перстня, взял бокал, поднялся.

Офицеры встали.

— Господа офицеры,— голос Коварского проникновенно и слезливо задрожал,— разрешите поздравить кают-компанию нашего славного корабля с первым боевым делом. Пусть оно будет первой ласточкой и предвестием славных боевых подвигов нашего обожаемого флота. Мы знаем, господа офицеры, что волею божьей и нашей историей предопределено владычество России на просторах Черного моря... Мы, севастопольцы, помним и чтим геройские дела наших предков. В наших сердцах и нашей памяти никогда не забудутся славные имена Ломбарда, Казарского, Лазарева, Нахимова, Корнилова, Дубасова и Шестакова. Дерзкий враг, испокон веков тщащийся подорвать могущество нашей родины, не раз получал тяжелые уроки от черноморцев. Победы наши под Калиакрией, Керчью, Хаджибеем, Фидониси и Синопом вписаны золотыми буквами в историю Черноморского флота. Будем же верить, что к этим славным победам мы прибавим новые во славу России и флота. Сегодняшний наш поход тому залогом. Я уверен, что каждый из офицеров-черноморцев выполнит свой долг до конца. За государя императора, за доблестный наш флот, за дружную офицерскую семью, за погибель врага, господа офицеры — ура!

Держа в руке бокал, Глеб смотрел на офицеров, слушавших спич командира. Большинство равнодушно-скучно томилось, ожидая конца, когда можно будет сесть и приняться за еду. Вонсович рассеянно ковырял ногтем скатерть. Мичман Нератов с явно наигранной преданностью смотрел в глаза командиру, как дворняжка, которой показывают кусок сала. Дер Моон деревянно вытянулся и замер в величественной напряженности. Лосев грозно смотрел на вестового, уронившего тарелку. Рот старшего офицера был полураскрыт, и в нем застряло ругательство по адресу вестового, готовое вылететь, как только окончится торжественная речь командира. Лейтенант Ливенцов чему-то улыбался, видимо занятый своими мыслями, и слова командира шли мимо него. Спесивцев хмурился, тонкие губы лейтенанта Калинина были сжаты брезгливой гримасой.

— Урр-ра!

Первым крикнул ревизор. Остальные поддержали громко, но недружно. Зазвенели, сталкиваясь, бокалы.

Коварский сел, и тотчас зашумел общий разговор, застучали по фарфору ножи и вилки.

«Дружная офицерская семья,— подумал Глеб и внутренне улыбнулся,— недурная дружба. Например, Калинин с Мооном или Спесивцев с Нератовым — как собака с кошкой. Единение господ офицеров».

Глеб налил большую стопку водки и залпом выпил, не закусывая. Жидким огнем плеснула в голову, выжала из глаз слезы.

— Однако,— покосился сбоку Спесивцев,— так можно и под стол съехать, дорогой. Вы бы поостереглись.

— А, черт с ним... Скучно,— махнул рукой Глеб.— И голова у меня что-то болит. Должно быть, от грохота и газов.

— Так водкой не поможете... Бросьте...— И Глеб почувствовал, как, найдя под столом его руку, Спесивцев ласково сжал ее.— Бросьте, голубчик. Плевать на все.

Глеб хотел ответить, но в разговор ворвался напыщенный тенорок Нератова:

— Ну и грохали, господа! Так грохали, что турки до второго пришествия не забудут. Я ведь на мостике был с сигнальщиками — видел всю картину. Моментами от залпов было светло, как днем, ей-богу. А на берегу сплошной ад. Разрыв на разрыве. Живого места нет. Там, под берегом, фелюги стояли рядком — штук пятьдесят. И вот, вообразите, в эту кашу два двенадцатидюймовых. Вода столбом, дым, щепки — и пустое место. Ни одной не осталось. Это вам не «Гебен». Наши артиллеристики марку показали... Борис Павлович, за ваше здоровье.

Калинин молча поднял бокал и пригубил.

«Принял,— подумал Глеб, проникаясь внезапной неприязнью к лейтенанту.— Неужели же он тоже гордится и радуется этой варварской стрельбе по беззащитным людям?»

Но лицо лейтенанта Калинина было неподвижно и жестко, как камень. На нем нельзя было прочесть лейтенантских мыслей, а губы, не разжимаясь, хранили все ту же брезгливую гримаску, и она несколько охладила рождающуюся неприязнь.

К Лосеву подошел вестовой и, нагнувшись к плечу старшего офицера, зашептал что-то, кивая головой по направлению офицерского коридора. Выслушав вестового,

Лосев сказал несколько слов командиру. Тот разрешающе наклонил голову,— рыжая борода, как занавес, скрыла владимирский крест.

Лосев постучал вилкой о край бокала. Разговор смолк. Офицеры выжидательно повернулись. Из офицерского коридора в кают-компанию вошли, напряженно держа руки по швам и не сводя глаз с командира, минный кондуктор Пересядченко и фельдфебель второй роты Буланов.

С налитыми кровью, закаменевшими в преданности мордами, в затылок один другому, они протопали по ковру к командиру, как при подходе с утренним рапортом, и в четырех шагах остановились, с треском приставив каблуки.

На мичманском конце Лобойко, не выдержав, фыркнул в салфетку.

— Дозвольте, ваше высокоблагородие, от всей команды поздравить ваше высокоблагородие и всех господ офицеров,— начал Пересядченко, багровея все больше с каждым словом,— со славным, значит, боем, ваше высокоблагородие. Вся команда просит передать вашему высокоблагородию, что завсегда готова положить жизнь за матушку-Россию и обожаемого нашего государя императора Николая Александровича.

Глеб подпрыгнул на стуле. Спесивцев неожиданно больно ущипнул его за плечо. Глеб взглянул на соседа,— Спесивцева трясло от еле сдерживаемого хохота.

Но Коварский поднялся и растроганно потянулся к кондуктору. Оба облобызались, а фельдфебель Буланов торопливо мазнул рукавом форменки по губам в ожидании своей очереди.

По знаку старшего офицера вестовой наполнил два бокала шампанским. Рачьи буркалы Пересядченко жадно загорелись и заметались при виде волшебного офицерского напитка. Огромная ручища приняла из руки Коварского бокал, совсем закрыв его. Пересядченко зажмурился и опрокинул бокал в широко раскрытый рот. Лобойко заржал по-жеребячьи, Спесивцев уткнулся головой в стол. Буланов искоса с презрением поглядел на кондуктора и, отставив в сторону мизинец, как кокетничающая дама, слегка пригубил бокал.

До флотской службы Буланов служил камердинером у какого-то графа и знал, что это золотистое пузырчатое вино бары пьют, потягивая по малости.

— За здоровье вашего высокоблагородия и всех гос-

под офицеров! — рявкнул Пересядченко и зеленым в клетку платком, добытым из кармана, вытер свирепые барсовы усы.

— Передайте команде,— сказал Коварский,— что я благодарю ее и доложу адмиралу о похвальных чувствах матросов. Магнус Карлович, распорядитесь выдать матросам за мой счет по две чарки и по четверти фунта конфет из буфета. Можете идти!

— Покорнейше благодарим, ваше высокоблагородие.

Пересядченко с громом повернулся. Буланов жалостно взглянул на свой недопитый бокал, но желание показать себя не лыком шитой серой деревней превозмогло жалость. Он донес бокал до выхода, поставил его на столик у буфета и вышел вслед за Пересядченко.

Офицеры хохотали. Даже Коварский показал из-под бороды оскал редких зубов.

— Вот уморили чертовы камелеопарды! — сказал Ливенцов, вытирая слезы салфеткой.

— Не понимаю, чему смеяться,— сказал ревизор. Он единственный из всех не улыбнулся.— Очень похвально, что матросы проявляют патриотическое сознание. Это должно только радовать, и причин для смеха я не вижу.

— Ну и разрыдайтесь от высокого восторга, а учить нас, что делать, можете воздержаться,— бросил через стол Ливенцов.

— Я вас не учу, а высказываю свои соображения,— безмятежно ответил дер Моон.— Разрешите, Константин Константинович, покинуть стол для выполнения вашего распоряжения.

— Прошу,— обронил командир с явным облегчением. Он тоже не терпел ревизора и рад был освободиться от его присутствия.

Ревизор в дверях разминулся с вестовым.

— Почта! — вскрикнул лейтенант Ливенцов, увидев груду писем в руках вестового.

— Так точно, ваше высокоблагородие. Опосля боя передали на «Счастливом» — пришел из Севастополя.

Офицеры вскочили. Почта была радостным подарком.

Вестовой вертелся в кругу офицеров, вырывающих у него письма. Через спину Лобойко Глеб увидел знакомый узкий кремовый конверт. Это было письмо Мирры.

Глеб схватил его и бросился в каюту. Запер дверь и, торопясь, разорвал плотную бумагу. Сел в кресло и придвинул лампочку.

«Глебушка, родной мой. Только что купила на улице экстренную телеграмму о турецком нападении. Прибежала домой, как сумасшедшая, испугала Сеню и заперлась писать. Что с тобой? Жив ли ты, цел ли? Боже мой, как мучительно чувствовать разделяющее нас огромное расстояние, полную беспомощность и невозможность знать все о тебе. Такое страшное одиночество, такая тоска все двадцать четыре часа в сутки. Слышишь ли, как тревожно в этой пустоте бьется мое сердце? Через тысячи верст тянется от меня к тебе тоненькая пульсирующая ниточка, и все время она по капелькам сочится кровью.

Все чаще и чаще я думаю — что мы сделали и какая на нас вина в том страшном, унылом и черном, что делается вокруг? Три месяца всего назад шумело общее ликование, а сейчас везде и всюду печаль, слезы, подавленность. Три дня тому назад нашим соседям по лестнице привезли с фронта их единственного сына. После твоего отъезда я несколько раз встречала на лестнице этого розового веселого мальчика. Он, как молодой зверек, прыгал через две ступеньки, звеня оружием и шпорами. Потом уехал, а теперь денщик привез все, что от него осталось,— игрушечный ящик, в котором с трудом можно было бы уложить кролика. Его разорвало снарядом под Прасныпюм. Эту крошечную коробку уложили в большой гроб и отвезли на Смоленское кладбище, в мокрую болотную яму. И я начинаю сжиматься и дрожать от ужаса, что тебя, любимого, живого, могут забить в такой же отвратительный, пугающий ящик и бросить, как ненужный багаж, в грязный товарный вагон.

Глебушка, я бы все отдала за то, чтобы на одну минутку заглянуть в родные твои глаза, прижаться к плечу и выплакаться. Здесь я даже плакать не могу — я замыкаюсь в корку одиночества, и глаза мои сухи. Семена спасает ирония, он ко всему относится с циническим равнодушием, и его девиз: «Чем хуже, тем лучше». Я так не могу. Каждый день наносит мне незаживающие царапины. Ученье я забросила, да и можно ли сейчас учиться? Единственную радость нахожу в деле, о котором сейчас писать не могу,— расскажу об этом, только когда встретимся. Мне отчаянно хочется бросить все и приехать к тебе на два хоть — три дня, но это пока немыслимо, я не хочу ставить ни тебя, ни себя в ложное положение. Дальше — увидим.

Что будет со мной, с тобой, с нами всеми, с Россией?

У меня самые мрачные мысли, самые горькие предчувствия чего-то небывало страшного, опустошительного, какой-то неслыханной еще катастрофы.

И главное, я не знаю, что с тобой. Пиши чаще, пиши, по возможности, каждый день, иначе мне слишком тяжело. Груз этого безвестия надламывает слабые мои плечи. Крепко и нежно целую тебя, родной мой мальчик».

Глеб бережно сложил письмо и положил его в ящик стола.

Взволнованно встал. В памяти неожиданно всплыл вечерний час на балконе высокого дома у Пяти Углов. Призрачный свет июльской ночи, глухой топот множества ног по торцам, томительное бряканье котелков и прикладов. Серые, запыленные ряды усталой пехоты, текущей по опустелой улице в ночном безмолвии. Не солдаты, не герои, а каторжники, покорно и беспрекословно идущие по этапу на кровавое испытание.

Глеб закрыл глаза, и пространства внезапно раздвинулись перед ним. Он увидел бесчисленные, уходящие в недосягаемую даль улицы. Широким веером они сходились к огромной площади, на которой один, в бледной ночной темноте, стоял Глеб у бездонного провала, холодно чернеющего под его ногами. По улицам, мрачно гремя о камни коваными каблуками, с глухим звоном прикладов и котелков, шли бесконечные ряды изнуренной, пропыленной пехоты, понурив головы и плечи. Над ними вялыми складками шелка, в полном безветрии, свисали полотнища знамен и флагов. Глеб узнавал один за другим: английский, французский, немецкий, австрийский, японский, бельгийский национальные цвета всех держав, ринувшихся в грохотный вихрь войны. Пехота из улиц вливалась на площадь, направляясь к провалу. У острого края этой внезапной бездны по первым шеренгам пробежала томительная судорога испуга и нерешительности. Но резко звучала команда, и люди с закрытыми глазами свергались вниз ряд за рядом. И вдруг из этой безнадежно покорной массы вырвался маленький солдатик с ополоумевшими пустыми глазами. На самом краю провала он швырнул наземь винтовку, закрыл руками лицо и рванулся назад. Глеб услыхал его тоненький, надорванный страхом заячий выкрик: «Мама!» Ближайшие в рядах вскинули головы, прислушиваясь. Тогда высокий широкоплечий офицер быстро ткнул револьвером в затылок сол-

датика. Офицер ногой столкнул свернувшееся маленькое тело в провал и, закрыв глаза, прыгнул сам...

Глеб в ужасе попятился. Больно наткнулся виском на угол шкафа.

Все исчезло. Лакированная клетушка каюты обычно проступила сквозь расплывающуюся муть бреда.

Голову разламывало все усиливающейся болью.

— Явно отравился пироксилином... Галлюцинация,— вслух сказал Глеб.

Потянуло на палубу, на воздух, под свежее дыхание осеннего шумного ветра. Глеб надел шинель, по пустому коридору добрел до офицерского трапа и выбрался на верхнюю палубу.

Море хлестало борты корабля тяжелыми, мокрыми оплеухами. В низко бегущих тучах медленно и головокружительно раскачивалась фок-мачта. Ветер рвал и сбивал с ног.

Глеб пересек ют и, цепко держась за поручни, вскарабкался по трапу на ростры. Здесь, за пирамидой шлюпок, было тише и теплей. Глеб снял фуражку. Ветер растрепал волосы, приятным холодком пощекотал кожу головы. Стало легче. Глеб прислонился спиной к борту катера.

Он стоял, стараясь унять быстрый и гулкий стрекот крови в висках и вспоминая с отчаянием и безнадежностью события последних месяцев, которые стремительно мелькали перед ним, как обрывки фильма на экране кинотеатра.

Он почувствовал себя бесповоротно несчастным. Все погибло, все было сломано и растоптано — мечты, надежды, счастливая судьба, сама жизнь, над которой навсегда нависло низкое небо свинцовой тяжести и свинцового цвета.

<1932—1933>

ДОРОГА В БУДУЩЕЕ

Вздувая опущенную шторку тугим напором, в купе врывался ветер. Он был духмян и жгуч, он вносил в окно шумный прибой листвы орешника, придвинувшейся к самому полотну. Орешник шуршал и взметывал листья в вихре несущегося поезда, как будто по взморью каталась и шумела от ударов волны мелкая галька.

В солнечном светопаде, узкими струями низавшем купе наискосок, серебристой плотвой резвились пылинки.

Только вытянутой рукой, не тревожа еще нежащегося тела, Глеб нащупал защелку и нажал ее. Шторка взвилась кверху, и в рамке окна зеленым мерцанием, рябя, как вода, понеслась мимо окна запыленная листва. Фарватерной вешкой проскочил в ней верстовой столб. Проскакивая, он отщелкнул на сетчатке глаза Глеба, как на картушке счетчика, трехзначную цифру. С сетчатки цифра перепрыгнула в мозг, определилась.

— Ого... Сейчас Тоннельная,— вслух сказал Глеб, откинул одеяло и, пружиня тело, вскочил на ноги. По всем мускулам трепещущим током струилась бодрость. Тело было крепким, устойчивым, налитым. После изнурительной канители и толчеи в Екатеринодаре, после бесконечных митинговых заседаний в Кубанском ЦИКе, разговоров, качавшихся маятником от дипломатических любезностей и братания к недвусмысленным угрозам,— разговоров, во время которых левой рукой брали с блюда посреди стола пирожное, а правой нащупывали в карманах потеплевшую сталь браунингов,— после ночей в клоповой гостинице — ночей, которые не были ночами потому, что охрип-

шие и изнемогшие Авилов и Вахрамеев не спали, а вырабатывали линию поведения на завтра,— сон вагонной ночи был как ванна с сосновым экстрактом.

Глеб сладко потянулся, встряхнулся всем корпусом — щенок, выскочивший из воды,— и сел одеваться.

Орешник за окном разорвался. В просвете вырос лобастый рыжий холм с небритой щетиной сожженного зноем чабреца. По склону холма лепились карточные домики. Казалось, солнце раскалило их добела и сверкающие стены их дрожали в воздухе.

Глеб быстро оделся. Думеко, видимо, уже давно ушел из купе. Койка его была по-матросски аккуратно убрана, и только оставленный на столике кисет с сердечком из красного бисера напоминал о присутствии соседа.

Достав полотенце и умывальный прибор, Глеб вышел в коридор. Он был пуст и тих. Красный половичок заглушал шаги. Дверь в салон была прикрыта. За вихлявым глянцем зеркального стекла и малиновой занавеской глухо бубнил голос. Глеб прислушался.

Бубнил Вахрамеев. Изредка, короткими вспышками раздраженного фальцета, в разговор вступал Авилов.

«Неужели не ложились?» — подумал Глеб и хотел устыдиться своего беспечного сна.

Но стыд не приходил, наоборот, было неудержимо весело. Глеб почувствовал, что губы его против воли расползаются в детскую забубенную усмешку. Вот-вот расхохочется. Смех таким теплым, щекочущим мышонком ползает по углам рта.

Глеб торопливо вбежал в уборную, испугавшись, что кто-нибудь может подглядеть его неуместное веселье.

Вода в умывальнике была желтая, как чай, и текла из крана горячая, как чай.

Умываться ею было неприятно, и, слегка поплескавшись, Глеб отправился обратно. Он взялся уже за дверь купе, как зеркальное стекло салона двинулось, отражая летящий за окном пейзаж: малиновая занавеска затрепетала. В пролете двери вырос коренастый постав Думеко.

Глеб остановился, протягивая руку. Упругие, как огурцы, пальцы Думеко стиснули мягкую ладонь мичмана.

— Заспались, Глеб Николаич,— пророкотал Думеко. Стриженые усы его шевелились, словно еж поводил иглами, брови ходили.

— Даже неловко,— ответил Глеб.— Но понимаете,— как лег, так и не проснулся ни разу. Мертвецки спал.

— И дельно. Нужно же человеку раз выспаться.

— А неужели наши так и не ложились?

Думеко мотнул стриженой головой. Черно-оранжевые змейки ленточек фуражки метнулись, прошелестев за его затылком.

— Заседают. Чего им делается? Буркалы кровью поналивали, сами желтей поноса, а все спорятся. Интеллигенты, порви ноздри ихней матери.

Думеко крякнул и плюнул на красный половичок.

— Вот, ей-богу, Глеб Николаич, не пойму я такой политики. Две шаги направо, две шаги налево, шаг вперед, два назад... Приехали-уехали, опять вертаемся, потом, гляди, снова лататы зададим. Так и будем между Новороссийском и Катькиным даром циркуляцию делать, как дерьмо в проруби. А я бы на ихнем месте того Тихменева, суку, взял бы шкертом на удавку, та в бухту рылом, на ноги камень. А мы только дипломатию соблюдаем... Команды, дескать, деморализованы. У команд, как это товарищ Авилов выразился... психический трамвай... чи што?

— Психическая травма,— сдержанно улыбаясь, поправил Глеб.

— А?.. Травма... трамвай... одна капуста, говорю,— интеллигенты. Так вот... дескать, команды деморализованы: коли надавить, так взрыв получится. Не из тучи этой гром. Матрос, он, Глеб Николаич, не на нежностях воспитан. И вовсе не требуется с ним по случаю революции, как товарищ Авилов думает, парле франсе. Матрос матюг уважает. Только смотря от кого. Если теперь офицер матюгом пустит — тут ему и аминь с покрышкой. А приехал бы какой наш товарищ и загнул бы вгорячах: «Промать вашу, всемирные пролетарии, топи посудины, коли революции нужно»,— вот пропасть мне, Глеб Николаич, не то что корабли в сей секунд на дно пустили, сами с ними утопли... А мы уговаривать! Керенского послали бабушкин хвост ловить, а сами в главноуговаривающие практикуемся... Тьфу!..

Думеко вторично плюнул на половик. От резкого движения верный дружок маузер подпрыгнул на его литом бедре. Глеб слушал Думеко, тепло улыбаясь. Думеко все больше пленял его своей огромной, неломкой внутренней цельностью.

Глеб понимал, что Думеко признает один путь — прямой и ни для какой дипломатии с него не свернет, не дрогнет, не вильнет и, встав перед смертью, с отчаянной

простотой подойдет к ней знакомиться, небрежно протягивая свою чугунного литья ладонь. И, пожалуй, смерть задумается — принять ли ей это сминающее кости рукопожатие.

Глеб соглашался с Думеко, что это качельное мотание между городами становится непристойным и роняет престиж полномочных представителей Совнаркома. Власть должна всегда оставаться властью. Приказ — короткое, словно рвущее холст, слово было напоено для Глеба вековым смыслом безапелляционности, повиновения, беззаветного подчинения, необходимости мгновенно расшибиться в доску, но выполнить действие, которое приказом предписывалось.

Если подчиненные отказываются выполнить приказ — равновесие мироздания нарушается, ось, на которой вращается планета, приходит в неверное колебание, грозящее катастрофой. Если приказ не исполняется — лучше грудью встретить сопротивляющихся и быть растерзанными взбудораженной, спровоцированной украинцами и кубанцами, поднявшими голову монархистами, немецкими агентами, отчаявшейся матросской толпой, но не колесить в салон-вагоне, подобно травимым зайцам, по кругу замкнувшихся рельсовых путей.

И, отвечая Думеко, Глеб пожал плечами:

— Может быть, это наша последняя прогулка, Думеко. Или — или. Или мы переломим сопротивление, или нас подымут на штыки.

Под полом вагона защелкали рельсы, вагон рвануло на стрелке, ход замедлялся.

— Тоннельная! — Думеко поправил пояс и направился к выходу.— Пойду взгляну, чем здесь пахнет.

Глеб бросил на койку умывальный несессер и полотенце и в ту же минуту услыхал зовущий его голос Авилова. Наскоро пригладив волосы, Глеб вошел в салон.

Вахрамеев, откинувшись затылком на спинку стула, сидел, закрыв набрякшие веки. Сон, видимо, схватил его сразу, на последнем слове разговора. Под небритым подбородком резко выпятился угловатый кадык. Осунувшееся лицо, все в мятых морщинах, казалось мертвым от зеленоватого отсвета листвы за окном.

Авилов, нагнувшись над столом, дописывал что-то и, кончив, выпрямился, протягивая Глебу листок.

— Товарищ Алябьев,— просипел Авилов,— возьмите. Как только придем в Новороссийск, с вокзального теле-

графа пошлете в Москву. Понятно? Я сейчас лягу хоть на четверть часа, до Новороссийска.

— Есть! — Глеб спрятал телеграмму в карман кителя и с жалостью посмотрел на Авилова.— Вам давно пора лечь, товарищ Авилов. Вид у вас — задавиться!

Но Авилов уже не слышал флаг-секретаря. Он комком упал на диван, и сейчас же Глеб услышал его тяжелое дыхание.

Тихо ступая, Глеб выскользнул в коридор. У окна он вынул из кармана телеграмму и развернул ее:

Москва. РВСР через Морскую Коллегию товарищу Ленину. Переговоры Кубанским Циком не привели никаким результатам точка Положение напряженное точка Тихменеву удалось путем референдума спровоцировать часть команд за уход запугав расправой кубанцев моряками случае потопления точка Темные элементы настраивают моряков против комиссии точка Городе полная анархия точка. Срочно инструктируйте что делать случае ухода судов Севастополь № 97 Вахрамеев Авилов.

Болезненно сощурившись, Глеб снова свернул телеграмму и вышел в тамбур вагона. От накаленного цемента перрона несло удушающим, сухим жаром. Со стороны Новороссийска, гремя сцепами теплушек, на станцию входил эшелон. Едва он остановился, залязгав буферами и заскрипев деревом, из теплушек, как яблоки из разбитых ящиков, посыпались матросы.

Через раскрытые двери теплушек были видны наваленные в них сундучки и мешки с матросским имуществом. Матросы, перескакивая через рельсы, подталкивая друг друга, бежали к торговкам, усевшимся наседками над корзинами с черешней и кувшинами с квасом и подкрашенной сладкой водой. Вокруг торговок завертелась буйная, оголтелая толчея.

Наблюдая за матросами, Глеб увидел, как сквозь эту рыхлую толпу, прорезая ее, как корабль воду, от здания станции шел Думеко.

— Глеб Николаич! — закричал Думеко, пробиваясь к вагону,— из Царицына срочная...

Он раздвинул плечом последних, загораживавших ему дорогу, и цепким прыжком вскочил на подножку вагона, протягивая телеграмму. Глеб принял ее и вертел в нерешительности.

— Опять будить? Ведь только что заснули.

— А вы поглядите сперва, в чем дело. Может, фиглимигли какие.

Глеб решился и разорвал ленточку бланка.

Тоннельная. Поезд комиссии Совнаркома Авилову Вахрамееву. Царицына выехал помощь вам член морской коллегии специальными инструкциями. Подпись.

Паровоз матросского эшелона просвистал отправление, и вагоны скрипуче дернулись. Матросы на ходу, цепляясь за протянутые из теплушек руки, с хохотом, криками и руганью лезли в поезд.

В дверях одной из теплушек Глеб заметил рябого лохматого матроса, в рабочих штанах и тельняшке. Матрос стоял, прислонившись к дверной раме, обнимая за талию высокую, цыганской красоты бабу. На бабе было оранжевое шелковое платье и бухарский цветистый полушалок. На пальцах ее, в ушах и на шее переливались и сверкали под солнцем золото и камни.

Когда теплушка поравнялась с вагоном комиссии, матрос ощерился и подмигнул Глебу.

— Домой прем, мичманенок! — крикнул он, притягивая к себе женщину.— Отвоевали! Не надо боле егориев с бантами, даешь бабу с periной!

Баба повела на Глеба туманными, зовущими, с поволокой глазами и томно-бесстыдно улыбнулась, показывая мелкие беличьи зубы.

Эшелон пронесся в вихре пыли и реве человеческих голосов. Думеко, нахмурившись, глядел вслед последнему вагону, в котором переливами рыдала гармонь.

— Эхма! — протянул он не то со злостью, не то с сожалением.— Бежит морская силушка, расходятся братки... Может, оно и к лучшему. Матрос — он что дрожжи. Куда ни попадет — повсюду опара из горшка полезет. А когда забурлит пузырями, мы эту силушку опять соберем, Глеб Николаич, воедино. И всем гамузом вдарим. А?.. Лихо?!

— Лихо,— ответил Глеб.— Только соберем ли, Думеко?

Думеко бегло вскинул зрачки на Глеба. В них мелкими искрами брызнуло лукавство.

— Думается мне, соберем, Глеб Николаич. Есть такая прикормка, на которую матрос, как карась на муху, кинется.

— Какая? — спросил Глеб.

— Пока секрет... Идите будить наших-то. А я слетаю зараз к коменданту, чтоб давал отправление. Мариновать нас хочет тут, что ли, хрен моржовый?

Думеко побежал к вокзалу. Глеб направился в салон. Вахрамеев спал в той же сидячей позе. Голова закинулась еще больше назад и затекала кровью. Авилов скорчился на диване, натянув до подбородка пальто. Несмотря на июньскую жару, его лихорадило. Губы его все время шевелились, и Глеб услыхал неразборчивое бормотание. Ему стало жаль будить Авилова. Вахрамеев был крепче. Глеб дотронулся до плеча Вахрамеева.

Спящий мгновенно выпрямился, провел ладонью по глазам, открыл их и посмотрел на Глеба уже ясным, настороженным взглядом.

— Телеграмма из Царицына,— сказал Глеб, передавая бланк.

Вахрамеев пробежал текст и медленно провел рукой по стриженому темени.

— На кой черт его посылают? Поздно. Сейчас уже никто не повернет событий.

Вахрамеев бросил телеграмму на столик. Глеб, выждав минуту, спросил:

— Как быть с вашей телеграммой в Реввоенсовет? Есть ли смысл посылать ее?

— Отставить. Будем ждать члена морской коллегии.

Вахрамеев снова откинулся на спинку стула и сомкнул веки. Глеб отправился к себе в купе. Поезд стремительно падал по уклону к Новороссийску, гулко грохоча на стыках рельс. Тяжелая белая пыль клубами оседала на пол и койки.

Впереди, в просвете выемки, блеснуло голубым серебром, и вдруг сразу, за известняковым откосом, с которого от быстрого хода поезда, сотрясавшего землю, ползли ручейками, шурша, мелкие камешки,— заблистало, заискрилось, распахнулось море. Блеклый, пронизанный зноем туман прятал его грани, его необъемную ширину.

Ближе к берегу, за заломленными каменными руками брекватера, обнимающими гавань, у раскаленного бетона пристаней, элеваторов, эстакад, вода пылала и светилась зеленым бенгальским огнем.

Глеб по пояс высунулся в окно, тревожно разыскивая взглядом то знакомое, бесконечно и болезненно близкое, ради которого метался между городами комиссарский поезд, которое надо было с болью оторвать, как отрывают от

живого, бьющегося сердца кусок мяса, и уничтожить во имя чести страны и спасения революции.

И он увидел. В зеленой лаве пылающей воды, у стенки, тонкие и напряженные, как готовые сорваться с тетивы стрелы, стояли низкие, серые, даже в неподвижности стремительные, миноносцы. Уже отсюда, из вагона, сквозь клубящуюся горечь пыли и дрожание воздуха, искажавшее силуэты судов, Глеб узнавал их, одно за другим.

«Стремительный», «Сметливый», «Капитан-лейтенант Баранов», «Пронзительный», «Лейтенант Шестаков», подальше три широкотрубых красавца Ушаковского дивизиона «Калиакрия», «Гаджибей», «Керчь» и привалившийся бортом вплотную к стенке, слегка накрененный «Фидониси».

Серые морские волки, лихие джигиты бурь, поровшие без устали бритвами форштевней морские просторы все три года войны, мчавшиеся в любую погоду к зеленым лесистым берегам Анатолии в утомительную погоню за неуклюжими турецкими транспортами и фелюгами, перевозившими уголь и войска,— они стояли теперь хмурые и неподвижные, а посреди бухты, грузная и окаменевшая, давила воду всей тяжестью тридцати шести тысяч тонн стали «Свободная Россия». Над двумя ее мощными трубами курился, ввинчиваясь в слепящее небо, бурый дымок.

«А где же остальные?» Глеб совсем высунулся в окно, рискуя вывалиться — поезд мотало и дергало на последних стрелках, и ахнул, когда на повороте открылся глазам весь рейд. За брекватером, на рябящей синеве открытого моря, он увидел в облаке дыма «Волю». Вокруг нее жались серыми цыплятами остальные миноносцы: «Дерзкий», «Беспокойный», «Живой» «Жаркий», «Поспешный», «Громкий» и «Пылкий». По усиленному коптению было видно, что они готовятся к походу. Глеб рывком откинулся от окна в купе. На мгновение стало трудно дышать, и на затылке зашевелились волосы.

«Значит, Тихменев добился своего? Значит, вот эти, стоящие за брекватером, решились, вопреки воле миллионов восставших, вопреки приказу Совнаркома, чести моряка, долгу гражданина страны, кипящей в огне великой революции, вести корабли в Севастополь и сдать их немцам, обрекая себя на страшную ответственность перед будущим, обрекая свои имена стать символами предательства и бесчестия на веки веков?!»

Поезд замедлил ход и зашипел тормозами. Глеб облизнул пересохшие, стянутые обидой и зноем губы и, схватив фуражку, опрометью бросился в коридор. Авилов и Вахрамеев уже стояли в тамбуре. Вахрамеев угрюмо понурился, Авилов нервно затискивал в боковой карман какие-то невлезавшие бумаги и, наконец затискав, пощупал на боку кобуру и передвинул ее по поясу кпереди.

Потом он поглядел на перрон, выискивая взглядом, и повернулся к Глебу.

— Товарищ Алябьев, поищите, может быть, председатель Совета у коменданта. Я телеграфировал ему о нашем выезде. Если его нет — посмотрите у вокзала автомобиль совдепа. Не найдете — достаньте любое средство передвижения: извозчика, колымагу. что угодно, чтобы немедленно добраться в гавань. Пока «Воля» на рейде — сделаем последнюю попытку отставить поход.

Глеб выскочил на перрон. Все было забито толпой, ждущей поездов. Солдаты, матросы, штатские, женщины, дети — перемешались в озлобленной, измотанной, орущей орде. У коменданта Глеб никого не нашел. Никто не встречал комиссию Совнаркома, никому в Новороссийске не было дела до приезда комиссара.

Автомобиля на вокзальной площади тоже не было. Под густо напудренными пылью акациями стоял одинокий извозчик. Изъеденные оводами лошади, свесив горбоносые морды, лениво хлестали хвостами по худым бокам. Возница спал, свернувшись на облучке. По потному лицу ползали мухи.

Глеб растолкал его и приказал подъехать к ступеням вокзала. Спеша в поезд, он повстречался у выхода на перрон с Думеко.

— Куда бегали, Глеб Николаич?

— Искал автомобиль. Товарищ Авилов рассчитывал, что пришлют из совдепа.

Думеко прищурился и неожиданно злобно захохотал:

— Держи карман шире!.. Только и ждали. Только нас не хватало для театра. Пожалуйте, дорогие гости, вас дожидались. Ванька, подымай занавес! Музыка, грай! Ха-ха!..

Глеб изумленно посмотрел на искаженный злостью облик матроса, но удивляться было некогда, и, махнув рукой, он побежал к вагону.

* * *

На палубе приткнувшегося к стенке «Фидониси» никого не было. Кормовой флаг полоскался концом в зеленой воде, гюйс отсутствовал.

Глеб спустился по мосткам на палубу и громко окликнул:

— Вахтенный!

Никто не отозвался. Все больше недоумевая, Глеб направился к полубаку и повторил оклик. Крикнул еще раз. Крик мячом отпрыгивал от металла. Наконец в двери, ведшей в коридор офицерских кают, показался человек. Он был без кителя, в рубашке с засученными рукавами; брюки были застегнуты только на поясную пуговицу, на босых ногах едва держались вышитые суконные шлепанцы.

Выпуклыми бесцветными глазами он бессмысленно уставился на Глеба: видимо, его поразил щегольской вид флаг-секретаря. Потом он перевел глаза на оставшихся на стенке Вахрамеева и Авилова и равнодушно почесал живот через расстегнутую прореху штанов.

— Вы кто такой? — спросил Глеб, каменея от хлынувшей в голову злобы.

Растерзанный человек тупо посмотрел на свои ноги и вяло ответил:

— Мичман Соколовский, с вашего позволения, сэр. А с кем я имею честь разговаривать?

— Где вахтенный? Где люди? что за кабак на миноносце? — не отвечая на вопрос, отрывисто, захлебываясь волнением и гневом, выкрикивал Глеб.— Что вы сами делаете здесь в таком виде? Брюки застегните, черт побери! — крикнул он, уже не сдерживаясь.

Необыкновенный мичман прислонился к стойке и стал неторопливо застегивать брюки. В зрачках его бессмысленная тупость сменилась ядом.

— Вы задали много вопросов, прелестное дитя в накрахмаленном кителе. Объясниться исчерпывающе — нужно много времени. Постараюсь удовлетворить ваше любопытство вкратце... Где вахтенный? Его нет потому, что больше не существует понятия «вахта». Где люди? Если вы подразумеваете братишек, то они дезертировали коллективно, равно и явно. Почему кабак? Поскольку вы только что прибыли с Марса — рапортую, что на некоторой части этой планеты произошла революция, докатив-

шаяся до социальной, что сопровождается неудобствами и беспорядком. Наконец, я представляю здесь остатки флотских традиций, а мой костюм — парадная форма нового строя. Вы довольны?

Глеб стиснул кулаки. Его подмывало ударить в нагло усмехающееся лицо, вдоль испитых щек которого висели сардельками отпущенные бачки. Но было ясно, что этот обломок человека нечувствителен уже ни к какому воздействию. И Глеб сухо оборвал:

— Я совершенно доволен, мичман... Скажите, где взять катер? Нам необходимо срочно ехать на «Волю».

— Катер? — мичман Соколовский повел бровью.— Попытайтесь покричать на «Шестакова». На нем, кажется, осталась еще часть того, что некогда называлось командой. Только поспешите. Не гарантирую, что пока вы дойдете, там не будет того же, что и тут.

Глеб бегом вернулся на стенку, провожаемый смехом мичмана.

На «Шестакове», стоявшем в полукабельтове от стенки, Глеб увидел на палубе Анненского. На оклик Глеба Анненский отправил катер, и через минуту катер подвалил к трапу миноносца.

У трапа встретили Анненский и вышедший на палубу Лавриненко.

— Все в порядке,— ответил командир на вопрос Глеба.— Правда, команды осталось мало, всего тридцать восемь человек, но справимся. У «Керчи» полный комплект. А на «Волю» я бы не советовал вам ездить. Тихменев там владычествует и спустит вас с трапа.

— Все равно поедем. Нужно сделать все, что можно.

Лавриненко перевесился через поручни, нагибаясь к катеру.

— Брось ты это дело, товарищ Вахрамеев. Словами кабана не проймешь. Я тут предложил крепкое средство — зашпарить полным ходом на рейд, да кабельтовых с трех ввернуть «Воле» полный торпедный залп, чтоб Тихменев поплыл со своей свитой офицерья вместо Севастополя к царю морскому в гости. Если «Волю» потопить — на эсминцах братва в такую панику придет, что в момент в гавань вернется. Да, говорят, нельзя топить потому, что, кроме Тихменева со сволочью, там до полутора тысяч матросни. А какая матросня — сам увидишь. Со всего флота собрал шкур — одни боцмана и унтеры,

чуть не «Боже царя» поют. Они у него — верная опора, оттого и обнаглел.

Мотор катера застрекотал.

— Отдавай! — скомандовал Глеб.

Катер, мягко отвернув нос, побежал к воротам брекватера. Сзади развернулся берег серой, запыленной панорамой. Странной судьбой знойный приморский городок с неудобной бухтой, насквозь продуваемый одичалыми вихрями боры, сонный и грязный, стал последним приютом черноморского флота. Здесь, у подножий облыселых от солнца и ветров известковых холмов, разыгрывалась его трагедия, и люди, жившие на берегу и раньше видавшие флот только издали, когда он проходил мимо, высоко неся на стеньгах флаги, овеянные пороховым дымом и гордостью вековых побед,— проходил, как сказочный призрак могущества и славы, — люди берега теперь считали, что флот, занесенный несчастьем в Новороссийск, стал их собственностью. Кубанская республика пыталась командовать флотом и создать из него опору призрачной самостийности. Резкими и точными фразами нот и ультиматумов Германия требовала обреченные корабли в Севастополь. На этом же настаивала и Украинская Рада, рассчитывая урвать хоть кусочек у немцев в награду за рвение и преданность. Из донских просторов грозил флоту атаман Краснов.

И флот, его живая сила — матросские массы, захваченные вихрем этой грызни интересов и самолюбий, опутанные, одурманенные, соблазняемые и провоцируемые со всех сторон, потеряли курс. Флот без руля и ветрил катился к гибели.

Катер подходил к воротам брекватера. Прикрыв рукой глаза от бьющего солнца и блеска воды, Глеб увидел, что на обоих концах мола, замыкавших брекватер, кишели люди. Оттуда несся над морем глухой, низкий, веющий жутью рев.

— Что это за народ? — спросил Глеб у крючкового, понуро сидевшего на борту катера.

— Да как вам сказать, господин мичман. Здешние это... вроде жителев, выходит. С утра на мол набились, как узнали, что Тихменев эскадру уводит. И вот поди ж ты! Здешние совдепцы с Тихменевым нас все время пугали, что если потопим флот, так нас народ за то разорвет на клочья. А выходит наоборот. Как только прослышали, что будут уводить корабли к немцам,— что началось!

Проходят посудины мол, а с концов народ плачет, матерится, вопит... Чуть в воду не скачут. «Морячки, кричат, вертайтесь!.. Не смейте немцу продаваться, не так вашего бога мать!» А как увидели, что не слушают,— идут, прямо озверела публика. Камни с мола почали кидать на палубы, стреляли даже из леворвертов. «Мерзавцы!— орут.— Юды-предатели, чтоб вам дурной смертью подохнуть!» Ну и дела, господин мичман!

Люди на молу махали руками и шапками навстречу катеру. Сквозь невнятный гул Глеб угадывал отдельные крики:

— Братцы!.. Верните фло-о-от!..

— Не давайте немцу!..

— Позо-о-ор... подле-е-цы!..

— Честь Росси-иии!.. Товарищи-и-ии!..

— Во имя-яя революци-и-ии...

Внутренне холодея, Глеб отвернулся от этой обезумевшей толпы и взглянул на спутников. Вахрамеев прояснevшими глазами смотрел на мол. Это неожиданное сочувствие давало тень надежды. Авилов, видимо волнуясь, кусал губы; кожа на скуле у него дрожала тиком.

Концы брекватера отбежали назад. За боковым заграждением с моря шла широкая пологая зыбь, и катер плавно закачался на ней. Серая стена дредноута надвигалась, как будто шла навстречу катеру. Борт «Воли» был грязен, в рыжих подтеках, в подпалинах содранной краски.

«Точно парша»,— с болью подумал Глеб, вспоминая дредноут, каким он был в Севастополе.

Моторист дал задний ход. Катер осел кормой в кружево собственной пены, и крючковой забагрил тали трапа. Сверху, с палубы, свесились любопытные головы.

Поднявшись наверх, Авилов и Вахрамеев прошли в адмиральский салон к Тихменеву. Глеб в нерешительности остановился у люка кают-компании. Он чувствовал, что во время этого разговора представителей Совнаркома с решившимся на прямую измену флагманом ему присутствовать неудобно, но не знал, куда деться на корабле. В кают-компанию идти было неприятно. Там — он знал это наверное — флаг-секретаря большевистского комиссара встретят открытой враждой. Там он увидит ненавидящие змеиные глаза Волковича, презрительную усмешку фон Дена; как от зачумленного, попятятся от него тихменевские мичмана.

Глеб решил ждать на палубе. Вокруг него собралась группа матросов. Они хмуро разглядывали приезжего, не проронив ни одного слова, и от этой молчаливости матросов Глебу стало не по себе. Он нарочно медленно вынул из кармана коробку папирос, достал одну и так же неторопливо закурил. Искоса взглянув на матросов, он увидел у большинства дудки и унтер-офицерские нашивки и вспомнил предостережение Лавриненко.

«Действительно, подобрал сливки контрреволюции,— подумал Глеб.— Эти за ним пойдут, как собаки».

— Глебка! — услыхал он радостный возглас и, обернувшись, увидел протискивающегося к нему Чугунова. Он был, как всегда, в перемазанном машинным маслом кителе. Через крупный нос шла полоса сажи, сажа осела вокруг ресниц.

— Ты зачем? — спросил Чугунов, пытаясь взять Глеба под локоть. Глеб со смехом отстранился, перехватывая черную от масла руку механика, грозившую погубить его китель.

Чугунов тоже засмеялся.

— Чуть не погубил невинность брачного наряда. Пойдем-ка, поговорим минутку.

Они вышли из кружка матросов и остановились у башни.

— Опять уговаривать приехал? Продолжаешь шиковать в большевиках? — насмешливо допрашивал Чугунов, но за насмешкой Глеб уловил болезненный надлом мичмана.

— Со мной — все просто, а вот что с тобой, Чугунка? Кого-кого, а уж тебя я не ожидал увидеть здесь, в компании Тихменева, Волковича и фон Дена. Неужели ты уходишь в Севастополь? Ты, Чугунка? Вечный революционер?

Чугунов заморгал покрытыми сажей ресницами; казалось, сейчас расплачется.

— Я не виноват, Глебчик,— растерянно тихо сказал он.— Ты пойми меня. Все осталось в Севастополе. Мать, Ира, сынишка — все они там без гроша денег. Ира больна. Они пропадут без меня.

— Много ты им поможешь? — усомнился Глеб.— Или думаешь, в филиале немецкого флота на Черном море тебе дадут пост флагманского механика?

Чугунов болезненно съежился.

— Не бей меня, Глеб. Это биологическое. Я раздвоен.

Половина здесь, половина в Севастополе, и обе половины кровоточат. Я ни на какие посты не рассчитываю. Если бы даже флот остался в Севастополе флотом, меня немедленно выгонят вон вот эти самые Волковичи, которые не простят мне депутатство в Совете, «панибратство с чернью», демократию. Я не смотрю на «Волю» как на военный корабль. Мне нужно только добраться к семье. Я пассажир, который платит за билет возней в кочегарке, и я готов взорвать эту паршивую посудину вместе с Волковичами, как только ее якорь достанет грунт в Южной бухте. Я сбегу в два счета и пойду работать грузчиком, мороженщиком, ассенизатором, чертом-дьяволом, но я не могу бросить семью. Тебе легче: у тебя нет обязанностей перед близкими.

— Я не собираюсь судить тебя, Чугунка,— торопливо сказал Глеб, видя, что у товарища сейчас брызнут слезы.— Я вообще не судья, а в личных обстоятельствах тем паче. То, что ты попал в компанию Волковича не по доброй воле,— для меня исчерпывает вопрос.

— Спасибо, Глебчик. Я не уйду от революции. Я временно выхожу из строя. Кроме того, я верю,— механик понизил голос и зашептал в ухо Глебу: — Я верю, понимаешь ли, в ход революции. Немцы — калифы на час. Или их разгромят союзники, или... многие не верят в это, а я верю, что соприкосновение с нами развалит их. Как ты думаешь?

— Возможно... Во всяком случае, не унывай, Чугунка. Желаю тебе добра. Ире привет.

— Спасибо... Все из-за нее... Поверишь, из головы не выходит. Целые ночи напролет она мне снится. Ведь совсем больной оставил и не знаю, что с ней.

Чугунов с отчаянием ударил кулаком по броне башни.

— Сложная штука жизнь, черт ее раздери! Вот ухожу с чужими, с врагами, а сердце остается здесь, с вами. Ты расскажи это другим, чтобы обо мне не думали так,— просительно сказал он.

— Да ты брось развинчиваться. Тебе сейчас бодрость нужна, может, больше, чем нам... Успокойся,— взял Чугунова за руку и притянул к себе.

Ему захотелось как-нибудь выразить свое чувство к смешному Чугунке, на которого всегда валились двадцать два несчастья. Может быть, он обнял бы механика или поцеловал его в выпачканный сажей нос, если бы сверху

на палубу не упал обвалом взволнованный крик сигнальщика:

— На «Керчи» сигнал!..

Глухой топот ног пронесся к борту, обращенному на берег. Все, что было на палубе, смятенным, взволнованным стадом метнулось смотреть.

Что предвещал сигнал? Офицеры, собравшиеся на «Воле», шепотком передавали друг другу об угрозе оставшихся миноносцев потопить «Волю» торпедами, не дав ей уйти. Через вестовых этот шепоток, сливаясь кольцами, раздуваясь, деформируясь до непостижимости, проникал в жилые палубы. Каждое движение на кораблях, оставшихся в бухте, вызывало на «Воле» стихийные вспышки паники.

Выскочив на кнехт у башни, Глеб через головы сбившихся у борта матросов смотрел на гавань.

За брекватером, на далеком тонком стебле фок-мачты «Керчи», расцвели, колеблемые бризом, цветные флажки. Они трепетали в воздухе яркими лепестками. Спустя мгновение сигнал был отрепетован всеми судами в гавани. Точно по мановению волшебной палочки, в бухте расцвел сказочный сад.

— Какой сигнал?

— Что вы там копаетесь, матери вашей черт?

— Сигнальщики!.. Клячи водовозные!..

На мостик неслись поторапливающие крики, требующие расшифровки сигнала. Что говорят этим молчаливым языком флагов оставшиеся в порту вчерашние братья и боевые товарищи — сегодня непримиримые враги? Последний ли это привет обрекших себя на гибель или угроза?

На стеньгу «Воли» медленно пополз — «ясно вижу». Задержался на половине высоты, потом быстро взлетел до места...

— Ну что?

— Да говорите же, сволочи!

Над парусиновой обшивкой мостика показалось лицо сигнальщика. Он был бледен и широко раскрывал рот, как будто глотая воздух.

По палубе прошла дрожь. Наступила тишина.

— Братцы... товарищи!..— От надламывающегося необыкновенного голоса сигнальщика по толпе пробежал холодок.— Дожили до сраму...

— Да говори толком, гад! — сорвался кто-то истерически.

— Для нас, товарищи, сигнал подняли новороссийские...— сигнальщик смолк, втянул в грудь воздух и, точно ножом по толпе, дернул: — «Позор изменникам России»... Мы это, значит...

Еще глуше и придавленней стала тишина. Сотни глаз не отрываясь ловили трепетание флагов вдали.

К командирскому люку прорысил подавленный вахтенный начальник.

Матросы перекинулись туда, обступив люк, выжидая.

Из комингса люка показалась голова Тихменева, вобранная в плечи. По выхоленным щекам проступили красные пятна. Вахтенный начальник подымался рядом с ним, держа руку у козырька, с виноватым выражением.

Выйдя на палубу, Тихменев еще больше вобрал голову в плечи и, весь сбычившись, исподлобья впился взглядом в сигнал.

— Прикажете отвечать? — изгибаясь в почтительности, спросил вахтенный.

— Не отвечать! — обрубил Тихменев.— Сволочи!

Он круто обернулся к Авилову и Вахрамееву, вышедшим за ним.

— Вы видите, господин комиссар...— Тихменев трагически завибрировал голосом.— После двадцати пяти лет честной службы родному флоту я заслужил на старости звание изменника от мальчишки и демагога.

— О честности бросим говорить,— огрызнулся, бледнея, Вахрамеев.— Я в последний раз спрашиваю — согласны вы выполнить приказ Совнаркома или нет? Если вы уведете корабли в Севастополь — мы объявим вас вне закона.

Тихменев отступил и, выпрямившись, оглядел Вахрамеева с ног до головы. Он долго терпел на берегу этого человека, представителя той власти, которой Тихменев должен был временно подчиняться с вежливой улыбкой и дикой злобой внутри потому, что неподчинение грозило ему, Тихменеву, капитану первого ранга императорского флота, другу адмирала Саблина, привыкшему в течение ряда лет к безраздельной власти над кораблем и тысячами людей, смертью на штыках этих людей, если бы они хоть на одно мгновение заподозрили Тихменева во вражде к революции.

И, подчиняясь внезапно выступившей из берегов лаве, он, Тихменев, кропотливо, сторожко, хитро притягивал к

себе единомышленников, слабовольных, темных, затравленных каторгой царской службы, которых не могли просветить даже бури и молнии восстания. Ход удался — здесь на дредноуте его окружала преданность.

И можно было взять реванш у этого назойливого выскочки из матросов, тех самых матросов, которые еще год назад каменели, как статуи, при появлении на палубе командира.

Довольная, едва заметная усмешка прошла под усами каперанга.

— Вас ждет катер, господин комиссар. Время митингов прошло. Команда больше не верит красивым словам. Думаю, что при враждебном настроении матросов вам лучше съехать, не задерживаясь. В случае эксцессов я не ручаюсь, что смогу отстоять вас, да по правде, и не имею особого желания делать это.

Глаза сверкнули по-волчьи, голова опять ушла в плечи. Удар нанесен.

Вахрамеев оглянулся по сторонам. Он искал в гуще обступивших матросов дружеское лицо, тень доверия в чьих-нибудь глазах. Но кругом, как безликие блины, надвигались усатые, раскормленные, тупые фельдфебельские и боцманские морды, пестрым узором рябили нашивки сверхсрочных.

И сзади из-за спин гадючьим шипом прошелестело:

— Спустить эту комиссаровскую сволочь с трапа.

Вахрамеев вздохнул и опустил голову. Тихменев искоса, с нескрываемым торжеством наблюдал унижение комиссара.

Авилов дотронулся до плеча Вахрамеева.

— Идем... Здесь больше нечего делать.

Матросы молча расступились. Авилов сказал флагману:

— Мы больше не увидимся, господин капитан. Но люди вашего типа верят в историю. Что бы ни произошло — страна останется страной и история историей. А история платит за такие поступки презрением поколений и ставит клеймо на имени. Подумайте хоть об этом.

Он повернулся и пошел к трапу. Упоминание об истории было уместно. Капитан первого ранга не мог не бояться истории. Заметно смутясь, Тихменев догнал Авилова. Сменив великолепную плавность жеста на угловатую нервность, он с трудом выговорил:

— Я подчиняюсь желанию команды... Но я согласен

на последнюю уступку. Я откладываю поход до двенадцати ночи. Если к этому моменту команда не изменит решения — я ухожу. Я связан сроком ультиматума.

Зрачки флагмана тревожно и воровато заметались. Он ждал ответа, но Авилов молча пошел вниз. На половине трапа Глеб, спускаясь за Авиловым, посмотрел вверх. На выступе борта он увидел фон Дена. Лошадиная челюсть лейтенанта сдвинулась набок, перекашивая лицо смертельной ненавистью и злорадством.

Катер отвалил. Ни одного возгласа с корабля не раздалось вслед, ни одна рука не взметнулась прощальным жестом. Когда после поворота к гавани Глеб оглянулся на дредноут, ему показалось, что на застывшей мертвой громаде неподвижно стоят для издевки расставленные трупы.

* * *

Катер доставил комиссию Совнаркома к зданию таможни, откуда до вокзала можно было в пять минут дойти пешком. На берегу Глеб спросил Авилова:

— Я вам не нужен сейчас?

— А что?

— Разрешите пройти в город, а потом я хотел навестить товарищей.

Получив разрешение, Глеб отправился вдоль набережной. Ему предстояло сделать большой круг от таможни до того места гавани, где стояли миноносцы. И, проходя этим путем, Глеб отметил в городе и порту новое, тревожное, неожиданное. Пустынный раньше, порт сейчас кишел народом так же, как и брекватер. Непонятно было даже, откуда в Новороссийске столько населения. Но, приглядываясь к толпе, Глеб увидел крестьянские свитки, платки баб, лампасы на шароварах и понял, что, кроме коренных новороссийцев, в город нахлынуло население окрестных деревень, хуторов и станиц. Причина этого наплыва людей в начинающий уже голодать город показалась ему непонятной.

Настроение толпы было возбужденное. Люди, собираясь кучками, говорили вполголоса, оглядываясь. Несколько раз Глеб замечал, что при его приближении говор смолкал. Людей, видимо, пугал китель флотского офицера. В толпе сновали оборванцы с корзинами и мешками; многие были пьяны.

Случайно долетевшие до слуха Глеба слова раскрыли ему причину скопления обывателей. Две бабы говорили о том, что завтра потопят флот, а на судах остается много ценного имущества и металла и что нужно убедить матросов раздать все это населению. Если матросы откажутся, нужно взять силой.

— Бо матросов вже тылько сот пьять осталось, а люду громада. Як навалыться, то матросы не одужают,— убеждала баба соседку.

В отдельных уголках гавани, на бухтах канатов, на ящиках и бочках — везде, где можно было найти какое-нибудь возвышение, истекали криком ораторы. Глеб уже привык к этому. С момента прихода эскадры из Севастополя город обратился в сплошной митинг. Каждый день, с зари до зари, сторонники многих ориентаций и партий, надрывая глотки, до упаду митинговали — одни за потопление, другие против потопления. На этой почве не раз возникали драки и поножовщина. Но сейчас, в эти последние часы флота, митингование достигло апогея.

Ораторы истерически кричали, выкатывая глаза, в углах ртов у них стояла пена, как у кликуш.

Заворачивая к пристани РОПИТа, Глеб увидел на нефтяной бочке человека в примечательном наряде. На нем была форменная фуражка, с черно-оранжевой ленточкой «Синопа», но из-под нее, завиваясь спиралью вокруг уха, свисал украинский чуб-оселедец. Под белой форменкой вместо флотских брюк были надеты широченные синего плиса запорожские шаровары, заправленные в низкие лакированные сапожки.

Кисти широкого вязаного красного пояса бились по ляжкам от неистовой жестикуляции человека. Разевая рот, как пасть, он рычал по-украински:

— Браты! Новороссияне!.. Ось слухайте зараз, що я вам кажу, як вирный сын нашой золотой неньки-Украины. Кляти бильшовики зруйновалы и знищили нашу силу, нашу гордисть, наш хлот. Навищо воны зруйновалы його мицнисть! На те, браты новороссияне, що воны хотять зруйнуваты и нашу неньку-Украину и катуваты ии и напередь, як катувалы российски цари... Поперек горла устав им вильный хлот украинской народной республики. За те й хотять вони втопыти корабли на сором нашои чести, щоб не мала Украина морской силы, щоб ничим було нам забороныты нашу землю вид кацапского тиранства та обжорства. Бо хто таки тыи бильшовики, як не

вороги самостийной Украины? Бо хто нагнав на наши поля разбийны банды красногвардейцев, як не той наиглавнийший бильшовик Ленин? Хто продав ридну кровь жидам? Хто погнав братив на братив? Ленин... Е ще лыцари на Украини. Найвирниший з них, капитан Тихменев, що попружився поперек бильшовицкой зрады и веде хлот у Севастопиль, вернуты его украинской державе. И мы тому мусим допомогти и знищиты бильшовицких агентов з их пидтыкачем лейтенантом Кукелем... Бийти бильшовикив, браты!..

Оратор дошел до исступления. На каждом слове он бил себя в грудь кулаком. Грудь глухо гудела, как палуба под бегущими во время аврала матросскими ногами. Толпа накалялась, угрожающе ворошилась.

Глеб, оцепенев, слушал украинца. Для него было ясно, что это переодетый белогвардеец, может быть, даже подосланный немцами провокатор. Но, пока Глеб соображал, что предпринять, сзади него раздался голос, каждое слово которого было слышно сквозь гул человеческого месива. Глеба поразило именно то, что голос, спокойный и неповышенный, почти тихий,— был так явственен.

— Эй ты, скаженный,— произнес этот голос, обращаясь к украинцу,— чего палубу проламываешь кулаками? Побереги — пригодится вильгельмовы медали нацепить. А то пробьешь насквозь — иконостас в дырку провалится.

Глеб искал в толпе говорящего и наконец за сплошной икрой голов увидел его. Тогда он понял, почему голос показался знакомым. Говорил Думеко. Он стоял, вытянув шею, вглядываясь в украинца поверх толпы, щурясь, и в прищуре была насмешка и угроза.

Украинец осекся, как вздернутый уздой конь, и, не понимая еще, уставился налитыми кровью глазами на Думеко.

— И до чего ж ты занятно одет, братику,— продолжал Думеко с недоброй ухмылкой, начиная протискиваться к бочке. Делал он это необыкновенно легко и отчетливо. Круглый плавный разворот локтей вправо, влево, и тело проскальзывало вперед в открывающуюся щель. Глеб, не окликая Думеко, не желая выдать своего присутствия, с любопытством следил за ним.

— Ай-ай, гарный украинец! — уже стоя у самой бочки, спокойно издевался Думеко, задрав подбородок к смятенному оратору.— А дай-ка, добродию, пощупать, из якого бархату у тебя штаны?

Внезапным рывком рука Думеко ухватила украинца за мотню шаровар и дернула. Над толпой мелькнули подметки лакированных сапожек, и оратор обрушился на головы слушателей. Думеко одним прыжком очутился на бочке.

Встреченный взбешенным воем, вскинутыми кулаками, он выпрямился во весь рост, чуть шире расставил ноги. На открытой шее напружилась жила, наливая кровью дерзко поднятую голову. Так он стоял секунду — изваянный, неподвижный, вросший в бочку, и била из него такая огненная сила, что Глеб задохнулся восторгом.

Потом Думеко, сведя все лицо, дико забубенно усмехнулся.

— Г-гааа!

Нежданный крик был так пронзителен и оглушающ, что передние ряды попятились и сразу стихли.

Думеко опять усмехнулся, выждал паузу.

— Вы, граждане-товарищи, не надрывайте селезенку,— со спокойной, почти ласковой интимностью сказал он,— бо меня не перекричите. Мне в жизни такой голос даден, что от него протодьяконы на задние ноги садятся. Потому давайте разговаривать по-тихому, по-хорошему... Вот, значит, обсудим по порядку этого самого лыцаря «вильной украинской державы». Сдается мне, что ежели залезть в мотню тому лыцарю, где он гроши прячет, то можно нащупать там вильгельмовы марки и прочие сребреники... Где тут лыцарь?

Никто не отозвался.

— Утек лыцарь,— с сожалением продолжал Думеко,— ну и добрая дороженька... А что касаемо флота, то фига, товарищи,— он принадлежит той самой Украине. Отняли мы его этими вот руками у царя и офицерья, братишки, для трудового пролетариата, для нашей революции, для ее защиты. Но раз не удается нам пронести на тех кораблях наше славное красное знамя до всей мировой бедноты, то мы лучше флот своими руками потопим, чем сдадим такой широкоштанной кулацкой сволочи и немецким генералам, чтоб нас из наших же пушек глушили. И того уже хватит, что добрую половину силы уводят в немецкие лапы. И кто же уводит? «Найвирниший слуга Украины», его высокоблагородие капитан Тихменев, которому не терпится до матросских морд снова дорваться. Хоть его паны украинцы пусть в Тихмененко для красоты переиначат, а для нас он худшая погонная

сука и предатель. Но пускай уходит, не нам — всему трудящемуся люду, всей земле ответит за свое черное дело до последнего колена. А эти наши корабли мы потопим по приказу Советской власти, и крышка. А кто против того пикнет, тому я самолично в любой час башку на ж... заворочу... Да здравствует, братишки, всемирная революция!.. Урра!..

Брошенный горячий крик всколыхнул и эту разношерстную массу. Кричали «ура», хохотали, свистели портовые босяки, степенные кубанцы и раскормленные казачки, городские обыватели.

Глеб ждал чего угодно, только не этого внезапного сочувствия. Он смотрел на Думеко, как дети смотрят на волшебника, вынимающего из носа живого щегла.

Вот она, эта радующая и притягивающая сила, сила, которая позволяет не плестись в хвосте событий, а вставать на гребень волны и управлять изменчивыми ветрами человеческих душ. Разве мог кто-нибудь, кроме Думеко, проделать такую штуку в этой озверелой, накаленной взаимной ненавистью толпе?

Другого бы растерзали в клочья, а вот Думеко стоит на бочке невредимый, лихой, смеется и пожимает те самые руки, которые секунду назад тянулись к нему с угрозой и сжимали в карманах ножи и гири.

Глеб боялся, что Думеко заметит его. Ему не хотелось этого. Не хотелось обнаруживать свою неумелость и беспомощность в человеческом водовороте. Ведь он, как и Думеко, видел и слышал украинца, но ничего не осмелился предпринять. «Неужели струсил? — Глеб почувствовал, как кровь подымается к лицу.— Нет, не струсил... просто не умею. И чужой им в кителе... все-таки офицер...»

Глеб втерся в толпу, замешался в ней и пошел к пристани.

У свай качалась пустая двойка с одним веслом. Глеб спустился и, отвязав конец, юля веслом, погреб к «Шестакову».

В кают-компании была голубая темнота сумерек. За столом одиноко сидел человек. Тускло поблескивал фарфор чайника и чашек.

— Кто? — спросил человек, и по голосу Глеб узнал Лавриненко.

— Глеб Николаич?.. Садись, чайку попьем,— пригласил Лавриненко, в свою очередь узнав Глеба.— Я один

остался. Анненский с Депишем на «Керчи» — там совещание по поводу завтрашнего... Клади сахар, не жалей, все равно девать некуда... А я соснул малость, хочу чаем накачаться и тоже туда двину. А ты откуда?

Глеб, отвалившись в мягкую кожу кресла, с удовольствием вытянул уставшие ноги и за чаем рассказал комиссару «Шестакова» события дня.

— Я, ей-богу, влюблен в Думеко, как гимназистка... Только подумать! Ведь какой риск... Молодец!

Лавриненко, склонив голову набок, деловито позвякивал ложечкой о чашку, мешая чай. Вдруг отставил чашку и, облокотившись на локти, придвинулся вплотную к мичману.

— Хороший ты парень, Глеб Николаич, свой парень, и положиться на тебя можно вполне, да только силен в тебе еще офицерский заквас... Вот он тебе и мешает...

— Как? — с обиженным недоумением спросил Глеб.

— Ты погоди, не обижайся. Я тебе по-дружески говорю. Ты вот Думекой восхищаешься, готов стихи про него писать. А правильно? Нет — неправильно. Ничего не скажу — лихой хлопец, но анархист, индивидуал, перекати-поле...

— Но он предан революции,— возразил Глеб.

— Эх, Глеб Николаич!.. Этого мало... Нужно не только быть преданным революции, но и уметь подчиняться ей. Это потруднее, но и нужнее. «Один в поле не воин». Хорошая поговорка. Мне как-то в голову пришло, что наш большевистский лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», может, из этой пословицы вырос. В одиночку только Бова-королевич в сказках сто тысяч бусурманов бил. В жизни так не бывает. А раз уж действуешь с кем-нибудь плечом к плечу — ты в своих поступках волен до той поры, пока от них твоему соседу вреда не будет... Думеко же об этом не думает. Хотя бы это дело. Допустим, вышло. А могло бы не выйти. Нашелся бы в толпе один характером подерзче, вроде самого Думеко, хлопнул бы из револьверчика — и ваших нет... А сам знаешь, какое настроение в городе. Стоит кровь увидеть, чтоб началось всеобщее избиение... Хорошо бы вышло?

— Плохо,— решительно сказал Глеб.

— Вот то-то и есть. Сейчас ни одного шага нельзя делать на свою ответственность, по своему хотению, потому что за твоей спиной стоят товарищи и на них надо оглядываться. В революции личное геройство — пшик... а

иногда и оборачивается предательством. Пусть по недомыслию, а все же предательством... Ты, верно, думал: «Какой Думеко храбрый и какой я несчастный», а на практике ты поступил разумней. Мало ли всякой сволочи на берегу языками треплет — всех не переслушаешь, всех не перекричишь, а раздражать массу, когда в ней все ходуном ходит,— глупо. Ведь сложные дела пошли — мы с тобой в них путаемся, а толпа эта? Грамоте ее, что ли, царь учил? Нагайками да тюрьмами последние мозги выбивали. Они в таком переплете путаются, как слепые щенки. И не лихим гамузом их брать надо, а исподволь напрочно, объяснить, втолковать, овладеть... А Думеки только с панталыку сбивают лихостью... А тебе нравится. Так вас встарь учили: «Атакуй врага в лоб». Дешевая, друг, это наука. Иногда, прежде чем атаковать, полезно пятки показать... Во всей царской России один только и был генерал, который большевистскую тактику понимал,— Кутузов. Зато и Наполеона угробил... Вот покрутишься, поваришься в нашем котле, перемелешься — и ясно тебе будет. И не ворочай назад, Глеб Николаевич, как брату говорю. Не свернешь, пойдешь с нами дальше, врастешь в нас — поймешь эту мудрость. Пойдешь, Глеб Николаич?

Лавриненко протянул руку и положил ее на плечо Глеба.

— Мой путь выбран,— тихо ответил Глеб.

— Ну, ладно. Поедем на «Керчь».

* * *

На «Керчи» в кают-компании было полно народу. Анненский, Депиш, Алексеев, Подвысоцкий, комиссары «Баранова» и «Стремительного», судком «Керчи» сидели вокруг стола. С командирского конца мягко светились глаза Кукеля.

Глеба поразила четкая налаженность миноносца. Вахта неслась, как в мирное время, все были на местах, в кают-компании — обычный уют и теплота.

Когда Глеб с Лавриненко входили в кают-компанию, Анненский спрашивал Кукеля:

— Сколько людей оставлять на миноносцах, Владимир Андреевич, для непосредственного выполнения потопления и подрыва?

Этот вопрос, вопрос о смерти кораблей, звучал нелепо

и неправдоподобно в ярко освещенной кают-компании корабля, который завтра должен был пойти на дно. Глебу на мгновение показалось, что вся трагедия этих дней только сон: стоит сделать усилие, проснуться — и все развеется.

Но спокойный ответ Кукеля уверил его, что все происходит наяву.

— Сколько? Трое на открытие иллюминаторов и кингстонов, один на шнур, один для общего наблюдения. Четыре-пять человек.

Голос был холодный и отчетливый, но Глеб видел, как у Кукеля задрожали веки и пальцы быстрей закатали по скатерти хлебный шарик.

В коридоре кают зазвучали быстрые шаги, и в кают-компанию вошел комиссар «Гаджибея». Поздоровавшись, он обратился к Алексееву:

— Слышь, командир! Я не хотел приезжать — нужно было на миноносце за порядком поглядеть, поговорить с командой, да такие дела начались, что решил тебя упредить. Как стемнело, пошли вокруг миноносца шаланды разные. Вертятся, зазывают братву на водку, бутылки показывают, к борту пристают, как ни гоняем. Так вот: оставайся ты лучше здесь ночевать,— неровен час, ночью ворвется какая-нибудь банда. Ухлопают за милую душу, и не схватишься.

— Конечно, не ездите, Алексеев,— предложил Кукель.— У нас места много. Переночуете спокойно, а завтра утром переберетесь.

Алексеев поднялся, неторопливо оправил китель.

— Спасибо, товарищи, за внимание,— надломленно сказал он,— но последнюю ночь жизни моего родного миноносца я проведу на нем. Я ничего не боюсь. Если меня убьют — потопить «Гаджибей» вы сможете и без меня. Спокойной ночи.

Все молчали. Всем было ясно, что на месте Алексеева так же поступил бы каждый из них. Покинуть свой корабль было бесчестьем для моряка.

Молчаливо попрощались.

На палубе у трапа Кукель спросил Глеба:

— Вы куда, Алябьев?

— В поезд, Владимир Андреевич... Служба.

— Счастливого пути! Хотя мне кажется, что ни вы не нужны в этом поезде, ни поезд никому не нужен. Мы думали, что представители Совнаркома сумеют проявить большую твердость и способность воздействовать на пси-

хику масс, чем это оказалось на деле. Персональный выбор оказался неудачным.

— Прошляпили, Владимир Андреевич... До свиданья.

Глеб стиснул насколько мог крепко худые пальцы командира «Керчи» и внезапно, охваченный неудержимым желанием сказать этому человеку то, что думал о нем он, Глеб, приблизившись вплотную, прошептал, сбиваясь:

— Не сердитесь, Владимир Андреевич... Я хотел вам сказать... ах, не то... если бы вы знали, как я вас уважаю... Вы — исключительный человек!

Сухое лицо Кукеля озарилось мягкой усмешкой.

— Спасибо, Алябьев... Но я такой же, как все остальные... У меня два долга — долг чести солдата и долг перед революцией. Их требования совпали, и я исполняю их. Прощайте!

Глеб торопливо прыгнул в катер, боясь, что прорвутся ненужные слезы. Приехав на «Шестакова», он отвязал свою бесхозяйную двойку и, отказавшись от предложения доставить его к таможне на катере, уплыл в темноту.

Изо всех сил налегая на весла, он юлил, не ослабляя темпа, пока не вогнал двойку с разгона на береговую отмель.

Бросив ее на произвол судьбы, Глеб выкарабкался на набережную.

Идти сразу в поезд, в суконную духоту купе, не хотелось. Глеб прошел мимо пристаней и поднялся в гору, по направлению к цементному заводу, свернул в какой-то переулочек. Переулочек кончался тупиком, упираясь в зеленую деревянную ограду сада. Из-под густых деревьев пряно и сладко пахло цветами.

Не задумываясь, Глеб взялся за рейки ограды и перемахнул ее широким прыжком, прямо в сладкий мрак под деревом. Комья сухой земли зашуршали под его ногами, взметнув сухую, горько пахнущую пыль.

Легкая тень с криком метнулась от Глеба.

— Стойте,— сказал Глеб, поняв, что напугал кого-то,— не бойтесь. Я не преступник.

Тень остановилась и медленно придвинулась к нему. В темноте Глеб увидел женский силуэт. Он не мог различить ни лица, ни фигуры. Только чуть поблескивали настороженные белки глаз.

— А хто вы такой будете? — спросила женщина грудным теплым голосом.

— Я флотский... Мичман,— пробормотал Глеб, чув-

ствуя всю нелепость своих слов, никак не объяснявших неожиданного ночного вторжения в чужой сад.

— Мычман? — протянула женщина успокоенней.— Чего ж вы, как ведмедь, по чужим садам скакаете?

— Так хорошо пахли цветы... впрочем... ну, я сам не знаю, как это вышло.

Женщина совсем приблизилась и засмеялась царапающим смешком.

— От-то чудной... На квиточки летит, як бжола. Ну, будьте гостем, сидайте.

Глеб почувствовал, как сухая крепкая рука твердо взяла его руку и потянула в мрак под деревом. Глеб различил смутные очертания скамейки и сел рядом с хозяйкой сада.

Женщина помолчала, потом сказала недоуменно ласково:

— Сидю, на звездочки глядю, думку думаю, и на тебе... И откуда такой взявся, билый, як лебеденок? Чого бродите? Сумно, чи що?

— Душно,— не думая, ответил Глеб и прибавил: — Завтра мы топим свои корабли. Это все равно, что убить свою любовь... Впрочем, вам это неинтересно.

Женщина подняла руку, звякнув чем-то,— вероятно, браслетом.

— Чому неинтересно.. Я все понимаю. Бидные вы, бесприютные!

В голосе ее было столько певучести, тепла, нежности, что он стал почти ощутимой физически лаской для Глеба. Он, вздохнув, склонил голову и коснулся лбом плеча женщины. Тогда она взяла его ладонями за щеки и осторожно, точно боясь уронить, склонила голову Глеба к себе на колени.

— Отдохни, хлопец!.. Много еще придется тебе сиротой по свиту блукать. От и мой такой же дурный, немирный.

Пахнущие травой твердые ее пальцы ласково гладили Глеба по щекам и лбу.

Глеб не знал — молода ли или стара эта женщина, красива или безобразна. Но от нее шло такое бодрящее веяние нежности, что он не шевелился, боясь движением спугнуть этот поток почти материнской ласки, лившийся из ее рук.

Между густой листвой дерева мерцали тусклые огоньки судов в бухте и на рейде. Не шевелясь, Глеб смотрел

на них, погружаясь в сказочное оцепенение. Ему хотелось, чтобы эта странная нега длилась без конца.

Но внезапно он увидел высоко вспыхнувший яркий огонь, мигающий неровными проблесками. Он стряхнул с себя очарование и вскочил.

— Чого? — шепотом, встревоженно спросила женщина.

— Молчите... Видите? — также шепотом ответил Глеб, вытягивая шею.

«Воля» на рейде морзила клотиком... Черточка за черточкой, точка за точкой, напрягая все внимание, Глеб читал и прочел отмерцавший сигнал:

«Судам, идущим в Севастополь,— сниматься с якоря».

Он отшатнулся. «Значит, все кончено? Значит, сейчас оторвутся от грунта якоря, забурлит, заклокочет вода под тугим напором винтов и стоящие за брекватером уйдут, канут в черную мглу, на вечный позор?»

Ветер донес до ушей Глеба свистки, шип лебедок, грохот якорных канатов, крики. Глеб беспомощно оглянулся... О, если бы здесь, за садом, на взгорье, стояли крепостные орудия! Кинуться к ним, вызвать комендоров, сжав челюсти в непередаваемой злобе дать установку прицела и целика и, ненавидя — ненавидя всем сердцем, всем существом их, изменивших стране и революции, скомандовать:

— Залп!.. Залп!.. Залп!..

Чтобы за подавляющим ревом залпов, за гулом снарядов вот там, в лунном мареве, брызнули золотые огни разрывов, чтобы, с грохотом раздирая и комкая тяжелую сталь, взорвались снарядные погреба, запылали пожары и опозорившие себя корабли, кренясь и оседая во взбудораженную волну, в облаках пара, пошли на дно.

Но вокруг не было ни одной трехдюймовки, и Глеб знал это. Дрожа от нервного озноба, он стоял и беспомощно смотрел, смотрел, смотрел.

Он видел, как, вздыбив к небу чудовищный смерч дыма, медленно тронулась с места «Воля». Ее грузный силуэт пересек дорожку и склонился к северо-западу. Следом тонкой ниточкой кильватера потянулись миноносцы.

Тогда, зажав пальцами лицо, как будто от нестерпимого света, Глеб упал у скамьи, уткнув лицо в колени безмолвной женщины. Вся горечь этого дня вылилась в судорожном задыхании детского плача. Он плакал беззвучно, дрожа всем телом, чувствуя, как намокает платье женщины под его щекой.

Женщина по-прежнему тихо гладила его по голове.

— Маятный ты хлопец!.. Важко тебе будет житься,— сказала она с сожалением и горечью.

Слезы истощились — глаза стали сухи. Глеб поднялся, освобождая голову из ладоней женщины. Ему стало почти стыдно за свои рыдания.

— Спасибо, родная,— сказал он женщине, как сказал бы матери, целуя ее руку. Она отдернула ее...

— Не треба... Господь с тобой.

Она встала, и Глеб не увидел, но почувствовал, что женщина перекрестила его.

Он поднял упавшую с головы фуражку и бегом бросился к забору, перепрыгнул и со всех ног помчался к вокзалу.

На путях поезда не было. Глеб в недоумении остановился.

«Перевели в тупик, что ли»,— подумал он и направился к коменданту, чтобы узнать, куда девался поезд. Подходя, увидел выходящего из вокзала Думеко.

— Думеко?.. Что случилось? Где поезд? — спросил Глеб.

Думеко остановился, выкатил на Глеба неузнаваемые бешеные глаза и сорвался.

— Мать... мать... мать!..— по пустому перрону грязным комом покатилось сорокаэтажное матросское ругательство.— Мать... поезда! Держи, лови поезд за хвост!..

— Да бросьте ругаться, Думеко! Толком — в чем дело?

— В чем дело? — уже успокоенней сказал матрос, отведя душу.— В том дело, Глеб Николаич, что нет поезда. Задал поезд лататы вместе с товарищами комиссарами. Поди, теперь верст по пятьдесят зажаривает.

— Зачем?

— А я вас спрошу — зачем?.. Прибегла, прости господи, вонючая гнида с полными штанами от страху, наплела невесть чего, а мы — бежать. Куда бежать? Чего бежать? Да будь я проклят, чтоб я побежал...

— Думеко,— раздраженно сказал Глеб,— я ничего не понимаю. Успокойтесь и объясните связно.

— Да чего тут объяснять? Вот, сами читайте. Я эту чертову грамоту в карман себе сунул. Писала писака, что неразбери собака,— с непередаваемым презрением буркнул Думеко, тыча Глебу вынутую из кармана бумажку.— На подтирку и то зазорно.

Глеб подошел к окну вокзальной дежурки, откуда шел яркий свет, и расправил смятый листок. С трудом разбирая каракули чернильного карандаша, он прочел:

«Слушали: в отношении представителей центральной власти Вахрамеева и Авилова, как самозванцев на предмет дискредитации и измены, а также провокации в уничтожении флота, как защиты и опоры, равно военной силы Кубано-Черноморской республики. Постановили: означенных Вахрамеева и Авилова расстрелять за измену и провокацию от Совета рабочих и солдатских депутатов города Новороссийска, как революционной власти, в 24 часа без обжалования...»

Ни подписи, ни печати не было. Глеб недоуменно перевернул листок.

— Не понимаю... Откуда эта чепуха?

— Я и говорю, что чепуха,— отозвался Думеко.— Прибег час назад председатель совдепа, принес это дерьмо. Постановление совдепа, извиняюсь. Его в гальюн бросить, а товарищ Вахрамеев мне говорит: «Немедленно подать паровоз — мы едем». Я говорю, что довольно стыдно давать деру, а он мне: «Ты комендант поезда и отвечаешь за немедленное отправление». Ну, я к дежурному, паровоз пригнал... фить — и поехали... Председатель совдепный тоже с ними удрал. А я с подножки прыг — и будьте здоровы... С меня довольно! Я матрос, а не цыганский конь на ярмарке, чтоб меня гонять туды-сюды для резвости. Набегался! Кому охота, а мне неволя. Теперь у коменданта приютился.

— То есть, иначе говоря, вы дезертировали с поезда в ответственную минуту, Думеко? — резко спросил Глеб.

Мальчишеское восхищение поведением Думеко сменилось у Глеба возмущением. Вспомнился разговор с Лавриненко.

«Действительно, анархист»,— подумал Глеб.

Думеко, ошеломленный вопросом в упор, отступил и покачал головой.

— Эх! — произнес он с обидой.— От вас, Глеб Николаич, не ожидал заслужить дезертира... Что ж, по-вашему, лучше от десяти дураков бежать, на смех всему народу?

— Не в этом дело, Думеко. Каждый из нас отвечает не только за себя. Вахрамеев и Авилов ответственны перед Совнаркомом. Если они поступили неправильно, с них взыщут. Но пока они не лишены полномочий, они имеют

право приказывать и делать так, как кажется им целесообразно. Вы комендант поезда и бросили его в самый роковой час... А если по дороге произойдет несчастье — как вы будете себя чувствовать?

Думеко молчал.

— Вот видите?.. Что же теперь делать?

Думеко поднял голову. Сказал со сконфуженной усмешкой:

— Признаться, Глеб Николаич, неладно вышло. Сгоряча... обида за сердце взяла... Спасибо, что обругали... Только дело можно поправить,— вдруг оживился он и стал прежним Думеко,— в два счета. Сейчас возьмем паровоз и мигом догоним.

Он рванулся, но Глеб схватил его за руку.

— Еще чище!.. Теперь поздно. Захватить паровоз, спутать весь график движения,— это не выход. Раз так случилось — подождем утра. Едет член морской коллегии, вероятно, с ним вернутся и наши. Не делайте больше глупостей. Идите спать.

— Есть,— ответил Думеко.— А как же вы, Глеб Николаич?

— Пойду ночевать на «Шестакова».

— Нет, это не годится,— оборвал Думеко.— Куда вы попретесь ночью, через гавань. Там грабеж пошел, пьянка. Хлопнут из-за угла. Идите лучше к дежурному, у него в комнате диванчик есть — попроситесь переспать.

Совет был разумен. Путешествовать через город в кромешной темноте было нелепо.

— Тогда завтра утром разбудите меня, Думеко,— попросил Глеб и направился в дежурку.

* * *

Мичман Соколовский проснулся рано. Стекло открытого иллюминатора, розово отлакированное восходящим солнцем, бросало зайчик на подушку и щекотало мичмана. Он поднялся, спустил ноги на коврик каюты, хозяйственно поглядел на упакованный чемодан и ловко свернутую, перетянутую ремнем шинель.

Мичман похлопал ладонью по желтой коже чемодана и улыбнулся. Потом прислушался. Под бортом, как влюбленные голуби, ворковала вода. Странные скрежещущие скрипы и трески раскатывались по покинутому миноносцу. Что-то шуршало под полом, и Соколовскому показа-

лось на мгновение, что корабль хрипло дышит, как умирающий.

Он досадливо отмахнулся от этой мысли и посмотрел на часы.

«Четверть пятого... Поезд идет в семь. Успею»,— подумал он и добавил вслух:

— Итак, в добрый путь, бывший офицер бывшего флота!

Одевшись, он умылся и взял со столика фуражку. Перочинным ножом спорол с фуражки золотой веночек — тот самый шикарный веночек, о котором мечтали все мичмана Российского императорского флота, которого только не хватало, чтобы стать похожим во всем на шикарных англичан. По иронии судьбы этим веночком наградила мичманов революция взамен утраченных с февраля погон.

Отпоров веночек, мичман взял иголку с ниткой и, неумело ковыряя, пашил вместо веночка красный лоскут, представлявший грубое подобие звезды. Отставив фуражку, полюбовался, выпятив губу, на свою работу. Аккуратно воткнул иголку в катушку и удовлетворенно пробормотал:

— Применение к обстановке. Мимикрия полезна и в социологии.

За дверью каюты что-то упало с металлическим грохотом. Мичман насадил фуражку на голову и, прыгнув, распахнул дверь каюты. В коридоре офицерских помещений темнел какой-то силуэт.

— Что за черт там? — крикнул мичман. Силуэт метнулся, и по коридору пронесся топот бегущих ног. Мичман бросился вдогонку и, споткнувшись в дверях о брошенный поперек коридора медный прут с гардиной из чьей-то каюты, выскочил на палубу.

Первое, что он увидел,— была толпа, стоявшая на стенке, пад миноносцем. Впереди красовались портовые оборванцы в невероятных лохмотьях. Сшитые угольные мешки, остатки древних пиджаков, рогожи, рваные косоворотки едва прикрывали грязные, запаршивевшие тела людей. Жадными, собачьими глазами они безмолвно глядели на миноносцы, и мичмана покоробило от этих неподвижных, блестящих алчностью зрачков.

«Точно волки у падали»,— подумал он с омерзением и нежданным страхом.

Чтобы не смотреть на этих людей, он деланно небрежно повернулся к ним спиной и взглянул по палубе. На

ней валялись окурки, черешневые косточки, бумажки, засаленные тряпки. Мичман заметил, что с торпедного аппарата сорваны спусковые крючки и грубо, с мясом, выворочены бронзовые кольца. Так же были выдраны медные поручни трапа и сорван брезент с пулеметной тумбы. Пулемет валялся под полубаком с продавленным кожухом. Очевидно, ночью миноносец нагло обдирали.

В нормальное время всякий мичман на месте сошел бы с ума от такого разрушения и кабака на священной палубе военного судна, но сейчас все это наполнило оскорбленное офицерское сердце мичмана Соколовского злобным удовлетворением.

— Чистая работа! — заметил он, присвистнув и засовывая руки в карманы.— При кровавом царском режиме так не сделать. Достижения коммуны!

Он перешел на наружный борт посмотреть на бухту, вспомнив на мгновение того странного чудака в блестящем кителе, который вчера являлся упрекать его, мичмана Соколовского, за незастегнутые брюки и беспорядок на миноносце. Воспоминание развеселило Соколовского.

«Хорошо я отшил этого милорда... И откуда он взялся с порядком?»

Взглянув на бухту, мичман увидел, как к неподвижному «Гаджибею» кормой подходила «Керчь», заводя буксирный перлинь. Мичман ехидно скосоурился.

«Ишь стараются братишечки! Воевать — так нет, а топиться — с нашим удовольствием»,— подумал он и с любопытством стал наблюдать за работой. На «Гаджибее» перлинь закрепили за баковый шпиль, и «Керчь» медленно тронулась, ворочая форштевнем на «Фидониси».

Тихо скользя по зеленому шелку бухты, буксирующий миноносец разворачивался на траверзе «Фидониси», всего в полукабельтове. На мостике «Керчи», на ближней к «Фидониси» стороне, мичман Соколовский увидел командира миноносца. Против солнца он казался очень высоким. Положив руки на бортик мостика, лейтенант Кукель спокойно наблюдал за буксировкой.

Неожиданно мичман Соколовский ощутил бок о бок с собой присутствие кого-то постороннего. Он еще не видел, но ощущал рядом человека. Ощущение было неприятное, и мичман быстро оглянулся. Почти рядом с ним, едва не касаясь плечом, стоял матрос. Его бесшумное и внезапное появление на палубе было почти сверхъестественно, но мичман уже не поддавался обычным челове-

ческим впечатлениям и равнодушно оглядел матроса с головы до ног.

Матрос был чужой, незнакомый. Он был молод, черняв; тонкие черные бровки червячками лежали над глазами и срастались на переносье. На правой щеке, под глазом, круглилась задорная, волнующая родинка. Он тоже смотрел на «Керчь», не обращая никакого внимания на мичмана. Рукой он опирался на винтовку, пухлый рот его был полураскрыт.

Мичман, закончив осмотр соседа, безразлично отвернулся. Что он Гекубе и что ему Гекуба? Никакие матросы больше не касаются его, бывшего мичмана разворованного новороссийскими жуликами миноносца. Пришел матрос — ну и черт с ним! Откуда он? Неважно. Если бы на глазах мичмана Соколовского палуба расступилась и матрос провалился бы в облако серного дыма, мичман не повел бы бровью.

Он продолжал смотреть на отходящую к брекватеру «Керчь». Лейтенант Кукель перешел на другую сторону мостика и скрылся из глаз. Мичман вяло сплюнул за борт — на палубу все-таки даже в последнем дерзновении не осмелился — и сумрачно продекламировал:

И на челе его высоком
Не отразилось ничего...—

пожал плечом и почти без злости закончил:

— В адмирала играет, сволочь!

Неизвестный матрос точно проснулся от голоса мичмана и поджал губы. Потом небрежно и негромко спросил:

— Это про кого?

— А вон — видал флагмана погорелого флота?

— Про Кукеля, значит?

Мичман утвердительно мотнул головой. Тогда матрос, искоса метнув зрачками в мичмана, отступил на шаг и перехватил винтовку обеими руками. Червячки его бровей сдвинулись ближе.

— Иди на корму! — с задыхающимся присвистом коротко приказал он.

— Куда? — обрел наконец способность удивляться мичман.

— На корму, говорю, иди,— повторил матрос, направляя штык на мичмана.

— Да ты откуда такой взялся? — попытался огрызнуться Соколовский, но матрос сделал неуловимое движе-

ние, и штык ощутительно кольнул мичмана в середину груди. Он невольно отпрыгнул, поскользнулся и, выпрямляясь, вскрикнул:

— Да ты что? Обалдел, орясина? Что за шутки?!

Матрос помолчал секунду и обошел мичмана с другой стороны.

— Раздумал я. Не хочу шханцы тобой пакостить,— серьезно и тихо, как будто убеждая мичмана в своей правоте, заговорил он.— Полезай на бак!

— Да в чем дело? — спросил мичман, бледнея. Ему показалось, что матрос сошел с ума. Но матрос так же тихо ответил:

— Молчи, драконье семя. Ты кого это сволочью обозвал? Один человек среди вашего племени на весь флот нашелся, что матросу за брата стал, что одну с матросом корочку жует и горькой бедой запивает, а ты его языком гадовым поганишь?.. Иди!.. Кончать тебя буду.

У мичмана затряслись ноги. Штык снова надвинулся на него. Уклоняясь от острого стального язычка, мичман стал пятиться, наткнулся на ступеньку трапа и задом, не в силах оторваться от нахмуренных бровей матроса, полез на полубак.

Матрос, ступенька за ступенькой, подымался за ним. Очутившись на полубаке, он стал теснить мичмана к гюйсштоку, переступая легкой кошачьей поступью. Мичман, все больше бледнея, отступал и остановился наконец на узком, не шире его ступней, кусочке палубы у обрыва форштевня.

Остановившись, он загнанно посмотрел вокруг. Сгрудившаяся на набережной толпа оборванцев стихла, предчувствуя необычайное. Мичман хотел закричать, позвать на помощь, но увидел сотни расширенных внимательных глаз. В них было только звериное любопытство и нескрытая жажда крови. Крик завяз во рту мичмана, и только струйка слюны стекла с губы на подбородок. Вспотев с ног до головы, мичман взглянул на матроса, но не увидел его. Матроса заслоняло сияющее на солнце колечко дула. Оно распухало в глазах мичмана и надвигалось огромное, как дуло двенадцатидюймового орудия, упираясь в переносицу мичмана, закрывая весь мир. Соколовский вскинул руки, чтобы закрыться, но сквозь пальцы вспыхнуло розовое теплое облачко.

Мичман согнулся, хватаясь за гюйсшток, оборвался и рухнул в воду. Вспугнутая стайка бычков метнулась в

зеленую глубину, а за ней, переваливаясь с боку на бок и колыхаясь, стал опускаться мичман. За ним в воде тянулась темная струйка.

Матрос подошел к флагштоку и брезгливым ударом ноги столкнул за борт свалившуюся па палубу фуражку с нашитым красным лоскутом. Потом лениво выбросил из затвора стреляную гильзу и, закинув винтовку на ремень, тем же беззвучным кошачьим шагом спустился с полубака, вышел на стенку и, не глядя па расступившуюся перед ним толпу, скрылся за грузовыми пакгаузами.

И когда он исчез, сначала по одному, а потом сразу кучками, толкаясь на узких мостках, толпа ринулась на миноносец. Застучали молотки и ломы, заскрежетало и запело раздираемое железо.

. . . .

Когда катер, высадив на берегу приехавших членов Реввоенсовета, шел через бухту, внимание Глеба привлекло необычайное скопление лодок у «Свободной России». Дредноут был облеплен ими с левого борта, как труп лошади мухами.

Ботики, шлюпки, шаланды, каючки теснились к средней башне. Заинтересованный Глеб приказал рулевому править к кораблю. Подойдя ближе, он увидел на выступе борта двух матросов. Между ними высилась странная, неправильной формы пирамида, превышавшая их рост. Только подойдя вплотную к дредноуту, Глеб понял, что там лежат сваленные па палубу книги.

Один из матросов, рыжий, усатый, сложив руки лодочкой, кричал вниз, в гущу лодок:

— Граждане и товарищи!.. Просю не устраивать толкучку, бо можете перекидаться и потопить людей. Поскольку уся наша команда единодушно порешила не сдавать наш дорогой революционный боевой корабль немцам, а потопить его со славой, то мы будем раздавать книжки из библиотеки гражданам на память, бо топить их жалко в рассуждении народного образования. Не толпитесь, говорю,— на всех книжек хватит... На палубу допускать никого не можем, бо сами поймите, по морде не разгадаешь, кто из вас — дорогие наши товарищи, а кто — провокаторы и темная сволочь... А потому буду бросать книги с борту... Лови, граждане!

Глеб видел, как взметнулись в воздухе брошенные матросом книги. Они летели вниз подстреленными пти-

цами, шумя и трепеща раскрывающимися крыльями страниц.

На лодках начался галдеж и суетня. Люди вскакивали на банки, протягивая руки и ловя книги. Книги дождем падали в шлюпки и в воду. За упавшими в воду прыгали, радостно визжа, голые мальчишки. Все это было похоже на нарочно придуманную веселую игру, но Глеб болезненно зажмурился.

Катер, медленно пройдя вдоль лодочной суматохи, дал полный ход и побежал на рейд.

Все миноносцы уже стояли за брекватером, на рейде, опустелые, молчаливые. На реях у них висел героический сигнал — сигнал, бывший символом веры, исповеданием, святыней двухвековой истории Российского флота.

Этот сигнал подымался в неравных боях на парусных бригах, на первых колесных судах, на крылатых фрегатах. Подымался и исполнялся всегда, до последних лет Российской империи. Этому сигналу был обязан георгиевским крестом и вечной памятью в сердцах моряков капитан-лейтенант Козарский, схватившийся на бриге «Меркурий» с тремя вдесятеро сильнейшими турецкими кораблями. И не только лейтенант Козарский был запечатлен золотыми буквами в истории флота, но и бриг его стал вечным синонимом доблести. Пришедший в ветхость, он был разобран, но на его место вошел в строй новый корабль, получивший имя «Память Меркурия» и украсившийся щитом с георгиевскими лентами под кормовым флагом.

Пример доблести, заключавшейся в том, чтобы, вопреки рассудку и боевому смыслу, обрекать корабль и сотни людей на бессмысленную гибель, витал в фантазиях мичманов и гардемаринов, мечтавших о славе Козарского.

И только однажды нашелся адмирал, который имел дерзость усомниться в непогрешимости этого догмата доблести и предпочевший вместо того, чтобы потопить, как ненужных котят, две тысячи матросов во славу империи и флота,— сберечь их жалкие казенные жизни и спустить гордые флаги перед неприятелем.

За гуманную философию адмирал Небогатов заплатил десятью годами крепости и позором. Его имя стало синонимом измены, его имя было вычеркнуто из списков флота навсегда, вытерто пемзой с гербовой бумаги.

Он был поднят на реях миноносцев, этот славный и безумный сигнал:

«Погибаю, но не сдаюсь».

Но теперь, впервые в истории мира, он был поднят на реях флота революции, которому судьба назначила скорбную участь — умереть, едва успев родиться. Флот революции не мог бессмысленно губить жизни своих моряков, но корабли его должны были умереть незапятнанными, к его флагам не должна была прикоснуться чугунная рука немецкой военщины, фельдфебельской монархии Гогенцоллернов.

Ветер тихо плескал флаги сигнала.

Катер пристал к борту «Керчи». Глеб выскочил на палубу.

С подошедшего «Шестакова» Анненский кричал в мегафон:

— Владимир Андреевич!.. «Фидониси» не могу вывести. На берегу огромная толпа. Ведет себя угрожающе... Обрезали буксир... Стреляли по мостику.

— Идите за «Россией» и выводите ее вместе с буксиром... «Фидониси» беру на себя,— услыхал Глеб над головой ответ Кукеля, тоже в мегафон.

Глеб бегом поднялся на мостик. Увидел, как Кукель перевел ручки машинного телеграфа на «полный».

Миноносец дрогнул, рванулся и, все убыстряя ход, понесся в ворота брекватера.

Еще издали было видно, как у места стоянки «Фидониси» беснуется толпа.

Гулкий рев несся оттуда. Палуба «Фидониси» была заполнена людьми. Они кричали и грозили кулаками подходившей «Керчи».

Кукель взял мегафон.

— Всем находящимся на палубе «Фидониси» немедленно сойти на берег!

Вой толпы усилился. Навстречу «Керчи» полетели камни и палки.

Тогда дрожью ярости рассыпался по миноносцу стрекот колоколов громкого боя, и «Керчь» встала бортом против стенки. Команда споро и бесшумно бежала к орудиям.

— Наводка по толпе!.. Картечью! — услыхал Глеб ломкий, как стекло, голос Кукеля.

И опять заревел мегафон.

— В случае неподчинения и неоставления миноносца — открываю огонь!

Длинные тела орудий развернулись перпендикулярно борту, качнулись и застыли на уровне стенки... Затворы, масляно и аппетитно чавкнув, сожрали гильзы.

Толпа мгновенно стихла. Несколько секунд она раскачивалась, как одно огромное слитое тело, в нерешительности. Но затем высокий, испуганный бабий голос завопил:

— Тикайте... бо забьют!

Этого было достаточно. Ревя, вопя, сбивая неловких и слабых под ноги, нанося страшные озверелые удары по головам, глазам, челюстям, бокам, обезумевшее стадо рассыпалось. На стенке остались, корчась, придавленные, сбитые с ног: валялись шапки, фуражки, платки, корзины, бутылки.

Пока заводили буксир, ни одного человека не было видно за пакгаузами. И только когда «Керчь» пошла к рейду, ведя за собой ограбленного, изувеченного товарища, из-за груды мешков на набережной хлопнул одинокий винтовочный выстрел. Пуля, звонко щелкнув по верхней кромке рубки, визгнула в сторону.

Стоявший рядом с Глебом сигнальщик выругался.

— У, бандюги чертовы! Жаль, что не угостили.

* * *

Пока происходил отвод «Фидониси», «Шестаков» с буксирным пароходиком «Чиатуры», команду для которого успел укомплектовать член морской коллегии, сломив саботаж коммерческих моряков, вывели на рейд «Свободную Россию».

Когда «Керчь» привела «Фидониси» на линию выстроенных миноносцев, «Шестаков» отдал буксир и подошел вплотную к «Керчи».

— Прошу освободить от дальнейшего буксирования! — прокричал Анненский.— Кочегары задыхаются и не могут работать. Вентиляция не действует.

— Стать на место, свозить команду, приготовиться к потоплению! — ответил Кукель.

«Керчь», в свою очередь, отдала буксир «Фидониси», и он остался за кормой. «Керчь» отходила малым ходом, как будто не желая покидать обреченный миноносец.

Глеб видел, как Кукель вынул часы, щелкнул крышкой и повернулся к Подвысоцкому.

— Борис Максимилианович... Начинайте. По «Фидониси»!

На мостике стало тихо. Люди не смотрели друг на друга, сжались.

— Зарядить носовые торпедные!.. Приготовиться к залпу!

Две торпеды стальными осетрами нырнули в трубы аппаратов. Аппараты повернулись на борт. Миноносец прибавил ходу и стал ворочать, выходя на крамбол медленно покачивавшегося на волне «Фидониси». Подвысоцкий нагнулся над минным прицелом:

— Первым... Залп!..

Шумно вздохнул аппарат, и Глебу показалось, что вместе со вздохом сжатого воздуха, выбросившего торпеду, мучительно вздохнули сто тридцать два человека на миноносце и сам миноносец.

Легко плеснула за бортом вода, торпеда нырнула, выпрыгнула носом, взревела и, погрузившись, побежала к «Фидониси». Точно выглаженный утюгом, следок ее отпечатался на воде.

«Раз... два... три... пять... десять,— мысленно считал Глеб, все замедляя темп, точно хотел задержать этим неумолимый бег одушевленного механизма,— восемнадцать...»

Сзади рубки «Фидониси» сверкнул, вздымаясь из воды, сноп огня. Взвился и погас, захлестнутый высоким смерчем взметенной пены и дыма, быстро растущим ввысь и вширь. И тотчас же в уши болезненно ударило громом взрыва.

Смерч дыма расплывался вверху плоским облаком, как на картинках, изображающих Везувий, и стал медленно опадать, скрывая корпус разбитого миноносца. Постепенно из дыма, падая набок, показалась фокмачта с повисшей сорванной стеньгой, потом трубы.

«Фидониси» бесшумно клонился, оседая носом. Показалась подводная часть левого борта с пятнами приросших водорослей, потом киль.

Прошло еще несколько минут. Глухо заклокотала вода и сомкнулась. «Фидониси» исчез.

От Дообского маяка, где темной громадой неподвижно каменела «Свободная Россия», пыхтя мотором, подходила маленькая шхуна, везшая снятую команду.

Проходя мимо «Керчи», матросы замахали шапками.

На юте шхуны, у штурвала, Глеб заметил маленькую юркую фигурку Терентьева. На траверзе «Керчи» Терентьев подбежал к борту и, цепляясь за вантины, крикнул:

— Лейтенант Кукель! Вот вам пустой корабль, делайте с ним, что хотите. Буксиру никаких распоряжений не дано!

В крике была злость и обида. Неудачливый командир «России» хотел этим криком отвести душу, сорвать огорчение за неудачи бегства в Севастополь. Капитан второго ранга Терентьев не имел волевых качеств и напористости Тихменева и потерпел поражение.

На мостике «Керчи» недоуменно переглянулись. Подвысоцкий тихо сказал:

— Вот дурак!

Шхуна прошла. Раздалось несколько глухих, негромких взрывов. Рвались в турбинах миноносцев подложенные подрывные патроны. Один за другим миноносцы склонялись на борт, касаясь реями воды, и, перевернувшись, уходили на дно. Рейд опустел.

С запада, от крымских берегов, тяжелая, черно-синяя, подымалась грозовая туча. Нависла сжимающая горло духота.

— Пора кончать, Борис Максимилианович.

Машинный телеграф звякнул. Миноносец забился горячечным трепетом хода.

— Лево на борт!.. Так держать!..

— Есть так держать...

Прямо по носу вырастал корпус дредноута. Команда «Керчи» сгрудилась на палубе в молчаливом оцепенении, не отрываясь от стальной крепости.

Опять звякнул телеграф. Замерла дрожь корпуса.

— Под носовую башню! Возможно, что произойдет детонация в погребах,— услышал Глеб.

Две торпеды рядом помчались к дредноуту. Прошли томительные секунды.

Слабо ударил взрыв, едва подняв столб воды до уровня верхней палубы. Второго взрыва не было, торпеда или дала осечку, или прошла под кораблем. Заряд взорвавшейся оказался слабым.

— Не хочет идти на дно. Зазорно тонуть «Свободной России»,— выдохнул сигнальщик.

Подвысоцкий закусил губу. Он едва владел собой.

— Залп!..

Опять два взрыва, и оба — слабых. Корабль только чуть-чуть раскачивался, встревоженный ударами, но не кренился и не оседал.

— Да что же это?.. Долго еще мучить? — крикнул матрос внизу.

Бледный, с запавшими глазами, точно похудевший в эти полчаса, Кукель сам скомандовал:

— Залп!..

Миноносец шатнулся, точно подпрыгнул на воде. Взрыв обрушился, как грохочущий неимоверной силы обвал. Новый смерч дыма и взбесившейся воды рванулся к небу и заволок весь корабль с мачтами.

Когда он опал, тревожный, испуганный шепот пронесся по миноносцу от мостика до юта. Между второй и третьей башнями, на месте обвалившихся пластин брони, открылась пробоина от ватерлинии до верхней палубы.

На обнаженных стенках борта зачервонел сурик, как будто из раны корабля потоком ринулась кровь.

Дредноут умирал, как человек. Его били судороги. Он едва заметно осел набок и качнулся. Стало заметно, как форштевень уходит под воду. Волна лизнула якорный клюз.

И сейчас же угнетающую тишину нарушил все увеличивающийся треск и грохот.

Крен увеличивался. Внутри корабля все срывалось с мест и катилось в сторону накрененного борта, ломая и кроша переборки. Показалась вся палуба.

С боевого мостика сорвался и полетел за борт дальномер.

Потом вздрогнула носовая башня, подпрыгнула на основании и, срывая грибы вентиляторов, кнехты, комингсы люков, поручни, вытянув шеи орудий, с гулким плеском обрушились в воду. Глеб отвернулся.

Когда он решился снова взглянуть — дредноут еще держался на воде вверх килем. Из выбитых давлением воздуха кингстонов и клинкетов били высокие фонтаны воды.

Как по команде, на «Керчи» обнажились головы. Люди тяжело дышали, угрюмо смотря на уходящий остов корабля. Глубокая воронка водоворота закружилась над ним. Из нее, гулко лопаясь, вырывались пузыри воздуха.

Глеб увидел, как рослый, широкогрудый кочегар, стоявший у торпедного аппарата, дико рванул на себе тельняшку, лопнувшую пополам, и упал на палубу лицом вниз; спина его тряслась, он рыдал, всхлипывая и выкрикивая непонятные слова.

Растерянные матросы сбились вокруг него.

— По местам! Приготовиться к походу!

Резкий оклик команды отрезвил людей. Все рассыпались. Палуба опустела, только кочегар продолжал биться в припадке.

«Керчь» круто повернула корму к могиле дредноута. Под форштевнем забурлила вода, встала двумя прозрачными стенами, рассыпаясь сверкающими каплями.

В восемнадцать часов шесть минут последний миноносец флота Российской Социалистической Федеративной Советской Республики самым полным ходом ушел к югу, держа курс на Туапсе.

В предгрозовую дымку уходило новороссийское побережье, дома, гавань, высокие трубы цементного завода.

Глеб стоял на мостике, смотрел на уходящий берег. Он прощался с этим городом и берегом, прощался с куском своей жизни, терпким и горьким, как полынный сок. Он не знал, что будет впереди, но не страшился неизвестности. С прошлым было покончено. Как потопленные корабли, оно ушло в темную глубь времени и покрывалось уже толщей забвения.

Ночь простиралась над морем и миром. Влажным синим пологом она обволакивала горизонты, бросая в темные просторы ритмически вздыхающей воды колючие иглы звездного мерцания. Море лежало пустынным, огромным, наполненным тайнами. Древний ужас мореплавателей terror antiquus исходил из его недвижных, оледенело застывших глубин, кружащими голову и воспламеняющими кровь испарениями соли и йода. Свиваясь в тонкие спирали ночного тумана, запахи моря дышали полынной горечью.

Сквозь туманы, горечь соли и йода, сквозь древний ужас мореплавателей шел в эту ночь миноносец, быстрый, молчаливый, одинокий в синей пустыне, с погашенными огнями, черный, как летучий голландец, распарывая ночную волну, гудя неумолчным пением турбин, ревя форсунками.

Тридцать два румба ходового компаса на командирском мостике просекали туманные горизонты, разрезали ночной страх водной пустыни тридцатью двумя лучами человеческого дерзания и знания. Они подчиняли стихию.

В недвижных безднах воды, сжатые и раздавленные водой и грузом веков, лежали под килем миноносца мертвецы: доисторические челны, выжженные священными кострами в колодах сваленных бурей стволов, финикий-

ские и тирские ладьи, персидские барки, эллинские и римские триремы, венецианские и генуэзские галеры, запорожские дубы, турецкие фелюги, фрегаты и пароходы, трехпалубные громады кораблей Высокой Порты — все флоты истории, проходившие по этим водам, пронося гордые флаги и погибая в жестоких схватках под свист стрел, треск абордажных топоров и пушечный гром. На мягком слое илистой слизи, в цепких объятиях водорослей, лежали они, цепенея в вековом сне, и тревожно прислушивались в подводном сумраке к глухому рокоту винтов миноносца, несущегося к своей могиле.

Лампочка ходового компаса обливала золотым медом картушку, тридцать две черты румбов и дрожащую стрелку над ними. Отражаясь, свет лампочки теплился на пальцах рулевого, лежащих на ручках штурвала, на подбородке, вспыхивал искрами в белках глаз.

Сквозь ночь рулевой вел миноносец в последний поход, твердо держа его на курсе и лишь изредка легким движением рук возвращая под узкое лезвие стрелки пытающуюся рыскнуть в сторону картушку.

Рядом в ящике лежала карта, по которой был проложен ночной курс миноносца. На карте, на кромке берега, условным значком был обозначен маяк, на траверзе которого должен был окончиться бег корабля.

Маяк назывался Кадош. Маленький и заброшенный, он в эту ночь входил в страницы истории, рядом с «Синопом», «Калиакрией» и «Гаджибеем».

Рулевой равнодушно смотрел вперед, ожидая мигающих проблесков маячного фонаря.

. . . .

Зажав в руке листок радиограммы, Глеб вышел из кают-компании на палубу.

Теплый и влажный ветер ударил в лицо, рванул фуражку. Глеб зажмурился, подставляя воспаленные щеки ветровому дыханию. Стало легко дышать после прокуренного воздуха кают-компании.

На кожухе, у передней трубы, спали матросы. Сон их был тревожен и беспокоен. Они ворочались, вздрагивали, шумно дышали, толкали друг друга во сне и, просыпаясь, ругались вполголоса, снова валясь на разостланный по кожуху брезент.

Глеб прошел мимо них и поднялся на средний мостик. Открыл дверь радиорубки. Радист дремал, положив куд-

рявую голову на столик. Глеб осторожно тронул его за рукав. Радист слегка пошевелился и забормотал во сне...

— Товарищ радист,— Глеб вторично потянул за рукав форменки,— проснитесь!

Радист поднял голову и смотрел на Глеба непонимающими, затуманенными сном, круглыми, как у птицы, карими глазами. Потом, сообразив, вскочил.

— Передайте радиограмму.

Глеб положил на столик текст. Радист пробежал его и оглянулся на мичмана с испугом.

— Значит, выходит, конец нам? Отплавали... Как-то все не верилось. Других потопили, а сами, думаю, как-нибудь еще выкрутимся.

— Нет, товарищ, не выкрутимся. Передавайте...

Радист повернул верньеры. Загорелый палец с крупным квадратным ногтем упал на рукоятку ключа. Ключ запрыгал и застрекотал.

Точка... тире... точка... тире... тире... точка...

Ключ бился под пальцем радиста, как пойманный воробей, слабо и робко чирикая. Передатчик выбрасывал в мировое пространство точки и тире, выстукивая позывные одинокого, затерянного в ночи корабля. Вверху, над рубкой, с антенны срывались и, потрескивая и шелестя, гасли быстрые голубые искры.

— Есть... ответили,— придушенным шепотом сказал радист.— Слушают... Продиктуйте для скорости, товарищ командир.

Глеб взял листок и остановился, не решаясь начать. Круглые глаза радиста выжидательно смотрели снизу. Палец радиста автоматически выбивал позывные.

Синие искры антенны тихим шелестом врывались из пустынной морской зыби в шум и грохот столиц, как гром, колеблющий мироздание.

— Всем... всем... всем,— сказал наконец Глеб, трудно ворочая пересохшим языком, и ключ передатчика забился в истерической дрожи.

— Погиб... уничтожив... часть судов... Черноморского флота... предпочевших гибель... позорной... сдаче... Германии,— медленно диктовал Глеб, зная, чувствуя, что ни одно слово этой радиограммы, набросанной на листке блокнота в бессонной атмосфере кают-компании, нельзя пропустить, нельзя заменить.

— Есть,— сказал радист, видя, что диктующий остановился.

— Эскадренный миноносец «Керчь»,— быстрой скороговоркой выкрикнул Глеб, чувствуя, что больше не хватает сил спокойно диктовать эти слова. Они были страшны, как записка самоубийцы; от них шел холодок мертвого тела.

И, словно поняв настроение Глеба, радист с такой же быстротой отщелкал последнюю фразу. Судорожно прыгающий палец его сорвался с ключа, неподвижно лег на столик. Радист повернулся к Глебу, встретился с ним взглядом, и оба опустили глаза, как будто этим взглядом они передали друг другу огромную, непроизносимую, навеки связавшую их тайну.

— Вот и померли... прощай море,— угрюмо сказал радист и, внезапно размахнувшись, изо всей силы ударил сжатым кулаком по крышке передатчика. Жалобно зазвенело, скрипнуло, дрогнуло, и мутное красное сияние, струившееся из-под блестящей амальгамы ламп, погасло.

Радист потер кулак и с деланной лихостью кинул удивленному Глебу:

— Амба!.. Больше не понадобится. Пять годков я с ним нянчился, как с дитем. Пропадай мой аппаратик — все четыре колеса!

Снаружи, с палубы, пронзительно залились дудки аврала. Глеб, не ответив радисту, выскочил наружу.

На чуть заметном вдали массиве берега яркими вспышками мигал маяк Кадош.

На полубаке раздирающе заскрежетала лебедка, за бортом гулко плеснуло, и, гремя канатом о клюз, якорь покатился в глубину. Миноносец стал.

Глеб поднялся на полубак. Сверху, с мостика, донесся голос командира:

— Команде спать до рассвета! На рассвете перейдем ближе к берегу на глубину тридцати метров для затопления.

Окончившие аврал матросы расходились с полубака. Глеб сел на баковый шпиль, закурил. Чьи-то шаги простучали по палубе под командирским мостиком.

Глеб оглянулся и увидел у пулеметной тумбы командира миноносца. Кукель стоял, прислонившись к поручням, в расстегнутом кителе и смотрел на далекий берег, на тусклое трепетание света над Туапсе, скрытым от глаз длинным языком мыса Кадош.

Глеб ниже согнулся, скорчившись на шпиле. Он не хотел, чтобы Кукель заметил его присутствие. Минут

пять простоял у борта командир. Глеб видел, как, описав дугу, полетела за борт брошенная папироса и Кукель спустился вниз.

Глеб встал и, в свою очередь, подошел к борту, облокотился на тросы поручня. Он думал о Кукеле.

Что должен был переживать в эту ночь командир последнего миноносца, взявший на себя страшную ответственность перед страной и историей?

О чем думал он, стоя у борта, в последний раз касаясь ногами палубы своего корабля? Гордился ли выполненным долгом моряка и революционера, сомневался ли, колебался ли в правильности принятого решения? Или, может быть, видел и чувствовал ненависть и злобу бывших друзей, предчувствовал потоки клеветы и наветов?

Набежавшая откуда-то волна мягко шлепнулась о борт миноносца.

* * *

Поезд Реввоенсовета стоял у вокзала с прицепленным паровозом, готовясь к отходу.

Член морской коллегии сидел в купе без кителя, в расстегнутой рубашке и, прихлебывая чай, диктовал флаг-секретарю, примостившемуся на противоположном диване с блокнотом на коленях.

«№ 9. Москва Наркоммору, в дополнение к № 1911. 19 июня 1918 года... В дополнение к № 1911 сообщаю что по приезде в Новороссийск я тотчас же отправился на «Свободную Россию», которая собиралась идти в Севастополь точка После моего выступления команда единодушно решила уничтожить корабли точка Уничтожение судов началось в 14 часов 45 минут точка Первым взорвался миноносец «Пронзительный» точка В последовательном порядке двоеточие «Калиакрия» «Гаджибей» «Капитан-лейтенант Баранов» «Лейтенант Шестаков» «Фидониси» «Сметливый» «Стремительный» точка «Свободная Россия» была затоплена на двадцатидвухсаженной глубине в 18 часов 40 минут четырьмя минами с миноносца «Керчь» точка Перед уничтожением андреевские флаги часть артиллерии и радиотелеграфного имущества сняты и эвакуируются точка Все суда затоплены на большой глубине точка Кроме того под турбины были заложены восемнадцатифунтовые патроны точка Два миноносца по особым соображениям отправлены в Туапсе точка Матро-

сы и командный состав вели себя самоотверженно точка Особенно отличился командир «Керчи» Кукель точка».

— Все? — спросил флаг-секретарь, подымая от блокнота вспотевшее лицо с унылым невыспавшимся взглядом.

— Все,— ответил член морской коллегии, ставя допитый стакан на столик.— Идите на телеграф и передайте. Немедленно после передачи отправляйте поезд. Нам нельзя медлить ни минуты. К утру может прийти «Гебен», и мы попадем в мышеловку, из которой не выберемся. Немцы не простят сегодняшнего дня. Он может принести неисчислимые беды стране и революции, но поступить иначе мы не могли. Флот умер с честью — он умер большевиком, как умирают его матросы в боях с контрреволюцией...

— Какой исторический день! — ответил флаг-секретарь. Он попытался придать своему голосу пафосную дрожь, но она не получилась. Голос был таким же уныло невыспавшимся, как и сам секретарь.

— А ну его к черту! У меня от этого дня пропал голос и ломит все кости... Спать!.. Спать!..

Он откинул одеяло на койке и стал раздеваться.

Флаг-секретарь вышел и пошел в телеграфную. Рыжая телеграфистка при свете лампочки рассматривала в зеркальце прыщи на щеках и недовольно прервала свое занятие.

— Опять телеграмма?.. Целые дни только и знают, что телеграфируют,— и сердито сунула блокнотный лист под груду телеграмм.

Тогда флаг-секретарь рассердился. Начальство не оценило его пафоса, телеграфистка тоже не хотела считаться с ним.

Он покраснел и с ненавистью посмотрел на бутон д'амуры перезрелой рыжей девственницы.

— Телеграмма подлежит внеочередной отправке как правительственная. Если через десять минут она не будет отправлена — я вызову матросов и расстреляю вас у водокачки... Саботажница! — крикнул он и сам удивился своему нахальству и крику.

Но телеграфистка ошалела, и пламенные ресницы ее замигали, как клотиковая лампочка. Она уставилась на флаг-секретаря с открытым от ужаса ртом и только через минуту обрела вновь дар речи:

— Что ж вы к-кричите, т-товарищ,— от испуга она

даже стала заикаться и сама вспылила на себя.— Черт вас знает — правительственная или нет... Что ни человек — то правительство... Сейчас... сейчас отправляю,— поспешно добавила она, заметив, что флаг-секретарь снова нахмурился, и яростно схватила листок.

Флаг-секретарь вышел на перрон. Дежурный по станции стоял у паровоза.

Флаг-секретарь направился к нему. Ему понравилось показывать силу своей власти.

— Приказываю именем Советского правительства немедленно отправить поезд верховного комиссара флота под угрозой революционной ответственности,— прорычал он, окончательно завираясь и называя своего начальника несуществующим званием.

Дежурный заметался.

— Дак сейчас и отправляем, товарищ. Только ждали вашего распоряжения. Не извольте беспокоиться.

— Я никогда не беспокоюсь за исполнение моих приказаний,— с достоинством ответил флаг-секретарь и поднялся на ступеньку вагона.

— Давай отправление! — сказал дежурный кондуктору. Затрещал свисток. Паровоз, мягко гукнув и пыхнув паром, бесшумно тронулся.

Флаг-секретарь величественно кивнул с подножки снявшему фуражку дежурному.

Когда поезд прошел, дежурный надел фуражку и без злости, с обрадованным добродушием напутствовал уходящий красный фонарик на буфере вагона:

— Комиссар с возу — кобыле легче.

Флаг-секретарь вошел в купе. Член морской коллегии уже спал. Розовое лицо его нежно прижалось к подушке, с полуоткрытым ртом он походил на золотоволосого примерного мальчика, уложенного ласковой мамой.

Флаг-секретарь с завистью посмотрел на него и погасил верхний свет, оставив только ночник. За окном грохотала, проносясь, земля, пели от ветра телеграфные провода, и по ним бежала, обгоняя поезд, историческая телеграмма, выстукиваемая рыжей перезрелой телеграфисткой.

* * *

Катер с последней группой команды, к которой присоединился и Глеб, отошел от «Керчи» и остановился саженях в двадцати.

Борт миноносца горел в утреннем солнце. Глеб видел на палубе пять белых фигур и качающуюся у борта четверку.

На миноносце остались Кукель, Подвысоцкий, унтер-офицер Кулиничев — тот самый, который на делегатском собрании привлек внимание Глеба тем, что единственный из всей команды носил на бескозырке не георгиевскую, а черную ленточку и который был горячим агитатором за потопление,— машинный унтер-офицер Бачинский и моторист Баслюк.

Эти пять человек должны были выполнить последний акт гибели флота, уничтожить миноносец.

Глеб увидел, как Баслюк перебросил через поручни черную змейку бикфордова шнура, свисшую к воде. Затем трое матросов исчезли в люках. Спустя несколько минут, поблескивая стеклами, один за другим стали открываться иллюминаторы накрененного борта.

— Поторопите, Борис Максимилианович,— услыхал Глеб долетевший голос Кукеля,— нужно рвать. Я видел на горизонте дымок. Возможно, это немецкие миноносцы.

Подвысоцкий нагнулся и половиной корпуса исчез в люке. Выпрямился.

— Открывают клинкеты, Владимир Андреевич. Сейчас вылезут.

Матросы вновь появились на палубе.

— В шлюпку! — скомандовал Кукель и последним опустился по трапу, держа секретные книги.

— Зажигайте!

Подвысоцкий чиркнул спичку. Глеб увидел, как, подымаясь по шнуру кверху, зазмеилась струйка рыжеватого на солнце дыма.

Матросы налегли на весла, торопясь отвести четверку, и едва она поравнялась с катером, внутри миноносца заглушенно прокатился взрыв. Черные взмывы дыма вылетели из машинных иллюминаторов, как из дул орудий, и поплыли, опадая к воде. Миноносец стал заметно оседать кормой.

Люди из четверки перебрались в катер, закрепили буксир, и катер малым ходом пошел к зеленеющему в лесах берегу.

Все не сводили глаз с миноносца. Он все больше садился кормой, ложась набок. С полубака слетели в воду багры. Миноносец лег бортом, качнулся, быстро показал киль и с тихим всплеском исчез.

Огромное масляное пятно, переливаясь радугой, расплывалось на тихой поверхности моря.

— Прощай, «Керчь»! Вечная тебе память! — произнес Баслюк, едва сдерживая слезы, и надвинул бескозырку на лоб.

Катер шурхнул днищем по гальке и уперся в берег. Глеб выскочил вслед за матросами.

Вся команда собралась наверху, на шоссе. Глеб перешел шоссе, взлез на пригорок и сел в тень берестовых деревьев.

Он видел, как со всех сторон потянулись к командиру матросские загорелые, просмоленные трудовые руки, торопясь сжать в последнем рукопожатии ладонь командира.

Потом кучками, по десять — пятнадцать человек, матросы потянулись по шоссе в направлении Туапсе. В одной из этих кучек ушли Кукель и Подвысоцкий.

Глеб остался один. Покинутый катер сиротливо колыхался у берега, скрипя днищем о гальку. Понемногу он сползал на свободную воду, и вскоре течение понесло его вдоль берега. Масляное пятно на месте потопления «Керчи» расплывалось все шире. На середине его изредка выскакивали и лопались пузыри воздуха.

Глеб встал с камня и спустился на шоссе. Направо лежало море, синее, тихое, ласковое,— льстиво затаившаяся до времени стихия, буйная и враждебная человеку.

Налево зеленела дикая чаща деревьев, всползающих в гору, переплетенные кустарники, цепляющиеся по скалам, острые ребра камней — первозданный анархический беспорядок природы. И только шоссе протянулось прямой лентой, путем, проложенным трудовыми усилиями организованного человечества.

Оно было единственной дорогой, ведущей в будущее. И Глеб торопливо, точно боясь затеряться, бросился бегом по шоссе — догонять ушедших, судьба которых навсегда становилась его судьбой.

1932

ПРИМЕЧАНИЯ

В том вошли три романа Б. А. Лавренева, написанные в 1925—1933 годах.

Крушение республики Итль.— Роман впервые напечатан в журнале «Звезда», 1925, № 3—6. Рассказчик и драматург по характеру своего дарования, Б. Лавренев уже с начала 20-х годов делал неоднократные попытки создать большое эпическое полотно на материале гражданской войны и революции. Но эти попытки долгое время были безуспешны. «Крушение республики Итль»— первый законченный роман писателя. Сатирический замысел, пародийная манера повествования, острый приключенческий сюжет — таковы главные особенности этого произведения, о котором один из первых его рецензентов (А. Лежнев), довольно строго отнесшийся к политической сатире Лавренева, писал в журнале «Печать и революция»: «Роман читается хорошо, и интерес возрастает по мере развертывания сюжета... Он представляет большой шаг вперед в творчестве Б. Лавренева на пути овладения сюжетом. Как авантюрный роман — он заслуживает большого внимания» («Печать и революция», 1926, № 6, с. 209).

Ирония, окрашивающая собой все повествование и придающая политическим проблемам романа характер веселого фарса, безудержной буффонады, типична для творческой манеры Б. Лавренева середины 20-х годов. Характеризуя творчество Б. Лавренева 1925—1926 годов, П. Медведев писал: «Ироническая усмешка вообще редко сходит с лица Лавренева, и ирония — самый существенный элемент его интонации... Эта ироническая настроенность постоянно врывается у Лавренева в объективный план повествования, создавая своеобразный лирико-иронический аккомпанемент... Всюду за рассказываемым чувствуется сам рассказчик, живой, веселый скептик, романтик поздней «критической эпохи» (П. Медведев. Вступительная статья к Собранию сочинений Б. Лавренева, том. 1, М., ГИХЛ, 1931, с. 23).

Критика 20-х годов связывала жанр и манеру романа Б. Лавренева непосредственно с западной литературной традицией, в частности, особенно упорно называя имя А. Франса. Однако моду на условно-сатирический и фантастический роман, в утверждении которой участвует и Б. Лавренев, никак нельзя объяснить чисто внешним влиянием, для нее были свои внутренние причины в самих особенностях времени. Многие прозаики и драматурги, в том числе И. Эренбург, А. Толстой, М. Булгаков, причастны к созданию этого нового своеобразного жанра, сочетающего в себе предельное обнажение механики буржуазных отношений с иронией и скепсисом, рожденными нэпом.

При всей облегченности и откровенной пародийности, с которыми написано «Крушение республики Итль», роман этот свидетельствует о пробуждении у Б. Лавренева уже в 1925 году интереса к проблемам международной политики, о рождении у вчерашнего лирика и романтика дара публициста. За постоянной улыбкой, за нагромождением экстравагантных приключений прекрасно видны отчетливо понятые писателем основы буржуазной демократии и империалистической политики. Схема политической игры, которую ведет «великая держава» по отношению к «демократическому» правительству опереточной республики Итль, не искажена иронией и шуткой, а, напротив, проявлена и обнажена с убедительностью и ясностью детского рисунка. Современники романа в один голос утверждали, что прямым прообразом этих фантастических и веселых приключений являются недавние события на юге России в период иностранной интервенции. Так, П. Медведев писал:

«В основном материал романа взят из эпохи гражданской войны. Реальным прообразом того, о чем рассказывается в «Итле», является история крымской «демократической республики». За прозрачными псевдонимами легко узнаются реальные страны и исторические события. «Страна ассоров» — это наша республика. Наутилия — Англия; городу, в котором развертывается основное действие романа, приданы характерные черты Баку» (т а м ж е, с. 23—24). Рецензент «Нового мира» Ф. Жиц писал: «Сквозь легкую ткань символики наименований нетрудно разглядеть реальные формы современности: Россию, Англию и бакинскую нефть. Прием этот — быть одновременно и одетым и раздетым — понадобился автору, очевидно, для того, чтобы свободнее располагать историческим материалом и показать *типические* черты эпохи в период интервенции и всякого рода политико-финансовых авантюр на юге России» («Новый мир», 1926, № 7, с. 190—191).

Более поздние исследователи творчества Лавренева отказывались признать законность этого стремления критики 20-х годов

найти реальные прототипы событий, изображенных Б. Лавреневым в столь откровенно условной и развлекательной форме.

Сам писатель отрицательно относился к попыткам связать сюжет своего романа непосредственно с интервенцией в Крыму или на Кавказе. «На ваше письмо сообщаю,— писал Б. Лавренев в декабре 1939 года Г. Ф. Сукованченко,— что я лично не отношу «Крушение республики «Итль» к Крыму. Материал этой вещи сложился из ряда анекдотов гражданской войны, относящихся территориально к Архангельску, Одессе, Кавказу, Дальнему Востоку и Крыму, то есть ко всем местам, где ступали копыта интервентов. Объединив эти анекдоты, я перенес действие в вымышленную страну, которая равно может считаться и Крымом, и Кавказом, и ДВР. Мне нужно было только, чтобы в этой стране был теплый субтропический климат. Вот и все» (ЦГАЛИ, ф. 1396, оп. № 1, ед. хр. 21).

Однако самый факт того, что первые читатели 20-х годов упорно связывали условное произведение Б. Лавренева с реальными историческими событиями, со злобой своего дня, само по себе представляет исторический интерес, свидетельствуя о точности и ясности политической схемы, положенной в основу приключенческой феерии. Под условные фигуры и названия, так весело придуманные и расставленные Лавреневым, можно подставить и другие имена и события.

Высоко оценив многие частности романа, критика 20-х годов сурово отнеслась к попытке Лавренева придать политической сатире столь облегченную форму. Так, например, тот же А. Лежнев, хваливший умение писателя строить приключенческий сюжет, о политической проблематике романа говорил: «Сатира носит у него фельетонный и назойливый характер» («Печать и революция», 1926, № 6, с. 208).

Защищаясь от подобной критики, Б. Лавренев предварил второе издание романа заметкой «Вместо предисловия», в которой писал: «Все дело в том, что Итль» не сатира, а буффонада. Цель сатиры бить по существующим устоям. Орудие сатиры не только насмешка, но и гнев.

«Итль» повествует о мертвецах. Некоторых мертвецов можно поминать только иронической усмешкой. Буффонада не бьет, буффонада смеется беззлобно и беспечно» (Б. Лавренев. Крушение республики Итль, М., Госиздат, 1928, с. 5).

Наиболее снисходительным критиком «Крушения республики Итль» оказался М. Горький, который написал Б. Лавреневу дружеское письмо (М. Горький. Собр. соч., т. 29. М., Гослитиздат, 1955, с. 471).

На сюжет романа «Крушение республики Итль» Б. Лавреневым была написана пьеса. В письме А. Я. Таирову, художествен-

ному руководителю Камерного театра, Лавренев сообщал: «Вернувшись вчера с Кавказа, я узнал от моего соавтора Н. К. Данилевского, что вопрос о «Крушении республики Итль» не получил окончательного разрешения. Это меня не только не огорчило, но даже обрадовало, ибо дает мне возможность переслать вам любопытный документ, относящийся к пьесе» (ЦГАЛИ, ф. 2030, оп. № 1, ед. хр. 38, письмо не датировано).

Приложенный к письму «любопытный документ» — это рецензия критика Р. В. Пикеля, прочитавшего пьесу по просьбе народного комиссара просвещения РСФСР А. В. Луначарского.

Спектакль осуществлен не был, и рукопись пьесы пока не найдена.

Печатается по тексту: Б. Лавренев. Собр. соч., т. 5. М., ГИХЛ., 1931.

Буйная жизнь.— Первые три главы романа напечатаны в «Красной газете», Л., 1926, 12 октября. Полностью роман был опубликован в одиннадцати выпусках (№ 1—11) «Красной газеты», Л., 1927. В том же году вышло второе, отдельное, издание романа с рисунками в тексте («Красная газета», Л., 1927).

В романе «Буйная жизнь» Б. Лавренев предпринял попытку в увлекательной, почти авантюрной форме показать серьезные исторические события: крестьянское движение перед революцией, гражданскую войну, начало мирного строительства после гражданской войны.

Современники Лавренева связывали создание этого произведения с именем героя гражданской войны Г. И. Котовского (1881—1925). Сопоставление отдельных эпизодов романа с биографическими данными Г. И. Котовского действительно дают основания находить много общего в судьбе героя романа и его возможного прототипа. Но очевидно и другое: Иван Твердовский, герой романа «Буйная жизнь»,— это собирательный образ вожака крестьянских масс, который проходит сложный жизненный путь, вырастая из стихийного борца против бесправия и гнета в сознательного революционера, командира конной дивизии, а затем и корпуса.

Несколько неожиданными для современного читателя могут показаться нарочитая упрощенность стиля романа и его языковые особенности, казалось бы, не свойственные Б. Лавреневу, уже известному в те годы автору «Сорок первого», «Ветра», «Крушения республики Итль» и многих других, более совершенных и отточенных по форме произведений.

Но и через нарочитую стилизацию и детективный сюжет романа проступают некоторые правдивые черты легендарного героя гражданской войны.

Литературная критика тех лет отнеслась к роману неодобрительно.

Печатается по второму изданию «Красной газеты».

С и н е е и б е л о е.— *Тысяча девятьсот четырнадцатый.*— Роман впервые напечатан в журнале «Звезда», 1933, № 1—9, 11, 12.

Война и русский флот — таковы главные темы творчества Б. Лавренева, продиктованные и характером его мужественного дарования, и особенностями его биографии. Поручик царской армии в первую мировую войну, командир и журналист Красной Армии в гражданскую войну, Лавренев обладал громадным опытом и большим количеством наблюдений, ставшими источником творчества писателя. В начале 30-х годов интерес Лавренева к жизни армии и флота, оставаясь постоянным, приобретает новые качества. Если в 20-е годы его рассказы о войне — и гражданской и империалистической — носили в основном лирико-романтический характер, то теперь в новых общественных и исторических условиях писатель упорно стремится к созданию широкой объективной картины того прошлого, которое подготовило и создало настоящее. Самый метод работы писателя существенно меняется. Раньше его богатое воображение неутомимого рассказчика опиралось преимущественно на собственную память, на запомнившиеся случаи, на известные и малоизвестные эпизоды. С начала 30-х годов в творчестве Б. Лавренева все больше начинает играть роль элемент исторического исследования, все больше обнаруживается склонность к публицистическим обобщениям. Отвечая на нападки, которым критика подвергла роман «Синее и белое», Б. Лавренев писал: «Я внимательно проработал много материала, опубликованного и неопубликованного, по истории вопроса» («Литературный критик». 1933, № 6, с. 118). Среди этих материалов писатель в первую очередь называет сочинения В. И. Ленина.

Роман «Синее и белое» явился первым серьезным результатом этого нового периода работы Лавренева, нового подхода к историко-военной и историко-революционной теме.

Р. Мессер, автор большой статьи, посвященной сравнительному критическому разбору «Синего и белого» Лавренева и одновременно опубликованного «Капитального ремонта» Л. Соболева, резко отрицательно отнесясь к роману Б. Лавренева, писала, однако, что в нем «ясно ощущается стремление дать принципиальную предысторию мировой войны, выяснить ее корни» («Красная новь», 1933, № 12, с. 195).

Действительно, эпическая неторопливость повествования, щедрость подробностей, выбор героев из самых разных классов Российской империи, обилие публицистических отступлений, ведущих

читателя то в глубь мировой истории, то в высокие сферы международной дипломатической игры, свидетельствуют о большом замысле исторической эпопеи.

Существование такого замысла документально подтверждают письма и выступления самого Б. Лавренева. Так, 10 декабря 1932 года, отклоняя предложение редакции ЛОКАФ печатать «Синее и белое» в журнале объединения рядом с романом Л. Соболева «Капитальный ремонт» по причине близкого совпадения материала и темы в обоих произведениях, Б. Лавренев пишет С. Вашенцеву:

«...Мы могли бы сейчас уже договориться о печатании второй книги моего романа (флот 1918—21 годов). Гражданская война, исключительный размах событий, неповторимость ситуаций, совершенно устраняют опасности параллелизма, создаваемые первой книгой... Правда, роман будет готов не скоро — летом 1934 года, но поскольку ни ЛОКАФ, ни я не думаем о смерти, мы могли бы, если Вас это устраивает, считать это дело решенным» (ЦГАЛИ, ф. 618, оп. № 1, ед. хр. 19). А в феврале 1936 года Б. Лавренев сообщает: «К осени 1936 года будет закончен роман «Синее и белое» — переработанная первая часть и часть вторая» («Литературный Ленинград», 1936, 8 февраля).

В архиве Лавренева сохранилась рукопись — фрагменты так и незаконченной второй части романа. Посвященная известному эпизоду из истории революции — затоплению у Новороссийска по приказу молодого советского правительства русских кораблей, которым угрожал захват интервентами,— эта рукопись названа писателем «Дорогой в будущее».

Таким образом, роман «Синее и белое» нужно считать первой частью обширной и незавершенной эпопеи.

Сам автор очень широко трактовал сущность своего замысла: «Основная работа, к которой я приступил летом этого года,— роман «Синее и белое»,— сообщал он в декабре 1932 года.— В попавших в печать сведениях он назван романом о Черноморском флоте 1914—18 гг. Вряд ли с этим можно согласиться. В романе Черноморский флот действует, но лишь как основной фон, на котором идет развитие главного персонажа — мичмана Алябьева. Мне захотелось написать нечто вроде «истории молодого человека» моего поколения. Оно на рубеже двух столетий — физически родилось в XIX веке, духовно развивалось и входило в жизнь в XX. Груз культуры и традиций прошлого века очень мешал этому поколению, и к принятию идей XX века оно шло медленно, срываясь и жестоко ранясь. В этом центр идейной установки романа». (Вечерний выпуск «Красной газеты», 1932, 23 декабря).

В романе «Синее и белое» Лавреневу удалось показать толь-

ко первый этап истории молодого человека своего поколения,— груз традиций прошлого в жизни молодого офицера, силу кастовых предрассудков и привычек, держащих его в плену, момент первого столкновения дворянско-буржуазного благополучия с трагизмом истории, с трагизмом народной жизни.

Роман был подвергнут жестокой критике в печати, что, возможно, и помешало писателю успешно продолжить работу над ним. Многое из того, что было предъявлено Лавреневу, имеет под собой серьезные основания, особенно все то, что касается стиля, языка, а также любовной линии произведения. Роман в этом смысле не всегда отвечает строгим требованиям вкуса, автор грешит в нем иногда пристрастием к слишком красивым эпитетам и метафорам. Что касается обширных публицистических отступлений Б. Лавренева, то некоторые из них, например рассуждение о выходе древних славян «на мировую арену», написаны в духе упрощенных социологических концепций начала 30-х годов.

Однако в романе есть и большие достоинства, главное из которых заключается в том, что он очень конкретно передает момент громадного исторического перелома в жизни страны, безвозвратный конец одной эпохи и наступление совершенно новой, очертания которой еще с трудом угадываются в будущем. Лавренев с большой тщательностью и скрупулезностью очевидца и свидетеля запечатлел бытовые и исторические подробности последних мирных дней 1914 года и первых месяцев империалистической войны. В этом состоит главное познавательное и художественное содержание романа.

Журнальный текст романа заканчивается сценой на палубе, в которой Глеб Алябьев нечаянно подслушивает разговор матросов с унтер-офицером Гладковским о бессмысленности империалистической войны.

Позднее автор изменил конец романа, сняв после фразы «Глеб прислонился спиной к борту катера» журнальный текст и дописав два новых заключительных абзаца.

Печатается по тексту журнала «Звезда» с учетом последующих авторских исправлений.

Дорога в будущее.— Отрывок из второй части романа «Синее и белое» впервые напечатан под названием «Гибель», с подзаголовком «фрагменты романа», в журнале «Залп», Л., 1932, № 11—12. Позднее текст был просмотрен и исправлен автором, а название изменено.

Печатается по рукописи.

СОДЕРЖАНИЕ

Лавренев Б. А.

Л13 Собрание сочинений. В 6-ти тт.— М.: Худож. лит., 1981.—

Т. 4. Романы. / Подгот. текста А. Ю. Лавренева; Примеч. Е. В. Стариковой. 1983.— 678 с.

В том включены три романа Б. А. Лавренева: «Крушение республики Итль» (1925), «Буйная жизнь» (1926), «Синее и белое» (1933).

Л $\frac{4702010200-235}{028(01)-83}$ **подписное**

ББК 84Р7
Р2

БОРИС АНДРЕЕВИЧ
ЛАВРЕНЕВ

Собрание сочинений
том 4

Редактор
В. Буланова

Художественный редактор
Е. Ененко

Технический редактор
О. Ярославцева

Корректоры
Л. Овчинникова,
Т. Филиппова

ИБ 2163

Сдано в набор 31.07.81. Подписано к печати А10917 01.12.82. Формат 84×108¹/₃₂. Тип. бумага № 2. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 35,7. Усл. кр. отт. 35,7. Уч.-изд. л. 38,45. Тираж 100 000 экз. Изд. № III-468. Заказ № 1259. Цена 2 р. 70 к.

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Художественная литература»
Москва, 107882, ГСП, Ново-Басманная, 19.

Отпечатано с матриц Головного предприятия республиканского производственного объединения «Полиграфкнига» на Киевской книжной фабрике, 252054, Киев, Воровского, 24.